



БОРИС ХАЗАНОВ

ПОДВИГ ИСКАРИОТА

*В издательстве «Алетейя» вышли в свет
книги Бориса Хазанова:*

Истинная история минувших времен.

К северу от будущего. Романы и повести

Третье время. Романы и повести

После нас потоп. Романы и повести

Вчерашняя вечность. Повести и рассказы

Опровержение Чёрного павлина. Романы, повести, эссе

Миф Россия. Статьи и эссе

Подвиг Искарюта. Рассказы, статьи, письма

В лучах чужих планет. Рассказы, статьи, переводы

...Пиши, мой друг. Переписка с Марком Харитоновым (2 тт.)

Элизиум теней.

Пусть ночь придет. Повести о женщинах

Человек-перо. Писатели и литература

Письма из прекрасного далёка.

В садах за огненной рекой.

Тревога и труд.

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬ

КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ



ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

Борис ХАЗАНОВ

ПОДВИГ ИСКАРИОТА

Рассказы, статьи, письма

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2016

УДК 821.161.1+82.4+82.6

ББК 84(2Рос=Рус)6

X 152

Хазанов Б.

X152 Подвиг Искарриота. Рассказы. Статьи. Письма. – СПб.: Алетейя, 2016. – 447 с. – (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 978-5-91419-562-2

Седьмой том Собрания сочинений Бориса Хазанова включает рассказы разных лет (раздел «Абстрактный роман»), статьи и эссе о писателях и литературе (разд. «Дневник сочинителя»), статьи на разные темы (раздел «Левиафан»), а также фрагменты обширной переписки писателя. Книгу завершает статья Б.М. Сарнова «Мучительное право».

УДК 821.161.1+82.4+82.6

ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-91419-562-2



9

© Б. Хазанов, 2011

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2011

АБСТРАКТНЫЙ РОМАН

Сера и огонь

Я помню щебет птиц, пятна света на полу; оттого, что был конец апреля и лес стоял в зелёном дыму, оттого, что я всё ещё был молод, оттого, что мои невзгоды, как мне казалось, были позади, этот утренний день остался в памяти как далёкое видение счастья. Через два часа мне пришлось увидеть то, что и глазам врача предстаёт не каждый день.

Заскрипела лестница от быстрых шагов, — в это время я сидел за завтраком, — молоденькая сестра, запыхавшаяся, пышногрудая, вся в белом, стояла, не решаясь переступить порог. Звонили из Полотняного Завода. Значение некоторых географических имён остаётся загадкой, как если бы они принадлежали языку вымершего народа. Название села сохранилось с баснословных времён, и никто уже не мог сказать, что оно, собственно, означало. Здесь никто ничего не производил. Ещё были живы люди, помнившие коллективизацию, раскулачивание, «зелёных братьев» — отчаявшихся мужиков, которые ушли с бабами и детьми в лес, подпалив свои избы. Ещё жили те, кто видел, как обоз с трупами этих мужиков тянулся по мощённому тракту в город. Дальше этих воспоминаний история не простиралась. Так как происшествие, о котором я собираюсь рассказать, в свою очередь отодвинулось в прошлое, то теперь, я думаю, и от них ничего не осталось. Нынешней молодёжи приходится объяснять, что такое колхоз; недалеко время, когда нужно будет справляться в словарях, что значит слово «деревня».

Звонил председатель из Полотняного Завода, мы стали приятелями с тех пор, как я вылечил его от одной не слишком серьёзной болезни. Он, однако, считал, что был опасно болен, перед выпиской из больницы отозвал меня в сторонку и спросил, сколько я возьму за лечение. Я сказал: а вот ты лучше подключи меня к сети. На другой день явились рабочие, вырыли ямы, поставили столбы, протянули линию. С тех пор в моей больничке сияло электричество до утра, а село после одиннадцати сидело с керосиновыми лампами.

Мы с ним виделись иногда, я оказывал ему мелкие услуги, он, случалось, выручал меня; через него я вошёл в привилегированный круг местного микроскопического начальства. Тот, кто владеет знанием непоправимости, кто понял, что ничего в этой стране не изменишь, хоть ты тут разбейся в лепёшку, — тому, ей-Богу, легче жить. И, что самое

замечательное, жизнь оказывается вполне сносной. Но я полагаю, что нет надобности подробно описывать мои обстоятельства, в конце концов не я герой этого происшествия. Я приехал на работу не совсем зелёным юнцом, как обычно приезжают выпускники медицинских институтов. Разместился в просторном доме чеховских времён, под железной кровлей, с высокими окнами и крашеными полами. Одна моя пациентка, молодуха из дальней деревни, вызвалась топить печи и убирать комнаты в моих хоромах. Довольно скоро я сошёлся с ней, ни для кого это не было секретом, напротив, люди одобряли, что я живу с одной вместо того, чтобы таскаться по бабам; бывший муж приезжал ко мне то за тем, то за этим, а чаще за выпивкой; так оно и шло. И довольно обо мне.

Не было необходимости тащиться за двадцать вёрст, но председатель был другого мнения. У меня был старый санитарный фургон военного образца, председатель колхоза разъезжал в джипе. Председатель поджидал меня на крыльце правления. Наши места — теперь я уже мог называть их нашими — принадлежат к коренной России, лесистой, мшистой, болотистой, десять столетий ничего здесь не изменили. Первые километры ехали по узкому тракту, затем свернули, началась обычная, непоправимая, где топкая, где ухабистая дорога с непросыхающими лужами, с разливами грязи на открытых местах, с тенистыми, усыпанными хвёй, в полосах света, просёлками посреди сказочных лесов. И когда, наконец, расступился строй серо-золотистых сосен и в кустарнике, в камышах заблестело спокойное, бело-зеркальное озеро, увидели на другом берегу синюю милицейскую машину из райцентра. Кучка людей стояла перед сараем.

Это было то, что когда-то называлось заимкой; невдалеке за лесом пряталась деревня, а здесь, над отлогим лугом, стояла убогая, в три окна, хижина. Поодаль сарай, за полуобвалившимся плетнём остатки огорода и отхожее место. Подняв морду, время от времени завывала и скулила осиротевшая собака. Следовательно из района уже успел поговорить с дочерью, ждали председателя. Один за другим вступили в сарай — следовательно, судмедэксперт, председатель колхоза; вошёл и я.

Пёс умолк. Пёс сидел на задних лапах, моргал тоскливыми жёлтыми глазами и, очевидно, спрашивал себя, как могло всё это случиться. Свет бил сквозь два окошка в двускатной крыше. В тёмном углу, так что не сразу можно было разглядеть, сидел, раскинув длинные ноги, на земляном полу, человек, у которого от головы осталась нижняя часть лица. Вокруг по стенам был разбрызган и висел ошмётками полужасошный белый мозг. Постояв некоторое время, мы вышли. И, собственно, на этом можно закончить предварительную часть моего рассказа; вопрос в том, надо ли продолжать.

Как я и предполагал, мне тут делать было нечего. Случай подлежал оформлению на районном уровне. Какие-то подвернувшиеся мужики вынесли труп, вынесли дробовик, всё было завёрнуто в брезент, погружено в машину, следователь сунул в карман паспорт самоубийцы, и все уехали — председательский джип следом за начальством. Я остался стоять перед своим фургоном. Стало совсем тихо. И был, как уже сказано, великолепный сияющий день. Желтоглазый лохматый пёс, понурился голову, поплёлся к хижине.

Следом за ним двинулись и мы — я имею в виду дочь хозяина. Она подошла ко мне, когда всё кончилось, и спросила: помню ли я, как она приезжала в больницу с ребёнком? Мне показалось, что я узнал её. Там был огромный, с кулак, карбункул в области затылка, пришлось сделать большой крестообразный разрез и оставить мальчика в стационаре. «А где сейчас ваш сын?» Она ответила: в городе.

Хибарка оказалась благоустроенной и даже более просторной, чем выглядела снаружи, из сеней мы вошли в довольно опрятную горницу, и не сразу можно было догадаться, что здесь обитал нездешний человек. Над лавкой, между двумя низкими окошками, по русскому обычаю, в общей раме фотографии: пожилая чета, младенец с вытаращенными глазами, парень в гимнастёрке и совсем уже антикварный, жёлтый картонный портрет лихого унтера царских времён, в косо надвинутой фуражке, с чубчиком. Нашёл в сарае, сказала дочка, и это тоже, — и показала на стоявшую в углу прялку с колесом. Кроме стола и печки, в комнате находилась широкая железная кровать, аккуратно застеленная белым пикейным покрывалом, и поставец, служивший хозяину книжным шкафом. Она собрала на стол, внесла самовар. Присев на корточки, растворила нижние дверцы буфета — там стоял строй бутылок.

Теперь я мог её рассмотреть: дочь хозяина была женщина лет тридцати, невысокая, то, что называется пикнический тип: с короткими крепкими ногами, широкобёдрая, круглолицая, я бы сказал, довольно миловидная. Очень спокойные серые глаза, губы пухлые, бледные, никакой косметики, ни серёжек, ни бус. Прямые и тонкие, тускло-блестящие волосы цвета калёного ореха сколоты на затылке. Одета незаметно: светлое сатиновое платье, синяя вязаная кофта не сходитя на груди.

В деревне привыкаешь к молчанию, но здесь было так тихо, что, кажется, можно было услышать шелесты камыша на озере; до меня донёсся её голос, она говорила вполголоса с кем-то в сенях, и как-то сразу в комнату проник свет пожара. За окном яркозелёный луг отсвечивал металлом, и озеро, и опушка леса пылали зловещим оранжевым огнём, солнце било из-под полога густых серолиловых туч. Хозяйка, оставив собаку в сенях, вошла в горницу. Вдруг стало совсем темно, засвистел и пронёсся ураганный ветер, со страшной силой треснул гром, как будто

кто-то чиркнул по небу гигантской спичкой, и жилище осветилось нездешним серным блеском. Несколько времени мы сидели за столом и ничего не слышали, кроме нарастающего, похожего на шум пожара, обложного дождя.

Водка была разлита по стаканчикам, я предложил, как водится, помянуть. Она отпила глоток, я было принялся за угощение. Она ничего не ела. Глядя на неё, и я положил свою вилку. Так мы сидели молча и неподвижно друг перед другом, и постепенно ливень стал утихать. Оловянный свет проник в горницу, это был нескончаемый день. Дождь змеился по стёклам низких окон. Я спросил осторожно о чём-то хозяйку, она смотрела на дверь, странное выражение изменило её лицо, она как будто прислушивалась. Пёс встревожился в сенях, было слышно, как он цокает когтями по полу туда-сюда. Я повторил свой вопрос. Она загадочно взглянула на меня, встала. Прежде я не заметил — рядом с буфетом в углу висело на стене поцарапанное зеркало.

Она приникла к стеклу, послунив палец, провела по бровям, оглядела себя справа, слева, слегка одёрнула платье и стремительно обернулась. Медленно закрипела низкая дверь. Нога в заляпанном грязью сапоге переступила порог. Вошёл, нагнувшись, самоубийца собственной персоной, с забинтованной головой.

Вошёл отец; дочь смотрела на него, закрыв рот рукой, спохватившись, бросилась к нему, стала стаскивать с него мокрую куртку, откуда-то взялось полотенце, она вытирала ему лицо, осушила кожу на висках, над бровями, вокруг намоченного бинта. Хозяин сидел на табуретке посреди комнаты. Она внесла лохань с водой, перелила из самовара горячую воду в большой жестяной чайник. «Давай, давай, — бормотала она, — небось измок весь...». Стащила с него кирзовые сапоги, в которых хлопала вода, и размотала потемневшие от влаги портянки.

«А это доктор, нечего стесняться...»

Человек проворчал: «Не нужно мне никакого доктора...»

«Может, перевязку сделать...»

«Не нужно никаких перевязок». Он стоял, высокий и тощий, в лхани, дочь поливала его из ковша. «Постой, чего ж это я», — пробормотала она, сбегала за мочалкой и мылом, тёрла спину, плечи, впалый живот, прошлась вокруг длинного, бессильно отвисшего члена. Весь пол вокруг был залит водой. Несколько времени спустя мы занялись уборкой, я выплеснул в огород лохань с мыльной водой, она подтёрла пол, и понемногу, по мере того, как вещам был возвращён привычный порядок, улеглись суета и тревога. Я не пытался подыскивать объяснение происходящему; молчаливо было уговорено, что никто не будет упоминать о том, что он наложил на себя руки. Игорь Петрович, укутанный во

что-то, пил чай с малиной. Хлопоты сблизили нас, мы дружно выпили, а тем временем дождь снаружи перестал, луг заискрился цветами радуги, солнце слабо играло на поверхности озера.

«Кстати, а как... — заговорил я, — как же следователь?»

«Он в кабине сидел. Не заметил...»

«Не дай Бог, вернётся», — сказала дочь.

«Пуускай возвращается. Ну-с, — глядя на меня, произнёс Игорь Петрович и поднял гранёный стакан, — со свиданьем!»

Он выпил, поморщился и потрогал голову.

«Болит?» — спросила она.

«Теперь не болит. Теперь уже не так болит. Всё позади!» — сказал он, усмехнувшись.

Я не удержался и всё-таки задал ему вопрос: почему он это сделал, в чём дело?

Дочь взглянула на меня с неммым упреком. Игорь Петрович прищурился и сказал:

«В чём дело? А это не твоё собачье дело. Ты сиди и пей».

Мы молчали. Он добавил:

«Ты врач, ты и соображай. Может, мне жизнь надоела. Может, я психически больной. В чём дело... Всё ему надо знать».

«Отец, — проговорила она, — ты бы лёг...»

В эту минуту мы услышали рокот мотора, громко залаяла собака.

«А! — вскричал самоубийца, — лёгок на помине!»

Следователь из района придвинул к столу табуретку, сел и поставил портфель рядом, прислонив к табуретке. Портфель не хотел стоять. Следователь снова поставил портфель, и опять портфель съехал на пол. Следователь махнул рукой, крикнул, приосанился.

«Как же это так, — начал он, — Игорь Петрович... Нехорошо себя ведёте. Сбежать хотели?»

Дочь молча, поджав губы, принесла чистую тарелку, поставила перед приезжим древнюю гранёную рюмку на высокой ножке.

Следователь задумчиво поглядывал на дочь, скользнул взглядом по её стану, она придвинула к нему миску с маринованными грибами и блюдо с остывшей картошкой.

«От нас не убежишь», — промолвил он.

«Да ладно тебе», — сказал равнодушно самоубийца и налил гостю.

«Вот и доктор тебе то же самое скажет... Что ж, — вздохнул следователь, — за здоровье, что ль... или уж за здоровье поздно пить?»

«Поздно», — сказал Игорь Петрович.

«Тогда давай за хозяйку...»

Она пригубила свой стаканчик, мы все присоединились, следовательно взглянул на часы-ходики, взглянул на часы у себя на руке, покачал головой, наклонился к портфелю.

«Хорошо тут у вас на озере, караси, наверно, водятся, щучки...»

Игорь Петрович возразил, что он рыбу ловить не умеет. Да и мелкое озеро, чуть не до середины можно дойти.

Следователь из района извлёк паспорт из внутреннего кармана и добыл из портфеля служебный бланк.

«Хотел у себя там заполнить, да уж ладно. Коли такое дело... Коли вы, можно сказать, с того света явились... Так, — сказал он, — а чернил у вас не найдётся? Забыл, понимаешь, заправить самописку...»

Она принесла пузырёк с чернилами.

«Сего числа... какое у нас число-то сегодня? Господи, как время бежит. Составлен настоящий протокол в том, что мною... в присутствии дочери потерпевшего, понятых, председателя колхоза имени... Как он там у них называется?»

Я подсказал.

«...и главврача участковой больницы обнаружен труп гражданина, тэ-эк-с, какого такого гражданина?» — бормотал он, разворачивая новый и незаношенный, видимо, недавно выданный паспорт.

«Ну-ка покажи, — сказал самоубийца. — Да не паспорт, на кой хер он мне... Протокол покажи».

«А мы ещё не кончили... Вот у меня тут кстати к вам один вопросик».

«Покажи, говорю...»

«Игорь Петрович, всему своё время. Всё увидите, подписывать, конечно, не надо... Раз уж с вами такая приключилась история... А то скажут: как же так, он себя порешил, и он же подписался. Кстати: насчёт хозяйки. Это, если не ошибаюсь, ваша дочь?».

«Не ошибаетесь», — сказал мрачно Игорь Петрович.

Следователь вынул ещё одну бумагу, тетрадный листок, исписанный с обеих сторон.

«Нам с вами, ежели помните, уже приходилось встречаться. По поводу вот этого письма. Сами понимаете, сигнал довольно тревожный. Вот мне и хотелось бы узнать, как вы теперь, в свете, так сказать, последних событий, к нему относитесь».

«Как отношусь?» — спросил Игорь Петрович и вдруг с необыкновенным проворством выхватил у следователя протокол и письмо и порвал всё в клочки.

«Меня нет, — сказал он жёстко. — Нет и не было. Ясно? Вали отсюда, пока цел. Поезжай в морг. Там меня и найдёшь. Я там лежу... без головы. И чтобы духу твоего здесь не было, понял?»

Запомнился мне и другой день — сухой, бессолнечный и холодный, листья, усеявшие лужайку перед домом, успели пожухнуть, давно пора было выпасть снегу. День начался, как обычно, с утренней пятиминутки, после чего я обошёл свои отделения — общее, детское, родильное, сделал назначения, заглянул во флигелек, род приюта, где лежали потерявшие память, безродные и бездомные старухи.

Ненадолго вернулся к себе. Мои апартаменты были прибраны, натоплены, на плите горячий обед. На столе лежало письмо — единственная новость. Письмо могло подождать. Приём больных был с двух, амбулатория находилась против больничных зданий, через дорогу; войдя в тамбур, я, как всегда, услышал сдержанный говор, плач детей и кашель стариков. Часа два ушло на приём, на разговоры с завхозом о разных предметах. Потом явился шабашник, который подрядился с женой и тещей перестелать полы в родильном, он стоял на пороге, с шапкой в руке, и следил восторженно-испуганным взором, как я наливаю в стакан воду из графина. «После, — пролепетал он, — не сейчас...», — очевидно, думая, что у меня как у медицинского начальника спирт всегда под рукой и я собираюсь угостить его с места в карьер

Словом, обычные дела. Я вернулся. «Ну что, Маша...», — сказал я. Моя сожительница, в переднике и платочке, тоже покончила с делами и сидела перед обеденным столом, сложив под грудью большие красные руки.

«Там письмо вам...»

«А», — сказал я, побрёл в другую комнату и плюхнулся на своё ложе. Несколько времени спустя я услышал её шаги, скрипнула дверь и вернулась в пазы — я остался один. Начинало смеркаться. Письмо — пухлый конверт без обратного адреса — терпеливо дожидалось меня вместе с ворохом инструкций и приказов из района, я сунул их в нижний ящик стола; я никогда не читаю официальных бумаг.

«Здравствуйте, дорогой доктор, возможно, вы меня помните...»

Я пересчитал странички, ого. Это была целая рукопись. Почерк прилежной ученицы, без помарок, так что, например, слово, которое надо зачеркнуть, заключалось в скобки. Рука спокойной, круглолицей и наклонной к полноте женщины с низким тазом, с крепкими короткими ногами. Я уверен, что существует связь между почерком и телосложением.

Помнил ли я хибарку на берегу озера, странные импровизированные поминки, и как она успокаивала обезумевшего от горя пса, ходила по комнате, собирала на стол, присела перед буфетом? Она была в лёгком платье, в синей вязаной кофте, ей можно было дать тридцать с небольшим, на самом деле она была моложе, у неё были тонкие и негустые, обычные у женщин в северо-западных областях, светлые ореховые волосы, серые выпуклые глаза с жемчужным отливом, полные губы,

короткая белая шея и, вероятно, такие же белые и круглые груди. Вопреки всему дикому и невероятному, она излучала покой. Всё это в один миг воскресло перед глазами.

Прошло уже столько времени, писала дочь самоубийцы, она не знает, кто теперь там живёт, сама она не бывает в наших местах, да и прежде наезжала только ради отца; писала, что в Ленинграде больше не живёт, нашла, слава Богу, хорошего человека и уехала с ним, и только одного хочет — забыть все что было. Письмо, однако, не свидетельствовало о том, что ей это удалось.

«Как вы знаете, дело было закрыто, собственно говоря, никакого дела не было, нас с мамой оставили в покое, а в поликлинике подтвердили, что он страдал склонностью к депрессивным состояниям. И вот я вдруг решила вам написать, сама не знаю, почему, может быть, вам как медику будет интересно. Но только с условием — что всё останется между нами».

«Не знаю, — писала она, — известно ли вам, что отец почти двадцать лет отсутствовал, мама вернула себе девичью фамилию, мама никогда ничего не рассказывала, вы знаете, что о таких вещах не очень-то поговоришь. Но я не хочу сказать, что он был для меня совершенно чужим человеком, когда вдруг, без предупреждения, не написав, не позвонив, вернулся — рано утром стукнул в окно. В первый момент мы испугались. Мама ахнула, словно вошёл призрак. И действительно, первая мысль была, что он явился с того света, пришёл разрушить нашу тихую и спокойную жизнь. Мне было восемь лет, когда его увели, а теперь я была взрослой женщиной. Я его помнила могучим, красивым, широкоплечим мужчиной, а тут вошёл, в зимней шапке, в валенках, с деревянным самодельным чемоданом, небритый, с тусклыми глазами, колючий и одновременно заискивающий, с таким выражением, как будто он что-то ищет или хочет что-то спросить, и когда он стащил с головы свой трех, то волосы у него были редкие и выцветшие, вытертые на висках, и едва успели отрасти. Пришлось привыкать. Места у нас было мало: я незадолго до этого развелась с мужем и переехала с сыночком к маме».

«Так что неудивительно, что начались очень скоро трения, уж очень мы были разные люди. Всё время получалось так, что он и делает всё не так, и думает не так. Мать досаждала ему разными мелкими замечаниями, он огрызался, порой из-за какого-нибудь пустяка по целым дням не разговаривали друг с другом. Он как будто разучился жить нормальной жизнью, словно пролежал эти двадцать лет в ледяном гробу. Работать тоже не рвался, да и неизвестно было, что ему делать, устроиться на работу можно только с пропиской, а прописаться, только если человек работает. Тут, между прочим, выяснилось, что у моего отца паспорт с особой отметкой. Причём выдан не в Ленинграде, а в каком-то городишке, где он пробыл недели две, прежде чем к нам приехать».

Что означала эта пометка, никто толком не знал, да и спрашивать не очень-то хотелось. Написано только: “Согласно Положению о паспортах”, а что это за Положение? Маме удалось успокоить соседей, чтобы они помалкивали насчёт того, что человек живёт на птичьих правах, хотя сами знаете: всё это сочувствие, понимающие вздохи — до первой ссоры; само собой, они догадались, что за птица мой отец. В нашей квартире было ещё три семьи, одна комната почти всегда была заперта, в другой проживала одинокая мать с ребёнком, в третьей муж с женой — пенсионеры, а вы знаете, что от пенсионеров ничего хорошего ждать не приходится: снимет трубку и позвонит в милицию, чего проще. Мать зазвала в гости участкового, выставили угощение, отец сидел тут же, мрачный, насупленный, чокнулся раза два с милиционером. Но что можно было сделать, если он не имел права жить в больших городах. Неизвестно было, где он вообще имел право жить».

Давно уже стемнело, я сидел за своим столом перед электрической лампой, благодетельным даром колхозного председателя.

Она писала:

«Надо было что-то придумывать, жизнь стала невыносимой: днём ссоры, а по ночам вечный страх, что придут проверять документы. И вот тут очень кстати распространилась мода — покупать дома. Якобы можно было без особых формальностей, за бесценок купить развалюху в заброшенной деревне. Мы с отцом стали ездить по субботам, наводить справки, забирались в глубинку, раза два вымокли до нитки под дождём; я заметила, что эти поездки подействовали на него благотворно, он как-то стал понемногу оттаивать. Однажды, когда мы дожидались поезда на безлюдном полустанке, он сказал: “Вот найду себе берлогу и залягу”. Я спросила, что это значит. “А вот то и значит, и ни одна сволочь меня выковырять не сможет”. — “Так и будешь лежать?” — спросила я смеясь. “Ну, не всё время. Гулять буду. Может, ты ко мне когда-нибудь приедешь”. Из этих слов я поняла, что он намерен поселиться там насовсем. “Приеду, — сказала я. — А что ты будешь там делать? В колхозе работать или как?” Он прищурился и переспросил: “Где?..” Я сказала: “В конце концов, ты ведь многое умеешь делать”. — “Да, — сказал он, — я много чего умею”. Мы сидели на платформе, он строгал прутик перочинным ножом. Потом сказал: “Я работать не собираюсь. Палец о палец не ударю. И никто меня не заставит. С голоду подохну, а работать не буду”. — “Ну, а всё-таки: на что ты будешь жить?” — “Э, — он махнул рукой. — Как-нибудь проживу».

«Долго не могли подыскать ничего подходящего, приезжали и видели одни печные трубы, всё сгорело во время войны, заросло травой; а там, где что-то осталось, наследники разобрали и вывезли срубы. Как-то

раз мы ехали на попутном грузовике, отец сидел в кузове, я в кабине, шофёр стал заигрывать со мной, я отмахивалась, это кто же будет, спросил он и ткнул назад большим пальцем, дед твой, что ли? Подъехали к районному центру, и оказалось, что улица вся состоит из домов, перевезённых из деревни. Отец не хотел искать в окрестностях, хотел куда-нибудь подальше от начальства. Всё же мы зашли в один дом, чтобы разузнать что и как. Вот так всё и получилось. Если бы не зашли, если бы проехали, может, ничего бы и не было, не случилось бы того, что вам известно. Да ведь судьбу, как говорится, конём не объедешь».

«Нам назвали одну женщину, родственницу хозяев, — самих давно след простыл, — и мы с ней довольно быстро сговорились. Спрашиваем: далеко ли? “Да нет, быстро доедете, дорога сейчас хорошая”. Тащились битых два часа. Но он был только рад: чем дальше, тем лучше. Изба оказалась хорошая, крепкая, деревенька тихая, одни старухи, — что ещё надо? Но тут выяснилось, что есть ещё домишко на берегу озера. Наняли кого-то из местных, перевезли кое-какие вещи. Собственно говоря, у отца не было никакого имущества. Я хотела дать ему денег. Он сказал, что у него есть немного».

«И он зажил — не знаю, можно ли сказать: в своё удовольствие. Думаю всё-таки, что да. По крайней мере, никто ему теперь не мешал жить. Ему нужно было только одно — чтобы не мешали ему жить. Так он мне и ответил, когда я приехала его навестить и спросила, доволен ли он, что забрался в такую глушь. Конечно, доволен. А если что-нибудь случится? Он усмехнулся и сказал, что случиться что-нибудь может только когда вокруг люди. “Кто тебе мешает? мы?” Он пожал плечами, его обычное движение, — и я, конечно, понимала, что он хочет сказать: с матерью они бы как-нибудь нашли общий язык, обо мне и говорить нечего; не давало жить начальство. Это слово мой отец употреблял очень широко. Подразумевались, конечно, прежде всего Органы и милиция, я сама видела, как менялось его лицо, стоило ему заметить издали синюю фуражку. Это за мной, говорил он. — Да ведь он идёт в другую сторону. — Мало ли что, бережёного Бог бережёт, отвечал мой отец, и мы поскорей сворачивали за угол. Он говорил: они специально для этого существуют. Напрасно я твердила ему, что времена теперь уже не те, он только усмехался и кивал головой: дескать, знаем мы... Для него ничего не изменилось».

«Всех людей он делил на пьяниц, милиционеров и стукачей. Я засмеялась: “Так уж и всех?” — “В общем, да”. — “А я? К кому я отношусь?” — “Ты пьяница”. — “Да ведь я не пью”. — “Ты потенциальная пьяница. И можешь, — добавил он, — этим гордиться. Пьяницы — это единственные порядочные люди”. Может, он не так уж был неправ, как вы считаете?»

«Что касается милиционеров, то подразумевалась не только милиция, но и вообще любое начальство. Иногда он говорил просто: “они”. Они замышляют то-то, сделали то-то. Они — это секретари, директора, заместители, председатели, заведующие всё равно чем, или какая-нибудь, с выщипанными бровями ведьма в отделе кадров, какой-нибудь начальник станции или вагонный контролёр; все были заодно, и все против таких, как он. От всех надо было ждать, что они обязательно к чему-нибудь придерутся. Начнут проверять анкету, звонить, выяснять, водить носом. “У них, — говорил он, — знаешь, какой нюх?” Спасайся кто может. Они — как небо над нами, тяжёлое, всё в тучах. И в конце концов действительно получалось так, что все, от самых высших руководителей до мелкой сошки, были представителями какого-то вездесущего таинственного начальства, а самым зловещим, самым коварным и беспощадным начальником для моего отца был, наверное, Бог. Именно он “мешал жить”. Конечно, если бы у отца спросили, верит ли он в Бога, он бы только усмехнулся. Да и кто верит-то? Но на самом деле получалось, что как раз он-то больше всех и верил».

«Когда он поселился, мы условились, что он сам меня пригласит, он хотел осмотреться, хотел, чтобы люди в деревне привыкли к нему, а главное, привыкли к мысли, что он живёт на законных основаниях. В колхоз его, конечно, никто не гнал. Он умудрился кое с кем познакомиться. К моему удивлению, оказалось, что он звонит из сельсовета. Он договорился с председателем, за мной прислали машину на станцию. Я приехала к нему с полными сумками, но было видно, что он не голодает, в избушке тепло, перед домом поленница, он завёл себе собаку. Я устроила генеральную уборку, на другой день мы гуляли — чудная природа, и я благословляла судьбу, что он, наконец, нашел себе пристанище. С тех пор я навещала его, иногда с мальчиком; один раз, если помните, пришлось ехать к вам в больницу с нарывом на затылке. Мой отец был очень ласков с внуком, насколько он вообще был способен относиться к кому-нибудь ласково и без обычной своей подозрительности; ходил с ним по грибы, ловил рыбу — правда, ничего не поймали, — даже отправился с ним как-то раз на охоту с двустволкой, которую выменял у какого-то пьяницы. Всё напрасно: мальчишка так и не привык к нему, дичился; тут, я думаю, было сильное влияние бабушки. Моя мама была недовольна тем, что я поддерживаю отношения с отцом. А тут и зима подступила; я стала приезжать одна».

«Как она догадалась о том, что там назревало и должно было в конце концов случиться, ума не приложу, хотя, конечно, у баб на эти дела всегда тонкий нюх. Меня она всегда встречала недоброй улыбкой. Никогда не называла его своим мужем, и никогда не говорила: твой отец. “Ну как там твой?” И больше никаких вопросов не задавалось».

Дойдя до этого места, я почувствовал, что вот-вот произойдёт нечто важное — или уже происходит. Без шапки, в наспех наброшенном пальто я сбежал вниз и вышел на крыльцо. В дымно-чёрном небе кружились снежинки, всё чаще и гуще. Силеный снег медленно падал, первый снег, как в детстве, летел на ладонь и ресницы, снег лежал на земле, на ветвях, укутал крыши, тишина и покой простёрлись над всей округой, и сквозь мглу слабо светились огоньки больничных корпусов. И каким-то мороком показалась мне история, в которую я оказался втянут, хотя не имел к ней ни малейшего отношения. Далёкое апрельское утро, поездка с председателем, озеро в камышах, и сарай, и следователь, и закутанная в чёрный платок дочь, и казнивший себя, неизвестный человек, — всё как будто приснилось. Я поднялся к себе, лампа горела на столе, никакого письма не было. В растерянности, и в то же время чувствуя тайное облегчение, даже с каким-то злорадством, я озирался вокруг, заглянул под стол, чтобы убедиться, что там его нет. И в самом деле, ничего не увидел. Дьявол играл в прятки. Письмо лежало у меня в кармане.

«Однажды я приехала, как бывало нередко, на попутной машине, шла от деревни пешком, вхожу, он лежит на кровати. Я разулась, развязала платок, распаковала сумки. Он сказал: “Отдохни, приляг”. Я легла рядом с ним. Стала что-то рассказывать, он прервал меня. “Тут такая история, — сказал он. — Меня вызывали”. — “Кто вызывал?” Оказалось, мальчишка принёс повестку из военкомата. А до военкомата в район ехать и ехать. Мой отец пришёл в сельсовет, чтобы позвонить по телефону, спросить, в чём дело. Нет, сказали, это не военкомат, а вот вы тут подождите. Через два часа приехал какой-то начальник. Я уже объяснила вам, что для отца все были начальниками».

«Я спросила, о чём же его допрашивали. Нет, это не был формальный допрос, никакого протокола не составляли. С ним хотели побеседовать. “Ну, уж я-то знаю, что это значит, когда они говорят — побеседовать. Это даже ещё хуже, чем допрос”. Я спросила, почему. “Да потому, что они потом могут написать всё что хотят”. — “Но ведь и в протоколе можно понаписать что угодно”. — “Ну да... но можно всё-таки сопротивляться... не подписывать. А тут и подписи не надо. Побеседовали, и всё”. Я продолжала его расспрашивать, но он что-то скрывал. Так о чём же всё-таки беседовали? Кто это был? “Следователь, кто же ещё. Из района”».

«Я знала его мнительность, стала его успокаивать, говорила, что это ровно ничего не означает. Живёт посторонний человек, ползут разные слухи, надо проверить, что за личность, вот и всё. Знают ли они, что он вернулся из заключения? Спрашивали о паспорте, о прописке? Нет, не спрашивали, да и какая в этом медвежьем углу может быть прописка. О том, что он сидел, знают. Но это их не интересует. А

что же их интересует? Их интересует, посещают ли его родственники. Он ответил, что у него родственников нет. Но кто-нибудь всё-таки приезжает? Да, приезжает. Дочь. И всё? И всё. Я чувствовала, что он чего-то не договаривает».

«Дорогой доктор, вы, конечно, спросите: было или не было? Да, было. Не тогда, а позже. Я не могу сказать, что он меня изнасиловал или что-нибудь такое, всё произошло, как вообще всё происходит в жизни: помимо нашей воли. Но я забегая вперёд».

«Я долго не приезжала, мальчик снова болел, потом какие-то дела; он тоже не звонил; я забеспокоилась и позвонила сама в сельсовет. Мне ответили, что отец давно не показывался. Я приехала и спросила, в чём дело. Куда он пропал? Никуда не пропал. Просто не хотел меня видеть. Чем же я его прогневила? Ничем; у тебя, сказал он, своя жизнь. Мы немного прошлись, осень была в самом начале, он сидел на замшелом пне и строгал пруттик. Вечером мы поужинали, выпили водки, я спросила в шутку: наверное, он кого-нибудь себе нашёл в деревне? Давно пора».

«Кажется, к нему действительно какая-то подкатывалась. Мужчин вокруг почти не осталось, что тут удивительного. И я от всего сердца желала ему, чтобы жизнь его как-то устроилась. Но вдруг представила себе, как я приезжаю, а тут чужая тётка хозяйничает, — была бы я рада?»

«Он всегда уступал мне место на кровати, а сам укладывался на раскладушке. Было уже поздно, я вышла ненадолго, серебряная луна висела в пустом светлом небе, озеро блестело, всё как будто умерло вокруг, — ведь это и было то, о чём он мечтал? — вернулась в избу и в темноте наткнулась на пустую раскладушку. Я подумала, что он спит, может быть, прилёг и заснул ненароком, и стала раздеваться. Он окликнул меня. “Спи, — сказала я. — Я здесь лягу”. Немного спустя он снова меня окликнул, я уже лежала. Он спросил: “Ты спишь?” — “Сплю”. — “Я тебе кое-что хочу сказать. Я знаю, кто это написал”. Я молчала, потому что меня охватил страх».

«Я-то думала, что он давно забыл об этой беседе. Я и сама забыла. Но я не только сразу поняла, о чём он говорит, но и догадалась, кого он имеет в виду. Странное дело, я даже не очень была этим удивлена».

«Он сказал: “Она бросила меня во второй раз, и за это она меня ненавидит”».

«Тогда я спросила, откуда он знает, что это был донос. “Знаю”. Почему он думает, что это она написала? “А кто же?” Потом добавил: “Она сюда приезжала — на разведку”. — “Мать? приезжала?” — “Да”. — “Кто это сказал, её кто-нибудь видел?” — “Не знаю, может, и видели”. — “Откуда же это известно?” — “Ниоткуда. Можешь мне поверить. Она думает, что ты заняла её место, и ревнует. К своей же дочери ревнует бывшего мужа”».

«Между прочим, я в это поверила. Каким-то чутьём поверила, что так оно и есть, и даже не удивилась».

«Ты что, — сказала я холодно, — рехнулся? Ты это всерьёз?» Он ничего не ответил. Молча мы лежали в темноте, я на раскладушке, он на кровати, мне даже показалось, что он задремал. Вдруг он сказал: «Может, она права?» И добавил — как будто даже не ко мне обращаясь, а к самому себе: «А что же мне ещё остаётся?».

«Я спросила: “Что ты хочешь этим сказать?” — “То самое и хочю сказать. Подойди ко мне”. — “Можно говорить и оттуда”. — “Нет, ты подойди поближе”. Мой страх не проходил, наоборот, и я подумала, не уйти ли мне сейчас же. Мёртвый лес, луна. Я встала, собрала в охапку свою одежду. Он лежал на спине, глаза блестели в полутьме. “Ты куда?” — спросил он тяжёлым, хриплым голосом. Я забормотала, что мне надо ехать, срочные дела, совсем забыла... “Ты мне дочь? — спросил он. — Дочь должна слушаться отца. Подойди ко мне, ничего с тобой не будет...” Я подошла, с платьем, с чулками, со всем, что было у меня в руках. “Никуда ты не поедешь”. Я пролепетала: “Ты мне хотел что-то сказать?..” — “Сядь”. Я села на край кровати. Дорогой доктор, пожалуйста, очень прошу. Мы никогда больше не увидимся. Сама не знаю, зачем я это пишу. Порвите моё письмо, когда прочтёте».

«Он взял мою руку, положил к себе, и я почувствовала, как всё это чудовищно налилось и отвердело. Как я уже говорила, никакого насилия на самом деле не было; я ведь не девочка. Если бы не его смерть, если бы в самом деле дознались, притянули его к суду, я бы первая встала на его защиту. Когда он схватил меня своими руками, словно клещами, — он был сильный, жилистый, твёрдый, как железо, — и потянул на себя, я не сопротивлялась, сама я ничего не делала, но и сопротивления не оказала; я как будто околела. Он тяжело дышал, я даже спросила: “Тебе плохо?”, он не ответил, и потом это снова повторилось, и я совершенно обессилела — от разговора перед тем, как идти к нему, от внезапной бури, от всего. Мы оба были измучены и уснули, как мёртвые».

«А наутро... что же было наутро? Странно сказать — ничего особенного. То есть просто ничего: сели завтракать, он бродил где-то с собакой, потом обедали, потом я стала собираться... Я приехала к нему, как прежде, и жизнь шла совершенно так, как и раньше, с одной только разницей — мы стали мужем и женой. И всякий раз, когда я собиралась к нему, он ждал меня, как муж жену, и я ехала к нему, как жена к мужу. Раньше я даже представить себе не могла, что можно любить мужчину двойной любовью».

«Выходило, что моя мать просто накликала эту историю; и если так — я благодарна ей. Но после этого, когда всё произошло на самом деле, его больше никуда не вызывали. Кто-нибудь, может, и догадывался, — хотя в деревнях, к таким вещам, по-моему, относятся довольно равнодушно. После этого прошло сколько-то времени, никто нас не тревожил, мы даже осмелели, ходили вместе в деревню, ездили в Полотняный Завод. А однажды чуть не поссорились — до сих пор не пойму, из-за чего. Полили дожди, озеро вышло из берегов; слава Богу, избушка на пригорке, а то бы и нас затопило. Темно было, как вечером. Отец сидел перед печкой, отблески играли на его лице, и глаза светились жутким каким-то, тускло-жёлтым огнём, — или мне сейчас так кажется? Я позвала обедать. Он ни с места. Я подошла к нему, обняла, прижалась сзади грудью. Он сказал: “Я, конечно, понимаю”. Помолчал и добавил: “Понимаю, почему ты со мной”. — “Почему?” — спросила я. Он поднялся, мы стояли, не выпуская друг друга из объятий, не отрывая губ от губ, потом рухнули в постель — среди бела дня, так бывало уже не раз. Потом долго лежали, не говоря ни слова. Наконец, он сказал: “Это из жалости, да?..” Я ответила: “Печка сейчас потухнет”. Он встал, я посмотрела ему вслед и увидела, какой он длинный и тощий, с выступающим позвоночником. Он подбросил дров, закрыл дверцу, вернулся. “Ну что, — сказал он, — насмотрелась?”. Улёгся, и мы снова лежали рядом и молчали. “Дескать, вот он какой несчастный, дай-ка я его пожалею... Из жалости, да?” Я кивнула. “Вот, — сказал он, — я так и знал. Любить меня нельзя”. — “Нельзя”, — сказала я. Он ответил со злобой — и злоба эта вспыхнула так же внезапно, как перед этим желание: “На х... мне твоя жалость! Пошла ты со своей жалостью знаешь куда?” Мне не хотелось его раздражать, да и время шло, я собиралась ехать после обеда. “Всё остыло, — сказала я, — ты немного полежи, я подогрею”. Мне было приятно, что он на меня смотрит, я чувствовала, что его взгляд скользит по моему телу; позови он меня, я бы снова легла. Я подошла — он лежал, подложив под голову жилистые руки, — и сказала: “Да, ты прав. Ничего не поделаешь. Все мы такие. Жалость — это ведь и есть любовь. Сильнее любви не бывает, ты что, этого не понял?”». Он посмотрел на меня и сказал: “Катись ты, знаешь куда? С твоей любовью...”»

«В следующий раз — я теперь ездила к нему каждую неделю, и мне уже было всё равно, что подумает мама: догадалась, так догадалась, — в следующий раз застаю его спокойным, даже почти весёлым. Как вдруг он мне говорит: “Мне надо валить отсюда”. Я уставилась на него. “Уезжать, говорю, надо отсюда”. — “Куда?” — “Откуда приехал”. То есть как это, спросила я, что он там собирается делать? Он усмехнулся и сказал: “Надо возвращаться в родные места. А мои родные места — там”».

«Я встревожилась, но на мои расспросы — что случилось, снова написали, кто-нибудь вызывал его? — он только молча покачивал головой. Он взял мою руку в свои ладони. “Здесь не жизнь. А там... что ж, — он вздохнул, — там всё своё, всё знакомо. Кто там долго жил, тому расхочется выходить на волю, он попросту боится. Я тоже боялся. Мне предлагали остаться вольнонаемным. Куда, дескать, ты поедешь. Кому ты там нужен...”»

Я сказала: «Мне».

«Тебе? Может быть... Знаешь что? — проговорил он. — Я всё обдумал. Поедем со мной”. — “С тобой?” — “Ну да. И пацана возьмём. Никто там тебя не знает, заживём спокойно. Поженится: у тебя ведь материна фамилия. Не могу я здесь жить”, — сказал мой отец и вышел. Больше мы к этому разговору не возвращались, я так и уехала, вероятно, он ждал, что я сама заговорю, сама ему отвечу, — а что я могла ответить? Я его любила так, как никого не любила. Вам как медику могу сказать: он меня во всём устраивал. И даже если бы не устраивал, если бы не удовлетворял мои бабьи прихоти, я всё равно бы его любила. Но не могла же я с ним ехать Бог знает куда».

«Кроме того, мне казалось, что это у него такое настроение: нахлынуло и пройдёт. Я даже хотела предложить ему начать снова хлопотать, чтобы разрешили прописку в городе, написать заявление, сама бы занялась этим. И теперь думаю: какая прописка? Не в прописке дело. Я сама была виновата...»

Тут я услышал знакомый скрип ступенек, был первый час ночи. Меня вызывали. Привезли женщину с кровотечением. Моя жизнь продолжалась. Слава Богу, думал я, шагая в темноте и то и дело проваливаясь в сугробы. Перед задним крыльцом общего отделения стояла подвода, лошадь была вся белая. Снег сыпал и сыпал. Слава Богу: в запасе у меня есть две ампулы универсального донора; возможно, понадобится перелить кровь.

Похож на человека

«**В**от теперь совсем другое дело. Вот теперь ты похож на человека. А то скажут: откуда это он явился? Да ведь это какой-то уличный оборвыш. Костюмчик сидит хорошо. Да, — сказала она, — ты у меня, конечно, не красавец. Но знаешь, что я тебе скажу: внешность — это не главное. Есть такая поговорка: нам с лица не воду пить. Дело не во внешности, а в том, что у человека здесь, — и она постучала пальцем по его лбу, — вот это главное!»

Мальчик хотел спросить, если не имеет значения, какая у него внешность, то зачем нужно было так долго его разглядывать, вертеть

туда-сюда, одёргивать пиджак и поправлять пионерский галстук. Тем более что с такой внешностью всё равно ничего не поделаешь. С таким недостатком. Речь шла о самой малости, о ничтожном обстоятельстве, которое будто бы отличало его от других, тем не менее он никогда не рассказывал матери о том, что его ожидает, ведь это значило бы признать, что ничтожное обстоятельство на самом деле имеет огромное значение. Он выглянул из подъезда и убедился, что никого вокруг нет, одни прохожие. Но едва он добрёл до Кривого переулка, неся в обеих руках портфель и мешок с физкультурными тапочками, как раздался свист, тот самый свист, от которого всякий раз вздрагиваешь, как от удара бичом, издаваемый особым способом: пальцы в углах рта, нижняя губа поджата, глаза выпучены и вращаются в орбитах. Свист, не оставляющий сомнений в том, для кого он предназначен. Говнюк прятался в подворотне. С такими людьми ни в коем случае нельзя связываться: замахнёшься на него, выйдет верзила. Мимо прошагал дядька в сапогах. Ученик ускорил шаг и догнал прохожего, чтобы казалось, что они идут вместе. Тот пошёл медленней, очевидно, думая, что мальчишка хочет его обогнать. Впереди был самый опасный двор, но прохожий неожиданно вошёл в подъезд. Мальчик остался один, брёл вдоль облезлых домов с полуразрушенными подъездами, с пыльными окнами и железными створами ворот; угадать, глядя на эти дома, кто там живёт, было так же трудно, как прочесть прошлое на лице старика.

Он уже миновал опасную зону, когда засвистели снова. Коротышка в широченных штанах, с непросыхающей верхней губой, с лягушачьим ртом, куда он засунул чуть ли все пальцы, выкатился из подворотни, вслед ему откуда-то донёсся другой свист, и радостный вопль прокатился по переулку. Главное — не оглядываться.

Не оглядываться, делать вид, что ничего не видишь и не слышишь. Мешок с тапочками бил его по ногам, в затылок попали из рогатки, но ничего страшного не произошло. Он вошёл в школьный вестибюль, уже опустевший, где на высоком, выкрашенном под мрамор постаменте помещался алебастровый бюст Вождя с девочкой на руках. В классе большинство уже сидело на своих местах, дежурный возил мокрой тряпкой по доске. Некто с медным от веснушек лицом, огненноволосый, шатался между партами. «Ты! — сказал он, подойдя к ученику, сидевшему, как все, рядом с девочкой: это была мера для предотвращения разговоров на уроке. — Линейка есть? Дай линейку». Мальчик вынул линейку. «А румпель-то стал ещё длинней, — сказал парень по кличке Пожарник, — дай померяю». Кругом захихикали. «Сука буду, — продолжал рыжий Пожарник, стяжавший славу и популярность своим остроумием, неистощимой изобретательностью и тем, что он в каждом классе оставался на второй год. — Вчера был на сантиметр короче». Громовой смех встретил эти слова,

а соседка с презрительной жалостью поглядела на мальчика. «Учила-ка!» — крикнул кто-то. В класс вошла учительница. Все вскочили. Учительница покосилась на доску, где тряпка оставила размашистые белые разводы, уселась за стол и раскрыла классный журнал; началась переключка, фамилии школьников звучали словно впервые; в сущности, они были забыты, вытесненные прозвищами.

Нос был вынужден выйти со всеми в коридор, во время перемены оставаться в классе не разрешалось, за этим следил дежурный. В коридоре висела большая картина: легендарный комдив Чапаев в меховой бурке и заломленной папахе, с саблей, на боевом коне. За окном внизу находился школьный двор, но туда идти было незачем. Стоит только выйти, как всё начнётся снова. Он стоял в своём новом костюмчике перед подоконником, как бы отгороженный запретной полосой. Кругом всё галдело и скакало, и если бы он присоединился к другим, то, возможно, оказалось бы, что запретной полосы не было, но она существовала оттого, что он не мог присоединиться, и с этим уже ничего невозможно было поделать. От него отшатнулись бы, как от заразного больного. И прекрасно. Он надеялся, что о нём позабыли. Первая перемена прошла благополучно.

Урок не интересовал его; он сидел, глядя прямо перед собой, по привычке следя одним ухом за происходящим, как собака, погружённая в дрему, улавливает звуки вокруг, и мог бы при необходимости ответить на вопрос учительницы; но мысли его были далеко. На большой перемене он снова занял позицию у подоконника, напротив Чапаева, развернул бумагу с бутербродом, следя за тем, чтобы масляные крошки не упали на костюм; в эту минуту кто-то невзрачный, малявка из младшего класса, подошёл к нему и велел идти туда. «Куда?» — спросил Нос. Малыш показал в конец коридора. Нос отправился, с надкушенным бутербродом, по коридору и вышел на лестничную площадку, там стоял конопатый Пожарник. «Ребя, кого я вижу, — закричал Пожарник, как будто они увиделись впервые. — А вырядился-то. Ты смотри, как вырядился. Куда, — сказал он, преградив дорогу Носу, повернувшись, чтобы уйти, — нам поговорить надо. Это у тебя чего? Дай куснуть». Мальчик молчал.

«Ну дай, — лениво сказал Пожарник, — чего жмотничаешь-то».

Он вышиб из рук мальчика кусок бутерброда, протянутый ему, и приказал: «Подними».

Нос оглянулся, они стояли вокруг. Он поднял с пола бутерброд и протянул Пожарнику.

«Сам уронил, сам и жри», — молвил Пожарник.

С третьего этажа спускалась учительница. «Мальчики, вы что тут?»

«Да ничего, — сказал бодро Пожарник. — Мы гулять идём, ещё десять минут осталось».

«Брось, Пожарник, чего пристал к пацану», — произнёс властный голос за спиной у Носа, выступил человек по имени Бацилла и отодвинул рыжего Пожарника, который без слов подчинился. Нос держал в руках разломанный пополам бутерброд. Человек подошёл вплотную.

«Ну-ка, — сказал он, — повернись к свету».

Мальчик озирался.

«Маму твою туда-сюда, ну и рубильник», — задумчиво сказал Бацилла и покачал головой. Все заржали. Бацилла медленно занёс руку, дёрнулся, заставив мальчика отшатнуться, и, как ни в чём не бывало, почесал у себя за ухом; это был старый фокус, неизменно удававшийся.

«Ты откуда такой взялся с таким носярой, — продолжал Бацилла, — дай-ка подержусь». Мальчик стал отступать и получил от кого-то сзади подзатыльник. Он обернулся, все стояли с невозмутимым видом, один уставился в потолок, другой смотрел в сторону. Нос взглянул на Бациллу, тот пожал плечами, и тотчас кто-то огрел мальчика по уху. И снова все смотрели, скучая, мимо него. Эта игра повторилась несколько раз, в конце концов он свалился на пол и закрыл голову руками. Тут зазвенел звонок. Для порядка его пнули раза два ногами. Он услышал, как они убежали, поднялся и отряхнул костюмчик. Когда он вошёл в класс, классная руководительница — это был её урок — уже стояла за своим столом и, очевидно, ждала его. Она даже не сделала ему замечание. Он пробрался на своё место. Похоже было, что девчонки о чём-то донесли. Не глядя на него, она сказала:

«Дети, вы должны знать. У каждого человека может быть какой-нибудь физический недостаток. Но это не значит, что...» Мальчик не слушал, его мысли были далеко. На уроке физкультуры его тапочками играли в футбол. Дома мать всплеснула руками, увидев пятна. Знает ли он, спросила она, сколько стоил его костюмчик? Мальчик сидел над раскрытой тетрадью и думал о том, как он завтра придёт в школу и молча сядет на своё место, и никто не будет знать о том, что произошло, никто даже не догадается до тех пор, пока рыжий не подкатится, как обычно, чтобы начать издеваться над ним, и как он не спеша встанет и, не глядя, не сказав ни слова, размахнётся и врежет между рог, так что Пожарник полетит на землю вверх тормашками у всех на глазах; как этот Пожарник поднимется с пола, с глазами белыми от ярости, и бросится на него, и получит снова. И лишь тогда все поймут, что никто с ним больше ничего не сможет сделать, потому что мальчик одет с головы до ног в невидимые латы. И в этих латах он выйдет на школьный двор и встретит там Бациллу, Хиврю, гнилоглазого Лёнчика и других. Мать увидела, что тетрадь пуста, и сказала, что уже девять часов вечера.

После этого прошло несколько дней, и однажды соседка по парте — помнится, её фамилия была Осколкина — сказала: «А я знаю, кто это сделал». Произошла сенсация. Явились рабочие с лесенкой. Народ

толпился вокруг. Картина с Чапаевым была снята со стены, её несли по коридору. На носу у героя гражданской войны красовались очки, к усам были добавлены лихо закрученные продолжения, изо рта торчала длинная изогнутая трубка, дымящая чёрным дымом, как паровозная труба. И в довершение всего бешено скачущему коню был пририсован углём внушительных размеров детородный член. Посреди урока в класс вошёл завуч, мы, сказал он, это так не оставим, мы выясним, чьих это рук дело. «Если, — продолжал он, — виноватый сам не сознается, то значит, он трус и недостоин звания юного пионера». Все молчали. «Я жду», — сказал завуч. Он добавил: «Я хочу, чтобы вы все поняли. Это уже не просто хулиганство, а политическое преступление. Пусть тот из вас, кому известно, кто это сделал, встанет и скажет».

«Откуда это ты знаешь», — мрачно сказал Нос. Уроки кончились, так получилось, что они вышли из школы вместе.

«Знаю, — сказала девочка. — Только не скажу».

«Значит, не знаешь».

«А я видела».

«Кого это ты видела». Случай с Чапаевым почему-то произвёл на него сильное впечатление и возбудил мысли, ещё не ясные ему самому.

После некоторого молчания она заметила:

«Можешь меня не провожать».

«А я и не собираюсь тебя провожать», — возразил он.

«Я с такими не вожусь».

Он пожал плечами. Дошли до поворота, она должна была свернуть направо, а ему предстоял путь по Кривому переулку, который мальчик переименовал в Магелланов пролив. Там, на скалистых берегах, горели зловещие огни, дикие племена следили за мореплавателем.

«И вообще, — сказала девочка по фамилии Осколкина, — это не метод».

«Что не метод?» — спросил Нос.

«Не метод борьбы», — сказала она и побежала домой. Ночью он плохо спал, не мог понять, где он, просыпался, но думал, что всё ещё спит, у него произошла эрекция, он смотрел на коня, который выставил напоказ своё приобретение, раскорячив задние ноги и задрвав хвост, дело происходило, как выяснилось, в их переулке. И в то же время этой был другой переулок.

В школе продолжалось следствие по делу о Чапаеве, многих вызывали к директору, дошла очередь до него. Директор был мал ростом, казался хилым рядом с могучим завучем, носившим прозвище Гишпопатам, и говорил тихим, ласковым голосом. «Мы знаем, что это не ты, — сказал директор. — Ты этого никогда не сделаешь, мы знаем. И даже больше того, прекрасно знаем, кто совершил этот акт надругательства. И ты, конечно, тоже знаешь. Ведь правда же? Мы

знаем, что ты знаешь. Так что никакого секрета ты нам не откроешь, если скажешь, кто он. И никто не будет говорить, что ты наябедничал». — «Это твой долг. Ты обязан сказать», — прибавил басом Гипопотам. «Андрей Севастьянович, зачем уж так на него наседать. Мы никого силой не заставляем. Хотя можно применить и более строгие меры. Тот, кто отказывается изобличить преступника, тот сам становится соучастником. Так как же? — сказал директор. — Я жду». Он вздохнул. «Значит, будем играть в молчанку. Ну что ж! Ты сам об этом пожалеешь». Вместо Чапаева никого не повесили, позже, кажется, картина была реставрирована, но память не сохранила подробностей, так или иначе, они уже не имели значения.

Следующий день не принёс ничего нового, его втолкнули в девчачью уборную, не давали выйти, это была сравнительно безобидная выходка. Ясно было, что они напрягают фантазию, чтобы изобрести что-нибудь поинтересней. После уроков его поджидали у ворот. Не надо было выходить, чтобы убедиться, что его ждут, он это знал заранее. Знал, что они дадут пройти мимо, а потом кто-нибудь громко сплоннет, окликнет его ласковым голосом, кто-нибудь скажет удивлённо, как будто только сейчас его заметил: «Паяльник. Не, мужики, бля-буду, это Паяльник!» Он притворится, что никого не видит и не слышит, но перед ним встанет слюнявый гнилоглазый Лёнчик. Ему защипнут нос двумя пальцами и начнут водить взад-вперёд под общий гогот. Потом кто-нибудь сделает вид, что хочет схватить у него между ногами. Расставит два пальца и ткнёт ими, как бы собираясь выколоть глаза. И он уже слышал, как всё кругом ревели и пело:

«Паяльник!»

«Рубильник!»

«Румпель!»

«Руль!»

Почему эта малость имела такое огромное значение? Очевидно, она должна была что-то означать, служила доказательством чего-то. Иногда он тайком гляделся в зеркало, старался увидеть себя в профиль и выпячивал губы, чтобы сделать её незаметней. Он убеждался, что это не малость. Уборщица прогнала его из класса. Мальчик стоял у окна в пустом коридоре. Уборщица прошагала мимо с ведром и шваброй, он дождался, когда она войдёт в учительскую, влез на подоконник и отвернул верхний шпингалет, внизу был школьный двор. Он оглянулся — уборщица стояла в дверях учительской и восхищённо смотрела на него. Он раскинул руки, прыгнул и полетел, сначала над двором, перемахнул через крышу, сделал круг и увидел под собой ворота, там стояли Пожарник, Лёнчик, ещё кто-то, у всех разинуты рты от удивления. Нос парил над школой, внизу собралась толпа; он жалел о том, что не захватил

с собой что-нибудь такое, но тут очень кстати оказалось под рукой ведро, принадлежавшее уборщице, и он вылил грязную воду на голову Пожарнику, а сам полетел дальше.

Неожиданно подошла Осколкина — откуда она взялась? — и сказала, что знает, как выйти из школы так, чтобы никто не заметил. Она сама много раз так выходила. Зачем, спросил мальчик.

«Так. Для интереса».

Она добавила:

«Мало ли что. Может, пригодится».

По чёрной лестнице спустились в подвал, всё оказалось очень сложно и очень просто, она нащупала выключатель, с силой толкнула забухшую дверь, они поднялись по крутым ступенькам наверх и неожиданно очутились где-то на задворках; как назывался этот переулочек, сейчас уже невозможно припомнить.

«Можешь не волноваться, — сказал Нос, — я тебя провожать не буду».

«А я и не волнуюсь. Что, испугался?» — спросила она.

«Мне на них наплевать. Я всё равно уйду из школы». Эта мысль внезапно пришла ему в голову, как все замечательные мысли, и он решил обдумать её на свободе, в спокойной обстановке. Но сейчас он подумал, что девчонка смеётся над ним исподтишка, над ним невозможно не смеяться, подумал, что ей будет стыдно, если кто-нибудь их увидит, и сказал:

«Слушай. А чего ты ко мне вяжешься?»

«Дурак. — Она обиделась. — Вовсе я к тебе не вяжусь. На кой ты мне сдался?»

«Так бы сразу и сказала».

«Ему, дураку, помочь хотят, а он...»

«Ну и пошла подальше», — сказал мальчик.

Он вернулся домой позже обычного, а на следующий день заявил матери, что больше не пойдёт в школу.

«Как это так, не пойду?» — возмутилась она.

«А вот так. Не пойду, и всё».

«Пойдёшь, как миленький».

Он презрительно усмехнулся.

«А в чём дело?» — спросила она.

Он ответил: ни в чём.

«Ты от меня что-то скрываешь. Ты знаешь, — спросила она, — что значит быть человеком без образования?»

Нос пожал плечами.

«Ты хочешь мести улице. Хочешь пасти свиней. Ты добиваешься, — сказала мать дрогнувшим голосом, — чтобы я всю ночь не спала, плакала и завтра пошла на работу с головной болью».

На этом разговор прекратился, вечером она увидела, что он делает уроки, и промолчала. Мальчик сидел над тетрадями, но в действительности умел делать несколько дел сразу. Он думал о том, что подвал может пригодиться и вообще этот способ — подарок судьбы. Да, большие идеи приходят в голову внезапно. Его жизнь обрела смысл.

Тщательная конспирация есть закон и залог успеха; все последующие дни он был занят продумыванием подробностей, нужно было предусмотреть все неожиданности. Но тут ему пришла в голову гениальная по своей простоте мысль, что разыскивают лишь того, кто скрывается. Тот, кто действует открыто, не вызывает подозрений. Инстинкт подсказал ему меру необходимого соотношения осторожности и отваги. В школе открылся буфет, мать выдавала ему деньги, но надо было быть последним идиотом, чтобы стоять в очереди, в толпе голодных и галдящих учеников, вообще туда ходить. Не говоря о том, что у тебя могли в любую минуту вышибить из рук завтрак, сбросить на пол тарелку, выхватить из рук бутерброд. Так ему удалось в короткое время скопить достаточную сумму. С плетёной бутылкой он отправился в лавку и закушил необходимое. Расчёт был правильный: никто не обратил на него внимания, когда спокойно и чинно он нёс бутылку — разумеется, не по Кривому, а по тому самому переулку, в котором они тогда оказались с Осколкиной. Накануне решающих событий, на уроке, Нос поглядывал на училку, на других, видел огненно-рыжую голову Пожарника, сидевшего впереди на первой парте, как положено второгоднику, и ощущал себя господином жизни и смерти. Тайна вознесла его над всеми. С соседкой он не заговаривал, хотя ему очень хотелось её удивить.

Так и подмывало сказать ей: а вот завтра кое-что увидишь. Нет, — и он сделал бы вид, что раздумывает над окончательным решением, — нет, послезавтра. Она спросила бы с равнодушным видом: что увидишь?

Такое, ответил бы он, что ты никогда в жизни не видела.

Тут она перестала бы притворяться. Что ты задумал? Скажи мне одной! — вскричала бы она.

Сама увидишь.

Нос подумал, что, пожалуй, стоило бы предупредить её в последний момент, но как это сделать? На уроке он отпросился в уборную, чтобы провести последнюю рекогносцировку. Тут он понял, что риск всё же велик. Он засёк время на больших часах, висевших в коридоре, спустился, поднялся, вся операция должна была занять от пяти до семи минут. Когда прозвенел последний звонок, он подошёл к классной руководительнице, держась за щеку, и предупредил, что завтра, наверное, не придёт в школу. Зубной врач положил ему мышьяк, чтобы убить

нерв, но боль становится всё сильнее, он даже не знает, дотерпит ли он до завтра. Она подозрительно взглянула на него, принесёшь, сказала она, справку от доктора.

Жди, думал мальчик, тебе она всё равно уже не понадобится.

Но Осколкину всё-таки надо было предупредить. Он догнал её. «Слушай, — сказал он. — Только поклянись, что никому не скажешь. Клянёшься?»

Она воззрилась на него, сделав круглые глаза.

«Клянёшься?» — спросил Нос.

«И не подумаю, — сказала она презрительно, — чего это я буду клясться».

«Ну, не хочешь, как хочешь».

«Сначала скажи».

«Дура. Это в твоих интересах».

«А в чём дело?»

«Я завтра не приду», — сказал Нос, подумав.

«Ну и что?»

«Мне к зубному надо. Он мне мышьяк положил, сволочь».

Несколько времени шли молча. У поворота она сказала: «Ну, я пошла».

«Ты тоже завтра не приходи», — сказал мальчик.

«Чего это?»

«Я говорю, не приходи, поняла? Сиди дома. Вопросов не задавать».

И он зашагал прочь.

Он расстрелял взбунтовавшуюся команду и приказал сжечь мятежное судно. Дождавшись весны, он вышел на оставшихся трёх кораблях из устья Параны и двинулся на юг, не теряя из виду берег, в уверенности, что найдёт проход к океану, и в самом деле достиг пролива, и дал ему своё имя. И когда, наконец, после долгих блужданий, под неусыпным надзором враждебных плёмен, засевших в ущельях, корабли Фернандо Магеллана прошли сквозь пролив, перед ними открылся спокойный, бескрайний океан.

Мальчик вышел из дому раньше обычного времени, с портфелем и мешком, в котором лежали физкультурные тапочки, во избежание дорожных инцидентов сразу выбрал окольный путь, вышел к Чистым прудам, пересёк трамвайную линию, побродил по дорожкам безлюдного бульвара, несколько позже его можно было увидеть перед особняком латвийского посольства, он стоял, любуясь замысловатым гербом на дверях. Было всё ещё рано. В половине девятого он оказался на задворках, отсюда было слышно, как в школе прозвенел звонок. Ошалелый школьный звонок, одно из худших воспоминаний жизни. Нос прошёл, держась у самой стены,

к низкой железной двери и спустился в подвал. Чувство времени руководило им, как если бы в мозгу у него работал хронометр; в восемь часов сорок пять минут он прикрыл за собой дверь подвала и стоял в самодельной маске, которая завязывалась сзади верёвочкой, на площадке перед лестницей, прислушиваясь к звукам наверху. Некто, его направлявший, инстинкт-хронометр, подал сигнал, и тотчас Нос пошёл вверх по ступенькам, держа в одной руке плетёную бутылку, в другой портфель и мешок с тапочками, и взглянул в коридор, после чего сложил свои вещи на пол и облил их. Всё так же спокойно, с ровно и точно работающим механизмом в мозгу, он шёл, наклонив бутылку, по коридору, пока не кончился керосин. С бутылкой нечего было делать, он оставил её на подоконнике. Затем он вернулся к чёрному ходу, вынул заранее приготовленный бумажный жгут, чиркнул спичкой и, швырнув жгут в коридор, бросился вниз по лестнице в подвал, сорвал с лица маску, выскочил наружу, не теряя времени, чтобы не пропустить волшебное зрелище, обогнул квартал; несколько минут спустя он чинно шагал обычным своим путём со стороны Кривого переуллка к воротам школы.

Тут его постигло великое разочарование. Ничего не было. Ничего не происходило, окна школы блестели на солнце, подъехал с урчанием гру-зовик, шофёр высунулся из дверцы, кто-то там отворял створы ворот и пререкался с водителем. Издалека послышалась сирена. Нос взгляделся и чуть не завопил благим матом от радости: в окнах первого этажа дрожало пламя! Сразу в нескольких окнах, и там, и здесь. Ему хотелось прыгать, плясать. Вместо этого он стоял на тротуаре, на противоположной стороне, и, слегка прищурившись, с каменным лицом наблюдал за происходящим. Горел весь нижний этаж, и, значит, им всем на втором и на третьем уже не спастись. Посыпались стёкла, кто-то выбежал из подъезда, люди метались по двору, красная пожарная машина никак не могла въехать, грузовик толчками выдвигался из ворот, вторая машина стояла посреди переуллка, пожарные разматывали шланг. Между тем густой чёрный дым валил из окон второго этажа. Толпа обступила мальчика, он протиснулся вперёд, милиционеры оттесняли зевак с мостовой, вой сирен заставил всех повернуться. В конце переуллка из-за угла вывернули ещё две машины. Санитары с носилками проталкивались между людьми в касках и брезентовых робах, чей-то начальственный голос командовал в мегафон. Нос выбрался из толпы. Он шагал, сунув руки в карманы, перешёл трамвайную линию, миновал бульвар, шествовал по Покровке, шёл без всякой цели, глядя перед собой, сумрачный, одинокий, как адмирал, свободный, не нужный никому и ни в ком не нуждающийся.

Станция

Сцены захолустья

Действующие лица:

Начальник
Жена начальника
Кассирша
Степанида, уборщица
Стрелочник
Шофёр
Проезжающий путешественник

I

Пассажи́р, приехавший на попутной машине, сунул деньги шофёру и потащил к крыльцу свой чемодан, изогнувшись и оттянув свободную руку для противовеса, — так несут полное ведро. Шофёр смотрел ему вслед с некоторым скептицизмом. Солнце било в затылок путешественнику, тень от чемодана вползла на ступеньки; миновав короткий коридор, он ввалился в зал ожидания.

Он слегка запыхался. Глаза его отыскиали круглый циферблат, единственное украшение голых и ободранных стен. Кроме того, висела доска объявлений с обрывками плакатов и расписанием поездов; над доской вывеска:

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ВОРОВ.

Пассажи́р воззрился на это предупреждение. Несколько времени он созерцал загадочную планету на стене, переводил взгляд с циферблата на свои часы, наконец, постучал в окошечко кассы.

«Вы что, — был ответ, — не видите, что ли?..»

«Но ведь они стоят!»

В кассе повозились, но ничего не ответили. Пассажи́р растерянно озира́лся: в зале было сумрачно, вдоль стен стояли пустые скамьи, лишь на одной спал ничком, свесив руку до пола, старый человек в рваном ватнике и валенках, вдетых в красные галоши. В сером сумраке галоши багровели, как символ, ожидающий разгадки. И всё время, пока он стоял и смотрел по сторонам, часы словно стучали у него в мозгу — это в пустом и мёртвом зале ожидания билось живое сердце пассажира.

Он решился вновь нарушить молчание.

«Скажите, пожалуйста. Поезд идёт по расписанию?»

Скрипучий голос проворчал:

«По расписанию, по расписанию...»

«Чудеса», — подумал пассажир, купил билет, перевёл часы у себя на руке и уселся досиживать полчаса. От нечего делать он изучал спящего бродягу, который вызывал у него, как и вся станция, презрительную жалость: ещё немного, и всё это останется позади, сотрётся в памяти. Фигура терпеливо ожидающего путешественника выражала готовность подчиниться порядку. У ног его стоял чемодан. Пассажир сосал карамель. Носки лакированных туфель выстукивали маршеобразный ритм. Вдруг он вскочил.

«Да не идут они, я же вам говорил!»

Там снова зашевелились, бормоча что-то. И, кажется, была даже произнесена целая фраза: «Ах ты, Боже ты мой...» Появилась кассирша, сгорбленная старуха; путешественник смотрел, как она вскарабкалась на свободную скамейку, передвинула длинную стрелку часов вперёд и, уцепившись за спинку скамьи, собралась слезть; он подбежал помочь.

«Идут... сейчас пойдут... — бормотала она, — придёт твой поезд, никуда не денется».

«Вы уверены?» — спросил он и вышел с багажом на перрон, ждать оставалось недолго. Стройный, нездешний, он обрисовался на вечернем тускнеющем небе — образ одинокой юности, у которой нет прошлого и всё впереди. И он уже слышал осторожное подрагивание рельс, и различал, склонясь над краем перрона, в входящем диминуэндо рельс белёсую прядку дыма на горизонте. За спиной пассажира, над дорогой в будущее, пылал зелёный глаз светофора. Путь открыт! Он заметался по пустынной платформе, пять шагов вперёд, пять назад, мимо стоящего наготове чемодана, выбивая пальцами быстрые гаммы по лацкану своей курточки.

И всё же он не дождался поезда, без толку прошагал туда-сюда добрых пятнадцать минут, и ещё пятнадцать минут, и воротился в зал ожидания, обескураженный, оскорблённый. Часы на стене показывали всё то же время.

Это было неслыханно. Над ним смеялись!

II

Пассажир решил немедленно идти к начальнику станции. Дверь начальника находилась в коридоре, рядом с дверью кассы. Начальник сидел за столом под портретом руководителя страны и диаграммой, изображавшей выполнение плана. Начальник поднял голову от бумаги, снял очки. Но видно было, что он уже знает о случившемся: он слушал и одобрительно кивал большой головой. Голова напоминала лягушачью.

Впрочем, он был искренне возмущён.

«Стараетесь, гнёшь спину с утра до ночи, а что получается? Безобразия такое, что дальше некуда. Всецело разделяю ваше неудовольствие. Но вы, пожалуйста, не волнуётесь. Сейчас я всё выясню». И он протянул руку к телефонному аппарату.

Трубка молчала. Начальник стучал по рычажку. «Отключили. Это бывает».

Он возвысил голос: «Люба!»

«Позвольте, — пассажир встал. — Я позову. Кого позвать?»

«Что вы, что вы!» — замахал руками начальник. И в голосе появились долгожданные квакающие интонации.

Наступила пауза; путешественник, словно вопросительный знак, стоял, склонившись, в ожидании дальнейших действий. Между тем начальник станции как человек, не привыкший попусту тратить время, занимался перебиранием бумаг; наткнувшись на очки, надел, увидел, что отобрал не то, что нужно, и отодвинул отобранное, остальное подвинул к себе, чтобы перелистать заново.

«Да что же вы стоите, — ласково, подняв глаза от документов, заметил начальник и нагнулся было пододвинуть стул, но не рассчитал своих сил и чуть было не свалился с кресла; пассажир вовремя поддерживал его, перегнувшись через стол.

«Благодарю, — сказал начальник, — не часто приходится встречать такое понимание у современной молодёжи. — Этот маленький эпизод укрепил атмосферу взаимопонимания. — Вы не курите? Это хорошо. У меня на станции никто не курит. Жена, — он повернулся и постучал о стенку, — не выносит дыма».

Пассажир, улыбаясь, предложил начальнику карамель.

«О нет, спасибо. Вы очень любезны. К сожалению, мне нельзя сладости, у меня диабет».

«Что я хотел сказать, — продолжал начальник. — Возможно, они изменили расписание поездов; но тогда им следовало нас предупредить, мы-то продолжаем работать по старому расписанию. Поэтому, когда вы будете подавать жалобу, обязательно сошлитесь на ныне действующее расписание — это внесёт в дело необходимую ясность. Хотя я лично давно уже предлагаю установить новый порядок подачи жалоб и предложений...»

Пассажир спросил, почему в зале не ходят часы.

«Как! — сверкнул очками начальник. — Это безобразие. Сегодня же заведующая кассой получит выговор».

Пассажиру стало совестно, что он наябедничал на старую женщину, он счёл своим долгом вступиться. Он сам видел, как трудно было ей влезть на скамейку. Начальник станции предложил вернуться к делу.

Он ещё раз постучал в стенку; наконец, взошла жена начальника. Посетитель встал. Начальник представил молодого человека и выразил сожаление о предстоящем скором расставании.

«Простите, не знаю, как вас зовут...»

Пассажиры с гордостью произнёс свою фамилию — длинную и звучную, похожую на псевдоним писателя или оперного певца.

Супруга начальника промолвила:

«Очень приятно».

Она была невысокого роста, светлоглазая, в меру полная, много моложе начальника.

«Люба, — спросил он нежным голосом, — что, машина приехала?»

«Приехала».

«Хм, никто не находит нужным мне доложить. Привезла? Боже мой, что же ты молчишь! — Начальник ликовал, потирал руки, переводил увеличенный очками сияющий взгляд с жены на пассажира. — Завтра с утра отрядить Степаниду, пусть поможет разгружать. Теперь вздохнём. Вы не представляете себе, — он отнёсся к пассажиру, — как трудно работать, не имея в достаточном количестве бланков и писчей бумаги. А если ещё вдобавок изменили расписание... вы просто не представляете себе, какая это морока».

«Почему же морока?» — спросил пассажир.

«А как же. На железной дороге должна быть точность. Опоздал на минуту — и всё летит кувырком».

III

Пассажир отлично выспался в зале ожидания, где по этому случаю подмести пол и стёрли пыль с подоконника. Степанида постелила ему на лавке, старик в красных галошах исчез, не дожидаясь, когда его попросят освободить место. Утро было прекрасное. Молодой человек сидел на своём ложе; из окна потоп света лился ему под ноги. Ему расхотелось писать жалобу; ясно было, что пока она дойдёт до нужных инстанций, он уже уедет. Оставлять же по себе недобрую память на станции не хотелось. Выяснилось также, что причиной опоздания была поломка пути где-то недалеко. Но меры были приняты, аварийная бригада спешно заканчивала ремонт.

Пассажир умылся, закусил дорожными припасами. Потом, утвердив перед собой чмодан, разложил учебники. Но можно ли было сидеть в такое утро! И он побросал назад свои книжки и, сладко зевнув, потянувшись, рассмеялся счастливым беспричинным смехом. Взад и вперёд, от одного конца платформы до другого он бродил, не зная, что делать со своим молодым телом, чувство было такое, словно идёт он по

берегу и жизнь расстилается перед ним, как солнечный след на воде. Побежать вперёд, сигануть в воду и плыть, зажмурившись, навстречу золотистой заре.

Но жизнь вокруг не спешила придти в движение. Было очень тихо. Он вернулся в зал ожидания. Старуха кассирша, которая так и не покидала с вечера свою келью, сообщив о ремонте, затворилась и не производила более ни звука. Часы на стене показывали вчерашнее время. Приезжий следил за жирной мухой, не знавшей, куда себя деть. Пришла Степанида, молча свернула постель; молодой человек проводил взглядом её плотную фигуру. Сколько-то времени прошло, прежде чем движение за окном, обрывки фраз, шарканье сапог возвестили о начале рабочего дня.

Солнце уже не било в окно острым, как стрела, лучом, а дышало с высот бледным зноем; голоса людей глохли в мареве, шаги двигались с трудом, как лапки насекомых в растопленном масле. Хорошо бы сейчас прилечь где-нибудь в холодке, на воле. Он топтался в коридоре. Внезапно входная дверь, в которую он ввалился вчера с багажом, распахнулась, нечто массивное вдвинулось и загородило проём; это была спина шофёра, затылок его был красен от напряжения, облепленные засохшей грязью сапоги пятились. Он нёс кресло, а в кресле сидел начальник станции. Начальник приветствовал пассажира, подняв форменную фуражку. Сзади видны были плечи Степаниды, державшей кресло с другой стороны. Жена начальника, шедшая следом, наблюдала за тем, чтобы ножки не зацепились за дверные косяки. В отличие от начальника, не перестававшего улыбаться широким ртом и кивать пассажиру, выражая ему всяческую симпатию, она даже не взглянула на гостя; ему показалось, что она пристыжена разоблачением домашней тайны; очевидно, ей мнилось что-то почти оскорбительное в том, что она, молодая и полная соков женщина, вынуждена сопровождать эту процессию, и особенно в том, что муж ничего этого не чувствовал и в своём безмятежном эгоизме инвалида не догадывался, как неловко ей перед чужим человеком. Она сделала вид, что не заметила пассажира, и с досадой и преувеличенным старанием бросилась помогать Степаниде, когда кресло застряло в дверях.

Пассажир, ошеломлённый, не мог оторвать глаз от неожиданного зрелища. Он понял, отчего начальник вчера, желая придвинуть стул просителю, чуть не упал: ниже таза у него ничего не было, начальник был без обеих ног. Так он проехал, улыбаясь и покровительственно кивая лягушачьей головой, и жена, державшая дверь кабинета, пока в неё протискивалась неуклюжая, с широким основанием, фигура Степаниды, отпустила, наконец, ручку. Дверь захлопнулась, они остались вдвоём. Супруга начальника стояла в замешательстве, не решаясь ни вернуться в кабинет, где ей полагалось бы сейчас присутствовать, ни удалиться прочь.

«Вы знаете... вам говорили?» — пролепетала она, желая, по видимому, сгладить неловкость внезапного тет-а-тет.

«Да, да, — спохватился пассажир, — это, конечно, травма? Несчастный случай? Конечно, при исполнении служебных обязанностей».

Она кашлянула. «Я не об этом. — Молодой человек понял, что совершил бестактность. Голос жены начальника зазвучал уверенней. — Вам говорили, что вы должны подать заявление?»

Оба все еще находились в служебном коридоре; на минуту дверь кабинета приоткрылась, шофёр и уборщица направлялись к выходу. Из кабинета раздавались глухие удары пресс-папье. Начальник был во дружён на место и принялся за работу.

«Муж забыл вас предупредить. Вам нужно написать заявление, и чем быстрее, тем лучше... Чтобы вам разрешили сдать в кассу проездной билет. Тогда вы сможете получить новый».

«Это такой порядок?»

«Да. Собственно говоря, можно было бы ехать и по старому, но муж говорит, что срок годности уже истёк, следовательно, билет недействителен. Муж говорит, если вы подадите заявление сегодня, он постарается протолкнуть его в первую очередь, чтобы вас не задерживать... Если, конечно, вы спешите», — добавила она. И они расстались.

Молодой человек прошёлся по залу ожидания. Спешил ли он? Станный вопрос! Он толкнул дверь на перрон и встал на пороге. Даль, пахнувшая шпалами, шевельнула волосы. За пустынным горизонтом, невидимый, далёкий, поднимался город; он вставал навстречу идущему, — для тех же, кто сидел сиднем на своём месте, город снов опускался под землю. Пассажир пробарабанил пальцами по косяку энергичную фразу. Что ж, напишем это заявление, раз того требует порядок, проторчим ещё день на станции, будем сверять время по часам, которые не идут, будем остерегаться воров и слушать храп мужика в красных галошах. Бродяга, кстати, не заставил себя ждать: едва только удалились шофёр и Степанида, появился в зале ожидания, словно и он был должностным лицом, без которого не может идти работа, и тотчас направился к своей скамье. Галоши, шлёпая на ходу, обнажили голые пятки под дырявыми валенками.

«День добрый, — просипел он, — я извиняюсь!» — и, улётшись, тотчас захрапел.

IV

Нельзя сказать, чтобы путешественник был особенно огорчён, узнав, что ремонт пути всё ещё не закончен; это было даже кстати, иначе он не успел бы оформить заявление. Начальник станции и на этот раз

оказал ему услугу, объяснив, как нужно составить документ, и лично отредактировал черновик. Шофёр должен бы отвезти заявление вместе с очередными бумагами в управление железной дороги.

Вообще же говоря, вся эта канитель забавляла молодого человека.

В ожидании ответа не оставалось ничего другого, как присмотреться к здешней жизни, не такой уж сонной и бездеятельной, какой она показалась вначале; даже обладатель красных галош был при деле: пассажир увидел, как он бродит по путям, вероятно, исполняя обязанности стрелочника. Что касается начальника станции, он подавал пример истине самоотверженного трудолюбия. Слабое здоровье не позволяло ему заниматься делами непрерывно, усталый мозг нуждался хотя бы в пятичасовом отдыхе, — а то бы он, кажется, не вылезал из рабочего кабинета. Стол, заваленный бумагами, указывал на обширное поле деятельности; не видно было, чтобы начальник находил её докучливой и неинтересной; занимаясь делами много лет, он не мог не считать их необходимыми; и сознание сугубой ответственности передавалось посетителю, слегка подавленному суровой обстановкой трудовых будней, видом стального сейфа для хранения особо важных бумаг, телефона, официального портрета за спиной у начальника, графика движения поездов и диаграммы выполнения плана. И даже увечье начальника как будто говорило о том, что незачем тратить время на передвижение во внешнем мире, когда и тут работы предостаточно.

Немало времени уходило на составление отчёта — не только потому, что высшие инстанции требовали многочисленных сведений с расшифровкой по каждой графе, но и в связи с тем, что иные параграфы предусматривали такие виды работ, которые во вверенном начальнику учреждении не производились. Однако они числились как производимые и не могли быть опущены в отчёте. Например, надо было указать, какие грузы грузились и разгружались с помощью погрузочных механизмов и какие — вручную, какой именно рабочей силой и сколько зарплаты было выплачено. Приходилось вести учёт товарным составам (в ряде случаев груз был засекречен) и рабочим дням грузчиков, заводить книги, картотеки и пр., а так как показатели высчитывались от начала года, то каждый новый отчёт должен был вязаться с предыдущим.

Это делало их похожими на романы с продолжением, и нельзя было не согласиться с начальником, что труд его содержал творческое начало. Вместе с тем в этой непрерывности канцелярской работы, подобной течению реки, которая вечно движется и вечно остаётся на месте, в неслышном шелесте бумажных вод, в предначертанности и неизбежности всякого последующего шага после того, как сделан предыдущий, было нечто стоящее над людьми. Так поток струится по своей воле и увлекает лодку.

Молодому человеку, который готовил себя к занятиям литературой, хотел стать критиком, а то и писателем, — он сам ещё не решил, — могло показаться, что он наблюдает что-то похожее на произведение одного иностранного писателя, недавно ставшего известным в нашей стране, — но нет, сходство было обманчивым. Там, в капиталистических странах — и на это намекал заграничный автор Кафка — над каждым тяготел безглазый рок, неумолимая бюрократия была личиной этого рока, символом безвыходности, безнадёги, как сказал бы студент, — в то время как то, что происходило на станции, напротив, укрепляло чувство надёжности однажды заведённого порядка, внушало покой и уверенность в себе. Чувство, которое испытываешь перед простором полей под неярким солнцем.

Деловая обстановка не нарушала атмосферу терпимости и человеколюбия. Здесь трудно было представить себе интриги и склоки — обычный удел малого коллектива. В домашней обстановке начальник станции был прост и мил; молодой пассажир как-то сразу почувствовал себя своим в этой семье. С него взяли торжественное обещание написать, как только он прибудет на место, сообщить, как устроился, и описать институт; в том, что он успешно выдержит вступительные экзамены, они не сомневались.

Квартира находилась тут же, в помещении станции. Это было удобно. «Я человек старомодный, — сказал начальник, — люблю уют». И, хотя в убранстве его жилища незримо присутствовала медицина, — а может быть, именно поэтому, — здесь царили чистота и порядок: всему было своё место, всё вымыто и отглажено. Тюлевые занавески умеряли уличный свет, салфетки, вышитые хозяйкой дома, украшали стол, стулья, футляр швейной машины, полочку перед зеркалом; невозможно было представить себе, видя возвышенную белизну кровати, чтобы здесь лежали, сминали простыни и оставляли округлые вдавления; нельзя было и помыслить о том, чтобы на этой кровати могли зачинать детей, хотя бы потому, что крик и беготня ребёнка нарушили бы всё это благолепие, замарали стерильную чистоту, прервали краткий сон хозяина.

От пикейного покрывала пахло йодом, это был запах санитарии, запах протекавшей неподалёку реки. Жена начальника не доверяла Степаниде, сама стирала бельё и носила полоскать на речку. Белый цвет целомудрия, царивший в этих покоях, повторялся в лунной белизне мраморных слоников, глянцевитой крахмальной скатерти и молочного супа в тарелках. Пассажир с детства не терпел молочный суп, но первоначальное впечатление бывает обманчивым, впоследствии кажется странным.

За столом начальник был очень внимателен, поминутно справлялся, не слишком ли горячо и довольно ли соли. Не забывал и о жене, за-

ботливо осведомлялся, вымыла ли она руки перед едой. Видимо, у него были свои любимые застольные темы, одна из них — бактериология. Он объяснил, какой опасности подвергают себя и окружающих нечистоплотные люди. Гость рассказывал о своих планах. Он даже кое-что прочёл — ведь он был ещё и поэтом. Начальник станции слушал его с вежливой отрешённостью: как многие, он не знал, как надо относиться к стихам, и не знал, зачем они нужны. И пока голос пассажира звучал над столом, глубокий взгляд жены начальника был неподвижно устремлён на него и суп в тарелке остывал и покрывался нежной плёнкой.

V

Ему приснился этот взгляд. Теперь пассажир ночевал не в зале ожидания, а в комнатке, отведённой для него, — помещение станции оказалось вместительней, чем выглядело снаружи, — и, лёжа в темноте, он уличил себя в том, что напрягает слух, пытаясь уловить шёпот или скрип кровати за стеной. Пассажир, как и подобает мужчине, отказался от посторонней помощи, сам перенёс в комнату свой тяжёлый чемодан. Степанида вымыла окно; они разговорились; от неё молодой человек узнал о первом браке начальника. По её словам, между ним и кассиршей давно уже не было ничего общего; год от года старуха становилась всё нелюдимей и почти не вылезала из своей кельи. Так что и здоровались не каждый день.

Начальник станции решительно запротестовал, когда встал вопрос — это было в один из ближайших вечеров, — стоит ли приглашать заведующую кассой к праздничному столу. Начальник разъяснил, что общество ещё не достигло той стадии развития, когда можно будет полностью пренебрегать разницей в служебном положении. Пассажир — другое дело: он гость. К тому же старуха плохо слышит, что не мешает ей быть сварливой, и была бы невыносима за столом. Достаточно, пошутил начальник, одного инвалида. Было ясно, что ему не хочется видеть рядом со своей женой ту, которая, может быть, помнит времена, когда его мужские качества не уступали интеллектуальным.

А что же поезд? Движение всё ещё задерживалось в связи с введением новейшей системы автоблокировки, сказал начальник, показав высокую компетентность в технических вопросах, и подмигнул, давая понять, то ничто не помешает предстоящему торжеству. На всякий случай он позвонил в управление, чтобы успокоить пассажира, но телефон был занят.

Назначенный день наступил, и праздник обещал быть весёлым и по-домашнему непринуждённым. Пассажир, поднявшись с бокалом в руке, прочёл сочинённые им накануне стихи в честь именинника. Начальник, растроганный, в парадном мундире, отвечал ему словами бла-

годарности. Жена начальника — на ней было нарядное шёлковое платье с глубоким вырезом и брошью, обдуманно приколотой не посредине, в ушах клипсы под цвет глаз, на шее ожерелье из стеклянных жемчужин, — мечтательно и отрешённо смотрела на огоньки свечей и мерцающие рюмки. Неожиданно вошёл шофёр, он только что возвратился из управления. Шофёр привёз пакет. Начальник, под взглядом встревоженной жены, утёр губы, сорвал сургучную печать.

Его поздравляли, желали ему дальнейших успехов в трудовой деятельности и счастья в личной жизни, извещали о повышении: ему был присвоен ранг *главного* начальника станции. К письму была приложена медаль за выслугу лет на голубой ленточке. Потрясённый, начальник разрыдался.

Пришлось перенести его на кровать; начальник смеялся и плакал, и утирал слёзы, говорил, что четверть века неустанного труда потрачены не зря, и как жаль, что здесь нет никого из вышестоящих лиц, чтобы услышать от него заверение, что и в дальнейшем он будет трудиться не покладая рук, сумеет новыми достижениями оправдать оказанную ему честь. Но волнение и радость, по-видимому, чересчур обременили его организм. Сказалась и непривычность, и чрезмерность съеденного за столом. У начальника онемели пальцы рук, открылись желудочные колики. Жена не решалась отойти от кровати, пассажир побежал за Степанидой, Явился таз с горячей водой, все вместе стали растирать грудь и живот; начальник, бледный, с каплями холодного пота на лбу, тяжело дышал; наконец, он уснул.

«Вы едва держитесь на ногах», — заметил пассажир.

Они осторожно притворили дверь за собой.

«Я боюсь, — говорила жена начальника, — вы заметили, какие у него холодные руки? Как у него сразу ввалились щёки? Мне кажется, так с ним ещё никогда не было».

Ночь была тёплая и тёмная. Постепенно глаза привыкли к сумраку. Загадочный свет струился по стальным путям. Прошлись немного. Навстречу выплыло пылающее зелёное око. Скосив глаза, студент увидел восковое лицо спутницы, с фиолетовыми губами, полуопущенными веками; она показалась ему таинственной и бесстрастной.

Их ждала встреча. Вспыхнул и стал приближаться, покачиваясь, огонёк, приближалась тёмная фигура с железнодорожным фонарём и метлой наперевес. Старик-стрелочник в разбитых валенках неспешно прошествовал по шпалам.

Жена начальника улыбнулась зелёной улыбкой.

«По ночам он бывает трезв. Кто-нибудь должен всё это чистить. А иначе пути зарастут травой, рельсы заржавеют...»

«Так, значит, это правда?»

«Правда, — отвечала, грустно кивая, жена начальника, — я ведь тоже когда-то приехала на машине, и ждала, и меняла билет... Станция, можно сказать, существует только на бумаге. Что поделаешь! Муж не хотел вас сразу огорошить».

VI

Населению маленькой станции какое-нибудь происшествие подчас становилось известным ещё до того, как оно произошло. Слухи обладают свойством подталкивать события. Говорили, что начальник серьёзно болен, и, в самом деле, последнее время он не выходил на работу. Кто-то утверждал, будто видел мельком врача, которого привёз, а потом увёз грузовик. Будто бы о чём-то спрошенный шофёром, медик развёл руками. Распространилось тягостное беспокойство, нервозность перешла в страх. Что будет дальше? Кого пришлют начальнику на смену? А вдруг не найдётся достойной замены и станцию попросту закроют, — что станет со всеми? Станция была их приютом, их маленьким отечеством. И с робкой надеждой все поглядывали на молодого пассажира.

Рассказывали, что начальник, лёжа на одре смерти, призвал к себе обоих — жену и пассажира — и со слезами на глазах сказал: «Дети мои, не бросайте станцию».

Погода испортилась, почувствовался приход осени. С рассвета уныло моросил дождь. Агония длилась недолго. Лицо усопшего разгладилось. Жена начальника, теперь уже вдова, в накинутом на плечи пуховом платке, отошла от ложа и долго смотрела в заплаканное окно.

Освободили стол, за которым ещё совсем недавно начальник радовался своему повышению. Крахмальной скатертью завесили зеркало. На посветлевшем мраморном лике застыло выражение, так часто свойственное мёртвым: удовлетворённое сознание исполненного долга. Он лежал, уйдя впальми висками в подушку, короткое туловище возвышалось из груды цветов. Кто-то принёс граммофон с широким пластмассовым растробом, похожим на диковинный цветок. Послышался шорох иглы, и грянули медленные, торжественно-скрипучие звуки старинного марша «Вы жертвою пали в борьбе роковой...»

Вся в чёрном, вдова, прямая и бесстрастная, стояла у гроба. Напротив неё, по другую сторону, с космами белых волос, выпавшими из под чёрного платка, едва держась на ногах, рыдала старая и сторбленная кассирша. В дверях, не решаясь войти, но и считая неудобным отсутствовать в такую минуту, топтался и мешал всем заметно выпивший старый стрелочник в красных галошах. А снаружи доносились звуки, похожие на журчание сала на сковородке: это не переставая лил дождь.

На дворе ожидала машина. Нужно было торопиться с оформлением сложной документации похорон — справок, протокола о смерти

(без него покойный не мог считаться освобождённым от должности), а также разрешения на погребение; начальник, который провёл всю жизнь, склоняясь над сводками и отчётами, не мог и после смерти стряхнуть с себя облепившие его бумаги. Да и тело уже показывало признаки порчи.

Кто-то выскочил, накрывшись, это была Степанида. Дождь лил, как из ведра, жёлтые ручьи текли мимо крыльца. Она крикнула что-то шофёру, тот не услышал; подбежав к кабине, Степанида постучалась в темно поблескивающее стекло. Шофёр вылез, пряча на груди папку с входящими документами. Его вызывал к себе новый начальник.

Собственно, пока ещё исполняющий обязанности начальника станции. Но уже было ясно, что назначение поступит вот-вот. В кабине сидел в кресле под портретом правителя молодой путешественник, все ящики письменного стола были выдвинуты, он развязывал тесёмки папок, разворачивал учётные книги; пришлось убедиться, что покойный начальник, при всей преданности делу, работал по-старинке и, к сожалению, многое запустил. Дел было невпроворот, некогда было даже проститься как следует с усопшим.

Пассажир понимал, что в этой должности, переданной ему в наследство, как и вообще в жизни, существовал закон, по которому, однажды взявшись за дело, сев за стол, подписав первый документ, нужно было продолжать весь остальной ритуал, и, каким бы ни был этот ритуал, он гарантировал устойчивость и порядок, он сам, этот ритуал, заключал в себе собственное оправдание и смысл. И молодой человек был не вправе уклоняться от работы.

Этого шага ждали от него окружающие. В эти дни траура все смотрели на вдову, а с неё переводили взгляд на него. Она была, в своём чёрном облачении, живым символом осиротевшей станции, пассажир был обязан взять на себя заботу о них. Сам начальник, вознёсшийся на небеса, со скорбью и умилением взирал оттуда на вдовицу и пассажира и благословлял их союз.

Пассажир чувствовал себя повзрослевшим. Теперь он отвечал не только за себя, но и за других. Работа начинала ему нравиться. В ней была умиротворяющая размеренность, нечто подобное поблескиванию граммофонной пластинки на неторопливо крутящемся диске, и она вторила ритму труда и отдыха, кругообращению дня и ночи и смене времён года. Незаметно прошла осень, и настала зима. Снег завалил платформу и рельсовые пути. Прибавилось работы пожилому стрелочнику, для которого были выписаны новые валенки. Он вколотил их в свои любимые красные галоши.

На станции появились некоторые новшества. Исчез постыдный лозунг «Остерегайтесь воров». Вместо него на дверях, ведущих в коридор администрации, вывешены часы приёма посетителей. Старуху

кассиршу с почётом проводили на пенсию. Жена начальника почти не появляется в служебных помещениях. В крахмальной белизне супружеской постели она крепко спит, и зелёная луна светит ей в окошко. По слухам, она ожидает ребёнка.

Апофеоз

Орел-холзан стоял посреди площадки на мохнатых раскоряченных лапах, мигал ореховыми глазами и чувствовал, что у него нет сил начать новый день. Рассвет застал его в оцепенении. Покрытые изморосью, тускло блестели его клюв и желто-бурые когти. Он продрог. Виной всему был жалкий ужин, но ведь умел же он вовсе обходиться без пищи, иной раз даже помногу дней. На всякий случай он наметил жертву — носатого парня, хоронившегося между камней. Но мысль о завтраке вызвала у орла тошноту. Переминаясь на затекших ногах, он чувствовал ржавый хруст в суставах, и все вместе — печаль внутренностей, стон костей — наполнило его сердце тревогой. Ему было семьдесят лет: постыдный возраст.

Плоская голова холзана повисла между плечами, крюкатый нос уткнулся в грудь, он снова дремал, и на дне его потускневших глаз проплывали загадочные видения. То, сорвавшись с края площадки, он легел молча вниз головой, растопырив лапы, погружался в ледяной поток, и его тело, качаясь, несло между камнями. То карабкался наверх по уступам.

Носатый сосед все еще сидел за камнями и время от времени, расхрабрившись, выглядывал оттуда: он видел, что хозяин пошатывается во сне и не может очнуться. Понемногу светлело. Орлу снилась всякая чужь: блеск солнца, бычья черепа, громадные половые органы. Стараясь сохранить равновесие, он топтался на узловатых лапах с торчащим сверху длинным задним когтем. Этот лишний коготь, знак родовитости, в сущности только мешал ему. Утвердившись, он погрузился в собственные плечи, думая, что погружается в сон, но теперь он притворялся перед самим собой, что спит. Так не хотелось взваливать на себя вновь бремя сознания.

Холзан вознес голову. Соглядатай был тут, но заметно трусил. Орел был доволен; завтрак ждал его. А меж тем туман, как дым, все быстрее и быстрее поднимался с трех сторон из ущелья, вот-вот должно было показаться солнце. Волшебное, вечно-новое зрелище. Он оторвал лапу от камня и шагнул вперед. К сожалению, начало было неудачным, старый орел поскользнулся и упал, царапнув когтями щебеню. Досадно было, что паршивец видел его оплошность. Все же утренний моцион монарха был совершен и на этот раз; сделав десяток шагов, орел остановился передохнуть, голова его запрокинулась, горло задергалось, с языка сорвался надменный клекот.

В былые дни государственному глаголу орла внимало более достойное общество. Дурак, сидевший за камнями, ничего не понял. Орел с достоинством продолжал путь. Так, скользя и подпрыгивая, он обошел свое жилище; когда же, окончив прогулку, обнес взором ближнюю окрестность, то заметил второго ворона, как будто возникшего из преисподней вместе с туманом; этот второй тулился на самом краю площадки и, ощерив грязный клюв, молча и скучно смотрел на холзана.

В гневе орел цокнул лапой и изрыгнул хриплую брань. И напрасно, не стоило. «Успокойтесь, государь», — сказал он себе с насмешкой. Окрик не произвел впечатления на визитеров. Тот, который прибыл позже, даже не пошевелился, только мигнул усталыми глазками; другой, сидевший с ночи, обеспокоился было, подпрыгнул, развесив крылья, но тотчас сел, оказавшись еще ближе, и выпялил по обе стороны граненого носа круглые, как черничные ягоды, глаза.

Орел перестал обращать на них внимание и смотрел вдаль. Трудно было сказать, сколько прошло времени, но когда он очнулся, оказалось, что уже не двое сидят возле него. Вся гряда, окаймлявшая площадку, была обсижена вороньем, отовсюду смотрели на него носатые головы и поблескивали тускло-внимательные глаза. Послышалось трепыхание крыл, из ключев тумана, выставив наготове паучьи лапки, спускался, точно парашютист, еще один, плюхнулся и оказался впереди всех. Орел заклеил компанию презрительным взором герцогских глаз. Пришелец был мал ростом, тускл и черен, как вынутая из воды головня. Убедившись, что старик безопасен, он повел грязным носом, с деловитой ненавистью поглядывая на застылое нахохленное собрание. Орел усмехнулся недоброй усмешкой, затрещал крыльями, — наглец в ужасе отскочил, взлетел и вернулся, но место возле холзана было уже занято. Там сидел капитан, тот, кто караулил с ночи. Капитан выпятил грудь и, дрожа от страха и отваги, растворил перед орлом свой длинный клюв.

Орел поднял веки и увидел, что он окружен. Собрав силы, он подпрыгнул, ударил крыльями и польхнул очами. Кое-кто попятился, две или три косматых юбки поднялись на воздух. Прочие остались на месте и не сводили лиловых глаз с холзана.

«Те-те-те. Мы что-то очень разволновались», — сказал себе орел. И это — конец?.. А он-то воображал, что умрет там, в синеве над снегами, где в последний раз пронесется его тень, похожая на крест. Все же сидеть так и ждать не годилось. Он подумал, как ему поступить, и придумал. Внезапно, вскинув крюкатый клюв, орел издал воинственный возглас. Как плащ, развернулись его боевые крылья. Орел ринулся вперед, и в одно мгновение жалкий вождь, колебавшийся перед ним на хилых ножках, был сметен. Стая с криком разлетелась в стороны.

На площадке не было ни души, орел шумно дышал и гневно и радостно оглядывал мир. Теперь подойти к краю — и вниз головой...

Ничего этого не было. Шайка, обсевшая скалу, молча смотрела, как он кланялся перед ними с помутившимся взглядом, и во рту у него дергался посеревший язык.

Все вопросительно повели носами в сторону капитана.

Капитан приосанился. Он ждал, что хозяин сам повалится с камня. Хозяин шатался, как будто его раскачивал ветер, но не падал. Сверхъестественным усилием холзан вернулся к действительности и вновь стоял прочно на своих тяжелых, приросших к камню лапах, над которыми низко нависали мохнатые штаны. Хозяин глядел на шайку из-под полуопущенных век. «Не в них дело, и не их вина», — думал он.

«Кхарр!» — выкрикнул кто-то в толпе. Эхо громыхнуло из ущелья. Орел нашел глазами тщедушного капитана. Капитан волновался. Все общество было охвачено беспокойством. Покашливали, подрагивали отвисшими хвостами, подмигивали фиолетовыми бусинами глаз. Поколебавшись, капитан подпрыгнул, — черные крылья его метнулись в воздухе, как старая юбка.

Орел вздрогнул от изумления: капитан сидел у него на голове. С трудом держась, судорожно взмахивая крыльями, капитан в страхе озирает с высоты свое войско. Он был похож на одержавшего верх любовника, который от долгих приготовлений лишился сил.

Орел чувствовал себя нехорошо; не хватало только упасть вместе с капитаном. Жалобные крики ворона болезненно отзывались в его ушах. Он чувствовал, как капитаньи ноги разъезжаются на голове, рвут перья и ранят его. Мысленно он обругал капитана ублюдком и склонил голову, помогая ему удержаться.

«Бей же, ну! Бей», — думал орел. Жалкий любовник, капитан все еще устраивался и примерялся.

Наконец, капитан долбанул; удар был не особенно удачным, и орел устоял. Капитан же чуть не свалился. Зрители шмыгали носами, не спуская глаз с командира. Капитан помедлил и стукнул клювом еще раз. Орел стоял как вкопанный. Раздосадованный капитан крикнул дурным голосом и с высоты оглядел всех. Войско стояло навывтяжку, вознеся носы, точно на карауле. Капитан махнул головой что было силы, но хозяин и на этот раз устоял.

Он стоял, сгорбленный, стараясь не уронить главнокомандующего, и ждал следующего удара. Удар раздался, на сей раз крепкий, старательно-точный, и пробил кость. Орел почувствовал, как потекло по голове, стало заливать глаза и восковицу и закапало с кончика клюва. Спустя миг страшный новый удар поразил его в средоточие жизни. Холзан погрузился в ночь. Ворон тряс над ним тряпичными крыльями, махал головой и деловито жрал мозг. Увидев эти теплые, розоватые, дымящиеся комочки, исчезающие в клюве у

капитана, зрители не могли больше утерпеть, заорали вразброд, захлопали крыльями и, сорвавшись, бросились на повалившегося с камня, слепого и окровавленного орла. Над ним началась драка.

Лежа с продырявленным животом, орел слышал их крики как бы сквозь слой ваты. Он чувствовал, как его топчут их лапки. С хриплым матом, размахивая крыльями, точно грязными знаменами, вороны насакивали друг на друга. Кто-то потащил кишки, и в несколько минут он лишился внутренностей. Между ногами трудилась целая толпа. Карлик-парашютист расклевал пах и, сопя, сожрал яички. Орел не мог двигаться и молча ждал, когда начнут выклевывать глаза. Там, внизу, от него уже ничего не осталось. Глаза были не нужны ему, да и ничего не было нужно, но он надеялся, что про них забудут. Ворон-капитан подскочил к нему, захватил глазное яблоко щипцами и вырвал глаз с обрывком нерва.

Орел лежал с пустыми глазницами, между которыми торчал загнутый, как коготь, клюв герцога с обрывками желтой восковицы, и, собственно говоря, его уже не существовало. В полужасохшей коричневой луже валялись орлиные перья и пух и лежали большие скрюченные лапы. Вокруг там и сям был набрызган вороний помет. Между камнями расхаживали грязноносые черные птицы, громко переговаривались базарными голосами и чистили клювы. Брызнуло солнце. Хохлатый вождь взлетел на уступ, гнусаво выкрикнул команду, и вся стая поднялась в воздух.

«Ловко у них получилось, — размышлял орел. — Все съели. Что ж, к лучшему. Туда мне и дорога». Ветер понемногу сдувал с площадки остатки орлиного оперения. «Я больше не хочу жить, — сказал он, — не хотел и не хочу жить, и не хочу больше думать. Я не хочу быть. Насколько было бы справедливей сначала исчезнуть, а потом пусть жрут сколько влезет. А что теперь?.. Я не хочу быть». И он стал ждать, когда они слетятся снова, чтобы расклевать его мысль, как они расклевали его тело.

Циклоп

В начале были деньги. Я была счастлива, когда мой бывший муж предложил мне остаться в нашем доме, — сам он давно сошёлся с другой, и оба собирались переехать в другой город, — но жить мне было не на что. Я подумывала о том, чтобы сдавать верхний этаж, пробовала искать работу, кое-что нашла, но потом набрела, по совету одной приятельницы, на блестящую идею: я неплохо умею готовить. Предложила мои изделия — русские пельмени и блинчики — нескольким знакомым, они нашли мне других клиентов, и дело пошло. Раз в неделю я закупала мясо, два, иногда три дня, в зависимости от заказов, уходили на приго-

товление теста, фарша, лепку пельменей, выпечку блинов. По пятницам я развозила коробки с замороженным товаром по адресам. Мне приходилось также наниматься в богатые дома обслуживать гостей, я готовила кушанья, сервировала стол, в кружевном переднике и наколке разносила блюда. И вот однажды так получилось, что я сидела на кухне, всё было сделано, подано, унесено, снова подано и снова унесено, гости пили кофе с хозяевами на террасе, колокольчик, которым хозяйка вызывала горничную, больше не звонил, я успела частью перемыть, частью сложить в моечную машину всё что надо и курила у открытого окна. Вошел этот человек, мне не хочется называть его имя.

Он извинился; ему понадобилась какая-то мелочь. Было ясно, что это только повод. Я устала, кокетничать не было ни малейшей охоты. Вообще мои мысли были далеко. Я отвечала вежливо, но кратко. Он всё ещё медлил. Краем глаза я оглядела его: отлично одетый господин с невзрачной внешностью. Таких людей, однажды встретив, мгновенно забываешь. Тут я почувствовала, что у него что-то другое на уме.

Так оно и оказалось: я хочу, проговорил он и остановился. У меня есть к вам одно предложение.

Произнесено это было странным тоном, как бы в задумчивости. «Я давно к вам приглядываюсь», — добавил он.

Вот как, возразила я.

«Да. У меня есть деловое предложение». Он спросил, не смогу ли я уделить ему полчаса. Речь шла о свидании.

Если нынче так принято предлагать сожителство, подумала я, к чему все эти околичности. Скажи прямо. И довольно холодно осведомилась, в чём дело. В это времябрякнул колокольчик, извините, сказала я, меня зовут. Он успел всучить мне карточку — фирма с каким-то мудрёным названием — и взял с меня обещание придти во вторник в «Глокеншпиль».

Место довольно известное, где обедает приличная публика: адвокаты, нотариусы, банковские служащие, немолодые дамы. Окна правого зала выходят на площадь с кукольной Богородицей; за колонной — ратуша с башней и балконом, на котором в полдень появляются танцующие фигурки и раздаётся мелодичный звон; отсюда и название ресторана.

Я поднялась на лифте, вошла и уселась за столик напротив него. Мне снова бросилась в глаза его невыразительная, стёртая какая-то внешность. Именно эта стёртость, как я теперь заметила, странным образом придавала ему оригинальность. Я бы дала ему лет тридцать пять.

Мы принялись изучать меню, он кое-что рекомендовал, очевидно, думая, что я никогда здесь не бывала; кухня, впрочем, в таких местах бывает довольно посредственная.

«Ну так вот... — проговорил он и оглядел зал. — Вы разрешите мне говорить с вами по-русски?»

«С удовольствием», — возразила я. Он говорил более или менее правильно, с ужасным акцентом. Я спросила, откуда он так хорошо знает язык. Он поблагодарил. Был в России, провёл несколько лет по делам фирмы; что-то в этом роде.

«Но мы можем говорить и по-немецки».

«Я думаю, всё-таки лучше на вашем родном языке. Вы будете себя чувствовать естественней, это важно для нашего разговора. Вероятно, вы хотели бы узнать...»

«Я стораю от любопытства».

Человек усмехнулся. Принесли заказ, мы занялись едой.

Он с удовольствием поговорил бы о более приятных предметах — с такой, добавил он, симпатичной женщиной. Но дело есть дело. Вероятно, я слыхала о том, что дигитальная техника в последние годы делает огромные успехи.

«Какая?»

Он объяснил, что речь идёт об интернете: знаю ли я, что это такое?

Я сказала, что я человек отсталый.

После этого мы пили кофе, зал постепенно пустел, я выслушала целую лекцию о перспективах, которые открываются перед фирмой. Это означает, что я могу рассчитывать на очень хорошее, «я подчёркиваю, — повторил он, — очень хорошее вознаграждение».

Я ждала, что он, наконец, скажет, чего от меня хотят.

«Сейчас объясню. Рюмочку коньяку?»

«Нет, спасибо».

«Вы, если не ошибаюсь, живёте в собственном доме?»

«Да, то есть не совсем».

«И вы живёте одна».

Откуда, собственно, он это знает?

«Мы навели справки», — сказал он скромно.

Я объяснила, что это отдельная секция дома: то, что называется Reihenhaus. Человек был доволен этим ответом, извинился за нескромность и задал ещё несколько вопросов; я отвечала как могла.

«Курите?»

«Да, пожалуйста».

«Я хочу вам изложить наши условия, — сказал он, протягивая мне огонёк зажигалки, и закурил сам. Его глаза остановились на мне, затем он выпустил дым к потолку. — У вас есть время всё обдумать, я не тороплю вас с ответом. Если предложение вас не устраивает, будем считать, что этот разговор не состоялся».

Условия были вот какие: никто не должен об этом знать. Я должна буду взять псевдоним — впрочем, по моему собственному выбору. Разу-

меется, никакой конспирации тут нет, мои доходы будут вполне легальными, все подробности, как юридические, так и финансовые, мы обсудим при заключении договора. Если, конечно, я дам согласие. В любом случае будет лучше, если моё настоящее имя останется неизвестным.

Я согласилась, что так будет лучше.

Первая проба будет рассчитана, ну, скажем, на полтора часа. Затем, если проба пройдёт удовлетворительно, — подряд десять дней. Во всё это время я обязуюсь не выходить из дому. Всё необходимое мне будет доставляться.

А как же спать?

«Обыкновенно, — он пожал плечами, — как вы всегда спите. Погасите свет и ляжете. Раздеваться и одеваться, конечно, при свете. Вообще вы будете жить так, как живёте обычно. От вас ничего не требуется».

Ванная? Или если мне нужно принять душ.

«Как обычно. Собственно говоря, это и есть единственная трудность: сохранить полную непринуждённость. Всё должно быть естественно. Вы продолжаете обыкновенную жизнь. Ведёте себя так, как будто, кроме вас, в комнате никого нет».

На третий день я позвонила ему и сказала, что согласна.

В начале были деньги. И деньги были у Бога, и деньги были Бог — как сказал бы мой бывший муж, любивший такие шуточки. Услышав, сколько мне будут платить, я не поверила своим ушам. Можно было не только расплатиться с долгами (несмотря на мои заработки, на моём счёте постоянно красовалось отрицательное сальдо), можно было... да что там говорить. Весь мой бюджет был пустяком, мелочью по сравнению с гонораром, который был мне обещан. И, спрашивается, за что? От меня ничего не требуют, сказал этот господин.

Деньги деньгами, но если начистоту, то дело было всё же не только в гонораре. По крайней мере теперь мне это ясно. Я чувствовала, как что-то щекочет меня изнутри. В чём дело? Я прекрасно понимаю, что это было самое обыкновенное чувство стыда, — всё равно как если бы тебе предложили прогуляться голой по улице. Но стыд... я думаю, каждая женщина это знает: стыд — чувство двусмысленное. Стыд — это одновременно и бесстыдство.

Я попробовала представить себе, как всё это будет. Ходила по комнате, что-то делала, собрала постельное бельё, сунула в стиральную машину. И всё время думала о том, как я выгляжу со стороны. Одно дело, когда на тебя смотрят, другое — когда за тобой подсматривают. Я спрашивала себя: неужели это может быть интересно? Вообразила, что я сама подглядываю за кем-то в замочную скважину, и вспомнила, как я любила в детстве смотреть на освещённые окна, за которыми двигались тени людей.

Мне нужно было предупредить моих клиентов, что я не смогу принимать заказы в ближайшие две или три недели, я звонила по телефону, поглядывала в зеркало и всё время думала, как я выгляжу со стороны.

Легче представить себя на месте того, кто сам подсматривает. Помню, был такой случай: хозяйская дочка, толстая и сонная девочка, сказала, что знает один секрет. Дело происходило на даче в Кракове, мне было лет десять. Баня стояла в саду, как принято в России. Мы подошли с другой стороны, где была протоптана еле заметная дорожка в крапивных зарослях, взобрались на завалинку и заглянули в запотевшее окошко. Было плохо видно. Я обстрекалась крапивой. Так вот, если вернуться к тому, о чём я говорю: как чувствовала бы себя эта пара, — кажется, это были всего лишь муж и жена, — или как чувствовали бы себя мы сами, я и мой муж, если бы нам сказали, что за нами станут наблюдать неизвестные люди? Испытали бы мы хоть на мгновение эту щекотку?

Впрочем, пустяки; и говорить об этом не стоит.

Я стояла перед зеркалом, на меня смотрели мои собственные глаза, но я убеждала себя, что это чужие глаза. На мне не было ничего кроме тапочек, я сбросила их, встала на каблуки. Я красивая баба, не будем скромничать. Мне казалось, что моя красота одевает меня, пусть смотрит кто хочет. И вдруг я испытала прилив настоящего стыда. Мне представилось, как люди смотрят на меня сзади, когда я иду, и мне стало стыдно оттого, что женские округлости моего тела так бросаются в глаза. Я стояла боком к зеркалу и со страхом, точно видела себя впервые, разглядывала свои ягодицы.

Рабочие установили камеры всюду, где только можно, в углах и на стенах, в прихожей, в гостиной, на кухне, в ванной, в моей спальне наверху и в комнатке, которую мы с мужем когда-то предназначали для нашего будущего ребёнка. Слава Богу, не догадались повесить камеру в уборной. Оператор, тот самый человек, который меня нашёл, — придётся как-то его назвать, да так, собственно, и называлась его должность, — расхаживал по комнатам и давал указания. Рабочие уехали. Я приготовила кофе. Всё никак не могу привыкнуть к этой мысли, сказала я.

Он усмехнулся.

«Вам, можно сказать, повезло. Вы первая. Завтра открытые страницы видеointернета станут модными, у вас появится толпа подражателей. То ли ещё будет».

«Вы так думаете?»

«Я в этом уверен».

«Скажите... а что такого интересного в том, чтобы подглядывать за обыкновенным человеком, обыкновенной женщиной, как она проводит день, готовит еду, занимается хозяйством. И кто это найдётся, чтобы так, целыми часами...»

«Найдутся. Вы говорите, обыкновенная. В этом-то всё и дело. Публика устала от имитаций. Люди хотят подлинной интимности. Да и сами вы...»

«Я? Что вы хотите сказать?»

Он пожал плечами, посмотрел на меня с тем же выражением задумчивости, как в тот день, когда он пришёл на кухню.

«Анонимная интимность, я бы так это назвал. Человек может рассказать всю свою жизнь без малейшей утайки случайному попутчику в вагоне, и, заметьте, совершенно не интересуясь, кто его слушатель. Вас смущает, что вас будут видеть, так сказать, неглиже. Это пустяки. Это пройдёт».

«Думаете?»

«Уверен. К тому же, — он усмехнулся, — чего вам опасаться? Вы привлекательная женщина».

Я подняла брови.

«Пардон. Я хотел вам сказать комплимент».

«Ещё глоток?..»

На другой день происходила проба.

Было около восьми. Я уже проснулась. Не успела я встать, как слышался странный шорох, и, хотя меня предупреждали, я вздрогнула. Я спросила: «Кто там?» После этого в комнате раздался голос Оператора, мне пожелали доброго утра.

Он сказал, чтобы я спокойно одевалась, приняла душ и так далее, видеокамеры будут включены не раньше, чем я приступлю к завтраку. Я вошла на кухню. На мне, как обычно, был белый байковый халат. Отлично, сказал Оператор, пейте кофе, делайте всё что вам вздумается. Можете включить радио.

Мы условились, что во время пробной трансляции меня будут видеть только в студии, что же касается голоса, то меня неприятно удивило, что он был слышен всюду, куда бы я ни пошла. Как будто Оператор всё время ходил за мной. Сама же я не могла ни ответить, ни отключить звук. За завтраком я слушаю музыку и последние известия. После этого мне нужно было подняться наверх в спальню, но что значит «нужно»? Я могла и не одеваться, остаться в халате. Тут опять раздался этот голос, завтра, сказал Оператор, мы начнём вовремя, но пусть это меня не беспокоит, я могу встать когда захочу.

«Вообще, — сказал он, — забудьте про нас».

Хорошо, забудем.

Под утро мне приснился сон. Я суеверна, но не думаю, чтобы он предвещал что-то нехорошее.

Это был один из тех снов, которые так похожи на действительность, что, припоминая, начинаешь сомневаться, не происходило ли это на самом деле.

Мне снилось, что я проснулась, лежу на спине и вижу перед собой мою комнату.

В комнате сумрачно. Солнце ещё не взошло, а может быть, это был пасмурный день. На стене слабо отсвечивали застеклённые репродукции: натюрморт, который мне очень нравится, и «Даная» Рембрандта. Кто-то сидел возле моей кровати, но моё внимание было поглощено картиной; было плохо видно, и я скорее угадывала, чем различала прелестные черты некрасивой юной женщины. Она тянет руку навстречу плодоносному золотому дождю, который я уже вовсе не могла видеть.

Кто-то сидел, это был человек с такой невыразительной, стёртой, неразличимой внешностью, — как надпись, которую невозможно разобрать, — что я только по голосу узнала в нём Оператора. Он говорил что-то, подкручивал фотоаппарат с толстой трубой объектива. Он держал на коленях эту штуку, похожую в сумраке на чудовищный мужской член. Не удержавшись, я хихикнула. А, сказал Оператор, ты уже не спишь; можем начинать?

Как это начинать, возразила я, пожалуйста, уходите, во-первых, я не одета. А кроме того, ещё рано, мы договаривались на восемь часов. В ответ он покачал головой и наставил на меня объектив. Я возмутилась, замахала руками, но он остановил меня, сказав, что это только проба. Хочу сделать несколько снимков на память, для себя. Но я вовсе не собираюсь дарить вам свои снимки, сказала я или, может быть, хотела сказать. Поздно, сказал он, договор уже заключён. Вставай, я хочу снять тебя стоя. Нет уж, говорю я, вот этого вы от меня не дождётесь. И вообще, кто здесь хозяин? Тогда он стал долго и нудно доказывать, что я обязана подчиняться, в договоре есть специальный параграф, в случае невыполнения условий фирма имеет право взыскать убытки по суду. Он продолжал говорить, угрожать. И тут я вдруг увидела, что у него нет лица.

Ни глаз, ни носа, что-то гладкое вместо рта; я подумала, как же он мог говорить. Или это было из-за плохого освещения?

Я решила схитрить, попросила его на минутку выйти, выскочила из-под одеяла и поскорее оделась, он вошёл и, конечно, был ужасно разочарован. Теперь мне было ясно, что это не он. Преступник, человек без лица, проник в квартиру, выдав себя за Оператора. Как ни странно, я успокоилась и потихоньку, чтобы он не заметил, протянула руку к телефону. Бандит усмехнулся, дескать, напрасный труд, телефон отключён. Раздевайся. Тем временем он прилаживал свою камеру к треноге. Я открыла глаза. И снова увидела репродукцию с Данаей, я лежала под одеялом в своей комнате

Тут я вспомнила, что сегодня у меня первый рабочий день. Камеры ждут моего пробуждения; возможно, трансляция уже началась. Чего доброго, успели заснять и незваного гостя. Я рассуждала, как мне каза-

лось, с ясной головой. Квартиру взломали. Оператор из студии наблюдает за передачей, значит, он должен был вызвать полицию; должно быть, машина уже в пути, вот-вот внизу позвонят. Придётся давать объяснения, узнают о том, что я согласилась позировать для интернета. Всё это несло в моей голове, я искала выход, и я понимала, что сплю, — то есть в то же время и бодрствую. Кроме того, я подумала: какой у меня несчастный характер. Другая на моём месте не осложняла бы себе жизнь, а делала что велят. Всё оттого, что моя жизнь неустроена. Мне уже тридцать, а у меня нет семьи, нет родины, нет настоящей профессии. Через несколько лет я стану старухой. Кому я буду нужна?

Я нехотя поднялась, с чувством какой-то обречённости. Из уборной направилась в ванную, дверь оставила открытой.

«Э, нет, — сказал Оператор. — Зажгите свет».

Я развязывала пояс халата.

«Я сказал, — повторил он спокойно, — вы должны включить свет».

Я пролепетала, забыв о том, что меня не могут услышать: «Но мне и так видно».

Очевидно, он угадывал мои слова по движениям губ или по выражению моего лица, или, может быть, предательская техника каким-то образом донесла мои слова.

А впрочем, им всем там было совершенно безразлично, что я говорю, о чём думаю.

«Делайте, что вам говорят».

Я шагнула в ванну, отвернула кран и передвинула рычажок душа. В ярком свете я стояла, слегка запрокинув голову, моя кожа сверкала под потоками воды, немного позже я закрыла душ, вода лилась из крана. Из угла на меня уставился мутно-лиловый объектив камеры, второй глаз караулил в противоположном углу. Я лила из флакона пахучую жидкость себе на плечи, я снова отвернула рычажок, покорно поворачивалась, подставляя себя щекочущим струям и мутноокому соглядатаю, присела на корточки, затем шум воды стих. Я вытиралась, сидя на табуретке и низко опустив голову, волосы упали мне на лицо и грудь. Мне нечего было больше прятать, ни одного уголка моего тела не осталось незамеченным. Так не оставляет ничего незамеченным хищный глаз мужчины, так успевает всё оценить молниеносный взгляд женщины. Кстати, странная черта моего характера: я с детства стеснялась женских взоров больше, чем мужских.

Не спеша, с нарочитым спокойствием я вытянула ногу, согнула в колене и положила на колено другой ноги, чтобы вытереть ступню. Мне показалось, что в эту минуту тубус слегка наклонился.

Я занялась пальцами ног, тщательно протёрла каждый промежуток — и снова подняла глаза: на своём шарнире камера медленно, еле заметно поворачивалась, как будто принималась своим тубу-

сом. И мой сон, постыдный, жуткий сон ожил в моём сознании: тубус напоминал мужской член. В панике я выскочила из ванной. С полотенцем в руках металась по коридору, бросилась в спальню — тусклое око и там поджидало меня, это было уже чистое сумасшествие; я забилась под одеяло.

Голос Оператора произнёс:

«Прекрасно. Получилось очень удачно. Теперь вернитесь в ванную, приведите в порядок волосы и наденьте халат. Ждём вас на кухне».

Они ждали меня на кухне, что ж. Я успокоилась. Последовала церемония завтрака. Её величество подавали себе кофе, намазывали булочку мармеладом. Изредка — но лишь изредка, нужно отдать ему справедливость, — Оператор, он же режиссёр, выдавал своё невидимое присутствие. Повернитесь, говорил он, когда меня было плохо видно, или: остановитесь, задумайтесь на минутку; смотрите в окно; вы кого-то вспоминаете; проведите руками по груди, погладьте себя, улыбнитесь. Вы, говорил он, погружены в себя. Весь мир для вас не существует.

Словом, завтрак стал целым приключением. Вот уж никогда не думала, что событием может быть обыкновенное сидение за столом. Я всё ещё не могла постигнуть, в чём смысл этой затеи. Очевидно, не только в том, чтобы показать голую бабу всем любопытным. Паника в ванной была очевидным недоразумением, я успокоилась. Взяла себя в руки. Правда, это привело к тому, что Оператору пришлось деликатно напомнить о правилах; по его словам, я была слишком «зажата». Видимо, держалась слишком чопорно.

Мне не возбранялось смотреть время от времени в видеокамеру, но так, словно я не замечаю ни своего отражения в лиловом стекле, ни самой камеры. Вы, сказал он, ни о чём не подозреваете, вы погружены в свои мысли. Оказалось, что это не так просто. Именно в тот момент, когда я погружалась в свои мысли, никаких мыслей не было. Оператор советовал отвлечься, считать до двадцати. Странно сказать, я должна была учиться быть самой собою, должна была вести себя так, как делаю это изо дня в день, двигаться, садиться за стол, намазывать на булочку мармелад, прихлёбывать кофе — и при этом скрывать от себя, что я это делаю; иначе, сказал он, всё получается искусственным. И в самом деле, я заметила, что кофе лишилось вкуса, хлеб казался резиновым. Одним словом, я должна была принуждать себя быть непринуждённой и следить за каждым своим шагом, чтобы каждый шаг был произвольным. Но в конце концов ко всему можно привыкнуть.

Несколько дней спустя Оператор передал мне два пожелания фирмы, правильнее будет назвать их приказами. Отныне видеокамеры будут работать круглосуточно, это первое. Зрители хотят... — а кто были эти зрители? Фирма говорила о них так, словно в точности знала, кто они такие и чего ждут от меня. Так вот, зрители хотят видеть меня не

только днём, но и ночью; поэтому я должна завести в спальне ночник. Соответственно будет повышен гонорар. И второе, начиная с такого-то дня из моей квартиры будут транслироваться все звуки. Тем самым будет полностью обеспечен эффект «присутствия». Я могу петь, брэнчать на гитаре (моё любимое занятие), могу декламировать стихи, говорить по телефону, наконец, разговаривать сама с собой, — мне предоставляется полная свобода. Фирма переслала мне письмо от зрителя, который негодовал по поводу того, что не слышит мой голос.

Письмо, надо сказать, было в своём роде очень лестное. Привожу его почти полностью.

«Дорогая NN, — писал неизвестный человек, не пожелавший не только сообщить, кто он, но и назвать себя, — я хочу рассказать Вам, что со мной происходит с той минуты, как я Вас увидел. Со мной происходит что-то непостижимое. Достаточно будет сказать, что я забросил все дела и целыми часами, как потерянный, сижу перед компьютером. Надо бы подключить его к телевизору, но я пока что этого не умею. Что я хочу сказать? Я встаю вместе с Вами, вместе с Вами завтракаю, хожу следом за Вами по дому, который я знаю теперь не хуже моего собственного жилья. А поздним вечером я укладываюсь вместе с Вами спать. Простите эту откровенность, ведь мы никогда не увидимся... За эти несколько дней я узнал Вас так, как не знал ни одну женщину на свете. Я знаю, как Вы ходите, как Вы оборачиваетесь, чтобы взглянуть на меня, как Вы отводите волосы от лица, знаю цвет Ваших глаз, Ваш любимый лак для ногтей, Ваше бельё, словом, знаю всё. И чем дольше я смотрю на Вас, тем всё больше понимаю, что не могу без Вас жить. Но встретиться мы не можем».

Говорят, по почерку можно угадать характер человека. Мне тоже показалось, что я угадываю, только не могу объяснить. Узкие и острые буквы, похожие на старинный немецкий шрифт, который в России называют готическим. Такой человек должен быть худым и высоким. Я ломала голову, сколько может быть этому дядьке лет.

«И при этом я не могу Вас назвать такой уж ослепительной красавицей! Смазливых девиц можно сколько угодно увидеть по телевидению. Но в Вас есть нечто такое, чего нет ни у одной из этих телевизионных красоток...»

Не скрою, я была слегка заинтригована. Сразу скажу, что довольно скоро стало приходиться много писем. И нежных, и циничных, и просто отвратительных. Чаще всего люди писали больше о себе, чем обо мне. Этот человек, видимо, тоже испытывал потребность исповедаться. Правда, он так и не сообщил, кто он такой.

Итак, я читала дальше, письмо было на четырёх страницах. Он рассуждал о том, почему невозможно наше знакомство. В конце концов, приложив некоторые усилия, он сумел бы — хоть это и держится в секрете — раздобыть мой адрес. Но!

«Но я боюсь. Я попробую вам объяснить. Разумеется, я понимаю, что моё появление, если допустить, что я решился бы Вас посетить, едва ли пришлось бы Вам по душе. Но это меня бы не остановило. Быть может, Вы думаете, что я стесняюсь своей невыгодной внешности, что у меня какой-нибудь физический дефект, или что я болен, или слишком для Вас стар. Это не так. Во всяком случае, я не настолько уродлив, чтобы бояться предстать перед Вами. Нет, дело не в этом. Дело, как ни странно, в экране, в этой прямоугольной раме».

«Я задёргиваю наглухо шторы, опускаю жалюзи, отключаю телефон, я готовлюсь к встрече с Вами, волнуясь, словно семнадцатилетний юнец, в комнате становится темно, и я включаю компьютер. И вот появляется на мониторе Ваша спальня, и я как Фауст в комнате Маргариты. Постель не прибрана. На стене репродукция с картины Рембрандта. Эта женщина, эта Даная, полная ожидания, пока еще не Вы, вас нет. Но вот отворяется дверь. Вы входите, Вы только что приняли ванну. Волосы, ещё влажные, небрежно сколоты на затылке».

«Вы убираете постель. Я вижу вас то сбоку, то сзади, то издали, то вблизи; я знаю, что Вы не одеты, под байковым халатом ничего нет, но даже если бы Вы сейчас сбросили халат, — Вы это сделаете позже, когда будете одеваться, — тайна, которая Вас окружает, в которую Вы закутаны, тайна эта не исчезнет. Вот в чём дело! Это чудо совершил экран. Положим, я не слышу, что Вы там напеваете, вижу только Ваши губы, Ваши полные бледные губы, вижу, как Вы слегка покачиваете в такт головой, и не знаю, чем окажется это мурлыканье, когда будет подключён звук (они обещали сделать это в ближайшие дни): оперной арией, песней вашей родины или пошленьким шлягером; но каким бы ни был Ваш голос, низким или высоким, чистым, хрипловатым, грудным, правильно ли Вы поёте или фальшивите, — всё равно, я знаю, что ничего не изменится, тайна не спадёт с вас, как спадает одежда. И до тех пор, пока Вы там, на экране, в этом потустороннем пространстве, которое я могу сравнить с пространством икон или зеркал, до тех пор, пока вы там, — каждое Ваше движение, поворот головы, выражение глаз, каждая клеточка кожи и каждая линия Вашего тела будут обведены светящейся чертой — недоступностью тайны».

«Я не могу в неё проникнуть. Вечерами, в Вашей спальне, я убеждаюсь, что никогда мне никто не был так близок, как Вы; никогда и не будет так близок; и, может быть, единственное, что остаётся недостижимым для меня, — это Ваши сны. Но если бы техника смогла преодолеть этот барьер и я сошёл бы следом за Вами в самые глубокие подземелья Вашей души, сумел бы я разгадать Вашу тайну? Хотел бы я её разгадать?..»

«Представим себе, что, не выдержав этой ежедневной муки, я явлюсь к Вам собственной персоной. Мне откроет дверь молодая и ми-

ловидная, но увы, самая обыкновенная женщина, — женщина, о которой я уже всё знаю, которую видел тысячу раз. Предположим невозможное возможным — что Вы не прогоните меня, удостоите Вашим расположением, предположим, мы познакомимся ближе, будем встречаться; что, наконец, Вы согласитесь стать моей любовницей, — что тогда? Нет, останьтесь там, в светящемся окне...»

Не стоило придавать большого значения этому посланию, мало ли кто что напишет. Как я уже говорила, мне пришлось в скором времени получать письма и похлеще. Да и этот неведомый поклонник произвёл на меня малоприятное впечатление: какую тайну он во мне нашёл? Я могу представить себе, что молодая, более или менее привлекательная особа, встреченная на улице, может произвести таинственное впечатление. Но в ней видят живого человека. А он? Он как будто обращался не ко мне. Получалось так, что я для него не живая женщина, а манекен. Не то чтобы я почувствовала себя обиженной тем, что он не хочет видеть меня такой, какая я в жизни, а не в компьютере; мне это было совершенно безразлично. Но он видел во мне лишь моё изображение. В этом было что-то извращённое. Не знаю, читали ли они там, в студии, это послание; меня уверяли, что никто мою почту не вскрывает. Действительно, письма приходили нераспечатанными. И всё же подозрение мелькнуло у меня, когда однажды Оператор заметил, что важно не содержание писем, а то, что их становится всё больше: успех, сказал он, превзошёл все ожидания. Конечно, мне не сообщили, как выглядит этот успех в финансовом выражении, я знала лишь, что потребителя, когда он набирает мой шифр в интернете, предупреждают о том, что одна минута свидания со мной стоит столько-то.

При всём том моя жизнь не изменилась — если не считать необходимости торчать целыми днями дома (по понедельникам мне предоставлялся выходной день) и того, что было, очевидно, следствием затворничества: я стала плохо спать. Этот вздыхатель готов был видеть даже мои сны. Расскажу, пожалуй, один такой сон или, лучше сказать, кошмар; долгое время он преследовал меня своей реальностью. По настоящему я уже не спала, а дремала, это было снова под утро, и вдруг это произошло, я как будто пробудилась. И такое чувство, что всё прежнее было сном, а вот то, что произойдёт сейчас, это и есть действительность. Я сижу на берегу моря или большого озера. Погода портится, по воде бежит рябь.

Я собиралась встать и уйти, но заметила, что кто-то барахтается в воде. Пловец, или кто он там был, медленно приближался к берегу. Он уже достиг места, где под ногами дно, и всё ещё не может выбраться, бьёт руками по воде, не поймёшь, встал ли он на ноги или ещё плывёт. Хотя он близко от меня, из-за брызг я плохо вижу его лицо, он похож на человека, написавшего мне письмо, но тут же я вспоминаю, что никогда

этого человека не видела; наконец, он выходит, вернее, вываливается на берег: на нём ничего нет, нет плавок, но нет и ног. Вместо ног широкий рыбий хвост — это мужчина-русалка. Он приближается, прыгая на хвосте, спереди, в углублении под животом, подпрыгивают его половые части. Ужас и отвращение охватывают меня, теперь я понимаю, почему он написал такое письмо, мне всё становится ясно, хотя что именно становится ясно — неизвестно; пытаюсь подняться, но не могу встать на ноги, дело в том, что и я, к ужасу моему, оканчиваюсь плоским и раздвоённым хвостом, я тоже русалка.

В тот день я блестяще справилась с моими обязанностями. Я видела это по выражению тубусов. Стёкла камер, я заметила это с некоторых пор, могут иметь определённое выражение. Оператор давно перестал мною руководить, я вообще о нём больше не слышала, я делала что хотела, но знала, что делаю то, что нужно. В каждом деле вырабатывается автоматизм. Я поймала себя на том, что вот я встаю с постели, сбрасываю рубашку и облачаюсь в халат, снова раздеваюсь, стою под душем, сижу перед зеркалом, готовлю обед, поднимаюсь или спускаюсь по лестнице, раскрываю книжку, перебираю струны гитары, словом, делаю тысячу мелких дел — и при этом совершенно не сознаю того, что делаю. Не то чтобы я вовсе забыла о том, что никогда не бываю одна, что на меня смотрят тысячи глаз. Следят за каждым моим шагом, разглядывают черты моего лица, смотрят мне вслед, тысячи людей знают меня всю, от склотовых на затылке волос до мизинца на ноге. Но у меня было такое чувство, что они знают не меня, а ту, которая является мною, — не могу выразиться иначе.

Я — и женщина, которая является мною, разве это не одно и то же? Я как будто скрылась в самой себе: в своём теле, в своей одежде.

Однообразие моей жизни начало меня утомлять. Нечего и говорить о том, что за эти несколько недель я сказочно разбогатела; но моё существование всё больше тяготило меня. Никогда не думала, что человек может до такой степени надоесть самому себе. Это существование напоминало домашний арест. Я была избавлена от забот, мне доставляли всё необходимое, продукты от Дальмайра, всё чего душа пожелает. По понедельникам приходили две уборщицы, у меня был выходной день, однако мне было настоятельно рекомендовано ни с кем не встречаться. Мой телефон, как я подозреваю, прослушивался. Телефон звонил время от времени, я разговаривала с друзьями, у меня их немного; кажется, они не подозревали о моей новой профессии, но звонили всё реже. Похоже, что и публика понемногу насытилась мною.

Поэтому не стану утверждать, что предложение Оператора застало меня врасплох. «Вы, наверное, соскучились». — «Почему вы так думаете?» — спросила я. Как и прежде, новое предложение было не чем иным, как приказом. Меня предупредили о том, что ко мне

придёт гость. Кто такой? Да, собственно, никто. «Вы хотите сказать, его настоящее имя должно остаться неизвестным — как и моё?» Ответа не было. Зачем придёт, с какой целью? Да ни с какой. Развлечь меня, скрасить моё одиночество. Опытный человек, умеющий вести себя перед камерой. Но мне нужно дать хотя бы время, возразила я, с ним познакомиться. Меня заверили, что на первых порах аппаратура будет отключена.

Я открыла дверь, этот никто стоял на крыльце, не решаясь войти. Приятного вида молодой человек, скромно одетый. Извинился за то, что пришёл без предупреждения, добавив, что немедленно уйдёт, если явился некстати. Мы вошли в гостиную. Он отказался от кофе; через минуту после того, как он удалился, я уже не могла вспомнить, о чём у нас шла речь.

В следующий раз мы разговорились. Вопреки тому, что сказал Оператор, гость мой заметно нервничал, косясь на камеры, и я спросила, известно ли ему, что квартира подключена к Сети. Вопрос, разумеется, излишний. Он ответил, что эту тему нужно вынести за скобки. Что это значит, спросила я.

Выражение, объяснил он, заимствованное из математики.

«Понимаю, что из математики. Вы хотите сказать, что...»

«Да. Ведь мы должны делать вид, что никакого видео не существует».

«Это верно, мы должны чувствовать себя совершенно свободно. Для нас не должно быть запретных тем. Так почему же нам нельзя говорить о том, что на нас смотрят? Впрочем, они всё равно...»

«Что всё равно?»

«Временно отключены».

«А вы им верите?»

«Кому, фирме?»

«Нет, Большому Брату. Вы читали Оруэлла?.. Это шутка. Я имею в виду вот этого надзирателя», — и он показал на тубус, глядевший на нас из угла комнаты.

Я рассмеялась. «Вы думаете, камера сама решает, включаться ей или нет? Знаете что, — сказала я, — хотите, я поставлю самовар?»

«Самовар?»

«Ну да; вы когда-нибудь пили чай из русского самовара?»

«Мне говорили, что это чисто декоративный прибор».

«Но чай из него всё-таки пьют!»

«А чем этот чай отличается от обычного?»

«Вот увидите».

Я поставила сверкающий никелем сувенир на поднос, который стоял на маленьком столике, и воткнула вилку в штетсель.

«Вы правы, это, конечно, не совсем настоящий. Настоящий самовар загружают сосновыми шишками, сверху насаживают трубу, от го-

рящих шишек распространяется волшебный аромат, потом трубу снимают, ставят чайник с заваркой, правда, и в России самоваров давно нет. Но зато баба, — сказала я с гордостью, — настоящая».

«Можно взглянуть?» Полюбовавшись, он посадил куклу на место. Баба в платочке, со свекольными щеками и сама похожая на свёклу, полногрудая, в сарафане с пёстрой сборчатой юбкой, восседавшая на заварном чайнике, подмигнула гостю, но он, кажется, не заметил.

Он был студентом Школы кино и телевидения и собирался ставить свой первый фильм. Конечно, пробормотал он, ему неудобно об этом говорить, но, с другой стороны...

«Вы хотите сказать, — перебила я, — что вам заплатили за этот визит?»

Он взглянул на меня с испугом.

«Не беспокойтесь, я ведь тоже работаю не бесплатно. Вы сами сказали, что мы должны вести себя естественно, как будто нас никто не видит... Что может быть естественней, если мы будем говорить о наших делах и признаемся друг другу, что нас наняли?»

«Видите ли, мне сказали, что вы...»

Баба на самоваре вмешалась в разговор: «Чего время-то тянете?»

Студент растерянно спросил:

«Что она говорит?»

«Она желает вам приятного аппетита. Прошу вас», — я показала на блюдо с коржиками.

«А то всё разговоры да разговоры. Когда ж за дело-то приметесь?»

«Это что, — спросил студент, — у русских так принято?»

«Что принято?»

«Чтобы кукла желала приятного аппетита?»

«Это старинный обычай. В России, знаете ли, гостеприимство — закон. Можно предложить вам рюмочку коньяку?»

Молодой человек колебался.

«Дают — бери!» — изрекла баба на чайнике.

«Знаете... пожалуй, не откажусь», — пролепетал он.

«Давайте выпьем за вас, за ваши будущие успехи, за то, чтобы вы стали знаменитым режиссёром. И чтобы вам никогда не приходилось заниматься работой, которая вам не по душе».

«Но я... очень рад нашему знакомству».

Мы подняли рюмки, я снова налила ему и себе.

«Эй ты, не слишком-то его спаивай!»

«Тебе-то какое дело», — буркнула я, не глядя на бабу.

«А то он неспособный будет».

«Заткнись, тебя не спрашивают».

«Можно спросить, о чём это вы спорите?»

«Она считает, что я вас плохо принимаю...»

«О, — сказал студент. — Можете её заверить, что я... я просто не ожидал, что мне будет так приятно в вашем доме. Я не знал, что куклы могут разговаривать... И вообще сомневался, стоит ли мне соглашаться... Ведь я даже никогда вас не видел. Вы, наверно, думаете, что я принадлежу к вашим фанам... или как там это называется... уверяю вас: ничего подобного...»

«Тем лучше, — сказала я, разливая волшебный напиток, — но, знаете ли, от нас ожидают большего».

«Большого? Что вы имеете в виду?»

Я слегка откинулась в кресле, взглянула на моего собеседника, потом на третьего присутствующего, который внимательно прислушивался к нашему разговору: на камеру.

«Собственно, и я не получила никаких конкретных, скажем так, рекомендаций. Вас тоже ни о чём не предупредили, и вообще предоставили нам обоим свободу действий для того, чтобы... чтобы всё выглядело как на самом деле. Мне кажется, для нас с вами намечена, если можно так выразиться, специальная программа».

Он как-то кисло усмехнулся, наступила пауза.

«Программа...» — проговорил он.

«Да. В конце концов всю жизнь можно превратить в программу».

Теперь я знала наверняка: камеры включены. Идёт трансляция. И тысячи, многие тысячи глаз следят за каждым нашим движением, ловят каждое слово и каждый взгляд, ждут, изнемогают от нетерпения. Как будто то, что должно произойти на экране, произойдёт с ними самими.

«Мне кажется, это какой-то особенный коньяк», — сказал гость.

«Вам нравится?»

«Если это вообще коньяк».

Я расхохоталась.

«Это любовный напиток».

«Я так и думал».

«Ещё рюмочку?»

«Пожалуй».

Мы смотрели друг на друга. Я сказала:

«Видите ли, в чём дело... Будущему режиссёру неплохо это знать. Прежде я с этим миром никогда не имела дела. Я имею в виду мир кино, телевидения или вот это самое... Вам известно это лучше, чем мне, но я говорю не с точки зрения того, кто снимает или, допустим, транслирует, а с точки зрения того, кто на экране, не знаю только, как это лучше сформулировать. Короче говоря, вот мы сидим друг перед другом — и перед камерами, само собой, — и мне кажется, что кто-то сидит вместо меня и кто-то вместо вас. У вас нет такого чувства?»

Студент усмехнулся и пожал плечами.

«И между прочим, это чувство — что кто-то сидит вместо нас — облегчает всю ситуацию! Знаете что? У меня есть предложение: будем на ты».

Бабуся на самоваре захлопала в ладоши.

«Представь себе, — продолжала я, — где-то сидят люди и смотрят в свои компьютеры. И у каждого на экране — ты и я. Мы размножились. Нас тысячи, может быть, сотни тысяч... Мы стараемся вести себя как два нормальных человека. Как ведут себя мужчина и женщина. А что получается? Вот эта кукла — она нормальный человек. А я превратилась в куклу».

«Видать, перепила», — заметила баба на самоваре.

«Видишь, и она подтверждает. Будем откровенны, может, мы вообще больше никогда не увидимся... Ты, конечно, догадываешься, что по программе мы должны были изображать любовную пару. Ты — робкий обожатель, увидел мою страничку в интернете, я — компьютерная звезда; ты мне тоже понравился, ну и так далее. Не то чтобы кто-то там сочинил для нас жёсткий сценарий, всё должно происходить естественно. То есть по шаблону. По программе. Извини, — сказала я, взглянув на камеру, — меня вызывают».

Я надела наушники, знакомый голос произнёс:

«Превосходно. Продолжайте».

«Вами недовольны?» — спросил студент.

Я усмехнулась.

«Мною будут довольны, что бы я ни делала... Может быть, ты бы это объяснил лучше, ты всё-таки тоже принадлежишь к этому миру. Актриса, даже когда она вся живёт в своей роли, помнит разницу между собой и своей героиней, сознаёт границу. Пьеса кончается, актриса возвращается к самой себе. А я работаю в пьесе, которая никем не написана и которой нет конца. Эта пьеса — моя жизнь... Я должна забыть о том, что меня непрерывно снимают. На самом деле я забываю себя. Вот я сижу здесь... Не думай, что нас трое: ты, я и особа, которую я должна изображать. На самом деле нас двое: ты и эта особа. А меня нет»

«Но ведь вы сейчас не играете...»

«Ты говоришь мне — вы?»

Он извинился: «Я хочу сказать, ты сейчас никого не изображаешь».

«А откуда это известно? Чем естественней я себя веду, тем дальше я от самой себя. Я только что получила подтверждение. Мне говорят: продолжайте. Я ищу себя, ищу ту, которая пропала, я стараюсь быть с тобой откровенной, как на духу, — а мне говорят: прекрасно, продолжайте».

Мы оба умолкли, помалкивала и баба-свёкла.

«Так что, — проговорила я, вертя рюмку, — можно и в постель ложиться, всё равно это буду не я».

«Что же теперь...» — пробормотал гость.

«Ты хочешь спросить: что мы будем делать? Сначала допьём это зелье, а дальше... — я засмеялась, — дальше зависит от того, будем ли мы считать его коньяком или любовным напитком».

Я разлила остаток, подняла свой бокал, выпила, прищурилась, занесла бокал за плечо и швырнула его в камеру. Точное попадание — посыпались осколки. Собеседник от изумления открыл рот, а свекольная баба так развеселилась, что подпрыгнула на чайнике, но не попала назад, а съехала и чуть не свалилась с самовара.

«Чтоб это было в последний раз. Веди себя хорошо», — строго сказала я, усадив куклу на место. С пустой бутылкой в руках я двинулась к противоположному углу. «Что же ты сидишь, помогай», — сказала я студенту и шарахнула бутылкой по второй камере. В квартире раздались какие-то звуки, голос в наушниках, валявшихся на полу, шептал, скрежетал. Студент вопросительно взглянул на меня. Я кивнула. Он поднял ногу и раздавил Оператора каблук.

Ура! Никогда в жизни мне не было так весело. Мы носились по квартире, я с коньячной бутылкой, мой гость ещё с чем-то, взбежали по лестнице, скатились вниз. Пол был усеян стёклами, обломками металла и пластика, обрывками проводов. Я швырнула туда же обломок бутылки.

«Уф!»

«А как же любовный напиток?» — спросил гость.

Я сказала:

«Это не имеет значения. Мы его уже выпили...»

«Но знаете... — промолвил студент. — Ведь это тоже было частью передачи».

«Какая там передача, мы всё побили, — сказала я со смехом. — Все камеры к чертям! Мне теперь за убытки расплачиваться хватит до самой смерти».

Он возразил:

«Не все. И ничего не надо платить, наоборот. Знаете, это будет такая сенсация, какой свет не видывал».

«Ты так думаешь? Мне кажется, — сказала я, — нам теперь не вредно было бы прогуляться. Ты не против? Подышать свежим воздухом. А?»

Alter Ego¹

Вот краткое резюме полицейского протокола. Квартира состоит из прихожей, рабочего кабинета, столовой и комнаты с диваном — спальни. Имеется совмещённый санузел. Хозяин занимал эти

¹ Другое я (лат.).

хоромы один. Особых ценностей, как-то: крупных денежных сумм, ювелирных изделий, дорогостоящих предметов искусства не обнаружено. Следы грабежа отсутствуют.

Магнитофонная запись, найти которую не составляло труда, не убедила инспектора: он принял её за литературное произведение. Другие версии не выдержали проверки. Опрос соседей не дал ничего нового, подтвердилось уже известное: убитый вёл замкнутый образ жизни. Вдобавок полиция столкнулась с тем, что в криминальных романах именуется *the locked room mystery* и, к сожалению, иногда бывает в жизни: преступление в квартире, запертой изнутри.

Бывает, что человек умирает у себя дома без свидетелей, и никто об этом не знает. Писателя перестали видеть (по утрам он выходил за хлебом). Он не отвечал на телефонные звонки, в наружную дверь не достучаться. Тревогу подняла уборщица. В присутствии дворника и понятых были отомкнуты оба замка. Стало очевидно, что никаких других способов покинуть квартиру, кроме как выйти на лестничную площадку, у преступника не было. Наглухо закрытые изнутри окна, восьмой этаж, гладкая наружная стена исключали возможность бегства.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате тампонады сердца (заполнения кровью околосердечной сумки). Рана нанесена колющим оружием. Труп, несколько необычно одетый, находится в сидячем положении, головой на письменном столе, следы крови (очень скудные) на одежде и на ковре рабочего кабинета. Здесь же валяются орудия преступления: шпага с прямым однодольным клинком длиной 700 мм, изогнутым эфесом и дужкой (гардой) и кинжал-дага длиной 250 мм, с прямым клинком, рукоятью для левой руки и крестовиной, концы которой направлены вперёд. Отсутствие пальцевых отпечатков указывает на то, что злоумышленник либо тщательно вытер рукоять и эфес, либо действовал в перчатках.

Примечание. Даже находясь в критическом состоянии, пострадавший не утратил профессиональных навыков (связная речь, литературный язык), что, и ввело в заблуждение инспектора. Ниже следует запись. Начало, к сожалению, оборвано, в ряде мест пропуски. Соседи подтвердили, что голос принадлежит убитому.

...чужая лысая голова. Кусты дремучих бровей, борода — я не узнал себя. Мне показалось, что из зеркала на меня смотрит кто-то другой. На мне долгополый халат, древние шлёпанцы. (Примечание. Указанные вещи найдены в ванной комнате.) В этом одеянии я расхаживаю по моим апартаментам, листаю книжки, включаю и выключаю музы-

ку. Я одинок, у меня больше нет женщин; изредка, в виде отдыха, я позволяю себе смотреть порнографические фильмы. О бывших друзьях ничего не слышу; телефон молчит.

Нет времени подробно рассказывать о себе, да и незачем. Я думаю, внимательный читатель (таких, увы, раз-два и обчёлся) мог бы собрать из моих произведений, по мелочам, по осколкам, всю мою жизнь. Много лет подряд я занимался тем, что выдавливал сок своего мозга на бумагу. Порой я чувствовал себя совершенно опустошённым, обезвоженным, бессильным.

Итак, на чём я... (*дефект записи*) ...две щётки в стакане, совершенно одинаковые... улёгся и погрузился в размышления, точно вошёл в мутную тину, и тут меня легонько шлёпнули по щеке.

Оказалось, что я задремал, забвения хватило на... (*Голос времени гаснет; звук передвижаемых предметов. Говорящий собрался с силами.*) Во сне можно пережить состояние утраты себя. Отсутствует личное местоимение. Некто очутился в странном мире, но мир не кажется странным; действуешь в согласии с его абсурдной логикой, замечаешь подробности. Но ощущение себя, своей личности пропало. Всё равно что увидеть мир после своей смерти, он тот же, а тебя больше нет.

Однако то, что со мной случилось, клянусь, не было сном. Я был бодр, я в полной мере обладал своей личностью. Разве только последовательность мелких событий путалась: что было сперва, что потом. Но вот что интересно: к мозговому центру, который заведует самосознанием, — если есть такой центр, — присоединился ещё один. Не могу объяснить, не хватает нужных слов. Скажут: вот так писатель. Да, я и в писаниях моих доходил до границ выразимого, до пределов того, что ещё можно облечь в слова; я даже думаю, что именно поэтому теперь это произошло на самом деле. Скрипнула дверь, послышались или почудились шаги. Я выбрался из уборной — обычная история. Измученный, сидел на диване в нижнем белье, ловил шорохи, вздохи вещей. Наконец, облачился в халат, побрел в кабинет и остановился на пороге. Субъект, сидевший за моим столом, не поднял головы.

Я услышал его голос:

«У вас запор».

«Это моя рукопись», — сказал я.

«Вижу. Дурно работающий кишечник — и вот это. Очевидная связь. Не правда ли?»

Я спросил:

«Это ваша щётка?»

«Какая щётка?»

«Зубная. На полочке в ванной».

Он сложил стопкой мои листки, их довольно много, большая часть написана от руки, кое-что перепечатано. Машинка даёт мне возможность взглянуть на текст со стороны, как бы уже не моими глазами.

Итак, он складывает мои листки, откидывается в кресле и спрашивает: что я думаю об этом сочинении?

Что я думаю... Докладывать ему, что это, может быть, мой последний труд, что я шёл к нему долгие годы? Моё, быть может, высшее достижение? Всю жизнь, с тех пор как я начал покрывать бумагу чёрными строчками, орошать её невидимыми слезами, — всю жизнь я мечтал создать нечто окончательное, неопровержимое, роман-приговор, роман — итог и диагноз нашего времени, а вместе с тем и баланс моей собственной жизни. Сколько бессонных ночей, сколько сомнений... Баста. Я знаю себе цену. И не люблю пафоса.

«Правильно. (Кажется, он угадал мою мысль.) Пафос был бы здесь неуместен. Жалкая проза, между нами говоря: один язык чего стоит».

«Вы так считаете?» — сказал я холодно. Меня и забавлял, и бесил этот тон. Большая часть написана от руки, вряд ли он мог разобрать мой почерк. Небось, проглядел, пролистал, и готово дело, приговор вынесен.

«Оставим эти церемонии — давай на ты. Садись».

«Куда же мне сесть, — возразил я, — ты занял моё место».

«Ничего подобного. Это моё место».

(То самое, на котором я сейчас сижу. Крутись, лента. Я ещё вполне...)

Усмехнувшись, я сказал:

«Насколько я понимаю, ты мой двойник, довольно распространённый сюжет, я бы даже сказал, банальный».

«А ты другого и не заслуживаешь. Вполне в твоём духе».

Я пропустил мимо ушей эту колкость. В жизни, заметил я, так не бывает.

«Всё бывает. Хорошо, что ты наконец-то вспомнил о том, что существует реальная жизнь».

«Вы хотите сказать... хочешь сказать: у меня не все дома?»

«Отнюдь. Это значило бы, что и я спятил».

«Но всё-таки. Кто здесь настоящий, кто из нас существует на самом деле?»

Вместо ответа (а что он мог ответить?) незванный гость хмыкнул, покачал головой. Всё это с таким видом, точно он говорит с несмышлёнышем.

Я решил набраться терпения, объяснил, что мне трудно вести беседу с человеком, который считает, что он — это я. По чисто грамматическим причинам: какое местоимение надо употребить?

«Ego sum Imperator Romanus et supra grammaticos!»¹

Я пожал плечами.

«Говоришь, банальный сюжет... Забудь о литературе. Не я у тебя в гостях, а это ты, можно сказать, явился ко мне на поклон. Я — подлинник, а ты всего лишь дурная копия».

«Вот что, — сказал я. — Убирайся».

Он молчит.

«Убирайся, — повторил я, — нам не о чем говорить. Да и час уже поздний».

«Ты всё равно не спишь. Или?»

«Что — или?»

«Или думаешь, что я тебе приснился. Как бы не так! Да ты должен меня благодарить, гордиться должен, что существует нечто высшее, чем ты, и в то же время часть тебя самого... Радоваться, чёрт подери, что я здесь!».

«Никто вас не звал!»

«А вот это ты уже напрасно».

«Позвольте спросить: чем это вы лучше меня?»

Произнеся это, вернее, прошипев, я внезапно почувствовал головокружение, у меня это иногда бывает, — схватился за что-то, но тотчас овладел собой. Всё прояснилось. Я сидел в кресле за моим столом. Я — это был я. А он стоял, нахохлившись, посреди комнаты, неряшливый, в старом халате, в полуистлевших шлёпанцах.

«Так, — сказал я. — На чём же мы остановились...»

Я листал его бездарную писанину.

«Чем я лучше, — повторил я. Наш странный разговор продолжался. — Да хотя бы тем, что у меня нормально работает желудок... Что, между прочим, при нашем сидячем образе жизни имеет немаловажное значение. Физиология, друг мой, великая вещь! Одно дело — вымученная проза, когда третий день нет стула, и совсем другое, если вовремя опорожнися. Прими слабительное».

«Уже принимал. Никакого результата... Послушайте, — сказал он, снова сбиваясь на вы, — ведь это уже совсем нехорошо».

«Что нехорошо?»

«Какое-то раздвоение личности. Это уже пахнет психиатрией».

Я не стал возражать, — зачем?.. А, чёрт... (*Шорох в магнитофоне.*)
Ничего, сейчас справлюсь.

(*Пауза, пустая плёнка.*)

¹ Я римский император и стою выше грамматиков (*фраза приписывается имп. Сигизмунду; лат.*).

«...отклонились от темы. Посмотри, как ты живёшь. Ты опустился, кругом грязь. Кто-нибудь убирает твою берлогу?»

«Приходит одна».

«Небось, спишь с ней... Гони её в шею».

Помолчали немного; я рассеянно перебрал листки. Читать я всё это не собирался, о прозе можно судить по одному абзацу. Хотел было объяснить ему в двух словах, что такое настоящая проза, но зачем? Парень неисцелимо бездарен.

Усевшись поудобнее, я продолжал:

«Вот что я тебе скажу, братец. Ты называешь это преданностью искусству».

«Что называю?» — спросил он.

«Твой образ жизни. А на самом деле это самый отвратительный эгоизм. Дай мне договорить. Ты отвалил от себя всех своих друзей. Вынул жену оставить тебя, и вскоре после этого больная женщина умерла. Ты бросил детей, их воспитывает бабушка. Которой тоже не так уж много осталось. Деньги, принадлежавшие не тебе, ты присвоил, захватил себе квартиру, ты, между прочим, не такой уж простачок, каким прикидываешься, своего не упустишь, мимо рта ложку не пронесёшь! И всё это оттого, что мы-де рождены для вдохновенья, гениальный художник, великий писатель!».

Я впился в него глазами, надеялся пробудить в нём совесть, — куда там! — он насупился, нахохлился, поглядывал на меня волчьими глазами. Мрачно, с шумом втянул воздух в ноздри и отвёл глаза в сторону.

«Но искусство мстит! — воскликнул я, подняв палец. — Искусство мстит за подлянку! Вот результат, — я показал на пухлые папки и то, что лежало стопкой на столе. — Ну-ка живо, — приказал я. — Принеси какое-нибудь блюдо. Или поднос».

Он подчинился... вернее, я подчинился. Бесплезно, я думаю, пытаться объяснить, каким образом мы опять поменялись местами. Лёгкое головокружение, минутная потеря сознания. Впрочем, я и сейчас еле держусь... Короче говоря, я снова стоял посреди моего опоганенного кабинета. Авантюрист, самозванец, который и внешне, по-моему, вовсе не был так уж похож на меня, — мне даже подумалось, не разыгрывает ли меня кто-то, — ощерясь, сложил на подносе моё творение.

«Э, э! — закричал я. — Запрещаю! Не смей! Ты наделаешь пожар!»

Он поднёс к стопке листов зажигалку. Комната наполнилась дымом, моя проза пылала, он шуровал в костре, приподнимал горящие страницы чем-то подвернувшимся под руку, пепел хлопьями носился в воздухе; совершив это жуткое аутодафе, незванный гость потребовал тряпку. Я должен был убирать следы, выносить остатки, пришлось открыть окно. Чёрная ветреная ночь ворвалась в мою обитель. Всё это время он сидел, развалился в моём кресле, чрезвычайно довольный.

С тряпкой в руках, утирая слёзы рукавом, я стоял посреди комнаты.

«Это ваша щётка?» — спросил я снова.

«Какая щётка?»

«Зубная, в ванной. Забирайте её и... и чтоб вашего духу здесь не было...»

«Что это значит?» — сказал он надменно.

«Пошёл отсюда вон! Самозванец! Герострат!» — завопил я. Моя борода трепыхалась от гнева и сквозняка. В сердцах я захлопнул окно.

«Та-ак, — медленно проговорил он. — Ты меня выгоняешь. А если я не уйду?»

Я швырнул тряпку в угол, машинально отёр ладони о халат.

Он поморщился.

«Ты бы хоть руки вымыл... Ну что ж, как будет угодно его сиятельству. Я ведь желал тебе добра. Я ведь только напомнил. Думал, может, у него проснётся совесть...»

И он задумался на минуту.

«Есть предложение. Давай расстанемся по-хорошему, благородными противниками. Будь добр, не в службу, а в дружбу. Принеси там... из прихожей».

Тут надо бы сказать: ступай сам, если тебе нужно. И остаться, наконец, одному. О, как хотелось остаться одному! Сесть в кресло, обдумать случившееся... Я подчинился, вынес что он просил.

«Я не умею фехтовать, — сказал я. — Никогда в жизни не держал...»

«Ничего, научишься. Вот это дага. Бери в левую руку. А в правую... Только, знаешь что? Надень что-нибудь попримичней».

Я вернулся, на мне были бархатные штаны до колен, чулки, туфли с пряжками, белая полотняная рубашка с рюшами на груди. По дороге я заглянул в ванную, мои седые кудри вокруг сверкающего черепа произвели впечатление на меня самого. Я благоухал духами. Вошёл — на нём был такой же костюм.

Бросили жребий. Я поймал на лету шпагу, брошенную мне.

Мы отсалютовали друг другу и встали в позицию, шпага в правой руке, кинжал в левой.

Несколько раз мы скрестили наше оружие. Получалось недурно. Он выкрикивал фехтовальные термины, я молча парировал.

Он засопел, глаза его засверкали, и стало ясно, что игра превращается в бой.

С полной ответственностью заявляю, что у меня не было намерения убивать его. Кто бы он ни был. Я оказался сильнее и ловчее. Мне удалось выбить у него из рук шпагу, мы сблизились почти

плотную, и я ударил его наотмашь кинжалом в грудь. Он прошептал: «Ты убил меня — свою лучшую часть...» Падая, мой противник успел ткнуть меня своей дагой. Я пошатнулся и выронил шпагу.

Крутись, лента, крутись... Я уже почти не здесь. Я — где-то... Только бы успеть договорить...

Абстрактный роман

Знакомство

Именно так я и думал: куда кривая вывезет. Как получится. Мне незачем объяснять, кто я такой, идея освободиться от всех примет, от всех опознавательных знаков моего существования повергла меня в какое-то дурашливое веселье. Моя тусклая жизнь заиграла красками, как лужа в пятнах мазута. Прежде чем затеять игру с неизвестной женщиной, я уже играл в эту игру сам с собой. В одних трусах, отшлёпывая ладонями пошленький ритм, я подбежал к компьютеру и настроил десять вариантов; в конце концов выбрал кратчайший текст. После чего надрезал полосками нижний край листа и начертил на каждой номер телефона, как если бы ожидалась уйма желающих. До полудня игровое настроение не покидало меня.

Всё это происходило в субботу, но поездка состоялась в минувший понедельник, так что прошла целая неделя, прежде чем меня осенила вышеупомянутая гениальная мысль. Совершенно незначительный случай: по делам фирмы я отправился в Пречистый Бор. Битый час тряся в автобусе по мощёной дороге. Название, восстановленное недавно (прежнее было в честь местного партийного деятеля), обещало идиллическую картину. Ничуть не бывало. Леса вокруг вырублены, городишко тонет в грязи, перед базарной площадью стоит облезлый собор, из продырявленного купола растёт куст. Площадь с остатками торговых рядов обнесена забором из необструганных, потемневших от времени досок, там идёт нескончаемое строительство, похожее на хронический недуг: редкие обострения сменяются продолжительными ремиссиями. Тащиться сюда не стоило. Поболтавшись немного, поговорив с людьми, я убедился, что шансы получить выгодный подряд равны нулю. До отхода автобуса оставалось полчаса, я разглядывал объявления на заборе и наткнулся на следующий замечательный текст:

«Парень 19 лет переспит с женщиной не старше 35».

Некоторое время, качаясь и подпрыгивая на продавленном сиденье, я размышлял, что бы это могло значить. Любопытно было бы взглянуть на автора объявления, был ли он — о чём как будто свидетельствовал короткий телефонный номер — здешним жителем? Если это реклама мужской проституции, то почему «не старше

35 лет?» И, кстати, как должны называться местные жители: пре-чистенцы? Мне пришло в голову, что название городка намекает на Деву с младенцем.

Не стану утверждать, что воззвание на заборе натолкнуло меня на мою идею. Скорее наоборот: я вспомнил о нём, когда родилась идея.

Итак, суббота, ранний час, и никого кругом нет. Я приклеил объявление кусочками скотча. Вечером, возвращаясь к себе, я сделал крюк, чтобы не проходить мимо этого места. Я надеялся, что мою рекламу сорвали, я не мог понять, чего ради я всё это затеял. Наутро бумажка всё ещё белела на углу большого дома против светофора, полоски все до одной были целы и подрагивали на ветру. Оглядевшись, я отодрал объявление, скомкал и швырнул в урну. И двинулся прочь не спеша, как ни в чём не бывало.

Я твёрдо решил никогда не вспоминать об этой аванюре, но всё-таки — с какой стати мне взбрело в голову написать предложение незнакомке?

Теперь я должен рассказать, каким образом мы встретились. Да, мы встретились. Прошла неделя, и раздался телефонный звонок. Женский голос, извинившись, спросил, давал ли я объявление.

«Какое объявление?»

Она, по-видимому, смутилась, я спросил: «Вы имеете в виду...?»

«Да. Кто-то его сорвал...»

Я сразу представил себе, что она прочла, прошла мимо, колебалась, вернулась — объявления уже не было. Пожалела, что не оторвала полоску с телефоном, на всякий случай заглянула в урну... Удивительно, как молниеносно заработала моя фантазия.

Я сказал, стараясь скрыть иронию:

«Рад, что вы позвонили».

«Я тоже рада...»

Судя по голосу, ей вряд ли было больше двадцати, двадцати пяти лет. Чёрт возьми — меня охватило странное воодушевление. Охватили сомнения. Кто-то в свою очередь пожелал затеять со мной игру. Голос звучал неуверенно, но она могла притворяться. Я, конечно, помнил фразу в моём объявлении: «никаких обязательств». Какая порядочная женщина позволит себе откликнуться на такое предложение? А вместе с тем эта фраза должна была чем-то привлекать. Авантюристка, искательница приключений. Или (тут мне вспомнилось объявление в Пре-чистом Бору) решила, что я торгую собой. Я пробормотал:

«Ну что ж... давайте увидимся».

В эту минуту я чувствовал, что это был не я, а кто-то изображавший меня. Как если бы этой репликой начиналась пьеса, сочинённая кем-то, и мне оставалось и впредь повторять готовый текст. Сам того не сознавая, я облегчил себе дальнейшие шаги. Побрился (было воскресное ут-

ро), обрядился в новый костюм и повязал «гаврилу». От меня пахло шипром. Мне пришло в голову, что буржуазный вид отпугнёт девушку, я снял галстук, сменил чопорный тёмный пиджак на светлый клетчатый. Повязал на шею пёстрый платок и заправил концы под рубашку. Теперь я выглядел фатом. Пришлось отказаться и от платка. Я раздумывал, надеть ли мне шляпу.

Как уже сказано, я не собираюсь отрекомендовываться, не хочу даже себя называть. Разве только два слова о том, как выглядит герой пьесы. Я, можно сказать, самый обыкновенный человек, среднего роста, заурядной внешности, таких, как я, в городской толпе — каждый десятый. Мне немного больше тридцати, немного меньше сорока. Семейное положение? Была жена, в паспорте остался штамп, мы давно не живём вместе. У меня есть приятели, которыми я не особенно дорожу, есть родственники, сослуживцы и сослуживицы; фирма, упомянутая выше, не слишком прeusпевающая, принадлежит не мне. (Мне трудно представить себя в роли бизнесмена.) Я думаю, что я настоящий герой нашего времени, представитель массы, по которой ежевечерне взад-вперёд, как дорожный каток, прокатывается каток телевидения, я жертва посредственного образования, общедоступного комфорта, всеобщего второсортного благополучия — того самого «худобедно» — и всеобщей растерянности. Я тот, которого каждый вечер тошнит от сознания, что прошедший день в точности повторится завтра. Теоретически я бы мог присоединиться к тем, кто протестует против «истеблишмента», против всего этого гнусного устройства, — но, во-первых, мне за тридцать, а, во-вторых, я слишком пассивен. Слишком уж мало чем выделяюсь. Даже если бы не пришлось сейчас рассказывать вам эту историю, мне незачем было бы объяснять, что моё имя — «он», просто Он.

Так как речь, несомненно, шла о постельном приключении, я должен был всё обдумать заранее. Взвесил несколько вариантов. О том, чтобы привести её к себе, не могло быть и речи. Гостиницы дóроги, вдобавок государство обязывает владельцев этих учреждений заботиться о нравственности, вы должны предъявить паспорт, говорят, нужна иногородняя прописка. Вероятно, и отметка о браке, она у меня есть, но ведь эти сволочи потребуют паспорт и у моей спутницы. И, наконец, в гостиницах, более или менее недорогих, никогда не бывает свободных мест. Всё вместе означает, что надо дать на лапу в регистратуре, дать дежурной по этажу и ещё Бог знает кому. У моей матери есть комната возле площади Маяковского, в доме так называемого повышенного качества, где с фасада валится облицовка; второй муж моей мамы был большой шишкой в прежние времена. Комната чаще всего пустует, так как мать подолгу гостит в другом городе у кого-то там, подробности мне неизвестны, я поддерживаю с ней сугобо формальные отношения. Уезжая, она оставляет мне ключ.

Я должен поливать цветы и кормить рыбок. Но я не хочу ничем быть ей обязанным. К тому же там есть сосед, мерзкий субъект, подселённый после того, как рухнула советская власть.

Была ещё одна возможность, на мой взгляд, очень привлекательная, для этого надо было поехать за город. Это отвечало моему желанию вырваться из городской рутины. Но партнёрша может заподозрить что-нибудь неладное. Размышляя обо всём этом, я прошёл пешком два квартала. Мысли отвлекли меня от главного.

Перед входом в кафе-мороженое, не успев вступить на порог, я вдруг подумал: а ну её к чёрту. Если речь идёт о том, чтобы переспать, неужели нет другого способа. Не скажу, чтобы я пользовался особым успехом у прекрасного пола, я робок, никогда не был предприимчив. Но всё же мне вспомнились две-три знакомые, это были, что называется, «распечатанные» женщины, наподобие распечатанных писем или колоды карт; и уж по крайней мере одна из них наверняка была бы не прочь. Да, в конце концов, косяки девиц прогуливаются по вечерам в известных местах. Так какого же лешего?.. Я прошёлся мимо окон, там было полно народу. Немолодая посетительница за стеклом рассеянно взглянула на меня. Я вошёл в кафе. Было шумно; ненавижу все эти заведения.

Компания девушек сидела в центре за круглым столом, одна из них, довольно смазливая, стрельнула в меня глазами, что-то сказала соседке; та тоже посмотрела, с хитро-насмешливым выражением, — мне стало ясно, что они меня дожидались. Меня готовились разыграть. Вместо того, чтобы повернуться и уйти (время как будто свалилось с меня), я протиснулся между столиками к окну, спросил, можно ли сесть, и, не дожидаясь ответа, опустился на стул напротив пожилой тётки. Собственно говоря, мне здесь делать было нечего. Девушки как будто забыли обо мне. Надо было уходить, я всё ещё сидел. Тут произошло нечто — взглянув на соседку, я встретил её спокойный взгляд. Она сказала:

«Здравствуйте».

Я как-то дико уставился на неё и возразил: здравствуйте.

«Я вам звонила».

«Вы?»

«Ну да. Это я».

«Ага», — сказал я.

«Я вижу, вы разочарованы».

«Ни в коем случае, но...»

«Вы ожидали увидеть другую».

К нам подошла официантка, моя собеседница заказала кофе, а вам, спросила девушка, мне тоже, сказал я.

«Я вас увидела. Из окна».

«Сейчас?»

«Нет... тогда».

«Вы там близко живёте?»

«Мои окна напротив».

«Ага. Вот как».

«Потом увидела, тоже совершенно случайно, как кто-то подошёл и стал читать объявление. Я уже знала, что там написано... И, конечно, догадалась».

«Догадались, что это я?»

«Ну да. Вы не читали, вы просто сорвали объявление и бросили в урну».

Она открыла сумочку и достала. Я растерянно взглянул на смятый листок с оборванными уголками — там, где были полоски скотча.

«Мне показалось, что это просто какая-то судьба...»

Я сказал: «Вы, наверное, любите сидеть у окна».

«Нет, в том-то и дело».

Исподтишка я поглядывал на неё, стараясь скрыть своё любопытство; в то же время я не смел спрашивать её ни о чём, и она инстинктивно (как я думаю) выбрала ту же тактику — не задавать никаких вопросов. Возможно, сыграл роль лаконичный текст моего объявления. Но о чём же тогда разговаривать?

Пожалуй, ей было не так уж много, но во всяком случае не меньше сорока; лицо, впрочем, без морщин; губы слегка тронуты помадой, серые глаза, спокойно-задумчивый взгляд, какой-то даже грустный, словно она говорила себе: ну что с него взять?.. На этой женщине была скромная лиловая шляпка, шею прикрывала, доходя до подбородка, полупрозрачная косынка, сбоку завязанная бантом. Чтобы скрыть морщины на шее, подумал я. Серое демисезонное пальто скрадывает полноту. Интеллигентный вид. Конечно, как всякий нормальный мужик, я сразу представил себе, какой она будет выглядеть в постели. И, должен сознаться, особого энтузиазма не испытывал.

Помолчав, она проговорила (кофе остывал в чашках на столе):

«Как я понимаю, вы хотите откланяться».

«Откланяться, почему?»

Она пожала плечами. «Видимо, решили, что я вам не подхожу».

В ответ я изобразил вежливо-протестующую мину. Инициатива предоставлена мне; обычная ситуация. Как на вечерах во времена, которые мы ещё успели застать: кавалер выбирает, барышня ждёт, когда её пригласят. Но ведь, чёрт возьми, мы живём теперь в другом веке. Другие танцы.

По крайней мере, стало ясно, что она не имеет в виду то, чего я опасался. Понимает, что я не собираюсь предлагать себя за плату.

Она заговорила:

«Мы с вами не знаем друг друга и, по-видимому, ничего не узнаем, ни вы обо мне, ни я о вас. Это ведь и было условием, правда? Извините за откровенность, я прекрасно понимаю, что вы имели в виду. Встретиться с женщиной, чтобы с ней переспать. Говорят, теперь это довольно обычный способ знакомства. Но, в общем-то, чем он плох? Встретились, разошлись, никаких обязательств. Я тоже решила встретиться... Но я почему-то думала...»

«Что я окажусь старше?»

«Нет. Вернее, так: или уж очень молоденький — или старик».

«Может быть... — я не договорил, она вопросительно взглянула на меня. — Может быть, мы пойдём?»

«Куда? Вы хотите меня проводить?»

«Нет... пойдём туда, куда мы хотели пойти».

«Да, но куда же?» — спросила она, улыбаясь. У неё были хорошие ровные зубы.

Я отпил глоток, моя рука подпирала подбородок, я смотрел на мою подругу. Подругу ли?

«В чём дело?»

«Вот именно, — пробормотал я, — в чём дело».

«Вы, я вижу, даже не решили, где мы...»

«Нет; не то чтобы не решил. Я просто хочу вам предложить вот что. Мы, конечно, можем где-нибудь поблизости: у меня есть комната. Не моя, но она полностью в нашем распоряжении».

«Послушайте, — сказала она, берясь за чашку. Подняла и поставила назад. — Мне кажется, вы заставляете себя. Одним словом, у вас нет ко мне никакого интереса. Давайте расстанемся».

Я расплатился, мы поднялись. На улице я предложил ей поехать за город, совершенно уверенный, что она откажется. Она как будто даже не очень удивилась. Смотрела на меня иронически.

«Даю вам слово, — сказал я. — Вас никто не ограбит. Ехать недалеко. Места очень красивые. Сегодня прекрасная погода. Особого комфорта нет, но... кровать найдётся. Ну и, конечно, пообедаем. А потом я отвезу вас в город».

Мы двинулись на вокзал.

В вагоне она впала в задумчивость, смотрела в окно. Народу было немного, вагон покачивался, летели мимо унылые окраины, кирпичные, столетней давности железнодорожные корпуса, пакгаузы, свалки мусора. Вот, думал я, двое встретились случайно и чего ради потащились в чёртову даль? Навстречу нам тархтел электровоз, стуча, погромыхивая, тащились вагоны, цистерны. Электричка замедлила ход. Моя спутница перевела на меня затуманенный взор, вот сейчас она встанет, не прощаясь, пройдёт между пассажирами в тамбур и исчезнет из моей жизни невзначай, как и появилась. Платформа уже плыла за окнами

вагона. Дама все ещё сидела передо мной. Поезд не остановился. Прибавил ходу. Теперь за окном тянулись пустые поля, мелькали осенние, всё ещё густолиственные перелески. Она снова на меня взглянула. Скоро, сказал я. Ещё минут десять.

Мы стояли в тамбуре. Станция приближалась.

«А там пешёчком минут пять, не больше... Что за чёрт!» — сказал я. Вагон медленно ехал мимо платформы, и вот она уже осталась позади. Придётся сойти на следующей. Пожалуй, это было нехорошее предзнаменование.

Проскочили мост, электричка шла по дуге, были видны передние вагоны, следующая станция показалась. Красный огонь светофора. Слава Богу, поезд затормозил. Неохотно раздвинулись двери. Кроме нас, никто не сошёл на платформу, и вообще кругом ни души.

Побрели в зал ожидания, выяснилось, что на этом полустанке останавливаются лишь редкие поезда. Ближайшая электричка в обратном направлении — через два часа; быстрее дойти пешком. Это даже не плохо, заявил я, прогуляемся, подышим воздухом. Через полчаса будем на месте. И мы пустились пешком в обратный путь. Медное солнце стояло высоко над лесом. Не помню, о чём мы говорили по дороге.

Уговор

Мне кажется, ни о чём. Шли и шли; лес всё гуще; и скоро стало ясно, что мы заблудились. Вообще говоря, всё произошло не совсем так. Не он написал объявление, а я. Вернусь к началу.

Мне не поверят, если я скажу, что эта фраза явилась во сне. Не вижу необходимости рассказывать, чем я занимаюсь, ничего особенного, когда-то мечтала стать актрисой, журналисткой, даже фотомodelью, словом, Бог знает кем, а вот — приземлилась в редакции тухлой ведомственной газетки. Но зато на работу мне надо к двенадцати часам, и я этим очень дорожу. Ненавижу раннее вставание. Утром я нежусь в постели, задрёмываю и вижу сны. Фраза, которая мне приснилась, выглядела (или звучала) так: «Дама ищет кавалера».

Был ли это — как когда-то говорили — перст судьбы?

Весь день слова эти вертелись у меня в голове, в конце концов (вернувшись вечером) я уселась за стол и написала на чистом листе от руки, большими буквами: «Дама ищет...» — подумала и добавила: «спутника». Этот вариант показался мне недостаточно точным, я вернулась к первому. Мне часто приходится редактировать разные корявые тексты. И вот я как будто свихнулась: ходила по комнате, садилась и записывала варианты, приходившие в голову. Неизменным оставалось главное условие: объявление должно быть коротким.

Текст, на котором я остановилась, меня тоже не вполне удовлетворил, но усердие начало иссякать, я почувствовала, что странное вдохновение, лучше сказать — наваждение, покидает меня.

«Она хочет встретиться с ним. Никаких обязательств не требуется».

И — просьба прислать фотографию. Главпочтамт, до востребования такой-то (я указала свою девичью фамилию).

Почему я это сделала? Сейчас могу дать только один ответ: потому что мне это приснилось. Так сказать, снимаю с себя ответственность. Но почему приснилось? Я живу одна. Мой муж, офицер, погиб в Афганистане, это случилось довольно давно, мы не успели обзавестись ребёнком, зато я успела с тех пор изрядно состариться, но, конечно, не настолько, чтобы соблазнительные видения перестали посещать меня во сне. Любопытно, что в последнее время мне как раз ничего такого не снилось. Я привыкла жить одна, я ценю свою независимость и не испытываю ни малейшего желания выйти вновь замуж.

Захотелось бабе какого-нибудь приключения? Может, и захотелось, но вообще-то эти слова ко мне плохо подходят. По натуре я человек замкнутый, недоверчивый, боязливый. Возможно, неумение преодолеть скованность и было настоящей причиной, почему я избрала такой странный способ знакомства. «Дама ищет...» — смешная фраза без конца повторялась в мозгу, когда я валялась утром с открытыми глазами; я бы даже сказала, что она-то и открыла мне глаза. Я почувствовала, что меня тошнит от моего привычного образа жизни. Это со мной иногда бывает; может быть, зависит от погоды или от моего цикла. Лежу и думаю о себе, о своей жизни. До последних мелочей знаю, как пройдёт день и чем кончится. И завтра, и послезавтра будет то же самое. Знакомые надоели мне. Сослуживцы... я могла безошибочно предсказать, о чём пойдёт разговор, что мне скажут, что я отвечу.

Теперь представим себе, что будет, если кто-то клонет на объявление. Мне пришлют фотокарточку, которая мне ничего не скажет. Фотографии всегда лгут. Какой-нибудь красавчик, а вместо него явится уродливый, хамоватый, чего доброго, с физическим дефектом, ведь люди этого сорта чаще всего и хватаются за такую возможность. Лечь с ним в постель?.. Как? где? Разумеется, не здесь, не у меня дома. Допустим, в гостинице. И, конечно, платит за номер он. Иначе говоря, он меня покупает. С таким же успехом можно купить женщину по рекламе в газете или просто на улице, я знаю, где они ходят. Странно, что клиентов привлекают такие наряды. Будь я на месте этих девиц, я оделась бы иначе: скромно, со вкусом. По крайней мере, тогда можно рассчитывать, что к тебе подойдёт порядочный человек.

Приходилось ли мне в моей жизни испробовать секс без иллюзий, когда заранее известно: переспим, и привет? Да, конечно; раза два; чего уж там притворяться. Потом неприятный осадок; в том-то и дело, что обходиться без «предрассудков» не так просто.

Из моего окна виден перекрёсток и угол противоположного дома, по тротуару снуют пешеходы, народ толпится у светофора. Не видно было, чтобы кто-нибудь обратил внимание на мой белеющий на стене дома листок.

На другое утро я не выдержала, опять поглядела в окно и заметила, что кто-то читает объявление. К вечеру оно исчезло. Вероятно, его сорвало хулиганьё.

Тем не менее, подождав день-другой, я отправилась на Центральный почтамт, писем для меня не было. Письмо, единственное, пришло в пятницу. Однажды по телевидению рассказывали о террористах, рассылающих письма с начинкой. Я уселась в углу в зале почтамта и осторожно, держа письмо подальше от глаз, надорвала конверт. Там не было фотографии. Короткая записка: мне предлагали встретиться в субботу. Я решила не ходить.

У меня бывает состояние, когда я выхожу из-под собственного контроля. Например, хочу идти по этой стороне улицы, а ноги сворачивают к переходу, и я оказываюсь на противоположной стороне. В прекрасное субботнее утро я собралась ехать к одной приятельнице, которую не видела два года. Правда, окончательно мы не договорились, я должна была позвонить. В результате я очутилась в одном из новомодных кафе, которое, видимо, пользуется популярностью: мне с трудом удалось найти местечко у окна. Я даже пришла немного раньше, чтобы освоиться, придти в себя; всегда удобнее сидеть на месте, чем кого-то искать; пусть сам ищет. Посреди зала за круглым столом сидела визгливая компания — одни девицы. Вертлявые официантки шныряли между столиками. Заказала пирожное и кофе. Неизвестно было, сумею ли я его узнать. Угадает ли он меня?

Как я выглядела? Немаловажный вопрос. Как уже говорилось, я должна была ехать к приятельнице. Но, пожалуй, с самого начала это был самообман; я одевалась тщательней, чем требовалось для визита к подруге. Надела, между прочим, на всякий случай красивое кружевное бельё.

Я мгновенно догадалась, что это он: вошёл мужчина довольно незначительной внешности, невысокого роста и, без сомнения, моложе меня, я дала бы ему лет тридцать с небольшим. По крайней мере, он не выглядел отталкивающе — и на том, как говорится, спасибо. Я ожидала встретить кого угодно: потасканного искателя приключений, старого холостяка, прыщавого юнца, развязного хама. Этот явно не страдал избытком отваги, топтался, мешая входящим и выходящим, обвёл глазами публику, взглянул на компанию девиц, меня, по моему, совершенно не заметил. Я предоставила последнее слово судьбе: перевела взгляд в окно. Если он сам не поймёт, значит, так тому и быть, посижу немного и уйду.

Всё была одна сплошная глупость. Я подумала, с каким облегчением я вернусь к себе. Позвоню подруге, а ещё лучше — никуда не поеду, сброшу платье, растянусь на софе, включу музыку. Я уже сказала, что больше всего ценю мою свободу.

И это тоже глупость: я поняла, что буду ужасно разочарована.

Но почему, собственно, я решила, что это тот самый, приславший письмо? Не знаю. Рука судьбы. Повернув голову, я увидела, что он стоит возле моего столика. Доброе утро, сказал он.

Я ответила:

«Здравствуйте».

Он спросил, можно ли ему сесть, я кивнула.

«Вы пришли по объявлению?» — спросила, стараясь выдержать как можно более спокойный тон.

«Да», — сказал он неуверенно.

«Кто-то его сорвал».

«Я его отклеил. Чтобы другие не воспользовались. Вы... моё письмо получили?»

Я улыбнулась.

«Кофе, — сказал он официантке. — Конечно; ведь иначе вы бы и не пришли. Можно вас спросить?»

«Пожалуйста».

«Объясните мне... Что это значит: обязательства не требуются?»

«Что это значит, — проговорила я и взглянула на свои пальцы, на маникюр. — Это значит вот что. Если вы... если мы побудем вместе. Ни я вам, ни вы мне ничем не обязаны. Я не знаю вашего имени, вы не знаете моего имени. Вы вообще ничего обо мне не знаете. Ведь так оно и есть?»

«Да, конечно».

«Я тоже ничего не знаю и ни о чём не спрашиваю. Мы свободные люди. Встретились — разошлись».

«Ясно. Но ведь всё-таки... мы встретились с определённой целью».

«Вы удивительно догадливы».

Мы оба засмеялись, мы почувствовали себя заговорщиками, итак, сказала я или, может быть, сказал он, что же мы предпримем, куда двинемся, я сказала, лучше в гостиницу, только вот не знаю, в какую, я никогда не была в гостиницах, для меня это вообще совершенно необычное приключение, для меня тоже, сказал он. И мы опять засмеялись.

«У меня есть предложение, — сказал он, опустив глаза. — Гостиница, по-моему, отпадает».

Он объяснил, но я и сама понимала, что толкаться туда нет смысла. Он предложил ехать за город, на пустующую дачу своих друзей.

«Ну нет, куда это я потащусь», — сказала я.

«Давайте отойдём в сторонку. (Мы стояли на тротуаре.) Я вам объясню... Уверяю вас, это гораздо лучше. Там совсем неплохо, вы увидите. Мы будем совершенно одни, полная свобода. И в конце концов, если мы хотим вырваться из обычной жизни... прожить один день совершенно по-другому...»

«Прожить один день по-другому?» — сказала я.

Нет, я просто сошла с ума. Он изучал расписание. Побежали, сказал он, четвёртая платформа. Мы влетели в вагон, и тотчас двери захлопнулись. Народу было немного, мы сидели друг против друга, у окна. На кого мы были похожи? На мать и сына? Возможно. На супругов? Вряд ли. На любовников? Вот уж нет.

Прогулка

Как всякое недоразумение, случай в дороге можно было истолковать двояко. Мужчина винил себя: в спешке он невнимательно прочёл расписание. Женщина усмотрела в том, что поезд не остановился на полустанке, вмешательство судьбы. Об этом они толковали, дружно шагая по лесной дороге. Ничего не зная друг о друге, будущие любовники чувствовали, что приключение сблизило их. Словно они отпили из чаши с коктейлем, где к алкоголю подмешаны капля желания и чайная ложка авантюризма. Пели птицы, и настроение было превосходное. Он сказал, что через полчаса они будут на месте. Она возразила, что не прочь подышать чистым сосновым воздухом. Не кажется ли ему, спросила женщина, что предвкушение того, что должно произойти, может быть лучше того, что произойдёт? Я думаю, что у нас всё получится, ответил он. Надеетесь? — спросила она, улыбнувшись. Уверен, был ответ. Эта категоричность отличалась от его прежнего тона, больше не было этого потерянного выражения, с которым мужчина, войдя в кафе, оглядывал посетителей и которое, видимо, подкупило женщину. Двое продолжали свой путь. Солнце, опускаясь, блестело сквозь чащу. Они остановились. Может быть, проговорила она... ведь неизвестно, когда мы дойдём. Может, нам лучше вернуться?

Ему пришло в голову, что спутница устала. Устала от ходьбы или устала ждать? Они могли бы присесть отдохнуть, могли, в конце концов, — почему бы и нет? — соединиться здесь, на поляне. Поляна осталась позади, они брели мимо густого малинника, мимо высоких, в человеческий рост, зарослей крапивы, под незаметно меркнувшим тёмно-голубым небом. Что ж, сказала она, если вы считаете, что лучше не возвращаться... Я уверен, перебил он, осталось уже немного. Увидели поваленное дерево; присядем, предложила она. Но тогда... пробормотал спутник. Ах, сказала женщина, вам не надо было это говорить. Он воз-

разил: я пока ещё ничего не сказал. Но подумал, сказала женщина. Трезвость и смущение сменяли друг друга. Шли дальше. А что тут такого, если даже и подумал, промолвил он, что тут такого. Вы ведь тоже подумали. Не всё, о чём думают, говорится вслух, сказала она шутя. Всё должно происходить само собой. Интересная идея, заметил он, мы сами всё затеяли, а теперь оказывается, что все должно происходить без нашей воли. Они остановились. Мужчина спросил: можно вас поцеловать? Она сказала: на лоне природы? Птицы пели всё громче. Это значит, что наступил вечер, сказала спутница. И добавила: комично, что вы спрашиваете разрешения. У дамы, которая вывесила такое объявление. Позвольте, возразил он, но ведь это я дал объявление. Это была новая тема для разговора, и несколько времени они вяло спорили о том, кто был первым. Теперь дорога слегка блестела под небом цвета синей жести.

«Знаете, может быть, даже лучше, что мы проявили такую выдержку, я бы сказал: такое терпение», — проговорил мужчина, чей облик в общих чертах был описан выше, только теперь что-то переменилось. Возможно, оттого, что спутница успела присмотреться к нему, он уже не казался невзрачным и неприметным человеком как все. Или сыграло роль освещение.

«Вы хотите сказать — это дало нам возможность немного познакомиться друг с другом? Конечно, нам ничего не стоит — продолжал он, — расположиться прямо здесь... где-нибудь в кустах. В конце концов, ради чего...»

«Ради чего мы встретились. Скажите проще: вам расхотелось».

Молча шли дальше.

«Ведь правда?»

Он ответил:

«Нет; то есть я не знаю. Нет, конечно, вовсе не расхотелось. Не в этом дело».

«Вы отложили желание на потом, это вы хотите сказать?»

«Может быть. Вот вы говорите, возможность познакомиться... Познакомиться — это значит начать немного уважать друг друга. Может быть, даже любить...»

«О! как вы заговорили».

«Хотите, раз уж мы решили дойти, я вам расскажу одну историю, — сказал мужчина. — В общем-то довольно банальную, такие случаи бывают у многих... Эта история произошла со мной».

«Я так и знала».

«Вам скучно слушать?»

«Нет, мне очень интересно... что за история?»

Спутник молчал. «Ну?» — напомнила она.

«Мне было восемнадцать лет, и это было как раз то время, можно сказать, начало эпохи, когда все условности, весь этот этикет, вдолбленный чуть ли не с детства, — всё стало казаться старомодным, причём надо сказать, что девушки приспособились к новым правилам поведения гораздо быстрее».

«Чем молодые люди?»

«Чем я, например. Мне даже казалось, что девицы давно мечтали о том, чтобы сбросить с себя эти путы. Вернее, поняли то, чего ребята понять не могли: что рано или поздно, в один прекрасный день эти путы спадут... Тут вдобавок узнали о пилюле. Можно не заботиться о беременности. Самое главное — изменилась атмосфера. На Западе произошла сексуальная революция, постепенно всё это стало доходить и до нас. И всё-таки я хочу сказать — как трудно было преодолеть скованность. Если бы ещё социальная среда была попроще... А так, знаете, мы все, интеллигентные мальчишки и девочки, ведём умные разговоры... и все время эта боязнь обжечься о недозволенное. Мы учились в институте на одном курсе. Была любовь, были долгие прогулки по вечерам, стихи, были робкие поцелуи в подъезде, тайком, чтобы, не дай Бог, кто-нибудь не застукал. Словом, всё было как надо».

«Или... как не надо?»

«Совершенно верно. Любовь должна развиваться, шаг за шагом двигаться к своей цели, но чем дальше, тем очевидней было, что мы пошли не по той дорожке».

«Вроде того, как мы сейчас?»

«Я до сих пор не могу понять: надо было вести себя именно так или как-нибудь иначе... Вернее, я понимаю, что надо было действовать, но не могу представить себе, как бы я мог вести себя по-другому. Первый раз, когда я её увидел, когда первый раз заговорили, я сразу подумал — даже не подумал, на это бы смелости не хватило, а словно мне кто-то шепнул на ухо: что, если я вот когда-нибудь с этой девочкой...»

«У вас уже был опыт?»

«Был, но совсем неудачный... не хочется вспоминать. Короче говоря, мы стали дружить, как это тогда называлось, а время, как я уже сказал, изменилось, и дело шло к тому, что мы должны соединиться. Мы искали, не говоря ничего друг другу, убежище. Я жил с родителями, она в общежитии. Сидели на скамейке в пустынном парке, оставался может быть, один шаг, один совсем невысокий порог — ни я, ни она не могли его переступить. Известную роль играла, конечно, и бездомность: некуда было деваться. Осень кончилась, мы грелись в подъездах. И всякий раз, когда момент оказывался упущен, было это двойное чувство: с одной стороны, что удобных случаев будет всё меньше, всё труднее будет к этому вер-

нуться, снова взять разбег, а с другой — облегчение, словно стоял на краю крыши и вовремя отошёл. Кстати сказать, женщины в то время были одеты довольно сложно».

Она улыбнулась. «Вам было известно, что носили женщины?»

«Более или менее. Можно было догадаться. Не смейтесь. Я же говорю, это очень банальная история».

Лес. Бездорожье

«Короче говоря, никакого выхода; я даже не умел ей поведать, как я её люблю. Я был как закупоренная бутылка. Чем сильнее я её любил, чем прекрасней она становилась, — тем непозволительней казался мне “акт”. Я гнал от себя эту мысль, я не представлял себе, как я смогу коснуться её груди, не говоря уже о том, чтобы попытаться её раздеть; да и где это сделать? Иногда сквозила блудливая догадка, что она, чего доброго, ждёт, чтобы я был смелее, наглее, но тут же мне начинало казаться, что я её унижу, нанесу ей жестокое оскорбление. И снова оттягивал решающий момент. А она капризничала, дулась на меня, к чему я как будто не подавал никакого повода. Я боялся натолкнуться на оскорблённую чистоту, и мне не приходило в голову, что сама эта боязнь её обидеть была для неё обидной».

«Она не могла вам простить то, что вы не были старше. Вашим главным и непоправимым недостатком в её глазах была ваша молодость», — сказала женщина.

«По-видимому, она решила всё-таки взять инициативу в свои руки. Сначала очень осторожно, как бы на ощупь: например, взяла себе манеру поправлять чулок. Мы идём, она останавливается — ах, у меня чулок спустился — отходит на шагок в сторону и приподнимает платье, чтобы подтянуть чулок на бедре повыше. Вдруг снова выдалось подряд несколько солнечных дней, и как-то в воскресенье мы поехали за город. Она явилась на вокзал с толстой сумкой».

«Я вижу, что загородная любовь для вас не новость».

«Ни она, ни я не подавали виду, что мы едем — по всей видимости — с определённой целью. Выбрали малолюдную остановку, сошли и двинулись куда глаза глядят. Была чудная погода».

«Странно, — промолвила женщина. — Ведь вы моложе меня. Теперешняя молодёжь ведёт себя иначе. Прямо говорят: как насчёт того, чтобы лечь в постель».

«В то время тоже так говорили: хочу с тобой поджениться. Имелась в виду, конечно, не женитьба, а совокупление. Но в среде интеллигентной молодёжи произнести вслух эти слова было абсолютно невозможно. Даже объясниться в любви было непросто. Пи-

сали друг другу письма. На письме как-то легче... Понимаете, — сказал он, — я не собираюсь описывать тогдашние нравы, вы и сами всё знаете. Я говорю только о себе...»

Пауза. Тропу пересекали корни деревьев, кое-где приходилось обходить топкие места. Лесному царству не было конца.

«Приехали, идём, я несу сумку, она срывает цветы. Ничего не значащий разговор: как здесь славно, какой воздух. Огромная разница по сравнению с городом, и так далее. И, что особенно мне бросилось в глаза, — её наивный вид, словно она ни о чём не подозревает, словно никогда — может, так оно и было, инोगа я не мог себе представить — не была с мужчиной. Что-то пела... Я чувствую сильное беспокойство, стыжусь моих грязных мыслей, мне совестно, что я подглядываю за ней, а она, чистая душа, даже не догадывается. Мало помалу моё напряжение передаётся ей, раньше можно было сваливать всё на невозможность уединиться, но теперь-то мы были вполне предоставлены друг другу. Свернули на еле заметную тропинку и очутились на поляне — одни во всём мире».

«Как мы теперь?»

«Да. Как мы...»

«Куда же мы всё-таки идём?»

«Куда-нибудь доберёмся».

«Вы уверены?»

Он продолжал:

«Мы стояли и смотрели на небо, на верхушки сосен — но не друг на друга. Она не хотела встречаться со мной глазами. Я подошёл к ней. Сейчас, думал я, обниму её. Сердце колыхалось, как колокол, как резиновый шар, наполненный ртутью. Был короткий момент, когда мы колебались, не броситься ли друг другу в объятия. Это сейчас я понимаю, что она ждала, иступлённо ждала... И я было уже сделал какое-то движение навстречу ей... Она как-то ловко обернулась и сказала весело: “Ну что ж, пора закусить. Ты поди немножко прогуляйся, а я тут всё приготовлю”. Я ходил по лесу, расстроенный и раздосадованный, и всё ждал, что она меня позовёт. Наконец, возвращаюсь — она расстелила подстилку, разложила еду, тарелки, вилки... Тут же стоит и бутылка, с портвейном, кажется. Вино тогда было для нас большой роскошью.

Уселись друг против друга, я стал открывать бутылку, штопора не оказалось, ковырял пробку вилкой, ножом. Мужчина должен уметь открывать вино. Она смотрела на меня насмешливо, это она была закупорена, и я не знал, как к ней подступиться. Мужчина должен! Вот что мы вбили себе в голову. Но как соединить обожание и смелость?»

«Страх перед половым актом, это бывает», — заметила дама.

«Наконец, она вырвала у меня из рук бутылку, выдула из горлышка пробковые крошки, протолкнула остаток пробки внутрь. “За что же мы выпьем?” — “За нас!” — сказал я. Она возразила: “За то, чтобы не было войны”. Я спросил, причём тут война. “Ну хорошо, выпьем за то, чтобы у нас всё было хорошо. Ну что же ты?..” Я держал в руках стакан с вином, её вопрос, очевидно, должен был означать: что же ты не пьёшь? Сама она отпила глоток и поставила свой стакан на подстилку. Я подполз к ней поближе, и мы стали целоваться, сначала боязливо, потом всё уверенней.

И тут, мне кажется, я понял, — что-то было в её поцелуях, они не были жадными или нетерпеливыми, они были долгими, — закрыв глаза, она не столько меня целовала, сколько отдавалась моим поцелуям, — тут я понял, что ею руководит не вожделение, даже не ожидание вожделения, нет, ею владело сознание, что в её жизни совершается чрезвычайно важное событие, и нельзя допустить, чтобы это ожидание было обмануто. Она готова была вот-вот опуститься ничком на траву. Её глаза открылись, огромные глаза уставились на меня, она как будто молила скорее сделать с нею то, что надо было сделать. Всё это продолжалось одно мгновение. Она лежала, слегка согнув ноги в коленках, потом они выпрямились, ещё мгновение — она снова подняла колени и как-то произвольно, отталкиваясь ступнями, стала от меня отодвигаться. Подстилка тащилась за ней, бутылка опрокинулась. Я почувствовал, что ничего не могу, я был словно парализован.

Она поднялась, мгновенно одёрнула платье, “ах ты, Господи”, — проговорила она, подстилка была залита вином, пострадали и закуски. Она сидела на корточках, и что-то там делала, собирала, я сидел на траве, в бутылке осталось ещё немного, мы вяло ели, перебрасывались фразами, точно выдавливали из себя разговор. Как вы думаете, — спросил мужчина, — можно было как-нибудь поправить дело?»

«Не знаю. Надо было сказать что-нибудь... Что-нибудь не такое серьёзное. Надо было спокойно и откровенно поговорить друг с другом».

«Назвать вещи своими именами?»

«Пожалуй».

«А вам не кажется, что это окончательно бы её расхолодило? Ведь она ожидала не слов, а действий».

«Вам было бы легче приступить к делу, если бы вы произнесли хотя бы несколько слов».

«Я не мог. Мы оба не могли. У нас для этого не было языка».

«И вы не испытывали желания... вы же мужчина... когда, наконец, стало ясно, что она не против?»

«Желания трахнуть её?»

«Фу», — сказала дама.

«Вот видите. И у вас нет языка. Ещё бы, — сказал он, — ещё как хотел. Но только пока её не было рядом».

«Ваш роман так и остался платоническим?»

«Да... пока ей не надоело».

«Знаете, — сказала спутница, — я тоже однажды испытала ужасный страх. Правда, немного в другом роде... Это было давно».

Ещё одно признание

«Мы нарушили правило», — сказала она.

«Правило?»

«Мы забыли наш уговор. Ничего не рассказывать друг другу».

«Итак, — сказал он, — ваша очередь».

Шли и шли; дорога вела их вперёд. Куда? Но ни он, ни она не могли бы сказать, действительно ли они идут к цели.

«Вы говорите, для вас была невозможна даже мысль о совокуплении... А я не представляла себе одно без другого, любовь без полового акта. Я рано вышла замуж, до этого у меня ещё никого не было. Как у вашей подружки... Я тоже училась в институте, познакомилась с ним, когда была на втором курсе. Любовь была, что называется, с первого взгляда. Он был военный, капитан, был старше меня, сразу пошёл в наступление, однажды я даже чуть было не уступила, он пощадил меня. Он знал, что он первый... Он мне безумно нравился. Это было такое, знаете ли, соединение мужественности, рыцарского поведения, уважительности и, конечно, нежности. И мама моя покойная мне тоже говорила: ну, девочка, ты дождалась своего принца... Я не буду вам рассказывать все подробности, скажу только, что я вовсе не была такой уж мимозой, знала, конечно, всё и мечтала о том, как это всё произойдёт. Мы расписались, всё как положено; у него родителей совсем не было, у меня одна мама. Народу было немного. Пришли его друзья, несколько моих подруг, самых близких. Мы с мамой постарались — стол ломился от угощения. И то и дело: “горько, горько!” — я сама ничего не могла есть, я даже плохо помню, голова кружилась от вина, от волнения, от счастья. А вот что было потом, этого я никогда не забуду.

Было уже, наверное, сильно за полночь, все стали подниматься. Мама ушла к соседке, чтобы нам не мешать. Решили не мыть посуду, всё оставить на завтра.

Он там где-то ещё возился, я уже лежала. Кто-то говорил, что нобрачная должна укладываться первой и ждать. Вот я и ждала. Ждала с замиранием сердца. И вот я слышу его шаги. Притворилась спящей, одеяло натянула на нос, голова набок, лежу, закрыв глаза. Он притво-

рил дверь за собой и остановился. Вздохнул и проговорил: “Ну-с...” Я открыла глаза, и он повторил: “Ну, как?” Я спросила — чувствую, сердце сейчас выпрыгнет: “Что — как?” — “Как насчёт этого самого?” — сказал он игривым тоном. Представьте себе, у него был совершенно другой голос. Как будто, пока я лежала с закрытыми глазами, вошёл другой человек. Не думаю, чтобы он был так уж пьян, выпил, конечно, но ведь не настолько же. Подошёл к кровати и потащил с меня одеяло. “Давай, — говорит, — покажись, какая ты”. Мне стало не по себе; главное, этот голос, точно его подменили. “Лёша, — говорю (его звали Алексей), — ложись, уже поздно”. Сама не знаю что говорю. “Нет, я тебе спать не дам. Снимай рубашку!” Я что-то такое лепечу — пусть он хотя бы потушит свет. “Нет, я желаю на тебя посмотреть. И чтобы ты меня тоже увидела”. Я уже вам говорила, что я была достаточно просвещённой барышней, уже в пятом классе всё знала, что делает мужчина, что делает женщина. Девочки всегда всё знают. Знала, что в первый раз это должно быть больно. Но я боли не боялась, ждала её. Это был другой страх, это был ужас, я была в панике. Он стащил с себя рубашку, остался в трусах, потом и трусы вон — и стоял в чём мать родила, и я увидела этот чудовищный набухший член, увидела глаза моего мужа, в них ничего не было, пустота... как будто на меня направили чёрное жерло — был человек, и нет его больше, вместо него чёрные зрачки. Я билась, кричала, он зажал мне рот. Одним словом, что там рассказывать, — он меня изнасиловал, самым обыкновенным, безжалостным образом изнасиловал, как будто столкнулся со мной в глухом переулке».

«Что же было дальше — вы с ним расстались?»

«Да ничего. На другой день встали... Потом стали жить. Я как-то попривыкла. Он тоже стал помягче... О том, чтобы разойтись, не могло быть и речи. Мне даже показалось, что он сделал мне ребёнка. Но это была ошибка... Любовь? Любовь как-то вымерла. Потом началась война в Афганистане, правда, нигде тогда не говорилось, что это война... Ну вот, — сказала она после некоторой паузы, — я даже расстроилась. Не знаю, зачем я всё это рассказываю».

Он ответил: «Вы правы. Мы нарушили условие».

«Мы вообще позабыли, зачем мы здесь».

«После таких разговоров...»

«М-м? Вы так думаете?»

«После этих разговоров, — сказал он, — вернуться, так сказать, к нашей теме...»

«Понимаю».

«Понимать-то вы понимаете. Только ведь мы не можем даже сейчас назвать вещи своими именами».

«Нет, отчего же, — сказала дама. — Вам хотелось бы, наконец, приступить к делу. Для вас теперь это вопрос мужской гордости. Вы хотите

доказать мне... или, вернее, самому себе... Кроме того, кто вас знает? Может, как раз наоборот. Может быть, эти разговоры, наши с вами сексуальные неудачи подстрекнули вас. Я так и чувствую, — она засмеялась, — как вы на меня сейчас наброситесь».

«Р-р-р!»

«Только имейте в виду: я всё-таки женщина. Со мной надо поаккуратней. Знаете, — она продолжала смеяться, — я догадалась, кто вы такой. Очень просто; только не обижайтесь. Вы, как это называется, страдаете половым бессилием — может быть, с тех самых пор — и решили, что с незнакомой женщиной у вас получится...»

«Ну что ж, — он старался поддержать игру, — давайте я вам докажу, что это именно так».

«Прямо здесь?»

«А что нам мешает. Вон там, под кустиком».

«Я думаю, на земле холодно, — сказала она, — может быть, как-нибудь иначе?»

«Как вам будет угодно».

«Но тогда...» — сказала она.

«Что тогда?»

«Я хочу сказать, после этого. Нам нужно будет просто разойтись. А мы и так заблудились».

«Это единственное, что вас смущает?»

«Ах, — сказала дама, — предвкушение лучше осуществления».

Шли друг за другом по еле заметной тропке; спутник проговорил, не оборачиваясь:

«А вот вам не приходило в голову, что есть что-то... что-то унизительное в сексе без любви?»

«Унизительное, для кого?»

«Для обоих, я думаю».

«Обычно считалось — для женщины. Но знаете, — она шагала, глядя себе под ноги, боясь оступиться, — меня даже радует, что вы так стеснительны».

«Стеснителен?»

«Конечно. Вы стыдитесь говорить о том, что само собой разумеется. Да, мы мало знаем друг друга, точнее, вовсе не знаем».

«Я уже кое-что знаю...»

«Ах, это всё далёкое прошлое. О настоящем мы ничего не знаем. Мы всего лишь договорились о главном: я принадлежу вам, — разумеется, на самое короткое время. Вы принадлежите мне. Мотивы совершенно ясны. Никакого лицемерия. Мы удовлетворяем наше естественное желание».

«С первым попавшимся?»

«Да, с первым попавшимся. Или с первой попавшейся. Мы свободные люди!»

«В том-то всё и дело, — его голос донёлся, он нагнулся на ходу и сорвал былинку. — В том-то и дело, что нет. Удовлетворить естественное желание, говорите вы...»

Он повернулся к спутнице, жуя былинку; оба остановились.

«Удовлетворить желание можно и с проституткой. Свободные люди, х-ха... Я хотел вырваться, понимаете? Вырваться из клетки. Мне надоело жить этой жизнью, где ты как лошадь в хомуте и оглоблях... Вы говорите: секс с незнакомкой поможет преодолеть трудности. Нет, дорогая, я не импотент. Хотя сношаться по заказу тоже не умею»

«По заказу? Кто же вам заказал?»

«Вы! Я сам. Мы оба. Но я жаждал свободы, понимаете?»

Сообщница молчала.

«А получается, что мы-то как раз и не свободны!»

«Почему?»

«Потому что мы действуем не по свободному выбору, понимаете, я живой человек...»

«Почему же вы не выбрали себе какую-нибудь из знакомых женщин, есть же у вас, наверное, приятельницы».

«Есть. Но они принадлежат всё той же рутине. Все сидим в одной клетке. А я хочу вырваться на волю».

«Что вам мешает?»

«Я хочу сам принимать решения».

«И не можете?»

«Да, не могу, потому что решаю не я, а случай. Случай подсовывает мне партнёру, и я повинуюсь. Свободные люди встречаются и расходятся, но выбирают сами. Я для вас не избранник, а просто кто-то, лицо без лица, и вы для меня лицо без лица — так, ходячий половой аппарат. Или, вернее, лежачий».

«Фу, как вы выражаетесь».

«Мы с вами современные люди».

«А вы мне показались как раз несовременным. Знаете что, — сказала она и остановилась. — Хватит разговоров. Ляжем, и дело с концом».

Шли и шли — теперь уже по инерции.

Дама возобновила разговор:

«Вы что-то говорили насчёт того, что это вас унижает...»

Он ответил, глядя себе под ноги:

«Унизительно то, что не надо принимать никаких решений. И... нет никаких препятствий».

«Что вы этим хотите сказать?»

«Я думаю, вы и сами понимаете. Вот, представьте себе. Вы садитесь играть, поставили на кон изрядную сумму. А вам сразу же выплачивают выигрыш. У игры есть своя мораль. И с точки зрения этой морали такой оборот для вас унижен».

«Вы, я вижу, романтик».

«Романтик не романтик, а дело в том, что любовь — это... Это такое дело, что...»

«Вы заговорили о любви — вот как!»

«В этом слове — два смысла, и один смысл может уничтожить другой. Вы будете смеяться, но любовь, настоящая любовь, которая всегда включает в себя преклонение перед тем, кого любишь, благоговение, что ли... такая любовь в самом деле может сделать человека на какое-то время импотентом».

«Это я понял из вашего рассказа. Вы пережили эту любовь, вы не можете её забыть, она измучила вас, оттого вы и предпочли любовь без любви. Я вам рассказала, как повёл себя мой муж в нашу первую ночь. Как видите, я тоже не могу позабыть эту историю».

Женщина остановилась.

«В чём дело?»

«Я думаю, — проговорила она, — что наша с вами история закончилась, даже не начавшись».

Наша история началась после того, как она закончилась, хотел он сказать — и тоже остановился.

Купидон

Ага, вскричал он, я же говорил! Мы на верном пути. В сумраке лесную тропу пересекала просёлочная дорога, виднелись колеи; вопрос был только в том, куда повернуть, направо или налево. Я думаю — куда зашло солнце, сказала спутница, по-моему, железная дорога находится на западе. Собирается ли она вернуться в город, спросил он. Визг плохо смазанных колёс вывел их из недоумения. Из-за поворота показался экипаж, лошадь кивала большой головой. Сидя боком, ехал мужичок на телеге, маленький, как ребёнок, свесив ноги в больших сапогах.

«Эй, дядя», — сказал, выходя на дорогу, мужчина.

Лошадь остановилась.

«Вас посылает нам судьба», — сказала радостно женщина.

«Чего?» — спросил возница.

«Я говорю, сама судьба послала вас к нам».

«Чего?»

Мужчина вмешался:

«Как бы нам...»

«Довести, что ль? Садись...» Он не спросил — куда.

И они уселись рядком с другой стороны, возчик чмокнул губами, поднял кнут, лошадь затрусилась по ухабистой дороге. Спутник обхватил даму за талию; телега вихлялась в кривых колеях. Стало светлеть. Чем темней становилась дорога, тем ярче разгоралось серебряное зарево над лесом.

«А куда, собственно, мы едем?»

Вожатый молчал, дама снова спросила. Он пробормотал: «Не боись. Доедем».

Выехали на опушку. Небо, пепельно-розоватое на западе, раскрылось над ними, синяя луна стояла над лесом. Озеро в чёрных камышах блестело, как жемчуг.

«Ещё не приехали, потерпи чуток». Телега остановилась у воды.

«Я проголодалась», — сказала женщина.

«Там найдёшь».

Держась за руку спутника, она ступила в лодку. Мужичок оттолкнулся веслом, лодка выехала из камышей. Слышался только мерный всплеск опускающихся вёсел, лодка оставляла серебристый след на тёмной, как графит, воде. Тьма сгущалась. Подплыли к острову. Вожатый остался в челне. Вот, сказал он, живите, сколько хотите. Мужчина вынул кошелек, мужик покачал головой.

Мужчина и женщина выбрались на берег. Свет луны, мертвенно-синий, превратил всё кругом в сновидение. Любовники обернулись: не было ни мужика, ни лодки. Взошли на крыльцо, вступили в сени и обнялись, не сказав друг другу ни слова.

ДНЕВНИК СОЧИНТЕЛЯ

Тютчев в Мюнхене

1

Гейне, проживший вторую половину жизни в изгнании, жаловался, что, произносимое по-французски, его имя — Henri Heine — превращается в ничто: Un rien.

Может быть, относительно небольшая известность Фёдора Ивановича Тютчева в Германии объясняется фатальной непроизносимостью его имени для немецких уст. О том, что Тютчев был полуэмигрантом и что его творчество невозможно интерпретировать вне связи с немецкой поэзией и философией, в бывшем Советском Союзе предпочитали по-малкивать, но и в Мюнхене мало кто знает о русском поэте, который прожил здесь, по его словам, «тысячу лет».

Весной 1828 года Гейне в письме из Мюнхена в Берлин спрашивал Фарнгагена фон Энзе, дипломата и писателя, в наше время более известного тем, что он был мужем хозяйки берлинского литературного салона Рахели Фарнгаген, знаком ли он с дочерью графа Ботмера. «Одна из них уже не первой молодости, но бесконечно очаровательна. Она в тайном браке с моим лучшим здешним другом, молодым русским дипломатом Тютчевым. Обе дамы, мой друг Тютчев и я частенько обедаем вместе».

Через много лет, уже покинув Германию (где на самом деле он провёл без малого 15 лет), Тютчев рассказывал: «Судьбе было угодно вооружиться последней рукой Толстого, чтобы переселить меня в чужие края». Имелся в виду троюродный дядя, герой войны с Наполеоном, потерявший руку под Кульмом, граф Остерман-Толстой, который выхлопотал для племянника место сверхштатного чиновника русской дипломатической миссии при баварском дворе. Отъезд состоялся 11 июня 1822 г.: из Петербурга через Лифляндию в Берлин и далее на юго-запад. В карете, лицом к дяде, спиной к отечеству, сидел 18-летний кандидат Московского университета по разряду словесных наук. На козлах подле кучера клевал носом старый дядька Тютчева Николай Хлопов. Недели через две добрались до Мюнхена.

На Оттоштрассе, дом № 248 (которого давно нет в помине, да и нынешняя улица Отто находится в другом месте), была снята просто-

рная и дороговатая для юного чиновника 14 класса квартира, которую старый слуга, опекавший «дитё», обставил на старинный российский лад. В гостиной, в красном углу высели в несколько рядов иконы и лампы. Хлопов вёл хозяйство, сам готовил для барчука, встречал и угощал немецких гостей. Вечерами в своей каморке он сочинял обстоятельные отчёты для родителей Фёдора Ивановича, владельцев родового имения в селе Овстут Орловской губернии.

2

Русский дом, запах просвир и лампадного масла — и католическая Бавария, королевский двор и местный бомонд. В политических одах и статьях Тютчева, не лучшем из того, что он создал, он заявляет себя патриотом и славянофилом; в революционном 1848 году — свержение короля Луи-Филиппа в Париже, мартовские события в германских землях — он пишет о «святом ковчеге», который всплывает над великим потоком, поглотившим Европу. «Запад исчезает, всё гибнет...». Спасительный ковчег — Российская православная империя. В изумительном стихотворении «Эти бедные селенья...» (1855) говорится о Христе, благословляющем русскую землю. А в жизни Тютчев — западник, «у нас таких людей европейских можно счесть по пальцам», — пишет Иван Киреевский, который тоже обитал в Мюнхене на рубеже 20–30-х годов. Время от времени Тютчев наезжает в Россию, и выясняется, что он не в состоянии прожить двух недель в русской деревне. Это патриотизм à distance, любовь, которая требует расстояния. И ещё долгие годы спустя, вспоминая Баварию, он будет испытывать «nostalgie, seulement en sens contraire», ностальгию наоборот. Вон из возлюбленного отечества... Для этой странной антиностальгии у него находится словечко, образованное по аналогии с немецким Heimweh, — Herausweh.

Стихи о природе — «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая...»), «Весенние воды» («Ещё в полях белеет снег...», «Зима недаром злится...», «Осенний вечер» («Есть в светлости осенних вечеров умильная, таинственная прелесть...»), признанные шедевры русской пейзажной лирики, — на самом деле навеяны ландшафтами Верхней Баварии, под впечатлением от поездок на озеро Тегернзее. Свиданием с мюнхенской красавицей, баронессой Амалией Крюденер, урождённой Лерхенфельд, вдохновлено стихотворение «Я встретил вас — и всё былое...», которое создано за два года до смерти. Положенное на музыку в конце позапрошлого века одним забытым ныне композитором, оно стало популярнейшим русским романсом.

В Мюнхене молодой россиянин, забросив служебные обязанности, и без того не слишком обременительные, быстро обзаводится друзьями.

Гейне надеется с его помощью, через знакомства, приобретённые в доме Тютчева, получить профессию в мюнхенском университете Людвиг-Максимилиана. Барон Карл фон Пфедфель, камергер баварского двора, утверждал, что «за вычетом Шеллинга и старого графа де Монжелá Тютчев не находил собеседников, равных себе, хотя едва вышел из юношеского возраста». Огромный седовласый Шеллинг старше Тютчева почти на тридцать лет, это не мешает ему увлечённо спорить с бывшим московским студентом, который доказывает автору «Системы трансцендентального идеализма» несостоятельность его истолкования догматов христианской веры. Киреевский приводит слова Шеллинга: «Очень замечательный человек, очень осведомлённый человек, с ним всегда интересно поговорить».

Тютчев, на которого Гейне (по мнению Юрия Тынянова) ссылается, не называя его по имени, в одной из своих статей, первым начал переводить стихи Гейне на русский язык; с этих переводов пошла необыкновенная, верная и трогательная любовь русских читателей к Генриху Гейне. Среди многочисленных тютчевских переложений с немецкого есть даже одно стихотворение короля Людвиг I. Но о том, что Тютчев — поэт, который не уступит самому Гейне, никто или почти никто в Мюнхене не подозревает; известность Тютчева — другого рода.

3

У Тютчева двойная репутация: блестящего собеседника и любимца женщин. Существует донжуанский список Пушкина (наверняка неполный) — листок из альбома одной московской приятельницы с начертанными рукой 30-летнего поэта именами тридцати четырёх дам разного возраста и состояния, одаривших его своей благосклонностью. Кое-что сближает Тютчева с Пушкиным: влюбчивость, способность воспламениться, проведя с незнакомкой десять минут, — как и малоподходящая для покорителя сердец внешность.

Тютчев был маленького роста, болезненный и тщедушный, с редкими, рано начавшими седеть волосами. Этот человек не отличался ни честолюбием, ни сильной волей, скорее его можно было назвать бесхарактерным. Карьера его не интересовала. О его рассеянности ходили анекдоты. Однажды он явился на званый обед, когда гости уже вставали из-за стола. На другой день жены Тютчева не было дома, некому было заказать обед, он снова остался без еды. На третий день его нашли в Придворном саду: он лежал на скамейке без чувств. Остроты Тютчева, его mots, расхаживали по салонам, но сам он был начисто лишён тщеславия, в том числе и авторского, писал свои вирши мимоходом, не интересовался публикациями и терял рукописи. Если бы ему сказали, какое место он займёт на русском Олимпе, он был бы удивлён.

Меньше всего он напоминал Дон-Жуана. И всё же это был тот случай, когда мужчины пожимают плечами, недоумевая, что может привлечь в таком слабаке женщин, зато женщины оказываются под порабощающим гипнозом необъяснимых чар — блистательного ума.

При всём том Тютчев — отнюдь не певец счастливой, самоупоённой любви:

Она сидела на полу
И груди писем разбирала,
И, как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала.

Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело...

Таков эпилог любви: гряда пепла. Любовь — это тёмный пожар, жестокая, изнурительная страсть, обнажающая ночную жизнь души. Немецкому и русскому читателю она напомнит «влажного бога крови» с его трезубцем из Третьей дуинской элегии Рильке. Такая любовь есть не что иное, как вторжение в нашу дневную жизнь шевелящегося под ней, словно магма под земной корой, «родимого хаоса»; и её жертвой всегда оказывается женщина.

4

Поразительное стихотворение, написанное в Мюнхене не позднее начала 1830 года (Тютчеву около 26 лет) и напечатанное в пушкинском «Современнике» в 1836 г., принадлежит времени, когда, кажется, ничего подобного в нашем отечестве не появлялось.

Как океан объёмлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь — и звучными волнами
Стихия бьёт о берег свой.

То глас её: он нудит нас и просит...
Уж в пристани волшебный ожил чёлн;
Прилив растёт и быстро нас уносит
В неизмеримость тёмных волн.

Небесный свод, горящий славою звездной,
Таинственно глядит из глубины, —
И мы плывём, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.

Как океан объемлет шар земной... Есть мир дня и мир ночи. При взгляде отсюда, из дневного и умопостигаемого мира, сон представляется мнимостью, — но лишь при взгляде отсюда. Можно взглянуть на действительность из иных пространств — из вселенной сна, и тогда окажется, что именно он реален. Маленький островок суши — вот что такое действительность; вокруг — бездонный и безбрежный океан.

Можно показать с помощью объективных исследований, что сновидение, каким бы долгим и запутанным оно ни казалось, длится считанные секунды. Но время опять-таки существует только в дневном мире, где мы регистрируем электрофизиологическую активность клеток мозга; там, в пространстве сна, времени нет или оно по крайней мере имеет какую-то совсем иную природу.

Здесь нет необходимости рассматривать философские и литературные источники поэтической онтологии сна у Тютчева, ссылаться на немецких романтиков или Шопенгауэра («Равномерность течения времени во всех головах убедительней, чем что-либо другое, доказывает, что мы все погружены в один и тот же сон...»). Парерга и паралипомена, II, 29), которого Тютчев, впрочем, в это время ещё не читал. Достаточно напомнить, что искусство даёт возможность соединить оба мира. Литература есть способ непосредственно показать, что сон и явь — это две по меньшей мере равноценные стороны нашего существа; литература может и должна ценить в снах то единственное состояние, когда мы способны взглянуть на наше существование очами некоторой высшей субъективности, примитивной в сравнении с нашим разумом, но стоящей над ним, как большое бледное солнце над уснувшими полями. Ибо если мы созерцаем сны о жизни, то сон в свою очередь созерцает нас. «Что за таинственная вещь сон, — писал Тютчев дочери спустя сорок лет после того, как было создано стихотворение «Как океан объемлет шар земной...», — в сравнении с неизбежной пошлостью действительности, какова бы она ни была!.. Мне кажется, что нигде не живут такой полной настоящей жизнью, как во сне».

Тютчев-поэт написал сравнительно немного (в том числе 400 стихотворений с небольшим); за редкими исключениями (Толстой, Тургенев, Фет, Ив. Аксаков), современники считали его в лучшем случае талантливым дилетантом. В главных своих творениях он принадлежал другому времени; державинская выпренность, классицизм восемнадцатого века соединяется в нём с прорывами в космическое сознание, которые сделали его поэзию внятной лишь много десятилетий спустя.

5

«Тайный брак», о котором упомянул Гейне, не был светской сплетней, но и не вполне отвечал действительности. Стихи Гейне из сборника «Neuer Frühling» («Новая весна») по крайней мере отчасти

навеяны встречами в доме Тютчева; здесь в ранние весенние месяцы 1828 г. развивался роман с юной графиней Ботмер; что же касается её старшей сестры, эксцентрической красавицы Элеоноры, в домашнем обиходе Нелли, то ещё в начале 1826 года она обвенчалась с двадцатитрёхлетним Тютчевым.

Ей было 27. Причудливая причёска, овальное детское личико и пышные плечи на единственном портрете кисти неизвестного художника. Хотя первый муж Элеоноры, покойный Александр Петерсон, оставивший ей трёх сыновей (младшему не было и года), был дипломатом на царской службе, она не знала ни слова по-русски. Через жену Тютчев породнился с баварской знатью. Дом Тютчевых превращается в светский салон; старик Хлопов получает отставку и отбывает к родителям Фёдора Ивановича. Одна за другой, в дополнение к трём пасынкам, у Тютчева рождаются три дочери. Семья и рассеянная жизнь требуют средств, жалованье младшего секретаря посольства невелико, родители присылают немного, и начальство в лице русского посланника в Мюнхене ходатайствует в 1832 г. перед министром иностранных дел о субсидии Тютчеву «для уплаты долгов и дабы держаться на высоте того общественного уровня, к которому он призван столько же своим служебным положением, сколько личными качествами».

Супружество можно назвать счастливым. Тютчев сообщает друзьям, что жена любит его, «как ни один человек не был любим другим». Элеонора Фёдоровна полна забот о муже; оказывается, он подвержен приступам меланхолии, «занят своим ничегонеделанием»; она называет его «дитятя». Любит ли он её так же, как любим ею? Город потрясён ужасным известием. Узнав о новом увлечении мужа, Нелли пытается заколоться на улице кинжалом.

Всё обошлось, но в феврале 1837 года Элеонора Фёдоровна пишет свекрови в Россию: «Если бы Вы могли его видеть таким, каким он уже год, удручённым, безнадежным, больным, затруднённым тысячью тягостных и неприятных отношений и какой-то нравственной подавленностью..., Вы убедились бы так же, как и я, что вывезти его отсюда волею или неволею — это спасти его жизнь».

В мае (через три с небольшим месяца после гибели Пушкина) Тютчев с семейством приезжает в отпуск в Петербург. Здесь он получает другое назначение — в Турин, к сардинскому двору; оставив на время жену и детей, отбывает на новое место. В Турине невыносимо скучно. Внезапно приходит известие о том, что у берегов Северного моря, при подходе к Любеку сторел русский пассажирский пароход «Император Николай Первый». Пожар (впоследствии описанный находившимся на борту Тургеневым) вспыхнул ночью; когда разбуженные люди выбежали на палубу, столбы огня и дыма поднимались по обеим сторонам трубы, пламя охватило мачты. Среди пассажиров находилась семья Тютчева.

Смерть Элеоноры в августе 1838 г. была, как считается, поздним следствием катастрофы. По семейному преданию, Тютчев вышел после ночи, проведённой у гроба Нелли, седым. Но через несколько недель, как мы узнаём из дневника Василия Жуковского, он снова влюблен — и где же? Разумеется, в Мюнхене.

6

Эрнестина Дёрнберг приходилась внучатой племянницей некогда славному баснописцу Готлибу-Конраду Пфедфелю; другой Пфедфель, камергер, о котором упоминалось, был её братом. С портрета тридцатых годов, сильно стилизованного, на потомков с едва уловимой иронией взирает спокойная ясноглазая женщина в венце тёмных волос. Несси 29 лет (Тютчеву 36), несколько лет тому назад она овдовела.

Роман затеялся ещё при жизни Элеоноры. В конце 1837 года любовники встречались в Генуе. Об этом есть два стихотворения: «Так здесь-то суждено нам было...» («1-е Декабря 1837») и «Итальянская villa». По-видимому, сразу после смерти жены встал вопрос о новом браке. Между тем Эрнестина в Баварии, он в Турине, где вдобавок приходится исполнять обязанности посланника, отозванного в Петербург. Причина отставки посланника — обострение отношений России с Сардинским королевством, вызванное весьма серьёзными обстоятельствами: супруга посланника имела неосторожность появиться при дворе в белой вуали, которую пододбает носить лишь королеве и принцессам.

Ещё не истёк срок траура. Несси беременна. Решено венчаться за границей. Тютчев бросает дела, запирает посольство и тайком уезжает в Швейцарию. Результат этой самовольной отлучки (вдобавок поэт умудрился по дороге потерять дипломатические шифры) плачевен: конец служебной карьеры, и без того не блестящей. Он принужден подать в отставку и возвращается в Мюнхен.

Не верь, не верь поэту, дева;
Его своим ты не зови —
И пуще пламенного гнева
Страшись поэтовой любви!

Его ты сердца не усвоишь
Своей младенческой душой;
Огня палящего не скроешь
Под лёгкой девственной фатой.

Поэт всемогущ, как стихия,
Не властен лишь в себе самом;
Невольно кудри молодые
Он обожжёт своим венцом.

Вотще поносит или хвалит
Его бессмысленный народ...
Он не змиею сердце жалит,
Он, как пчела, его сосёт.

Твоей святости не нарушит
Поэта чистая рука,
Но ненароком жизнь задушит
Иль унесёт за облака.

В Петербурге, куда Тютчев переехал с семьёй, окончательно покинув Германию в середине сороковых годов, его ждала последняя любовь к Лёле, 24-летней воспитаннице Смольного института благородных девиц Елене Александровне Денисьевой, от которой было у него двое детей и которую он похоронил. Эрнестина Тютчева надолго пережила их обоих; она покоится в Новодевичьем монастыре в Петербурге рядом с мужем. Где лежит Денисьева, я не знаю.

Примечания к Вагнеру

В Москве, в Большом зале консерватории, над сценой висит медальон с профилем основателя Московской консерватории Николая Рубинштейна, с двух сторон под высокими окнами в мраморных овалах — портреты великих композиторов. Слева от сцены, бок о бок, Феликс Мендельсон и Рихард Вагнер. Один был после нацистского переворота запрещён к исполнению в Германии, другой в годы войны запрещён в СССР.

Война кончилась. Тот, кто присутствовал на первом исполнении оркестровых фрагментов из опер Вагнера в консерватории поздней осенью 1945 года, никогда не забудет реакцию публики после полёта валькирий и особенно после грома тромбонов во вступлении к третьему акту «Лоэнгрин»: это были даже не аплодисменты, это был рёв восторга, неистовство, охватившее зал.

Таково действие музыки Вагнера — остаться к ней равнодушным невозможно. То, что в своё время раскололо музыкальный мир, в смягчённом виде продолжается до сих пор: Вагнера обожают или ненавидят. Уже недалеко до его 200-летия — Вагнер жив, как никогда. Нет ни одного сколько-нибудь престижного оперного театра, где в репертуар-

ных списках не значились бы «Тристан и Изольда», «Тангейзер и состояние певцов в Вартбурге», «Летучий голландец», «Лоэнгрин», «Парсифаль», ни одной надёжно финансируемой оперной сцены, где режиссёр не дал бы волю своим амбициям, предложив публике очередную сногшибательную версию «Кольца».

Возобновлённый в 1951 г. фестиваль вагнеровских спектаклей во франконском городке Байрейте, на Зелёном холме, нашумевшие постановки Пьера Булеза, Патриса Шеро, Гарри Купфера, незабываемые инсценировки Августа Эвердинга в Мюнхене и в Чикаго, концертное исполнение «Парсифаля» (Даниэль Баренбойм), «Тристана» (Ленард Бернстайн), «Кольца» (Вильгельм Фуртвенглер), интерпретации прославленных дирижёров, начиная с Бруно Вальтера и до наших современников Вольфганга Заваллиша, Евгения Мравинского, Герберта Караяна, Джорджа Солти, Кристиана Тилемана — всё это вошло в историю, стало частью нашей культуры, чтобы не сказать — нашей души. И всякий раз дискуссии, страсти, новые толкования, старые счёты.

*

«Страдальческий и великий, подобно тому веку — девятнадцатому, чьим совершеннейшим выражением он является, стоит у меня перед глазами духовный образ Рихарда Вагнера». Доклад Томаса Манна «Страдания и величие Рихарда Вагнера», прочитанный зимой 1933 г. в Большой аудитории мюнхенского университета по случаю 50-летия смерти Вагнера, повлёк за собой «Протест вагнеровского города Мюнхена» — предвестие близящегося переворота. Среди пятидесяти подписавших постыдный документ оказались весьма известные люди: дирижёр Ганс Кнаппертсбуш, композиторы Ганс Пфицнер и Рихард Штраус, художник Олаф Гульбранссон. На другой день после доклада Манн уехал с женой Катей в заграничное лекционное турне, откуда супруги уже не возвратились.

Тема не новая. Старания развенчать Вагнера как злокачественного антисемита и мнимого или действительного предтечу нацизма предпринимаются вновь и вновь. Документы хорошо известны: записи в дневнике Козимы Бюлов-Вагнер, многочисленные высказывания в письмах самого композитора, статья-памфлет, точнее, пасквиль «О еврействе в музыке».

Кто-то называет музыку Вагнера человеконенавистнической и фашистской, но я спрашиваю себя, существуют ли фашистские тональности, фашистские аккорды, фашистский контрапункт, фашистские принципы и приёмы музыкальной композиции.

*

Спору нет: Вильгельм Рихард Вагнер был не слишком приятный господин; воспоминания людей, знавших его, довольно красноречивы. На них в большой степени основан облик Вагнера, каким он утвердился в сознании позднейших поколений (можно вспомнить фильм Лукино Висконти «Людвиг II»). Был ли он таким в жизни? И да, и нет. Вагнер был, очевидно, слишком сложной, даже для художника, натурой. И на этом тоже сходятся отзывы современников. Сам он признавался (в письме Отто Везендонку, 1861): «Моя жизнь — море противоречий. Разве только после смерти я выберусь из него».

В разное время жизни он восхищался Мейербером. Генрих Гейне был вдохновителем «Тангейзера». Известен его почтительно-восторженный отзыв о Мендельсоне. В одном из писем к Ницше он говорит о необходимости дополнить «немецкую суть» еврейством — амбивалентность, заставляющая вспомнить Розанова.

Он был возвышен и комичен, всем своим поведением подтверждая афоризм Наполеона: «От великого до смешного один шаг». В самом деле велик — и суетен, тщеславен, завистлив; ненавидел капиталистическое стяжательство и вместе с тем был жаден до роскоши. Он был мелочно расчётлив, смехотворно напыщен, самоупоён и жалок, но мог быть и безоглядно смелым, необыкновенно умным и благородным. То, о чём говорил Толстой, — «энергия заблуждения», героическая и наивная уверенность художника в том, что его творения перевернут мир, укажут человечеству дорогу к счастью, — было в высшей степени свойственно Вагнеру — реформатору европейской оперы, предшественнику Новой музыки XX века, создателю грандиозного музыкально-мифологического эпоса, сопоставимого с прозаическим эпосом Бальзака, Золя, да и самого Толстого.

Мы знаем Вагнера — самодовольного мещанина, льстивого царедворца и не в последнюю очередь шовиниста и юдофоба. Всё это меркнет перед Вагнером-художником.

*

Гаснет свет. Из тьмы, из первозданного хаоса возникает низкое Es (ми бемоль) контрабасов, на протяжении 140 тактов переходящее в ми-бемоль-мажорное трезвучие: начало мира. Слышится рокот волн, расходуется занавес. На дне Рейна чёрный альб, карлик-нибелунг Альберих тщетно домогается любви трёх русалок, дочерей Рейна. Карлик знает, что русалки охраняют сон золота, скрытое в недрах сокровище, ещё не отторгнутое у природы, не ставшее объектом вождления. Слово произнесено — при упоминании о золоте в оркестре появляется первый болезненный минорный аккорд.

Тетралогия «Кольцо Нибелунга», *Der Ring des Nibelungen*, над которой композитор работал несколько десятилетий, рассчитана на четыре вечера, состоит из пролога «Золото Рейна» и трёх опер: «Валькирия», «Зигфрид» и «Сумерки богов» (*Götterdämmerung* — приблизительный перевод древнеисландского *ragnarök*, конец мира, судьба или гибель богов в германо-скандинавской мифологии). Есть смысл напомнить содержание тетралогии не только потому, что оно мало известно многим русским читателям, но и потому, что «Кольцо» служило главным объектом тенденциозно-извращённого толкования творчества Вагнера.

Тот, кого отвергли дочери Рейна, возмещает своё поражение волей к власти. Альберих проклинает любовь и завладевает сокровищем. Из Нибельгейма, подземной обители нибелунгов, доносится звон наковален. Покорные Альбериху кузнецы куют из похищенного золота кольцо, знак и орудие владычества над миром. Это — власть золота, конец первородной цельности и невинности мира и начало всеобщей коррупции. Отрицание любви, ибо алчность, эгоизм и властолюбие упраздняют любовь.

Наверху зреет конфликт небожителей. Фрика упрекает своего мужа Вотана, белого альба и верховного бога, мудрого устроителя мира, зачем он обещал отдать богиню юности Фрейю великанам братьям Фазольту и Фафнеру в уплату за строительство Валгаллы, крепости богов. Без волшебных яблок Фрейи боги обречены стареть и умереть. Пронырливый бог огня Логе находит выход. Оба, Логе и Вотан, спускаются в Нибельгейм и хитростью отнимают кольцо у Альбериха. Жадные великаны охотно принимают кольцо взамен обещанной Фрейи. Но карлик успел произнести проклятье — кольцо несёт гибель своему владельцу. Фафнер ссорится с Фазольтом и убивает его. Доннер («Гром») насылает на землю бурю. Фро («Радость») воздвигает на небе многоцветную радугу. Боги шествуют по радуге в Валгаллу. Внизу, в пучине Рейна, три дочери оплакивают потерю сокровища. Таково содержание первой части «Кольца».

*

На земле разыгрывается драма Вёльсунгов. Спасаясь от непогоды, скиталец Зигмунд ищет приюта. Перед ним дом Гундинга и его жены Зиглинды. Ни она, ни гость не подозревают о том, что они брат и сестра, дети Вотана от земной женщины. Зиглинда рассказывает странную, сказочную историю о том, как её выдали замуж за нелюбимого Гундинга в день, когда некий бог всадил свой меч Нотунг в ствол вечнозелёного мирового ясеня Иггдрасил, чья тень простирается до стен Валгаллы. Зигмунд смутно вспоминает о том,

что в детстве он был разлучён с сестрой-близнецом. Он помнит, что отец говорил ему о Нотунге: тот, кто сумеет вырвать меч из ясеня, станет его владельцем, и меч поможет ему в беде.

Зигмунд и Зиглинда любят друг друга, их не останавливает то, что они — брат и сестра. Зигмунд поёт о весеннем пробуждении природы и счастье свободной любви. Но инцест будет наказан.

Напрасно праматерь Эрда («Земля») предостерегала Вотана от трагической участи всякого, кому достанется кольцо. Он и сам предчувствует, что перстень, над которым тяготеет проклятье, погубит богов и мир. Нужен герой, бесстрашный и бескорыстный, который сумеет отвоевать золотое кольцо и преодолеть роковое противоречие между властолюбием и любовью.

Зигмунд ночует в доме Гундинга, но на другой день хозяин вызывает его на поединок. Вотан, направляющий дальнейшие события, хочет победы Зигмунда над рогоносцем Гундингом, Фрика, хранительница домашнего очага, убеждает мужа, что Зигмунд, поправ святыню брака, достоин смерти. На сцене бой. Меч, который Зигмунд вырвал из ясеня, раскалывается пополам, Зигмунд гибнет в поединке. Умирает и Гундинг, сражённый копьём Вотана. Зиглинда, на чьих глазах всё это произошло, хочет расстаться с жизнью, но её останавливает дочь Вотана Брюнгильда, одна из сестёр-валькирий, воинственных всадниц, уносящих в Валгаллу тела павших героев.

В третьем акте оперы «Валькирия» Брюнгильда просит сестёр защитить её от отцовского гнева — она нарушила волю Вотана — и помочь Зиглинде, но встречает отказ. В отчаянии Зиглинда смерти. Но она беременна, ей предстоит родить светлого героя, спасителя мира. Брюнгильда вручает ей обломки меча Нотунга и уводит в лес. Вотан изгоняет Брюнгильду из сообщества богов, она будет лежать в кольце огня, погружённая в вечный сон.

*

Содержание двух последних частей тетралогии можно пересказать совсем кратко, опуская многие эпизоды.

В лесу, куда ещё не ступала человеческая нога, карлик Миме, младший брат Альбериха, воспитывает мальчика, ничего не знающего о своих родителях — убитом Зигмунде и умершей в родах Зиглинде. Этот мальчик по имени Зигфрид, дитя природы, растёт, набирается сил, теперь это взрослый парень, полный сил, дикий и наивный. Зигфрид рвётся совершать подвиги. Ему не знакомо чувство страха. От отца остались обломки меча. Миме, кузнец, как все нибелунги, обучил воспитанника ремеслу.

...Так Зигфрид правит меч над горном:
То в красный уголь обратит,
То быстро в воду погрузит —
И зашипит, и станет черным
Любимцу вверенный клинок...
Удар — он блещет, Нотунг верный,
И Миме, карлик лицемерный,
В смятеньи падает у ног!¹

С охотничьим рогом, опоясанный мечом, Зигфрид блуждает по лесу. Из пещеры Нейдхёле доносится густой храп — там спит великан Фафнер, превратившийся в дракона, чтобы надёжней охранять золотое сокровище, доставшееся ему вместе с заветным кольцом. Зигфрид убивает Фафнера, завладевает кольцом; обрызганный кровью дракона, он начинает понимать язык пернатых и зверей. Вещая лесная птица рассказывает ему о спящей валькирии, о заклании огня. Разбудить её — это должно стать вторым подвигом Зигфрида. Вотан, который странствует по земле под видом безымянного путника, пытается его остановить; герой разбивает его копьё. Смертный человек поставил себя выше богов. Зигфрид пробивается сквозь завесу огня к Брюнгильде. Он снимает с неё шлем и панцирь, он впервые видит женщину. Он познал чувство любви, вместе с ним пришло и чувство страха.

Три старухи, германские норны, вяжут нити судьбы и ведут разговор о прошлом и будущем — то, что Томас Манн назвал *Weltgeschwätz*, «бабьими сплетнями о мире». Могущество Вотана сломлено, боги клонятся к упадку, отныне участь мира в руках человека, героя-победителя, но и его ждёт трагический конец. Нить судьбы оборвана, норны уходят в лоно Эрды.

Случай или судьба приводят Зигфрида в дом-дворец короля Гунтера на Рейне. Хозяин обитает здесь с сестрой Гутрун и другом дома Гагеном, в роскоши и довольстве. Это — мир декадентской цивилизации, царство расчёта, лицемерия, алчности, лжи. Гаген — сын нибелунга Альбериха; затевается гнусная интрига. Гунтруне нужен муж, им станет Зигфрид, а Гунтер возьмёт себе в жёны возлюбленную Зигфрида Брюнгильду. Задача — завладеть кольцом, которое Зигфрид подарил Брюнгильде как залог вечной любви. Герою подносят зелье, которое гасит память, Зигфрид приводит верную, ожидающую его Брюнгильду, не узнав её, во дворец Гунтера. Совершается гротескная свадьба Зигфрида и Гутрун, но Брюнгильда отказывается подчиниться. Она понимает, что простодушный Зигфрид — жертва обмана, и разоблачает заговор Гагена и Гунтера. Король жаждет отомстить валькирии и герою. С людьми Гун-

¹ А.Блок.

тера Зигфрид отправляется на охоту. Он заблудился в паутине интриг — и в лесу. Навстречу выходят из вод дочери Рейна и умоляют вернуть им кольцо. Тут только он понимает, каким могуществом наделяет владельца изделие Альбериха. Пользуясь удобным случаем, Гаген подкрадывается к Зигфриду и убивает его.

Воины несут тело героя, звучит траурный марш, один из самых впечатляющих музыкальных эпизодов тетралогии. Гунтер и Гаген, забыв о дружбе, ссорятся из-за кольца, и Гаген убивает Гунтера. Но завладеть кольцом не удаётся. Брюнгильда сталкивает Гагена в воду, русалки увлекают его в пучину. Брюнгильда раскладывает костёр, швыряет в костёр кольцо и верхом на коне бросается в столб огня. Пламя охватывает дворец, перебрасывается на округу. Высоко в горах горит и рушится дом богов Валгалла. Гибнут его обитатели. Наступает конец мира. Круг замкнулся — кольцо оказывается на дне Рейна.

*

В середине тридцатых годов прошлого века Артуро Тосканини объявил бойкот Вагнеру, сообщив, что больше не будет выступать в Байрейте: театр на Зелёном холме стал в нацистской Германии очагом шовинизма и расизма. После «хрустальной ночи» 1938 года основанный в Палестине израильский Филармонический оркестр постановил не исполнять музыку Вагнера. В глазах евреев, да и не только евреев, имя композитора прочно ассоциировалось с Гитлером и национал-социализмом.

Фюрер провозгласил себя почитателем Вагнера, почти ежегодно посещал байрейтский фестиваль. Некая Винифрид Уильямс, из семьи, где чтили расистского теоретика Хаустона С. Чемберлена, 17-летней девушкой прибыла в Германию, совершила паломничество в Байрейт, была благосклонно принята вдовой Вагнера Козимой и вскоре вышла замуж за сына Вагнера Зигфрида.

Энергичная и честолюбивая Винифрид стала главой клана, хозяйкой театра и распорядительницей фестивалей в Байрейте. В 1931 г. было заключено соглашение с Вильгельмом Фуртвенглером и Гейнцем Титьеном. Фуртвенглер, дирижёр с мировым именем, стал музыкальным руководителем, Титьен, генеральный директор берлинских оперных театров, — художественным руководителем; летом спектаклями на Зеленом холме дирижировали оба самых известных интерпретатора музыки Вагнера — Фуртвенглер и (всё ещё) Тосканини.

Винифрид уже со времени неудавшегося путча 1923 г. была фанатичной поклонницей вождя. Фотографии запечатлели приезд Гитлера в Байрейт, восторженную встречу и т.д.

В январе 1933 г. произошла «великая националсоциалистическая революция». Барабанная газета «Фелькишер беобахтер» («боевой листок Германской н.-с. рабочей партии») провозгласила Байрейт местом паломничества для всех немцев. Тогда же была с помпой отмечена двойная дата — 120 лет со дня рождения Вагнера и 50 лет со дня его смерти.

Можно добавить, что после Второй мировой войны израильский Филармонический оркестр принял ещё одно решение — не приглашать солистов и дирижёров, которые в той или иной форме, до войны или во время войны исполняя музыку Вагнера; среди них оказались Бруно Вальтер и Отто Клемперер (оба эмигрировали из Германии в Америку). Нарушить запрет на Вагнера в Израиле отважился много позже Д. Баренбойм.

Винифрида Вагнер умерла в 1980 г., восьмидесяти трёх лет. До самой смерти она уверяла всех, что её дружба с фюрером носила приватный характер, никак не связанный с политикой. Клаус Манн, старший сын Т.Манна, даже сдержанно похвалил старуху за то, что, в отличие от других бывших прихлебателей режима, она не лицемерила, по-прежнему признаваясь в любви к вождю.

*

Похоже, никому (как ни странно) не пришло в голову сопоставить двух гениальных современников — Вагнера и Достоевского. А ведь у них так много общего.

Рихард Вагнер, по-видимому, не знал Достоевского. Фёдор Михайлович Достоевский слышал оркестровые фрагменты из опер, живя за границей и, по свидетельству Анны Григорьевны, называл Вагнера «прескучнейшей немецкой канальей».

Немец родился 22 мая 1813, русский — 11 ноября 1821 года; оба принадлежат одной эпохе и теперь выглядят почти ровесниками. Оба — выходцы из мещанской среды; у обоих неладно в родительской семье: отец Достоевского зверски убит крестьянами, вопрос, кто был отцом Вагнера, не Гейер ли, друг матери Вагнера, женившийся на вдове, остаётся непрояснённым. Оба демократы и революционеры: Вагнер — участник и даже один из руководителей событий 1849 г. в Дрездене, приятель Бакунина; после разгрома восстания бежал, разыскивался саксонской полицией, за поимку была обещана награда; Достоевский — петрашевец, арестован и приговорён к повешению, в последний момент заменённому каторгой. Оба проделывают сходную эволюцию от увлечения социалистическими идеями и отрицания государства — к христианскому смирению, национализму и

монархизму. Вагнер становится другом и подопечным баварского короля, верноподданным Гогенцоллернов, Достоевский сближается с Победоносцевым и правительственными кругами, читает при дворе отрывки из «Братьев Карамазовых».

Сходство действующих лиц: чистый отрок Парсифаль — и Алёша Карамазов; раскаявшаяся блудница Кундри — и Грушенька.

И, наконец, оба, Вагнер и Достоевский, — чемпионы антисемитизма. Гротескное соединение ненависти к евреям с евангельской проповедью любви к ближнему. Пафос иных страниц в «Дневнике писателя» и журнальных статьях, обезоруживающая откровенность некоторых — впрочем, не предназначенных для обнародования — писем к жене из Бад-Эмса, к В.Ф. Пуцыковичу, к К.П. Победоносцеву, к корреспонденту из Черниговской губернии Грищенко, омерзительное — иначе не скажешь — письмо к певице Юлии Абаза от 15 июня 1880 г. — всё это очень похоже на Вагнера. Впрочем, Достоевский согласен (в четырёх статьях 2-й главы «Дневника писателя» за март 1877 г.) по-христиански простить евреев за то, что они евреи.

*

Но вот на чём кончается сходство: юдофобство не ограничено приватной сферой и публицистикой. Время от времени оно даёт о себе знать и в художественном наследии Достоевского.

Карикатурный еврей-пожарник, на чьём лице «виднелась та вековая брюзгливая скорбь, которая так кисло отпечаталась на всех без исключения лицах еврейского племени», свидетель самоубийства Свидригайлова. Жидок Лямшин, пошляк и прощелыга, жалкий трус в компании бесов-заговорщиков. Рассказ Лизы Хохлаковой о жиде, который отрезал пальчики христианскому младенцу, — и чистый, честный, добрый Алёша Карамазов выслушивает эту бредятину без возражений, как нечто вполне правдоподобное.

Это и отличает творца «Преступления и наказания», «Бесов» и «Братьев Карамазовых» от Вагнера, в чьих операх нет ни одного еврея, в текстах либретто — ни единого пассажи, в котором хотя бы намёком проявился антисемитизм. Как бы ни были смешны и отвратительны разглагольствования Вагнера о губительной роли евреев в музыке, — в свой художественный мир он эту ненависть не впустил.

*

В центре города, vis-à-vis с бронзовым королём на пьедестале, стоит помпезное здание с восьмиколонным порталом и латинской надписью на фронтоне: *Apollini musisque redditum* «Возвращено

Аполлону и музам». Это отстроенный заново после гибели в октябре 1943 года 350-летний мюнхенский Nationaltheater, один из самых престижных оперных театров Западной Европы. Здесь всё первоклассное или по крайней мере должно быть таким: певцы, дирижёры и постановщики; публика — всякая. Здание было восстановлено в шестидесятых годах. Поднимемся по ступеням, войдём в зал билетных касс и взглянём на репертуар. Гендель, Моцарт, Вебер, Верди, Чайковский, Рихард Штраус. Фирменное блюдо этого дома — Рихард Вагнер.

Мы пересмотрели много постановок «Золота Рейна» (и всего цикла) и, что называется, видали виды. Приучены к разным фокусам. Каждое десятилетие на оперных сценах немецких городов появляются новые версии. Народ спешит насладиться музыкой и — last not least — поглядеть, что выдаст режиссёр-постановщик, сумеет ли он перещегоолять предшественников.

Два новых «Кольца» почти одновременно поставлены в столицах двух земель — в мюнхенском Национальном театре (Герберт Вернике) и в Государственной опере в Штутгарте (Йоахим Шлеме).

В Мюнхене (где обычно вагнеровские спектакли отличались хорошим вкусом) новая постановка «Золота Рейна» задумана как спектакль в спектакле: вся задняя часть сцены — амфитеатр с живыми людьми, — как бы зеркальное отражение зрительного зала. В центре сцены помещается «Рейн». Это аквариум с красными рыбками, которых ловит руками дураковатый Альберих. Потерпев неудачу, он сам валится в аквариум. Дочери Рейна — кафешантанские дивы в платьях с разрезом до бедра или, пожалуй, обитательницы фешенебельного публичного дома. Сбоку на подставке стоит макетик греческого храма, построенного при короле Людвиге I на берегу Дуная близ Регенсбурга. Это дом богов Валгалла. Фафнер и Фазольт — два потёртых субъекта, по-видимому, чиновники строительной фирмы. Боги в костюмах конца XIX века, и вся история — сперва амурные шашни с полудевами, а затем ссора супругов, Вотана и Фрики, пререкания о том, где взять деньги на постройку нового дома и пр., — выглядит, как скандал в буржуазном семействе.

В Штутгарте второго зала нет, посреди сцены стоит круглый бассейн, русалки напоминают спортсменов-шловчих, Альберих — комический старик в стиле телевизионной мыльной оперы, великаны — бюрократы с портфелями, Вотан — бизнесмен, Фрейя — девица, готовая согрешить, и так далее.

Пресса, которая регулярно откликается на всё сколько-нибудь заметные театральные постановки, благожелательна, никому не хочется прослыть реакционером. Публика, загипнотизированная волшебной музыкой, усердно хлопает и всё же разочарована, чтобы не сказать — угнетена.

Само собой, невозможно вернуться ни к помпезному кичу вагнеровских спектаклей XIX века в музейных костюмах и роскошных декорациях, ни к сценическому натурализму XX века. Но спор этот так или иначе давно закончен. Между тем модернизация, казавшаяся смелым новаторским ответом на вызов современности (мобильные телефоны в руках у мифологических героев, боги в галстуках и подтяжках, дамы в джинсах и т.п.), оказалась всего лишь модой, а мода в свою очередь превратилась в рутину. Дело, однако, не только в этом. Назревает протест против узурпации власти.

В истории театра, и музыкального, и драматического, по видимому, не было эпохи, когда постановщик пользовался такой огромной, почти безграничной властью. Театр автора и актёров превратился в театр режиссёра. Исполнители в его руках — марионетки, что же касается автора, то он ничего не может поделывать с режиссёрским произволом, не может сказать «цыц!», его давно уже нет в живых.

Поэтому с ним можно не церемониться. Вся история рождения и становления замысла не имеет значения; замысел может быть перелицован, как старый сюртук, или вовсе отброшен; воля автора несущественна, его представления о том, какую весть должен нести спектакль, заведомо устарели; постановщик хочет быть соавтором и даже чем-то бóльшим. Содержимое выпотрошено, мышцы исчезли, остаётся костяк, вроде гигантского рыбьего скелета, на который напяливается то, что режиссёр именуется своим видением (с ударением на первом «и»).

К несчастью, — если это опера, — он пока ещё не может посягнуть на партитуру. Логичней было бы выкинуть на помойку и музыку. Сочинить рок-сшибательное сопровождение. А пока что мы приходим к комически-прискорбному результату: сценическое действие абсолютно несовместимо с музыкой и текстом. То, о чём поют герои, глупейшим образом не соотносится с тем, какими их сотворил и выпустил на подмостки режиссёр. Получилась бульварная пьеска, к которой пристёгнута гениальная музыка. Итог — *банализация Вагнера*.

Тут приходят в голову разные мысли. Не правда ли, нам давно уже объяснили, что эпоха метанарраций — великих повествований, «способных охватить в качестве руководящей идеи теоретическое и практическое поведение целой эпохи» (В.Вельш, 1993), — миновала. В ситуации постмодерна «метанаррациям больше нельзя доверять» (Ж.-Ф. Льюгар, 1979). Грандиозное творение Рихарда Вагнера — это ведь тоже в своём роде метанаррация, которой не стоит доверять.

Но и постмодернизм устарел. Выясняется — по прошествии двух десятилетий, — что во всём этом философствовании, как и в сделанных из него практических выводах, содержалась известная доля недоразумения. Во всяком случае, невозможность, по каким бы то ни было причинам, создавать великие художественные проекты вовсе не означает, что вкус к ним, потребность в них утрачены безвозвратно. Мы вновь ощущаем тоску по синтезу. Мы чувствуем, что нам не хватает чего-то очень важного. И ещё одно: когда говорится (вполне справедливо), что современный художник не может возвращаться к девятнадцатому веку или даже к первой трети двадцатого, ибо всякое повторение в искусстве есть ложь, — то это вовсе не означает, что «Война и мир», «В поисках утраченного времени» или «Волшебная гора» устарели, что «Кольцо Нибелунга» — вчерашний день и требует для своего спасения перелицовки, ждёт, чтобы его «приблизили» к сегодняшнему потребителю, другими словами, сделали банальным. Быть актуальным означает быть банальным. Там, наверху, боги могут лишь покатываться со смеху, глядя на эти упражнения. Вагнер таков, каков он есть и пребудет всегда.

1999

Фридрих Горенштейн и русская литература

1

Некий загадочный персонаж, именуемый Антихристом, неизвестно откуда взявшийся, «посланный Богом», появляется в русской деревне, в чайной колхоза «Красный пахарь», куда случайно заходит девочка-побирушка Мария. За столиком у окна сидит подросток, судя по одежде, горожанин, но с пастушеской сумкой, молчаливый, чужой всем, и подаёт ей кусок хлеба, выпеченного из смеси пшеницы, ячменя, бобов и чечевицы, «нечистый хлеб изгнания». Странный гость встречается ей то здесь, то там на дорогах огромной страны. Где-то на окраине южного приморского города он становится на одну ночь её мужем. Мария рождает ребёнка, превращается в малолетнюю проститутку, попадает в тюрьму и умирает пятнадцати лет от роду. Так заканчивается первая часть романа Фридриха Горенштейна «Псалом». Антихрист приносит несчастье всем, кто оказывается на его пути, но и вносит в их существование какой-то неясный смысл, вместе с действующими лицами объёмистой книги взрослеет и стареет, в эпилоге это уже сгорбленный и седой, много повидавший человек. Его земной путь завершён, и он не то чтобы умирает (хотя говорится о похоронах), но исчезает.

Для чего Дан, он же Антихрист, посетил землю, отчасти становится понятно на последних страницах романа. Поучение Дана представляет собой антигезу Нагорной проповеди.

Пелагея, приёмная дочь Антихриста и праведная жена, спрашивает:

«Отец, для кого же принёс спасение брат твой Иисус Христос: для гонимых или для гонителей, для ненавидимых или ненавидящих?»

Ответил Дан, Антихрист:

«Конечно же, для гонителей принёс спасение Христос и для ненавидящих, ибо страшны мучения их. Страшны страдания злодея-гонителя».

«Отец, — сказала пророчица Пелагея, — а как же спастись гонимым, как спастись тем, кого ненавидят?»

Ответил Дан, Антихрист:

«Для гонителей Христос — спаситель, для гонимых Антихрист — спаситель. Для того и послан я от Господа. Вы слышали, что сказано: любите врагов ваших, благословите проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. А я говорю вам: любите не врагов ваших, а ненависть врагов ваших, благословляйте не проклинающих вас, а проклятья их против вас, молитесь не за обижающих вас и гонящих вас, а за обиды и гонения ваши. Ибо ненависть врагов ваших есть печать Божья, вас благословляющая...»

Вот, оказывается, в чём дело: обессилевшее христианство нуждается в новом учителе, который велит отнюдь не благословлять гонителя, но видеть в нём самом награду и благословение. Антихрист — не противник Христа, дьяволово отродье, но какой-то другой, новый Христос.

Родившийся в 1932 г. в Киеве Фридрих Наумович Горенштейн испытал на себе тяжесть гонений с детства. Если бы на родине Горенштейна нашёлся его биограф, он мог бы увидеть в детских мытарствах будущего писателя ключ к его творчеству. Отец Горенштейна, профессор-экономист и партийный функционер, в годы Большого террора был арестован и погиб в заключении, мать скрывалась с малолетним сыном. В начале войны она умерла в эшелоне эвакуированных, он оказался в детском приюте. Долгое время вёл полулегальное существование, был строительным рабочим, позднее окончил горный институт, одновременно пробовал себя в литературе. В Советском Союзе Горенштейну удалось напечатать (в журнале «Юность», июнь 1964) только одно произведение — рассказ «Дом с башенкой»; на исходе 70-х, в неофициальном, фактически полулегальном альманахе «Метрополь» появилась повесть «Ступени»; по сценариям Горенштейна было поставлено несколько фильмов, в том числе «Солярис» Андрея Тарковского. Осенью 1980 года, измученный политической и этнической дискриминацией, Горенштейн оста-

вил отечество. Он поселился в Западном Берлине, где всецело отдал себя литературе — два десятилетия работал, как одержимый. Здесь он и скончался от рака поджелудочной железы 2 марта 2002 г., не дожив двух недель до своего 70-летия.

После событий конца восьмидесятых годов сочинения Фридриха Горенштейна, прежде публиковавшиеся в зарубежной русской печати и во французских и немецких переводах, стали появляться в России. Напомню, что он автор нескольких романов, среди которых в первую очередь нужно отметить упомянутый выше «Псалом», «Искушение» и «Место», большой пьесы «Бердичев», которую можно назвать сценическим романом, пьес «Споры о Достоевском», «Волемир», «Детоубийца», многочисленных повестей и рассказов, разнообразной (и в целом уступающей его прозе) публицистики. Десять лет тому назад в Москве, в издательстве «Слово» вышел трёхтомник избранных произведений с предисловием Л.Лазарева; пьесы Горенштейна шли в московских театрах. Но и сегодня в отношении к нему на родине есть какая-то двойственность; писатель, наделённый могучим эпическим даром, один из самых значительных современных авторов, остаётся полупризнанной маргинальной фигурой.

2

В 1988 г., в интервью, помещённом в книге американского слависта Джона Глэда «Беседы в изгнании», Фридрих Горенштейн говорил о Ветхом Завете: «Библейский взгляд обладает ужасно проникающей и разящей больно силой. Он не оставляет надежды преступнику».

Мы знаем, что ветхозаветная литература стала питательной почвой его творчества. Можно предположить, что чтение Библии повлияло на становление его личности.

Горенштейн был трудным человеком. Если я осмеливаюсь говорить о нём, то потому, что принадлежал, как мне казалось, к сравнительно немногим людям, с которыми Фридрих умудрился не испортить отношений. Я горжусь тем, что имел честь быть одним из его первых издателей (до того, как роман «Псалом» впервые в России был опубликован в «Октябре», он вышел небольшим тиражом в Мюнхене) и, кажется, первым написал о нём.

Горенштейн слыл мизантропом, в своей публицистике никого не щадил, был уверен, что окружён недоброжелателями. Но трудно найти в современной русской литературе писателя, который выразил бы с такой пронзительной силой боль униженных и оскорблённых. Прочитав «Искушение» и «Псалом», иные сочли автора злопыхателем-отщепенцем, ненавидящим родину. Между тем именно о Горенштейне

можно было сказать словами Пушкина: «Одну Россию в мире видя...» Эту Россию он поднял на такую высоту, до которой не смогли дотянуться профессиональные патриоты.

Его имя никогда не было модным, журналисты не удостоили его вниманием, никто не присуждал ему премий, критиков он не интересуется, — похоже, он для них слишком сложен, слишком неоднозначен. Не зря сказано: «Они любить умеют только мёртвых», — многие просто не читали его и только теперь начинают догадываться, что проморгали крупнейшего русского писателя последних десятилетий.

3

«Литература — это сведение счётов». Французский писатель Арман Лану, сказавший эту фразу, возможно, не отдавал себе отчёта в её многозначительности. Литература — сведение счётов с жизнью и способ отомстить ей, отомстить так страшно, как никакое несчастье не может мстить. Да, литература может превратиться в сведение счётов с горестным детством, с властью, с жестоким простонародьем, имя которому — российское мещанство, со страной, которая всем нам была и матерью, и мачехой и, может быть, больше мачехой, чем матерью. Искусство обладает непререкаемостью высшей инстанции, его приговоры обжалованию не подлежат. Но в том-то и дело, что, нанеся удар, искусство врачует.

Небольшой роман «Искушение», который можно считать одной из вершин творчества Ф. Горенштейна, заставляет вспомнить слова Гёте: «Проклятие зла само порождает зло». Молоденькая девушка Сашенька, жительница южнорусского городка, только что освобождённого от оккупантов, становится носителем зла, которое превосходит и её, и всех окружающих; это зло неудержимо разрастается, выходит из-под земли вместе с останками зубного врача и его близких, над которыми совершено изуверское надругательство, зло настигает самих злодеев, зло везде, в каждом, и, кажется, нет выхода. Но искушение зла приходит в мир: это младенец, ребёнок Сашеньки и лейтенанта Августа, который приехал с фронта, чтобы узнать о судьбе своих еврейских родителей, и, увидев воочию, что с ними случилось, уезжает, чтобы не поддаться искушению самоубийства.

В «Псалме», с его пронзительной жалостью к гонимым, с покоряющей пластичностью образов, прежде всего женских, с его странноватой теологией, — искушения зла как будто не предвидятся; можно возразить, что раны исцелит время, забвение сотрёт следы злодеяний, что искушение несёт сама жизнь, которая продолжается, вопреки всему. Но ведь это всё равно что не сказать ничего. Дан уходит, оставив сына, другого Антихриста, рождённого праведницей... И всё-таки искуп-

ление есть, и мы его чувствуем — в самой фактуре произведений писателя, возродившего традицию русской литературы XIX века, её исповедание правды в двояком, специфически русском смысле слова: правды-истины и правды-справедливости. Искупление — это сама книга, страницы слов, искусство.

В отличие от большинства современных российских авторов, Горенштейн — писатель рефлектирующий, при этом он весьма многословен, подчас тёмнен: вы проваливаетесь в философию его романов, как в чёрные ночные воды. На дне что-то мерцает. Попробуйте достать из глубины это «что-то», — мрачное очарование книги разрушится. Пространные рассуждения автора («подлинного» или условного — другой вопрос) сотканы из мыслеобразов, почти не поддающихся расчленению; их прочность отвечает рапсодически-философскому, временами почти ветхозаветному стилю.

С философией, впрочем, дело обстоит так же, как во всей большой литературе только что минувшего века, для которой традиционное противопоставление образного и абстрактного мышления потеряло смысл. Рассуждения представляют собой рефлексию по поводу происходящего в книге, но остаются внутри её художественной системы; рассуждения — не довесок к действию и не род подписей под картинками, но сама художественная ткань. Обладая всеми достоинствами (или недостатками) современной культуры мышления, они, однако, «фикциональны»: им можно верить, можно не верить; они справедливы лишь в рамках художественной конвенции. Рефлексия в современном романе так же необходима, как в романе XIX века — описания природы.

Здесь встаёт вопрос о субъекте литературного высказывания в произведениях Горенштейна: кто он, этот субъект? Рассуждения, вложенные в уста героя, незаметно перерастают в речь самого автора. А может быть, это автор, ставший героем? Кто, например (если вернуться к роману «Псалом»), рассуждает о нищенстве, развивает целую теорию о том, почему в стране, официально упразднившей Христа, по-прежнему просят подаяние Христовым именем, а не именем Совета народных комиссаров? Кому принадлежит гротескный, почти идиотический юмор, неожиданно прорывающийся там и сям на страницах горестного романа? Как ни у одного другого из его собратьев по перу, в прозе Горенштейна можно подметить ту особую многослойность «автора», которая в русской литературной традиции прослеживается разве только у Достоевского. Этой многослойности отвечает и неоднородность романного времени. Писатель, сидящий за столом; автор, который находится в своём творении, но стоит в стороне от героев; наконец, автор-рассказчик, потерявший терпение, нарушающий правила игры, автор, который расталкивает героев и сам поднимается на помост. Вот три (по меньшей мере) ипостаси авторства, и для каждой из этих фигур существ-

вует собственное время. Но мы можем пойти ещё дальше: в романе слышится и некий коллективный голос — обретающее дар слова совокупное сознание действующих лиц.

Все эти границы зыбки, угол зрения то и дело меняется, не знаешь, «кому верить»; проза производит впечатление недисциплинированной и может вызвать раздражение у читателя, привыкшего к простоте и внутренней согласованности художественного сооружения. Однако у сильного и самобытного писателя то, что выглядит как просчёт, одновременно и признак силы. Такие писатели склонны на ходу взламывать собственную эстетическую систему.

4

«Ничего... Твоё горе с полгоря. Жизнь долгая, — будет ещё и хорошего, и дурного. Велика матушка Россия!»

Эта цитата — из повести Чехова «В овраге». Бывшая подённица Липа, с мёртвым младенцем на руках, едет на подводе, и слова эти, в сущности бессмысленные, но которые невозможно забыть, произносит старик-попучик. Чувство огромной бесприютной страны и обостряет горе, и странным образом утоляет его. Чувство страны присутствует в книгах Фридриха Горенштейна, насыщает их ужасом, от которого веет библейской вечностью. Его романы — не о коммунизме, хотя облик и судьбу его персонажей невозможно представить себе вне специфической атмосферы и привычной жестокости советского строя. Вместе с тем Россия всегда остаётся гигантским живым телом, неким сверхперсонажем его книг, и гротескный политический режим для него — лишь часть чего-то бесконечно более глубокого, обширного и долговечного. Горенштейн — ровесник писателей, которых принято называть детьми оттепели, тем не менее он сложился вне оттепели и даже в известной оппозиции к либерально-демократическому диссидентству последних десятилетий советской истории. Это надолго обеспечило ему невнимание критиков и читателей и в самой стране, и за её рубежами.

В многотомной «Краткой еврейской энциклопедии», выходящей в Израиле с 1976 г., всё ещё не законченной, имя Горенштейна упомянуто в статье «Русско-еврейская литература». Можно согласиться с автором статьи Шимоном Маркишем; можно оперировать и другими рубриками. Для меня Горенштейн представитель русской литературы, той литературы, которая, как и литература Германии, Франции, Англии, Испании, Италии, Америки и многих других стран, немыслима без участия писателей-«инородцев» и для которой уход Горенштейна — одна из самых больших потерь за истекшую четверть века.

Накануне отъезда на квартире Марка Розовского было устроено для узкого круга слушателей в присутствии автора чтение «Бердичева». Пьесу читал сам хозяин. Под конец он заплакал. Чтение закончил другой человек. Впечатление от пьесы было поразительным.

Я встречался с Фридрихом Горенштейном в разных обстоятельствах и по разным поводам, последний раз — в Мюнхене, когда он выступал с чтением в маленьком русско-немецком книжном магазине. На другой день я приехал к нему в гостиницу. Фридрих был хорошо настроен, почти весел, много и охотно говорил, выглядел пополневшим. Со своими отвисшими усами он напоминал кота. Может быть оттого, что был страстным любителем кошек. И невозможно было представить себе, что через несколько лет он умрёт в Берлине от мучительной болезни.

2001

Писатель — журналист — писатель: Эренбург и Вайян

Nous croyons devoir prévenir le public que nous ne garantissons pas l'authenticité de ce recueil, et que nous avons même de fortes raisons de penser que ce n'est qu'un roman.

Les Liaisons dangereuses.
Avertissement de l'Editeur¹

Гладко зачёсанные, умащённые бриолином волосы, модный костюм, внешность сноба. Ухватки фата. Круг друзей: поэты-сюрреалисты, анархо-революционеры, «коммунизаны». Любимое общество: шлюхи. Ночные странствия по кабакам. Американские башмаки. Виски. Марихуана. Стекланный, временами почти мёртвый взгляд. Дьюк Эллингтон. Моцарт. Ещё виски. Взлететь и упасть. А потом написать роман.

Из дневника:

Великие люди, вот кто делает историю... Но меня интересует, каким образом история даёт развернуться великим людям. Я полюбил коммунизм за то, что он разбудил большевиков, стальных мужей, львов. Сталин: человек из стали.

¹ Мы считаем своим долгом предупредить публику, что мы не ручаемся за подлинность этого собрания писем, и более того, у нас есть веские основания полагать, что это не что иное, как роман. *Пьер-Амбруаз-Франсуа Шодерло де Лакло, Опасные связи. Предупреждение издателя (1782).*

Цитаты из «Интимных записей» Р.Вайяна — в переводе автора статьи.

Гуманизм стал реакционным. Гуманизм — это оружие привилегированных классов... Я против гуманизма.

Девушка ждёт автобуса на вокзале в Маконе. Прогуливаясь, работает попкой, этого достаточно, чтобы сделать её интересной, и она это знает. Сидя, стоя — какое спокойствие и самообладание, какая уверенность в себе...

Ещё виски и дивертисмент Моцарта. Писатель живёт с женой-итальянкой, нестигаемой коммунисткой и верной подругой, в домике на окраине деревни, в тишине и благодатном климате, в предгорье Французских Альп. Розы, орхидеи.

Чувство тревоги, внутреннее беспокойство; выпив, он не может усидеть на месте. Хлопнуть дверцей своего «ягуара», вывернуть с просёлочной дороги на автостраду и дать газ. Холодный, почти мёртвый взгляд. На святащемся диске не хватает нескольких делений, чтобы оторваться от бетона и взлететь к небесам. Писатель свободен, ибо он выбрал свободу. Он свободен, ибо выбрал революцию. Он свободен, и поэтому он член коммунистической партии. Несмотря на то, что он член партии, он свободен. Всё дурное, что говорится о Советском Союзе, — клевета врагов свободы.

Записи в дневнике:

Седьмая неделя без выпивки... Советский человек не может смотреть на вещи глазами западного человека, не может мыслить так, как мыслит западный человек, не может реагировать как он — и наоборот. Точно так же в алкогольное время невозможно смотреть на вещи, думать, реагировать как в трезвое время года.

В последние месяцы много занимался любовью... Мулатка Эмануэла в лесу св. Франциска. Аромат чёрных и жёстких волос под мышками. Согласилась, как будто речь идёт о чём-то само собой разумеющемся, но смотрит с любопытством. Хотела сниматься в кино и ещё Бог знает что... Магда, в заведении на улице Capo le Case. Изысканная учтивость римских блядей... Роланда с площади Этюаль...

Часов в одиннадцать заснул, со снотворным, как обычно. Проснулся в десять минут первого. И — застонал: ё... твою м...! (Merde!) Какая тоска!»

Вернулся из Москвы. Две недели тому назад, когда я туда приехал, в аэропорту, в зале ожидания ещё стоял Сталин. Теперь статую закрыли белым чехлом. Скоро её уберут. Придут рабочие, повесят петлю на шею, приладят лебёдку, и поминай как звали... Теперь и мне пришлось снять со стены его портрет. Я человек несентиментальный. Однажды я прогнал женщину, которую любил больше всего на свете; смотрел, как она тащит свои чемоданы, спускаясь по лестнице; она подняла ко мне лицо, залитое слезами, это лицо отпечата-

лось в моём сердце, но я не заплакал... И когда Франция в июне сорокового года была разгромлена, я не пролил ни слезинки. А когда умер Сталин, я плакал. И теперь снова я плакал, плакал всё ночь. Плакал о Мейерхольде, которого убил Сталин, и плакал о Сталине-убийце.

Ответы на «анкету Пруста» (известную в России по ответам Маркса):
Какое качество вы предпочитаете в мужчине? — Трезвый взгляд на самого себя.

Ваш любимый цвет? — Чёрный, как волосы женщин на берегах Средиземного моря.

Что вы больше всего не любите? — Отвечать на вопросы!

*

В домашней библиотеке Ильи Эренбурга стояли изящные томики — подарок друга, собрание сочинений Вайяна, выпущенное в шестидесятых годах. Сейчас в книжных магазинах Парижа можно найти только роман «Закон»; всё остальное давно не переиздаётся.

Умерший весной 1965 года на 58-м году жизни от бронхогенного рака лёгких, некогда известный в СССР писатель и журналист Роже-Франсуа Вайян, возможно, заслуживает того, чтобы считаться малым классиком французской литературы XX века. Две-три книги всё-таки дают ему право на этот ранг, и прежде всего «Закон» («La Loi», гонкуровская премия 1957 г.). По-русски, в образцовом переводе Н.Жарковой, роман появился уже после смерти автора; то, что переводилось и пропагандировалось во времена, когда Вайян состоял в рядах так называемых прогрессивных писателей Запада, другими словами, был членом компартии, носило отчётливый отпечаток этой принадлежности и забыто, по-видимому, прочно.

Я помню разговоры и споры с известным литературным критиком, старинным и близким другом, которого приводили в негодование попытки так или иначе объяснить преклонение некоторых западноевропейских писателей перед Сталиным и советским режимом; моему собеседнику казалось, что я склонен их оправдывать. Он не мог простить ни прокоммунистических симпатий Сартру и Симоне де Бовуар, ни двусмысленной лояльности престарелому Бернарду Шоу, ни тем более коммунистических убеждений какому-нибудь Роже Вайяну.

И в самом деле, читая заметки Бовуар о чуть ли не ежегодных поездках с Сартром в СССР, испытываешь неловкость — ведь неглупые же, в конце концов, были люди. О другой супружеской паре, Луи Арагоне и Эльзе Триоле, и говорить нечего: их поведение порой нельзя было назвать иначе как постыдным.

Причин было много, не последнюю роль играли высокие гонорары в полноценной валюте, которые отваливали советские издательст-

ва за всё, что переводилось и выпускалось неслышанными в Западной Европе тиражами. Но главными оставались — если не для всех, то для многих — идейные ориентации. Решающим был политизированный образ мыслей, пресловутые политические убеждения, всегда основанные на бинарной схеме: враг моего врага — мой друг, друг врага — враг. Питать отвращение к Советскому Союзу, брезгливость по отношению к корявому вождю народов, испытывать, казалось бы, вполне естественные чувства — означало оказаться в лагере правых. Быть независимым в этой системе представлений значило зависеть, «лить воду на мельницу». Сюда присоединялась и та особая казуистика, по которой попытки неуважительно отозваться о политике квалифицируются как «тоже политика».

То, что эти друзья мира и социализма в свою очередь «льют на мельницу», что их известность, талант, их ум или глупость, честность или суетность беззащитно используются, что они затянuty в машину, в данном случае — советскую пропагандистскую машину, как будто не доходило до их сознания.

*

Политическое мировоззрение может сыграть с писателем злую шутку. Политическое мировоззрение предписывало этим властителям дум носить шоры, запрещало интересоваться всем, что могло оказаться разоблачительной правдой; эти люди, как дети, могли утверждать, что XX съезд «открыл им глаза»; они не хотели знать ни о коллективизации, ни о голоде, ни о тотальном сыске и всеобщем доносительстве, ни об убийствах, поставленных на конвейер, ни о системе принудительного труда, не имели представления о реальной жизни в советском государстве, о всеохватной лжи и неслышанной по размаху и наглости пропаганде, — не хотели знать и поэтому ничего не знали. СССР был маяком, светочем — и в то же время оставался провинцией мира, полуазиатской страной, сама по себе она их мало интересовала, они были поглощены политической борьбой в собственной стране, русского языка не знали, социализм, коммунизм — эти слова в их устах имели совершенно иной смысл.

Политические убеждения не разрешали им допустить ту простую мысль, что если бы, не дай Бог, режим, подобный советскому, победил в их собственной стране, они мгновенно лишились бы своих кафе и привычных удобств, своих клубов и редакций, возможности собираться вместе и дискутировать, говорить что думаешь и писать что хочешь, жить где вздумается и ездить по разным странам. Поборники свободы, они как будто не догадывались, а если догадывались, то не решались сказать вслух о том, что страна, внушавшая им чуть ли не религиозный

пиетет, была царством тотальной несвободы. Они по-прежнему видели в Советской России бастион левых сил и защитницу всех угнетённых — между тем как режим в такой же мере заслуживал наименование «левого», как и крайне правого, приобрёл отчётливые фашистские черты — не заметить их мог только слепой.

Но они могли бы возразить, что в их собственной стране социальная несправедливость и социальная борьба отнюдь не были выдумкой марксистов, что в борьбе за права трудящихся коммунисты стояли на переднем крае, что в годы оккупации — память о них была свежа — партия стала активной участницей Сопротивления, что Советский Союз расколол Гитлера... Словом, ясно, что они могли бы сказать.

*

Эта филиппика понадобилась не ради того, чтобы осудить или оправдать Вайяна, — хотя в целом тема отнюдь не утратила актуальности, — но для того, чтобы оценить, понять некоторые из приведённых выше записей, предназначенных отнюдь не для публики. Пусть не удивляет сегодняшнего читателя плач по Сталину, эти сопли, размазанные на листах дневника. Быть может, писатель оплакивал самого себя. Холодному снобу, каким он хотел казаться, либертену-аморалисту в манере виконта де Вальмона, героя высоко ценимого Вайяном романа Шодерло де Лакло «Опасные связи», которому (и роману, и герою) он немного подражал, — пригрезилось, что он обрёл великую веру. «*Écrits intimes*» — ворох заметок, дневниковых записей, писем, набросков статей и заготовок прозы — были опубликованы вдовой Вайяна в конце 60-х годов, и, надо сказать, иные страницы этого тома принадлежат не к худшему из написанного Вайяном.

Илья Эренбург (известность Вайяна в СССР — в большой мере его заслуга) посвятил умершему другу главу в своих мемуарах, страницы, полные недомолвок, рассчитанные одновременно и на сообразительность читателя, и на его неосведомлённость. Но они принадлежат к немногому и лучшему, что написано на русском языке о Роже Вайяне. Эренбург привёл и выдержки из «Интимных записей», в то время рукопись ещё не была издана.

О многом, как водится, мемуарист умолчал. Между июнем и июлем 1956 года в дневнике Вайяна крупными буквами посередине листа начертано: *ÇA NE M'INTERESSE PLUS.* (*Мне это больше неинтересно.*)

Означает ли эта запись, что он поклонялся священным коровам только потому, что это было «интересно»?

Пятьдесят шестой год: доклад Хрущёва и начало оттепели. Пятьдесят шестой год — это также советские танки в Будапеште и кровавое подавление венгерского восстания. Но воздержимся от слишком прямо-

линейных толкований. Вайян подписал протест против вторжения в Венгрию. Несколько времени спустя он вышел из Французской коммунистической партии, и всё же нельзя утверждать, что идеи коммунизма, классовой борьбы, пролетарской революции и т.д. вполне утратили для него убедительность. Просто они перестали его интересовать. Невозможно утверждать, что он и прежде был образцовым коммунистом. Слишком трудно было сочетать индивидуализм с партийной дисциплиной, сексуальную свободу и даже одержимость сексом, эксцессы, которым чуть ли не до конца жизни предавался Вайян, — с партийным аскетизмом, рифмовать свободомыслие с догмой, независимость художника с идеологией. Нельзя даже сказать, что его вообще перестала интересовать политика (последняя опубликованная им статья называлась «Eloge de la politique», «Похвальное слово политике»). И всё-таки.

Эренбурга можно было бы избрать как модельную фигуру, противоположную Вайяну. Эренбург любил называть себя писателем, употребляя это слово в широком смысле; очевидно, что правильней было бы назвать его журналистом, который хотел быть не только журналистом. Кем же ещё? Писателем. И он как будто осуществился в этой роли, — как будто. Слишком многое, и не только недостаток художественного дарования, мешало блестящему, в других отношениях богато одарённому Эренбургу стать писателем-художником. На его примере можно видеть, чем отличается журнализм от писательства: вопреки распространённому мнению, это две вещи несовместные. Мы говорим не только о политике в собственном смысле. Речь идёт о чём-то большем: об отношении к действительности, о способе видеть, воспроизводить и преобразжать мир.

*

Французское слово *journal* означает «журнал» в том смысле, какой это слово имело в русском языке первой половины XIX века: дневник («журнал Печорина»); другое значение — газета.

На примере Эренбурга хорошо видно, чему может научить многолетняя деятельность журналиста, то есть работа для газет: оперативности, чуткости, злободневности, умению вращаться, как флюгер, спешке, которая становится рабочим методом, риторическому суесловию, привычному злоупотреблению языком, умению навести блеск на общие места, умению носиться, как по льду на коньках, по поверхности событий, наконец, искусству маскировать тенденциозность. На примере этого автора, единственного европейца среди всех своих советских коллег, очень много сделавшего, очень много написавшего и отнюдь не ушедшего навсегда *ad patres*, — если сегодня читать его книги почти невозможно, то его путь, его личность, его

гуманизм и человеческое обаяние по-прежнему незабываемы, — на примере Ильи Григорьевича Эренбурга можно видеть, как глубоко внедрённая, регулярно, как наркотик, впрыскиваемая в кровь несвобода мысли становится, начиная по крайней мере с тридцатых годов, второй натурой; трёхтомные мемуары «Люди, годы, жизнь», последнее и, вероятно, значительнейшее творение Эренбурга, — памятник этой несвободе.

Вайян, который совсем молодым человеком стал журналистом-газетчиком, репортёром, объездившим весь свет, прошёл путь в противоположном направлении. Он испытывал непреодолимую потребность быть писателем. Он им стал.

*

Предки Роже Вайяна были савойскими крестьянами, родители — мелкими буржуа из провинциального городка в северном департаменте Уаза. Он окончил престижную Высшую нормальную школу в Париже. Как уже сказано, занялся журналистикой. Рано пристрастился к наркотикам, окунулся в богему, практиковал, вслед за своим кумиром Артюром Рембо, *dérèglement de tous les sens* (раздрызг, расстройство всех чувств). Пробовал себя и в художественной литературе, испытал сильнейший соблазн сюрреализма.

Словечко *surréal* изобрёл Аполлинер. Литературная школа, присвоившая себе это название, пришедшая на смену дадаизму, сложившаяся после первой Мировой войны, ушла в прошлое (мы не касаемся сюрреализма в живописи и кино, который оказался более долговечным). Но тот, кого однажды, пусть издалека или даже спустя много лет, коснулось её веяние, вправе сказать, что сюрреалистическое письмо — не отвлечённая программа, но некая фаза в эволюции писателя. Во всяком случае, живя сегодня, невозможно не учитывать её уроки. Нельзя представить себе серьёзного прозаика, который не принимал бы к сведению эксперимент сюрреализма.

Сюрреалистическому мировоззрению не надо учиться. Самые разные писатели только что минувшего века становились сюрреалистами в своих попытках вырваться из засасывающей традиционной прозы — ничего не зная о Бретоне и Супо, не интересуясь фрейдизмом.

Подсознание, насколько его можно вообще «осознать» и артикулировать; сновидение — театральные подмостки подсознания или, если угодно, сверхсознания; причудливая образность, автоматическое письмо, сексуальный туман, «чёрный юмор», метафизический алогизм, символ, не поддающийся расшифровке, — все эти приобретения литературы первой трети XX в., разумеется, давно перестали быть новинкой и вместе с тем не утратили своей новизны.

Мы сказали: фаза, этап. Вайян, в отличие от «корифеев» — Бретона и Арагона, кстати, вступивших и в ФКП, не стал знаменосцем сюрреализма. Он был человеком другого темперамента. Когда он пытался теоретизировать, выходила путаница (примером может служить послевоенная статья «Le Surréalisme contre la Révolution»). В его зрелом творчестве сюрреалистская юность почти не оставила следов; ссора с Арагоном подвела черту под целой эпохой. В июне 1940 г. Франция капитулировала. Вермахт оккупировал значительную часть страны, Третью республику сменило «Французское государство» под началом престарелого маршала Петена в Виши. Вайян, сперва было ставший коллаборационистом, примкнул к Сопротивлению (которому позже посвятил свой первый роман), сделался настоящим бойцом — не литературным, а реальным, ушёл в подполье, ежедневно рисковал жизнью, считался специалистом по пусканию под откос поездов с немецкими солдатами и вооружением.

*

Герой небольшого (и отнюдь не лучшего в наследии Роже Вайяна) романа «La Fête», «Праздник», многоопытный стареющий писатель Дюк повторяет слова Вайяна: «Мне это больше не интересно». Дюк — бывший коммунист и журналист, борец за права угнетённых, едва не расстрелянный в Алжире. Теперь он живёт на вилле среди живописной природы и только что начал роман «Праздник», который мы читаем. У Дюка и его жены гости — начинающий писатель Жан-Марк с молодой женой Люси. Работа не клеится, Дюку нужна встряска, жена понимает его и молча соглашается отпустить мужа и Люси в трёхдневный вояж; Жан-Марк тоже как будто не возражает. В номере отеля, где остановились Дюк и Люси, устраивается праздник любви, описанный со знанием дела, после чего краткосрочные любовники возвращаются к супруге и супругу, и Дюк с новыми силами принимается за роман.

«Мой метод, — говорил Вайян в одном из многочисленных интервью, — превратить каждую главу в законченную сцену. Я начинаю писать не раньше, чем представлю себе обстановку и поведение действующих лиц во всех подробностях, так что уже не могу переставить мебель, изменить диалог...». Жёсткая эстетика, трезвость и ясность повествования, дисциплинированное письмо, — стиль зрелого Вайяна ориентирован на классиков XVII–XVIII веков: мадам де Севинье, герцога Сен-Симона, Шодерло де Лакло; к ним надо присоединить Бенжамена Констана и Стендаля. От двадцатого века у Вайяна — особый остро-сладковатый сок, которым пропитана его суховатая проза: всепроникающий эротизм.

Так написан «Закон», созданный в летнем доме на юге Аппенинского полуострова, в Абруццах, где одно время жил Вайян. Заголовок не

лишённого иронического смысла, потому что «закон» есть не что иное, как торжество произвола и беззакония. Вместе с тем речь идёт о чём-то большем, чем игра, в которую играет вся Южная Италия. Речь идёт о неизбывном, вечном законе жизни, в которой состарившихся владык побеждают молодые хищники, чтобы уступить место хищникам следующего призыва. Это очень мрачная книга.

Играют в карты, в кости, иногда просто тянут жребий на соломинках. Выигравший, именуемый хозяином, *рагоне*, получает право распоряжаться судьбой того, кто проиграл. «Хозяин» может им помыкать, как ему вздумается; проигравший превращается в безмолвного раба. Между прочим, игра в «закон» удивительно напоминает уличные игры подростков, процветавшие во времена нашего детства, в Москве, за тысячу вёрст от Италии.

Действие романа происходит в городке, где есть полиция, есть суд и так далее, но всё это — видимость. Господствуют два зверских инстинкта, идёт борьба за власть над городом и за девственность юной красотки Мариетты. Побеждает сама Мариетта — будущая хозяйка города.

Алгебра и философия детектива

Дорогая, вы меня ошарашили. За кого вы меня принимаете? Мне хотелось ответить Вам классической фразой: «Я честная девушка». Писатели, как и добродетельные девицы, дорожат своей репутацией и не опускаются до пошлых жанров.

Предполагается, что существуют жанры серьёзные и несерьёзные. Когда-то Зоценко говорил, что он пишет в неуважаемом жанре короткого рассказа. До сих пор, по крайней мере на Западе, издатель с кислой миной встречает предложение выпустить сборник новелл. «Ты бы лучше, дяденька, дал нам роман». — «А чем это хуже романа?» — «Ну, всё-таки...» — «Тогда, может, будем считать книжку романом в новеллах?» — «О, это другое дело».

Предполагается, далее, что низкий жанр — это что-то такое, что не требует от автора больших усилий: сел и написал. Вы предлагаете мне сочинить детектив.

(Заметьте, как изменилось значение этого слова: ещё сравнительно недавно под детективом подразумевали сыщика, а не рассказ о нём.)

Сделаю вам признание: я уже пробовал. И, представьте себе, убедился, что это совсем не так просто. Не хочу подробно распространяться о том, что из этого получилось, скажу только, что получилась скорее пародия на *крими*, другими словами, нечто такое, что рискует вызвать раздражение у потребителя криминальных романов. Польза от этого упражнения была, по крайней мере, та, что заставила меня задуматься над тем, что, собственно, представляет собой детективный жанр.

Недавно в наших местах с почётом проводили «на заслуженный отдых» (как говорили когда-то в России) любимца публики Хорста Таппера; телевидение посвятило ему целый вечер. Германия, как вы знаете, не блещет по части детективной литературы и детективного фильма. «Деррик» оказался исключением. За тридцать лет было снято умопомрачительное количество серий, обер-инспектор отдела убийств мюнхенской уголовной полиции успел состариться, пожалуй, чуточку облез и все-таки не утратил свой шарм и феноменальный нюх, а главное, принёс Второму немецкому телевидению (ZDF) огромный доход. Ни один немецкий сериал не пользовался такой популярностью внутри страны и во множестве стран, куда он был продан.

В чём дело? Рынок детективной литературы, как и рынок уголовно-приключенческого телевидения, переполнен; пробить себе дорогу на этом торжище трудней, чем во времена нашей молодости протолкаться на Тишинском рынке. На первый взгляд, персонаж по имени Штефан Деррик чрезвычайно банален.

За полтора века существования детективного жанра, гениального изобретения Эдгара По (напомню вам, что «Убийство на улице Морг» появилось в провинциальном журнальчике «Graham's Magazine» в апреле 1841 г.), все мыслимые ситуации преступления оказываются уже использованными. В одном исследовании по систематике детектива, помещённом в парижском журнале «Ouvroir de littérature potentielle» (на него ссылается в работе «Абдукция в Укбаре» Умберто Эко), приведён список всех существующих вариантов убийцы. Преступник может быть слугой или дворецким в аристократическом доме (литературный предок такого слуги — Смердяков в доме Фёдора Павловича Карамазова), наследником, жаждущим завладеть страховым полисом, ревнивой женщиной, психопатом, киллером. Преступление может совершить покровитель или даже следователь, распутывающий дело; не хватает только, чтобы убил сам читатель.

Нетрудно было бы составить и каталог охотников за убийцами. Это может быть комиссар угрозыска, как Мегрэ в романах Жоржа Сименона; гениальный сыщик-любитель, эксцентрическая личность наподобие Огюста Дюпена в рассказе «Убийство на улице Морг»; частный детектив, как Шерлок Холмс с его прославленным «дедуктивным методом» у Конан-Дойла или приторно-любезный щёголь Эркюль Пуаро у старой Агафьюшки — Агаты Кристи; пожилая респектабельная дама мисс Марпл у неё же; католический священник у Честертона; учёный знаток оккультной и каббалистической литературы в рассказе Борхеса «Смерть и бусоль»; средневековый монах в романе Эко «Имя розы». Каждый из них представляет собой некий тип или, лучше сказать, пародию на то, что в учебниках истории литературы именуется литературным типом. Детектив может сидеть в тюремной камере, как дон

Исидро Пароди в цикле новелл Бьяо Касареса и Хорхе Борхеса. Он может быть двумя персонажами или, наконец, компьютером, как в одном рассказе покойного писателя Якова Варшавского, где загадкой является не убийца, а детектив.

В телевизионном сериале «Деррик» выбран случай достаточно стереотипный: сыщик — старший инспектор уголовной полиции. Мы видим коридоры мюнхенского полицей-президиума, рабочий стол Деррика, за которым он, правда, проводит очень мало времени. Мелькают легко узнаваемые улицы, парадные площади или, напротив, глухие, безлюдные закоулки старого города.

По примеру литературоведов формальной школы, занимавшихся классификацией сюжетов (все сюжеты мировой литературы сводятся к небольшому числу простых формул), можно было бы предложить нечто вроде криминального исчисления, или алгебры детектива. Сыщик *A* разыскивает убийцу *X*. Намечаются разные решения. Своими соображениями *A* делится с другом или подчинённым *B* (Холмс с доктором Уотсоном, Деррик с младшим инспектором Клейном), при этом *B* выдвигает более или менее правдоподобных кандидатов из набора $X_1, X_2, X_3... X_n$. К этим предположениям склоняется и читатель, потому что *B*, собственно, и есть не кто иной, как читатель, перенесённый в пространство литературного повествования. Все версии рушатся одна за другой. Детектив *A*, более проникательный, чем и *B*, и читатель, находит решение, поражающее своей неожиданностью.

Все серии «Деррика» следуют одной из двух традиционных моделей криминального фильма: первая — вместе с инспектором мы ищем таинственного злодея, или вторая — зритель знает, кто убийца, и следит за тем, как гениальный детектив распутывает клубок. Каждая серия длится 55 минут. Соблюдено правило жанра: вам всегда сообщаются все факты, необходимые и достаточные для раскрытия тайны. Другое дело, если вы пропустили их мимо ушей.

Но чем же всё-таки очаровал зрителей — самых разных зрителей — знаменитый тандем, старший инспектор Деррик и его помощник Клейн? В фильмах заняты высокоталантливые актёры, и каждый из них создаёт жизненно-убедительный образ за одну-две минуты (время дорого!). Фильм рождает иллюзию подлинной жизни. Оказывается, жуткие события происходят здесь, рядом с вами, на соседних улицах. Вы можете оказаться по ходу действия в криминальной компании, среди весьма крутых ребят, но от жестоких сцен насилия, драк и пыток, от всякого рода натуралистических крайностей вас избавляют. Нет того, что называется *action*, одуряющих автомобильных гонок и т.п., вообще очень заметно желание дистанцироваться от американского стиля. И, наконец, сам Деррик.

Деррик — воплощение бюргерской порядочности. Это не народный человек, в отличие от комиссара Мегрэ, и не аутсайдер, как незабвенный Огюст Дюпен; это приличный, благовоспитанный господин с безупречными, чуточку старомодными манерами, который говорит на хорошем немецком языке и умеет вести себя в любом обществе. Он одинок, все его интересы сосредоточены вокруг его работы; он рыцарь справедливости. (Не правда ли, нам с вами трудно представить себе такие качества у милиционера или следователя в России.) При этом он достаточно трезв и знает жизнь настолько, чтобы понимать, что искоренить преступность невозможно; вдобавок он живёт в правовом государстве, где закон весьма чувствительно ограничивает деятельность полиции; подчас, разоблачив преступника, инспектор вынужден оставить его на свободе из-за отсутствия достаточных юридических доказательств вины. Деррик высок, статен, одет со вкусом, дорого и скромно. Деррик верит в существование единственной и окончательной истины и ее добивается.

Дорогая, я прочёл вам — не имея на это, в сущности, никакого права — целую лекцию о детективном жанре. Но теперь мы дошли до существенного пункта. Это — вопрос об истине.

Лет двадцать тому назад была опубликована новелла Джона Фаулза «Загадка» («The Enigma»), попадалась ли она вам? Неожиданно исчез депутат парламента Джон Филдинг, подозревают, что он убит. Следствие ведёт Нью-Скотленд-Ярд — никакого результата. Чтобы как-то закрыть тухлое дело, его сплавляют некоему Майку Дженнингу, следователю на вторых ролях. Молодой следователь принимает нерутинные меры, ему удаётся напасть на след. Всё развивается как будто по канонам детективного повествования.

Задача Дженнинга — не столько выяснить обстоятельства предполагаемого убийства, сколько восстановить интимную жизнь сэра Джона, скрытую за респектабельным покровом. По ходу дела следователь знакомится с девушкой, близкой к семье депутата. Это начинающая писательница, ее художественное воображение подсказывает следователю оригинальное решение. Необходимость отшлифовать версию заставляет молодых людей встретиться несколько раз в неофициальной обстановке, история завершается поцелуями.

А как же член парламента? Если вы захвачены интригой, но не замечаете, что вас развлекают, это лучший признак, что детектива удался. Интрига несётся к разрешению загадки, как поезд к конечной станции, а тут? Тайна исчезновения Филдинга не то чтобы не раскрыта, но как-то перестает быть интересной. Истина, за которой охотится следствие, дезавуирована как таковая. Интрига несется к неожиданной развязке, только неожиданность эта вовсе не та, какую

предписывают каноны жанра. Ибо оказывается, что расследование было не поиском преступников, а поиском смысла жизни. Этот смысл — встреча мужчины и женщины, любовь.

Перед нами, разумеется, пародия, может быть, крайний случай пародии на криминальную повесть. Но вернёмся к «Деррику». Если говорить о его сценарии, тут мы имеем дело со стопроцентным тривиальным детективом, из которого умело сработан тривиальный телесериал. При этом сценарист и режиссёр отнюдь не собираются водить зрителя за нос. Даже если бы детективный фильм имел форму комедии, основы жанра не могут быть подвергнуты осмеянию. Принципиальная серьёзность остаётся его важнейшим свойством, как и свойством тривиального искусства вообще, будь то литература или кино.

Другая черта *крими* — конвенциональность. Подобно классической венской оперетте, подобно итальянской комедии масок, детективный роман неукоснительно следует канону, вот почему так легко и удобно строить «алгебру детектива», обнажая его проволочный каркас. Кодекс предписанных правил предъявляет жёсткие требования автору и в то же время поощряет его изобретательность: так иконопись стимулирует вдохновение живописца в тесном пространстве канона. Нарушение детективного канона вызывает внутренний протест у потребителя, воспринимается как художественный изъян. Само собой, канонический реквизит включает и вечно повторяющиеся мотивы, например, *the locked room mystery*, преступление, совершённое в комнате, запертой изнутри.

Вопрос: можно ли представить себе полноправное присутствие канонического детектива в заповеднике «настоящей», серьёзной литературы?

В конце концов, этот жанр успешно эксплуатировали не только авторы уровня Марининой или Донцовой. Криминальным жанром не гнушались выдающиеся мастера.

Верно; однако мы только что с вами видели, что из этого получилось.

Дело выглядит так, что современному писателю, если он берётся за детектив, остаётся лишь пародировать классиков жанра: По, Честертона, Конан-Дойла, — или, лучше сказать, пародировать жанр.

К двум качествам «нормального» детектива (серьёзность и конвенциональность) я бы добавил ещё одно: детективный роман не должен ослеплять читателя совершенством стиля. Иначе он потеряет читателя. Ведь вопрос о достоинствах *крими* невозможно отделить от вопроса, кто его потребитель. Заострив эту мысль, можно сказать: автор тривиального детектива не только имеет право, но и обязан писать плохо. Когда журнал «Неприкосновенный запас» (приложение к «Новому литера-

турному обозрению») устроил обсуждение творчества Александры Мариной, один из участников, Борис Дубин, заметил, что в пятнадцати романах он сумел найти два более или менее живых, незатасканных выражения. Дело, однако, не только в языке или стиле.

Если бы вы предложили мне сформулировать в самом кратком виде философию детективного романа, я ответил бы, что это — философия *единой и единственной истины*. Сыщик разгадывает тайну, следить за его поисками доставляет читателям тем больше удовольствия, чем меньше он пользуется ухищрениями техники и чем ярче демонстрирует проницательность своего ума, умение нешаблонно мыслить и дар внезапного прозрения. Гениальный сыщик, будь то вполне серьёзный Холмс или откровенно пародийный дон Исидро, обходится безо всякого технического оснащения. Силой ума он раскрывает преступления, другими словами, постигает истину. В детективном повествовании существует презумпция истины. Сыщик не может ответить неопределенно: «убийца — это либо X_1 , либо X_2 »; «преступление могло состояться, а могло и не состояться». Ибо истина только одна. Эта истина столь же «объективна» и столь же принудительна, как в точных науках. Читатель (зритель) ждёт определённый ответ и получает его.

Между тем с истиной в современной литературе дело обстоит не просто. Мир миметического (в России предпочитали говорить — реалистического) романа XIX века предстаёт таким, каков он есть «на самом деле»; никаких сомнений в его аутентичности не может быть. Романист в этом мире всеведущ. Он читает во всех сердцах. Ему доступна вся полнота истины. Читатель принимает эту конвенцию как нечто само собой разумеющееся, вслед за автором он верит в то, что существует некая единообразно читаемая версия действительности, окончательная истина, эту истину возвещает художник. Анна Каренина не знает о существовании Толстого, но Толстой об Анне знает всё, и нет оснований сомневаться в достоверности его знания.

После грандиозной литературной революции, начало которой, как я думаю, положил Достоевский, концепция всеведущего автора пошатнулась. Новая литература — это уже не возвещение абсолютной истины, это литература версий. Писатель знает, что действительность зыбка и неоднозначна, что в жизни всё происходит и так, и не так, что вопреки формальной логике *A* может быть не равно *A*.

На этом фоне серьёзный, то есть написанный с самыми честными намерениями, детективный роман выглядит несерьёзно. Сколько бы ни старался сочинитель сделать его современным, актуальным, современным, шикарным, это — литература архаическая, пахнущая нафталином; литература, с точки зрения поэтики, эпигонская и глубоко ретроградная. Её можно только «обыгрывать», пародировать, как некогда автор «Дон-Кихота» пародировал антикварный рыцарский роман.

Выходит, серьёзный детектив вовсе не имеет права на существование? Но вся массовая культура питается объедками былых пиров — крохами с высокого стола, который давно уже покинут сотрапезниками. Если быть последовательным, пришлось бы потребовать выкинуть на помойку вместе с детективным романом 98 процентов всей литературной и кинематографической продукции развитых стран.

Дорогая, будьте здоровы. Прочтите на сон грядущий какой-нибудь рассказ Борхеса, Рекса Стаута или на худой конец доброго старого Конан-Дойла. Adieu.

Дневник сочинителя

1

Знал бы кто-нибудь, что скрывается на дне моих романов! Какая сумятица чувств стоит за этими тщательно отделанными страницами. Меня самого воротит от моих хищных инстинктов. Лишь когда я работаю, они оставляют меня в покое... Надеюсь, этот Дневник, который я собираюсь вести по возможности без перерывов, поможет мне разобраться в самом себе. Я хочу раскрыться весь, ничего не тая, с абсолютной искренностью и точностью... Что из этого выйдет? Не знаю. Но я буду доволен уже тем, что такая рукопись существует¹. (Жюльен Грин. 17–18 сентября 1928 г.)

Любопытный опыт — перечитать Дневник, который ты вел сорок лет, от начала до конца... Уйма вопросов встает перед автором. В эти книги он вложил добрых две трети своей пролетевшей жизни. Что изменилось за эти годы — в нем самом и вокруг него? Когда, читая эти страницы, вспоминаешь детство, то видишь себя поднимающимся по лестнице с подсвечником в руке — странный образ, не правда ли?.. Я спрашиваю себя, что это за средневековое занятие, которому я предаюсь, когда рука моя скользит по бумаге, выводя мелкими буквами строчку за строчкой. И, остановившись, смотрю в окно, ветер качает деревья, и я пытаюсь взглянуть на себя сквозь ночь времен глазами читателя из какого-нибудь 2010 года, — если на минуту допустить химерическую мысль, что этот Дневник, начатый сорок лет назад, сумеет одолеть такое же расстояние до будущего. Будут ли тогда вообще читатели? Будут ли еще расти деревья? Абсурдные вопросы. Но вопросов неабсурдных больше не бывает... Поистине мы влачимся на встречу невообразимому. (Предисловие к Дневнику, 1969.)

¹ Все цитаты в переводе автора статьи.

Писатель Жюльен Грин был на восемь месяцев моложе Двадцатого века. Его фамилия напоминает об англо-саксонском происхождении, он сын американцев-южан. Но вырос он во Франции. Учился и воспитывался в протестантском лицее; подростком, начитавшись Паскаля, решил перейти в католичество. В первую мировую войну Грин был санитаром на фронте. После войны учился в Соединенных Штатах; хотел стать священником или художником, увлекался буддизмом и учением о переселении душ, в конце концов вернулся в лоно римской церкви. Семидесятилетним стариком он занял кресло во Французской академии, освободившееся после смерти Франсуа Мориака. Жюльен Грин написал несколько томов мемуарной прозы и множество романов, некоторые из них давно закрепили за ним репутацию классика европейской литературы XX века. Похоже, однако, что его Дневник, не менее пятнадцати томов, затмил его беллетристику.

Мысль вести Дневник была подсказана, как это часто бывает, чтением другого Дневника. Согласимся, что знаменитый Журнал братьев Эдмона и Жюля Гонкуров — одна из самых увлекательных книг французской литературы. Но эта хроника литературной и общественной жизни Парижа времен Второй империи и последующих лет была для Грина скорее отрицательным примером. В его Дневнике поразительно мало «исторических» реалий, общество смутно вырисовывается на заднем плане; перед нами документ внутренней, а не внешней жизни. Дневник Грина — это нескончаемая песнь одиночества. В лучшем случае — одиночества перед лицом Творца.

Минувшей ночью я стоял один на лужайке в саду, было холодно, я вперялся в черное небо — тысячи сверкающих звезд. Я был весь охвачен — со мной это случается — восторгом и тревогой, сам не знаю почему; и мне почудилось, что молчаливый голос произнес: зачем искать в глубинах неба то, что в тебе самом?.. (7 августа 1956 г.)

Ровная и непоколебимая вера в Бога — такой же неблагоприятный материал для художественной прозы, как и счастливая любовь. Великие книги настояны на сомнениях и невзгодах, темных порывах, страстях и отчаянии. О Грине можно сказать то же, что сказал о себе Мориак: *catholique et romancier, mais non pas romancier catholique* (католик и романист, но не романист-католик).

Смысл этих слов, возможно, состоит в том, что человек, чей духовный мир непредставим вне религии, становясь писателем, погружается в магму жизни, над которой религия не властна. Нужно отдать себе отчет в том, что творчество не есть «путь к Богу». Искусство не обещает прозрения, не склоняет к обращению или чему-нибудь в этом роде, ро-

маны пишущего католика — отнюдь не душеполезное чтение. Искусство съезживается, едва только в книге появляется отдаленное подобие указующего перста. Невозможно, оставаясь художником, служить Богу в общепринятом церковном смысле — или придется перестать быть художником; таково первое противоречие, с которым принужден жить врывающийся писатель.

Но Дневник! В своих записях Жюльен Грин, которому мысль о глубокой греховности искусства — мысль русских писателей, мысль Гоголя и Толстого — в общем-то чужда, предстает человеком, чей ум и совесть одолевают другие сомнения. Сомнение в истинности веры: было время в жизни писателя, когда он вообще порвал с Богом. Невозможность примирить реальный мир со сверхреальным. Грин сравнивает себя с человеком в лодке; уплывая все дальше в океан, он не может отвести взгляд от земли. Центральный мотив Дневника — вечное как мир противостояние духа и плоти. Точка короткого замыкания — жизнь пола. Диарист цитирует пятую главу Марка, где говорится о бесноватом, который жил в гробах и вышел навстречу Иисусу, когда тот причалил к берегу Тивериадского моря. «Эти гробы — это моя память, кладбище запрещенных радостей».

И мы как будто догадываемся, о чем конкретно идет речь. Мальчику-лицеисту, взрослому человеку и, наконец, старику искушения плоти, которым он подвержен в сильнейшей степени и которым не в силах противостоять, кажутся вратами гибели. Довольно часто разговор идет о гомоэротизме, осознанном достаточно рано (об этом можно судить по небольшому автобиографическому роману «Другой сон»). Постепенно борьба с демоном принимает сверхценный характер; Грин мечтает стать отшельником, святым; необычайно сильное чувство жизни порождает желание бежать от жизни.

Этой ночью, когда я собирался потушить свет — было около двенадцати,— в дверь постучались. Семь ударов. Резкие, отрывистые. Я встал и спросил: кто там? Никакого ответа. Как ни странно, это меня ничуть не испугало. Я подождал, потом пошел открывать — никого не было.

Начинаю новую тетрадь... Для меня это всегда некое событие, и причина его — мистическая белизна чистых, еще не исписанных страниц, которые, кто знает, может, так и останутся белыми. А так как эта тетрадь совершенно такая же, как и та, первая, в 1928 году, — у меня странное искушение писать так, словно жизнь начинается сызнова...

Все эти дни я недомогаю. Я чувствую себя, как орех в щипцах, которые медленно сжимаются... О beata solitudo, блаженное одиночество! Как тяжело его переносить. Десять часов, в доме никого

нет. А мне хочется слышать голоса, разговоры, смех, шаги в соседних комнатах,— лишь в кабинете, где я работаю, я хочу быть один. Это оттого, что я вырос в большой семье. Нас было восемь или десять, бесконечная болтовня, пение; и вот теперь эта тишина. Мне нужны эти отсутствующие и чтобы кто-нибудь меня искал... (27 сентября 1962 г.; 13 марта 1963 г.)

2

Литературный жанр, который представляет собой протест против литературы с ее жанрами и приемами; протест против самой сути художественного творчества — его условной, игровой природы. Вот что такое Дневник, который ведет писатель.

Дело в том, что он больше не хочет быть писателем. Ему надоело играть в прятки, надоело толкаться среди вымышленных героев, в искусственной, изобретенной среде, он хочет вернуться к самому себе, как хозяйке хочется уйти от гостей в соседнюю комнату и посидеть там одной. В самом деле, в Дневнике писатель намерен быть только самим собою. Он возвращается к собственной личности, если угодно — пытается убедить себя в том, что он существует как личность; он решил быть правдивым до конца, но не в том смысле, который имеют в виду, говоря о правде искусства, а в буквальном смысле: правдивым перед самим собой.

Теперь он пишет не для других — для себя. И все же рано или поздно встает вопрос о публикации. Такая мысль не может не прийти в голову писателю Дневника — на то он и писатель. Допустим, он ее отвергает. Он отнюдь не намерен разоблачаться перед читателями, «снять штаны со своей стыдливости», как выразился однажды Мопассан. И, однако, независимо от намерений автора, подчас против его воли интимные заметки приобретают статус литературного текста; писатель убеждается, что извечный парадокс и проклятие литературного ремесла не минуют его и теперь: под его пером все становится литературой.

Как если бы он уподобился фригийскому царю Мидасу: все, что он берет в руки, превращается в золото. Как если бы балерина с ужасом обнаружила, что она не может ходить нормальной походкой: каждый шаг — танцевальное па. С ужасом, потому что писатель чувствует, что литература его обманывает, обыгрывает. «Ведь я сочинитель,— сказано у Блока,— человек, называющий все по имени, отрицающий аромат у живого цветка».

Привычка распоряжаться языком как материалом, отбирать слова и строить фразу подводит писателя, ведь он собирался просто фиксировать свои мысли, чувства, впечатления, старался всего лишь не грешить против истины. Что такое истина? Разве чернила

или удары клавиш не действуют на нее, как кислота на белок, разве литературная запись не денатурирует действительность, подобно тому как присутствие наблюдателя в физическом опыте искажает то, что предстоит наблюдать?

Он хотел уйти к себе, но и там его подстерегает словесность. Он полагал, что остался наедине с самим собой, допустим, что так оно и есть,— но вдумайтесь в двусмысленность этого выражения: наедине с собой. Дневник адресован тому, кто его пишет. Дневник — двойник. «Спокойной ночи, г-н Музиль»,— этой фразой поздно вечером Роберт Музиль заканчивает свой день. Фраза написана дважды. Как эхо, живущее вне того, кто его породил, отзывается голос второго «я».

3

Ради чего, собственно, пишется Дневник? Для кого?

Мы сказали: сочинитель не может не думать о публикации. Во всяком случае, не может не считаться с вероятностью того, что Дневник будет обнародован посмертно. Диарист принимает превентивные меры. Стопки тетрадей запираются на ключ, папки, облепленные сургучом, отправляются в банковский сейф. Не вскрывать, не читать, не печатать прежде такого-то срока. Завещания в этом роде выражают двойственное отношение писателя к своему внебрачному детищу. Он знает: Дневник имеет сверхличную ценность. Если не сам автор, то его наследники, издатели, литературоведы когда-нибудь предадут гласности эти тайные письма.

Хотел ли он этого? Есть только один способ предотвратить посмертную публикацию — или способ превозмочь искушение самому опубликовать Дневник. Незадолго до смерти Александр Блок предал огню значительную часть личных записей. Томас Манн спалил в печке для сжигания мусора на участке позади виллы в Pacific Palisades добрых полсотни коленкорových тетрадей. Жюльен Грин, регулярно выпускавший в свет томы своих дневников, сделал исключение для самых ранних записей: они уничтожены.

Вопрос, поставленный выше, задает себе сам диарист, но едва ли он сможет дать однозначный ответ. Эротика писания Дневника не всегда ясна ему самому. Дневник порожден нарциссической тягой разглядывать себя; Дневник есть особая разновидность самоудовлетворения. Дневник отвечает потребности, заложенной в глубинах личности: выразить себя, запомнить себя, остановить поток своей жизни, оставить следы своего существования. Дневник подобен страсти фотографироваться. Дневник — своего рода позиционная война со смертью, с ежедневным отмиранием.

Дневник ведут для себя, только для себя. Это исповедь перед самим собой, бегство в собственный мир, документ самоанализа, саморазоблачения, самомучительства, самоупоения; писание Дневника напоминает хождение голым в запертой квартире.

Дневник писателя — это его мастерская. Здесь намечаются планы, фиксируются этапы работы. Сюда заносятся сюжеты и наброски. Регулярная дань литературе. (Слово *diarium* первоначально означало ежедневный рацион римского легионера, а также раба.)

Дневник — это другое «я», двойник и соглядатай, и немой собеседник, которому можно поверить все тайны, на которого хочется взвалить все тяготы, все неудачи, все разочарования, всю вину и ответственность; Дневник, подобно наркотику, есть способ освободиться от самого себя.

Но верно и противоположное: Дневник ведут не столько для себя, сколько для других. Дневник похож на любовное письмо: сказать все в лицо, признаться прямо в своих чувствах невозможно, а на бумаге язык развязывается. Письмо, присланное с того света. В Дневнике можно поведать близким обо всем; покойнику все разрешается. Призрак Банко на пиру у живых — посмертно опубликованный Дневник.

Дневник пишется для современников. Дневник есть орудие мести, особый и коварный метод сведения счетов. Дневник пишется для историков, для будущих биографов, для авторов диссертаций.

Печальная доля — так сложно,
Так трудно и празднично жить,
И стать достояньем доцента,
И критиков новых плодить¹.

В зависимости от того, какому из этих ответов отдано предпочтение, можно было бы выстроить классификацию писательских дневников. Дневник-исповедь; Дневник — хроника собственной жизни, светской жизни, литературной жизни, политических событий или чего угодно; Дневник — литературная лаборатория; наконец, Дневник как самоцель, как дело жизни и основной род творчества.

4

Тетради, хранившиеся в кабинете Томаса Манна, в доме на Пошингер-штрассе в Мюнхене, должен был переправить за границу младший сын писателя Готфрид (Голо), но шофер семьи Маннов который давно уже доносил на своих хозяев, вместо того чтобы доста-

¹ А.Блок

вить чемодан с бумагами на вокзал, отвез его в управление гестапо. Умелому адвокату удалось выручить Дневник, после чего он был тайком вывезен в Швейцарию.

В июне 1944 г., в эмиграции, Дневник, как уже говорилось, был уничтожен. Свидетелем аутодафе был тот же Голо. И все же кое-что сохранилось.

Это «кое-что» — четыре толстых пакета, перевязанных шпагатом. Три пакета были запечатаны красным сургучом и надписаны: Daily notes from 1933–1951, without literary value, but not to be opened by anybody before 20 years after my death («Дневниковые записи 1933–1951 гг., литературной ценности не имеют, никому не вскрывать ранее чем через 20 лет после моей смерти»). Вместо цифры 20 сперва стояло 25. Надпись рукой Томаса Манна сделана в июне 1952 г., когда супруги Манн переселились из Америки в Швейцарию; пакеты сданы на хранение в швейцарский банк. Четвертый пакет, с записями 1952–1955 гг., был упакован и запечатан Эрикой Манн после смерти отца и тоже снабжен пометкой: «Личный Дневник, без литературной ценности. Согласно воле Томаса Манна, вскрыть после 12 августа 1975 г.». Что и было сделано в двадцатую годовщину смерти великого романиста.

В четырех пачках обнаружилось тридцать две тетради, свыше пяти тысяч рукописных страниц. Кроме того, нашлось еще четыре тетради с записями 1918–1921 гг. Ныне, в печатном виде, Дневник Томаса Манна представляет собой солидное многотомное издание, в свою очередь, поразившее целую литературу.

Неопределенная, неуверенная жизнь на колесах, в виду враждебно-настороженной, коварной, грозящей бедами родины,— продолжается. В шесть вечера прибыли в Лугано... Симпатичная гостиница, хозяйство ведется в наивно-итальянском стиле, но меня угнетает недостаток комфорта, мелкие неудобства. Нервы напряжены. Первый вечер провели у Германа Гессе. В номере скверная постель, нет горячей воды...

Побрился, переоделся, обед в столовой, общество спокойное и ненавязчивое. Дамы, старики. Форель, фазан, неплохое вино. Затем с Фульдой в салоне для игр, сигары, многочасовой разговор о неслыханной, жуткой ситуации в Академии литературы. Фульде 71 год, еврей, совершенно сломен. Облегчение после беседы с ним. Дал ему прощальную статью о Вагнере. Нескончаемые толки о преступном и омерзительном безумии в Германии, об этих патологических садистах — новых правителях... Подлая и гротескная липа о поджоге рейхстага... (27 марта 1933 г.)

Перед обедом начал писать д-ра Фауста. (23 мая 1943 г.)

Ясная погода. Сегодня в половине двенадцатого дописал последние слова «Доктора Фаустуса». Все-таки — событие... Прогулка вдоль всей Амальфи-драйв. Катя поздравила меня. Основания? Признаю за собой по крайней мере моральное достижение. Почты почти не было... Ужин с шампанским: Вдова Клико. «Зимняя дорога» Шуберта. Очень устал, переволновался. (29 января 1947 г.)

«Литературной ценности не имеют». Это значило, что речь идет о заметках, свободных от какой бы то ни было беллетризации. Конечно, и такой Дневник оказывается продолжением традиции: ближайшим образцом служат эфемериды (поденные записи) Гёте.

В отличие от писем, к которым Томас Манн очевидным образом относился как к литературным текстам, Дневник не был предназначен для посторонних глаз. Конечно, писатель, зная себе цену, прекрасно понимал, что все, что вышло из-под его пера, со временем станет достоянием литературоведов, историков, критиков, просто читателей. И все же его ежедневные записи, действительно, не литературный документ. Ничего похожего на обстоятельный, текущий, изощренный, величественно-иронический и многосмысленный слог его романов и эссе. Совсем другое дело — Дневник. Короткие сухие пометки, подчас из одних назывных предложений. Педантизм ежедневных сообщений о погоде и здоровье. Жалобы старого ипохондрика, вечно одно и то же: плохо спал, глотал снотворное, утомлен, скверная погода. После обеда гулял. И, наконец, — писал... Читаешь и думаешь — счастливый человек. Прекрасно налаженный немецкий бюргерский быт. Книжки, музыка, друзья; жена, взявшая на себя повседневные заботы; благословенная возможность работать, целиком отдаться своему призванию. Даже в изгнании, когда огромное большинство беженцев из Германии с трудом сводило концы с концами, он вел обеспеченную жизнь.

Но когда вчитываешься в эти дневники, когда расшифровываешь лаконичные признания, вкрапленные там и сям, процеженные сквозь зубы, то видишь, что это благополучие было роскошной кулисой, позади которой шла необыкновенно сложная, смутная, подчас мучительная жизнь. Начинаешь понимать, почему в ранней новелле «Смерть в Венеции» Томас Манн сделал своего героя писателем, чей девиз был — выстоять. Выстоять, продержаться во что бы то ни стало, вытерпеть свою жизнь и вопреки всему, вопреки жестокому веку, вопреки разочарованиям, депрессиям, физической слабости и старости, которая уже на пороге, — делать свое дело.

Первое вышедшее в свет в 1920 г. произведение Эрнста Юнгера «В стальных грозах» было снабжено подзаголовком: «Из дневника командира ударного подразделения». Всю войну, в окопах и госпиталях, автор вел дневниковые записи. Позже, по совету отца, он обработал их и выпустил в виде книги.

Дневник остался центральным жанром этого писателя. Восемнадцатилетний волонтер первой мировой войны, отчаянный храбрец, удостоенный высших военных наград и встретивший перемирие 1918 г. в госпитале после четырнадцатого по счету ранения, агрессивно-националистический публицист 20-х гг., путешественник, энтомолог, офицер вермахта, близко связанный с участниками антигитлеровского заговора 20 июля, философ, эссеист, романист, классик немецкого языка, Юнгер был живым свидетелем трех эпох европейской истории. Он говорил, что намерен прожить в трех веках. Ему у оставалось меньше трех лет до нового тысячелетия: он умер в феврале 1998 г., не дожив одного месяца до ста трех лет. Но слова о трех столетиях намекали и на некоторую экстемпоральность; мифологическое число «три» указывает на это стремление подняться над временем; он хотел жить в вечно длящемся настоящем; и Дневник был для него инструментом преобразования актуальности в некий неиссякающий полдень.

Мой внутренний политический мир похож на часовой механизм, где колеса движутся одно другому навстречу и как бы вопреки другу другу; я и южанин, и северянин, и немец, и европеец, и космополит. Но на моём циферблате стоит полдень, когда стрелки сходятся.

Юнгер вел свои записи чуть ли не до последнего дня. Сгруппированные в книги, они носят разные названия: «Авантюрное сердце», «Листы и камни», «Сады и улицы», «Первый парижский дневник», «Заметки с Кавказа», «Второй парижский дневник»... К ним примыкают многочисленные путевые записки. Завершение этого монумента европейской диаристики — пятитомный цикл «Семьдесят — мимо», где можно найти такое высказывание:

К числу моих добрых дел, возможно, принадлежит то, что я кого-то вдохновил вести дневник. Дневник всегда представляет двойную ценность — историческую и личную. Вдобавок он удовлетворяет внутреннюю потребность обозначить путь. Здесь присутствует и нечто сакральное: человек — наедине с собой. Хорошо, когда писать дневник начинают рано, еще лучше — когда доводят его до конца, до самой смерти.

В Дневнике Юнгера намеренно стерта грань между хроникой жизни и литературой (точнее, эссеистикой). Записи накапливаются, обрабатываются, отшлифовываются и выпускаются в виде отдельных законченных произведений. В результате Дневник, оставаясь документом биографии писателя, теряет всякие следы интимности, непосредственности, теплоты. Невозможно не заметить холодную отстраненность заметок Юнгера. Взамен утраченной спонтанности Дневник обретает иное качество: он становится произведением искусства, образцом литературного стиля.

Еще одна запись, относящаяся к тридцатым годам, — описание сна. Страничка, которая прочитывается как недвусмысленное свидетельство отношения этого воина-эстета к нацизму, чей приход Юнгер накликал — отрицать это невозможно — в определенную пору своей жизни.

Я сидел в большом кафе, играл оркестр, вокруг скучали хорошо одетые посетители. Мне понадобилось вымыть руки, я вышел через дверь, занавешенную красным бархатом, в заднее помещение, но заблудился в коридорах и на лестницах, и в конце концов очутился в другом крыле здания, в элегантно убранных, но запущенных покоях... Очевидно, там шли работы, в углу медленно поворачивалось колесо с трансмиссией, раздувались и опадали кузнечные мехи. Выглянув в пыльное окно, я увидел заросший, одичавший сад. Там было что-то вроде кузницы: при каждом движении мехов сноп искр вылетал из горящих углей, на которых лежали раскаленные, диковинного вида инструменты; каждый поворот колеса приводил в движение какие-то странные механизмы. На моих глазах сюда приволокли из кафе двух человек, мужчину и женщину, и стали срывать с них одежду. Они отбивались, и я подумал: «Пожалуй, они еще могут откупиться, пока у них есть дорогие вещи...» Мне удалось незаметно ретироваться, я вернулся в кафе. Сел за свой столик, но оркестранты, кельнеры, красивое убранство предстали передо мной уже в другом свете. Я понял, что гости испытывали не скуку, а страх.

6

В дни, когда телевидение и печать комментировали известие о кончине 103-летнего Юнгера, одна швейцарская газета поместила отрывки из Записной книжки знаменитого романиста и драматурга Макса Фриша. Дневник Фриша был напечатан еще при его жизни; Записная книжка в значительной части остается неопубликованной.

Запись о Юнгере датирована июлем 1949 г.: Фриш размышляет о соотношении между творчеством и диаристикой.

Читал дальше его Дневник; этот человек, думается мне, так умен, порой прямо-таки прозорлив, он так много видит,— если бы только он не был таким ловкачом, если бы не наводило такую скуку его чванство, отдающее садистическим сладострастием... Слишком многое здесь щекочет читателей, одержимых языческим страхом, как бы не оказаться мещанами; молитвенник для бургеров, ставших вояками, чтобы не быть бургерами. Война как приключение буржуа...

Но буду читать дальше.

Форма Дневника: даже когда имеешь дело с мастерами этой формы, а к ним можно отнести и самых серьезных писателей нашего времени, задаешь себе вопрос: а что они вообще-то делают, кроме того, что пишут Дневник? Если за ним стоит какой-то другой творческий труд, стихи или какое-нибудь дело, тогда все в порядке; если же человек ничего другого не выдает, только свой Дневник, пусть даже этот Дневник — вершина мастерства, то тогда все, для чего предназначена дневниковая форма — заметки по ходу дела, мысли, наброски,— все остается, если оно не подкреплено свершениями другого рода, чем-то неполноценным, чем-то свидетельствующим о немощи; врач, делающий свое дело, или художник, занятый своим искусством — хорошим или плохим, не важно, или Марко Поло, который ведет путевые записки, или Дон-Жуан, когда он рассуждает о женщинах, или узник, которого обрекли на безделье,— все они могут стать настоящими, подлинными авторами Дневника; ибо мы чувствуем, что они делают и кое-что другое, что они не только писатели дневников, но и еще что-то; они встают утром с постели не ради того, чтобы царапать Дневник, и едут в Париж или в Афины не за тем, чтобы сделать очередную запись; прежде всего они живут, а жить — значит действовать; их Дневник — это вехи пути, и вехи ставятся не ради того, чтобы о них написать в Дневнике; другое дело, что для нас этот Дневник может оказаться важней, чем все, что они сделали; но зато в нем есть подлинность, а иначе он непереносим: писатель, который способен только на одну форму, только и может, что писать Дневник,— это все равно что писатель без произведений, человек без жизни; и не случайно Юнгер, о чем бы он ни рассуждал, всегда появляется в офицерской шинели, в ней он чувствует себя всего вольготней — ведь тогда и он, и читатель будут знать, что для другой литературной формы, кроме Дневника, у него просто не было времени.

...Но я спрашиваю себя, действительно ли Юнгер — солдат, действительно ли солдатовство принадлежит к его сущности, как он это демонстрирует всю свою жизнь,— или оно лишь повод, подмена и отговорка, а по-настоящему он создан, чтобы писать Дневник; без своего мундира — и он это знает — он был бы писателем без произведений.

Тот, кому принадлежат эти строки, сам был автором много-
томного Дневника, обрабатывал и регулярно печатал свои записи.
Не упрекает ли он заодно с Юнгером и себя?

7

Внебрачное дитя романиста становится законным, когда оно выхо-
дит в свет и занимает свое место в собрании сочинений, бок о бок с его
прозой. Но иногда, как мы видели, дело обстоит наоборот, беллетри-
стика выглядит чем-то побочным по отношению к Дневнику, делу всей
жизни. Дневник, — мы не говорим о стилизациях в собственном смыс-
ле, о заведомо фиктивных дневниках, повестях, написанных в дневни-
ковой форме, или о таком своеобразном произведении, как «Дневник
соблазнителья» Сёрена Кьеркегора, — Дневник не «сочиняют». Дневник
«пишут». Но любое писательство для писателя более или менее при-
ближается к сочинительству. Дневник, ничего не попишешь, есть ква-
зилитературный жанр. Сама биография литератора со временем стано-
вится — и с этим тоже ничего не поделаешь — органической частью его
творчества. Вся жизнь начинает выглядеть как функция литературы, и
можно в конце концов сказать, что не писатель сотворил свои тексты, а
тексты — рукописи и книги — сочинили писателя.

Русская литература знает Дневник Льва Толстого (даже два Днев-
ника: один полуофициальный, другой сугубо интимный); окололитера-
турный Дневник цензора А. В. Никитенко и Дневник редактора и вла-
дельца «Нового времени» А.С. Суворина; уничтоженный Чернышев-
ским интереснейший Дневник Добролюбова — от него сохранились об-
рывки; многочисленные дневники Серебряного века. И все же длитель-
ное и регулярное ведение Дневника мало характерно для русского писа-
теля. Во всяком случае, тот тип diarиста, о котором говорилось выше,
писателя, который видит в Дневнике легитимный литературный про-
дукт, готовит его к печати, подчас относится к нему как к главному сво-
ему труду и рассчитывает на такое же отношение читателей, чужд на-
шей литературе.

Может быть, это связано с особым свойством отечественной клас-
сики XIX века, которое отметил Эрих Ауэрбах, автор известной книги
«Мимесис», — непосредственностью восприятия жизни. Представление
о литературном творчестве как о некотором виде лицедейства, как о вы-
сокой игре, опосредованное отношение к литературе, столь обычная для
западноевропейского писателя рефлексия о себе и своем творчестве, по-
требность самоидентификации и «самофиксации» к русской традиции
не привились.

Это особо относится к Дневнику, который собираются публиковать.
Дневник в том роде, какой мы встречаем у Жюльена Грина, Андре Жида

или Эрнста Юнгера, Дневник, написанный как бы для себя, но, как выясняется, не только для себя, — русской литературе, в сущности, неизвестен. Если оставить в стороне Василия Розанова, чьи книги — «Уединенное», «Опавшие листья», «Мимолетное», пожалуй, и «Апокалипсис нашего времени», хотя и напоминают Дневник, но скорее представляют собой приближение к нему с противоположной стороны: не Дневник, который становится литературой, а литература, которая хочет стать Дневником, выскочить из самой себя, стать «до-литературой», хочет оставаться мыслью, пока мысль еще не успела остыть и превратиться, по слову Тютчева, в «ложь»; итак, если не говорить о Розанове и его подражателях, то придется признать, что для русских писателей всегда существовал водораздел между литературой и диаристикой. Литература — это *Dichtung*; Дневник — *Wahrheit*, документ, первичность которого не терпит обработки и усовершенствования. Не то чтобы писатель в России был менее склонен вести хронику своих трудов и дней. Но Дневник как продукт вторичной литературной рефлексии, как тайная комната, куда удаляются, чтобы заняться самим собой, как средство самопознания, вольно или невольно облачаемое в литературную форму, Дневник, над которым сидят, как над романом, отшлифованный и врученный читателю в качестве литературного произведения *sui generis*, фиктивный в своей подлинности и откровенный настолько, насколько вообще может быть откровенной изящная литература, — нет, в этой игре есть нечто поистине игрушечное, недостойное высшей миссии писателя — воплощённой совести народа, наставника и учителя жизни.

8

Незачем в подробностях объяснять, почему советская литература радикально покончила с легальной диаристикой. Интимный самоанализ не вяжется с правилами и «установками», обязательными для писателя, несовместим с самой природой этой литературы. Вести Дневник в этих условиях значит подвергать себя риску; заниматься подобным делом можно лишь под покровом тайны (многолетние обширные записи Михаила Пришвина, Дневник Корнея Чуковского). Как всякий интимный документ, как свидетельство пагубного «копания в своей душонке», Дневник писателя заведомо предосудителен. Как все недозволенное, он крамолен. Найденный при обыске, он становится уликой, слугит орудием шантажа.

Разумеется, не может быть и речи о том, чтобы его напечатать: Дневник не достоин гласности уже потому, что представляет собой личный документ; все личное потенциально является более или менее антигосударственным. Но даже если вообразить «публикабельный» Дневник — мы тотчас заметили бы, что автор подверг его внут-

ренной цензуре, опередив все цензурные инстанции. Впрочем, типичного советского писателя как-то даже трудно представить в роли diarиста. Он привык изображать из себя представителя общественности, народа, партии, чего угодно — и отвык быть самим собой. Культура дневников вымирает оттого, что она вольно или невольно противостоит режиму, оттого, что вымирает культура рефлексии, самоуглубления, индивидуализма, духовного суверенитета, независимой мысли.

Дневник Юрия Марковича Нагибина — одно из немногих исключений, на свой лад подтверждающих сказанное; правда, книга появилась уже после крушения советского строя. Вместе с тем Нагибин — писатель советской выделки; тем замечательней его Дневник.

Первые записи сделаны на фронте; они немногочисленны и малоинтересны, присутствие внутреннего цензора слишком дает себя знать. Возобновленный через три года после войны, Дневник (по крайней мере, в напечатанной части) доведен до 1986 г. Нагибин умер летом 1994 г.; перед смертью он подготовил Дневник для публикации. В предисловии к книге он называет его полумемуарами, имея в виду обработанный, литературный характер своих записей. Тем не менее редакция не лишила Дневник подлинности; напротив.

Дневник обнаруживает человека литературы, писателя до мозга костей. Все, что он пишет, — литература. Другими словами, он так или иначе отчуждается от самого себя и всегда видит перед собой читателя, даже если единственный читатель — он сам. В предисловии говорится об искренности и беспощадности к самому себе; так оно и есть: пожалуй, он в самом деле искренен — в том смысле, как говорит о себе персонаж «Фальшивомонетчиков» Андре Жида, писатель Эдуард, который пишет роман «Фальшивомонетки» и ведет дневник: «Искренность! да я только о ней и думаю. Но когда я оглядываюсь на самого себя, то перестаю понимать, что значит это слово. Я всегда то, чем воображаю себя...»

Литературная одаренность Юрия Нагибина превратила его в персонаж произведения под названием «Дневник». Может быть, это лучшее из всего, что он написал.

Видит Бог, не я это затеял. Она обрушилась на меня, как судьба. Позже она говорила, что все решилось в ту минуту, когда я вышел из подъезда в красной курточке, с рассеченной щекой, седой и красивый, совсем не такой, каким она ожидала меня увидеть. Я был безобразен — опухший от пьянства, соскальзывающим под глазами, тяжелыми коричневыми веками, соскальзывающим взглядом, шрам на щеке гноился. Хорошим во мне было только одно: я не притворялся, не позировал, готов был идти до конца по своей гибельной тропке.

Я долго оставался беспечен. Мне казалось, что тут-то я хорошо защищен. Уже была близость, милая и неловкая, были слова, трогательные и чуть смешные, — не мог же я всерьез пребывать в образе седого, усталого красавца, — были стихи, трогательные сильнее слов и не смешные, потому что в них я отчетливо сознавал свою условность; было то, что я понял лишь потом, — стремительно и неудержимо надвигающийся мир другого человека, и я был так же беспомощен перед этим миром, как обитатели курильского островка перед десятиметровой волной, слизнувшей их вместе с островком. (1960 г.)

Ночью пошел в лес. Полная луна размыто желтела в мутной наволочи, и тени деревьев на снежной дороге были жидкими, бледно-серыми. Полянки светлы почти дневным светом; красиво курчавы инеем ветки молодых берез. Холодный ветер не проникает сюда, в просеку. Я опустил воротник, отер надраенное морозом и ветром лицо и почувствовал, как замерзли ноги в коленях. И от этого собственного холода одуряюще сильно вспомнился холод Машинных ног, когда она приходила ко мне в Подколокольный. Она надевала чулки с круглыми резинками, верхняя часть чулка немного подворачивалась на резинку, оставляя незащищенную полоску тела. Эти чулки были мне добрым знаком, гарантией близости. И я так любил ледяной холод у нее под коленями, который долго не исчезал в тепле постели. Она была уже вся горячеей, лицо так и пылало, а на ногах оставались ледяные обручи. И как же я был тогда молод! (1962 г.)

Литературность не повредила Дневнику Нагибина, напротив, сделала его человеческим документом большой силы и убедительности; интересен он и в других отношениях. Исследователь советской литературы не обойдет вниманием эту книгу, несмотря на то, что собственно литературных проблем автор Дневника почти не касается, так называемая литературная жизнь его не интересует, скандальные отзывы о собратьях малоинформативны, сообщения о собственной работе скупы. Зато бросается в глаза черта типичного — при всей его оппозиционности — представителя этой среды.

Не то чтобы мы имели дело с саморазоблачительным документом наподобие Дневника Александра Афиногенова, драматурга, погибшего в самом начале войны, который с восторгом сообщает в записях 1938 г. о том, как его восстановили в партии, как друзья, вчера еще не замечавшие его, подбежали пожать ему руку, — и чувствуется, что он сам на их месте вел бы себя так же. Нагибин — не энтузиаст, не коммунист и не конформист; да и время другое.

Несомненно, перед нами честный писатель, который старается по возможности уклониться от участия во всеобщей и узаконенной

лжи. Не занимая важных постов, он чувствует себя аутсайдером. И, однако, остается этаблированным членом писательской иерархии. Как всякий советский литератор, он находится на содержании у государства. Но сам он этого как будто не замечает. Он ведет привилегированный образ жизни, принимая его как нечто само собой разумеющееся. Он — писатель. Никто к нему не придерется, не потребует у него отчета, почему он нигде не работает, милиция не будет преследовать его за тунеядство. Ему не нужно изо дня в день вскакивать утром ни свет ни заря, брать штурмом переполненный автобус, втискиваться в метро. Не нужно толкаться в очередях, обедать в скверных столовых, добывать по блату продукты и вещи, барахтаться посреди неустроенного быта, подобно миллионам рядовых граждан. Он писатель. У него благоустроенная городская квартира, подмосковная дача и уйма свободного времени. К его услугам дома творчества и закрытые санатории. Он может наслаждаться прогулками в лесу или отправиться на охоту куда-нибудь в Мещерский край. Может ездить за границу; в одном месте Нагибин сообщает, что посетил тридцать стран. Он государственный писатель и, не слишком жалуя государство, не задумывается над вопросом, чем оплачена эта праздная жизнь.

9

Я был молодой человек, только что написал Вареньку Олесову и «Двадцать шесть и одну», пришел к нему, а он меня спрашивает такими простыми мужицкими словами: <...> где и как (не на мешках ли) лишил невинности девушку герой рассказа «Двадцать шесть и одна». Я тогда был молод, не понимал, к чему это, и, помню, рассердился, а теперь вижу: именно, именно об этом и надо было спрашивать. О женщинах Толстой говорил розановскими горячими словами — куда Розанову! <...> Цветет в мире цветок красоты восхитительной, от которого все акафисты и легенды, и всё искусство, и всё геройство, и всё.

Двухтомный Дневник Корнея Ивановича Чуковского, опубликованный в 1991–1994 гг., должен был стать выдающимся литературным событием. К сожалению, он подвергнут редакторской цензуре. Записанный Чуковским рассказ Горького о Толстом приведен в Дневнике под 18 апреля 1919 г.; в двух местах сделаны пропуски. Дневник, главное достоинство которого — откровенность, пестрит многоточиями в угловых скобках. Вот еще несколько выбранных наугад примеров старательной работы с ножницами в руках:

Мои воспоминания о нем плохи. Надо бы написать другие: он со мной все время советовался, жениться ли ему на Книппер <...> (Рассказ Шаляпина о Чехове. 18 апреля 1919 г.)

Память у Горького выше всех его умственных способностей. Способность логически рассуждать у него мизерна, способность к научным обобщениям меньше, чем у всякого 14-летнего мальчика <...> (4 декабря 1919 г.)

Лекция о Блоке прошла оживленно. Слушали хорошо, задавали вопросы <...> (5 мая 1921 г.)

Сегодня событие: приезд Ходасевичей <...> (6 августа 1921 г.)

Вечер у Маяковского <...> (27 февраля 1923 г.)

Дневник охватывает почти семьдесят лет. По своему значению для истории русской литературы он может быть сопоставлен с Дневником цензора Никитенко. Напрашивается и сравнение с Гонкурами. Как и Журнал Гонкуров, Дневник Корнея Чуковского не является документом внутренней жизни — если не считать привычных жалоб на тяготы быта, обычного для писателя недовольства собой, сострадания к самому себе, наконец, грустно-торжественных и потрясающих предсмертных записей. Основное содержание Дневника — встречи с братьями по ремеслу, разговоры, слухи, война с редакторами, литературные сплетни, литературные нравы — все, что находится за кулисами официальной словесности. Примерно с середины 30-х годов появляются следы собственноручного вмешательства — меры на случай, если тетради попадут в чужие руки: вырезанные страницы, записи, прославляющие вождя; ни слова о страшных событиях времени, в крайнем случае — глухие намеки. Вместе с тем diarист отдает себе отчет в том, что оставляет потомству памятник большой исторической ценности.

Только ли исторической? В этой статье мы пытались внушить читателю мысль, что ценность писательских дневников не ограничена их статусом документального свидетельства. Дневник писателя — отрасль литературы. Эфемериды Чуковского снова убеждают в том, что писатель остается писателем и тогда, когда он хочет быть только самим собой. Быть «самим собой» означает для него быть писателем. Летучие силуэты, меткие наблюдения, свежесть иных пассажей в Дневнике старого Корнея не уступают его лучшим эссеистическим страницам.

По реке серенады, всеобщая ярь. Даже я, дедушка, вскочил с постели с таким возбуждением, словно мне 18 лет. Смирная плоть, выбежал голый в сад — и, кажется, кхе, кхе, простудился, лег у себя в будке — в соляриш. Но зато приобщился к красоте бессмертия. Луна,

деревья как заколдованные, изумительный узор облаков, летучая мышь, в лесочке соловей — и дивные шорохи, шепоты, шелесты, трепет лунной, сумасшедшей, чарующей ночи. И пусть меня черт возьмет — пусть я издыхающий, дряхлеющий дед, а я счастлив, что переживаю эту ночь. (10 июля 1925 г.)

10

В заключение — еще одно имя, важное для нашей темы, но малоизвестное в России. Анри-Фредерик Амьель, умерший в 1881 г. на шестидесятом году жизни, уроженец Французской Швейцарии, рано осиротел, учился в Женеве, объездил много стран. По возвращении стал профессором эстетики и французской литературы, позже занял кафедру философии; ничем особо не выделялся, писал стихи, литературно-критические этюды, еще что-то; все забыто за исключением одного стихотворения, ставшего национальным гимном франко-швейцарцев. Амьель вел замкнутый образ жизни, коллеги смотрели на него свысока, женщины разочаровались в нем, друзья считали его неудачником. Сам себя он оценивал еще ниже.

Он оказался «писателем без произведений» — говоря словами Макса Фриша. Выше мы привели рассуждение Фриша о том, что Дневник, за которым не стоит подлинное творчество, немногого стоит. Случай, о котором идет речь, опровергает этот тезис, хотя Фриш был, конечно, знаком с колоссальным наследием Амьеля. Это наследие, посмертно открытый клад, — 173 или 174 дневниковых тетради ин-кварти, 16 900 страниц.

Спасибо тебе, Дневник! Мое смятение улеглось. Я спокоен, я снова настроен миролюбиво. Только что перечитал мою тетрадь, и за разговором с самим собой незаметно прошли утренние часы... Правда, эти страницы вовсе не предназначены для чтения, я писал их, чтобы прийти в себя и создать опору для памяти. Это вехи моего прошлого, но иногда вместо вех стоят могильные кресты, надгробные памятники с медальонами, на крестах лежат камушки, кругом зеленеют кусты, и все это помогает мне отыскать тропинку в Елисейских полях души. Это мой путеводитель; и если некоторые места могли бы оказаться полезными для других, если даже я что-нибудь опубликую, то как нечто целое эти тысячи страниц представляют ценность лишь для меня одного, да еще, пожалуй, для тех, кто когда-нибудь после меня вникнет, может быть, в историю моей души, тайно жившей вдали от суеты и славы... Правда — вот единственная муза этих страниц, единое оправдание, единая цель. (16 декабря 1847 г.)

Женитьба, которая отвлекла бы тебя от твоего призвания, от твоей задачи, помешала бы тебе постоянно вглядываться в себя, короче говоря, не улучшила бы тебя,— такая женитьба дело скверное. Брак, что видится тебе как цепь, как рабство, брак, который душит тебя, ничего не стоит... (7 апреля 1850 г.)

Так скользит моя жизнь все дальше, словно кораблик, волны качают его вправо и влево, вверх-вниз, соленые брызги окатывают его, и пена стекает с бортов, он несется к берегу, и встречная волна снова относит его прочь. Такова по крайней мере жизнь сердца и страстей, та жизнь, которую осуждают Спиноза и стоики; совсем по-другому выглядит жизнь безмятежно-созерцательная, неизменная, как свет звезд... по-другому проходит и жизнь совести, где один Бог говорит и всякая личная воля смолкает перед откровением его воли. Я блуждаю между тремя видами существования, и эти шатания лишают меня преимуществ каждого из них. Сердце кипит упреками, душа не в силах подавить возжеления сердца, а совесть дичает и не может уловить в хаосе противоречивых желаний голос долга и Божьей воли... Я боюсь субъективной жизни. Всякое предприятие, всякий акт волеизъявления, всякое обещание и отказ от обещания пугают меня; я шарахаюсь прочь от любой деятельности и чувствую себя вольготно лишь в безличном, незаинтересованном, объективном мире мысли. Почему? Из робости. Откуда же эта робость? (27 июля 1855 г.)

Пол и все, что с ним связано,— моя Немезида, моя казнь с детства. То, что я так ужасно робок, стесняюсь женщин, мои дикие желания, пыл воображения, чтение дурных романов в годы отрочества и, наконец, это вечное несоответствие между жизнью в мечтах и реальностью, моя гибельная склонность отвергать естественные привычки и чувства моих сверстников... все это происходит от врожденного стыда, оттого, что я идеализирую запретный плод, короче говоря, от ложного представления о сексуальности... Думаю, что это одна из ран нашего поколения. Вся физическая жизнь женщины вращается вокруг этого пункта; да и жизнь мужчины тоже, хоть и не столь очевидно; что тут удивительного?

Но тот, кто не в состоянии ни производить, ни воспроизводить, тот не живет. (25 февраля 1861 г.)

В предисловии к вышедшему в 1894 г. первому (и, кажется, последнему) русскому переводу избранных отрывков из *Journal intime* Амьеля, выполненному дочерью Льва Толстого Марией Львовной, Толстой писал

об авторе Дневника, что вся его жизнь была охотой за Богом; следить за этими поисками тем более поучительно, что они никогда не кончаются. С этим суждением можно согласиться, можно почувствовать и его недостаточность. Очевидно, что Дневник Амьеля есть прежде всего свидетельство отчаянной погони за своей тенью, неутолимого любопытства к собственной личности, вечно неудовлетворенной страсти познать себя. То, что эта страсть захватывает читателя, — верный признак литературной удачи.

В ряду писателей-диаристов, тех, для кого Дневник был частью литературы и понемногу оттеснял литературу, Амьель помещается на крайнем фланге. От его «литературы» вообще ничего не осталось. В записях он без конца упрекает себя в безволии; Дневник демонстрирует железную волю к самоосуществлению на бумаге. Корит себя за неспособность что-либо делать; Дневник — его деяние. Писатель без произведений, сказали мы. Но Дневник — это и есть его единственное Произведение. Бессмертный труд, в который он вложил весь свой оказавшийся столь недюжинным — к удивлению ничего не подозревавших современников — литературный дар. Амьель стал классиком дневниковой прозы, титул не менее почетный, чем звание классика художественной прозы. И о нем можно сказать, что он вел Дневник не для того, чтобы увековечить события своей жизни, но жил для того, чтобы писать Дневник.

Безумие второго порядка: Юнгер и Бенн

Бывают времена — мы их помним, — когда одно лишь то, что ты остался цел и невредим, бросает на тебя тень.

Среди множества немецких писателей, покинувших страну после переворота 1933 года; среди тех, кто не успел эмигрировать и был умерщвлен; среди тех, чьи имена были прокляты, книги сожжены на площадях университетских городов, — отсутствуют два крупных имени: Эрнст Юнгер и Готфрид Бенн. О них написано очень много, оба давно признаны классиками, но редкая книга или статья о них обходится без того, чтобы задаться вопросом, каковы были их отношения с националсоциализмом. С пресловутым новым порядком, который они отчасти приняли, отчасти презирали и пытались игнорировать, между тем как речь идёт о режиме, с которым, как писал Альбер Камю, можно либо воевать, либо сотрудничать — середины нет. Нечего и говорить о том, что вопрос этот, поставленный в более общей форме, для русского культурного читателя болезненно актуален, как бы ни старались от него отмахнуться. Ни с какой другой страной история минувшего века не соединила Россию, — чтобы не сказать: породнила, — так прочно, как с Германией.

Существует близость обеих стран, не только географическая, при том что трудно найти два других столь разных народа. Существует давно обративший на себя внимание параллелизм духовного и политического развития, запоздалого здесь и там, сходство «русской идеи» и немецкого национализма, сперва голубого, затем багрового, сходство наркотически-чарующего почвенничества. Это всё та же «мечта о прекращении истории» (Мандельштам) и тяга назад, к Средним векам, эротическое влечение к народу, в женственно-тёмную глубину, общее для обеих традиций откращивание от эгалитарного прогресса, от соблазнов западной цивилизации. Тоска по утопии — и там, и здесь. И убийственный итог: общий опыт тоталитаризма.

Биография писателя как документально-литературный жанр складывается из трёх компонентов. Три системы координат — жизнь, творчество, эпоха — описывают пространство, в котором, как голограмма, возникает образ человека и литератора, более или менее правдоподобный, более или менее фиктивный.

Две монографии, вышедшие одна за другой, — «Готфрид Бенн. Жизнь — низшее безумие» Ф. Раддаца и «Эрнст Юнгер. Биография» П.Ноака — демонстрируют два разных подхода к этому жанру. Фриц Раддац, романист, публицист, автор известного в Германии жизнеописания Гейне, следует методу, который можно назвать собственно биографическим: мы следим за событиями жизни героя. Творчество выглядит скорее как антитеза жизни, как некое «высшее (по отношению к жизни) безумие». Исторический фон предполагается известным и намечен пунктиром. Центральный мотив книги подсказан самим Бенном: Doppelleben (название автобиографической прозы, частично созданной во время войны, вышедшей в свет в 1956 г.). Под «двойной жизнью» подразумевается не конформизм, не политическая мимикрия и двоемыслие; двойная жизнь — это одинокое существование художника в современном мире: присутствие и отсутствие.

Иначе построена книга профессора политических наук Пауля Ноака, где биографические главы чередуются с тем, что автор называет «замедленной киносъёмкой», с перекрывающими хронологию экскурсами в закулисную жизнь писателя; завершает повествование итоговый портрет: кем был, как выглядел, как вёл себя этот загадочно-недоступный, холодный визионер, рассудочный мечтатель, аристократ духа и человек действия, воин-эстет, авантюрист, «ледяной сластолюбец варварства», как назвал его однажды Томас Манн. Юнгер скончался, не дожив нескольких недель до своего 103-летия; он был участником двух мировых войн и свидетелем нескольких революций, при нём сменилось в Германии четыре политических режима. Немудрено, что этому фону уделено много внимания.

Сочинения Эрнста Юнгера выходят в последнее время на русском языке. Готфрид Бенн остаётся в России малоизвестен. Рафинированная эссеистика Бенна требует чрезвычайно высокой квалификации переводчиков — таких людей осталось немного; что касается его поэзии, то ранние стихи, пожалуй, легче поддаются переложению, чем созданные в 30-х годах и после войны — лучшее, что он оставил. (Несколько высококачественных стихотворных переложений принадлежат А.Карельскому и Б.Чулкову.)

Бенн родился в 1886 году, он был сыном протестантского священника, как Ницше, Гессе, Юнг, Альберт Швейцер (замечено, что многие выдающиеся умы немецкоязычного региона — питомцы пасторских семей). Окончил военно-медицинскую академию, пробыл немного в армии, много лет был частнопрактикующим врачом-дерматовенерологом в Берлине. Он дебютировал в начале десятых годов эпатирующими экспрессионистскими стихами, главная тема которых — изнанка работы врача, преимущественно хирурга и патологоанатома: антиэстетика страдающего, обреченного распаду человеческого естества. На рубеже тридцатых годов Бенн был известен и ценим в литературных кругах. Никто не ожидал, что произойдёт с ним весной 1933 года.

В мае Бенн, прежде сторонившийся политики, прочёл по берлинскому радио «Ответ литературным эмигрантам» (фактически — Клаусу Манну). Стоит привести несколько пассажей из этой речи (перевод автора статьи).

«Вы пишете мне, находясь неподалёку от Марселя. Вы, молодые немцы, бывшие мои почитатели, а ныне беглецы, отсиживаетесь у тёплого моря или в гостиницах Цюриха, Праги, Парижа. Из газет вы узнали, что я заявил о своих симпатиях к новому режиму, что я готов как член Академии искусств принять участие в новой культурной политике... Вы спрашиваете, что заставило меня, чьё имя было для вас эталоном высочайшего уровня и почти фанатической чистоты, примкнуть к тем, кому вся остальная Европа отказывает в этих качествах... Итак, выслушайте меня».

«Прежде всего я должен сказать, что о процессах, идущих сейчас в Германии, можно говорить только с теми, кто пережил их вместе со своей страной, кто жил этими событиями ежечасно изо дня в день... С теми, кто удрал за границу, разговаривать невозможно. Вы упустили возможность прочувствовать понятие народа, столь чуждое вам, постичь смысл понятия национального, которое вы так высокомерно третируете; упустили случай узреть воочию формообразующую, порой трагическую, но всегда судьбоносную поступь истории. Как вы себе вообще представляете ход истории? Думается мне, вы лучше бы поняли происходящее, если бы не смотрели на историю как на банковский счёт, предъявляемый творению вашими буржуазными мозгами, вашим либеральным девят-

надцатым веком. История ничем вам не обязана, зато вы ей обязаны всем, история не знает вашей демократии, вашего рационализма, и нет у неё иного метода, иного стиля, как только высвободить в решающие минуты новый тип человека из неисчерпаемого лона расы...»

И так далее. Кое-что в этой диатрибе может напомнить упрёки тех, кто остался в Советском Союзе, нам, покинувшим отечество. Говорить с эмигрантами не о чем, они всё равно ничего не поймут, тем не менее Бенн с ними говорит, трясёт погремушками, ораторствует о величии исторической судьбы, о расе и нации, — так ли уж неожиданно? Этот вопрос пытается решить биограф.

Эстетизация политики, мифология вместо реальной истории, отвлечение к разуму и рационализму — не только классическому рационализму Декарта и Просвещения, нет, для Бенна изначальная беда человечества стряслась много раньше: это церебрация, «омозговление». Весь этот букет даёт основание биографу сделать на первый взгляд парадоксальный вывод: Бенн не был нацистом — он был фашистом. Бенн был «слишком реакционен, чтобы стать националсоциалистом». Можно добавить, что он очень слабо разбирался в том, что, собственно, представляла собой партия Гитлера, не был знаком с её программой, никогда не держал в руках «Майн кампф». Кто вас там поймёт, спрашивал Клаус Манн, кто вообще читал Бенна в этой компании? Разумеется, никто. И уж, конечно, никакой собственной политической программы у Бенна не было и в помине. Что, однако, не даёт права *damnare errorem, non errantem* (осудить ошибку, а не того, кто ошибся).

Как бы то ни было, эпизод с объяснением в любви к новому порядку остался лишь эпизодом. Назначенный в феврале 1933 г. вместо Генриха Манна председателем секции литературы Прусской академии искусств Бенн слетел с этого поста меньше чем через полгода. Он успел ещё обнародовать несколько текстов в духе «Ответа эмигрантам». Затем он оставляет практику, уходит из Академии, уходит из политики и публицистики, уезжает из столицы. Фотография середины тридцатых годов изображает дородного, внешне спокойного Бенна в мундире вермахта. Бенн избрал, по его словам, «аристократическую форму эмиграции» — стал военным врачом в Ганновере, ближе к концу войны — полковником медицинской службы. Другое дело — литературная благонадёжность: очень скоро нацистская пресса распознала в нём чужака. Бенн не подвергался преследованиям. Газетные доносы, однако, не прошли даром, в 1938 году его исключили из имперской Палаты письменности, ему было запрещено печататься.

После войны он пережил второй после 20-х годов пик литературной известности и умер (в 1956 г.) на Олимпе. Бенн стал поэтом абсолютного совершенства формы, предельной сжатости, таинственной музыкальности, глубокой и очень неоднозначной мысли. Убеждение, что

изоляция художника есть его естественное и необходимое состояние, не помещало ему стать в 50-е годы кумиром нового поколения. Эту позднюю славу можно сравнить разве только с популяристостью другого культурпессимиста, Шпенглера, после проигранной первой Мировой войны. Бенн не выражал публично раскаяния в том, что он говорил и писал в первые годы нацизма. На короткое время его путь скандально скрестился с политикой, но это был его собственный путь. По-прежнему он вещал об историческом и витальном упадке белой расы в результате интеллектуализации. В послевоенной, пережившей апокалиптическое возмездие, голодной и разрушенной Германии его эссеистика и особенно его поэзия доставляли какое-то горькое и сладостное утешение. Можно припомнить и то, что писал о Бенне знаток его творчества, недавно умерший критик и поэт Ганс-Эгон Хольтузен:

«Бенн был — современный мир, дух Города, синкопический ритм, завораживающий мятеж языка... Он больше не верит в исторический разум, история для него — хаос кровавой бессмыслицы. Не верит он и в откровение истины. Стиль выше истины. Во что он верует, так это в творческое слово, которое чертит огненный след на тёмном небе мировой ночи, слово, которое, как скарабей, пересиливает лёт времён...»

Вступление к книге П.Ноака о Юнгере открывается словами Фридриха Шлегеля: «Только тот, кто классически жил, заслуживает биографии». Жизнь Эрнста Юнгера — полная противоположность однообразной и прозаической, ушедшей внутрь жизни Бенна. Гимназист Юнгер сбежал из отцовского дома во французский Иностраннный легион, а когда началась война, отправился добровольцем на Западный фронт. Накануне битвы на Сомме был ранен, это спасло ему жизнь: его взвод был уничтожен. В чине лейтенанта командовал ударным отрядом и прославился на всю дивизию своей фантастической смелостью. В августе 1918 г. был в 14-й раз ранен и удостоился чрезвычайно престижной и редкой награды — прусского ордена Pour le mérite («За заслугу»). Все четыре года войны Юнгер таскал с собой книжки, читал между боями, в землянках и в госпиталях, Ницше, Шопенгауэра, Гоголя, Достоевского, Толстого, «Тристрама Шенди» Стерна, стихи Рембо, огромную поэму Ариосто «Неистовый Роланд» — и вёл подробный дневник, из которого получилась его первая книга «В стальных грозах». В 20-е годы сблизился с правонационалистическими кругами, стал одной из ведущих фигур так называемой Консервативной революции, выражал (в одной из ранних статей) симпатии к коричневому движению и не без оснований воспринимался впоследствии как идейный вдохновитель переворота — ледокол нацизма.

«Стальные грозы» вызвали восторг у Геббельса, в дневнике министра пропаганды есть выразительная запись. Но и другие читатели — например, Андре Жид — высоко ценили книгу. Привлечь прославлен-

ного героя на сторону нового порядка не удалось. С холодной надменностью Юнгер отклонил приглашение вступить в заново сформированную Академию искусств и не посвятил режиму ни одной строчки из опубликованного после 1933 года.

Дело не только в том (поясняет Ноак), что вульгарность и примитивность новых руководителей оттолкнули Юнгера, причины неприятия нацизма лежали глубже, о чём свидетельствуют и некоторые из дневниковых записей Юнгера, и, конечно, роман «На мраморных скалах» (1939; недавно появился хороший русский перевод), единственное, почти незамаскированное антинацистское произведение, которое появилось легально в гитлеровской Германии. Роман можно прочесть как притчу о гибели цивилизации под натиском варварства, как видение культурной Европы, растоптанной выходцами «из лесов», можно найти в нём и вполне актуальные, конкретные параллели с нацистским режимом и его главарями.

Неизвестно, когда и где происходит действие, в книге нет истории, характеры условны: это роман-аллегория. Немногочисленные персонажи, включая рассказчика, воплощают не социальные или психологические типы, а типы поведения. Книга написана изысканной ритмизованной прозой, порой не без риска впасть в цветистость. Отвратительные сцены войны, жестокость и разрушения описаны и изысканно словом, который почти раздражает своей нарочитой гармонией, музыкальностью, неуместным великолепием. Вероятно, писатель отдавал себе в этом отчёт; не забудем, что это человек, выдавший виды и сам несчётное число раз заглянувший в пропасть. Книга заставляет задуматься над вопросом, который, может быть, содержит ключ к разгадке феномена Юнгера в целом. Вот одно высказывание в предисловии к «Излучениям», собранию дневников Юнгера 1941–45 гг.:

«Безупречно построенная фраза обещает нечто большее, чем удовольствие, которое она доставит читателю. В ней заключено — даже если язык сам по себе устаревает — идеальное чередование света и тени, равновесие, которое выходит далеко за её словесные пределы. Безукоризненная фраза заряжена той же силой, которая позволяет зодчему воздвигнуть дворец, судьбе различить тончайшую грань справедливости и неправды, больному в момент кризиса найти врата жизни. Оттого писательство остаётся высоким дерзанием, оттого оно требует большей обдуманности, сильнеешего искусства, чем те, с которыми ведут в бой полки».

Какая велеречивость! Совершенная фраза побеждает тиранию. Совершенная проза требует абсолютного слуха. Стиль (а не идеология) переживает автора. Стиль — это спасательный круг, за который можно схватиться. Это способ выстоять. Некогда было сказано:

стиль — это человек. Об Эрнсте Юнгере можно сказать обратное: человек — это стиль. Никакой «двойной жизни»; жизненная поза Юнгера — продолжение его прозы и наоборот.

Стиль Юнгера — идёт ли речь о его вышедших после войны, объединённых в циклы дневниках, о путевых записках (в мафусаиловом возрасте он всё ещё много путешествовал) или о повествовательной прозе — отличается изумительной концентрацией, доступной разве только поэтам, в значительной мере утраченной со смертью классических языков. Он приучает читателя додумывать сказанное автором, опускает всё лишнее, тривиальное; мысль напряжена и эллиптическая, мыслеобразы Юнгера кажутся загадочными, как могут быть загадочны восточные афоризмы или стихи, которые покоряют чем-то мерцающим и неоднозначным, чем-то параллельным логике. Стиль Юнгера ставит вопрос о гуманизме. Это не тот, привычный для русского культурного сознания гуманизм, взывающий к старым заветам служения родине и народу. Высшая задача литературы в дегуманизованном постхристианском мире — отстаивать честь одинокой человеческой личности, стоять насмерть, как подобает мужчине. Историк Голо Манн пошутил о Юнгере, сказав, что он отдаёт приказы читателю, как офицер — солдатам. Юнгер в самом деле не болтает, не фамильярничает с публикой и не стремится быть голосом «народа» — это слово с начала тридцатых годов вообще отсутствует в его лексиконе. В законченности его пассажей сегодня чудится нечто вызывающее, — ведь в современной литературе, и немецкой, и, конечно, русской, определённо преобладает нелитературная стилистика. Высокодисциплинированный слог Юнгера воспринимается как эквивалент человеческого достоинства в мире, где это достоинство попрано как никогда прежде.

Клаус Манн

1

Вот один день из жизни этого человека: на дворе декабрь 1932 года. Накануне он прибыл в Лондон, отель «Плаза». Проснулся в полдень. Плотный завтрак, «не такой, как в Париже». За завтраком он читает, потом долго говорит по телефону; полчаса у парикмахера; встреча с приятелем, вместе выходят из гостиницы. Потом он возвращается, чтобы повидаться с двумя другими знакомыми, обедает с ними; снова чтение лёжа на диване; появляются другие друзья, совместная экскур-

сия по Лондону, осмотр достопримечательностей, прогулка пешком вдоль Темзы, чай в обществе ещё одного знакомого, разговоры, примерка у дорогого портного, шляпный магазин, встреча с каким-то ирландским другом, оттуда назад в гостиницу, чтение, короткий сон, потом за ним кто-то заходит, театр, куда приезжают ко второму действию, после спектакля новые встречи, ужин в ресторане, споры и сплетни о литературе, затем он едет в ночную турецкую баню, там собирается особенная публика, он не находит никого, кто мог бы его заинтересовать, глубокой ночью на Пикадилли у ярко освещённой витрины знакомится с юным субъектом, который готов к услугам, угощает его, вдвоём едут в гостиницу... И всё это завершается тем, что, проводив гостя, полуодетый, он торопливо заносит впечатления ещё одного дня своей жизни в чёрную коленкоровую тетрадь.

Вот образ жизни, который дал повод Жану Кокто, старшему другу, сказать о нем: «Это было существование без цели и смысла». Заблуждение: романист, мемуарист, драматург, издатель журналов, эссеист и публицист, за свою короткую жизнь он сделал чрезвычайно много. Но когда он успевает писать? Он почти не живёт в Германии, мотается по Европе, одинаково легко говорит на нескольких языках и, по-видимому, везде чувствует себя как дома — а лучше сказать, нигде. Да и нет у него никакого дома, нет своего очага. Время от времени он гостит у матери и отца, знаменитого писателя, обыкновенно же обитает в отелях и пансионах. Войдя в номер, ставит на стол пишущую машинку, раскладывает бумаги, расставляет несколько фотографий — и хватается за телефон.

Человека этого зовут Клаус Генрих Томас Манн. Дома, в семье его называют Эйси. Но, как сказано, у него давно уже нет дома. Его знают все, со всеми знаменитостями он в приятельских отношениях, у него вообще тьма знакомых и, как это часто бывает, очень мало по-настоящему близких людей. В сущности, единственным верным и преданным другом остаётся старшая сестра Эрика. Жизнь без цели и смысла? Клаус Манн необыкновенно умён, рассудителен, он обладает необычной для его возраста и круга житейской и политической трезвостью. И вместе с тем подвержен наклонности, которая в более мягкой, осторожной и эстетизированной форме мечтательного гомоэротизма присуща его отцу.

Клаус Манн — красивый парень, у него славное, открытое лицо, светлый взгляд, волнистые волосы. Он погружён в события времени, жадно впитывает впечатления каждого дня, вообще живёт необычайно интенсивной жизнью — и втайне борется с искушением самоубийства. Опять же есть прецеденты в семье: дед с отцовской стороны и две сестры отца покончили с собой.

Примерно в это время в одной правой газетке появился фельетон под заголовком «Kleiner Mann — was nun?». Это был ядовитый каламбур, имелось в виду название модного в те дни романа Ганса Фаллады «Маленький человек, что же дальше?», но заголовок можно перевести иначе: «Маленький Манн...» Непросто быть сыном знаменитого отца и почти столь же знаменитого дяди. После своей ранней смерти Клаус Манн был забыт, и лишь сравнительно недавно в Германии началась его вторая жизнь.

Он родился осенью 1906 года, в правление принца-регента Луитпольда, в благословенную эпоху баварской истории; облик Мюнхена той поры запечатлен в новелле Томаса Манна «Gladius Dei» («Меч Господень»). Залитый солнцем, изумительно красивый, богатый и беззаботный город, по которому бредёт в чёрном плаще и капюшоне юный монах и видит в небе карающий меч возмездия. Клаус Манн был рано развившимся ребёнком; и вдруг выяснилось, что в благоустроенном бургерском доме, где всё было подчинено работе отца, его вкусам и привычкам, всё должно было ходить на цыпочках перед дверью кабинета, где творил Томас Манн, — отнюдь не всё так благопристойно, как казалось. Дневник 13-летнего Клауса попался на глаза родителям. Вечером этого дня Томас Манн записал в собственном дневнике: «Не будучи доказательством особой испорченности, его дневник, однако, обнаружил такое бездушие, такую возмутительную неблагодарность, чёрствость и лживость, — не говоря уже о всевозможных дурацких дерзостях, облечённых в нарочито литературную форму, — что бедное, глубоко разочарованное сердце матери было изранено...»

Несколько лет отрочества сын провёл в интернате для трудных подростков. Там продолжалось всё то же: он дерзил преподавателям; пришлось забрать его домой; другая школа — новые неприятности. Между тем происходили события, перевернувшие мир: европейская война и крушение четырёх империй. В Мюнхене пала 800-летняя монархия Виттельсбахов, спустя короткое время та же судьба постигла эфемерную баварскую советскую республику. В дождливый день 9 ноября 1923 г., в пятую годовщину крушения монархии, чуть было не произошла «национальная революция». Около полудня со стороны Изарских ворот к центру города двигалось пёстрое шествие. Впереди два колонновожатых в коричневой форме несли мокрые знамёна, следом шагали отставной генерал-квартирмейстер Эрих Людендорф в штатском и бывший ефрейтор Адольф Гитлер. С тротуаров, с балконов глазел народ. При выходе на площадь Одеона, перед королевской резиденцией, демонстрантов встретила полиция, раздались

выстрелы. Тщетно генерал Людендорф, стоя посреди площади, призывал Kamegaden сплотиться вокруг него. Демонстрация рассеялась, Гитлер удрал в автомобиле — «бежал в своё будущее», как выразился один историк. Вскоре вождь, которого мало кто принимал всерьёз, был арестован и, как мы знаем, отделался весьма мягким наказанием.

3

Клаус Манн стал писателем в детстве. В восемнадцать лет он уже публиковал новеллы, этюды, разного рода отклики на злобу дня. Распространённая ежедневная газета печатала его театральные рецензии. В мюнхенском театре Kammerspiele шла его пьеса «Аня и Эсфирь», — правда, без большого успеха. Зато в Гамбурге она понравилась публике. В пьесе играли сестра Клауса Эрика, дочь популярного драматурга Франка Ведекинда Памела, с которой Клаус был недолгое время обручён, их общий приятель, будущая знаменитость Густаф Грюндгенс, и сам автор, которому только что исполнилось 19 лет.

К этому времени Манн, не закончивший своё образование, не умеющий долго жить на одном месте, вечно снедаемый, как огнём, внутренним беспокойством и рано давшей о себе знать тягой к смерти, уже успел усвоить образ жизни, знакомый нам по его дневникам. Он скитается по городам и странам, завязывает бесчисленные, в том числе и сомнительные, знакомства, пишет с лихорадочной быстротой. К 26 годам он автор двух пьес, трёх романов, трёх сборников повестей и рассказов, двух томов написанных вместе с Эрикой путевых записок и автобиографической книги «Дитя этой поры». Но жить в приличных отелях, обедать и ужинать в ресторанах, предаваться всевозможным удовольствиям на литературные заработки и гонорары за выступления невозможно, он принужден пользоваться регулярной денежной помощью родителей. К этому присоединилось ещё одно обстоятельство: Клаус Манн стал наркоманом. В дневнике частые пометки: Genopppen (принял).

Когда весной 1933 года нацистская партия захватила власть, Клаус Манн был, можно сказать, уже готовым эмигрантом. Дело не только в том, что он и так половину времени проводил за пределами отечества, и даже не только в том, что его мать, Катя Манн, была еврейкой, — о чем ему немедленно напомнили. При кажущемся легкомыслии он рано и безошибочно распознал природу нового режима, — раньше, чем очень многие из его старших современников и соотечественников. Клаус Манн сделал выбор — и в немалой степени способствовал решению своего отца, несколько лет колебавшегося, прежде чем окончательно порвать с Третьей империей.

Политическое изгнание, которое разделили с ним примерно 400 немецких писателей, оказалось для Клауса Манна временем наивысших достижений. В 30-е годы он создал свои главные художественные произведения, романы «Бегство на север», «Патетическая симфония», «Вулкан», «Мефистофель». В Нидерландах он вместе с А. Жидом, О. Хаксли и Г. Манном издаёт журнал антифашистской эмиграции «Die Sammlung» («Собрание»), в Америке редактирует литературное обозрение «Decision» («Решение»). Он пытается перейти на английский язык и в 1942 году выпускает мемуарную книгу «The Turning Point» («Поворотный пункт»), впоследствии переведённую им на немецкий под названием «Der Wendepunkt», — возможно, лучшее своё произведение, которое и сегодня читается с захватывающим интересом. Наконец, став гражданином США, он вступает добровольцем в американскую армию.

Пятого мая 1945 года, на четвёртый день после прекращения военных действий в Италии, Клаус Манн, корреспондент армейской газеты «Stars and Stripes» («Звёзды и полосы»), с двумя солдатами и шофёром выехал в джипе из Рима на север; рассказ об этой поездке содержится в письме к отцу в Калифорнию. Экипаж миновал Берхтесгаден, — местные жители успели вынести из разбомбленной «альпийской крепости» Гитлера сохранившийся запас продовольствия и остатки убранства, теперь «джи-ай» — американские солдаты — бродили среди развалин в поисках сувениров («жаль, что я поздно прибыл, а то бы и мы поучаствовали»), — и выехал на усеянную воронками бывшую имперскую автостраду Зальцбург — Мюнхен. Было утро 8 мая. Рейх капитулировал. Подъехали к баварской столице. Прекрасного города на Изаре больше не было. Весь центр от Главного вокзала до площади Одеона в развалинах. С трудом добрались до знаменитого Английского сада, самого обширного городского парка в Европе, по мосту короля Макса-Йозефа, не разбитому бомбами, переехали на правый берег, спустились в Герцогский парк и остановились на Пошингер-штрассе. К своему изумлению, выпрыгнув из машины, Клаус Манн увидел виллу отца, где прошли детство и юность, откуда родители выехали в лекционную поездку по Европе в феврале 1933 г., — дом стоял целый и невредимый

Это была видимость: уцелел лишь фасад. Всё остальное — полюбвавшийся остов. Остатки комнат, камин. Это был образ разгромленного, однажды и навсегда упразднённого прошлого. Подняться на второй этаж невозможно, от лестницы ничего не осталось. Как вдруг Клаус, выйдя в сад или то, что когда-то было садом, увидел девушку, почти подростка, на балконе своей комнаты. Она жила в этой руине одна, её родня погибла под обломками, жених пропал без вести в России, брат убит под Сталинградом. Она соору-

дила какое-то приспособление, чтобы подниматься на балкон. Клаус Манн вскарабкался наверх. «Видите, — сказала она, — здесь нечего реквизировать. Kaputt!».

4

В обширном литературном наследии Клауса Манна для русского читателя, возможно, представила бы особый интерес «Патетическая симфония». Роман этот, однако, в такой же мере о Чайковском, как и о самом себе. В мемуарах «Поворотный пункт» есть несколько замечаний о самоотождествлении автора с его героем. «Я выбрал его... потому что я его люблю и я его знаю. Люблю и его музыку, через неё со мной говорит родная мне душа. Можно ли эту музыку назвать великой? Я знаю только, что она мне нравится. Конечно, я понимаю, что автор чересчур сладкозвучной сюиты из «Щелкунчика» и бравоурной увертюры «1812 год» — не Бетховен, не Бах... Но эта проблематичность его гения, эта изломанность его характера, слабости художника и человека — они-то как раз и делают его близким, дорогим и понятным для меня. Его болезненная нервозность, его комплексы и его восторги, его страхи, его взлёты, почти невыносимое одиночество, в котором пришлось ему жить, мука, готовая вновь и вновь преобразиться в мелодию, в красоту, — обо всём этом я мог рассказать, всё это было моё...»

«Да и как мне было не знать всю подноготную, когда и мне введома та особая форма эротики, которая стала его судьбой... Нельзя преклониться перед ней, не сделавшись чужаком в нашем обществе; и нельзя сознаться в этой любви, не получив смертельную рану. Но не только она превратила моего великого, моего трогательного друга Петра Ильича в изгоя, в парию. Самый характер его таланта, его художественный стиль был слишком многосоставным, слишком мерцающим и многоцветным, слишком космополитическим, чтобы публика где бы то ни было признала его безоговорочно своим. В России считали, что он подпал под влияние Запада, в Германии, наоборот, ему ставили в упрёк “варварскую дикость”... Он был изгнанник, он был эмигрант в своей собственной стране — не из-за политики, а из-за того, что нигде не чувствовал себя дома, нигде не был у себя дома».

Действие происходит в последние годы жизни Чайковского, за границей, и перемежается воспоминаниями композитора о России, о катастрофе брака, о томительной любви к племяннику. Искусство как транскрипция и трансформация страдания. Роман — назвать его шедевром нельзя — приближает к тайному миру автора, может быть, больше, чем все его автобиографические сочинения.

Единственная пока что переведённая на русский язык книга Клауса Манна — роман «Мефистофель», об актёре по имени Хендрик Хёфген, который согласился проституировать свой талант в нацистской Германии. Высокое покровительство даёт ему возможность совершить головокружительный взлёт, в конце концов он впадает в немилость. Роман-ключ: в главном герое без труда узнали великого артиста Грюндгенса, товарища юности Клауса и первого мужа Эрики Манн. В 1934 году Густаф Грюндгенс, непревзойдённый, демонически-двусмысленный Мефисто в «Фаусте I», поставленном в Берлине накануне нацистского переворота, был назначен интендантом (директором) государственных театров столицы и до конца войны оставался на этом посту. Роман К.Манна был выпущен издательством немецких эмигрантов Querido в Амстердаме. В послевоенное время он стал причиной скандала и судебного процесса, возбуждённого наследниками Грюндгенса.

«Мефистофель», близкий к типу романа-фельетона, может служить образцом художественной манеры Клауса Манна. Она представляет полную противоположность стилю и поэтике Томаса Манна, — ничего похожего на подробную, неспешную, ветвящуюся, иронически-дистанцированную, рефлектирующую прозу отца, — но зато носит следы влияния дяди, Генриха Манна. Почти все книги Манна-младшего написаны как бы в один присест, стремительным и брызжущим пером. Он пишет короткими фразами и умеет резкими штрихами, в немногих словах набросать силуэты людей и обстановку. Сцены быстро следуют одна за другой, реплики действующих лиц однозначно выражают их мысли и чувства. Романы Клауса Манна напоминают киносценарии с закадровым голосом автора. Его совершенно не интересуют проблемы обновления романной формы; поклонник Андре Жида, он остался, однако, в стороне от кризиса классической прозы. Модернизм Клауса Манна проявляет себя разве только в том, что он испытал влияние психоанализа, — обычная история для западных беллетристов 20-х и 30-х годов. Он не умеет избежать шаблонов и подчас оказывается в опасном соседстве с тривиальной литературой.

5

Дневник подростка не сохранился. В 24 года Клаус Манн начал вести почти ежедневные записи; расшифрованные и опубликованные полвека спустя, они составили шесть томов — с 1931 по 1949 г.

В 1934 году он отправился в Советский Союз гостем на первый съезд Союза советских писателей. Несколько странная поездка —

Клаус Манн не принадлежал ни к «пролетарским», ни к сочувствующим коммунизму литераторам; правда, успел стать видным представителем антифашистской эмиграции. Вот несколько записей в дневнике (16–27 августа):

«Москва, отель Метрополь... Княжеское гостеприимство. Осмотр города, строительство метро, колхоз. Ужасное впечатление от посещения магазина. Необычайный интерес к литературе в этой стране, зато вечно не хватает бумаги...»

«После обеда открытие съезда. Невероятная помпа, толчея, восемь тысяч заводов и фабрик намерены прислать своих представителей... Пропаганда с помощью стенных газет и т.п. Портреты писателей на стенах. Громадные изображения Сталина и Горького. Восторженная встреча Горького, почти то же при упоминании имени Тельмана. Бесконечная речь Горького, говорит еле слышно. Стилизован под патриарха... Тут же сидит правительство: Молотов, Каганович, главнокомандующий войсками и другие...»

«Азиатский пир в Кремле. Бесконечные тосты. Распоряжаются граф Толстой и Кольцов... Литература похожа на армию... Поздно вечером в кино: новый русский фильм “Весёлые ребята”, мило, а вообще-то ничего нового».

«Ленинград, “Астория”. В Москве налёт Азии, здесь — Скандинавии. Красивый город. Провинциально, без московского размаха. Эрмитаж: колоссально. Всего прекрасней два Леонардо и Блудный сын Рембрандта. Балет (красивый бывший придворный театр), поразительно старомодная, посыпанная нафталином пантомима. Декорации 1900 года. Удачные танцевальные номера. У публики более буржуазный вид, с пролетарской прослойкой, довольно много иностранцев... Объявление в парикмахерской: “Клиенты с заграничной валютой без очереди”».

«Россия: перемены, строительство земного, прежде всего земного — которое так необходимо... Но: сосредоточенность на земном — пренебрежение метафизическим. Творчество как исключительно социальная задача — тогда как у литературы есть и таинственная, отнюдь не целенаправленная функция. Она не может заниматься только коллективизацией сельского хозяйства и тому подобным. Её неисследимые темы — любовь, одиночество, загадка смерти, надежда, последнее счастье...»

А вот другая запись, от (29–30 июня 1941 г.).

«Нападение Гитлера на СССР — событие такого масштаба, что я почти не решаюсь обсуждать его даже в этих заметках. Не говоря уже о печати. И все же хочу записать: моей первой, инстинктивной реакцией было чувство облегчения. Конечно, мы возмущены, потрясены, озабочены. (Как долго сможет продержаться Россия? Взовьется ли

флаг со свастикой над Кремлем, как он развевается над пражским Градчином или над Парижем?) И все-таки — вздох облегчения. Воздух очистился. Этот пакт Сталина с Гитлером, одно из величайших извращений мировой истории, теперь ушел в прошлое... Никто не знает, что будет. Но даже если допустить, что Красная Армия действительно так слаба, как, по-видимому, все думают, вторжение дорого обойдется Гитлеру... Это начало конца».

6

В послевоенные годы наступил упадок. Рано созревший подросток, вечный юноша... но и юность, затянувшаяся до сорока лет, кончилась. Кажется, что Клаус Манн израсходовал свои жизненные силы. Сложные отношения с отцом, которого Клаус нежно любил, но который не умел и не хотел принимать сына всерьёз, вылились в почти открытое отчуждение; вместе с тем он, как и прежде, зависел от родителей материально. Эрика ушла к отцу, став его секретарём. Международная политика, всегда имевшая для Клауса огромное значение, заряжавшая его энергией, приняла удручающий оборот: рухнули надежды, связанные с победой на фашизмом, началась холодная война. Умерли близкие друзья Клауса, и подчас ему казалось, что оттуда, из потёмков, они манят его к себе. Наркотик подорвал его психическое здоровье и волю к сопротивлению. В сорок восьмом году Клаус Манн пытался наложить на себя руки, но остался жив. «Дела мои не блестящи, пробую что-то сочинять, но...». Это фраза из письма от 20 мая 1949 года. На другой день, в номере гостиницы в Каннах, он принял огромную дозу снотворного и не проснулся.

ЛЕВИАФАН

За тех, кто далёко

Памяти одного журнала

1

Кажется, никогда еще экспатриированная литература не занимала такого внушительного места в мировом литературном процессе, как в наши времена. Никогда изгнание не становилось уделом такого множества писателей. Разумеется, это связано не в последнюю очередь с политическими обстоятельствами. Если независимость влечёт за собой кару, если творчество, не желающее пресмыкаться перед кем бы то ни было, объявлено государственным преступлением, если родина, а не чужбина, приговаривает писателя к молчанию, ставя его перед выбором: изменить себе или «изменить родине», — эмиграция предстаёт перед ним как единственная возможность отстоять своё достоинство. Единственный способ сохранить верность литературе.

Эти заметки посвящены русскому эмигрантскому журналу, ныне уже не существующему. Зарубежье Третьей волны уходит в забвение. Кратковременный интерес, изумление, любопытство сменились равнодушием; сколько-нибудь серьезных работ, посвященных феномену эмиграции, на родине не появилось; об этих людях, может быть, вспомнят, когда последние из них вымрут и плоды их деятельности исчезнут. Так чаще всего и бывает в России.

Между тем политическая, культурная и литературная эмиграция 60–80-х годов была совершенно особым эпизодом истории СССР, в сущности, выпадающим из этой истории. Эмиграция, борьба за право покинуть страну имела своих героев и мучеников; эмиграция изменила психологию огромного множества людей, усвоивших этику принудительного патриотизма, считавших ее необходимой и даже естественной: казалось, что расстаться с этим государством невозможно, как невозможно забросить камень так высоко, чтобы он не упал назад. Режим, возглавляемый тайной полицией, отдавал себе отчет в том, что самый факт бегства из страны неслыханно подрывает престиж советского государства; коронный тезис пропаганды о самой счастливой стране был дискредитирован. И эмиграция стала негласной сенсацией, тихим скандалом, на который пришлось реагировать двояко: «разоблачать» и замалчивать.

Но люди, самая память о которых была изгнана и выскоблена, люди, которых не только не стало, но которые словно никогда и не существовали, — люди эти оставили на родине свою тень. Секретная и одновременно оболганная, количественно незначительная в сравнении с огромным населением страны эмиграция незаметно поставила под вопрос всю систему советских ценностей и заставила многих, не пожелавших поступиться своим достоинством, осознать, что речь идет о режиме, с которым, по выражению Альбера Камю, «либо сотрудничаешь, либо воюешь». В конце концов он предоставил им только два выхода: или в лагерь, или вон из страны. Итак, мы не ошибемся, если скажем, что эмиграция была едва ли не единственным в своем роде жестом коллективного протеста против режима всеобъемлющей лжи и узаконенного насилия.

Вместе с тем, помещенная в более широкий контекст, она, конечно, не была чем-то вполне уникальным. Преследование независимой мысли старо как мир. Эмиграция существует с тех пор, как существует цивилизация. Зарубежная литература существует с тех пор, как существуют рубежи. И русское литературное изгнание может поистине гордиться древностью своей участи. Последнюю ночь в Риме вспоминает, обливаясь слезами, сосланный на дальний берег Черного моря Овидий. О горьком хлебе чужбины говорит эмигрант XIV века Данте. Увы, это не значит, что на родине хлеб был сладок.

Эмиграция не означала отказа от жизненного призвания, напротив, для многих она была единственной возможностью следовать своему призванию. Литература и публицистика беглецов имеет в нашем отечестве почтенную традицию, ее родоначальником можно считать Андрея Курбского. Но и в XX веке, когда выдворение из отечества, выселение из родных мест, насильственные миграции и депортации приняли неслыханные доселе формы и масштабы, Россия была не единственной страной, которая выталкивала своих писателей за границу. Рядом с тремя послереволюционными русскими эмиграциями существовали эмиграции из нацистской Германии, из франкистской Испании, из восточноевропейских стран, если говорить только о нашем континенте. Нашими товарищами по общей судьбе были не только Бунин, Газданов или Ходасевич, но и немцы братья Генрих и Томас Манн, Бертольд Брехт, Оскар Мария Граф, Фриц фон Унру, Эрих Мария Ремарк, австриец Роберт Музиль, еврей Пауль Целан, Элиас Канетти, Альфред Дёблин, Герман Брох, Стефан Цвейг, Нелли Закс, Анна Зегерс, Артур Кёстлер, Лион Фейхтвангер, Курт Тухольский, Франц Верфель, Клаус Манн, испанец Хуан Гойтисоло, ирландец Джеймс Джойс, поляк Чеслав Милош, чех Милан Кундера и великое множество других.

Третью волну привычно сопоставляют с первой, но, пожалуй, у нее не меньше общего с немецкой эмиграцией тридцатых годов. Как

и немецкая эмиграция, она была исходом из большой страны, затхлой, но одержимой геополитическими амбициями и националистическим безумием. Как и немецкая, она больше чем наполовину состояла из евреев. Обе эмиграции, независимо от личных устремлений ее участников, приобрели однозначно политический характер, обе бросили вызов тоталитарному монстру. Обе ощущали свое неисцелимое одиночество в мире.

Стихи Брехта об изгнании написаны как будто одним из нас. Сходство судеб, поразительная аналогия жизненных обстоятельств — при всем различии исторического, национального, культурного контекста — бросаются в глаза, когда читаешь многочисленные документы эмиграции из нацистской Германии: дневники, письма, статьи, воспоминания. И даже упреки, которыми после войны осыпали беглецов их оставшиеся дома коллеги, — упреки, не миновавшие и такого писателя, как Томас Манн, — похожи как две капли воды на то, что писали об эмигрантах послесоветские газеты.

Наконец, то, что постигло и немецкую, и любую другую эмиграцию, что заложено в самом определении эмиграции, стало участью и Третьей волны: поражение. Эту участь разделил выходящий в Мюнхене журнал «Страна и мир», о котором здесь пойдет речь.

2

Журнал был основан в начале 1984 года К.А. Любарским и автором этих строк. Третью редакторскую должность в первые годы поочередно занимали С.Максудов и В.Меникер, последнего в 1989 г. сменил Э. Финкельштейн. Эскиз обложки и некоторые элементы оформления принадлежали жившему в Вене художнику Борису Рабиновичу. Много лет постоянным сотрудником, экономическим и политическим обозревателем журнала был Рафаил Бахтамов (Р.Шапиро), которого ныне — как и Любарского и Рабиновича — уже нет в живых.

Кучка людей выполняла работу, с какой в бывшем Советском Союзе едва справлялся обоз в 15–20 человек. Журнал выходил вначале ежемесячно, на 96 страницах in-quarto, а с 1987 г. один раз в два месяца, но в увеличенном объеме: от 160 до 190 стр. Набор и макет готовились в редакции, тираж (колебавшийся в пределах нескольких тысяч экземпляров, что соответствовало среднему тиражу русских зарубежных изданий того времени) печатался в немецкой типографии в городке Шробенхаузен под Мюнхеном.

Сейчас, когда публика в России получила некоторое представление о жизни на Западе, незачем объяснять, почему русская пресса за рубежом не является прибыльным делом. Чаще всего она попро-

сту не может себя прокормить. Большинство периодических изданий Третьей волны получало помощь из Америки. Не был исключением и журнал «Страна и мир». Выручка от подписки не покрывала и двадцатой доли себестоимости — одни лишь типографские расходы на каждый номер составляли не менее 8 тыс. марок, — не говоря уже о том, что преобладающая часть тиража распространялась бесплатно. В качестве некоммерческого общественно-полезного предприятия журнал был освобожден от уплаты налога и существовал на средства, выделенные Конгрессом США через посредство (скорее, формальное) Лондонского комитета поддержки русской свободной печати за рубежом. Финансовая зависимость, однако, никак не сказывалась на самостоятельности журнала.

Название, предложенное пишущим эти заметки, случайно совпавшее с заголовком известной работы А.Д. Сахарова, должно было более или менее отвечать содержанию и концепции журнала; его эмблема — синий круг с красным сегментом — выражала мысль, сформулированную на обложке первого номера: «Мы — часть мира; мир не существует без нас».

Едва ли кто-нибудь мог ожидать, что пройдет не так много времени, и темы эмигрантской публицистики будут вторично обыгрываться на родине, что книги, выпущенные «за бугром», будут заново напечатаны и восприняты как новинки, что идеи, проекты и заблуждения тех, кого внутри страны так охотно называли отщепенцами, не просто докатятся до России, но и выйдут там, так сказать, вторым изданием. Как ни трудно говорить об эмигрантской «общественности», она выработала и артикулировала практически все политические концепции, позднее получившие хождение в стране, от неомарксистской и социал-демократической до черносотенной и фашистской. Это касается, конечно, и политического жаргона, модных слов и жупелов: примером может служить морфологически малоудачное слово «русобобия» (под которым подразумевали, очевидно, русофобство), в свое время пущенное в оборот самым знаменитым представителем отечественного Забугорья А.И. Солженицыным и подхваченное на родине.

К началу восьмидесятых годов политический спектр эмигрантской прессы, по крайней мере в Европе, заметно сдвинулся вправо; журнал «Страна и мир», заявивший о своей либерально-демократической и прозападной ориентации, оказался в известном противостоянии тогдашнему националистическому истеблишменту и был встречен в штыки. Он конституировался как «общественно-политический, экономический и культурно-философский», то есть не был, в отличие от большинства завоевавших популярность русских зарубежных журналов, литературно-художественным. Зато в нем занимала значительное место эссеистика. Журнал уделил внимание и эконо-

мическим темам, что было новостью для русской прессы, презревшей, заодно с марксизмом, и всю экономику. Он отстранился, по крайней мере на первых порах, от мелочно-амбициозной полемики, так часто омрачавшей содружество изгнанников (и развлекавшей публику).

3

Программа журнала — та, которую удалось реализовать в первую и, очевидно, лучшую пору его существования, — была двойкой. Во-первых, журнал был органом правозащитного движения; в этом качестве он обращался прежде всего к советскому читателю, выступал в защиту преследуемых, информировал о нарушениях прав человека в СССР, о судебных процессах над инакомыслящими, о злоупотреблении психиатрией, о тюрьмах и лагерях. Во-вторых, журнал стремился стать чем-то вроде культурно-интеллектуального моста между Россией и Западной Европой, между русским миром за рубежом и «страной святых чудес», внутри которой этот мир разместился, но от которой в большой мере был отчужден.

Каждый, кто знаком с жизнью русских изгнанников, знает, в чем выражалось это отчуждение. Очутившись за границей, в странах и городах, о которых интеллигенты, отрезанные от мира, страстно мечтали всю свою жизнь, эмиграция в своей подавляющей массе замкнулась в собственном невидимом гетто. Такова была почти неизбежная жизненная коллизия выходцев из большой, наглухо законченной страны, которая сама в себе — целый мир. Еще меньше, чем их предшественники — беженцы первых послереволюционных лет, эти люди были приспособлены для жизни в Европе и Америке, в большинстве своем не знали языков и мало общались с гражданами приютившей их страны. Если невозможно унести родину на подошвах, то почти неизбежно тащишь за собой чуждость миру и отторгнутость от мира; ее-то и хотелось преодолеть.

Описанной программе отвечала структура «Страны и мира». Номер открывался серией информационных материалов, хроникой событий и статьями о советской политике, экономике, общественной жизни. За ними следовали статьи, освещавшие разные стороны жизни в зарубежных странах. Последняя треть была отведена под культурные материалы — статьи, этюды, небольшие работы русских и иностранных писателей, эссеистов, философов, историков, богословов.

Может быть, стоит упомянуть о том, что, в противоположность известному и довольно постыдному обычаю русских заграничных и отечественных журналов не отвечать отвергнутым авторам, на второй обложке каждого номера стояло уведомление: «Непринятые

рукописи возвращаются с письменной мотивировкой». Нечего и говорить о том, что это чувствительно сказывалось на почтовых расходах.

Журнал печатал интервью и беседы с известными людьми, среди которых можно назвать нобелевских лауреатов Иосифа Бродского и Элиаса Канетти, кинорежиссера Андрея Тарковского, писателей Грэма Грина и Хорхе Борхеса, литературного критика Марселя Райх-Раницкого, основателя и главу Еврейского документационного центра в Вене, прославленного охотника за нацистскими преступниками Симона Визенталя. Существовала фоторубрика — тематические подборки фотографий; имелся и архивный отдел. Определенное место отводилось фельетону, юмористическим заметкам, пародиям и карикатурам, а также письмам читателей, рецензиям на новые книги и т.п. Переключку с современностью — эхо веков — читатель журнала мог услышать в украшавших третью обложку классических текстах: это могли быть фрагменты древних авторов, философов Нового времени, русских писателей, классиков Востока, забытые или малоизвестные в России документы античной, европейской и американской политической мысли.

Заслуживают упоминания тематические номера журнала. Вот некоторые из них: «Голый бог» (крушение ленинизма), «От тюрьмы да от сумы» (мир концлагерей), «Америке полтысячи лет», «Церковь в мирском граде», «Необустроенная Россия», «Москва, август 1991», «Непредвиденная Германия», номера, посвященные двухсотлетию Французской революции, сорокалетию антигитлеровского заговора 20 июля, сорокалетию окончания второй мировой войны, христианству и Освенциму, исламу в современном мире.

Круг авторов журнала (писавших непосредственно и специально для нас либо тех, чьи тексты переводились, перепечатывались или компилировались из других изданий) был достаточно широк. В числе других участников с самого начала в «Стране и мире» публиковались — под псевдонимами или открыто — авторы из Советского Союза, по тем временам это было актом немалой смелости. Разумеется, редакция надеялась иметь своим главным адресатом читателя в Советском Союзе. Было создано нечто вроде службы негласного распространения, в разных городах представители журнала вступали в контакты с туристами, моряками, водителями грузовиков и даже членами официальных делегаций.

Среди тех, кто оказал честь журналу своим участием, были видные эссеисты и публицисты нашего поколения — и те, кто покинул страну, и те, кто остался; назovem Григория Померанца, Бориса Парамонова, Леонида Баткина, Майю Каганскую, Анатолия Стреляного, Юрия Афанасьева, Льва Тимофеева, Марка Дейча, Марка Поповского, Германа Андреева, Валерия Чалидзе. Авторами журнала были писатели Владимир Вой-

нович, Юрий Карабчиевский, Марк Харитонов, Фридрих Горенштейн, Даниил Данин, Игорь Ефимов, поэты Иосиф Бродский, Ольга Седякина, Юлий Ким, Юрий Колкер, Лев Друскин, Томас Венцлова, Анатолий Жигулин, Наум Коржавин, критики, литературоведы и культурологи Ефим Эткинд, Евгений Барабанов, Бенедикт Сарнов, Сергей Лёзов, Симон Маркиш, Станислав Рассадин, на страницах журнала выступил выдающийся переводчик немецкой и античной литературы Соломон Апт.

Мы называем лишь немногих. Впервые в «Стране и мире» появились произведения доселе никогда не публиковавшихся на русском языке авторов, в том числе таких, как Карл Поппер, Манес Шпербер, Ханна Арендт, Голо Манн, Элиас Канетти, Артур Кёстлер, Октавио Пас, Исая Берлин, Салман Рушди; впервые был напечатан по-русски «Брат Гитлер» — один из самых спорных и двойственных эссеистических текстов Томаса Манна. Среди других известных на Западе имен, с которыми журнал познакомил русских читателей, были немецкие историки Эрнст Нольте, Себастьян Гафнер, Йоахим Фест, Михаэль Штюрмер, Леонид Люкс, философ и семиотик Вилем Флуссер, экс-канцлер Федеративной Республики Германии Гельмут Шмидт, бывший сподвижник Тито Милован Джилас, итальянский публицист Луиджи Бардзини, поляки Лешек Колаковский и Тереза Тораньска, американцы Джеймс Биллингтон, Гаррисон Солсбери, Ричард Пайпс, Френсис Фукуяма, астрофизик Фан Лижи, прозванный китайским Сахаровым. Журнал печатал Генриха Бёлля и Фридриха Дюрренматта. Были опубликованы неизвестные в то время в России дневники Леонида Андреева, статьи Владислава Ходасевича и Евгения Замятина, мемуары Федора Степуна, письма Бориса Пастернака. Была переведена и полностью напечатана энциклика папы Иоанна Павла II «*Dominum et vivificantem*» — едва ли не единственный документ этого рода на русском языке; опубликована знаменитая речь федерального президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера по случаю 40-летия конца войны. Журнал поместил работы основателя «политической теологии» Йоганна-Баптиста Меца и идеолога «гражданской религии» Роберта Белла, публиковал тексты о. Сергия Желудкова. В журнале увидели свет записки генерала Бур-Коморовского о восстании в Варшаве и отрывки из автобиографической книги замученного Анатолия Марченко. Журнал был единственным в те годы органом печати на русском языке, поместившим подробные отчеты о том, что случилось в Чернобыле...

4

Кризис обозначился вскоре после начала революционных преобразований в СССР. В известной мере он был отражением общего кризиса антикоммунистической эмиграции. То, чем жили, ради чего по-

жертвовали своим благополучием все эти люди — бывшие узники совести и диссиденты левого и правого толка, западники и националисты, демократы и неославянофилы, русские и евреи, — разоблачение окончательно изжившей себя советской власти, — стало терять смысл. События на родине быстро обогнали все, что могла сказать по этому поводу русская зарубежная печать. Выяснилось, что эмиграция была прикована к своему недругу, как каторжник к тачке. Со смертью врага эмиграция осиротела.

Для журнала «Страна и мир» это был кризис самоидентификации. Если вначале двойственность его программы могла выглядеть как преимущество, ибо предполагалось, что она обеспечит журналу необходимую широту, интеллигентность и надпартийность, то теперь она расколола журнал. Страна — и мир. Россия — и русское рассеяние за рубежом. Политика — и культура. Злоба дня, политическая активность и политически ангажированное мышление — и то, что называется трудноопределимым словом «дух». Выяснилось, что это малосовместимые вещи. И две головы, обращенные в разные стороны, повернулись, готовые клонуть друг друга.

Разница идейных ориентаций и просто разница вкусов подготовили внутриредакционный раскол. В конечном счете речь шла о том, чем должен быть журнал, точнее, чем он должен был стать теперь, когда в России совершились неслыханные перемены. Отношение большинства журналов и газет эмиграции к этим переменам было настороженным, считалось, что провозглашенная Горбачевым перестройка — всего лишь дымовая завеса, очередная затея КГБ. Журнал, о котором мы рассказываем, был чуть ли не единственным русским печатным органом за границей, который принял перестройку всерьез. Тем не менее соблазн непосредственно участвовать в событиях, вырваться из эмигрантского обособления, вернуться хотя бы в переносном смысле — а там, кто знает, может быть, и физически — и стать снова своим среди своих, — соблазн этот предстал перед многими; его не избежал и один из двух основателей «Страны и мира». Результатом была утрата того, что и в глазах отечественного читателя составляло преимущество зарубежного журнала, что придавало ему привкус экзотики: утрата оригинальности. В самом деле, «своих» хватало и там.

Отказ от дистанции привел к потере самостоятельности; концепция журнала как суверенного организма была вытеснена представлением о журнале как об инструменте политической борьбы. Журнал стал злободневным и партийным; его столбцы затопили материалы отечественного производства и невысокого качества, которые сделали его неотличимым от многочисленных изданий этого типа на родине. На внезапно открывшемся, долгожданном читательском рынке журнал стал неконкурентоспособен.

Конец «Страны и мира» обозначил конец определенной эпохи — конец антитоталитарной, одинокой и гордой своим одиночеством эмиграции. Нужно было решать: вернуться на родину (что и сделал один из двух основателей К.Любарский) или остаться на Западе, но уже в новом качестве. Журнал изжил себя — либо должен был найти новую идентификацию. Для этого нужны были другие люди и, разумеется, другие источники финансирования. Ни того, ни другого не нашлось.

5

И все же, окидывая взглядом шестьдесят девять номеров «Страны и мира» (журнал закрылся летом 1992 г. в связи с прекращением субсидий), приходишь к не столь однозначной оценке его истории. Причины, почему журнал утратил свой прежний облик и не обрел нового, были сложнее и, конечно, не сводились к чисто политическим обстоятельствам. Журналы, как и вина, со временем прокисают. Восемь с половиной лет — достаточно долгий срок для того, чтобы журнал, притязавший на общественную роль и культурное влияние, мог устареть; состарились и его участники.

Сумел бы он воспрянуть, если бы одержала верх альтернативная концепция, если бы журнал остался тем, чем он был вначале: широкопрофильным, культурным, независимым общественно-политическим и экономическим органом эмиграции? Едва ли. Обе части его программы предопределили его неудачу. Надежды и ожидания, чувство братства на корабле и то необычайное воодушевление, с каким мы начали наше дело, счастье обретения свободной речи, о котором не имели представления те, кто остался «со своим народом», — все это в конце концов потерпело крах, и рассказать в двух словах, отчего это случилось, не так-то просто.

Мореходы надеялись услышать сколько-нибудь внятное эхо с родных берегов. Где-то там, мечталось им, оставшиеся друзья повторяют строчки Бёрнса — Маршака: «За тех, кто далёко, мы пьем, за тех, кого нет за столом. За Чарли, что ныне живет на чужбине...» На самом деле люди, сидевшие за отечественным столом, жили собственной трудной жизнью, которая безнадежно отдалила их от уехавших, да, пожалуй, и от всего внешнего мира. Немногие экземпляры журнала, которые с великими трудами удавалось перебросить через бугор, проваливались, как в пропасть, без звука и следа. Даже во времена, когда журнал добился известного престижа, не могло быть речи о сколько-нибудь серьезном влиянии на умы в стране.

Не лучше, по-видимому, были и результаты в эмиграции. Намеренные воздвигнуть культурный мост между русским и остальным миром оказалось иллюзией по той же причине, почему вообще остается, по

крайней мере в наши дни, иллюзией и мифом пресловутая всемирная отзвучивость россиян, о которой грезил Достоевский. Какая уж там отзвучивость! Европеизм остался невостребованным. Подавляющая часть новых и неизвестных текстов, помещенных в журнале, все эти славные имена, которые перечислены выше, не привлекли к себе, судя по всему, никакого внимания. Все оказалось ненужным и неинтересным. Однако — и пусть это послужит утешением для всех, кто захотел бы повторить наш опыт, — не зря сказано: «Но поражения от победы ты сам не должен отличать».

Подвиг Искарюта

Дорогая! В который раз я убеждаюсь, насколько приятнее философствовать о литературе, чем писать самому; но, должно быть, вы уже сыты моими рассуждениями. Расскажу вам лучше историю из жизни.

Дело было давно, больше тридцати лет назад, в прекраснейшую пору, какая только бывает в Северо-Западной России: леса начали желтеть, густо-синее небо и восхитительная тишина простёрлись над всем краем. И настроение, в котором я пребывал, только что приступив к исполнению служебных обязанностей, было, можно сказать, образцовым, таким, какое подобает новоиспечённому врачу. Я был полон рвения и энтузиазма. Прошрое было похерено, здесь никто не интересовался моим паспортом и анкетой, в этом медвежьем углу не существовало ни милиции, ни отдела кадров. Здесь я сам был начальством, я лечил больных, отдавал распоряжения медсёстрам и завхозу; председатель колхоза, исцелённый мною, прислал рабочих, которые ставили столбы и тянули к больнице провода от районной электросети.

В старом армейском фургоне с красными крестами на стёклах я колесил по лесным просёлкам, по ухабистым дорогам моего участка размером с небольшое феодальное княжество. Выслушивал рассказы шофёра, который воевал в Германии и сделался своеобразным патриотом этой страны: по его словам, нигде не было таких замечательных дорог. В деревнях женщины выбегали навстречу, со мной подобострастно здоровались. Меня угощали салом и самогоном. Никому не могло придти в голову, что ещё недавно вместо накрахмаленного халата я таскал лагерный бушлат.

По ночам я слышал бряканье колокольчика, под окном паслась стреноженная лошадь. Над елями стояла луна. Как вдруг всё переменялось, полил дождь. С клеёнки, которую придерживала над собой постукавшая в дверь молоденькая сестра, текла вода. Во тьме, прыгая через лужи, мы пересекли больничный двор, вошли в комнату с оцинкованной ванной, служившую приёмным покоем, навстречу поднялся чело-

век в сапогах и брезентовом армяке, это был муж. На топчане, в тёплом платке, из-под которого виднелась косынка, лежала женщина, в забытьи, без пульса, с синевато-острыми чертами лица, описанными две тысячи четыреста лет тому назад отцом медицины. Был второй час ночи.

В человеческом теле содержится шесть или семь литров крови, и удивляться приходится не тому, что это количество так невелико, а тому, что его может хватить надолго. Больную везли в телеге несколько часов. За несколько минут, пока мы её раздели и внесли в операционную, натекла лужа крови. Облив руки спиртом, мысленно призывая на помощь моих учителей, я уселся на круглый табурет между ногами пациентки, сестра придвинула столик с инструментами и керосиновой лампой. Санитарка держала вторую лампу. Но мне было темно. Побежали за шофёром, в потоках дождя он подогнал к окну урчащую колымагу, и сияние фар залило белые колпаки женщин, забрызганное кровью покрывало и физиономию хирурга с кюреткой в правой руке и щипцами Мюзо в левой. Кровотечение прекратилось, но давление отсутствовало, тоны сердца не прослушивались. Всё ещё живой труп был перенесён в палату.

Тот, кто жил в глубинке, на дне нашего отечества, может оценить благодеяние и проклятие телефонной связи. Телефония подобна загробному царству или пространству коллективного сознания. Сидя в ординаторской с прижатой к уху эбонитовой раковиной, я выкрикивал своё имя, и в ответ слышал шум океана. С дальнего берега едва различимый голос спросил, в чём дело. Я заорал, что мне нужна кровь. Прошло полвечности, голос вынырнул из тьмы и сообщил, что автомобиль выезжает. Фургон с немецким патриотом выехал навстречу, две машины должны были встретиться на половине пути. Дождь не унимался. Перед рассветом кровь, драгоценные ампулы для переливания были доставлены.

Пульс восстановился. Женщины наделены феноменальной живучестью. Она спала. Отчаянно зевая, я выбрался на свет Божий. Моросило. Муж стоял у крыльца возле своей лошади, накрытой брезентом, я подозвал его и спросил: кто это сделал? Он выпучил на меня глаза и затряс головой: «Никто, она сама».

Первые эпизоды самостоятельной практики на всю жизнь остаются в памяти, но если я вспоминаю этот случай, не такой уж экстраординарный, то не ради медицинских подробностей. Я учинил следствие. Больная смотрела на меня с испугом. Для неё я тоже был начальством, с которым надо держать ухо востро. В конце концов, я дознался: аборт сделала некая «баушка», жительница соседней деревни, по методу, известному с прадедовских времён, — вязальной спицей. За свои услуги ковырялка потребовала пятьдесят рублей. После этого я уселся в закутке, который назывался моим кабинетом, и начертил донос.

Кажется, до сих пор никто не занялся изучением статистики и типологии доносительства, а ведь тема, согласитесь, для нашего времени весьма актуальная. Существо доноса не меняется от его содержания и жанра; впрочем, этих жанров, как и любых форм и жанров словесного творчества, вообще говоря, не так много. Можно составить научную классификацию доносов, разделив их на политические, литературные, бытовые, доносы на вышестоящее начальство и доносы на подчинённых, доносы детей на родителей, учеников на своих наставников, супругов друг на друга и, наконец, доносы на сочинителей доносов.

Ученик Иисуса, тот, кто, говоря современным языком, наступал на Учителя, был, как рассказывают, настолько истерзан угрызениями совести, что в отчаянии швырнул подкупившим его тридцать денариев, немалую для того времени сумму, пошёл и удавился. В этой истории важно упоминание о гонраре. Корыстное доносительство, будучи ничем не лучше идейного, всё же выглядит более постыдным.

Тема, как уже сказано, живогрепещущая, не менее актуальная, чем в Римской империи I века, когда, как говорит Тацит, плата доносчикам равнялась их преступлениям. Мы жили с вами, дорогая, не в Риме. Мы жили в другой стране. В стране, где ни одно учреждение, ни один трудовой коллектив и никакая дружеская компания не обходились без тайного осведомителя. Можно предположить, что количество доносчиков в этой стране было, во всяком случае, не меньше количества заключённых. Представим себе (это уже, конечно, поэтическая фантазия) общее кладбище обитателей лагерей, площадь с автономную республику, что, впрочем, не так уж много по сравнению с размерами нашего государства. На каждом камне можно было бы вырезать рядом с именами усопших имя стукача. Или представим себе, какая доля государственного бюджета приходится на выплату пенсий бывшим резидентам-оперуполномоченным и их начальству. Но возвратимся к нашей теме (что за мания вечно отвлекаться!).

Упомянутую классификацию следует дополнить перечнем мотивов, которыми руководствуется доносчик. Очевидно, что к двум перечисленным — *убеждение* и *деньги* — нужно добавить, по крайней мере, ещё один: *страх*. Особый случай — доносительство *из любви к искусству*, мы оставим его в стороне. Я думаю, что типичный осведомитель советских времён, кем бы он ни был: предателем во имя коммунистических идеалов или просто продажной шкурой, стукачом-карьеристом или обыкновенным *сексотом* на зарплате, мелкой сошкой, рядовым тружеником, запуганным сыном врага народа или крупным осетром, полуграмотным пролетарием или бородастым писателем в кольчужном свитере а ля Хемингуэй с трубкой в зубах, профессором в академической ермолке или церковным иерархом, — кем бы он ни был, в большей или меньшей степени оказывался добычей всеобщего стра-

ха. В этом отношении он ничем не отличался от доносчиков эпохи римского принципата. Страх водил пером потомков Искарриота, страх был общим знаменателем всех мотивов предательства: идейности, патриотизма, карьеризма, зависти, ревности. Думаете ли вы, что времена эти прошли бесследно, не оставив в душах людей отложений напоподобие тех, которые сужают кровеносные сосуды?

Мы вернулись к медицине. На чём, стало быть, я остановился?.. Существует ирония судьбы в истории народов и в жизни отдельного человека, и состоит она в том, что всё повторяется. У кого не было врагов, того губили друзья, замечает Тацит. Тем, что я когда-то провалился в люк, я был обязан загадочному другу студенческих лет. Теперь я сам постиг сладость доноса.

Разумеется, я докладывал — или «ставил в известность», как тогда выражались. Заметьте, какая большая разница между этими выражениями: докладывать — акт формальный, между тем как ставить в известность значит действовать не по долгу службы, а по велению души. Я докладывал о случае криминального аборта у многолетней женщины, который едва не окончился смертью. Я доносил на невежественную, корыстную абортмахершу, у которой, как выяснилось, существовала в округе довольно многочисленная клиентура. Письмо предназначалось не для конторы, ведавшей доносами и доносчиками, но было всего лишь адресовано в районное отделение милиции. Тоже, впрочем, достаточно одиозный адресат... Незачем говорить и о том, что не страх руководил автором письма, причём тут страх?

А что же тогда руководило? Благородное негодование? Психология доносительства — многогранная тема. В числе мотивов я не упомянул сладость мести, вдобавок безопасной. Тот не ведал наслаждения, кто её не испытал. Это было, как если бы никем не видимый, я врезал кому-то там *между рог* (простите за это полублатное речение), не боясь, что мне ответят тем же. Что стало с этой «баушкой», я не знаю. Кажется, её отпустили.

Дела давно минувших дней... Спокойной ночи, дорогая.

1995

Quomodo scribimus¹

1

Работа над новым романом начинается с того, что писатель диктует стенографистке всё, что пришло в голову: общий замысел, силуэты действующих лиц, сюжетные линии, соображения о стиле и ритме. Далее — диктовка черновых глав, правка; каждая очередная

¹ Как мы пишем (*лат.*).

редакция перепечатывается на бумаге другого цвета. И, наконец, мы берём в руки перо. В просторном кабинете на вилле «Аврора» в Pacific Palisades, районе Лос-Анджелеса, стоит несколько столов, за одним можно писать стоя, за другим сидя, третий приспособлен к писанию лёжа. Всё оборудование литературной мастерской, письменные принадлежности, пишущие машинки, бумага, картон — отменного качества. Домашняя библиотека — 25 тысяч томов. Так работал Лион Фейхтвангер, который и в эмиграции оставался одним из самых читаемых писателей своего времени.

Ганс Фаллада, его современник и соотечественник, оставшийся в Германии, не знал никакой технологии, писал когда придётся и чем придётся. Заточённый в исправительное учреждение для наркоманов и алкоголиков, он написал свой роман «Der Trinker» («Пьяница», 1950) на добытых где-то листочках; когда бумага кончилась, он стал писать между строчками, потом ещё раз между строчками.

Гораций (в «Сатирах») советует начинающему поэту почаще переворачивать стиль: римляне писали острой костяной палочкой на дощечках, покрытых воском, другой конец стила был плоским для уничтожения записи. Смысл фразы: зачёркивай написанное, работай над текстом. Рукописи Пушкина показывают, что это значит: они сплошь исчёрканы.

Карамзин на вопрос, откуда у него прекрасный слог, отвечал: из камина; напишу, и в камин, снова напишу — снова в камин.

В одном письме Флобера говорится, что он просидел за столом двенадцать часов и сделал две фразы.

Гнилые яблоки Шиллера вошли в пословицу: без запаха яблок, лежавших в ящике стола, он не мог привести себя в рабочую форму. Бальзак варил себе по особому рецепту крепчайший кофе, а Бодлер пытался подстегнуть воображение гашишем. Некоторые известные романисты, прежде чем начать книгу, составляли подробные биографии героев, рисовали генеалогические деревья, чертили планы городов и географические карты. Жорж Сименон, чьи романы выпущены в серии «Библиотека Плеяды» (что означает причисление к лику классиков), оснастившись планами и биографиями, запирался в кабинете и за неделю, работая чуть ли не круглые сутки, создавал очередной роман (по русским меркам — повесть). Роман маркиза де Сада «Сто двадцать дней Содомы» был написан довольно мелким почерком на бумажном рулоне длиной в двенадцать метров. Пруст создал свою многотомную сагу об утраченном и обретённом времени большей частью по ночам, лёжа в постели, в комнате с наглухо зашторенными окнами, а потом и обшитой пластинами пробкового дерева. По ночам работали Леонид Андреев и Кафка. Хемингуэй мог писать только стоя — на пишущей машинке, перед высоким бюро. Томас Манн провёл чуть ли не полжизни сидя в сво-

ем кабинете, а его сын Клаус Манн писал романы, статьи, мемуары и прочее в номерах отелей и пансионатов: у него (как и у Набокова) не было собственного жилья. Жан Жене, превратившись из бродяги и уголовника в знаменитого писателя, обитал только в гостиницах.

2

Любопытная книжка под названием «Как мы пишем» вышла в Ленинграде в 1930 году: мастера современной русской литературы, как их аттестует составитель, ответили на вопросы анкеты. Как видно, тогдашних читателей, на пороге уже начинающегося мёртвого времени, все еще интересовало, как работает литератор, составляет ли он план работы, пишет ли он утром или по ночам, на машинке или от руки, чем пишет, пером или карандашом, курит ли за столом, и т.д. Ещё удивительней прямо или косвенно выражаемая в каждом ответе уверенность писателей в том, что публика интересуется ими, ждёт их произведений, что у людей есть время и охота их читать.

Выясняется, что один «выборматывает» свою прозу на прогулке, за обедом или бессонной ночью и тут же записывает карандашом. Другой считает, что стук ремингтона вредно влияет на ритм фразы. Третий рассказывает, что сочинение есть нечто вроде сна на бумаге, но этим сном очень осторожно руководит бодрствующее сознание. Одни считают газету и журналистику полезной школой для прозаика, другие отрешаются от неё: работа в газете воспитывает поверхностное мышление и приучает к шаблонам. Одни, подобно Тригорину (и самому Чехову), спешат занести в записную книжку забавные словечки, сравнения, сюжетные схемы; другие работают по принципу куда кривая вывезет. Одни пользуются цветными карандашами, другие модным самопишущим пером.

Кто же они? Редактор книги «Как мы пишем» разослал свои вопросы известным, признанным писателям; как уже сказано, дело происходит, на рубеже тридцатых годов. Любопытно взглянуть, что осталось от этих мастеров.

Некоторых — таких, как Николай Тихонов, Михаил Слонимский, Николай Никитин, Алексей Чапыгин, Борис Лавренёв, поглотило забвение. Другие — Ольга Форш, Вячеслав Шишков — стали малочитаемыми авторами. Почти то же можно сказать о Вениамине Каверине, который пережил почти всех своих современников и друзей, сумел сохранить лицо, но остался, в сущности, автором одного произведения — «Двух капитанов». Юрия Либединского никто не станет читать ни за какие деньги. Константин Федин безнадежно испортил свою репутацию, но и без того ясно, что его дарование было переоценено. Евгений Замятин и Борис Пильняк, вычеркнутые из свят-

цев, вернулись, но былой популярности уже не приобрели. К Алексею Толстому, отнюдь не забытому, ставшему малым классиком, установилось насторожённое отношение, и не зря. Устояли Виктор Шкловский и Юрий Тынянов. Звезда Михаила Зощенко не только не потускнела, но разгорелась ещё ярче. Андрей Белый — классик русской прозы и поэзии. Горький остался тем, чем был.

Странная компания, чем-то напоминающая коммунальную квартиру 30-х годов, где на одной кухне стояли рядом бывшая титулованная дворянка и перебравшаяся в город дочь пастуха. Пролетарский писатель Юрий Либединский, для которого культура началась позавчера, и рафинированный интеллигент, поэт-символист и теоретик символизма, московский мистик и антропософ Андрей Белый. Поразительно, какой резкий отблеск бросает на всех время, казавшееся прологом вечности, на самом деле до смешного недолговечное. Белый, которому остаётся жить немногим больше трёх лет, заключает рассказ о своих писательских трудах и терзаниях надеждой, что «в 2000-м году, в будущем социалистическом государстве», творчество Белого будет признано «потомками тех, кто его осмеивает как глупо и пусто верещащий телеграфный столб».

Поразительно, как насмеялось над всеми время. Либединский, один из вождей РАППа и автор «Недели», которая вошла в школьную программу, не мог пожаловаться, в отличие от Белого, на глухоту окружающих. Он рассказывает, как он сочинил свою знаменитую повесть. «Я тогда был в компартии второй год... Каково было моё бытовое окружение? Это были, конечно, товарищи по политотделу, коммунисты из целого ряда организаций, чекисты, продовольственники..., давшие основу для целого ряда характеров „Недели“. У меня было постоянное ощущение необыкновенности этого времени, восторга перед ним, ощущение, что всё, что происходит каждый день, никогда в мировой истории не происходило».

Он же — о технологии литературного мастерства: «Я беру конкретный действительный факт, но я усиливаю или ослабляю его, вместо одного человека я ставлю другого, вместо парня энергичного, хорошего коммуниста, появляется такой человек, как Мартынов» (персонаж повести, дряблый интеллигент).

«Мне кажется, — заключает Либединский, — что в этом и состоит один из важных законов работы художника».

Как в докладе на партсобрании полагается сочетать отчёт об успехах с самокритикой, так и в заметках Либединского уделено место недостаткам его работы. На один из таких недостатков указал товарищ Троцкий. Оказывается, в повести «Неделя» отсутствует рабочий класс.

Эти представления о литературе, которые вскоре превратятся в догмы социалистического реализма, принадлежат не одному автору

«Недели». Его устами вещает всё то же время. Художественная проза как механическое соединение впечатлений жизни, уверенность в том, что творчество есть сумма технологических приёмов обработки так называемого факта, что «литературному мастерству» можно обучить молодёжь, как мастер на заводе наставляет ученика, вероучительная функция литературы и примат непогрешимой идеологии, истовое желание шагать в ногу с временем и рабская зависимость от времени.

Даже писатели старшего поколения культивируют простоту, понимаемую как упрощение. Прозаик и драматург Борис Лавренёв, который мог бы сказать о себе, как Филипп Филиппович Преображенский: я московский студент (окончил до революции юридический факультет), в 1930 году формулирует своё художественное кредо так: «Когда мы пишем для театра и для читателя..., мы имеем дело с рядовой массой, состоящей из сотен тысяч людей, из которых девяносто процентов никогда не соприкасались с законом конструирования литературного слова... Я считаю, что язык пьесы должен быть не выше среднего языка. Он должен быть языком простым и не выходящим за пределы понимания рядового слушателя». Зощенко: «Писателю наших дней необходимо научиться писать так, чтобы возможно большее количество людей понимало его произведения... Для этого нужно писать ясно... и со всевозможной простотой». Кажется, участникам сборника «Как мы пишем» ещё не приходит в голову, что «искусство для народа» практически означает искусство, понятное (и близкое) начальству.

3

(Письмо к Ulrike L.)

Вы разрешили мне ответить по-русски, вас интересует, как пишутся повести и романы. Как пишу я? Прежде я писал пером, перепечатывал на машинке; мне казалось, что таким способом я отстраняюсь от рукописного текста, слишком связанного с личностью автора и даже с его телесностью; машинопись позволяет увидеть текст со стороны как бы чужими глазами. С появлением компьютера всё это изменилось, постепенно техника словно породнилась с личностью, я привык сразу делать наброски на компьютере; но и теперь, принимаясь за что-то новое, иногда пишу пером. Писание от руки расковывает. Но я не сторонник самопроизвольного писания, хоть и предпринимал когда-то попытки в этом роде, не зная о том, что автоматическое письмо давно изобретено сюрреалистами.

Произведение может зародиться внезапно, без видимого повода, когда слушаешь музыку (которая вообще очень помогает в работе), при чтении чего-нибудь постороннего. О некоторых своих романах и рас-

сказах я могу точно сказать, что́ было первой искрой. Замысел начинает клубиться в мозгу и выглядит куда увлекательней, чем когда принимаешься за дело. То, что при этом получается, кажется тяжёлой неудачей и томит скукой. Произведение, сказал Вальтер Бенъямин, это посмертная маска замысла.

Скуку надо каким-то образом преодолеть. В молодости я мог заниматься сочинительством в любой обстановке; писал урывками, в промежутках между между работой; писательство работой не считалось. Теперь мне нужна тишина. Больше всего меня угнетает пошлая музыка. Зато у меня появилось свободное время. Я пишу утром — чем раньше начать, тем сподручней — и до обеда, лучше всего в дождливую погоду, в снегопад. Во второй половине дня сочиняю письма, статьи, что-нибудь легкое. Вечером настроение окончательно портится, всё, чем занимался, предстаёт неудачным, пошлым, ненужным. Единственная надежда — утром, может быть, удастся обрести бодрость.

Я не составляю планов, набрасываю лишь, чтобы не забыть, отдельные мысли или сюжетные направления, хотя и они чаще всего оказываются бесполезными. Я заметил, что легче продолжать работу, когда, не зная, что выйдет дальше, видишь все же конечный пункт — знаешь приблизительно, чем все кончится. С годами я стал уделять больше внимания сюжету, «истории» в собственном смысле. Проза — это рассказывание историй. Но теперь мне все чаще приходится начинать, не имея вовсе никакого представления, куда все это приведет, чем кончится.

Я придаю очень большое значение языку, ритму и звучанию фразы, много раз переделываю свои пассажи и особенно — начальные периоды, зачин, от которого все зависит. Флобер советует читать свою прозу вслух (я читаю шепотом). Стараюсь находить слова не только с точным, нужным мне значением, но и с необходимым числом слогов, с ударением, которое встраивается в ритм предложения. Больше всего в произведениях современных писателей меня угнетает болтливость. Многоглаголанье — наследственный недуг русской литературы. Но писать лаконично, как написаны «Повести Белкина» так же трудно, как вести аскетически-добродетельную жизнь.

Любое самое безумное произведение должно быть оснащено убедительными реалиями. Нужно уметь пускать пыль в глаза; у читателя не должно быть никаких сомнений относительно компетентности автора в специальных вопросах. Мне приходилось изучать астрологию, знакомиться с каббалой, читать труды об эллинистическом Египте, об Иудейской войне Веспасиана и Тита, разглядывать планы Старой Москвы, набираться сведений об образе жизни волков, о географии Восточной Пруссии, о конструкции подводных лодок второй Мировой войны, о боях в Берлине, о последних днях Гитлера и Ста-

лина — и т.д. и т.п., хотя бы вся эта информация лишь минимально использовалась в самом тексте. Я выверяю термины и специальные обороты речи, постоянно пользуюсь словарями и справочниками. Художественные (то есть притязающие на художественность) сочинения я пишу только по-русски.

Самое тяжкое и неприятное — написать «рыбу», победить угрюмое молчание бумаги, набросав первоначальный, сколько-нибудь связный текст. Все равно что прокладывать лыжный след по глубокому снегу. Этот пробный текст ужасен, неопрятен, нелеп, мало что останется от него в дальнейшем. Но зато над ним можно работать, от него можно отталкиваться, след проложен — это уже легче. Я сочиняю такие наброски до тех пор, пока не накопится сколько-то страниц и почувствуешь, что выдохся. Тогда я возвращаюсь к началу, чтобы взять разбег.

Трудно сдвинуться с места. Лошадь раскачивает тяжёлый воз, прежде чем дёрнуть. Вдобавок день на день не приходится. Хемингуэй дал хороший совет: не вычерпывать воду из колодца до дна, закончить работу сегодня на том месте, с которого нетрудно будет продолжать завтра. Съезжать с горки, а не брать подъем, тогда будет легче одолеть и следующую крутизну. И так продолжается — часто очень долго — до тех пор, пока не произойдёт перелом, пока в воображении не возникнет некое целостное представление о времени, месте и атмосфере действия — мир романа. Этот мир можно обживать.

Жан-Луи Барро писал о том, как рождается спектакль. Словно готовят майонез: взбивают без конца, ничего не получается. И вдруг наступает момент, когда составные части больше не расслаиваются — майонез готов.

Нечего и говорить о том, что мир романа — отнюдь не то, что называют действительностью. Но совершать плагиат у действительности никому не возбраняется. Пишешь или по крайней мере начинаешь писать о чем-то тебе знакомом, хорошо знакомом. Опираешься на жизненный опыт, вспоминаешь людей, видишь обстановку, слышишь голоса, чувствуешь запахи. Помнишь прошлое до мельчайших подробностей. Так я помню своё детство и юность. Но восстановление неотделимо от химического процесса, громко именуемого творчеством, и процесс этот денатурирует некогда реальное прошлое, как кислота денатурирует белок. Происходит преобразование. И вот, по мере того, как вживаешься в это преобразённое прошлое, оно перестает быть прошлым, и возникает удивительное чувство, что действительность — фантом. Невольно поддаешься подобию самогипноза. Подлинной реальностью стал мир романа. Здесь твое отечество. Ты у себя дома. Необязательно всё описывать, важно все хорошо себе представлять. Совсем не надо всё объяснять, достаточно немногих ориентиров, кратких пояснений, сделанных невзначай. Впуская читателя в свой мир, опускай промежуточные звенья.

Дай ему осмотреться самому. У читателя должно возникнуть впечатление, что ты знаешь гораздо больше, чем сообщаешь. Оставь ему простор для домысливания и воображения.

То, о чём идет речь, не новость. Приходится считаться с самостоятельностью твоих персонажей, с их манерой вести себя, с их повадками и капризами. Шахматист ведет игру, переставляя фигуры, но фигуры действуют по собственным правилам; игрок у них на службе. Писатель распоряжается прозой, а проза правит писателем.

2003

Левиафан, или величие советской литературы

Вспоминая книги, прочитанные в отрочестве и юности, оставившие глубокий след, я не нахожу среди них почти ни одной, созданной в СССР после 1930 года. Книги, вышедшие в годы пятилеток, книги военных лет, некогда страстно обсуждаемые и, очевидно, имевшие успех, остались за бортом. Хорошо это или плохо?

Можно догадаться, почему злободневная литература встречает у подростков меньше понимания, чем у взрослой публики. Подросток охотней живёт в мире романтического прошлого, в великом мире истории или — что часто одно и то же — мифа. В известном смысле пятнадцатилетний книголюб — более бескорыстный читатель, а может быть, и более культурный, чем читатель в сорок лет. Может быть, поэтому взрослые читатели согласны потреблять литературу «на актуальные темы», каково бы ни было её качество.

Во всяком случае, после классиков жевать произведения современных отечественных писателей было невозможно. Сторониться этой литературы, избегать её, как избегают дурного общества, было чем-то вроде защитного рефлекса задолго до того, как стали понятны механизмы манипулирования литературой. Это покажется снобизмом, но произведения советских романистов выглядели глуповатыми, написанными для подростков, — то есть именно теми, от которых подросток отворачивается. Такое почти инстинктивное пренебрежение не могло пройти безнаказанно. В год окончания войны, на предварительном собеседовании с поступающими в Московский университет парторг филологического факультета осведомился, читал ли я «Волоколамское шоссе» Александра Бека. Я ничего не мог ответить, я даже не слышал об этом писателе.

Живи мы в другой стране, на вопрос экзаменатора, что я думаю о современном писателе NN, можно было бы ответить: «Sorry, но этот автор мне не нравится». На что последовало бы возражение: «Прекрасно,

вот и поделитесь Вашими соображениями, почему он Вам не нравится». Этот мысленный эксперимент мгновенно устанавливает водораздел между советской литературой и любой другой. Советская литература *не может не нравиться*, как не может не нравиться советская власть. Можно разгуливать по залам этой литературы, болтать с коллегами и попивать напитки в буфете, но не следует ни на минуту забывать, что у дверей стоит вооружённая стража.

Очень может быть, что повесть Бека всё же была достойна внимания 17-летнего юнца; вообще никакое предубеждение не заслуживает похвалы. С тех пор утекло много воды. Осталась позади целая эпоха русской истории и литературы. Перечеркнуть её, сделать вид, что её не было, мы не можем.

Академическое литературоведение всегда уделяло слишком мало внимания тривиальной словесности. Между тем следовало бы отнестись серьёзней к советской литературе её зрелой поры, ближе и пристальней рассмотреть образцовые творения её корифеев. Подобно всякой тривиальной литературе, она традиционна и ультраконсервативна. Нам пришлось постепенно привыкнуть к мысли, что и в те времена — и даже именно в те времена, — когда государство скрутило ей руки, советская литература отнюдь не знаменовала обрыв русской литературной традиции. Какая ни есть, она была преемницей классической литературы, — если угодно, паразитировала на ней (что и является уделом всякой массовой словесности).

«Я хочу поставить один вопрос, именно, едина ли русская литература?» (Мандельштам, 1922). Порой казалось, что нить оборвана. Но это только казалось. Единый путь ведёт через десять веков от Илариона, предполагаемого автора «Слова о законе и благодати», до счастливых обитателей Переделкина и Малеевки.

Сравнительно недавно делались попытки представить литературу (а также зодчество, изобразительные искусства и т.д.) советской и в первую очередь сталинской поры — некоей разновидностью авангарда. Эти попытки смехотворны. Социалистический реализм — глубоко реакционная теория, породившая столь же реакционную практику. Каково бы ни было идейное содержание романов, поэм и пьес, отвечающих канонам этого искусства, его эстетика, вся система его приёмов всецело ориентированы на XIX век.

Представим себе, смеха ради, Толстого, который не умер и не был зарыт в роще у оврага Старого Заказа, а, как старец Фёдор Кузьмич, укрылся в сибирских дебрях и дожил до светлой зари. Толстого, пересмотревшего свои ошибки, преодолевшего свои кричащие противоречия, внимательно прочитавшего работу Ленина «Лев Толстой как зер-

кало...»; Толстого — маршала советской литературы, Толстого — лауреата премий, Толстого — генерального секретаря Союза советских писателей. Что бы он написал? То, что в действительности написал другой генеральный секретарь: роман «Молодая гвардия». Достаточно прочесть первый абзац: его перо, не правда ли.

Совсем не удивительно, что боец РАППа оказался эпигоном дореволюционной литературы. Призыв молодого Фадеева учиться у классиков, целая дискуссия, разгоревшаяся в конце двадцатых годов, о том, критически или некритически овладел Фадеев «творческим методом» Льва Толстого, не должны вызывать улыбку. В том-то и дело, что этот пудель, выстриженный под льва, — его наследник. Уж какой есть.

О литературе нельзя судить, как судят о писателе, — по его лучшим, высшим достижениям. О литературе нужно судить по её худшим или хотя бы рядовым образцам. Именно в них наглядно проступают её родовые черты. Писатель рождается и созревает внутри некоторой традиции, но степень его значительности определяется тем, насколько ему удалось выломаться из традиции. Всю жизнь писатель ведёт войну с литературой, вскормившей его — либо сдаётся, превращаясь в её заурядного представителя.

К литературе применимо понятие парадигмы, введённое в науковедение Томасом Куном, автором нашумевшей в 60-х годах книги «Структура научных революций». Слово «парадигма» заимствовано из грамматики, где оно означает образец склонения, спряжения и т.п.

Напомним, что под парадигмой у Куна подразумевается представление о том, какой должна быть «нормальная» наука: круг проблем, достойных рассмотрения, система взглядов, основанных на достижениях, которые признаны классическими, поле аксиом, предписывающих, что считать научным, а что ненаучным. Рядовая наука предполагает мирную исследовательскую деятельность под сенью чтимых монументов — в разное время ими были «Физика» Аристотеля, «Альмагест» Птолемея, «Вращения небесных сфер» Коперника, «Начала» Ньютона и так далее. Мирный период продолжается до тех пор, пока новая революционная теория не заставит пересмотреть утвердившиеся взгляды, опрокинет старую парадигму, учредит новую.

В литературе существование внутри парадигмы столь же почтенно, ибо тоже осенено бессмертными образцами. Литературное сообщество, аналог сообщества учёных, сознательно принимает позу благоговейного ученичества у великих предшественников. Тень Толстого нависла над русской прозой на доброе столетие. Нелегко усвоить жестокую истину, что «Войну и мир», этот «Альмагест» отечественной литературы, может пошатнуть какой-нибудь новый Коперник.

Вместо этого литература обязуется свято исполнять свой долг — нести светоч, выпавший из могучей руки основоположника. Делать это можно только шагая в едином строю. Поэтому литература находит своё наиболее адекватное воплощение не в лучших, аномальных образцах, а в худших — нормальных. Не Пушкин и Чехов представляют «нормальную» русскую литературу XIX века, а Бенедиктов и Потапенко. Литература — враг писателя. Чехов заметил в одном письме: «Мы можем взять усилиями целого поколения, не иначе... Некоторым образом артель». Сам он, однако, уклонился от участия в этом субботнике.

Парадигма советской литературы в конце концов оказалась парадигмой позднего, умирающего XIX века. В конце концов, ибо это случилось не сразу. Если, вслед за М.О. Чудаковой, мы поделим историю русской литературы после 1917 года на два периода, приняв за условную границу год смерти Маяковского или год созыва первого съезда советских писателей, то окажется, что лишь вторая половина выглядит безупречно советской. Можно заметить, как стремительно меняется общество в решающее для становления государственной литературы десятилетие 1925–1935. Меняются лица, исчезают образованные люди, упрощается язык, уплощается мышление. За каких-нибудь несколько лет происходит чуть ли не антропологическая революция. Происходит кристаллизация режима. Парадокс утверждающейся литературы бросается в глаза: она вещает о новом человеке — и возвращается к старой, обветшавшей эстетике. Бескомпромиссное отвержение всякого новаторства — её главная черта.

И, однако (могло ли быть иначе?), есть в ней нечто новое, неслыханное. Дадим ещё раз волю воображению, представим себе Творца, который в первый день отделил свет от тьмы, во второй день — верхние воды от нижних, далее сотворил землю и тварей земных и, наконец, на седьмой или восьмой день, когда всё было готово, когда были созданы производительные силы и производственные отношения, сконструирован государственный механизм, сочинена идеология, изобретена партия, создана печать, — сказал себе: а теперь придумаем литературу.

Да будут писатели! Учредим Союз. Установим приличные гонорары. Построим дома творчества, создадим комиссии, семинары, секции, редакции. Придумаем литературные жанры и способы сочинения художественных произведений, изобретём универсальную теорию литературы и назовём её социалистическим реализмом.

В этой утопии есть доля реальности. Эта литература есть прежде всего организация; всё остальное — книги, тексты, словесность,

литературный процесс — представляется вторичным: это продукт её жизнедеятельности. Порой она в самом деле уподобляется огромному бюрократическому организму, смысл которого — в нём самом, а то, чем он ведаёт, есть некий придаток. Это литература, которая существует не потому, что она возникла, есть и ничего тут не поделаешь, а потому, что в тщательно выверенной, смонтированной по единому плану государственной машине предусмотрен вид оснастки, называемый художественным творчеством. Литература, которая в такой же мере порождает литературную бюрократию, в какой сама ею порождена. Таков её проект, в который жизнь, естественно, вносит помехи и неполадки.

Строго говоря, нельзя представлять себе дело так, что была литература и были надзирающие за ней инстанции. Сказать, что советская литература существовала и развивалась в условиях несвободы, значит польстить ей или её оклеветать. В любом случае эта точка зрения основана на недоразумении: термин «цензура» принадлежит другой эпохе и плохо подходит к организованной литературе, так как подразумевает нечто внеположное литературе. Тогда как в нашем случае цензура — её интегральная часть. Цензура встроена в литературу; цензура — это и есть литература. Несвобода входит в её определение, предполагает её существование и, следовательно, уже не является несвободой.

Хотя к услугам пишущих существовал Главлит, предназначенный, согласно его полному наименованию, для охраны государственных тайн в печати, хотя тайной было всё, от лагерей до статистики гриппа, от стихийных бедствий до цен на картошку, и цензоры не сидели без дела, однако можно предположить, что упразднение этой конторы не изменило бы сути и облика советской литературы. Вся система прохождения текстов через иерархию редакторов и начальств, комбинация шлюзов и сит, гарантировала выдачу высококачественного очищенного продукта. Главной же инстанцией, контролирующей писателя, был, как известно, он сам. Писатель сам оценивал себя совокупным взглядом всех инстанций, выполнял для себя роль и редактора, и директора, и партийного опекуна, сам, предваряя официального критика, учинял себе мысленный разнос, сам стучал на себя воображаемому, хотя и вполне реальному, оперативному уполномоченному.

В воспоминаниях покойного В.Я.Лакшина «Открытая дверь» подробно рассказано о том, как «загоняли в глухой угол» (по выражению мемуариста) возглавляемый Александром Твардовским «Новый мир». Непрестанные цензурные и административные придирки; тщетные по-

пытки отстоять талантливую вещь; травля в официальной печати, демонтаж редакции и, наконец, отставка главного редактора. Кто не помнит, что значил в то время для образованной публики «Новый мир»? Перед нами один из самых ярких примеров того, как жизнь нарушала «проект». Именно поэтому, читая эти волнующие страницы, испытываешь некоторое недоумение.

Все участники «на работе». Все получают зарплату, по тем временам очень неплохую. Обязанность всякого чиновника — соблюдать трудовую дисциплину, другими словами, выполнять инструкции и требования начальства. Вы их не выполняете или выполняете недостаточно аккуратно; вам говорят — следуйте такой-то линии, вы же норовите с помощью разных уловок от неё отклониться. Начальство недовольно и прибегает к санкциям. Чего ж вы жалуетесь?

Мемуары Лакшина, как и множество подобных книг и статей, создают иллюзию, будто существовала независимо развивающаяся литература и противостоящая ей литературная бюрократия. Это неверно — во всяком случае, с точки зрения бюрократии, которая представляет государство и вне которой при существующем строе литературы вообще не может быть. *Do ut des*, говорит государство, Левиафан Гоббса. «Я даю, чтобы и ты давал». Кто платит, тот и заказывает музыку.

Главный редактор обитает на комфортабельной даче, предоставленной ему начальством, приезжает на работу в государственной машине с шофёром, чьи услуги ему не надо оплачивать. В городе у него имеется прекрасная квартира в доме на Бородинской набережной. Главный редактор — народный, то есть государственный, поэт-лауреат, занимающий высокие посты в партийной и литературной бюрократии. Союз советских писателей часто уподобляли министерству; можно сравнить его с офицерским корпусом. Мы бы не удивились, услышав, к примеру, что на съезде писателей первый секретарь ССП Георгий Марков появился в мундире генерала армии, Михаил Шолохов — в казачьих портах с лампасами и с шашкой на боку, а какой-нибудь Расул Гамзатов — в газырях и шароварах хана-главнокомандующего национальными формированиями. Твардовский в этой табели о рангах никак не ниже генерал-полковника.

Материальное обеспечение творчества, вопрос, на какие средства существует писатель, — тема, которая редко обсуждается в компендиумах истории литературы. Гораций получил в подарок поместье в Сабинских горах и мог не думать о гонораре; впрочем, в те времена гонораров не существовало. Тассо пользовался милостями феррарского двора, Гёте был министром герцога. Русский Серебряный век был оплачен богатыми купцами; то же можно сказать о другой, столь же яркой, предзакат-

ной поре, о последних десятилетиях угасающей Австро-Венгрии: созвездие гениальных писателей, художников, музыкантов, учёных содержала состоятельная еврейская буржуазия.

В XIX веке писатель ещё мог жить и содержать семью на литературные заработки, но уже Достоевский, преследуемый заимодавцами, жаловался, что редактор платит ему меньше, чем Тургеневу, у которого вдобавок есть имение. Кафка, несмотря на сложные отношения с отцом — торговцем мануфактурой, всю жизнь был вынужден пользоваться его поддержкой. Джойс, добровольный изгнанник, перебивался частными уроками, а русский эмигрант Гайто Газданов провёл четверть века за рулём ночного такси в Париже. После Второй мировой войны материальная база писательского труда была окончательно подорвана, и сегодня в западных странах прозаик, серьёзно работающий в литературе, — чаще всего бедняк и принужден постоянно искать средства для пропитания; о поэтах и говорить нечего.

Организованная литература радикально решила этот вопрос. На гонорар от книжки скромного объёма можно жить по меньшей мере год припеваючи. Как продаётся книга, раскупается ли она, не имеет значения, «бабки» vyplачиваются, как только сочинение подписано к печати. Что касается стихотворцев, то один из испытанных способов недурно зарабатывать — переводы фантомных национальных поэтов.

Доходы растут с повышением чина. Никто никогда не рещался осведомиться, сколько заколачивает генерал советской литературы — Михаил Алексеев, Юрий Бондарев или Сергей Михалков, мы называем первые пришедшие в голову имена. К окладу по должности в иерархии писательского Союза, окладу главного редактора одного из ведущих журналов, члена редколлегий, комиссий и т.п. присоединяются высокие литературные гонорары. Продуманная система гонорарного вознаграждения предусматривает многократный барыш за публикацию одного и того же романа: в лично руководимом журнале, в трёхмиллионной «Роман-газете», в издательстве «Советский писатель», в областных издательствах, в серии «Библиотека рабочего романа», в серии «Библиотека сибирского романа», в трёхтомнике «Избранное», в собрании сочинений... Публикации сопровождаются хвалебным хором критиков, намечается экранизация, маячит государственная премия. Как всякий вельможа в этой стране, живой классик организованной литературы пользуется бесчисленными поблажками и привилегиями, его жилищные условия, стол и гардероб сопоставимы с условиями жизни партийного бонзы, генерала КГБ или атомного академика.

Этот образ жизни, этот тип социального бытия порождает характерную кастовую психологию. Советские писатели образуют особого рода сословие, наподобие военного. Представителю организо-

ванной литературы не придёт в голову мысль о проблематичности его ремесла, как офицеру не придёт в голову спросить, для чего нужна армия. Писатель не спрашивает себя, зачем нужна литература, нужна ли она вообще. Он не сомневается в том, что привилегии, которыми оградил его от жестокой жизни заботливый Левиафан, естественны и справедливы.

Он твёрдо знает, что уж он-то нужен. Кому? Времена меняются, и сообразив, наконец, что с режимом не всё в порядке, он уже не заявит, как некогда Маяковский, что сознательно предоставляет свое перо в услужение коммунистической партии и т.п. К концу 60-х годов организованному писателю становится неловко повторять слова Шолохова о том, что «наши сердца» принадлежат партии и, стало быть, мы пишем по велению сердца. Зато он охотно исповедует популистский миф. Этот миф баюкает его совесть.

Писатель пишет о народе и для народа. Народ ждёт от своего писателя произведений, нужных народу. Писатель вдохновляется любовью к родине, родина выше всего, он должен оставаться с ней, он обязан ей служить, другими словами, он должен во что бы то ни стало печататься. Вот основания этого мифа. Представитель либерального крыла официальной литературы говорит себе: нет, я не то, что эти партийные дубы и блюдолизы, я не желаю иметь с ними ничего общего. Он прав. И вместе с тем он как будто не замечает, что по-прежнему сидит на цепи, по-прежнему служит идеологии, которая давно уже отказалась и от пролетарского интернационализма, и от самого марксизма, превратившись в идеологию оголтелого государственного патриотизма.

В этой литературе — и в этой среде — серьёзный дискурс о современном искусстве, в сущности, невозможен. Философия творчества сведена к школьным прописям. Всякая сложность изгнана. Ирония и скепсис представляются зловредным западным изобретением. Писателю организованной литературы незнакома рефлексия, он убеждён, что она и не нужна. О такой литературе можно сказать, что она была самой простодушной литературой в мире и оттого самой лживой.

Разумеется, эта литература немислима без того, без чего немислимо и невозможно это государство, — без повсеместного незримого присутствия тайной полиции. Без слежки и доносительства, без разветвлённого аппарата репрессий, без тайны, о которой все знают, без того, что известно каждому, но о чём никто не говорит.

Организованная литература не существует без своей нижней половины. Этот писатель, словно мифологический монстр, двуприроден: сверху — тело человека, снизу — нечто поросшее шерстью. Над трибуной возвышается дородная фигура литературного сановника в

дорогом заграничном костюме, с планками орденов, со звёздочкой лауреата; загляните вниз — там хвост и копыта. Под светлыми залами и кулуарами дворца советской литературы расположены подвалы.

Что и говорить, по крайней мере со времён Чаадаева русский писатель привык иметь дело с политическим сыском. Полицейское дело, гласный или негласный надзор — обычная история. Ничего подобного, однако, тому, что можно назвать брачным союзом литературы и «разведки», не существовало в старые времена. Речь идёт не только о грубом насилии, но о долголетнем сожительстве. Точнее, как это часто бывает в браке, насилие и соительство — две стороны одного и того же. Связь советской литературы с ведомством тайного террора выражается, в частности, и в том, что многие сотрудники этого ведомства сами являются писателями, а многие писатели — сотрудниками ведомства.

Тут мы рискуем вломиться в открытые двери, потому что об этом сказано и рассказано уже немало: что-нибудь около десяти процентов правды. Люди живы, и живы органы. Архивы могут ещё пригодиться.

То, что известно, относится главным образом к репрессиям сталинской поры. Все знают или хотя бы слышали о замученных писателях. Среди них было, увы, немало самых преданных и правверных. В любом случае дело не обходилось без доносчиков, осведомителей, так называемых свидетелей и экспертов, и если репрессии носили массовый характер, массовым и повсеместным было и доноительство. Кто же эти люди?

Результаты работы комиссии Гаука, которая занималась расследованием деятельности бывшего министерства госбезопасности ГДР, могут служить материалом для сравнения. Каждый, кто знаком с документами Stasi, может лишний раз убедиться в том, что это учреждение рабски следовало советскому образцу. Брак литературы и Органов был таким же правилом в Восточной Германии, как в СССР. Процент писателей, состоявших на жаловании в качестве «неофициальных сотрудников», убийствен. Среди них — известные беллетристы, поэты, критики.

Едва ли мы узнаем обо всех зубчатых колёсах, шкивах и приводных ремнях, соединивших тайную службу с организованной литературой. Кровавая гадина успела замести следы. Но невозможно усомниться в том, что по крайней мере в годы расцвета советской политической полиции преуспевание именитых, увенчанных лаврами и осыпанных дарами представителей и предостоятелей организованной литературы не могло состояться без заслуг перед секретным ведомством. И теперь мы спрашиваем себя: что нам делать с этой литературой?

Придёт следующее поколение и потребует отчёта. Что мы ответим?

Томас Манн писал в известном письме к Вальтеру фон Моло (перевод С.Апта):

«Это, может быть, суеверие, но у меня такое чувство, что книги, которые вообще могли быть напечатаны в Германии с 1933 по 1945 год, решительно ничего не стоят и лучше их не брать в руки. От них неотделим запах позора и крови, их следовало бы скопом пустить в макулатуру».

Небольшая глава, посвящённая Андре Жиду, в четвёртой книге мемуаров Ильи Григорьевича Эренбурга «Люди, годы, жизнь», популярность которых оставила позади не только художественную продукцию автора, но и всю беллетристику той поры, основана на личном знакомстве писателей. Было время, когда Жид горячо сочувствовал коммунизму и Советскому Союзу. На фотографии середины тридцатых годов он стоит на митинге в честь открытия улицы имени Максима Горького в парижском предместье Вильжюиф, с поднятым кулаком — рот-фронт! Андре Жид был почётным участником прокоммунистического Парижского конгресса в защиту культуры летом 1935 года, удостоился там восторженной овации. В июне следующего года он выступал на траурном митинге памяти Горького в Москве, стоя на трибуне мавзолея рядом с вождями — Сталиным и Молотовым. В СССР вышло собрание сочинений Андре Жида.

Всё кончилось в одночасье, после того как он опубликовал тоненькую книжку «Retour de l'U.R.S.S.» («Возвращение из СССР»), ныне известную и в России. Автор был объявлен наймитом реакционных сил, Лион Фейхтвангер заклеил предателя в гневной статье, сочинения Жида были изъяты из библиотек. О нём не рекомендовалось даже упоминать. Но Эренбург вспомнил, и читатели мемуаров «Люди, годы, жизнь» были благодарны уже за то, что он осмелился это сделать.

Он вспомнил о нём через много лет, когда бывшего коммуниста давно не было в живых. «Я хочу попытаться спокойно задумать над человеком, которого я встретил на своём жизненном пути». Итоги этого раздумья печальны; портрет, набросанный Эренбургом, не внушает симпатий. Андре Жид — легкомысленный, не заслуживающий ни доверия, ни уважения человек-мотылёк, грязноватый старик, писатель-эпигон, уже забытый, и справедливо забытый; ко всему прочему содомит.

Разумеется, Эренбург знал, что автор «Земных яств», «Имморалиста», «Тесных врат», «Фальшивомонетчиков», замечательного Дневника и так далее не только не забыт, но принадлежит к первому ряду писателей века. Знал и о том, что читатели в СССР не имеют возможности прочесть Андре Жида и составить о нём собственное мнение. Но, в конце концов, нет таких свящённых коров, кото-

рых я не имел бы права критиковать. Жид мне не нравится, прекрасно. Вот только одна странность: характеристика Жида трогательно совпадает с точкой зрения начальства.

Здесь говорилось о том, что литературу нужно оценивать по её рядовым, типичным образцам. В нашем случае это означает: по произведениям писателей-подражателей, писателей-рептилий, критиков-пасквильянтов, публицистов-фискалов, — имя им легион. Но с ними, собственно, всё ясно. Более тонкие механизмы организованной литературы, очевидно, следует изучать по книгам авторов другого уровня, по литературным документам, фиксирующим, иной раз помимо намерений писателя, трагическую коллизию ума и таланта с глубокой, вошедшей в состав крови несвободой.

С какой неискренней искренностью, слегка наигранной исповедальностью, притворной наивностью написаны эти мемуары, с каким умением, якобы сказав всё, почти ничего не сказать. Я понимаю, что такое впечатление — взгляд из сегодняшнего дня, а тогда — «попробовали бы вы...». Эренбург попробовал, и результат не замедлил сказаться: мемуары «проходили» с великим трудом, с мучительными испытаниями для автора.

Драгоценное дополнение к воспоминаниям «Люди, годы, жизнь» — ныне опубликованные письма Твардовского к Эренбургу о готовящихся к публикации в «Новом мире» главах. Деловые замечания Твардовского, дружеская помощь Твардовского, гнев Твардовского. Святая уверенность в том, что редактор может и должен указывать автору на его заблуждения, подсказывать седовласому мэтру правильные оценки, короче, быть его цензором. Вот это и есть главное: цензором не только по служебной обязанности контролирующего литературного чиновника — но и по убеждению.

Между тем времена смертельной опасности давно миновали. Что останавливало старого, уже охваченного предчувствием смерти писателя, что мешало ему плюнуть на всех цензоров и редакторов и написать о пережитом и увиденном всё, что он думал? Какой памятник он воздвиг бы времени и себе!

Глупый вопрос и глупое предположение. Он не мог написать свой *opus magnum* иначе. Он писал именно то, что думал: полуискренность давно стала его натурой, полуправда — творческим методом. А ведь речь идёт об одном из лучших и даровитейших, о человеке, за которым числится немало добрых дел. Но Эренбург хотел печататься у себя в стране, он был членом организованной литературы и хотел в ней оставаться. Как остался в ней и главный редактор.

1982, 1984

Вести с Олимпа

*Сверху, из-за облаков, высовывается
огромная рука и кажет кукши.*

«Родники и камни»

Беседуя с единственным другом о вещах, далёких от действительности, композитор-отшельник Адриан Леверкюн (Т.Манн, «Доктор Фаустус») договаривается до того, что утверждает абсолютную самодостаточность музыки. Музыка живёт сама по себе. Однажды написанная, она существует как некая структура, и её вовсе не обязательно исполнять. Она не нуждается в слушателях.

Признаться, я испытывал сильнейший соблазн применить это к литературе. Мы задаём себе вопрос, кому нужны наши творения, нужны ли они вообще кому-либо, — а надо бы спросить, кто нужен *нам*. Чёрт возьми, зачем нам читатель? Важно написать, выполнить задачу, которую поставил перед собой, вот и всё.

Представим себе, что мы пишем на языке, который никому не известен: мёртвый язык исчезнувшего народа, о котором вдобавок можно спорить, существовал ли он на самом деле. Я помню время невинности. Годы, когда я кропал свои сочинения, вовсе не желая кому-нибудь их показывать. А о том, чтобы послать их в редакцию журнала, и вовсе не могло быть речи, было ясно, что моя проза не будет напечатана ни при какой погоде. Да ещё, пожалуй, навлечёт неприятности на автора. Но не только поэтому. Я таил её и от близких. Я скрывал мою работу, как тайный порок. Мысль о разоблачении пугала и отвращала, подобно тому, как мысль о романе с женщиной пугает девственницу. Я был подпольным писателем задолго до того, как оказался в реальном литературном подполье. Смысл и резон моей работы, повторяю, был единственно в том, чтобы выполнить поставленную перед собой задачу; мне не нужно было никакой публики.

Но явился, подплыл, как корабль под экзотическим флагом, Самиздат, и настал конец целомудрию. Слишком велик был соблазн свободы. Чувство раскрепощения, дерзости, счастья охватило всех, кто окунулся в это рискованное предприятие, и я не был исключением, — оно, это чувство, по сей день заслоняет в моей памяти то, другое, что не давало высунуться из норы. Тут можно было окончательно плюнуть на презренную официальную словесность. Я стал участником подпольного журнала. И что же — читатели не заставили себя долго ждать. Читатели явились ко мне гурьбой, восемь мужиков, с ордером на обыск и требованием «сдать оружие». Это было признание. Затем новая облава, конфискация всех бумаг, вызовы в прокуратуру, дочерний орган Комитета

государственной безопасности. Гротескное следствие «по делу о...» и так далее. Контакт с читательской аудиторией — не о том ли мечтает всякий литератор? Хотя бы это и была аудитория в погонах. Так состоялось моё посвящение в писатели.

*

В чужом краю, на диких берегах Чёрного моря, изгнанник Овидий горько жалуется, что не может последовать за своим произведением в Рим:

*Parve — nec invideo — sine me, liber, ibis in Urbem:
ei mihi, quod domino non licet ire tuo!*

«Завидую тебе, бедная моя книжка, без меня ты отправишься в Город. Увы, твоему хозяину не дозволено идти вместе с тобой...»

Как выглядела античная книга? Папирусный свиток помещался в круглом футляре из раскрашенной кожи, на торце имя автора и первая строчка вместо названия. Папирус был дорог. Свитки дарили друзьям. Книгу можно было переписывать, футляры с рукописями хранились в библиотеках. Сколько читателей могло быть у Назона в Древнем Риме, где грамотность и образование были достоянием тонкого верхушечного слоя?

Инкапсуляция литературы продолжалась и в Средние века: монастыри и монастырские школы, позже первые университеты. То, что мы называем демократизацией слова, в истории культуры — исключение, а не правило, и во всяком случае достижение самого недавнего времени. Сколько читателей было в сорока- или пятидесятиmillionной, сплошь безграмотной России у Пушкина? Журнал «Современник» выходил четыре раза в год в количестве 500–600 экземпляров и был убыточным. Не намного выше были тиражи прославленных журналов Серебряного века. Россию с гордостью называли чуть ли самой литературной страной мира, это была иллюзия. Доля интересующихся серьёзной словесностью, вообще читающих книги, в общем населении страны была ничтожной.

*

До сих пор не забывтая, помещённая в декабре 1969 г. в журнале «Плейбой» статья-манифест «Cross the border, close the gap» («Переступите границу, засыпьте ров») влиятельного американского критика и романиста Лесли Фидлера маркирует начало эпохи, которую следует назвать эпохой капитуляции культуры перед новым варварством.

«Мы переживаем агонию литературного модернизма и родовые муки постмодерна — сегодня это ясно почти всем читателям и писателям. Та разновидность литературы, которая выдавала себя за самую современную, уверяя всех, что она достигла исключительной тонкости, предельного совершенства формы, новизны, дальше которой уже идти некуда, литература, чьё победное шествие началось незадолго до Первой мировой войны и завершилось вскоре после конца Второй, — мертва. Она принадлежит истории, а не действительности. Для романа это означает, что век Пруста, Джойса и Томаса Манна прошёл, совершенно так же, как прошёл век Т.С.Элиота и Поля Валери в поэзии».

Далее говорилось о том, что противостояние высокой и низкой литературы больше не актуально в современном массовом обществе. Долой снобизм! Повернёмся лицом к читательским массам. Перестанем гнущаться таких якобы низменных жанров, как триллер, «крими», «фэнтези», порнороман и прочие. Таково-де веление времени.

*

С тех пор не раз возвещалось о том, что проект стирания границ осуществился, — верно ли это? И да, и нет. Мы и сегодня отлично понимаем разницу между настоящей литературой и пошлятиной. Но мы сознаём и то, что победу одержал кольпортаж. То, что происходит, — не синтез, не братание, не схождение с высот, сколько бы ни ссылались на промежуточную зону благопристойной коммерческой словесности, сколько бы ни говорили о её влиянии на некоммерческую. Это влияние есть попросту сдача позиций. Произошло оттеснение литературы, требующей встречного усилия, предполагающей достаточно высокую культуру чтения, — развлекательным чтивом, вовсе не требующим никаких усилий от потребителя, как не требует умственных усилий от зрителя домашний экран.

Никакая прежняя эпоха не оставила после себя такие завалы мусора, в котором почётное место занимает печатная продукция, ни один век не знал такого злоупотребления типографским станком, но сегодня мы можем говорить и о лавине виртуального мусора.

*

Отпечатанная на станке с подвижными литерами 52-строчная Библия Гутенберга едва ли навела кого-нибудь на мысль о перевороте в истории культуры, совершенно так же, как никто из современников Фарадея не догадывался, что открытие электромагнитной индукции изменит облик цивилизации. Великие изобретения

часто проходят незамеченными. Этого нельзя сказать о новшестве наших дней — интернете, революционный потенциал которого осознаётся уже сегодня.

Новое могущественное средство оповещения есть и следствие (одно из следствий), и причина (одна из причин) становления и торжества никогда прежде не существовавшего массового общества. Это общество сложилось в передовых странах во второй половине прошлого века и ныне в мучительно-лихорадочном темпе, круша и ломая всё, что ему перечит, формируется в России. Можно вспомнить некогда шумевшую, вышедшую ещё до Второй мировой войны пророческую книгу Хосе Ортеги-и-Гассета «Восстание масс». Но и ему не снилось то, что спустя полвека явилось на свет. Толпы на улицах больших городов, толпы в чертогах гигантских магазинов, толпы, ревущие на стадионах, и массовый психоз в концертных ангарах, где под громохание ударных инструментов на подмостках извиваются похожие на павианов исполнители музыки первобытных племён. Незачем углубляться в подробности, довольно будет сказать, что это — общество, высшим законом которого является потребление и верховным законодателем — рынок.

Очевидно, что шансы серьёзной литературы в таком обществе плачевны. Она не может себя окупить. Литература, приносящая весомую прибыль, — почти всегда мусор.

*

Можно сказать по-другому: никогда прежде демократизация литературы не достигла таких масштабов. Интернет не то чтобы распахнул ворота для литературного творчества — он их разрушил.

Ещё не забыты обстоятельства, которые расчистили путь для этого победного марша в нашей стране. Крушение государственной литературы освободило писателей от страха перед репрессиями. Нет больше партийно-государственной монополии на все формы распространения литературы. Ликвидация или ослабление некоторых функций тайной полиции сделали ненужными идеологические барьеры, отменили и самую идеологию. Открылась возможность непосредственного контакта с мировой культурой. Одновременно пишущая братия лишилась верховной опеки. Левиафан взмахнул хвостом и опустился на дно. Государство больше не содержит литературу.

О чём тут говорить — советская литература провалилась в тартарары; туда ей и дорога. Но уже слышится злорадный смех олимпийцев, неистребимая ирония русской истории вновь даёт себя знать. Избавленная от полицейского надзора наследница освободилась и от препон, которыми талант ограждает себя от бездарности, вкус — от дурновкусия, культура — от малограмотности. Эту неограниченную свободу подарил всем желающим писать интернет.

Мы всё ещё нет-нет да и возвращаемся к изжившим себя представлениям об общественной роли серьёзного литературного творчества. Между тем субъект и продюцент литературы по-прежнему остаётся существом сугубо приватным. Писатель — представитель последней в своём роде архаической профессии, род холодного сапожника. В этом состоит принципиальная безнадежность литературы. В этом, однако, и её шанс.

Нужно привыкнуть к существованию на обочине; для многих это означает существование вне современности, почти равнозначное несуществованию.

Тем не менее литература не погибла. *Erpur si muove!* Перед лицом торжествующего варварства литература выстраивает линии обороны. Разумеется, они выглядят старомодными; обходятся недешево и в переносном, и в буквальном смысле. И всё же в развитых странах, — то есть там, где цивилизованный плебс обладает наибольшими возможностями навязывать людям духа свои вкусы, — этот самый «дух», казалось бы, обречённый окончательно испустить дух, оказывается неожиданно живучим. Иначе невозможно объяснить тот странный факт, что время от времени снимаются фильмы, о которых заведомо известно, что публика будет уходить из зала, не просидев и десяти минут, выходят в свет книги, которые приобретёт ничтожная кучка покупателей и не заметят коррумпированные критики.

Дело в том, что разрушить традицию почти так же трудно, как перестроить биологическую природу человека; и, подобно природе, она жива постоянным обновлением. Литература — в крови у человечества. Дело ещё и в том, что высокая, то есть заведомо убыточная, культура в свою очередь институционализована. Литературная благотворительность — дело не новое. Меценат подарил Горацию поместье в Сабинских горах. Тассо жил и творил милостями урбинского и феррарского двора. Гёте стал министром. Русский Серебряный век был оплачен богатыми русскими купцами; то же можно сказать о другой, столь же яркой предзакатной поре: о последних десятилетиях угасающей Австро-Венгрии; созвездие гениальных писателей, художников, музыкантов, учёных содержала состоятельная венская еврейская буржуазия.

В смене веков менялись кормильцы: аристократию сменила просвещённая буржуазия. Но, сойдя в свой черёд со сцены, буржуазия, — сказал Адорно, — не оставила наследника. Казалось, наша секта окончательно лишилась кормёжки. И, однако, традицию меценатства в сегодняшнем мире худо-бедно переняли банки, крупные фирмы и концерны.

С другой стороны, происходит — не может не произойти — новая инкапсуляция культуры, давно порвавшей с народностью. Ничего другого, чтобы выжить, не остаётся. Мы возвращаемся к XIII столетию, к Высокому Средневековью, в эпоху, когда убежищем духа были замкнутые сообщества — университеты и монастыри. Могут возразить, что какая-нибудь новая Касталия Гессе обрекает культуру на засыхание, но где ещё найти приют?..

2005, 2009

ЭПИСТОЛЯРИЙ

Фрагменты переписки
с Г. Померанцем, М. Харитоновым,
С. Майзель, Б. Сарновым, О. Седаковой

Из писем к Г.С. Померанцу 1998–2003

Дорогой Гриша, Вы пишете мне о великом единстве литературы и философии, литературы и религиозного сознания; «Братья Карамазовы» — пример этого единства. Что говорить, прочитав теперь, во второй или в третий раз, роман, невозможно не поразиться вновь грандиозности замысла и величию исполнения. Невозможно не заметить и некоторую неровность. Согласитесь, те места, где эта религиозность выходит на поверхность, не относятся к числу самых удачных. И это не то чтобы слабость гения; это знамение времени. Где-то глубоко в душе писателя дремлет и просыпается иррелигиозность, зреет страшное подозрение, что без религии можно обойтись, как суждено будет обходиться без очень многого в наступающем времени, и можно увидеть в этом романе не поле борьбы Бога с дьяволом (по словам Мити), но поле отчаянной арьергардной войны с собственным безверием.

По поводу Ваших слов об отсутствии или, по крайней мере, зыбкости границ между литературой, философией и религиозностью: во-первых, я узнаю в них старинную традицию русской культуры, культуры синкретической, если угодно — традицию византийского средневековья. Эта традиция несла с собой нечто волшебное. Она изжила себя. Вы ссылаетесь на Достоевского и даже на всю русскую классику. Но художественные провалы у Достоевского — как раз свидетельство того, что эта традиция рушится, осыпается. Все хорошо помнят, что литература в России была «всемирной», заменяла и философию, и публицистику. Тем не менее историю русской литературы можно рассматривать как историю преодоления культурно-эстетического синкретизма.

Во-вторых — религия... Мне хотелось написать роман — я несколько раз приступал к нему — о человеке, который живёт вне системы ценностей. Это, как я полагаю, и есть истинный герой нашего времени. Не то чтобы он их отрицает, насмехается над ними, отказался от них; не то чтобы ценностей незыблемая скала заколебалась. Время сомнений и святогатаств, время бунта, время Ивана и Смердякова, и Федьки Капторжного, который находит особую сладость в том, чтобы не просто украсть жемчуг, а украсть его у Богородицы, — миновало, давно миновало. Три войны, две мировых и гражданская, крушение буржуазного мира в

Европе, Сталин и Гитлер, цивилизация концлагерей, Освенцим, наконец, массовое общество, каким оно сформировалось в послевоенные десятилетия, — не могли пройти даром. Итогом оказывается появление массового человека, для которого общечеловеческие ценности — абстракция, а разговор о религии беспредметен, как если бы толковали ему о цивилизации шумеров. Вот поистине жуткое посрамление Паскаля и Достоевского. Повторяю, этот человек не атеист, не богоборец, не развращённый просвещением хулиатель Бога. Невозможно быть врагом и хулителем того, что попросту отсутствует в сознании, невозможно дискутировать по вопросу, который — не вопрос.

Вот отчего, по-моему, так важно осознать и отстаивать независимость искусства, эмансипацию искусства, в данном случае — достоинство повествовательной прозы, которая не вторит потерявшей своё земное царство религии, но противостоит дегуманизированной идеологии. Однажды я написал статью о романе, она называлась «Апология нечитабельности», там я старался внушить воображаемому читателю — и, конечно, себе самому, — что башня слоновой кости (автономия искусства) уже не то, чем она была или казалась прежде. Теперь это приют человечности, может быть, последний приют.

Только что вернулся из Альгоя, из красивейших мест, где встречаются Австрия, Швейцария, две германские федеральные земли и миниатюрное Великое княжество Лихтенштейн.

Вести из России невесёлые, здесь они довольно подробно комментируются. Но отношение к тем, кто заслуживает самого жёсткого порицания, здесь, в Германии, всё ещё остаётся корректным, отчасти из традиционной симпатии к этой непутёвой стране. Правда, ни для кого не тайна, что огромная денежная помощь мало кому помогла и почти полностью и бесследно исчезла, чтобы затем очутиться на личных счетах в каких-нибудь швейцарских банках.

Вчера до глубокой ночи я листал и читал (точнее, перечитывал) Ваши «Записки», которые, несомненно, останутся в числе самых примечательных — и замечательных — *professions de foi* русского интеллигента этого времени. Кое-что, например, вступительную главу, я прочёл впервые. То, что она посвящена стилю — в литературном и в более широком смысле, — показалось мне очень важным и удачным. Некогда, во времена, когда Вы публиковались здесь, я писал о Вашем стиле, превосходном по ясности и чистоте языка. Если верен афоризм Бюффона, что стиль — это человек, то не менее справедливо и обратное.

Читая «Записки», мысленно слушая их, как произносимую Вами речь, я имел случай лишний раз убедиться, насколько она от-

личается от моей речи. Во многих отношениях эта книга кажется мне очень российской, характерной для того образа мыслей и набора духовных ориентиров, который был образом мыслей всего нашего поколения и от которого я так отдалился. Я не знаю, что было бы, если бы я оставался в России, — скорее всего я тоже ушёл бы куда-нибудь в сторону, — но для меня ясно, во всяком случае, что если бы мне пришлось сейчас вести в Москве дискуссию на все эти темы — диссидентство, еврейство, литература, религия, *etc.*, — я оказался бы в плачевной ситуации человека, с которым говорят как будто на том же самом русском языке и в то же время не на том. Только один пример: рассуждая о национализме, Солженицыне и т.д., вспоминая годы, когда ещё имело смысл вести полемику, я не мог бы продолжать её теми же самыми словами и не мог бы не упомянуть Освенцим. Слово, отсутствующее в книге. По существу — понятие, отсутствующее и в сознании.

Из Вашего письма и посвящения (ещё раз спасибо за прекрасную книжку!) я понял, что Вы приняли мой проект написать роман о «человеке без ценностей» за желание написать о самом себе. Это недоразумение. Вы правы, говоря о том, что тема не блещет новизной; и, конечно, первое, что приходит в голову, это трилогия «разрушения ценностей» Германа Броха. Вообще это чуть ли не главная тема европейской литературы нашего века. Но у меня перед глазами стоит специфический российский опыт и российский человек. Вы пишете мне, что Вы не сомневаетесь в том, что я сумею написать о человеке, у которого нет ценностей, ибо это мой двойник; Вы спрашиваете, не страшно ли этому двойнику в бесценностной пустоте. Тот человек, о котором я собирался писать, никакого страха не испытывает, в этом вся суть; время страха, борьбы с самим собой, время сомнений и желания вернуть Творцу билет — для него далёкое прошлое, вот в чём трагедия. Но откуда Вы взяли, что я имел в виду себя? Когда с большим опозданием была опубликована исповедь Ставрогина, раздались голоса, что-де у самого автора на совести преступление, подобное тому, которое он приписал Ставрогину. Моя нелюбовь к сентиментальной риторике и религиозному кичу, мне кажется, не даёт ещё основания считать меня самого человеком без ценностных ориентиров. Она воспитана не только и не столько чтением, сколько опытом жизни; между прочим, и врачебным опытом. Ведь как никак я бывший медик, через мои руки прошло великое множество больных, легион людей, искалеченных физически и духовно, жаждущих помощи. Думаете ли Вы, что врач, который старается честно выполнять свои обязанности, может быть нигилистом?

Сегодня Три Волхва — *Drei heilige Könige*, или, по-народному, *Dreikönig*, последний день рождественско-новогодних праздников. Я провёл их, сражаясь с радикулитом. Время от времени, однако, мне приходится ездить: в Гамбург, потом в один замок под Бонном, где мне вручили премию ПЕН-клуба; на следующей неделе должен буду отправиться в Нюрнберг.

Вы возвращаетесь к вопросу о ценностях, о которых я, помнится, упомянул в связи с проектом написать роман о человеке без ценностей: я встречал таких людей в России в огромном множестве; впрочем, крушение ценностей — одна из центральных тем европейской литературы этого века. Из Вашей теории ценностей (если я правильно её понимаю) следует, что Западная Европа живёт скорее реликтами распадающейся аксиологической системы прошлого, нежели ценностями или святынями в собственном смысле. Это и так, и не так. Здесь не принято разглагольствовать о святынях, и людей, которые приезжают из России, дабы читать морально-религиозные проповеди, выслушивают скорее с вежливой скукой, потому что хотя бы знать: а что же вы *реально* предпринимаете, чтобы защитить униженных и оскорблённых? и чем мы, европейцы, могли бы вам помочь? Я думаю, что Ваша уверенность в том, что западные люди всего лишь следуют ценностям привычкам, как Вы их называете, основана на поверхностном и мимолётном знакомстве с жизнью на Западе и, конечно, в большой мере основана на шаблонном представлении об этой жизни. Когда тысячи и десятки, если не сотни тысяч людей выходят на улицы городов со свечами, чтобы протестовать против ксенофобии, когда ежегодно собираются огромные пожертвования для помощи голодающим странам, когда вся Бельгия потрясена известием о том, что какой-то сексуальный маньяк надругался над двумя девчужками и убил их, когда гигантская демонстрация во главе с премьер-министром движется по Елисейским полям в знак протеста и гнева от того, что осквернены еврейские камни на могилах, — это что, только привычки? Когда дискуссия о преступлениях вермахта, совершённых более полувека тому назад, волнует буквально всех, когда споры идут на улицах, когда невозможно пробиться в переполненный зал, — я сам слушал одну из таких дискуссий по радио в холле Гастайга, вместе с многими другими, не сумевшими попасть в зал, — когда люди тесно сидят на лестнице театра, в котором две недели подряд происходит чтение дневников Виктора Клемперера, того самого, кто был автором книги «*Lingua Tertii imperii*» (Язык Третьей империи), и слушают трансляцию из зала, — это всего лишь ценностная привычка вместо сознания?.. Нет, Гриша, всё это не так просто, как Вам показалось.

Дорогие Гриша и Зина. В этом году мы собрались пойти на ежегодный мюнхенский кинофестиваль и видели позавчера два русских документальных фильма, первый был о Льве Толстом. Используются киносъёмки в Ясной Поляне, сделанные в последние годы Толстого, потом Астапово и похороны Толстого. Я эти немые фильмы никогда не видел, на меня всё произвело большое впечатление. Но фильм подпорчен ностальгически-слюнчавым и слащавым авторским текстом, который звучит за кадром. Второй фильм — о Солженицыне, в двух частях, режиссёр Ал. Сокуров, довольно известная фигура. Может быть, и Вы видели эту работу. В первой части автор фильма и писатель прогуливаются в лесной усадьбе Солженицына, во второй части он работает над рукописью, показаны два рабочих кабинета, летний и зимний. Небольшой разговор с Натальей Солженицыной и долгие беседы с «самим» на морально-религиозные и отчасти литературные темы. Фильм очень плохой. Невозможно представить себе, чтобы здесь на Западе так делались документальные ленты, в раболепном тоне, чуть ли не стоя на коленях перед героем, с ханжеским комментарием; эстетика советского пропагандистского фильма. Вообще говоря, сам Солж производит, я бы сказал, впечатление симпатичное, для его возраста он в прекрасной форме, он работает, он говорит нормальным великорусским языком, который так разительно отличается от слога его произведений. Картина куда вернее достигла бы своей цели, если бы ее снимал свободный человек. Беседы — вопросы режиссёра и ответы, должностующие продемонстрировать мудрость Солженицына, — удручают своей банальностью. Временами писатель говорит неправду, но, конечно, ни о каких возражениях не может быть и речи; не фильм, а житие.

Наши письма идут навстречу друг другу, как поезда, минуя друг друга. Когда дойдёт это, минует, наверное, уже значительная часть нового года и века. Мой рассказ под названием «Пусть ночь придёт» из Аполлинера («Мост Мирабо» — никакой перевод не в состоянии передать волшебство этого стихотворения) был сочинён давно и, пожалуй, навеян не только распрей между народами бывшей Югославии, но всё ещё сохранившимся в России почтением к национализму. Все национализмы отвратительны, но зверские черты прямо пропорциональны величине народа, который их культивирует. То, что сейчас происходит в Москве и на Северном Кавказе, эти карикатурные выборы в карикатурный парламент, под дальний грохот войны с объявленной целью истребить целый народ, повергает меня в ужас. Я смотрю на физиономии этих политиков-дельцов с грязным, а подчас и преступным прошлым, и мне кажется, что все они стоят друг друга. Не знаю, что я делал бы, если бы оставался в России, — вероятно, сидел бы взаперти и уж, конечно, не голосовал бы ни за кого.

Я говорил Вам о том, что был занят очерком о заговоре 20 июля; закончил его и теперь взялся за одну новую работу, но, как всегда, то и дело отвлекаюсь. На носу Рождество, в западных странах это главный праздник года. Мы с Лорой ведём довольно однообразную жизнь, она работает, я почти всё время сижу дома, иногда вылезаем, позавчера слушали в Гастайге (зал Карла Орфа) Рождественскую ораторию Баха, всё ту же и вечно новую, невыразимой красоты вещь, а завтра собираемся на «Волшебного стрелка». Вольфганг Казак прислал мне свою только что вышедшую книгу «Christus in der russischen Literatur», там есть две страницы, посвящённые Зине, и ещё несколько упоминаний о ней. Кстати, Вы пишете о сказке о зайцах и волках; означает ли это, что ёлочные представления для детей продолжаются?

Иногда хожу в Баварскую библиотеку. Подхожу к полке и вижу газету под названием «Православная Русь», издаётся по благословению архиепископа такого-то. На первой странице шапка: христоробивый русский народ вступает в последний и решительный бой с исламским фундаментализмом и еврейским нацизмом. Потом открываю «Литературную газету», которая не постыдилась напечатать воинственную расистскую статью какого-то Осетинского, нафаршированную самой грубой лестью президенту.

Дорогой Гриша! Эрнст Юнгер собирался жить в трёх столетиях, это желание чуть было не осуществилось. Но то, что нам удалось перепрыгнуть этот рубеж, граничит с чудом. Итак, первый раз я пишу эту дату: две тысячи. Компьютер автоматически перестроился, по-видимому, не испытывая большого волнения. Мне, однако, придётся ещё долго привыкать. Чувствуешь себя сразу каким-то древним старцем.

За Рождественской ораторией и «Волшебным стрелком» последовала Девятая Бетховена, которую мы слушали в первый вечер Нового года, это тоже традиция, в Национальном (оперном) театре и в самом лучшем составе, под управлением Zubin Mehta. Согласитесь, что ради того, чтобы услышать «Freunde, nicht diese Töne» и «Seid umschlungen, Millionen» на родном языке Шиллера и Бетховена, стоит жить в Германии.

Я затеял одну новую работу, но тут такое настроение порога, что тянет скорее думать о том, до чего не пришлось дотянуться, чего так и не удалось сделать. Я стремился к синтезу. И всё-таки мне кажется, что написанное мною — семь романов, около сорока рассказов и повестей, эссеистика и пр. — приближается к этому синтезу, представляет в своей совокупности некий эпос, где сюжетом является ситуация человека, а фоном — мрачное время и страна, в которой нам вы-

пало родиться и жить. Будет ли этот эпос забыт, как забывается всё, — в силу внутренней недолговечности, оттого, что литература в этом обществе отгеснена на обочину, или по той же причине, по какой будет забыто, утоплено в жиже прошлого и это время: по причине национальной амнезии, неизлечимого недуга?

Помню, я когда-то, лет двадцать тому назад, переводил послесловие к известной книге Дж. Биллингтона «Икона и топор», оно называлось, если не ошибаюсь, «Ирония русской истории» и было потом напечатано в нашем бывшем журнале. Но ссылки на то, что Россию унизили в Косове и что это будто бы — источник дальнейших бед, кажутся мне, простите, смехотворными. Кто унизил? Снова кто-то виноват, только не «мы», и этот «кто-то», конечно, в первую очередь — американцы. Между тем российское правительство и русская общественность, поскольку вообще можно говорить об «общественности», с самого начала заняли просербскую позицию, нисколько не заботясь о том, к чему могли бы привести действия белградского князька, которого так и не удалось урезонить, несмотря на многомесячные предупреждения. Девятьсот тысяч беженцев из Косова никого в России не беспокоили. Теперь эта огромная, владеющая ядерным оружием страна, видите ли, обижена. Скорее надо было счесть унижительным — и, конечно, бесстыдным — то, что она вела победоносную войну со старухами и детьми, разрушила до основания полумиллионный город и обрекла на смерть собственных молодых ребят — на западные деньги.

С Вашими рассуждениями о том, что народному сознанию ближе коллективизм, коллективная покорность судьбе и коллективная безответственность, нежели представление о суверенной, отвечающей за себя личности, конечно, нельзя не согласиться. Всё это не новая история, и советская власть, и государственное православие с разных сторон, не говоря уже о прочих и отдалённых обстоятельствах, немало потрудились над этим. И всё же я думаю, что «держава», и «наши интересы», и «национальная гордость» — все эти фантомы перестали бы занимать людей, если бы удалось устроить сносную жизнь для большинства, научиться производить продукты питания, товары и услуги, с которыми не стыдно было бы выйти на международный рынок. Создать демократию — а не то, что называется сейчас этим словом в России. Между прочим, создать и разумную, современную полицию — а не то, что именуется «правоохранительными органами». Тогда и судьба Железного Феликса интересовала бы людей не больше, чем сейчас их интересует бородатый Карлхен с голубем на голове. Но Вы не могли не заметить, что и у нового шефа нет никакой экономической программы.

«Чем больше звереет масса, — пишете Вы, — тем больше порыв вырваться из этой массы». Да... на таких людей и осталась надежда. Только как бы не оказалось — в один прекрасный или ужасный день, — что они все уехали.

Дорогой Гриша, дорогая Зина, я ездил в Рейнскую область и заодно побывал в Бельгии, в приграничном районе, населённом немцами, которые, однако, остаются бельгийцами, что никого не смущает и никого ни на что не провоцирует; после этого, как я уже Вам писал, мы отправились в Новый Свет, жили в Чикаго, в Сан-Франциско, изумительном городе, провели три дня в Йосимитском национальном парке, где дивились разным чудесам. И только теперь, вернувшись в Европу несколько дней тому назад, я узнал о том, что было с Вами, — об операции и прочем. Мне сообщил об этом Марк Харитонов и рассказывали супруги Блюменкранц. Наконец, сегодня я получил от Вас письмо. Какое счастье, что всё, кажется, обошлось.

После возвращения, когда самолёт летит в противоестественном направлении, навстречу крутящейся Земле и солнцу, которое стремительно выкатывается из-за ночного горизонта, я всё ещё не могу придти в себя, но делать нечего, надо приниматься за свои занятия. Повесть, о которой я упоминал, почти готова, она невелика — примерно два с половиной листа; её нужно лишь слегка доделать, из чего, конечно, не следует, что я ею вполне доволен. Но так как Вы проявили к ней интерес, я пришлю её Вам, правда, рискуя разочаровать Вас: это сугубо частная история, лишённая какого-либо намёка на христианскую мораль. Вы знаете мою точку зрения: искусство взбирается на вертикаль лишь при условии, что не сознаёт этого, или, по крайней мере, до тех пор, пока не извещает об этом читателя.

Мне жаль, что Вы усвоили англизированную, отвратительно звучащую для русского уха транскрипцию слова *голокауст*, давно существующего в русском языке и пришедшего к нам непосредственно из греческого языка (где *όλοκαυτός*, слово, в свою очередь заимствованное из древнееврейского, буквально значило сожжённый целиком). Но невежественные журналисты впервые вычитали его из американских газет и решили, что *Holocaust* английское слово, так как ни о других языках, ни об античности они вообще не имеют представления. Здешние газетчики не всегда превосходят их по части культуры и образования, но по крайней мере догадываются изредка заглядывать в словари.

Журнал «Континент» Баварская государственная библиотека не получает, и виновата в этом редакция самого журнала: зная, что журнал малоизвестен, непопулярен, она должна была бы, ввиду небольшого числа русских читателей в Германии, вступить в контакт с

библиотекой. Так что я не могу прочесть Вашу статью. Зато прочитал сказку и комментарии к ней. Заяц и серебряная скрипочка, всё это, конечно, мило и трогательно, но боюсь, что в моём возрасте я уже не в состоянии реагировать должным образом на моральную концепцию, которая стоит за этой притчей. Эта концепция слишком проста, чтобы быть действенной. В этом всё дело: какова действенность подобной проповеди в подлинной, реальной жизни, в сегодняшнем реальном мире. Огромный, невероятно сложный, несущийся вперёд мир не влезает в эти штанишки.

По-видимому, дело идёт (уже почти пришло) к тому, что большой политикой — «судьбами мира» — будет заправлять концерн немногочисленных богатых стран во главе с Америкой. Хорошо это или плохо, другой вопрос. Но, пожалуй, можно радоваться тому, что диктаторские; западные, а не восточные. В этом мире всё меньше значит оружие (вот почему, между прочим, как-то на удивление мало приняли всерьёз решение — или угрозу — России пересмотреть концепцию первого удара, приступить к ядерному перевооружению, — спрашивается, на какие шиши). Всё больше значат активы банков, новые технологии, экономическая мощь и возможность навязывать свою волю экономическими, а не военными средствами. Но дело идёт, возможно, и к созданию международных мобильных полицейских сил (они уже отчасти созданы), которые будут пресекать всевозможные национально-освободительные движения, гасить региональные конфликты, религиозные распри и т.п., не слишком заботясь о моральной стороне дела, не считаясь с «суверенитетом», не разбираясь, кто прав, кто виноват. Это будет огромный кулак в бархатной перчатке, с золотым перстнем, похожим на кольцо Нибелунга. Как Вам нравится этот эскиз будущего?

Вы пишете мне, Гриша, о «Знамени». Я не совсем понимаю или, вернее, совсем не понимаю, почему Вы считаете, что журнал пал жертвой постмодернизма, что Вы подразумеваете под этим термином, — вероятно, просто плохую литературу. Если так, то Вы правы; но где взять хорошую, настоящую литературу? Что касается Вашего слуги, то мне всё же приходилось там печататься: например, года два тому назад они поместили статью о нашем бывшем журнале. Беллетристических произведений я никогда не предлагал; зато они отклонили мою статью о советской литературе, за что я им благодарен. Я её переписал, она была напечатана в «Октябре». Статья так себе, но там содержалась важная, хоть и не новая, мысль о материальном обеспечении литературы и классовом (или сословном) сознании писателей в СССР.

Целая страница в Вашем письме посвящена воспоминаниям. Стихи, которые читались запоем, мысли и чувства давно минувших дней... Вот я Вам сейчас процитирую элегию Вальтера фон дер Фогельвейде, рыцаря и поэта, одного из трёх великих миннезингеров XIII столетия. Это *Mittelhochdeutsch*, средневерхненемецкий язык, понимание его может вызвать трудности. Но, может быть, звучание стиха поможет вкусить его прелесть.

Owê war sint verswunden alliu miniu jâr!
ist mir min leben getroumet, oder ist ez wâr?
daz ich ie wânde ez wære, was daz allez iht?
dar nâch hân ich geslâfen und enweiz es niht.
nû bin ich erwachet...

Увы, куда исчезли все мои годы... Приснилась мне моя жизнь или это всё на самом деле? Всё, что мне казалось настоящим, может, было обманчивой игрой. Я долго спал — и не чуял этого. А теперь пробудился...

...Вы привели интересное высказывание Дениса Апраксина. Судя по всему, это отклик на этюд Зины, тот самый, о котором мы когда-то немного спорили, где сказано, что евреи распяли Христа. Я уже писал Вам, что эта проблематика кажется мне более не заслуживающей обсуждения. Вообще я не могу относиться к сцене суда Пилата (у Иоанна и синоптиков) иначе как к художественно-мифологической и заведомо тенденциозной, — её историческое неправдоподобие бросается в глаза. Всё это, однако, не умаляет мысль Апраксина. С ортодоксально-христианской точки зрения его комментарий — сутубая ересь, ну и что с того? Мысль, если я её правильно толкую, состоит в том, что проповедь Христа есть нечто пригодное для ничтожного меньшинства; «народ» же, требуя расправы над Христом, по-своему прав, ибо от него требуют невозможного. (При этом, конечно, мы относим к себя к этому замечательному мешшинству, как же иначе.)

Лично меня смущает в этом высказывании некоторая его абстрактность.

1. «Масса», о которой можно говорить сегодня, имеет очень мало общего с толпой народа, наводнившей Иерусалим в пасхальные дни 30 года н.э. Массовое общество второй половины двадцатого века — новое явление в истории.

2. Сегодняшняя элита в развитых странах по большей части равнодушна к христианству.

3. Я предпочёл бы относиться к легенде о Великом инквизиторе более дистанцированно. Её почти памфлетный антикатолицизм несколько портит впечатление от гениального текста. За сто с лишним лет произошло столько перемен, что, увы, легенда уже «не звучит». Достоевский, я думаю, бессмертен как художник — не как моралист.

Мои дела идут ни шатко ни валко. «Знамя» тиснуло мою рецензию на жизнеописание Борхеса, выпущенное на двух языках в Лондоне и Берлине. Напечатают ли они две других рецензии — о появившихся сейчас трёх новых и весьма обстоятельных биографиях Томаса Манна и о книгах Р.Зафранского, не ведаю; последнюю вряд ли, она слишком длинная, да и предмет, видимо, далёк от интересов редакции. Вы пишете, Гриша, о том, что я воспринимаю и оцениваю информацию из России односторонне. Так оно, очевидно, и есть; да и как может быть иначе, если Россия так далека от мира, в котором я обретаюсь. Правильнее, может быть, говорить об иной, отличной от внутрироссийской, расстановке акцентов. Многое из того, что так интересно и важно для человека, живущего в стране, отсюда глядя представляется и не столь важным, и малоинтересным. То же самое происходит при перемене вектора. Почти всё, что мне случается читать из России о Германии и «Западе», — либо близорукость, либо просто глупость.

Дорогой Гриша, вчера я получил письмо-пакет, улёгся на диван и стал читать французскую статью, недоумевая, какое она имеет отношение к Вам. Но потом увидел что Ваш этюд об Англии и англичанах — на обороте статьи. Этюд очень интересный и прекрасно читается. Вы правы, говоря, что образ Англии зыбок в русском сознании и занимает в нём гораздо меньше места, чем образ Франции и Германии. Это связано отчасти и с географией: до сих пор — а уж о XIX веке и говорить нечего — гордый Альбион в известной мере сторонится Европы. Что касается английского языка, то он для России (и не только для России) перестал быть языком культуры и превратился в американский жаргон.

Помните, в «Свадьбе Кречинского» Муромский говорит о Расплюеве: «Послушайте-ка, Владимир Дмитрич, как Иван-то Антоныч англичан режет». На что Расплюев: «Язвительная, язвительная-с нация, никакого благородства...»

Когда-то, 16 лет назад, я переводил для нашего бывшего журнала отрывки из книги Элиаса Канетти «Масса и власть» (название оригинала «Masse und Macht» эффектной, в нём использован любимый немцами Stabreim), а именно, из главы «Массовые символы наций». Там и англичане, и французы, и немцы, и голландцы, и испанцы, и итальянцы, и евреи; жаль только, что нет русских. Как бы ни отно-

ситься к его рассуждениям, они во всех отношениях, и по мысли, и по языку, несравненно талантливей того, что лепечет Гачев. Об англичанах сказано у Канетти между прочим следующее:

«Разумнее будет начать с нации, которая не кричит о себе и, однако, вне всякого сомнения обнаруживает самое стойкое национальное чувство, какое существует сегодня на земле: с Англии. Всем известно, что означает для англичанина *море*. Но мало кто знает, как именно связаны друг с другом пресловутый английский индивидуализм и отношение англичан к морю. Англичанин видит себя *капитаном* с кучкой людей на корабле, а вокруг и под ним — море. Он почти один, и даже от команды он во многих отношениях изолирован, ибо он — капитан...»

Вы оговариваетесь, что Ваша задача — описать *образ* этой страны в русском сознании, а не самую страну. Поэтому, очевидно, впечатление Достоевского, пробовавшего в Англии несколько дней, для Вас важнее, чем Герцен, который — сравнительно редкий случай у крупных русских писателей XIX столетия — жил в Англии. Между тем русский образ Англии и англичан, каким бы он ни был, отнюдь не исчерпывается Достоевским. Не говоря уже о том, что всё это вещи полуторастолетней давности.

Я совсем не знаю эту страну. В Лондоне мы однажды прожили неделю в крошечной гостинице. Великий и ни с чем не сравнимый город, столица мира — или по крайней мере бывшая столица; имперская архитектура, памятники и парки, каких нигде больше нет на земле; двухэтажные автобусы, внезапно срывающиеся с места, так что успевай только держаться на широкой и открытой нижней площадке (тут я сразу вспомнил, как мой отец говорил мне, что в Лондоне запрещается стоять в общественном транспорте из-за больших ускорений, и я не мог понять, как это может быть, что для всех хватает сидячих мест); тесные улицы, правостороннее движение, крупные белые надписи на тротуарах перед перекрёстками: *Look right*; всеобщая вежливость и предупредительность, спокойное достоинство людей — стиль жизни гигантского бессонного города; огромное количество представителей цветных рас, наследство империи; плохая еда; старое, но удобное метро, не то, что в Париже; необъятный Британский музей, все сокровища мира, египетские залы не поддаются описанию; циклопический собор св. Павла, где под ногами — надгробная плита сэра Кристофера Рэна с надписью: «Ты ищешь памятник — оглянись вокруг»; и, конечно, Иерусалимский покой с помпезной гробницей Ньютона, — я описывал её когда-то в книжке для школьников «Мальчик на берегу океана»; дамская компания на ступенях собора, держащаяся особняком, широкополые шляпы с низкой тульей, бледнолиловых, зеленоватых и серых тонов, как принято у британской знати, — кого-то ждут; выезд королевы из Букингемского дворца, толпа перед чугунной решёткой, гвардейцы и полисмены; пора-

зительная красота Большого Бена и Вестминстера, всадник в латах на чёрном коне — король Ричард Львиное Сердце; угрюмый, завернувшийся в шинель сэр Уинстон Черчилль; музей восковых фигур, где можно увидеть всех знаменитостей, всех злодеев и героев, всех халифов на час, и на отдельном помосте залитая светом *Royalty*, королевская семья; Темза, Тауэр, знаменитые, мрачнейшие вороны и что там ещё; дом на Бейкер-стрит, куда до сих пор приходят письма на имя мистера Шерлока Холмса. And so on, und so weiter... Всё это впечатления туриста, не имеющие ничего общего с подлинным знанием страны.

Кстати, передайте Л.Богораз, что в её выступлении о диссидентском движении (была такая дискуссия в журнале «Знамя») есть филологическая ошибка, которую редакция не исправила. Богораз разъясняет, что слово диссидент происходит от английского *dissent*. На самом деле оно восходит к латинскому причастию *dissidens* от глагола *dissidere*, который буквально означает сидеть не так, как надо, либо находиться слишком далеко, а в переносном смысле — быть несогласным, отличаться от кого-либо или чего-либо. Английское же слово *dissent*, как и франц. *dissentiment*, этимологически связано с другим латинским глаголом *dissentire*, значение которого почти то же: быть несогласным, расходиться в мнениях и т.п. Скажите ей, что специалисту по диссидентству полагалось бы это знать.

Я думаю, что запись Юнгера, о которой идёт речь в моей статье о Двадцатом июля (успех может быть достигнут только при условии, что во главе движения станет «какой-нибудь Сулла», «простой народный генерал»), имеет несколько иной смысл, не в том дело, что «страшно далеки они от народа». Не зря он вспоминает Суллу. Юнгер хочет сказать, что шансы на успех были бы выше, если бы во главе заговора стал грубый солдафон, лишённый моральных принципов; в то время как заговорщики, и штатские, и военные, руководствовались в первую очередь соображениями морали. Но ведь в этом и заключалось величие духа этих людей.

Случай правит историей. Вы решительно против. Но на вопрос невозможно ответить однозначно. В той или иной степени мы оба правы. Можно только сказать, что вопреки тому, что убийство Цезаря не спасло Республику и т.д., то и дело сталкиваешься со стечением обстоятельств, которое, по-видимому, иначе как случайностью не назовёшь. Но эта случайность тянет за собой роковые последствия. Можно добавить, что минувший век радикально потряс, если не сокрушил, веру в целенаправленность истории, как бы она, эта цель, ни называлась, — потряс, если угодно, веру в смысл истории.

Два Ваших постулата можно оспорить. Но прежде всего: то, что Вы справедливо назвали опьянённой гитлеризмом, не есть величина постоянная. Одно дело 1938 год, пик успехов националсоциализма. И совсем другое — год покушения 20 июля, время, когда, вопреки усилиям пропаганды, вера в победу угасла почти у всех. Об этом мне говорили люди, которые помнят это время. Да оно и понятно. Любопытный парадокс: у заговорщиков было тем больше шансов встретить сочувствие в «народе», чем меньше оставалось шансов изменить судьбу Германии. Любопытно также вспомнить, что советская пропаганда полностью восприняла тезис нацистской пропаганды о заговоре «кучки генералов»; таково и нынешнее представление у многих людей в России; на самом деле заговор был весьма многолюден и разветвлён, оба мозговых центра представляли отнюдь не военные.

Вернёмся к Вашему письму: Вы сомневаетесь в том, что устранение Гитлера накануне или в начале войны могло бы что-нибудь существенно изменить. Тут мы — в сфере ещё более туманных гаданий. Осмелюсь только заметить, что националсоциалистический режим (пришедший к власти, как Вы знаете, отнюдь не в результате всенародного решения, не собрав даже большинства голосов), хотя и пользовался во второй половине тридцатых годов в самом деле сочувствием и поддержкой подавляющего большинства, но в огромной степени держался на фигуре вождя: так была устроена партия, так конституировался с самого начала и режим. Подчеркнём: с самого начала. То, что в СССР было названо культом личности, будь то поклонение Ленину или культ Сталина, сложилось не постепенно, как у нас, нет, Гитлер был стержнем Третьей империи даже не в 1933 году, но ещё до того, как этот режим воцарился в стране. Вот почему можно всё-таки представить себе, что режим зашатался бы, даже если бы, например, удалось покушение Эльзера, не говоря уже о планах офицерства, занимавшего ключевые посты в армии. Во всяком случае многое, очень многое пошло бы по-другому.

Тем более — после 20 июля 1944 г. Разумеется, Германия была обречена. Планы оккупации, расчленения, территориальных уступок Сталину и т.д. были незыблемы. Но с гибелью фюрера в самом деле всё бы кончилось. Главное, кончилась бы война — на семь с лишним месяцев раньше. А это, согласитесь, само по себе значит немало. То, о чём Вы пишете, — Геринг вызывает с фронта эсэсовские части, «заговорщики вянут» и т.п. — представляется и политически, и с чисто военной стороны совершенно неправдоподобным.

Себастьян Гафнер (Haffner), чьи работы в своё время увлекали меня, — кое-что я перевёл и печатал в нашем бывшем журнале, — начинает одну из своих книг, «В тени истории», заявлением: «Только ис-

ториография создаёт историю. История не есть реальность, она ветвь литературы». Это можно понять двояко. Во-первых, историк отсеивает, подбирает и выстраивает факты и события из имеющегося состава сведений о прошлом; вытягивает нити из клубка; создаёт конструкцию. Отбор одного и отсеивание другого — иерархия фактов — сцепление. Этим занимались и бесхитростные летописцы. Это метод самых правдивых, самых честных историографов, таких, как Фукидид. Во-вторых, историк истолковывает факты, расшифровывает некий скрытый смысл, и тут встаёт вопрос, не есть ли смысл истории в самом деле нечто привнесённое извне. Да, Вы правы: в большом масштабе времени и пространства история обретает законоподобный вид. Это примерно то же, что очертания острова, видимого с большой высоты: вдруг оказывается, что остров похож на ящерицу или на спящую женщину; в Коктебеле показывают профиль Макса в рельефе горы. Следующий шаг — конструирование общих законов истории, создание всеобъемлющих историософских систем, которые не только объясняют прошлое, но и обладают предсказательной силой. Weltgeist Гегеля — великий образец; далее марксистский исторический материализм, концепция классовой борьбы как движущей силы истории, неизбежность победы коммунизма; далее историософия Шпенглера. Сюда же можно присовокупить теорию этносов Льва Гумилёва. Не только прошлое, но и будущее человечества в таких системах оказывается принудительным. В конце концов они порабащают самих основоположников.

Я недостаточно компетентен для того, чтобы обсуждать эти вопросы основательно, могу только сказать о моём собственном чувстве истории. Конечно, на него оказывает решающее влияние то, чему мы были свидетелями, и то, что происходило незадолго до нашего появления на свет. История продемонстрировала свою абсурдность. Две невиданных агрессивных войны с фантомными целями, колоссальные разрушения и неисчислимые жертвы — ради чего? Каждый конкретный эпизод объясним, но что сказать о целом? Однако мы устроены так, что не можем смириться с абсурдом. Нам чудится тайный смысл. Или хотя бы то, что имитирует смысл: тайная закономерность. Нас пугает случайность, непредсказуемость, великое «ни с того ни с сего». Нос Клеопатры — как кошмар. Я нахожу нечто общее в судьбе народов и судьбе отдельного человека. Может быть, Вы помните, что я когда-то написал роман под названием «Антивремя»; у меня отняли его при обыске, я написал его заново. Впоследствии он был издан за границей, а потом и в Москве, был переведён также на немецкий и французский. Миф о противонаправленном потоке времени — иносказание, которое можно расшифровывать по-разному; одна из таких интерпретаций — конструирование смысла жизни задним числом. Жизнь, пока она течёт, выглядит как поток случайностей; огля-

дываясь назад, мы прозреваем в ней некий план. Жизнь предстаёт целенаправленной, осмысленной. Можно сказать иначе: жизнь была прожита для того, чтобы *потом* обнаружить в ней некий смысл. Это оттого, что наша память — не архивариус, а беллетрист.

Дорогой Гриша. Среди того, чем я занимался последние месяцы, была повесть, в которой первая любовь, соперничество и смерть двух мальчиков, учеников лесной школы, происходили на фоне исторических событий, таких, как поездка японского министра иностранных дел весной 1941 г. через Советский Союз в Германию для переговоров о будущей войне, тайные совещания, подготовка к агрессии, поставки продовольствия и сырья из СССР и, наконец, вторжение вермахта на рассвете 22 июня. При этом оказывается, что переживания детей, их судьба есть нечто неизмеримо более значительное, более важное и подлинное, чем зловеший фантом политики и того, что Вы и я называем историей. Но этот упырь пожирает людей, пожирает всё живое, пожирает действительность. Собственно, этим я и хотел выразить моё отношение к «истории».

То, о чём Вы пишете, не так уж противоречит фразе С. Гафнера о том, что историю творят историки, ведь и Вы говорите о том, что историки классифицируют эпохи, дают им наименования и т.д. Я думаю, что наш разговор — не столько о том, чтобы «признавать» историю (не признавать её смешно), сколько о смысле и бессмыслице, о случайности и законе.

Когда-то я тоже занимался — дилетантски, конечно, но всё же весьма усердно — Семнадцатым веком, «столетием гениев» (слова Уайтхеда), главным образом наукой этой эпохи, но также и философией, писал о Лейбнице, Ньюtone, Гуке, перевёл огромную философскую корреспонденцию Лейбница, публиковал по-русски разные документы и т.д. «Изящнейшее соединение Солнца, планет и комет не может произойти иначе, как по намерению и по власти могущественного и премудрого Существа». Вот Вам важнейшая идея века, как её формулирует Ньютон в «Общем поучении» к третьей книге «Начал». Наука — математика, астрономия — поставляют доказательства превосходного мироустройства и, значит, убедительней, чем словопрения схоластов, доказывает существование Творца.

А вот ещё одна цитата, из Лейбница, которого я переводил когда-то:

«Я понимаю, что мы далеко не всегда отдаём себе разумный отчёт в том, что справедливо и что несправедливо, точно так же как мы не можем доказать некоторые математические теоремы; однако всегда надо стремиться к доказательству. Справедливость и несправедливость зависят не токмо от природы людей, но и от природы разумной субстан-

ции вообще; исходить же из природы божества значит основываться не на произвольных послылках. Природа Бога всегда покоится на разуме (la nature de Dieu s'est fondée sur la raison)».

Какие слова!

Всё-таки нужно поставить в заслугу истории — я имею в виду историю нашего, только что ушедшего века, — то, что она радикально излечила нас от метафизического оптимизма. Она внушила отвращение и к универсальным историософским теориям. Вы заметили, что поколение, не видящее умопостигаемого смысла в истории, — это поколение с пониженной жизнеспособностью. Может быть, — хотя, как сказано в Талмуде, «возможно, справедливо и обратное». Как бы то ни было, оглядываясь назад, я нахожу, что именно жизнь в России, опыт жизненных мук и мытарств в России были лучшей школой разочарования. Ничего, кроме горечи, не испытываешь, вспоминая эту страну.

Дорогой Гриша, месяц или немного больше тому назад я послал Вам письмо, там речь шла о высоких материях, о зловещем фантоме истории. Как видите, не хватает терпения дожидаться ответа. Надеюсь, Вы здоровы. Здесь, как и в Москве, стоят последние недели убийственная жара, которая, повторяясь каждый год в это время, напоминает мне о том, что я северный человек. Я провёл неделю в Париже, жил в квартире на Сен-Жермен-де-Пре, по утрам спускался в кафе завтракать, днём бродил, был, само собой, и в музеях, стоял на мостах — город в солнечной дымке, рёв машин и мотоциклов по набережным, остров с собором, сад Тюильри, холм Монмартра с церковью Св. Сердца, попойкой на сахарную голову, толпы молодёжи вечерами на узких улочках Левого берега, знаменитые харчевни, книжные магазины, — что ещё? Съездил даже на русское кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа, далеко от города. Но в Париже надо побывать в юности, непременно прожить там некоторое время. Мы все были чудовищно ограблены. Последствия ограбления остались на всю жизнь.

Умерли Борис Биргер и Боря Володин, мой старый друг.

Вы оба, вероятно, ещё на даче. Совершенно не знаю, что Вы пишете, появлялось ли что-нибудь в последнее время. Я занимался тем, что составлял антологию европейской поэзии, почти уже кончил; странная идея, увлечшая меня. При этом я всегда оказываюсь жертвой самообольщения: мне начинает казаться, что это может заинтересовать и других. Небольшая книга, называется «Абсолютное стихотворение». Стихи Сапфо, Горация, анонимного автора «Ночного праздника Венеры», Вальтера фон дер Фогельвейде, дю Белле, Гёте, немецких романтиков, Китса, Баратынского, Лермонтова, Некрасова, Фета, Тютчева, гр. А. К. Толстого, Бодлера, Рембо, Аполлинера, Рильке, Блока, Мандель-

штама, Ахматовой, Т.С.Элиота, Брехта, Бенна, Целана, ещё кое-кого, Бродского; начинается всё с Пушкина. Я выбирал поэтов и стихи по своему вкусу и на языках, которыми более или менее владею, от каждого автора по одному стихотворению, в оригинале, если это не Россия, и с прозаическим переводом, который нужно максимально приблизить к содержанию (что самое трудное), плюс краткий комментарий.

Говорил по телефону с Герой Либкиным, старым знакомым и коллегой по «Химии и жизни», теперь он руководит издательством «Текст». Заведение относительно интеллигентное. Хотел предложить ему этот проект. Он ответил вопросом: а кому я буду продавать такую книжку? Истинная правда: никому. О чём говорить? Нам выпало жить и умереть среди варваров. Ничего или почти ничего, что я писал и по какому-то недоразумению, если не чудом, публиковал в России все эти годы, не было или почти не было прочитано.

Кроме этого, я сочинил один рассказ или небольшую повесть под названием «Зов родины», которое говорит само за себя. Тоже, конечно, стрельба в воздух, точнее, в безвоздушное пространство.

Не забывайте.

Дорогие Гриша и Зина. Если бы мне приходилось переписываться с архипелагом Фиджи (правда, я получаю по e-mail письма из Камбоджи), мои письма доходили бы, я думаю, быстрее, чем послания к Вам. Успеет ли это письмо придти к Новому году? Последний раз я писал Вам в начале этого месяца. Мои путешествия продолжаются, теперь я собираюсь в Дюссельдорф, надеюсь также заглянуть в Эссен к друзьям и посетить под Кёльном Казака.

В Москве, как ни удивительно, одна издательница проявила интерес к моей Антологии, но в общем тамошние мои литературные дела швах. «Октябрь» перестал печатать сочинения Вашего слуги (я посылал им кое-какую беллетристику, а также большой этюд о д-ре Гёббельсе), а «Знамя» отвергло повесть, о которой я сообщал Вам прошлый раз. Собственно, я и ожидал отказа. Хотя я не обольщаюсь насчёт художественных достоинств этого сочинения, но думаю всё же, что основания не литературные, а «идейные». Действие этой повести происходит в Москве и даже в нынешние времена. Редактор, печатавший в «Знамени», хоть и со скрипом, мои статьи-рецензии (которые давали возможность получать какие-то копейки моему брату), ушёл. А я, как дурак, занялся новой рецензией — на две книги, биографии Бенна и Юнгера.

Вчера я заглянул в Stabi (Баварскую библиотеку) и познакомился с Вашим письмом к А.Зубову и его ответом. О Зубове говорится, что он доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник института и прочее. Мне показалось, однако, что о его тексте можно

сказать то же, что сказал Эйнштейн, когда ему прислали рукопись труда Энгельса «Диалектика природы»: «Научной ценности не представляет». Удивительное дело: Ваш корреспондент намного моложе нас с Вами, ему меньше 50 лет. Но от его рассуждений тянет вонючей плесенью. Безнадёжная заскорузлая провинция. Его рассуждения об «Анне Карениной» примитивны, почти на уровне школьных интерпретаций, словно он читал не роман, а пересказ в учебнике литературы. При радикальном отвержении (с каких пор?) атеизма, большевизма и т.д., стиль мышления остаётся советским. Философствование сводится к набору шаблонных оппозиций, это относится, конечно, и к теме гражданской войны. Снова всё то же, снова, стоило Вам только заикнуться о погромах, Вас угощают статистикой: 35 процентов евреев... 40 процентов евреев... Почему не 80, не 120?

Поздравляю Вас с Новым годом, хотя он, вероятно, уже давно наступит, когда (и если) до Вас доберётся это письмо. Между тем началась рождественская суета, да и суета выступлений всё ещё не закончилась: позавчера, например, я и переводчица моих творений Аннелоре Ничке два часа упражнялись в красноречии на семинаре немецких переводчиков художественной литературы aus dem Russischen в мюнхенском Доме литературы. А после этого, в тот же вечер, мне нужно было читать на вечере, посвящённом Тютчеву, очерк о мюнхенских годах Тютчева. Странное несоответствие, неконгруэнтность обоих миров, немецкого и русского, и ничего не меняется, хоть я живу так уже почти двадцать лет.

Я занимался этот месяц разными мелкими делами, затеял статью о Бруно Шульце и пр. О моей литературе нельзя сказать ни того, что она процветает, ни что она окончательно зачахла. С разных сторон я получаю предложения напечатать то, издать это, и, как водится в нашем отечестве, посулы и обязательства растворяются в воздухе. Сначала у вас вымогают рукописи, а затем попытки что-либо узнать, даже в самой вежливой форме, оказываются улицей с односторонним движением. Независимо от того, как к вам относятся, вам никто не отвечает. Люди заняты, некогда даже ходить на работу, где уж там заниматься корреспонденцией. Любопытно, что все журналы, словно сговорившись, избегают незадачливых авторов: «...и по их поводу в переписку не вступает», как бы говоря: не суйтесь — и не чувствуя постыдности этих заявлений. Вот так редакторы.

Борис Дубин (вот человек, перед которым я преклоняюсь) прислал мне свою книгу «Слово — письмо — литература», во многом замечательную, знакомы ли Вы с ней? Время от времени я вижу Блюменкранцев, они переживают трудное время. В Мюнхене и дру-

гих городах, особенно в Берлине, из огромной массы новоприбывших мало-помалу выкристаллизовывается то, что можно назвать Четвёртой волной. Странное дело, трижды похороненная эмиграция периодически возрождается.

Дорогой Гриша, я становлюсь суеверным. Позавчера послал Вам пакет с письмом и рукописью в смутной надежде подхлестнуть почту, и смотрите-ка! — сразу же пришло письмо от Вас, и тоже с рукописью. Написано прекрасно в обоих смыслах слова: чётким почерком и прекрасным стилем: сжато, энергично, красиво.

(Сразу, чтобы не забыть: исправьте или вычеркните фразу о сифилисе. Применялась не «серная» мазь, а ртутная. Мазь втирали в разные участки по определённой схеме. Лечение ртутью специфическое, а отнюдь не симптоматическое, и при достаточной настойчивости высокоэффективно, это знал ещё Парацельс. Беда в том, что оно опасно, ртуть ядовита.)

Конечно, Ваша статья может вызвать возражения. Это не удивительно, ведь мы живём в разных мирах. Военные меры оказываются необходимы, когда дело идёт об организованном международном терроризме или о террористических режимах, и есть несколько хороших примеров. Если бы Израиль не разбомбил иракский атомный реактор, у Садама была бы ядерная бомба. Если бы американцы не раздолбали его в Персидском заливе, он захватил бы Кувейт с его колоссальными нефтяными богатствами, последствия были бы ужасны. Если бы не утихомирили ливийского диктатора, он превратился бы во второго Садама Хусейна.

Вы хорошо пишете о корнях и причинах исламского терроризма. Но терроризм — профессия относительно небольшой кучки людей; разгром организаций, изоляция такого человека, как Усама бин-Ладен, может многих отрезвить, не говоря уже о том, что преступление должно быть наказано. Мусульманский мир может ненавидеть западную цивилизацию, но он зависит от неё и тянется к ней, сегодня он просто не может существовать без этой цивилизации. Это ярость опоздавших. Вдохновители террора пользуются плодами европейского и американского технического прогресса, да и сами бандиты вооружены бомбами и автоматическим оружием западного производства, разъезжают в автомобилях последних марок, летают в реактивных самолётах, живут в роскошных современных отелях.

В другом месте Вы пишете: «Горе современной цивилизации — это горе от ума». Сомнительный тезис. Надо было сказать: горе от безумия. Ведь если говорить серьёзно, единственная надежда — это надежда на человеческий разум, больше ни на что. Я готов подписаться под Вашей

критикой технологической цивилизации, мог бы многое добавить к этой критике, хотя, по правде сказать, она, эта критика, давно превратилась в общее место: кто только не обличает современный западный мир. Увы, пути назад нет. Вы упоминаете, и не раз, экологический кризис. Парадокс в том, что успехи борьбы за оздоровление среды, и немалые, достигнутые в некоторых странах, включая Германию, стали возможны только благодаря современной технике и большим капиталовложениям. Норвегия, где Вы были, сделалась процветающим государством, но это благодаря нефти, которую добывают со дна моря и выгодно продают. Созерцательная цивилизация, о которой Вы пишете, — это красивый миф, таких цивилизаций никогда не существовало. В самых консервативных обществах не обходилось дело без войн и распрей, всегда существовали торговля, мореплавание, власть и угнетение, классовые и словесные противоречия, грабительские походы, голод, нищета и эпидемии, о которых мы имеем лишь смутное представление. Не мне Вам говорить, что и в Индии, и в буддийских странах монашеская созерцательность, самоуглубление, духовная культура вообще были достоянием незначительного меньшинства. Отсутствие противоречий, жизнь без кризисов? Но это не жизнь, а смерть.

Нас завалило снегом. Вся Германия в снегу. На дорогах застопорилось движение, люди ночуют в машинах, работники ADAC (Автомобильного клуба) развозят пунш и горячий бульон, одеяла, устраивают детей на ночлег. На носу западное Рождество. Я получил в подарок из ведомства федерального президента компакт-диск с записью благотворительного концерта в пользу Deutsche Künstlerhilfe, слушаю, как Иоганнес Рау читает сказку «Бременские музыканты», — читает, надо сказать, очень хорошо, да и язык братьев Гримм великолепен, — и слушаю музыку Старого Фрица — Фридриха Великого. Сегодня воскресенье.

Напечатали ли Вы статью о терроризме? Продолжается ли обмен мнениями с доктором исторических наук? Я занимался всё это время, не считая разных домашних забот, мелочами, написал статью о Бруно Шульце и ещё одну статью о двух книгах — биографиях подруги Гёте Кристианы Вульпиус. Написал один рассказик, вполне безумный, под названием «Песни продолговатого мозга». Иногда кажется, что всё меньше и меньше думаешь полушариями большого мозга, всё больше — продолговатым мозгом. В марте и апреле мне предстоит операция на глазах: я стал плохо видеть. Всё ещё, как видите, протираю штаны перед компьютером, но читать стало трудно. Иногда по привычке проглядываю журналы. В «Воплях» попалась мне большая беседа с Георгием Владимовым. Я с ним был почти не знаком. Разговор отвечает консервативному духу журнала. Писатель возвратился в Россию, так как русскому писателю не

полагается жить вне родины. Он остался верен своим взглядам на литературу, усвоенным в школе Твардовского, это — эстетическое кредо прозаика, для которого XX века не существовало. Толстой, реализм, «правда жизни». Владимов — серьёзный и заслуживающий уважения писатель-эпигон. Но вот что удивительно: рассказывая о своей жизни в эмиграции, он не нашёл ни одного слова благодарности стране, которая его приютила, дала ему возможность, нигде не работая, заниматься литературой, — при том, что никто ему здесь ничем не был обязан.

Конечно, я не спорю с Вашей концепцией, пороки цивилизации, и особенно в том виде, какой она приняла буквально на наших глазах, очевидны.

Однажды, это было уже давно, я имел удовольствие провести в одном доме вечер с Карлом Фридрихом Вейцеккером, знаменитым физиком-атомщиком и философом, старшим братом тогдашнего федерального президента Рихарда фон Вейцеккера. Вероятно, Вы знаете, что ему принадлежит множество работ на тему, которой Вы занимаетесь. Разговор шёл о разных предметах, и, между прочим, В. процитировал фразу своего сына, кажется, биолога: этот век (т.е. XX) был веком политики, следующий будет веком экономики.

Я вспомнил это в связи с тем, что Вы в статье говорите «не о частных проблемах экономики..., а о глобальной невозможности бесконечного роста технического мира по прямой». Эта фраза показалась мне симптоматичной. Её мог написать человек, взирающий на западную цивилизацию из прекрасного далёка. О недопустимости, невозможности безудержного роста говорилось тысячу раз. Выяснилось также, что это — рост отнюдь не только «по прямой». Но для того, чтобы от слов перейти к делам, нужны не только увещевания, не только то, что Вы называете паузой созерцания. Вы не можете заставить государственных лидеров, руководителей международных концернов и крупных банков на минуту остановиться, прекратить свою деятельность, отодвинуть в сторону бумаги и выключить компьютеры, чтобы предаться созерцанию или просто подумать — куда мы несёмся? Совершенно так же, как нельзя заставить машиниста на минуту сложить руки, закрыть глаза и подумать, куда летит локомотив. Но для того, чтобы что-то сделать, нужны реальные соглашения, нужны конкретные экономические меры, увы — именно экономические.

Приходится то и дело вспоминать о том, что мы живём в мире, где небольшая группа вырвавшихся вперёд (так что их уже никогда не догонишь) государств во главе с Америкой диктует свою волю остальному миру — отсталым, бедным, а часто и попросту нищим, ужасающе нищим странам и что этот диктат одновременно означает экономическую

опеку. Целые регионы мира оказываются попросту на иждивении богатых держав и международных организаций. Попробуйте-ка обратиться к населению этих нищих, донельзя загаженных и перенаселённых стран — с проповедью умеренности и созерцательности. Обездоленные народы ненавидят Америку и в то же время грезят о благах американской цивилизации, о богатстве и лёгкой жизни, о том, чтобы «покупать и выбрасывать».

Вас восхищает Тибет как пример гармонического общества. Мы мало что знаем об этой редко населённой стране с достаточно суровым климатом. Тем не менее известно, что это край, где распространены болезни, преодолённые в других районах мира, страна с очень высокой детской смертностью. Страна с теократическим режимом, который в свою очередь подпал под иго китайского тоталитарного коммунистического режима, — согласитесь, что это ужасная комбинация. Можно было бы найти пример получше, например, Исландию. (Там, между прочим, живёт на островке рядом с главным островом старшая падчерица Жени Барабанова, Нина, она замужем, занимается сельским хозяйством и, кажется, довольна жизнью.) Ясно одно: гармоническое общество, если и возможно в наше время, то лишь как этногеографический анклав, с маленьким населением, на обочине мира.

В наших краях дожди, каких ещё не видывали: наводнение во многих местах и даже в разных странах Европы. В России, на черноморском побережье, тоже беда. Ничего не знаю о Вас, здоровы ли Вы.

Свой роман — если это роман — я закончил, хотел бы в Париже ещё раз основательно пройтись по нему. Вещь эта с точки зрения поэтики вполне традиционная, а назвать её можно было бы так: «Победителей не судят». Подразумевается, что победители сами себя судят. Хотя собственно о войне в этой книжке говорится не так уж много, и главное место в ней занимают «чувства», весьма заурядная любовная история. Один из её важных подспудных мотивов — последствия войны или, лучше сказать, длящийся разгром, ибо разгромлены были обе стороны. Парадокс недавней истории, — сколько их, этих парадоксов, и какое массивное присутствие абсурда, — парадокс в том, что страна, достигшая небывалой мощи, сумевшая в результате победоносной войны распространить своё влияние на страны и территории, завладеть которыми прежде и не мечтали, ставшая второй великой державой, — в действительности, как мы теперь видим, понесла самое тяжёлое поражение, может быть, за тысячу лет своего существования. Но проиграть войну было бы ещё ужасней. Итак, говорится о молодёжи, о будущем, наступившем после войны и которое теперь уже — прошлое. Поэтому сочинение называется несколько кудряво: «К северу от будущего». Но это не моё изобретение, а цитата из Целана, есть такое стихотворение: *In den Flüssen nördlich der Zukunft...*

Я как-то всё время возвращаюсь к тем временам, к войне, на которой не был, но которую очень хорошо помню. Теперь я научился смотреть на неё, так сказать, сразу с обеих сторон, и всякий раз, когда я читаю о войне что-нибудь появившееся в России, мне этой второй стороны, этой стереоскопии не хватает. Между делом я написал рецензию на только что вышедшую книжку графа Крокow о Клаусе Штауфенберге, совершившем взрыв в «Волчьей норе». Эти рецензии, которые я сочиняю для «Знамени», собственно, не рецензии, а скорее полурассказ, полуразговор по поводу, — единственный род прозы, который мне разрешается публиковать в этом журнале.

Любопытно, как совпадают или скрепчиваются наши мысли, не смотря на то, что мы живём на разных планетах. Последнее время, в связи с моей работой, я тоже вспоминал (и писал) о нашем давным-давно усопшем вожде. Правда, я не стал бы называть его параноиком. Этот медицинский термин (параноидная форма шизофрении) к нему не применим. Сталин не был душевнобольным. Можно говорить лишь о том, что принято называть патологическим развитием личности (Фромм аттестует его как несексуального садиста); неограниченная власть, всенародное ползание на брюхе и абсолютная безнаказанность развили в нём до неслыханных масштабов эти черты. Но психическое заболевание, болезнь могла бы служить для него извинением. Болезнь освобождала бы его в той или иной мере от ответственности за содеянное. В том-то и дело, что он не был больным, как не были клиническими больными истерик Адольф, кровавый старик Хомейни, палач Пол Пот, карикатурный кондуктор Чаушеску, корейский чучхэ, какой-нибудь гаитянский мини-диктатор Дювалье и tutti quanti.

«Религиозная музыкальность» (и, наоборот, амусия) — очень удачное определение; очевидно, можно говорить о религиозности как о настрое, о религиозном слухе или отсутствии оно, наподобие отсутствующего музыкального слуха.

В Ваших рассуждениях поставлен политический акцент: Вы пишете о том, что антитеррористические акции приводят лишь к пополнению кадров террористов. Следовательно, не нужны и даже вредны? Так кажется многим. Америка не предпринимала антитеррористических действий в сколько-нибудь широком масштабе и, однако, сделалась неожиданно жертвой террористической атаки, превзошедшей всё известное доселе. С другой стороны, все группы, организации и «армии» террористов, исламских и неисламских, по крайней мере до сих пор, удавалось рано или поздно разгромить.

Ваша беседа с Нуйкиным напомнила о наших старых временах... Для меня вопрос — стоит ли жить в России, не лучше ли отряхнуть от

стоп пыль отечества, стоит ли, не стоит, ради чего, и пр., — конечно же, давно неактуален. Впрочем, мы с Дж. Глэдом довольно обстоятельно мусолили его в нашей книжке «Допрос с пристрастием». О том, что эмиграция — и тем более вынужденная, почти принудительная, когда на сборы даётся несколько дней, а клочок бумаги, именуемый выездной визой, выглядит, как приказ покинуть страну, когда государство и не отличимое от него жульё грабит уезжающих дочиста, отнимает у них все их прошлое, вообще делает всё возможное для того, чтобы отбить у них последние сожаления об отъезде, — о том, что эмиграция, любая эмиграция, означает колоссальные потери, нечего и говорить. Вашему собеседнику, вероятно, было приятно ещё раз это услышать. Но жизнь за границей и обогащает необычайно. Я говорю именно о жизни, а не о туристических поездках. Про себя я могу сказать, что, хотя у меня было важное преимущество перед другими — я знал язык, был не чужд немецкой культуре, — тем не менее, сравнивая эти двадцать лет в Германии с прежней жизнью, я не могу отделаться от впечатления, что прежде я смотрел на мир одним глазом, а теперь — двумя.

«Русская литература, русский язык органически связаны с Россией». Разумеется, — и, однако, не совсем. Литература в России — это ведь не вся русская литература, а только её часть. Да и в лучшие времена, в те ушедшие времена, когда литература русского языка была литературой мирового значения, — смотрите-ка: Гоголь в Риме, Тургенев в Париже, Тютчев в Мюнхене, Герцен в Лондоне, Достоевский в Дрездене. Вы скажете, что тогда можно было по своему желанию уехать, по своему желанию вернуться. Вот тут-то мы и упираемся в самое, может быть, главное и болезненное. Одним из условий расцвета литературы и мысли, и это в равной мере относится и к западникам, и к славянофилам XIX столетия, был постоянно обновляемый, живой, человеческий контакт с миром, с Западной Европой. Советский режим на три четверти века пресёк этот контакт. Последствия отнюдь не преодолены, разрыв, ров всё так же глубок.

Я с большим интересом прочёл «Догматы полемики». Стиль и приёмы полемических выступлений Солженицына хорошо известны с давнишних пор. Теперь он превзошёл самого себя. Когда появился второй том сочинения о евреях, мне звонили и спрашивали, собираюсь ли я (так как в числе прочих там упоминается и моё имя) возразить автору. Зачем? Если прежние книги ещё могли вызвать желание откликаться, то *эта* книга не заслуживает обсуждения. Это книга гнусная, иначе не скажешь.

...Обратил внимание на Ваши слова о том, что западники — и демократы, и либералы — писали хуже славянофилов или, как Тургенев, «не лучше Флобера» (что в Ваших устах, кажется, не служит большой

похвалой). Это наблюдение, по-видимому, делалось не раз, но его можно принимать лишь в большими ограничениями. Когда речь идёт о русской литературе, этот подход кажется мне плохо работающим. После всего, что пережито, знаменитый русский спор XIX века, спор западничества со славянофильством, кажется архаичным. Он в большой мере принадлежит обществу, от которого ничего не осталось. К тому же, как мы сейчас видим, его роль в русской культуре и особенно в литературе была преувеличена. Достоевский, может быть, самый яркий пример. Для Вас он служит примером великого писателя — убеждённого противника либерализма и западничества. Высмеял Кармазинова и т.д. Но Вы лучше меня знаете, что агрессивно-православное славянофильство Достоевского (называемое обычно поздним почвенничеством) со временем перекочевало в литературоведческий комментарий; осталось нечто грандиозное, неумирающее, действительно важное, остался великий художник. Говорить о таком писателе: православный христианин, почвенник, патриот, шовинист? Да, это так. Но это почти то же, что сказать о Пушкине — очень талантливый поэт.

Вы возвращаетесь к любимой Вами бинарной оппозиции: славянофильство versus рационализм. Это противопоставление, некогда очень важное, кажется мне устаревшим. Ведь рационализм следующего, двадцатого столетия — совсем не то, что классический рационализм XVII и XVIII веков, и не то, что позитивизм XIX в. Вполне обветшала и мифология почвенничества, кстати, представленная — Вы это знаете не хуже меня — и в Германии, и во Франции, и в Польше, и в Испании («кихотизм» Мигеля де Унамуно), и где там ещё. Сегодня она может быть только пародирована (в манновском смысле слова). Если же отнестись к ней всерьёз, если бы всё дело было в этой мифологии, — Достоевский с его «Зимними заметками...» и т.п. давно стал бы нечитаемым писателем. И с «логикой» дело обстоит не так просто в искусстве. Заметьте, кстати, какой продуманной, последовательной, внутренне аргументированной, *логичной* выглядит композиция романов Достоевского.

Ваша излюбленная ангиномия рационального и интуитивного, абстрактного и чувственного. Вообще говоря, это две стороны любой, в том числе и вполне изолированной культуры. А теперь ещё глобализм и региональные культуры...

Меня, по правде сказать, страсти вокруг глобализации мало занимают. Но всё же: посмотрите, что происходит в действительности. Если под глобализацией подразумевать (считать различными аспектами глобализации) мировой рынок, господство ведущих банков и давно уже выломившихся из национальных границ промышленных концернов, унификацию индустрии развлечений и массовой культуры — глобали-

зацию пошлости, унификацию мод, массовый туризм, международные авиалинии, всемирную карманно-телефонную связь и электронную почту — и так далее, — то она, эта глобализация, уже состоялась. И будет прогрессировать, и никакие демонстрации, никакие предупреждения консервативно мыслящих интеллигентов, никакие заклинания национальных идеологов не смогут её остановить. Нужно ли этому радоваться? Не знаю. История всё больше становится врагом человека.

Из писем к М.С. Харитонову

1998–2009

Дорогой Марк!

Только что прочёл твоё предисловие к дневниковым записям 1997 года и в свою очередь подивился совпадениям; очевидно, что при некоторой неизбежной разнице между твоей и моей стилистикой наша мысль движется параллельно, интересы сходятся; но ты (в предисловии) учитываешь собственный метод ведения дневника, комментируешь его, находишь точки соприкосновения с Толстым, с Канетти и пр., а же в статье о дневниках писал исключительно о чужих документах и старался выбирать очень разные образцы. Сам я усердно вёл дневник подростком, это было во время войны, в эвакуации, и главным стимулом и примером были «Воспоминания» Вересаева, замечательная книга, может быть, лучшая из всего написанного им, которую я хорошо помню, он вставил туда обширные выдержки из дневника гимназических и студенческих лет. (В последующих, послевоенных изданиях книга была подвергнута ханжеской цензуре.) В Москве, во время учёбы в университете, когда возникла угроза ареста, я уничтожил свои дневники, — до сих пор вижу их перед глазами, эти тетрадки с римскими цифрами на обложке, я обожал римские цифры, — а некоторые разрозненные, не столько дневниковые, сколько полулитературные заметки, сделанные позже, были изъяты при аресте, который в конце концов совершился. Пропала и литературная переписка, которую я вёл в эвакуации с моим дядей; я не устаю об этом жалеть.

Я стал читать твой дневник: сколько там интересного! Вообще это была замечательная, урожайная мысль — привести в порядок многолетние записи. Любопытны упоминания о Василии Васильевиче Налимове. Я бывал у него, он жил недалеко от меня; читал и обсуждал с ним его рукописи. Вместе ездили в Тарту и пр. Он довольно заметно эволюционировал от математики и позитивной науки к философии и от философии к мистике; похоже, что это был такой же пример медленного и, очевидно, губительного влияния жены (в данном случае Жанны), как у Гриши. Однажды, теперь уже почти десять лет назад, я го-

ворил о В.В. по радио, после этого он несколько раз звонил мне и присылал свои статьи и книги. Мне показалось, что в этих последних работах он стал менее интересен как мыслитель и генератор идей. Его мемуарная книжка «Канатоходец» — очевидная неудача. Я его очень любил.

Длинная запись о профессоре Г. («рассказ Юры», кто это?). Речь идёт о повальном увлечении фантомным знанием, винегретом из оккультных учений, увлечении, которое началось ещё при мне и в то время казалось закономерным продуктом общественного гниения. Похоже, что тогда эзотерические бредни, чудесные исцеления и т.п. были ещё привлекательнее, так как, будучи политически безопасными, оставались всё же достоянием узких кружков и компаний; как раз та самая среда, на которой эти дрожжи растут особенно интенсивно.

Или рассказ о слепом старике, который обращается к пассажирам не с призывом о подаянии, а с просьбой помочь ему перейти на другую линию метро. Самое поразительное — готовность помочь. Здесь это, конечно, не вызвало бы удивления. Но в России... Или другая история: милиционер с автоматом: «Ваши документы». Я представляю себе, какое впечатление произвёл бы на меня такой случай сейчас в Москве. Ах, Марк. Всё изменилось, и ничего не меняется. Чуть ниже — наш разговор о тайной политической полиции, когда мы гуляли возле акведука. Я помню, как Налимов когда-то говорил о проекте или мечте накрыть всю страну каким-нибудь колапаком из тончайшего материала. Взять хотя бы такой факт: репутации Брежнева, его облику — вопреки всем стараниям выглядеть прилично — исключительно повредил телевизор. Не зря власть уже не могла видеть, как когда-то, в средствах массовой информации только инструмент пропаганды («из всех искусств для нас...»; радио в каждом доме). И всё же тайная полиция, пусть впавшая в спячку, жива, невредима и пережила всё и всех.

Что сказать тебе о моих делах? Дела идут, как водится, черепашьям шагом. За последние месяцы я пытался продолжать мой безнадежный роман. Главный персонаж, человек без определённых занятий и в каком-то смысле человек без ценностей, точнее, без сознания необходимости располагать системой ценностей, представлялся мне неким героем нашего времени. Но вместе с тем я почувствовал тягу к тому, что в добрые старые времена именовалось мелкотемьем, к сугубо личным сюжетам и коллизиям. Я написал несколько коротких повестей или рассказов. «После нас потоп» будет выставлен осенью во Франкфурте. «Октябрь» тиснул в шестом номере несколько старых рассказов... Кроме того, я затеял, по какому-то необъяснимому капризу, может быть, под тенью смерти, которая ведь должна в конце концов наступить, нечто вроде литературной автобиографии, под названием «Понедельник роз»; вещь совершенно безнадежная в смысле печатанья. Да и вообще, не будь журнала «Октябрь», где меня всё ещё терпят, кто бы стал пуб-

ликовать мои изделия в России? Последний роман не вызвал никаких откликов, ни словечка. Да и прежние. А с другой стороны, надо, может быть, радоваться ограниченным возможностям публикации, ведь всё, что выходило прежде, искажалось, перекраивалось, сокращалось, изобиловало грубыми опечатками. А ведь я работаю над каждым словом, над каждой запятой.

Твой отзыв о моей «литературной автобиографии» меня заинтересовал и тронул. Мне всегда казалось, что подобные сочинения не могут рассчитывать на внимание читателей.

Тебя удивляет, каким образом при советском режиме могла существовать полноценная культура. Ещё бы; я и сам не переставал этому удивиться. Диву можно было даваться, как сумела в этих условиях если не сохраниться, то, по крайней мере, регенерировать интеллигенция, откуда брались все эти люди, которых власть нещадно выпалывала и которые появлялись сызнова. И вместе с тем семьдесят лет террора, подкупа, кастрации и отторжения от мира не могли пройти даром даже для тех, кто был полон решимости отстаивать своё достоинство. Конечно, то, что я написал о советской литературе, чрезвычайно схематично. Повод для этой главы был такой: человек, который решил заниматься литературой, не мог не видеть перед собой существующий, организованный, экономически мощный и не лишённый определённой привлекательности литературный истеблишмент. Войти в него было мечтой многих. Но что представлял собой этот истеблишмент? Вопрос, что, собственно, осталось теперь от всего этого, вопрос о наследии советской литературы, — ибо она, что ни говори, была целой эпохой в истории русской литературы, была русской литературой, — этот вопрос выходил за пределы моей темы. О нём стоило бы поговорить отдельно.

Написал дату — 19 октября 1998 — и вспомнил, что сегодня пушкинский день. Октябрь странным образом всегда, всю мою жизнь был месяцем невзгод. В октябре, ночью, меня когда-то арестовали. Это было сорок девять лет назад.

...Что касается новостей из Москвы, то дела, кажется, не только не улучшаются, а наоборот. Да и как они могут улучшиться, — дело кончится тем же самым: снова удастся выклянчить деньги в Международном валютном фонде (т.е. у американцев и немцев), и снова они будут разворованы. Что это за проклятье, что это за страна. Каждое новое «руководство» оказывается ещё более коррумпированным, чем предыдущее. Достаточно взглянуть на эти физиономии, которые демонстрируют себя по телевидению. И надо думать, поток бегущих из России (и

приезжающих сюда), и без того немалый, в ближайшие месяцы только усилятся. Может, в самом деле нужно плюнуть на всё и рвать когти? Ведь совершенно ясно: даже если положение кое-как стабилизируется — это неизлечимый больной.

Мне знакомо интервью Борхеса, которое ты упомянул; зная Борхеса, можно почти наверняка сказать, что то, о чём он говорит, — равнодушие к своей известности, отсутствие интереса к рецензиям на свои книги, — не кокетство, обычное в таких случаях. Но мне кажется, что у Борхеса, что бы ни говорил он о вымирании читателей, всё ещё оставалось чувство культурного гнезда, точнее, чувство или сознание того, что он окутан культурой, находится в культурной среде, дышит её воздухом; много у него читателей или мало, ему как автору ничего не грозит, у него есть духовное жильё и крыша над головой. Мы в России находимся в ситуации культурной бездомности, мы напоминаем цыган, раскинувших свои дырявые шатры поблизости от других цыган, в любой момент всех нас может промочить до нитки дождём, завалить снегом.

Мы были, я думаю, свидетелями удивительного явления. После опустошений, казалось бы, начисто истребивших интеллигенцию в послереволюционной России, после того, как вся культурная почва была залита асфальтом, началась осторожная регенерация, вроде того как бамбук взламывает асфальт и трава прорастает сквозь трещины. И снова, откуда ни возьмись, в шестидесятых, в семидесятых годах обозначился тонкий культурный слой. Сейчас происходит стремительная эрозия. Куда бы я ни поехал, я вижу множество россиян. Какое-то небывалое нашествие. И это не только жульё, крупные и мелкие бандиты, базарные голоса, стёб и мат на улицах немецких и американских городов. Вместе с чернью Россию покидают интеллигенты. Открылись ворота, а в самой стране условий для полноценной культурной деятельности, очевидно, нет. Мне кажется, что впечатление общей вульгаризации, даже какой-то люмпенизации общества, которое было у меня особенно в последний приезд осенью прошлого года, по крайней мере отчасти связано с этим новым исходом — это его результат.

В больнице я листал всякую всячину, два последних номера Нового Литературного обозрения с похвалами концептуалистам, этим трём голым королям, при которых придворные литературоведы выполняют роль ткачей, фабрикующих для их величеств шикарное новое платье. Я бывал на концертах Д.А. Пригова и однажды познакомился со Львом Рубинштейном, чьё творчество показалось мне небезынтересным, хотя найденная им жила, похоже, уже выработана, как рурская железная руда. Что касается Пригова, которого полагается называть по имени, отчеству и фамилии и никак иначе, то после первых забавных выступлений его творчество, по-моему, всё больше отзывает жульничеством.

Как приятно было слышать твой голос по телефону, дорогой Марк. До конца года остаётся всего ничего. Праздники продолжаются, фактически закончатся только к Трём Волхам (Dreikönig). На улицах тишина, безлюдье, только на Мариенплац и вокруг, как всегда, полно народу, исполинская ёлка, Christkindlmarkt — базар Христа-дитяти, шестиугольные звёзды, горячий глинтвейн и жареный миндаль — всё как всегда. От снежной зимы, которая погребла нас две-три недели назад, ничего не осталось, сегодня с утра шёл дождик, сейчас всё сухо. Я сижу дома и веду оборонительную войну с демоном, который поселился в звоночнике, присвоив себе почётное звание радикулита.

В промежутках я ездил в Гамбург и в замок Eichholz под Бонном, который скоро окончательно перестанет быть правительственным городом (я лично об этом жалею); между прочим, была устроена экскурсия в Haus der Geschichte, новый и отгроханный на широкую ногу музей истории Федеративной республики. Тебе выдают портативный радиопередатчик, и ты слышишь речь экскурсовода, даже находясь где-нибудь на другом этаже. В музее особая выставка фальсифицированных фотографий вождей, поддельных кадров и так далее, под названием «Bilder lügen», где, естественно, почётное место занимает достигшее небывалых высот искусство изобразительной липы в Советском Союзе, в Германии Гитлера и в Италии Муссолини — но не только в этих странах. Умельцы на экране показывают, как всё это делается.

Занимаюсь я тем, что правлю небольшие вещи, написанные летом... Если же говорить о моей работе вообще, то получается любопытная история. Мы дожили до того, что можем печататься в России, по крайней мере, в журналах. Но если каждая моя книжка в Германии сопровождается рецензиями, передачами по радио или телевидению, выступлениями и т.п., то в России мои писания падают в пустоту, критики ими не интересуются, у них другие заботы и вкусы, о читателях я судить не могу: их нет.

Конечно, это процесс обоюдный; с одной стороны, мне трудно примириться с мыслью, что мои сочинения до такой степени скучны, занудливы, неинтересны, далеки от русской жизни и от жизни вообще; с другой стороны, я понимаю, что они рассчитаны (как, впрочем, и твои книги) на более или менее квалифицированное чтение, требуют встречного усилия, на которое, возможно, большая часть российских критиков и рецензентов и решающее большинство тех, кто ещё находит время и охоту читать, не способны. Да, это обоюдный процесс, так как, оставаясь русским писателем, я в то же время дистанцирован вдвойне — как еврей и как эмигрант, безнадежно оторванный от злободневности. Но что это за литература, скажи на милость, которая занята злободневностью, — ведь для этого существует газета. Мне кажется, останься я в России (и если

бы удалось остаться в живых), я всё равно не мог бы писать о том, что видел бы за окошком. Литература живёт памятью, а не актуальностью, пережитым, а не только что услышанным.

Дорогой Марк, я писал тебе между западным Рождеством и Новым (1999) годом и, как видишь, не унимаюсь. Хочется немного сказать о книге («Способ существования»), которую я получил несколько дней тому назад. Такие книги необязательно читать подряд, вышло так, что я раскрыл её на Давиде Самойлове. Я когда-то восхищался некоторыми из его стихотворений, помню многое, хотя не перечитывал с тех пор, как уехал. Например, изумительное стихотворение о памяти, которое начинается как белые стихи, а в конце появляются рифмы. «Но в памяти такая скрыта мощь, Что пробуждает образы и множит. Шумит, не умолкая, память-дождь, И память-снег летит и пасть не может». Видел я поэта всего лишь один раз. Это было году в 70-м, в доме одной телевизионной дамы, собралась небольшая компания. Дезик, низкорослый, пьяный и раздражённо-самолюбивый, повздорил из-за какой-то чепухи с одним довольно мирным человеком, наскакивал на него, как болонка на дога. Я знал более или менее близких к нему людей, они говорили, что не видят его трезвым, и было непонятно, когда он ухитряется писать стихи.

Дневник его меня разочаровал, он оказался каким-то бледным, очень советским, и, конечно, можно было почувствовать, что диарист сам следит, как бы не брякнуть чего-нибудь лишнего.

И вот теперь я читаю эти страницы в твоей книге, читаю вашу переписку, и постепенно вырисовывается как бы сам собой портрет этого человека, о котором, бесспорно, стоило написать; получилось это у тебя превосходно. Я говорю «стоило», потому что задаёшь себе один и тот же вопрос. Самойлов был одним из лучших, может быть, лучшим поэтом своего поколения. Почему же всё-таки он не стал по-настоящему большим поэтом? Из-за своей традиционности, заставлявшей — изредка — чувствовать в нём эпигона? (Эпигона Баратынского, Тютчева, вообще всей этой линии. Другие были тоже эпигонами: Коржавин — эпигonom Некрасова или поэтов «Искры», Вл. Соколов — эпигonom Фета.) Из-за постоянной, привычной оглядки на цензуру? Из-за скованности идеологией и этой специфической встроенности в кастовую психологию советского писателя? Просто из-за боязни неприятностей? (На фронте нахлебался достаточно.) Из-за алкоголизма?

Страницы, посвящённые «Двум Иванам», поразительны. Тут он сказался весь. Как художник он чувствует высокое достоинство этой прозы. Но оказывается, что есть нечто поважнее. Книге якобы не хватает любви. На самом деле то, что он именуется чувством, есть не что иное,

как идеология. Этот человек остался в плену государственной идеологии, хотя и не сознаёт этого (или старается утаить это от самого себя). Он прекрасно понимает, что с этим режимом что-то глубоко не в порядке. Но с ним надо мириться, альтернативы — для Самойлова, для всей писательской касты — нет. С режимом надо мириться хотя бы потому, что надо печататься. Замечательное высказывание: «Почему мы должны ждать лучшего отношения от власти, к которой сами не сделали на встречу ни одного шага?» Это похоже на то, как Савельич уговаривал Петрушу Гринёва: «Поцелуй у злодея ручку».

И вот происходит бегство в государственный патриотизм. Отечественная история священна. (Солженицын укорял Тарковского — «Андрей Рублёв» — почти в тех же выражениях: клевета на русскую историю. Сцена с выкальванием глаз мастерам и мальчику-ученику — злостный поклёп: на Руси так не бывало, только на Западе. Как будто в Повести временных лет нет рассказа об ослеплении князя Василька.)

Находится способ и невинность соблюсти, и капитал приобрести. Он делает вид, будто не сознаёт, что идёт по стопам всё той же идеологии, которая давно отказалась и от пролетарского интернационализма, и от самого марксизма, превратившись в идеологию «любви к Родине», иначе говоря, идеологию имперского самолюбования. Дальше — больше: человек по фамилии Кауфман находит возможным упрекнуть своего товарища в «инородчестве», произносится это замечательное словечко. «Инородческое отношение к истории». А иногда кажется, что человек уговаривает сам себя: это когда он с ненавистью говорит об эмиграции.

Я как-то завяз на этой главе «История одной влюблённости» (хорошее название), между тем как в книге есть множество других интересных мест, и как жаль, что я не могу поговорить с тобой на все эти темы; кое с чем можно было бы и поспорить. Мне понравилось построение книги, нелёгкая задача, и очень понравились рисунки Гали. А на портрете у тебя вид старого всезнающего иудея, какого-нибудь из твоих предков. (Известен ли тебе рисунок, не помню чей: Фет за письменным столом, где он удивительно похож на старого еврея?)

Я тоже в разное время делал для себя разные записи. Мои юношеские бумаги, дневник, который я вёл подростком, литературная переписка с дядей во время войны и проч. погибли, когда я был арестован; другие вещи пропали, когда пришлось уезжать. Но и здесь я делал время от времени заметки в связи с разными литературными занятиями или поездками, или просто так, а также наворотил за эти годы огромный ворох писем. Никогда прежде я не писал столько писем. Да и вообще мы живём в неэпистолярное время. Так что всё это, по-видимому, тоже пропадёт. Кто знает, может быть, кое-что, отобрав, стоило бы издать. Но невозможно.

Вчера вечером, дорогой Марк, мы вернулись из Венеции, в этот раз город, залитый солнцем, с мраморными палаццо и сверкающими водами, казался совсем другим. У меня грипп. Я заболел накануне отъезда, ночью меня развезло, но сейчас, как видишь, я снова сижу перед этим агрегатом.

По приезде я нашёл в ящике твоё письмецо, «Способ существования» я получил, надеюсь, что и письмо моё, где я писал об этой книге, до тебя дошло. Книжка вызвала много мыслей, и я накатал пространное послание.

Обычно Гриша присылает мне все свои Neuerscheinungen, но на этот раз что-то ничего нет. Правда, я получил от него весточку недели три или четыре тому назад. Я всегда всё читаю, что выходит из-под его пера. Слово «перо» в данном случае нужно понимать буквально, так как Гриша никогда не пользовался пишущей машинкой, о компьютере и говорить нечего. Не способствовало ли это тому, что он стал писателем, для которого однажды сформированная система убеждений, представлений, однажды найденный набор литературных образов, священных имён и т.п. остались непоколебимы навсегда. Чем и объясняется то, о чём ты упомянул: он охотно повторяется. В этом сказывается привычка педагога.

За эти годы (мы переписываемся с 1982 г.) произошло то, что я, не без некоторой Überheblichkeit, склонен считать известным окостенением с его стороны, в то время как сам я ушёл сильно в сторону. Впрочем, ещё в Москве у меня было впечатление, что его поход против позитивизма (он называл его евклидовским мышлением — тогдашняя его излюбленная тема) изрядно запоздал. И теперь мне то и дело кажется, что я слышу устарелые интонации, старомодные суждения, воспроизводящие то, что давным-давно уже сказано. Например, это сказалось в нашей небольшой дискуссии об иронии. Мне бы следовало, вместо того, чтобы препираться, напомнить ему слова Беньямина: «Ирония — самое европейское из всех достижений человечества». Поразительно, однако, что Гриша сохранил в полной мере духовную и физическую активность. Итак, если придётся тебе его увидеть, скажи ему, что я жду его новую книгу.

...Неделю тому назад я был на очередной Р.Е.Н.-Tagung, на этот раз в земле Саксония-Ангальт. ПЕН-клуб — организация нищая, да и земля весьма бедная, но компанию опекает фонд Аденауэра, и мы жили в замке посреди леса. Ездили, между прочим, по округу (Kreis), который сохранил название прежнего княжества Anhalt-Zerbst и, очевидно, совпадает с его границами. Отсюда, как ты помнишь, прибыла в Петербург на шестнадцатом году жизни некая София-Фридерике-Аугуста, принцесса Ангальт-Цербстская, чтобы стать через 17 лет матушкой государыней Екатериной Второй. Посетили Виттенберг, город известный, и горо-

дишко Цербст, где всё ещё стоит руина — остаток дворца, некогда очень красивого. Собор наполовину разбит, наполовину функционирует, — как червяк, у которого половина тела раздавлена. Хотя прошло уже почти десять лет после воссоединения, восстановить не удаётся: слишком дорого. Город Цербст был сметён в один день, перед самым концом войны, и, кажется, не столько с воздуха, сколько огнём наступающей артиллерии. Город похож на человека, у которого срезано лицо.

Я слышу о том, что в Москве сильная жара. У нас здесь вчера доходило до 35 градусов, но, слава Богу, сегодня посвежело. Пасмурно, накрапывает дождик, из-за густой зелени в комнате совсем темно, и я сижу с зажжённой лампой. Некоторое время я занимался своим романом, похожим на куклу, которая ходит на веревочках: чуть отпустишь, и руки падают, ножки подгибаются. Кроме того, я стал доделывать один рассказик, в котором действие происходит в современной Румынии, точнее, в трансильванских горах, в замке графа Дракулы. У меня собралось довольно много рассказов разного калибра и на разные темы, я бы даже непрочь издать книжку в России, но кто это будет печатать? Я не очень-то русский писатель, Гриша был прав.

Был, как всегда в это время, кинофестиваль. Мюнхенский фестиваль не принадлежит к числу знаменитых, но в этом году ему постарались сделать рекламу. Мы с Лорой видели фильм Месхиева под названием «Американка» и две документальных ленты. Одна о Толстом, другая, в двух частях, о Солженицыне. Режиссёр Сокуров гуляет с писателем по его прекрасному лесопарку, задаёт глубокомысленные вопросы и выслушивает длинные ответы; беседует с женой писателя и благоговейно разглядывает рабочие кабинеты, зимний и летний. Весь фильм снят как бы на коленях и сопровождается ханжески-слащавым текстом. Вообще герой фильма существенно выиграл бы, если бы фильм был немым. Приехать с таким товаром на Запад было ошибкой.

У меня впечатление, что этот стиль — стиль славословий, банальных сентенций, невыносимой риторики и показного благочестия, весь этот до ужаса провинциальный кич, — не вызывает в России особого протеста. Или я ошибаюсь?

Время от времени я возвращаюсь к своему роману, который, вопреки всему, достиг всё же такой стадии, когда вещь начинает предъявлять автору собственные требования и претензии. Говоря коротко, это произведение больше, чем мои прежние опусы, сопротивляется правилам композиции, единого связного повествования с началом и концом, вообще сколько-нибудь ощутимой фабулы. Ближе, чем прежде, я стою перед опасностью хаоса. Мои надежды создать синтетический роман — произведение, которое подвело бы итог веку, а заодно и моей собствен-

ной жизни, — рассыпались в прах. Я умею создать фразу, абзац, самое большее — главу. Подняться на следующий уровень мне не удаётся, то, что я написал, — нагромождение обломков.

То, о чём пишешь ты, — место писателя в обществе и т.д., — конечно, и меня занимало уже давно, иногда я писал что-то на эти темы. Правда, я не живу воспоминаниями о временах, когда литература считалась престижной и прибыльной профессией, ведь мы с тобой, не правда ли, никогда к такой литературе не принадлежали. Но что верно, то верно: мне и теперь приходится изредка встречаться с писателями-россиянами, которые всё ещё исполнены сознания необыкновенной важности того, чем они занимаются, для читателей (которых на самом деле нет) и, по-видимому, не отдадут себе отчёт в том, насколько всё переменялось за последние полвека, то есть за время становления массового общества в главных странах. Россия идёт, разумеется, по тому же пути. Там хотели построить коммунистическое общество, а на самом деле заложили основы для массового общества, которое теперь и вылезает из своей скорлупы. Ты спрашиваешь, чего эти перемены требуют от нас. Очевидно, одного из двух решений. Либо приспособливаться, либо сопротивляться. «Was ihr den Geist der Zeiten heißt, das ist im Grund der Herren eigner Geist». Следовать велениям времени, шагать в ногу с эпохой и как там это ещё называется означает сдать перед натиском пошлятины, изящно именуемой массовой культурой. Это значит разделить судьбу большинства писателей. Другой выход — сопротивление гнусному времени, понимание того, что это значит на самом деле, «шагать в ногу», между тем как смысл писательской работы, смысл литературы и её единственное оправдание как раз и состоят в том, чтобы не «шагать». Иначе вообще не стоит пачкать бумагу. Но за это приходится дорого расплачиваться: у тебя не будет читателей и покупателей.

...Фильм Германа «Хрусталёв, в машину!» мне известен, я смотрел его года полтора тому назад на фестивале. Как и в Каннах, он не имел здесь успеха, обстоятельство, само по себе вовсе не говорящее о плохом качестве. Но он показался мне в самом деле какой-то катастрофой талантливого режиссёра, который слишком долго работал над ним, слишком много раз, по-видимому, кроил и перекраивал; вдобавок впал в ошибку, свойственную скорее начинающим и в кино, и в литературе: захотел в одном произведении сказать всё. Фильм чудовищно перегружен. Утрачено всякое чувство меры. И, конечно, утрачен вкус. Сюжет причудлив до неправдоподобия. Персонажи, не исключая протагониста, живописны и мертвы.

Я занимался это время тем, что писал философические ответы на вопросы Дж. Глэда; электронная почта даёт возможность связаться с Ва-

шингтоном за одну-две минуты. Кажется, я говорил тебе, что мы затеяли книжку, которая получится, если нам дадут грант, либо, что гораздо вероятней, останется ворохом бумаги. Это мысли о литературе — о чём же ещё? — с упором на литературу в эмиграции, но, разумеется, и о «шагании в ногу», о смысле (или бессмыслице) сочинительства. Правда, я уже немного коснулся этих материй в одном тексте, который сейчас, к моему удивлению, напечатан в 10-м номере «Октября», под заголовком «Понедельник роз».

Мы живём в трёх временах, вернее, в трёх разновидностях времени: в нашем собственном, глубоко интимном и по-настоящему единственно важном времени, в большом абстрактном времени, которое называется эпохой или историей, и в конкретном бытовом времени, называемом повседневностью. Для писателя, живущего на чужбине, но пишущего о стране, которую он оставил (что я и делаю, хотя в последнее время написал несколько небольших вещей, действие которых происходит не в России), это последнее, бытовое, или актуальное, время выпадает — его не существует. Может быть, поэтому мне легче презирать актуальность. Она кажется мне трухой, не успеешь оглянуться — её уже нет. Есть замечательная фраза Петера Вейса: «Помни, что завтра сегодняшний день станет вчерашним» (*Denke daran, daß morgen heute gestern ist*).

Разумеется, язык, как всё, устареваает. Это самое яркое выражение скоропортящейся современности. Оставить память людям, которые придут после нас, о нашем времени? Для этого нужно быть слишком высокого мнения об этом времени. Я думаю, что во всяком случае к этому не следует сознательно стремиться; если нам суждено оставить память, это произойдёт само собой. Но я не думаю, что жизнь в своём времени исключает для писателя необходимость противостоять своему времени. Что действительно составляет оригинальность этого времени — это тотальная власть рынка над литературой. Если мы не будем сопротивляться этой власти, литературе крышка — окончательно. Скорей всего так и произойдёт. Либо литература будет оттеснена на обочину, превратится в частное увлечение и утешение любителей. Серьёзная литература для «народа» — вот с чем давно пора попрощаться.

На конверте твоей рукой, дорогой Марк, написано «авиа», письмо летело в Мюнхен почти месяц, быстрее было бы дотащиться на лошадах. Тем не менее письмо дошло — и вот, на дворе уже новое тысячелетие. Вы совершили прекрасную поездку, завидую вам. Сам я был во Франции (в Париже) несколько раз, ездил в Страсбург, однажды мы снимали домик в Провансе и катались по Югу. И всё же моё знание этой страны скорее книжное. Так или иначе, всё это — дела минувших дней,

passé. Не было ли у тебя по возвращении на родину чувства, что лучше было бы не возвращаться? Что ты сейчас пишешь? Моё предыдущее письмо, ноябрьское, дошло ли?

Несколько недель тому назад я увидел в «Воплях» переведённую тобой переписку Томаса Манна с Кереньи (давно пора было издать эти письма по-русски) и очень хорошо написанное, дельное и содержательное предисловие. Да и Лазарю спасибо, что он всё-таки напечатал этот материал.

Я писал тебе о том, что занимался заговором 20 июля, тема, настолько же интересующая меня, насколько малозанимательная, по-видимому, для публики в России. Всё же я послал этот этюд, довольно большой, в «Октябрь», хотя, разумеется, не вижу больших шансов на публикацию. (Не говоря о том, что, как всегда, неизвестно, дойдёт ли.) Я по-прежнему занимаюсь работой, которую мы затеяли с весны прошлого года с Джоном Глэдом (знаком ли ты с ним?) при помощи e-mail. Это беседы о литературе, преимущественно русской зарубежной, о литературе в эмиграции überhaupt, а также о всякой всячине; можно было бы сделать из этого книжку, если бы нашёлся деньгодатель, но опять-таки трудно представить себе, кого в России могла бы заинтересовать такая книга.

Кроме того, я начал заниматься чем-то вроде романа, в котором мне хочется сломать всю мою прежнюю парадигму, отказаться от манеры, которая стала для меня рутиной, и, в частности, отказаться от так называемого идейного романа, от философических претензий, иронически-историсофской прозы или как там её можно характеризовать. Речь будет идти — если вообще удастся что-то из этого сотворить — о сугубо личных переживаниях, о внутреннем мире или, если угодно, времени человека. Тут мне пришлось очень кстати чтение «Обретённого времени», последнего тома Пруста; в комментариях я, между прочим, наткнулся на замечательную фразу одного забытого критика, которую можно было бы поставить эпиграфом к моему будущему опусу: «Главный вымысел книги состоит в том, что она якобы вымышлена».

Ездил на днях в Штраусберг, тусклый городок под Берлином, где очередная встреча ПЕН состоялась в огромном, сооружённом в хонекеровские времена помещении военной академии. Была устроена экскурсия в Штадлиц, где находилось гетто для бонз в густом лесу за стенами и колючей проволокой; кроме того, нам был продемонстрирован атомный бункер ГДР. Огромное подземное сооружение, жуткое и удручающее зрелище. Зато на обратном пути (я ехал с одним коллегой) завернули в Наумбург, где я был десять лет назад тому назад, где в со-

боре вот уже семьсот или восемьсот лет стоят, как живые, 12 каменных фундаторов и среди них — волшебные женщины Реглиндис и Ута с их мужьями, воистину одно из чудес света.

Я занимаюсь, хоть и с перерывами, сочинением, о котором писал тебе прошлый раз; в некотором смысле оно представляет собой перелом и отказ от того, что я писал прежде. Это будет — если удастся добраться до берега — сутобо интимный роман, небольшой, далёкий от всяческих историософских претензий.

Издательские дела неважные, интерес к русской литературе, похоже, утрачен (да и престиж России, как ты знаешь, упал). Всё же DVA, скрепя сердце, выразила желание заключить со мной договор на «Далёкое зрелище лесов». А то, что я недавно закончил — «Аквариум», — само по себе никуда не годится и лежит, как некий воплощённый упрёк сочинителю.

В твоём последнем письме — любопытные мысли на тему о том, можно ли «оставаться самим собой», не отставая от моды. Следовать моде можно в одежде, в оформлении книг, выбирая фасон очков или марку автомобиля. В литературе (как, впрочем, везде) мода означает только одно: диктат рынка. Как только писатель становится модным, пиши пропало. Я бы сказал, что литература не имеет права следовать моде. Во всяком случае, размышляя о литературных и журнальных модах, надо постараться отграничить их от того, что в самом деле определяет литературный процесс, — от течений, направлений, новых импульсов и т.д. Когда новое направление становится модой, это означает, что оно исчерпало себя. мода — труп новизны.

Строку «Есть ценностей незыблемая скála» любил повторять в своих письмах Гриша (кстати, как он? Довольно давно не имею от него вестей), укоряя меня в том, что я — писатель без ценностей. Без «вертикального измерения». На этом основании он и меня зачислил в постмодернисты. Аксиология — неотъемлемая часть того самого «метафизического мироощущения», о котором ты пишешь. Вопрос не о том, чтобы отказаться начисто от всех ценностей: эра нигилизма в литературе, как я думаю, осталась позади. И не в том, чтобы предаться эстетической игре с устаревшими ценностями, — это тоже пройденный этап. Вопрос состоит в том, каким образом, не изменяя природе искусства, его абсолютной автономии, остаться на земле, где любовь и смерть, добро и зло определяют человеческое существование, как тысячу лет назад.

Дорогой Марк, я вернулся вчера из Нового Света и застал твоё письмо. На этот раз мы находились не только в Чикаго, но, пробыв некоторое время, оправившись в Сан-Франциско (больше четырёх часов по-

лёта), провели там три дня, а оттуда на машине поехали за 300 километров в Йосимитский национальный парк, территория, сопоставимая с федеральной землёй в Германии. Прожили там ещё три дня, созерцали разные чудеса, леса деревьев необыкновенной величины, снежные горы, водопады, взобрались на плато, чтобы увидеть семью гигантских секвой, современниц фараонов. Потом вернулись в Сан-Франциско, город необычайной красоты и величия, потом назад в Чикаго. Короткая ночь в самолёте, когда солнце выкатывается из-за чёрной гряды облаков через два-три часа после заката, и снова спокойный Мюнхен, автострада, головная боль после бессонной ночи и возвращения в Восточное полушарие вопреки естественному круговращению Земли, и чувство нереальности, скобоченного времени.

Ни с Юзом, ни с Джоном Глэдом я, к сожалению, не виделся. Надеялся, что Юз заедет к нам на обратном пути из Москвы (куда он снова собрался), но Gastgeber'ы — слово, для которого трудно подобрать русский эквивалент, — отказались оплатить ему полёт с промежуточной остановкой в Германии. О литературных делах Юза я более или менее осведомлён. Последние годы он мало пишет. Рассказывал мне о романе, в котором главное действующее лицо — слепой человек; но дело как-то не подвигается. Глэд сообщил мне, что в гранте, на который мы рассчитывали, чтобы оплатить перевод и издание нашей переписки, увы, отказано.

Фридрих сделался главным автором выходящего в Берлине русско-го журнала «Зеркало загадок», название, как я понимаю, заимствованное у Борхеса. Этот журнал выпустил года два тому назад отдельным номером большой памфлет Горенштейна, который лучше было бы не писать. Последний раз, когда я виделся с Фридрихом, он говорил, что собирается громить неонацистов и т.п., от чего я тщетно пытался его отговорить. У него какая-то прискорбная страсть к публицистике, которая ему совершенно не по зубам. Но это по-прежнему самый значительный русский писатель за границей. Последние годы он занимался изучением эпохи Ивана Грозного; не знаю, правда, что из этого получилось.

Я виделся с Фазилом в Мюнхене, он был в гостях у фон Вульфенов в Штокдорфе, где был и я. Мы с ним говорили довольно долго, и с Тоней тоже, потом я их провожал до гостиницы в городе. Фазиль, по-моему, в хорошей форме. Его выступление в Баварской академии изящных искусств, куда он был избран, показалось мне не совсем удачным.

С Володей Войновичем мы ехали в одном самолёте в Америку. Он читал нам с Лорой шуточную эротическую поэму. О романе «Монументальная пропаганда» (в «Знамени») я с ним не говорил, хотя успел познакомиться с этой вещью в интернете. Лично для меня она не представляет интереса, но не столько от старомодности письма, сколько в более широком смысле: мы с ним, так сказать, представи-

тели разных литературных национальностей. Я предполагаю, что если Володя до сих пор находит заинтересованных и сочувствующих читателей, то это не просто succès d'estime, то есть успех из уважения к старым заслугам. Все его вещи обладают неопределимым качеством: они написаны хорошим, чистым, прозрачным языком. Владение русским языком встречается у российских писателей крайне редко, и уж тем более изящество стиля. Большинство пишущих поражено языковой глухотой либо просто некультурно. Вместе с тем проза Войновича не предъявляет к читателю больших требований. Она общепонятна и общедоступна. Если ещё можно говорить о народной литературе, то это — пример писателя для народа.

Я получил недавно письмо от Гриши, наполовину состоящее из стихотворений молодых женщин, которые тянутся к нему и Зине. Сентиментально-поэтическая религиозность, дух, напоминающий околочристианское сектантство, — это, конечно, тоже квази-выход из ситуации, сложившейся в России. Все последние годы, мне кажется, эволюция Гриши состояла в том, что он всё дальше уходил от литературы.

Я писал тебе сразу после возвращения из Соединённых Штатов, и, хотя новостей никаких нет, как-то захотелось снова поговорить. За эти дни весна стремительно превратилась в лето, луга жёлтые от одуванчиков, серо-белые от диких маргариток, брызги крохотных лиловых цветов — забавные названия: Gänsefüßchen, Männertreu. Уже каштаны увешаны свечами. Как-то, пожалуй, всё слишком рано. Жаль, что я не умею описывать природу, в моих сочинениях, если не ошибаюсь, присутствуют только метеорологические явления: дожди, туманы, закаты. Сегодня Первое мая, в Германии праздничный день, несколько архаичный, но всё же отмечаемый; а я помню, какой это был весёлый, необыкновенный и волнующий праздник в детстве.

Несколько вечеров подряд, и до отъезда, и после, я снова перелистывал и перечитывал твою эссеистическую книгу, перечитал воспоминания о покойном Дезике Самойлове. То же впечатление, что и год назад. Как-то снова воскрес литературный быт, которого я, впрочем, едва успел коснуться. Поразительны по степени саморазоблачения его письма о «Двух Иваных». Человек, причастный к литературе, попросту отказывается анализировать роман. Всё сожрала идеология, выдаваемая за нравственность. Всё задавил конформизм — при том что чувство, что кругом всё шатается, было очень сильным. Я понял, читая эти письма, почему поколение Слуцкого, Винокурова и других, людей очень разных и очень похожих друг на друга, высокоталантливых поэтов, так быстро поглотило забвение. Впрочем, может, когда-нибудь ещё вынырнут.

У меня было намерение написать небольшой этюд о нескольких важных для меня произведениях, например, о трёх, соединив их в некий цикл. (У Андре Жида есть эссе под названием «Десять французских романов, которые...») Я выбрал повесть Чехова «Жена», сравнительно мало известную, которую читал очень давно, удивительным образом в лагере, а теперь перечитал в Чикаго с прежним восхищением; рассказ Борхеса «Ульрика», таинственную прелесть которого невозможно передать; и, наконец, «Башню чёрного дерева» Дж. Фаулза, вещь, которую я сейчас тоже перечитал, через двадцать лет и, к сожалению, по-немецки, так как моё знание английского недостаточно, чтобы наслаждаться прозой. Правда, и русский перевод, превосходный, но мне сейчас недоступный, насколько мне помнится, не обошёлся без ханжеских редакционных купюр, были опущены некоторые особенно сочные реплики Бресли.

Я читал эту «Башню» в самолёте, немного в Чикаго, вчера закончил; не знаю, отважусь ли писать о ней, писать этот этюд (который должен был называться «Буквы. Слова. Проза», что-нибудь в этом роде). Но чтение навело меня на унылые мысли.

Вот уже примерно три десятилетия, как я занимаюсь литературой профессионально — конечно, только в том смысле, как я понимаю слово «профессионально»; очевидно, я научился элементам ремесла, технике, научился отличать хорошую фразу от плохой; но чем дальше, тем чаще мне досаждают сознание, что я делаю не то, что надо. Чем «лучше» я пишу, тем получается хуже. Хотя я нахожусь (не только по внешним причинам) далеко в стороне от литературной жизни в России, я всё же более или менее регулярно просматриваю журналы, теперь уже в интернете, кое-что слышу и кое-что читаю. Большая часть прозы, появившейся в последнее время, вызывает у меня скуку или отвращение; я хорошо вижу — и это, ей-Богу, не только двойной эффект возраста и географической отдалённости, — что, за весьма немногими исключениями, современные русские писатели, даже даровитые, непрофессиональны (опять это слово), неумелы, глухи к языку, слишком подвержены влияниям и веяниям, от которых завтра не останется следа, слишком порабощены сиюминутной актуальностью, наконец, малокультурны, плохо знакомы с новой европейской прозой и удручающе провинциальны. Я уж не говорю о целой поросли жуликов. Как бы то ни было, я ловлю себя на тщеславном желании противопоставить этим писателям своё бумагописание. Что же я могу им противопоставить? Благозвучный язык, хороший стиль, строгость, сдержанность, дисциплину, аристократизм? Но всё это не то, что требуется от литературы. Всё это имеет обратную сторону: имя ей — безжизненность и академизм. Лишено свободы и полёта. Я внушаю себе, что писатель должен обладать двойным умением жить в своём материале и дистанцироваться от него,

но несчастье заключается в том, что жизнь для меня — это именно материал, только материал. И то, что я считал абсолютно правильным, вдруг оказывается роковым заблуждением.

Мы все приучили себя — и я первый — к сознанию, что общество, в котором мы живём, не нуждается в литературе. Это действительно так. Оно нуждается в чтиве, в тривиальных подделках под литературу; те же, кто технически обслуживает литературу, то есть печатает и распространяет её, заинтересованы в доходе, который может быть обеспечен только массовостью, и таким образом идут навстречу потребностям массы. Другими словами, воспитывают массу, готовую потреблять продукт, чья пошлость способна конкурировать с пошлостью телевидения, иллюстрированных журналов и т.п. Получается заколдованный круг. Мы, и я первый, внушали себе, что уж мы-то по крайней мере вне этого круга. Но тогда возникает вопрос, кому, для кого нужна литература; этот вопрос перекрывается более общим: имеет ли вообще смысл применительно к искусству спрашивать, «для кого». И я торжественно, по крайней мере для самого себя, объявлял о своём намерении вселиться в оставшуюся без квартирантов башню слоновой кости. Авось найдётся горстка читателей где-нибудь на Северном полюсе, а не найдётся, хрен с ними.

В таком обществе (которое в Европе выкристаллизовалось за последние пятьдесят или сорок лет, и Россия, хоть и не будучи в состоянии догнать её, что бы ни случилось, тащится по тому же пути) — в таком обществе это, действительно, единственно достойный выход для писателя. Означает ли он непременно, роковым и неизбежным образом, разрыв с живой жизнью? That's the question.

...Насчёт литературы и коммерции: нет, Музиль с его глухим одиночеством, завистью Томасу Манну, с этой фразой, что-де пока в литературе царит Верфель, ему, Музилю, в ней нечего делать, — всё это уже прошлое, другая эпоха. *Наша* эпоха, хоть и предсказанная, но всё ещё не известная до войны или, пожалуй, до 50-х годов, выкристаллизовалась позже и называется она: *массовое общество*. Нечто совершенно новое.

Я тоже не считаю и не чувствую себя литературным критиком. (Лихтенберг сказал: *Die Liebe eines Literaturkritikers zur Literatur gleicht der Kinderliebe von Kidnappern.*) Чтобы стать литературным критиком современных мне писателей, тем более — друзей, мне не хватает важного качества: бескорыстия. Или, если угодно, неподкупности. У меня впечатление, что почти вся литературно-критическая продукция в русских журналах (то, что мне попадается) выходит из-под пера приятелей, добрых знакомых и собутыльников. По этой же причине мне трудно, почти

невозможно самому выпускать книги в России: нет знакомых издательств. Правда, Юз представил меня заочно одной редакторше в издательстве «Вагриус», может быть, из этого флирта что-нибудь и выгорит. Хотя непонятно; будь я книгоиздателем в России, я никогда бы такого автора не печатал: зачем?

Рассуждать о литературе, философствовать о литературе, отводить душу на разговорах о литературе — вот это другое дело. Это я как-то даже люблю. Но, кажется, я писал тебе о том, что чаемый грант на публикацию книжки, которую мы с Джоном Глэдом составили из наших электронных бесед, накрылся медным тазом. С Deutsche Verlags-Anstalt (DVA) я заключил договор на издание «Далёкого зрелища», но это дело нескорое; да я, вероятно, тоже об этом уже писал. Я дочитываю мемуары Берберовой (читал их 20 лет тому назад, теперь они изданы в России), превосходная — и оставляющая горестное впечатление — книга. Что ещё? Слушаю музыку, бываем с Лорой и в опере: Рихард Штраус, Вебер, Вагнер....

Москва отодвинулась, кажется, ещё дальше, чем была до поездки. Завтра приезжает в Германию наша сноха с внуком Яшей, которому скоро стукнет четыре года; новые заботы, новые впечатления, вся наша новая — теперь, впрочем, не такая уж и новая — родня, посреди которой мы с Лорой образуем островок русского языка.

Если не считать встреч с тобою, таких важных для меня, и ещё с несколькими старыми друзьями (до Гриши мне так и не удалось дозвониться, не ведаю, где он), если не считать всего этого, Москва... что от неё осталось? В Москве на этот раз я окончательно почувствовал себя чужим. Конечно, тот город и та страна, в которых я произрос и о которых пишу до сих пор, остались, но на них наложилась, загородила их другая Россия, чужая и неприветливая. Загородил в известной мере и весь внешний, огромный нероссийский мир.

Я почувствовал, что говорю и пишу на другом языке, так что нечего удивляться, что мои писания не встречают там почти никакого отклика. Я это особенно почувствовал, когда побывал в «Вагриусе», где хотят издать мою книжку, абсолютно неперспективную, как объяснила мне редакторша. Спрашивается, зачем же её издавать? Но, может быть, это и к лучшему. Встреча с редакторшей, женщиной несчастливой, как мне показалось, угловатой в отношениях с людьми и пробуждающей симпатию, оставила у меня тяжёлое чувство. Когда я увидел, что она сотворила с моими текстами, я был в отчаянии и проклинал себя, что связался; в конце концов это была не моя инициатива. Я отвык от этих нравов и считал само собой разумеющимся уважение к автору. Но главное то, что она не понимала моего языка, моё чувство языка, не понимала строя

моей речи — как я, в свою очередь, не понимал привычную ей речь. Правда, она согласилась взять свою правку обратно, отказаться от усердной работы с ножницами и т.п., но я уехал, я ничего уже не могу поделывать, и кто знает, что они сделают с моими бедными детищами, с романами и горсткой рассказов, и без того сведённой к минимуму, в моё отсутствие? С ужасом думаю об этой книге, единственное утешение, — если она всё-таки выйдет, — что её не будут читать. Всё равно как если бы она была написана по-китайски.

Мы когда-то думали, что с крушением железного занавеса откроется доступ к «читающей публике». Ничуть не бывало: возможности печатания расширились — но отнюдь не круг читателей.

А пока что я вернулся к прежним занятиям, что мне ещё остаётся? Затеял одно произведение, в котором главное действующее лицо — уличный нищий, и накропал рецензию на три толстенных биографии Томаса Манна, вышедшие здесь в последнее время.

Только что пришло письмо; надеюсь, оно пересеклось по дороге с моим, которое я отправил тебе через десять дней после возвращения из Москвы. Письмо твоё обклеено интересными марками, на одной из них — портрет Никиты Толстого, бывшего белградского гимназиста, с которым я вместе учился в университете и которого видел в первый мой приезд из Германии. Он недавно скончался.

Я сижу и веду электронную переписку с Вашингтоном, где Джон Глед предпринимает безнадёжные попытки что-то сделать с рукописью нашей книги литературных бесед; с Франкфуртским университетом, куда собираюсь поехать в середине ноября, и с Новосибирском: там собрались издать сборник моих статей (или «эссеев»). В конце этой недели я поеду на Рейн, повидаяюсь с Вольфгангом Кáзаком и должен буду участвовать в благотворительных чтениях в Бонне. Заеду к друзьям в Эссен.

Мои российские впечатления... я о них уже писал. Они равно характеризуют и свой источник, и того, кто «впечатлён». Грустно как-то всё это, и в оставшееся мне время едва ли переменится.

Мысль Мамардашвили — западная и противостоит традиционно российской точке зрения, согласно которой одиночество несовместимо с солидарностью, с патриархальной общностью, православной соборностью и как там это ещё называется. Мне эта мысль (Мамард.) близка, как, вероятно, и тебе. Если говорить о «литературе» по данному вопросу, то тут можно вспомнить многое. Есть этюд Мопассана, который так и называется «Одиночество» (*La solitude*), и у него же в «Милом друге» — длинный монолог старого поэта Норбера де Варенна, на самом деле монолог автора, выламывающийся из романа. Всё это я читал ужасно дав-

но, и всё это когда-то мне очень нравилось. Разумеется, тебе придётся снова перечитать или перелистать дневник Кафки. Вообще дневники; например, Journal Андре Жида и особенно дневники Амьеля (о котором я когда-то писал). Если они не изданы по-русски, можно воспользоваться немецким переводом.

Наши с тобой размышления и проекты, как уже часто бывало, пересекаются. Я сочинил небольшую повесть под названием «Третье время», содержащую нечто вроде панегирика интимной жизни, которая представляет собой подлинное достояние и убежище человека: в этой крепости он держит оборону против двух злейших недругов — истории и рутинного быта. И ещё одно: я говорил тебе, кажется, что пытаюсь написать одну вещь, в которой герой-рассказчик рвёт свои социальные и личные связи, чтобы стать уличным нищим.

...Москва далеко. Ужасно далеко, дальше, может быть, чем была раньше. Раньше впереди стояла стена, и когда она повалилась, оказалось, что — совсем не рядом. Какой-то ров, через который перекинута подъёмные мосты на цепях, не успеешь оглянуться, как мост уже висит в пустоте. И вот я иногда думаю, что мой приезд в этот раз, может быть, на самом деле — прощание.

В минувшем месяце я ездил в Рур и Bergisches Land, гостил у Казака, который устроил у себя вечер — публичная беседа с Б.Х., такой вечер был уже несколько лет назад. Потом был в Бонне, где происходило благотворительное чтение четырёх писателей, устроенное в городской библиотеке, читателей собралось немногим больше, чем чтецов; потом в Эссене у друзей, потом в Кёльне, в университете. Немного спустя была ещё одна поездка, во Франкфуртский университет, а оттуда на дачу с одним преподавателем и его женой, вдоль Рейна в область, называемую Rheingau. Теперь мы с Лорой собираемся в Чикаго.

Вчера мы были на «Тангейзере». Вагнер — фирменное блюдо в мюнхенской опере, весьма престижной, и за эти годы мы видели почти всё; сидим мы всегда на хороших местах, как-то раз оказались в бывшей королевской ложе, а на этот раз — в первом ряду партера, отчего можно было заметить мелкие погрешности спектакля, обычно не бросающиеся в глаза. Всё, впрочем, шло более или менее прекрасно, но третий акт был поставлен так убого, что казалось — все деньги израсходованы на два первых действия. Вагнер был событием моей жизни, когда впервые (во время войны он не исполнялся) я услышал его в Большом зале консерватории, это было осенью или зимой 45 года. Без Вагнера нельзя жить.

Занимаюсь я тем, что дописываю (переписываю) некое повествование, в котором действие происходит в эмиграции, несколько услов-

ной. Но тема её, собственно, не эмиграция, а желание человека высвободиться из оков социальной рутины: он становится нищим. Ему, однако, не удаётся вырваться из оков старой любви. В «Знамени» есть человек, отвечающий за рецензии; я написал для него два текста в раздел, который у них называется «Книга как повод». Может быть, напишу ещё о книгах Рюдигера Зафранского, популярного в Германии: о Шопенгауэре, Хайдеггере и только что вышедшей книге о Ницше по случаю 100-летия со дня смерти. Эта «биография мысли» начинается так: «Истинный мир — музыка. Музыка есть нечто чудовищное. Слушая её, приобщаешься к бытию. Так переживал её Ницше... Она не должна кончаться никогда. Но она кончается, и нужно решить, как жить дальше, когда музыки уже нет».

...Вот сижу и думаю, о чём же тебе написать. Сногшибательных новостей, слава Богу, нет. Зимы тоже нет; довольно холодно, сухо, временами солнечно. Один раз за все последние недели в воздухе порхали снежинки, но до земли так и не долетели. Я заглядываю в календарь и вижу умершие даты. Например, сегодня день смерти Ленина. Это уже не дата. Уже народились и выросли люди, не имеющие представления о том, кто такой был Лукич. Бессмертные умерли. «Всемирно-историческое» пошло прахом. Разве не подразумевали древние что-то подобное, когда говорили об олимпийском хохоте богов? Можно представить себе, как потешаются боги над нашей эпохой. Над историей, которая напоминает длинный запутанный арифметический пример из задачника. Его решали, решали, и в итоге получился ноль.

Я занимался эти недели квази-рецензией (то есть, собственно, статьёй) о трёх книгах Р. Зафранского, когда-то я делал передачу об этом авторе, однажды познакомился с ним. Он стал в Германии весьма известен. Книги о Шопенгауэре, Ницше и Хайдеггере написаны в самом деле увлекательно. С Шопенгауэром связаны сентиментальные воспоминания юности. Плохо зная его философию, я чуть ли не бредил им, а два томика «Die Welt als Wille...», которые мне когда-то, когда мне исполнилось 17 лет, подарил ко дню рождения мой двоюродный дядя и самый вид которых, синие переплёты с тиснением, мелкий готический шрифт, производил магическое действие, — два этих томика удивительным образом сохранились: месяца за два, за три до отъезда, когда уже было ясно, что пора поднимать парус, я отдал их, вместе с Фаустом и Новалисом, одному американскому студенту, находившемуся в Москве, и он их потом неведомыми путями переслал мне; книга, явно трофейная, из этих тонн награбленных книг, которыми тогда, невзирая на все спецхраны, наполнились букинистические магазины, возвратилась в Германию. *Nabent sua fata...* ты знаешь это изречение.

Ну, вот. Повесть о нищем («Возвращение») закончил. Я думаю, что она, если когда-нибудь её удастся напечатать в России, обречена там на неуспех из-за принципиальной зыбкости замысла, прежде всего потому, что действие происходит как бы по обе стороны некоего магического зеркала, в двух мирах: один — это более или менее реальный мир эмиграции, город, который может напомнить Мюнхен, его окрестности, а другой мир скорее призрачный: воображаемые визиты в Россию, возможно, сны. Сочинение отнюдь не автобиографическое, но одно, по крайней мере, украдено у автора, — это чувство фантомности оставленного отечества. Да, как ни странно. И мне показалось, что из него можно извлечь художественный эффект.

В былые времена мы тоже увлекались немного лыжным спортом, выезжали вечерами в обширный Перлахский лес, поблизости от тогдашней мюнхенской квартиры, четыре раза ездили кататься на лыжах в Южный Тироль, в Доломиты, где всегда останавливались в одной и той же гостинице в горной деревне Deutschnofen, по-итальянски Novapontene. В таких деревнях, впрочем, итальянцы — только полиция, карабинеры. Всё это теперь, увы, дела давно минувших дней. Лыжи и доспехи гниют в подвале. На прошлой неделе вернулись из Чикаго, огромный город завален снегом. Да и здесь в Мюнхене, наконец, наступила зима. Солнце и слабый мороз, кое-где комья снега, сухо.

Сокольники для меня связаны с лесной школой, где я провёл пять месяцев как раз перед началом войны. В то время это было ближнее Подмосковье, куда, правда, можно было доехать на трамвае, а дальше пешком по 3-му Лучевому просеку, где находилась школа. Тогда это были довольно девственные места: лес, озеро. От школы (которую я помню во всех подробностях), видимо, не осталось и следа. Когда-то я написал роман, тот самый, который у меня отняли, — я написал его заново, — и в котором часть действия происходила в лесной школе. Теперь мне снова хочется сочинить что-нибудь вроде небольшой повести, связанной с этим озером, с памятью об этих местах; не знаю, получится ли.

В воспоминаниях мелкие события кажутся очень важными; они, эти события, в самом деле были очень важны для становления личности; а между тем вокруг совершалось то, что называется историей, нечто зловещее и глубоко враждебное человеку, и в короткое время разорвалось, как бомба, которая смела всю предвоенную жизнь. Человеческая жизнь была полна смысла и значения, «история» же представляла собой в конечном счёте царство абсурда. Что-то подобное, вероятно, происходило в Средние века во время пандемий, косивших без разбора всё население. И всё же, по-видимому, никогда история не была так враж-

дебна человеку, как в страшном столетии, за которым только что захлопнулась дверь. Я пытался это выразить в одной повести под названием «Третье время», о которой, кажется, писал тебе. Но мне бы хотелось вернуться так или иначе к этой теме, к этому жуткому противостоянию: с одной стороны, жизнь человеческой души, единственно подлинная жизнь, взаимоотношения мужчин и женщин, мальчиков и девочек, родителей и детей, культура, музыка, литература, — а с другой — тайные замыслы вождей, безумные государства, абсурдные планы, канибализм тайной полиции, бесплодные жертвы, войны и разрушения, «поступь истории», готовой растоптать всё, обесценить человеческую жизнь, обесценить культуру, сделать смешным и ненужным искусство. Я никогда не мог понять людей, которые гордятся тем, что были свидетелями и участниками великого времени; этому времени можно только ужаснуться, его надо стыдиться.

Другую повесть — о ней я тоже упоминал, она называется «Возвращение» — я переписал. Что с ней делать, надо ли вообще что-либо делать, не ведаю. «Третье время» я привозил в Москву и оставил его в «Октябре», где меня встретили с некоторым даже почётом, тем не менее у меня осталось впечатление, что я им немного надоел со своими писаниями. «Аквариум», небольшой роман, редактору не понравился; правда, это сочинение в самом деле, судя по всему, дефектное. В «Знамени», куда я послал рецензию, довольно обширную, на три книги Rüdiger'a Safranski (о Шопенгауэре, Ницше и Хайдеггере), этот текст тоже, кажется, не вызвал энтузиазма. Кроме того, мне бы хотелось написать статью или этюд о творческом пути д-ра Геббельса. Вообще говоря, я, конечно, хорошо понимаю, что в России живут совсем другими проблемами, такими, которые меня мало или недостаточно интересуют или даже о которых я вообще не имею представления.

Твоё письмо пришло вчера, как раз в мой день рождения. Мы с Лорой чокнулись славной вдовой Клико и поехали в концерт.

Флобер велит читать собственную прозу вслух: если при чтении фразы дыхание прерывается, значит, фраза плохая. Это верно, декламирование — прекрасный способ выверить стиль. Я думаю, что нужно читать написанное, шевеля губами, как читают малограмотные люди. Но когда читаешь перед аудиторией, что-то добавляется и к общей концепции произведения, ты прав. Я замечал это много раз. У меня нет никаких иллюзий насчёт необходимости живого «контакта с читателями», к тому же аудитория моя чаще всего нерусская (мне даже легче найти с ней общий язык), и всё же я никогда не отказываюсь от предложений устроить Leseabend, думаю, что и тебе не стоит отказываться. То, что «Литературная газета» не пожелала напечатать фрагмент из твоей по-

следней вещи, хоть я и не знаком с ней, меня ничуть не удивляет: такая это газета. Меня не удивило бы, если бы оказалось, что и критики не знают, что делать с твоей прозой. Такие уж это критики.

И «лохи», и «прикол», и многое другое — слова мне не известные. Но завтра их никто уже не вспомнит. Ситуация напоминает послереволюционные десятилетия, когда публицистика и литература были наводнены неологизмами. Редко какое из этих словечек удержалось в языке. Вместе с эфемерными речениями пошли ко дну и произведения авторов, порабощённых разговорной речью — сиюминутной языковой актуальностью. Парадокс: Чехов с его допотопной Россией воспринимается как писатель вполне современный, а какой-нибудь Пильняк — это антиквариат. Кара за преувеличенную оценку своего времени.

Вчера вечером мы вернулись из Майнца, где провели два дня у нашей снохи и внука. В конце этой недели я должен буду поехать на конференцию ПЕН на вилле под Бонном, где я уже несколько раз бывал, а потом в городок Ландау в Пфальце, о чём я, кажется, уже тебе писал. Занимался я последние недели тем, что сочинял повесть, которая должна называться «Следствие по делу о причине». Тема — позапрошлогодний снег; дело происходит накануне войны, действующие лица — подростки, учителя, лесная школа; кулисы более или менее реальные, сюжет, конечно, выдуман. Речь, как и прежде, идёт о том, что зловещий фантом истории уничтожает подлинную жизнь.

Кроме того, я занимался, как ни странно, доктором Гёббельсом, — помнишь такого? Читал его биографии, его речи и пр., прочёл его роман «Michael», вышедший в 1929 году, сочинённый ещё раньше. Мне хочется написать о нём небольшой этюд. Ещё одно: старый приятель, профессор католического университета в Эйхштетте, прислал оттиски немецкого доклада, который я там однажды делал, о «двух искушениях», правонационалистическом и пролетарско-коммунистическом. Речь идёт, впрочем, главным образом о писателях, об особом типе политического эстета, который появился в Европе после первой Мировой войны; всё это немного перекликается с тем, что ты пишешь о восторге войны. Доклад так себе, но, может быть, напишу теперь более пространную статью для российской публики. Но опять же — какая может быть «публика», кто это будет читать? Не правда ли, мы дожили до эпохи окончательного торжества *l'art pour l'art*, писания ради писания.

Ты обмолвился интересным замечанием: стараюсь писать проще. Я тоже стараюсь — но не «проще», а лаконичнее. Как-то всё больше начинает раздражать собственное многословие, обилие белых шумов.

Всякий раз, когда я начинаю брюзжать, кому нужна литература, и т.д., — ты говоришь мне: так было всегда. Вот Пушкин жалуется... Это

верно, да не совсем. Литература никогда ещё не имела врага хуже, чем телевидение, хуже, чем все эти «средства», хотя может казаться, что они, напротив, популяризуют литературу. На самом деле это (как говорил о газетах Леонид Андреев, см. воспоминания о нём Горького) «мельницы... они перемалывают всё в пыль пошлости». В виде этого помола литература и выносятся на рынок. На всё остальное нет денег и времени. И никогда ещё, ни в пушкинское, ни в другое время не было общества, подобного тому, в котором мы живём, которое по-немногу, вопреки всему, утверждается и в России: массового потребительского общества.

О Б. Акуanine я слышал. Детективы меня интересуют лишь теоретически, и боюсь, что даже этого автора я уже не смог бы одолеть. А вот на днях здесь был вечер Люси Улицкой. Такого стечения народа я на литературных чтениях давно не видел. Она сейчас, по крайней мере за границей, едва ли не самый популярный русский автор.

Я закончил небольшую повесть, о которой тебе писал в прошлый раз (называется кудряво: «Следствие по делу о причине»). Докавал и доктора Геббельса. Сейчас начал поправлять кое-что старое, а что делать дальше, ума не приложу.

Моя жизнь приняла несколько сумбурный характер. Только что отбыли внуки. На этих днях должны пожаловать Юз с женой. Он побывал в Москве, где получил Пушкинскую премию. Потом приедет Вл. Кантор. Потом я сам должен буду отправиться на озеро Комо, на бывшую виллу Аденауэра (путёвка ПЕН-клуба, род премии).

Я закончил рассказ или небольшую повесть под названием «Сера и огонь» (библейская цитата), тема отдалённо напоминает Музиля: инцест как форма бегства от общества. Зёрнышком для этого рассказа — но не больше чем зёрнышком — послужила история, с которой я столкнулся как-то раз в мои медицинские времена, когда был заведующим участковой больницей и врачебным участком в Калининской области. Книга в «Вагриусе», как ни странно, вышла в свет. Мой брат получил за меня смехотворный гонорар.

Брак с «Октябрём», похоже, приблизился к разводу. Правда, они продолжают печатать небеллетристические вещи: в последнем номере я увидел свою гейдельбергскую речь; тиснут ли мой опус о докторе Геббельсе, не знаю. Но с изящной литературой дело однозначно плохо: ничего не публикуется, не делается никаких объявлений, и на мои вежливые вопросы следует такое же вежливое молчание. Охотно допускаю, что я им попросту надоел. Вообще год выдался такой: DVA, хотя и получила перевод моего романа «Далёкое зрелище лесов», а ещё раньше выплатила аванс, но в осенний проспект

книгу не включила. Существует гипотеза, согласно которой страной-бенефициантом Франкфуртской ярмарки в следующем году будет Россия, — возможно, они отложили моё детище до того времени. Доживу ли я и доживёт ли Россия?

Я прочёл переписку И.Ефимова с покойным Довлатовым. Забавная и печальная книжка. Вероятно, она больше скажет здешнему литератору, чья жизнь так похожа на то, о чём судачат корреспонденты, чем читателю и писателю в России. В письмах Довлатова есть одна замечательная черта: при всех своих невзгодах он не сомневается в том, что его литература нужна, что занятия литературой вообще имеют некий объективный смысл. Мысль о проблематичности этого ремесла не приходит ему в голову.

Я немного занимался писанием на вилле La Collina, сейчас пытаюсь продолжать. Это рассказ, который рискует показаться автобиографическим, хотя, как всегда, личный элемент изрядно разбавлен фантазией и во всяком случае служит только материалом. Человек с неопределённой биографией приезжает из-за границы в город, похожий на Москву, чтобы встретиться с бывшей сокурсницей и другом, когда-то донёсшим на него. Женщина почти ничего не помнит, а друг сделался богатым предпринимателем.

Вернувшись в Мюнхен, я попал на кинофестиваль, который устраивается здесь каждое лето: фильм под названием «Москва», режиссёра зовут Зельдович, хотя он очень мало похож на еврея, а сценарий написали вдвоём Зельдович и самый знаменитый русский писатель — Сорокин. Несмотря на это, фильм не так плох, операторские съёмки просто замечательны; в целом я так и не смог решить, понравилось мне это изделие или нет. Кажется, картина привлекла внимание в России.

Дорогой Марк! У меня в Москве есть один приятель, славный парень, журналист Илья Медовой, он интересовался Мышкиным, много раз там бывал и публиковал статьи о нём, так что я имею некоторое представление об этом городе. Поездка, которую вы совершили, конечно, замечательная. Для тебя, певца и философа провинции, особенно.

Ну-с, я воротился из Парижа к прежним занятиям. Рассказ или маленькая повесть, о которой я писал тебе в прошлый раз (называется «Зов отчества»), всё ещё не готов, но даже если бы я разделался с ним, неизвестно было бы, что с ним делать. Есть ещё один план, мне хотелось бы составить маленькую антологию мировой лирики, собрав там стихотворения разных эпох и языков, снабдив их подстрочниками и краткими комментариями, само собой, не академическими. Могла бы получиться славная книжица.

Редактор журнала «Крещатик» попросил у меня роман «Аквариум», в котором есть псевдостихи, целая поэма под названием «Чудо Георгия о змие».

Издатель Захаров (есть такой в Москве) выразил желание напечатать нашу с Дж. Глэдом книжку — переписку о литературе, которую мы вели через океан с помощью электронной почты. Бен Сарнов написал по моей просьбе предисловие (или послесловие), весьма критическое, подчас даже несправедливое, эхо наших старых споров, но это-то, мне кажется, и должно придать книге особый смак. Другой вопрос — кому всё это нужно, кого это может заинтересовать.

Знал ли ты художника Борю Биргера? Он на днях неожиданно скончался.

Мы здесь под сильным впечатлением того, что произошло в Америке. Возмездие, конечно, будет жестоким, жесточайшим; ликвидация афганского режима (а может быть, и иракского), возможно, окажется, наименьшей карой. Другие новости? Вчера я вернулся из Фрэнденберга, тухловатого городишки в Вестфалии, где происходила очередная встреча Ехil-ПЕН-клуба, снова отмахал туда и обратно тысячу километров. Через две недели мне предстоит ехать в католический университет в Эйхштетте, это не очень далеко от нас, а в октябре я собираюсь побывать на франкфуртской Buchmesse. Я писал тебе об антологии, которую я затеял. Я её закончил; называется «Абсолютное стихотворение». Это несколько античных и средневековых образцов, а далее русские, немецкие, французские и английские поэты. Оригинальные тексты с прозаическими переводами-подстрочниками, которые я же и смастерил. Выбирал я всё это исключительно по своему вкусу. Бен, с которым я как-то говорил об этом проекте, отнёсся к нему скептически. Гера Либкин («Текст») задал резонный вопрос: а кому он это сможет продать? В самом деле, кому?.. А ты ещё говоришь, что я, как заигранная пластинка, повторяю одну и ту же фразу о никчёмности.

Ты пишешь, что предавался последнее время воспоминаниям; я этим только и занят. Это довольно скверный симптом; правда, у меня, как ты знаешь, на этот счёт имеется своя теория о том, что литература, собственно, и не может кормиться чем-либо иным, кроме как воспоминаниями, иногда ложными (есть такой термин в психиатрии: псевдореминисценции). Думаю, что тебе нужно непременно продолжать работу со стенограммами.

Я только что вернулся из Франкфурта, суета продолжается. На книжной ярмарке я посетил знакомых и вёл переговоры с одной русской издательницей о моей Антологии; может, что и получится, хотя...

кто знает. Вернулся я в Мюнхен в сопровождении Елены Шубиной, которая была редактором моей книжки в «Вагриусе», и её подруги журналистки. Они гостили у нас два дня и вчера отвалили.

Обыкновенно писателю бывает приятно, когда оказывается, что в его книге были предугаданы какие-нибудь события, но в данном случае — я говорю о твоём «Стороже» — приходится скорее вздохнуть, сказав: увы, это опять актуально. Конечно, взрывы, и даже взрывы крупных зданий, не новость; например, немного лет назад взлетел на воздух огромный многоэтажный универмаг в Нью-Йорке. Реакция была, сравнительно с нынешней, относительно спокойной, посадили пожизненно слепого имама, кажется, ещё кого-то поймали; только и всего. А уж в России это событие, вероятно, вовсе не произвело впечатления. То, что произошло в минувшем сентябре, нельзя сравнить ни с нью-йоркским универмагом, ни с американскими посольствами, ни даже со взрывами жилых домов в России, как бы ни были они ужасны (не говоря уже о том, что осталось невыясненным, кто собственно организовал эти взрывы). Никому никогда не могло придти в голову, что можно, вооружившись ножами, направить два больших захваченных пассажирских самолёта на два колоссальных здания-близнеца (если бы ты видел, что это за сооружения), центр международной экономики с огромным числом служащих — если угодно, символ западного мира. Тут-то и стало понятно, что объект террористической войны теперь уже не отдельная страна, а весь называющий себя цивилизованным мир. В этом мире Америка, хороша она или плоха, играет исключительную роль. Непосредственная угроза этому государству не могла не всполошить всех. Нападение совершено в центре самого большого города в мире, с расчётом, что гигантские небоскрёбы, повалившись, разрушат значительную часть Манхэттена и уничтожат население; слава Богу, хоть этого не произошло, здания рухнули, так сказать, в себя. Одновременно — атака на Пентагон и налёт на виллу президента, правда, неудавшийся.

Согласись, что всё это — в самом деле нечто сверхобычное. Но я хорошо понимаю, что взгляд из России, где привыкли считать свою страну главной в мире и где хватает собственных забот, может быть иным. Я, кажется, уже говорил тебе, что клюфт, по моему впечатлению, не уменьшается; если мне приходится что-нибудь читать в русских журналах о современной жизни на Западе, я испытываю недоумение, — вероятно, такое же, какое испытывает русский читатель от иностранных публикаций о России. Другой язык, другое восприятие мира, и хоть ты тут разбейся в лепёшку, ничего не меняется. Важно это осознать и не сердиться, а ведь в нашем отечестве всегда сердятся и даже негодуют по поводу того, что «нас не понимают», хотя сами отнюдь не горят жела-

нием понять других. Но хорошо, по крайней мере, что у руководителей хватило ума в этой истории с бин-Ладеном и его компанией примкнуть к западному миру.

Насчёт моего рассказа «Зов родины»... Я его, между прочим, переписал, кое-что переделал, добавил одну главу. Он не нравится не только тебе, но и мне самому. Но было какое-то чувство, что я не могу его не написать. Что надо от него отделаться. Кроме того, в нём есть важная для меня тема памяти, тяжёлого бремени, которое представляет собой память. А вместе с тем и понимание того, что мы не смеем забывать о том, что с нами произошло. Не дождавшись ответа из «Знамени», я позвонил Нат. Ивановой и получил ответ, который ожидал: рассказ отвергнут. Это меня не огорчило. Зато я как-то не могу понять: почему, как ты пишешь, ты не можешь без смущения представить себе, какими глазами я, приезжая в Москву, смотрел на тебя, человека, живущего в этой невозможной стране? Такими же, как я смотрю на себя, всю жизнь прожившего в этой невозможной стране. Какая связь между тобой и этим рассказом, между тобой и персонажами моего сочинения, которое ведь, как ты понимаешь, отнюдь не является ни исповедью, ни проповедью, ни сведением счётов? Да, конечно, если говорить обо мне самом, Москва, особенно в последний приезд, произвела на меня не слишком приятное впечатление (многие мои немецкие друзья и знакомые от неё в восторге), ну и что? причём тут ты, причём тут мои друзья, весь наш круг? Разве не естественно для интеллигента, писателя и вдобавок ещё еврея чувствовать себя чужим и ненужным в своей собственной стране? Презирать своё время, критически взирать на свою страну, ценить не общество, а человеческую личность. Мне казалось, что это входит в определение писательства.

Твоё письмо снова повергло меня в разные сомнения, и я вернулся к злополучному «Зову родины»; возможно, мне не следовало вовсе браться за это сочинение. Иногда, правда, мне кажется, что и в России рано или поздно произойдёт то, что случилось в 60-е и 70-е годы в Германии, что продолжается здесь до сего времени: Rückbesinnung, критический анализ прошлого. Но не того сусально-патриотического «славного прошлого», памятники которому, наспех сооружённые, герой этого рассказа видит, приехав в Москву, не орлы на кремлевских башнях и кресты на отреставрированных церквях, а чудовищное и постыдное советское прошлое, от которого он не может отвязаться. Но произойдёт это отрезвление — если вообще произойдёт — не раньше, чем преступники вымрут окончательно, а с ними помрём и мы.

Короче, я потратил снова недели две на переписывание, хотя никаких реальных видов на публикацию где бы то ни было нет и не предпо-

лагается. «Знамя», как я уже тебе писал, отказалось, так же как года полтора тому назад они отвергли мою статью «Величие советской литературы». Я достаточно критически отношусь к своим писаниям и всё же совершенно уверен, что в обоих случаях причины были внелитературные. Кто старое помянет, тому глаз вон. Мы, дескать, всё это уже слышали — и довольно об этом. Особенно когда злопыхательский голос доносится из-за рубежа, из стана беглецов. Да и не такое уж плохое было это советское прошлое — даже совсем наоборот, а?..

Журналов мало, печатать тебя могут только знакомые, не говоря уже о том, что читателей у этих журналов осталось тоже до смешного мало. (Борис Дубин прислал мне на днях свою книгу «Слово — письмо — литература», там приводятся данные социологических обследований. Вообще умная, очень интересная — и очень печальная — книга. Но ведь и она неизвестно кем будет прочитана.) Что касается «Знамени», до сих пор мне разрешалось публиковать в этом журнале только рецензии, да и то лишь потому, что речь всегда шла об иностранных книгах и предметах, так сказать, нейтральных, о Шопенгауэре, Ницше, Хайдеггере, о некоторых эпизодах из жизни Борхеса, о Гёте и Кристиане Вульпиус, о новых биографиях Томаса Манна и пр., — о вещах, в сущности, весьма далёких от интересов редакции. Теперь человек, печатавший эти рецензии (Агеев), ушёл. Я написал рецензию о двух самых крупных писателях, оставшихся в Германии после 1933 г., — Юнгере и Бенне — и позвонил новой редакторше. Она ответила снисходительно: ну, присылайте. Не думаю, чтобы она вообще когда-нибудь слышала эти имена.

У меня ощущение, что я разговариваю с глухими. Причём дело, как я подозреваю, отнюдь не только в том, что я живу далеко, усвоил другую оптику, оторвался и т.п. Всё это, конечно, «имеет место». Но даже если бы я жил в России, если предположить, что я остался, не был бы арестован, не умер, дожил бы до новых дней и даже каким-то образом продолжал бы писать, — всё было бы то же самое.

Я помню, что ещё в отрочестве очень любил читать критиков, разного рода предисловия и т.п. И по-прежнему более или менее регулярно просматриваю российские журналы, иногда заглядываю в интернет, читаю по привычке — теперь уже просто по дурной привычке — литературную критику. Но что это за критика! На свои писания я откликов почти не встречал и думаю, что это к лучшему: ничего дельного от этой критики ждать не приходится. То, что приходилось читать, оставляет впечатление, что критик пробежал обсуждаемый текст одним глазом и совершенно не в состоянии заметить то, что не бросается в глаза; непонятно, зачем ему вообще понадобилось это нетерпеливое проглядывание. Сравнивая это немногое с тем, что писали обо мне в Германии, Австрии и т.д., я, к несчастью, вынужден отдать предпочтение немецким авторам. Эти по крайней мере стараются понять, о чём идёт речь в кни-

ге. Статьи же российских законодателей литературы, о каких бы писателях и книгах ни шла речь, удивляют прежде всего неспособностью этих людей мыслить. Они узки, вульгарны, скверно воспитаны, малокультурны, не могут обойтись без банальностей и без самолюбования. Кроме того, почти все критики и рецензенты очень плохо пишут, что, конечно, тоже следствие плохого школьного образования: развязно, с провинциальными ужимками и длиннотами, языком кухни и подворотни. Но мы об этом, кажется, уже говорили.

Опять брюзжанье, да?

Дорогой Марк, я только что послал ответ на твоё «осеннее» письмо, но забыл кое-что прибавить касательно рассуждений о стихах и прозе. У Бродского можно обнаружить признаки поэтического шовинизма: он, кажется, с удовольствием возвращался к мысли о том, что проза есть некая второсортная литература по сравнению со стихом. Поэзия древнее прозы, это верно. Поэзия, сказал Пастернак, это скоропись мысли. Можно ещё вспомнить слова Эмиля Чорана (из дневниковых записей), который ссылался чуть ли не на древних мексиканцев: поэзия — ветер из обители богов.

Я бы не стал настаивать на том (хотя это и кажется очевидным), что поэзия — нечто скоростное, вроде авиалайнера, в сравнении с прозой, длинным, медленно постукивающим железнодорожным составом. Дело в том, что самое понятие быстроты и краткости в прозе — иное, чем в поэзии. Другие критерии. Это вообще две литературных вселенных, с разной метрикой, разной степенью кривизны пространства. Не зря поэты чаще всего плохо справляются с прозой, хотя проза, казалось бы, освобождает от многих ограничений, от стиховой конвенциональности, от корсета. Кажущаяся — после рифмы и классического размера — свобода прозы обманчива. На поверку выясняется, что внутренние скрепы прозы не менее жёстки, дисциплина прозы такая же суровая, концентрация — в количественном выражении другая, но качественно (если можно так выразиться) не уступает поэтической. Музыкальные законы прозы тоньше, сложнее, неувимей, чем пресловутая музыкальность поэтического слова. Многословная проза так же тягостна, как водянистые стихи. «Лета к суровой прозе клонят» — это сказано в стихах, но с абсолютной точностью.

Письмо от тебя шло немного больше месяца, могло идти ещё дольше, годы проходят, всё это несколько не улучшается, и всё же я взял и написал директору Международного почтамта в Москве. Хоть и понимаю, что это неизлечимо. С такой скоростью письма могли дохо-

дить в начале XIX столетия, а может быть, и тогда лошади тащили почтовые кареты, а почтальоны раздавали и разносили письма проворнее. Между прочим, я помню, как бренчали бубенцы почты по тракту мимо больничного посёлка, где мы жили в эвакуации во время войны, в Татарской республике на Каме, далеко от железных дорог.

Статья твоя (правильней назвать её этюдом) очень хороша, между прочим, и потому, что открыта для новых мыслей, поощряет их. Интересно, как древнее разграничение поэзии и прозы сопротивляется таким же вечным стараниям стереть грань между ними. Самые удачные примеры, «Слово о полку Игореве» или некоторые стихотворения Брехта, не в состоянии были не то чтобы засыпать ров, но хотя бы сделать его не столь глубоким.

Конечно, я не меньше тебя ценю перемены последнего 10- или 12-летия; ни о каких, то есть совершенно ни о каких, сожалениях о советском прошлом не может быть и речи. Но и о возвращении «домой» — для меня, во всяком случае, — тоже, к несчастью, не может быть речи. В сущности, я никогда не чувствовал себя at home в этой стране. Что тут удивительного? Из чего, однако, не следует, что я могу испытывать к ней лишь простое любопытство, как к какой-нибудь Венесуэле.

Кстати, я получил некоторое время тому назад сообщение из «Октября», что они собираются напечатать в первом номере мою повесть, которая так и называется: «Возвращение». Ещё одна новость: наша с Джоном Глэдом книжка под названием «Допрос с пристрастием» таки вышла. Правда, я её до сих пор ещё не видел. Джон нажимает на меня, чтобы я подыскал рецензентов. Но я плохо представляю себе, кто захочет её читать.

Ситуация с толстыми журналами прискорбна, что и говорить. Правда, «эта институция» выглядела обречённой уже не раз. Спрашиваешь себя: на чём вообще всё это держится? Вечный российский вопрос. Недавно Юра Колкер написал мне из Лондона о новом литературном журнале, который будет называться «Колокол». Мне говорили, что журнал финансируется Березовским, но Юра называет другого предпринимателя, по имени Шлепянов.

У меня беда: я слепну. В последние месяцы зрение ухудшилось настолько, что трудно стало читать и сидеть за этой машиной. Я стою на очереди для операции на обоих глазах.

Насчёт поездки в Москву... mag sein, только не раньше осени. А до осени надо ещё доскрипеть.

Вместо 2002 года я было напечатал сослепу 3003-й, следуя древней традиции прорицателей, которые были слепцами. Чтобы узреть будущее, надо перестать видеть настоящее. На дворе сумрачно, над Атлан-

тикой распространяется область низкого давления, как сказано у Музиля, зато над нами густые облака, сыро, зябко, от зимы, довольно холодной и снежной, ничего не осталось. Толя (мой брат) сообщил мне, что получил от Захарова нашу книжку, — сам я её не видел, — я просил передать тебе экземпляр. Первоначально это была обыкновенная переписка или, вернее, что-то вроде обширного заочного интервью по электронной почте. Джон был увлечён проектом написать дополнительно исследование по «теории эмигрантской литературы», — идея, пожалуй, небезынтересная, даже увлекательная, если согласиться, что существует литература эмиграции *per se*, отличная от литературы «метрополии». Именно это и следовало доказать. Интервью должно было служить иллюстрацией. Но потом, когда надежда получить грант лопнула, а текстов накопилось довольно много, ему пришла в голову счастливая мысль превратить это в подобие допроса. Кое-какие отрывки мы печатали в некоторых журналах. Можно удивляться тому, что для книжки нашёлся издатель.

Теперь мои надежды только на операцию, потому что, если дело идёт такими темпами, то уже через месяц я совсем ничего не смогу делать. Лампа висит у меня чуть ли не на носу. Мне бы хотелось в оставшееся время написать статью или этюд о писателе полузабытом, но которого ты, вероятно, помнишь, — экс-сюрреалисте и экс-коммунисте Роже Вайяне. Лет десять тому назад я делал о нём радиопередачу, главным образом по поводу «*Ecrits intimes*», опубликованных после смерти Вайяна. Когда-то, очень давно, когда его роман «Закон» ещё не был переведён, я читал его в России, позже кое-что давала мне читать Ирина Эрэнбург, ныне покойная, из библиотеки отца. В мемуарах Эрэнбурга есть глава о Вайяне, — как всё, очень уклончивая.

Вопрос, зачем и для чего (для кого) всем этим заниматься, то есть зачем тратить время на то, что вряд ли кого заинтересует в России, — вечный вопрос, который отравляет мне всякую работу, не только эти статейки, но и ту, которую я считаю главной. Мы с тобой рассуждали о поэзии и прозе. Вот то, что окончательно закрылось для поэзии: повествование, эпика. «Умчался век эпических поэм», это было ясно уже Пушкину. Может быть, в джунглях Африки или Южной Америки ещё существуют рапсоды. Время от времени охватывает какая-то тоска по эпосу, ностальгия по нарративной прозе. Может быть, это следствие старости. Позади нас — или, по крайней мере, у меня позади — остался целый век, ужаснейший век. Самые омерзительные столетия не знали ничего подобного. Но это было время юности и того, что в конце концов стало самосознанием — сознанием себя и «эпохи».

Для меня ясно, что я не сумел и не сумею создать то, о чём мечталось: синтетический роман. Синтетический в том смысле, что он представлял бы собой некий синтез этой эпохи — дух, итог и диагноз. Сил, а

главное, жизненного времени на это больше нет. Всякий раз, когда я пробую оглянуться, я убеждаюсь, что потерпел фиаско как писатель; всё что сделано — это клочки и лохмотья шикарного одеяния, так и не сшитого. То, что на русском языке никто в XX веке такой работы не сделал, не утешение. В лучшем случае ко всем нам можно будет — и то навряд ли — применить фразу Чехова «в некотором смысле артель». В некотором смысле, как бы ни были чужды и враждебны друг другу братья-писатели, мы все вместе — эрзац великого зодчего. (Правда, стоило бы оговориться, что по крайней мере начиная с последней трети столетия, с возникновением массового общества, литература во всех развитых странах стремительно теряет престиж и значение, следовательно, лишаются смысла и её традиционные задачи; но это уже ein anderes Blatt, другая тема.)

Однако я давно уже превратился в Federmensch'a, «человека-перо», как величал себя старик Флобер, наш великий патрон: l'homme-plume, — и что бы я стал делать без работы? Я взялся что-то царापать, само собой, всё через пень-колоду, и опять, как в разные прежние времена, мне начинает казаться, что избранное время действия было самым важным временем не только в моей собственной жизни, но и в жизни страны. Что последствия его дают себя знать и полвека спустя. Речь идёт о последнем военном — первом послевоенном годе. Ты скажешь (и любой скажет) — опять стародавнее прошлое. И что интерес к нему есть двойной и неизбежный результат эмигрантской отторгнутости и всё той же гнусной старости. Вероятно, так оно и есть. Ну и что? Я ненавижу актуальность. Я ненавижу злободневность. Она кажется мне каким-то рабством у сиюминутной действительности, которая уже к вечеру превратится в труху. Эту труху трясут газеты, их задача — отменить историю, истребить память как нечто мешающее жить сегодняшним днём.

Я понимаю, что, занимаясь прошлым (для меня оно в известном смысле и настоящее, и даже будущее), заведомо лишаешь себя читателей. Однако нам не привыкать. Куда серьёзней внутренние трудности. Взавшись за какое-то подобие повествовательной прозы, тотчас начинаешь чувствовать её тяжкие вериги. Мне уже приходилось писать об этом времени. Как-то раз я перелистывал небольшой роман «Антивремя», дела давно минувших дней, его когда-то, прежде чем он был опубликован в России, напечатал в Америке отдельной книгой Перельман; и в том, и в другом случае на него никто не обратил внимания. (Похоже, его вообще никто не открывал.) Выходит, горбатого исправит только могила. Конечно, как и тогда, я не решаюсь писать собственно о войне, на которой не был. Кроме того, я избираю очень узкий круг персонажей. Я нахожусь в той среде, которую знаю и помню во всех подробностях, но это означает, что я не испытываю

ни охоты, ни нужды описывать её подробно, и... вот тебе уже первое нарушение законов эпики. Единственная надежда на то, что герои оживут и сами будут решать за тебя твои задачи. Тебе останется лишь комментировать происходящее, — без комментариев я, к сожалению, хоть убей, не могу обойтись.

Я рад, что наше произведение не навело на тебя скуку, и позволил себе переслать твой отзыв Джону, ему будет тоже приятно. Само собой, было бы здорово, если бы ты написал рецензию — и чем зубастее, тем лучше, но реакцию редактора, о котором ты пишешь, в общем-то надо считать естественной: мы не ошибёмся, предположив, что всё газетно-журнальное начальство в современной России состоит из людей, в жизни которых литература никогда не играла серьёзной роли. Они могут ради приличия ссылаться на не зависящие от них обстоятельства, но суть-то в том, что их самих литература интересует как прошлогодний снег.

В наших с Джоном философствованиях вопрос, почему писатель NN решил отряхнуть от подошв пыль отечества, собственно, не считался достойным обсуждения. Всё давно стало тривиальностью. Когда один из участников второго налёта на нашу квартиру — человек, кстати, небезызвестный в тогдашних диссидентских кругах, все знали, что он из числа специалистов «еврейского отдела», был такой отдел в этом ведомстве, — когда он отозвал мою жену на кухню и недвусмысленно дал понять, что мне лучше убраться из страны, он был трижды прав. Останья я, меня бы снова арестовали, в конце концов я врезал бы дуба. Другой вопрос — возвращение. Недавно я прочёл в «Воплях» большое интервью с вернувшимся в Россию Г.Владимовым. Это серьёзно работающий писатель, эпигон русской реалистической литературы прошлого, теперь уже позапрошлого века. Он делится впечатлениями о своей жизни за границей. Его рассказ напоминает стишок Маршака. «Где ты была сегодня, киска? — У королевы английской. — Что ты видала при дворе? — Видала мышку на ковре». Любопытно, что он не нашёл ни единого доброго слова о стране, которая как-никак его приютила, дала ему возможность спокойно работать.

Самое лучшее, конечно, было бы уехать в молодости, уехать к чёртовой матери, а ещё лучше — вовсе не родиться.

Два дня назад мне сделали вторую глазную операцию, я стал видеть значительно лучше, хотя и не без некоторых неизбежных трудностей. Но, как видишь, и письмо твоё прочёл, и перед компьютером сижу, как встарь.

Верлибр? Это уже что-то совсем новое. Коварная штука — как всякое хождение по краю. Или как всякая работа в технике, соблазняющей лёгкостью освоения. Но я помню, как я когда-то в деревне пытался писать раёшные полусерьёзные стихи — слегка ритмизованная, рифмованная проза. Были и всякие другие поползновения в этом роде.

Последнее время я был инвалидизирован, но всё же пытался что-то делать. Написал некролог Горенштейна. Нацарапал между делом один рассказ и занимался сочинением, из которого, может быть, выйдет роман (небольшой), а может, и ничего не выйдет. Речь идёт снова об эпохальном произведении — в скромном смысле слова, то есть о попытке взглянуть отчуждённым оком на некую эпоху, разумеется, ушедшую. Одним из признаков старости надо считать чувство, что с тобой уходит поколение. «Поколение» — это некоторая фиктивная реальность. И вот вспоминаешь, как чувствовали, как вели себя ребята и девушки в первые послевоенные годы. Спрашивается, кого это может сейчас интересовать. Но мне-то, в сущности, терять нечего. Не говоря уже о том, что я потратил в разное время столько слюны, доказывая, что литература не может быть актуальной. То, что составляет суть литературы, есть её главный, с точки зрения читателей, недостаток, и можно сказать, что история литературы — это история глухой вражды писателей и читателей, где каждая сторона отстаивает свои права. Читатель хочет увидеть в книге себя и то, что он считает своим временем. Ему некогда ждать, когда это время пройдёт. Между тем как литература живёт в сознании, что у неё впереди много времени и спешить некуда. С точки зрения читателей, литература опаздывает, с точки зрения самой литературы — её час наступает, когда время жизни прошло. И так далее.

Кстати, в связи с этой работой я занимался устройством подводных лодок времён второй Мировой войны (выписал специальную литературу) и читал материалы о потоплении корабля «Вильгельм Густлофф», который увозил беженцев из отрезанной Восточной Пруссии. Слыхал ли ты об этой истории?

В Москве есть журнал «Вопросы философии»; я на него одно время, в 70-х годах, даже подписывался. В последнем номере этого журнала несколько неожиданно для автора напечатан мой этюд о Шопенгауэре...

Ты пишешь, что тебе не хватает вдумчивых читателей. У меня их вообще нет. Ещё когда что-нибудь выходит здесь, можно прочесть рецензии, то да сё; но уже довольно давно книг не выходило. В России появилось несколько коротких откликов на нашу с Джоном книжку. Но это не то, о чём мы — ты и я — говорим.

Я читал твои замечания о «Французском рассказе», и мне стало ясно, что ты прав. Через какое-то время, взглянув на него, я, возможно, пойму, что он вообще никуда не годится. Рассказ в некотором смысле экспериментальный, написан не в моей обычной манере, а скорее во «французской» (почему и назван так). Но, с другой стороны, я подумал, что отмеченные тобой недостатки отчасти вытекают из самого замысла. Он состоял в том, что мимолётное приключение, которое должно было исчезнуть из памяти на другой день, оказалось «событием», и герой рассказа помнит его через много лет. Почему оно так запомнилось, что такого особенного было в этой девице, — это и есть загадка. Кроме того, он не любитель амурных приключений, о чём упомянуто в одном месте, и таких интрижек, вероятно, было не густо в его жизни.

В рассказе многое намеренно не объяснено, опущено в расчёте на читателя, которому благоугодно досочинить многое и разное. Мне казалось, что это можно связать с ситуацией героя: он висит в воздухе, явился как бы ниоткуда. Характерное ощущение одинокого туриста, который приехал даже не из Европы, у которого биографический background остался где-то там, прошлое, семья, обычная жизнь, привычные связи и т.д. как будто исчезли; недаром он говорит: я теперь сам не знаю, кто я; и Париж, описанный крайне поверхностно, — это Париж туриста.

Кажется, уже после того, как я послал тебе рассказ, я вставил коротенький эпизод: человек бродит по кладбищу в Сент-Женевьев-де-Буа и находит камень с собственным именем.

Со вторым текстом, «Зов родины», дело обстоит, конечно, ещё хуже. И всё же выступления фантастических действующих лиц, в том числе «заместительницы главного редактора», не совсем высосаны из пальца, отчасти подсказаны текстами российского литературного интернета и тем общим и явным сдвигом общественного устроения, который отсюда воспринимается довольно отчётливо. Спору нет, я чрезвычайно оторван от этой, то есть «той», жизни, не чувствую тонких дуновений, стиля сегодняшней речи и пр., что так важно для писателя: всё написано чужим, посторонним человеком. Но разницу здешних и российских условий я всё же хорошо понимаю.

Я по-прежнему занимаюсь вещью, о которой писал тебе прошлый раз. Хотя история с потоплением «Густлоффа» занимает в ней очень скромное место, мне не хватает нужных знаний. Я видел несколько раз знаменитый телефильм «Das Boot», лазал в реконструированной подводной лодке, где происходили съёмки (она стоит на территории студии «Бавария-фильм»), листал роман, по которому этот фильм был сделан, читал разные материалы, рассматривал альбомы и т.п. Сейчас набрёл на воспоминания бывшего рулевого советской лодки «С-13», той самой, которая торпедировала «Густлофф». Там много любопытного; между прочим, говорится, что лодка была последним техническим достиже-

ем в этой области и гордостью нашего подводного флота; между тем в большом американско-немецком атласе кораблей второй Мировой войны указано, что советские подводные лодки (большой роли в войне не сыгравшие) страдали существенным недостатком — слишком продолжительным временем погружения, это делало их особо уязвимыми для глубинных бомб. В этих воспоминаниях описан среди прочего и эпизод с «Густлоффом», правда, так, что читатель думает об атаке на военное судно. Но для меня это неважно, важны «реалии» — при всей сомнительности попыток писать о войне, где сам не был.

...После нашей встречи я снова мотался по городу; провели в Москве ещё несколько дней, побывали, кроме двух вечеров в так называемом Театре наций, и у Марка Розовского, и на премьере «Хованщины» в Большом театре, где последний раз я был больше 20 лет тому назад. Поездка (я говорю только о московских впечатлениях, Тверь, где мы пробыли первую неделю, не в счёт), как и прежде, вызвала сложные, путаные ощущения; правда, уже без такого волнения, как в первый раз, когда я приехал через 11 лет; в общем и целом можно сказать, что в этом городе, который я так любил когда-то, я чувствую себя плохо, тяжело. Слово плита наваливается на голову и грудь; как будто ожило старое и усилившееся в последние годы нашей жизни в России чувство стиснутости, безвыходности, несвободы. Разумеется, это только моё собственное ощущение человека, который здесь вырос и для которого прошлое смутно просвечивает сквозь навалившееся новое.

Я не берусь судить, хороши или плохи архитектурные новшества и преобразования: должно быть, и то, и другое сразу; впрочем, я их уже видел; могу только сказать, что мне жаль пустоты и простора бывшей Манежной площади, которая расстилалась перед глазами, когда, бывало, выходишь из университета. Студенческий клуб на углу бывшей улицы Герцена, с которым столько связано, захвачен церковью; заодно это учреждение оккупировало и весь флигель, над полукруглым фронтоном воздвигнут крест и красуется гордая надпись: «Свет Христов просвещает всех», золотом и вдобавок по старой орфографии, — словно мы снова живём в благословенные времена императора Александра III. Об уличном движении не говорю, оно сделалось за эти два года ещё труднее, город накануне коллапса; каждый день я видел аварии, а однажды утром, когда мы выехали из дома на сравнительно незагруженный в этот день и час Ленинский проспект, я увидел лежащее на проезжей части, лицом вниз, тело женщины, сбитой насмерть. На том же самом Ленинском проспекте, неподалёку от Октябрьской площади, в третьем этаже большого красивого дома полыхал пожар, и языки огня лизали следующий этаж.

Я думаю, что для вас обоих неслыханная удача, что вы живёте в тихом месте, рядом с прекрасным лесом. Вообще наша встреча — это чистое, светлое пятно на не то чтобы тёмном, но каком-то смутном фоне. Очень может быть, что я чувствовал бы себя иначе, видел бы вещи в совершенно ином свете, живи я здесь, — но в том-то и дело, что я не в силах вообразить себя вновь живущим в Москве. Слишком многое разделило и отдалило. Не говоря уже о том, что я не представляю себе, кому нужна здесь моя литература.

Вместе с тем мне показалось, что атмосфера преступности чувствуется как-то не так сильно, как в мой предыдущий приезд. Нет больше и этого ощущения всеобщей люмпенизации. И красота Кремля, мостов над рекой и многого другого по-прежнему ослепительна.

Я сразу же стал читать «Стенографию конца века» и, представь себе, увлёкся настолько, что успел прочесть почти всю книгу ещё в Москве. Сколько там близкого, знакомого вплоть до мельчайших мелочей. Разговоры и мнения подчас кажутся странными, неожиданно наивными или даже абсурдными — как вдруг спохватываешься и понимаешь, что ты сам в таком же или почти таком же духе размышлял и выражался тогда, в 60-е, в 70-е годы. Порой я испытывал и зависть к автору дневника: ведь у меня самого никогда не было возможности столь широкого и многостороннего общения с «узкими кругами», я жил в другом социальном мире, да и поздно вернулся в Москву, а потом оказался в подполье.

Вот, дорогие, наскоро набросанные и, конечно, очень поверхностные и скороспелые воспоминания об этих днях.

Я заглянул в моё последнее письмо — возможно, это был последний приезд в Москву. То и дело говоришь себе о разных вещах: это — уже последнее. Воронка в песочных часах становится всё глубже, струйка стекает всё стремительней с каждой неделей, с каждым днём. Работа же, напротив, идёт всё трудней и медлительней.

Что сказать о ней. Я сижу перед компьютером изо дня в день, как проклятый. Результаты? Если говорить о внешних итогах, то, конечно, они не слишком богаты. Книжка, которую мы сделали с Джоном Глэдом из нашей переписки, — единственная (на русском языке) книга, вышедшая за последние десять лет. Не считая, правда, сборника прозы в «Вагриусе». Но этот сборник возник исключительно по благу — благодаря тому, что Юз Алешковский без моего ведома уговорил редакторшу, свою приятельницу, издать книжку такого-то. Не будь Юза, никто бы, разумеется, и не подумал. Сама редакторша сказала мне: книгу всё равно не будут покупать. «Допрос с пристрастием» был выпущен при условии, что Глэд выкупит на свои деньги часть мизерного тиража.

Я получал множество других предложений из России: хотим напечатать то, сё; как дурак, тратил время, собирал и посылал тексты, отвечал на замечания и пожелания, исправлял дурацкие вмешательства, доказывал необходимость этой, а не искорёженной пунктуации, ломился в открытые двери. Всё ушло в песок. Нечего хныкать.

Что касается «внутренних» достижений, ты о них знаешь. Они тоже не блестящи. На этих днях я послал в «Октябрь» статейку под названием «Русский сон о Германии» — так себе, дополненная переделка статьи, напечатанной в одном немецком сборнике. Послал статью о Бруно Шульце; о покойном Горенштейне — они просили, собирался писать и Марк Розовский, с которым я встретился, выходя из редакции. Вещи в общем-то побочные. Вновь все эти недели занимался романом. Вроде бы нашлось название: «К северу от будущего» (слова Целана; к сожалению, наминает название повести Стейнбека «К востоку от рая»). Нечто из послевоенного времени с воспоминаниями о войне и с отсылкой к сегодняшнему. Некая навязчивая идея: травма войны настолько велика, что не изжита до сих пор, как не отросла нога у безногого (там есть такой персонаж); и надо говорить не о победе, а о поражении.

Вчера было 20 июля (2002), годовщина неудавшегося покушения, и я как раз читаю только что вышедшую новую биографию Штауфенберга, автор — граф Кроко(в), известное здесь имя. Когда-то, это было в 50-ю годовщину, я делал большую радиопередачу о заговоре 20 июля, с голосами и музыкой Малера; года полтора тому назад «Октябрь» напечатал мой очерк об этих людях, кажется, ты его видел. История, которая притягивает меня то и дело. Кстати, я был знаком с одной пожилой дамой, баронессой von Pölnitz — это имя когда-то встречалось мне в письмах Лейбница, — которая была секретаршей генерала Штюльпнагеля, командующего оккупационными силами в Париже, неудачно пытавшегося застрелиться, когда стало известно, что Гитлер жив. Штюльпнагель повредил себе зрительный нерв, был вылечен после тяжёлого ранения, остался слепым, и палач вёл его под руку к виселице.

Я занимаюсь своим романом, — если это роман, — и, может быть, сумею его закончить в Париже, куда я намерен отправиться на три недели в конце августа. Вещь небольшая, видимо, меньше шести листов, и довольно традиционная, без затей. Действие происходит в первые послевоенные годы, но есть эпилог, можно было бы назвать его медицинским термином: эпикриз.

Среди рухнувших или готовых рухнуть проектов — книжка, составленная из этюдов на немецкие темы, о писателях и т.п., которую я по глупости согласился приготовить по предложению Вл. Кантора, писателя и философа, однажды побывавшего у меня в гостях, связанного с од-

ним издательством, забыл, как оно называется. Мне вручили в Москве мою рукопись, уснащённую поправками. Я похерил почти все исправления и отослал с оказией новый экземпляр; ответа, само собой, нет. Все эти статьи и «эссе» могли бы, вообще говоря, представить некоторый интерес и сравнительно неплохо написаны; но...

Среди разных мелких новостей в Мюнхене — подмётный роман Мартина Вальзера под названием «Смерть критика». В этом критике все узнали боевого старца Марселя Райх-Раницкого. Роман в общем плохой. Р.-Р., разумеется, не замедлил ответить ударом на удар. Я успел прочесть другое сочинение в подобном роде — памфлет Володи Войновича о нашем пророке. Сейчас это уже вышло в виде книги. Со всем или почти со всем, что он ставит в упрёк Солженицыну, можно согласиться. Но книжку несколько портит нескрываемое восхищение автора самим собой.

Я раздумываю над вопросом, который, возможно, является главным для литературы: соотношение (или противостояние) хаоса и порядка. Можем ли мы начисто — если это вообще возможно — отказаться от повествовательности, то есть от упорядоченной прозы? Литература есть «материализованное сознание», верно? Но поток сознания сам по себе стремится упорядочить себя, есть внутренние регуляторы, существует *сознание сознания*. (Время и пространство, по Канту, — изобретения ума.) Отсюда легитимность литературы, понимающей себя как средство обуздать хаос души.

Сегодня наступила пауза: неожиданно для себя самого, я добил свой роман. Правда, он коротенький, чуть больше ста страниц. Закончен, разумеется, предварительно; позже — может быть, в Париже — я рассчитываю вернуться к нему, прочесть заново весь текст. Что касается размера, это дерево могло бы, по-видимому, расти дальше, если не вверх, то в стороны; но я как-то почувствовал, что всё, что я хотел сказать, сказано.

Сочинение — о «времени»; похоже, что я уступил традиции, если не рутине; изменил, во всяком случае, принципам, которые сам же провозглашал. Начинаешь думать о синтезе, точнее, о необходимости примирить противоречия, которые прежде казались непримиримыми. Об одном из них я писал тебе дня три тому назад: это противоречие между хаосом и повествовательностью. Стихию жизни (стихию сознания) приходится волей-неволей усмирять, не забывая, однако, ни на минуту, о том, что под коркой упорядоченной прозы колыхается магма.

Другое противоречие состоит в том, что некто — всякий человек — живёт в собственном времени, единственно реальной жиз-

ню, и одновременно жизнью «гражданина» в фантомном историческом времени. Другими словами, он становится жертвой истории. Эта коллизия особенно болезненна в таком обществе, какое досталось нам. Больше, чем в каком-либо ином обществе, человек оказывается беспомощен перед натиском «истории». История — вампир. И я не могу понять, как можно было гордиться временем, в котором нас угораздило родиться. *Так нам велит времён величье и розоперстая судьба.* О, Господи... Применительно к литературе это означает: о чём, собственно, стоит писать? Не уходит ли вообще в прошлое роман об «эпохе», как ушёл в прошлое социальный роман? То и дело литература спохватывается, что в погоне за «широтой охвата» действительности она теряет квинтэссенцию действительности — человека. И все литературные завоевания минувшего века, новая эстетика, новое видение, — оказываются ненужными для такого романа.

...Как я уже говорил тебе, я занимался главным образом двумя вещами: рецензией на книгу графа Кросков о Клаусе Штауфенберге и «романом». Рецензия, конечно, не есть в точном смысле рецензия, да и великовата (10 стр.); скорее разговор по поводу; сегодня я её закончил. Тема для меня не новая. Спрашиваешь себя, зачем это нужно редактору и кого может заинтересовать в России такой предмет. Здесь 20 июля, как и другие эпизоды сопротивления нацизму, — да и вообще всё гитлеровское время — остаётся горячей темой: всё новые и новые книги, документальные фильмы и пр. В России же — по крайней мере, у меня такое впечатление — существует сознательное или полусознательное отталкивание от недавней истории, а уж от немецкой и подавно. Правда, я слышу о симпатиях к нацизму, появились поклонники Лени Рифеншталь и т.п. Но это скорее злоупотребление историей, чем подлинный интерес к ней. Кроме того, намерение начать сызнова историю. А мы, по крайней мере я, — старьё — и не в силах отогнать призрак прошлого.

Что касается второй работы, то она в основной части тоже о минувших временах, точнее, о последнем годе войны и нескольких следующих. Правда, под конец всё переносится в нынешнее время. (О котором мне известно меньше, чем о Древнем Риме.) Всё вместе называется «К северу будущего», цитата из Целана. Три действующих лица: двое молодых людей и девушка. Больше разговоров и рассуждений, чем действия. Тридцать с чем-то коротких глав. Я воспользовался отчасти воспоминаниями о своей учёбе в университете в 1945–49 годах. Хилый сюжет придуман.

Гриша прислал письмо, в котором пишет, что моя рецензия зарадила его интересом к «Стенографии», сам я снова зачитался — выкапывал разные даты, то там, то здесь. Можно было бы написать ещё одну книжку, «Комментарии к “Стенографии нашего века” М.Харитонов».

Наткнулся на одно место (на стр. 377), которое раньше не заметил: говорится о «попытке разобраться в отношении Хазанова-Файбусовича к своей стране и своему прошлому. В его оглядке, воспоминании, отражённом в романах, преобладает отвращение».

Можно было бы возразить, что, хотя версия российской действительности в моих сочинениях в общем безрадостна, автор не питает отвращения к своим героям. Больше того, я всегда любил их: и деда, и девочку, и Бахтырева в «Нагльфаре», и персонажей «Хроники N» — рассказчика, женщин, даже самого «учителя», и какого-нибудь половецкого хана в «Потопе» — не говоря уже о героях «Антивремени». Вчера как раз исполнилось 20 лет, как мы подняли якорь. Двадцать лет! Последняя неделя в Москве, в августе 1982-го была ужасной. Одних этих дней хватило бы, чтобы сказать себе: нет, никогда в эту страну ни ногой. (Почти те же слова — «ноги моей больше не будет» — произнёс Глинка, выйдя на границе из кареты, и даже, говорят, плюнул в сердцах.) И я знаю весьма многих среди уехавших, кто смотрит на вещи так же. Ведь не может же это быть только индивидуальной чертой, капризом или случайностью.

«Оглядываясь» — не в романах, а просто оглядываясь, вспоминая, я вижу, что очень многое потерял и очень многое приобрёл. Главное и общее приобретение есть то, что можно назвать новой оптикой или дополнительным измерением. Постепенно и незаметно оно усвоилось в такой мере, что уже невозможно более представить себя и осознать своё отношение к России без этого нового измерения. Вот один пример. В связи с нынешней работой, о которой я тебе писал, я вернулся к послевоенным и военным временам. Автор не был на войне, но её дыхание должно присутствовать в книге, главные действующие лица — это те, до кого чудовище войны не дотянулось (подобно тому, как в другие времена жители государства — это просто те, кто не провалился в концлагерь), и среди них один, ему 22 года, — инвалид, бывший моряк-подводник. Войну вспоминают, ею всё ещё живут. Она преследует в снах и пр. Так вот, я не могу думать и что-нибудь воображать о войне без этого другого, дополнительного измерения. В книгах, написанных в России, мне не хватает ещё одного глаза. С другой стороны — разве не были все мы в те времена, в 70-х, в 80-х, чужаками, отщепенцами; я, во всяком случае, хорошо помню это чувство полной, окончательной безнадёги.

Ты скажешь — но теперь всё совсем по-другому. Гм...

Среди многого, что меня живо заинтересовало, есть записанные тобою от разных людей заявления, что-де разговоры о смерти литературы — пустая болтовня. (Есть замечательная по своей наивности и как бы служащая самооправданием декларация «Дмитрия Александровича» Пригова на стр. 424 и комментарий диариста. Сюда же спившийся скоморох Курицын и т.п.) Я бы тоже не решился утверждать, что литература умерла или умирает. Но кое-что, не будучи принципиально новым, тоже предстаёт отчётливее здесь, в Европе. Например, социальный заказ литературы. Приходится так или иначе вернуться к этому термину первых советских десятилетий. Я слушаю музыку, величайшую музыку, когда-либо созданную, — немецкую музыку. Знать, которая была её заказчиком и потребителем, не была озабочена коммерцией. В дальнейшем её функции — в ещё большей степени это относится к литературе — переняла богатая и просвещённая буржуазия. Она тоже сошла со сцены. Но буржуазия, как сказал Адорно, не оставила наследника. И ныне заказчиком является добившийся благосостояния полуобразованный плебс. В массовом обществе произошла тотальная коммерциализация литературного «дела». О чём говорить! Это всё достаточно тривиальные вещи. Тривиальная действительность; но в России, по-видимому, к ней ещё не успели привыкнуть. Всё ещё лелеется надежда, что русский человек или, по крайней мере, российский интеллигент не пойдёт служить Мамоне. Кома Иванов всё ещё рассуждает (поразительное место, найди его) насчёт того, что «средний человек» в России предпочитает, — вместо того чтобы... и т.д., — думать о том, как бы стать великим поэтом, расшифровать неизвестную письменность или решить одну из задач Гилберта. — Усрать можно, как говорили в старину. Интересно, где он встречал такого среднего человека.

В числе «Приложений» есть красивое, прекрасно написанное место о покойном Крониде Любарском. Я знал его, как тебе известно, довольно близко на протяжении восьми или девяти лет. Он остался в моей памяти каким-то чрезвычайно типичным человеком своего времени. Мне кажется, главным противоречием его жизни, его облика и его деятельности было то, что по своим убеждениям он был демократом, а по натуре — авторитарной личностью. Он не терпел какой бы то ни было критики, те, кто ему возражал, были нечестными людьми. Он был то, что называется *Besserwisser*, и всегда выступал с позиций благородного человека, воюющего с подлецами; читал мораль в открытых письмах, которые очень любил писать. Он был похож на доктора Львова в «Иванове» у Чехова. Между прочим, я помню и тот фильм, о котором ты говоришь (стр. 384). Кронид показывал его нам у себя дома, вернувшись из Москвы после встречи эмигрантов с советскими литераторами, первой после ликвидации железного занавеса. Истерические всхлипы были у него довольно обычным делом; нервы были, что называется, нику-

да. Он был человеком бесстрашным и самоотверженным, организовывал и сам оказывал помощь многим людям и при личной встрече производил впечатление неотразимо обаятельного человека. Но если кто-нибудь преследуемый и нуждающийся из «дальнего» превращался в «ближнего», если контакт становился регулярным, это всегда оканчивалось разрывом. Я был свидетелем тому много раз. Он со всеми ссорился, был даже — в той среде, в которой мы находились, издавая журнал, — ненавидимой фигурой. Теперь и его нет...

Ну, вот; что ещё? Через три дня я собираюсь отчалить. Возьму с собой портативный компьютер. Роман, собственно, написан, но мне хотелось бы основательно его прочесть. Настроение у меня от этой работы — так себе. Кроме того, всё время возникает искушение что-то добавить. Так на стволе дерева вдруг появляется тоненькая зелёная веточка. Обычно из неё ничего не получается. Поселиться я собираюсь в дешёвой гостинице на Монмартре, на этом холме, откуда виден весь город.

В связи с романом я копался во всякой всячине; занимался Новалисом. Перелистывал труд о сталинской кинематографии, который прислал мне автор, один немецкий киновед. На этих днях исполнилось сто лет фрау Лени Рифеншталь. Она в превосходной физической форме, что касается умственных способностей, то за последние 50 лет она, кажется, ещё больше поглупела. Когда-то я написал одну вещичку («Плечом к плечу») под впечатлением от её фильмов и выступлений, отчасти и в связи с Эйзенштейном (удивительно, что ни здесь, ни в России никто не говорит о нём как о профашистском художнике). Посылаю тебе для развлечения.

Да, конечно, твоя книга возбуждает много мыслей, дорогой Марк, и можно было бы записывать их и компоновать, превратить в один развёрнутый эссе, даже в книжку, — но кто будет это печатать?

Ответ, который ты получил от Жоржа Нива, в части, касающейся книги И.Золотусского, меня не удивляет. Я думаю, его отповедь объясняется тем, что Золотусский — представитель «лагеря», к которому долгое время примыкал — вероятно, и сейчас ему верен — Нива. Однажды, лет 15 тому назад, я был в гостях на кафедре Нива в Женеве по приглашению Симы Маркиша, его многолетнего сотрудника, выступал там перед студентами и в нестуденческом «русском кружке», который вёл сам Нива. У Нива была образцовая кафедра, маленькая, но очень уютная, комнаты носили имена русских писателей. Научным и обиходным языком был только русский. Кроме того, мы были у Нива на обеде (через границу, во Франции). Жорж Нива был гостеприимен и учтив. Но мне казалось, что он принимает и воспринимает меня как чужака. Иначе и быть не могло. Он ученик Пьера Паска-

ля и, видимо, воспринял от него симпатии к русскому национализму. Что касается Золотусского, с которым я тоже однажды познакомился, то он, я помню, говорил, что «Выбранные места» Гоголя — великая книга и на неё надо взглянуть другими глазами. Кроме того, он заверял меня, что он вовсе не антисемит. Его писания, по крайней мере тогда, издавали, однако, специфический аромат.

...Ну вот, последний раз я писал тебе за два дня до отъезда в Париж, сейчас прошло уже несколько дней после моего возвращения.

Статья старика Райха-Раницкого в «Der Spiegel» произвела на меня удручающее впечатление. Она должна быть частью книжки о пионерах литературы XX века, отобрано семь таких Wegbereiter, но тут тебе стараются доказать, что Музиль-то как раз им и не был, его новаторство — миф. Посмотрим, что будет в книге. То, что помещено в «Шпигеле», удручает не только тем, что приспособлено к духу и стилю этого журнала с характерной для него топорностью, с его кое-как, в спешке, написанными статьями, всегда по одному шаблону, ибо все они пишутся в редакции. В конце концов, Р.-Р. прошёл очень долгую школу работы в двух больших газетах, научился писать чётко, ясно, доходчиво, дидактично и безапелляционно, всё это обеспечило ему успех у «широкого круга», и если наши пороки, как говорит Ларошфуко, суть обратная сторона наших добродетелей, то здесь мы как раз и находим изнанку его достоинств.

Нет, от статьи у меня осталось такое тяжёлое впечатление и потому, что она, как ни странно это звучит, показалась мне направленной против меня, против таких, как я. Разумеется, я сам как писатель в кругозоре Райха-Раницкого, достаточно широко, не существую. Кажется, он читал или перелистывал мою первую из опубликованных здесь книгу, счёл её автобиографическим романом, и, по-видимому, этим всё ограничилось. Однажды, это было давно, я бегло с ним познакомился, получил от него в подарок книжку статей о Гейне, но, конечно, и это не могло остаться в его памяти. Мне случалось говорить о нём по Радио Свобода; однажды я опубликовал в нашем бывшем журнале кое-что о нём, он был в то время в России совершенно неизвестен, и мне казалось (по глупости), что это может кого-то там заинтересовать; перевёл и поместил в журнале отрывок из одной его беседы. И даже совсем недавно писал о нём в статье под названием «Критик. Критика. Литература», она была напечатана в «Октябре». Но Р.-Р., «римский папа литературы», обитает, так сказать, во дворце, и я даже не могу сказать, хотелось бы мне познакомиться с ним в жизни поближе: вряд ли я нашёл бы с ним общий язык. Насколько я могу судить, он довольно неприятная личность. Как бы то ни было, я всегда читал его, пускай с некоторой неудовлетворённостью, но с удовольствием. Он в самом деле прекрасно пишет.

Его интерес всегда был сосредоточен на немецкой литературе, он в полном смысле слова живёт литературой, и его великая заслуга состоит в том, что, в качестве чрезвычайно влиятельного литературного критика, он, как никто другой, сумел поднять престиж литературы в обществе, где ей уготовано место в передней и на обочине. Русская литература и тем более литература русской эмиграции его не интересует, если он обращается к русским писателям в своих писаниях или выступлениях, то оперирует обычным, строго ограниченным набором имён: Толстой, в меньшей степени Достоевский и Чехов, в крайнем случае Тургенев и Лесков. В знаменитом «Литературном квартете», насколько я помню, книги русских авторов, в отличие от других иностранцев, например, американцев и англичан, обсуждались за десять лет считанное число раз: переиздание Булгакова, новый перевод Достоевского, однажды дискуссия была посвящена последней книге Битова (оценённой очень кисло), вот, кажется, и всё.

Так вот, о статье. Она поражает своей грубостью, нахрапистостью. По-моему, он больше, чем прежде, играет на публику, хочет приперчить свои доводы привкусом скандала. Некоторые высказывания возмутительны. Нищета Музиля объясняется очень просто: сам виноват. Патологически самовлюблён, до невозможности переоценил себя. Из статьи, как дважды два, выясняется, что Музиль – весьма скромный талант, который лезет в большие прозаики; не умеет создать живые характеры, не в силах построить сюжет, создать романную интригу, рассказать историю; и там, где пытается это делать, вторичен, беспомощен, банален.

Но в статье есть нечто более важное, и оно-то, по правде сказать, мена и задело (возможно, задело и тебя).

Речь идёт об «эссеизме». Речь идёт о противопоставлении того, что называется в статье *das Sinnliche*, тому, что он называет *das Begriffliche*. О бесконечных философствованиях автора «Человека без свойств», в которых тонет повествование и которые, конечно же, подвергают терпение читателя непомерному испытанию. Собственно, на эти упреки, которые делаются не впервые, много раз уже и отвечено. Книга Музиля – не роман, которые читают как обыкновенные романы, скорее это то, что надо читать отдельными страницами, малыми порциями, как крепкий кофе пьют маленькими глотками из крошечных чашек; читать, постоянно возвращаясь к прочитанному, лишь тогда оказывается, что игра стоит свеч. И персонажи его – не действующие лица обычной повествовательной прозы, о них хотя и рассказывается, но гораздо больше делается отсылка к подразумеваемому рассказу, к повествованию в собственном смысле, где они были бы действующими лицами. Вообще можно сказать, что это книга, в которой как бы содержится другая книга, и в той, подразумеваемой книге «всё в порядке»: есть и сюжет, и действующие лица; но вся беда в том, что реалистическое повествование

скопрометировано, ибо скомпрометирована сама концепция действительности. Или, если угодно, нам предлагают огромное зеркало, в котором мелькает то, что, собственно, должно было служить содержанием романа, быть романом в собственном смысле.

Любопытное совпадение: Р.-Р. цитирует то самое место из «Человека без свойств» (оно находится в гл. 122 второй части, у меня это страница 650 первого тома, изд. Rohwolt), которое я когда-то, ещё в России, взял в качестве эпиграфа к маленькому роману «Я Воскресение и Жизнь». Найди его: о том, что порядок жизни, к которому тянется человек, есть не что иное, как порядок повествовательного искусства. Die meisten Menschen sind im Grundverhältnis zu sich selbst Erzähler, и т.д. Критик находит в этом пассаже некое саморазоблачение писателя: не Ульрих, а сам автор декларирует своё недоверие к повествовательному принципу, ergo, и к художественной литературе, к её неизбежному закону. А почему? А всё потому, что нет сил, не хватает таланта создавать истинно художественную литературу.

И вот я думаю: прав ли он? Ведь сам я, наколько могу судить о себе, тоже отношусь к тем писателям, в общем-то чуждым русской традиции, для которых «эссеизм», рефлексия о происходящем в романе, является неотъемлемой частью повествования, компонентом художественного целого (а не довеском к нему). Означает ли это, что я собственными руками, воздвигая здание, тут же его и разрушаю? Что значит – подвергнуть сомнению повествовательный принцип; значит ли это отказаться вовсе от него и заменить рассказ рассуждениями о рассказе? У меня ведь давно уже нет безусловной уверенности в том, что мой «метод» единственно правилен.

В бумагах Музиля есть такая запись (я когда-то на неё наткнулся и цитировал, в одной статье). Говорится о разговорах Ульриха с Агатой. Всё уходит в песок.

«То, что в этих разговорах так много приходится распространяться о любви, имеет тот основной недостаток, что вторая жизненная опора, второй столп – злое, страстное начало, начало вожделения – проявляет себя так слабо и с таким запозданием! Просчёт состоял в переоценке теории. Она не выдержала нагрузки; во всяком случае, оказалась не столь важной, какой представлялась до осуществления задуманного. Я давно уже это понял, теперь приходится расплачиваться. Вывод: не отождествляй себя с теорией. Отнесись к ней реалистически (повествовательно). Не изобретай теорию невозможного, но взирай на происходящее и не питай честолюбивой уверенности, будто ты владеешь всей полнотой познания».

Под «теорией», если я правильно понял его мысль, как раз и подразумевается система внутривроманных оценок, сложный комментарий к происходящему, точнее, к тому, что рассказывается о происходящем.

Этот комментарий в романе обычно приписывается главному герою, отчего, конечно, и сам «герой» невероятно страдает. При такой нагрузке ему просто некогда жить, понятно, почему он не в состоянии понастоящему, как положено мужчине, «вождедель» Агату. В записи Музиля, по-видимому, содержится надежда, что эту перегрузку (которую следует отнести ко всему гигантскому роману) можно преодолеть, включив её в повествование, – но как? Я думаю, что по крайней мере в первом томе это ему всё-таки удалось.

Заслуживает ли коротенькая статья вообще такого длинного разговора? Там есть ещё кое-что, вызывающее тяжкое чувство, чтобы не сказать – отвращение. Ключевое слово – *Unterhaltung*. Это вообще одно из самых ходовых словечек, которые я слышу по телевидению, по радио.

Статья проникнута убеждением, что литература должна непременно «развлекать». Об этом не говорится, это как бы разумеется само собой. Давно сказано: все жанры хороши, кроме скучного. Совершенно справедливо. Но так можно было спокойно вещать в прежние времена, сейчас к этому афоризму приходится отнестись с большой настороженностью, потому что за ним стоит рынок. Что говорить! Музиль требует такого встречного усилия, что быстро утомляет. Со вкусом, с удовольствием Р.-Р. цитирует Додерера (как будто сам Додерер не скучен) и других. Теперь, спустившись с высот на нашу землю, я легко могу себе представить, как читатель, взявшись за какое-нибудь из моих изделий, зевнув, захлопывает книжку: «Скукота! Заумно...». Собственно, вся литературно-критическая деятельность Райха-Раницкого имплицитно преследует цель разрушить границу между «Е» и «U», то есть между «серьёзным» и «развлекательным» чтением. Это довольно распространённая тенденция, можно сказать – пафос общества, в котором я живу. И уже по этой причине с Музилем, который весь – воплощённый протест против капитуляции перед рынком, надо покончить.

Кажется, во мне растёт протест против «эссеизма». И вместе с тем от него невозможно отказаться – уже потому, что он представляет собой, по-видимому, наиболее адекватный метод обуздать реальность. Вернее, примирить её с художеством. Я когда-то написал статью, где говорилось о крахе эссеизма. Не этот ли крах был причиной грандиозной неудачи Музиля?

Нужно было сотворить некий новый синтез действительности. Но оказалось, что-то произошло в литературе, синтетический роман стал невозможен. И великий писатель схватился за эссеизм, попытался создать синтетический роман о невозможности синтеза. Я, вероятно, слишком кудряво выражаюсь.

...Ты спрашиваешь, что я разумею под синтетическим романом. Нечто не вполне ясное, по правде сказать; некий соблазн, который иногда приобретает вид неисполнимого долга. Возможно, что-то похожее на то, что верховный гуру постмодернизма Льюис назвал *метанаррацией*: повествование, объединённое высшей, общезначимой, универсалистской идеей. Метанаррациям, сказал он, пришёл конец.

Синтетический роман — мечта, с которой носились Герман Брох, Томас Манн, Роберт Музиль. Правда, они не пользовались этим названием. Брох говорил о «полигисторическом романе». Об этом есть интересные письма от 3 и 5 августа 1931 г.: он упоминает Джойса, А.Жида, Т.Манна, Олдоса Хаксли; но и они не создали того, что ему грезится. Они (за исключением Джойса, вовсе не ставившего такую задачу перед собой) не сумели осуществить сплав историософии и искусства. «Даже мой друг Музиль, при том, что у него есть преимущество — в его распоряжении отличный, натренированный в науке мыслительный аппарат, — даже он не защищён от этого упрёка».

Нет. Я говорю не об этом. Не совсем об этом.

Время от времени чувствуешь потребность подвести итог.

Это должен быть итог жизни и вместе с тем итог «времени», эпохи, в которую пришлось жить. Разумеется — итог, достигаемый слиянием «художественного» и «эссеистического». Итог, который подводят, подавляя рвотный позыв — преодолевая отвращение к этой эпохе.

Среди колоссальных трудностей, которые воздвигаются перед пишущим, есть по крайней мере одна объективная трудность, препятствие, которое раскалывает всё повествование; а ведь мы говорим о синтезе. Это — дошедшее в этом веке до крайности, до невероятия противоречие между мёртвым временем народов и реальным временем человека; между человеческим, то есть подлинным и единственно достойным, существованием и злодейской, абсурдной, мёртвой, вампирственной стихией — можешь называть её Историей, Нацией, государственной Необходимостью, как угодно.

Другими словами, цементирующей идеей искомого синтетического романа оказывается анархическая идея — заведомо неконструктивная. *Sinngebung*, разумное истолкование, «придание смысла», оказывается невозможным, так как исторического разума не существует. История дискредитирована, вера в разумный ход вещей радикально подорвана, подобно тому как подорвана вера в Бога.

Я написал года полтора тому назад небольшую повесть, она называется «Следствие по делу о причине», — вещь, по-видимому, неудавшаяся, но о ней стоит упомянуть. Речь идёт о гибели двух подростков, учеников лесной школы, в результате сложных переживаний; это возраст, когда живут, эмоционально и духовно, с необычайной интенсивностью; собственно, это и есть настоящая человеческая

жизнь. Между тем, — о чём, конечно, не знают не только дети, но и учителя и родители, — между тем — «...что-то клубилось и колыхалось, что-то творилось в лабиринтах государственных канцелярий, в недрах разведывательных управлений и военных штабов, происходили тайные совещания, произносились зловещие речи, подписывались и визировались многостраничные планы под кодовыми названиями, с чертежами, со стрелами наступающих армий. Замечательной чертой этой эпохи было абсолютное несоответствие того, что происходило на самом деле, с жизнью людей».

Соблазн и необходимость синтетического романа в конечном счёте состоят в этой потребности придать смысл бессмыслице. Но это неосуществимо. По крайней мере для меня поезд ушёл, и горько думать об этом.

В том-то и дело, дорогой Марк, что речь идёт не о совокупности произведений. О Чехове можно было бы сказать, что все его рассказы и повести — это грандиозный мозаичный роман человеческого существования в России в такую-то эпоху. Но нет. Речь идёт о горё, не о цепи холмов; о едином творении, едином в точном смысле слова; это — *conditio sine qua non*. Жанр (принадлежность к определённой жанру, жанровая дисциплина) есть, по моему мнению, необходимое условие художественной прозы.

Можно ли считать синтетический роман «принципиально невозможным»? Я в этом не уверен. Очень может быть, что постулаты теоретического постмодернизма окажутся так же недолговечны, как недолговечными оказались пророчества о смерти романа вообще. (Смерть романа означала бы смерть литературы.) Мы говорим об ошибке Музиля; сам он, я думаю, свой замысел не считал ошибкой. Марта Музиль говорила, что он рассчитывал ещё на 20 лет работы. Взвешивались разные возможности выхода их тупика.

...Вчера я послал тебе эту повестушку, для которой я, как почти всегда, воспользовался собственными воспоминаниями — в качестве кулис и сценической площадки; сюжет, само собой, выдуман.

Сказать подробней об отрочестве? То, что это — самое, может быть, трудное и самое напряжённое время жизни, объяснений не требует. Но одно дело общее правило, а другое — жизнь конкретного человека, которую мы пытаемся «изобразить», то есть изобрести заново.

Сам я помню это время очень ярко и подробно — лишнее доказательство интенсивности прожитого. Периодизация маркирована для меня конкретными датами: время подростка начинается в декабре 1940 года, когда меня определили в лесную школу (я помню, как мой

отец писал карандашом, чёткими красивыми буквами на изнанке ворота моей курточки: «Геня Файбусович, 12 лет»). Кончается в августе 1944-го: мы — я, моя мачеха и брат — вернулись из эвакуации в Москву.

Едва началось это время, как произошёл перелом. Всё, что занимало и увлекало ещё каких-нибудь несколько недель тому назад, перестало быть интересным. Например, детская научно-фантастическая литература: «Пылающий остров» Казанцева, «Морская тайна» Адамова, «Арктания» Гребнева, «ГЧ — Генератор чудес» не помню кого и т.п. Вдруг как отрезало: я потерял к ней интерес. В лесной школе я стал читать «Отверженных» Гюго, потом «Героя нашего времени», ещё что-то, с огромным увлечением, но речь шла уже не о замечательных изобретениях, таинственных лучах, гидропланах или подводных лодках.

Другое новшество — экзотическое существование девочек. Необычайно сильное переживание дружбы со сверстниками: была компания из четырёх мальчиков (один из них был племянником Магиаса Ракоши), которую я оставил ради дружбы с другим учеником, меланхолическим романтиком по имени Ваня Попов; это была измена, которая воспринималась как драма и была ею, в сущности.

Это время огромное, длинное; кажется, что оно растянулось на годы. Я к нему возвращался в разных сочинениях. Например, в старом романе «Антивремя»:

«В приснопамятную пору мне исполнилось тринадцать лет; это было злое, несчастливое время. Я стал худеть [...] Детство сравнивают с античной древностью, но я бы назвал его средневековым, восхитительной, на мой взгляд, порой в истории человечества, а вот отрочество — это шестнадцатый век! Сырой ветер, запах тления — гниют какие-то остатки, — томительное чувство свободы, мокрые ноги, кризис плоти и взрывы дикого авантюризма. Голова кружится от наплыва мыслей. Вселенские замыслы: придумать новую религию, создать универсальную формулу человека, написать великую поэму. И, наконец, чихнуть на “всё” и записаться в Иностраннный легион...»

Дорогой Марк, как ты там.

Я закончил свой роман. В Париже мне казалось, что я поставил последнюю точку, но потом пришлось всё заново прочёсывать, кое-что добавлять, менять и т.п. В итоге получилось 145 компьютерных страниц, с полуторным интервалом, для романа, собственно говоря, маловато. Всё же у меня ощущение, что это роман, а не повесть. Так как сюжет и сквозные мотивы отчасти связаны с Германией, то это «немецко-русский роман». Что, конечно, не прибавит ему шансов понравиться российским читателям — если таковые найдутся. Тем не менее написать это не для здешнего употребления, а для России и о России.

Это в некотором роде итог. Может быть, вообще мой последний роман. У меня всякий раз, когда я сочинял что-то длинное, было убеждение, что я подвожу итог; всякий роман есть итог; синтетический роман остался неосуществимой мечтой, то, что я сейчас состряпал, — во всех отношениях «не то»; и всё-таки мне кажется, что я подвёл черту, по крайней мере для себя, под определённой эпохой. Очень короткой — речь идёт о послевоенных годах. Но речь идёт также и о войне; правда, она занимает немного места. Я уже писал тебе, что смешно и слишком уж самонадеянно было бы писать о войне, на которой не был. Речь идёт, скажем так, о последствиях войны. О лучезарном будущем, которое раскрылось, как небеса, перед всеми, и особенно перед такими юнцами, какими мы были тогда, в мае 1945 года, — и что из этого вышло. Там есть и нечто вроде эпилога, дань сегодняшнему времени. Теперь это будущее — далёкое прошлое; несостоявшееся будущее.

То, что меня так часто тянет писать о прошлом, объясняется и тем, что я живу вдали от России, от «актуальности», и недоверием к актуальности (быть *своевременным* отнюдь не значит быть *современным*, скорее наоборот), и, конечно, возрастом; и даже (возможно) неугасающим интересом к военному и послевоенному прошлому, который существует здесь, — влиянием этого интереса. Но не только. Хочется *понять*: что такое, собственно, было это прошлое? В чём его смысл, и не равнозначен ли он драматической бессмыслице.

Триумф победы в 1945 г. можно сравнить только с триумфом 1813 года, и есть даже сходство в общей схеме событий: небывалое по масштабам нашествие, враг под Москвой, а в итоге — русская армия в столице врага. Но какая огромная разница. Война с Наполеоном в самом деле завершилась победой; война с Германией обернулась в конечном счёте — думал ли кто-нибудь тогда об этом, мог ли допустить эту чудовищную мысль? — обоюдным разгромом побеждённых и победителя. Второй великой державой стал инвалид, жестоко покалеченный войною. Оправиться от победы он уже никогда не смог, как не могла отрасти ампутированная конечность у одного из моих персонажей.

Из последних новостей, если не говорить о жутком событии в Москве, — умер Аугштейн. В Гамбурге приспущены флаги. Это был человек, обладавший очень большой властью. Я не любил его стиль, не любил и не люблю его журнал — самый распространённый, самый тиражный из всех журналов подобного типа в Европе, чрезвычайно информированный, дешёвый, общедоступный, в высшей степени актуальный, продаваемый везде и всеми читаемый. Когда-то очень давно «Der Spiegel» поместил отрывок из моей книжки «Миф Россия»; это была случайность. Между прочим, я мог видеть, как это у них получается.

Дорогой Марк, что-то давно от тебя нет вестей; здоров ли ты? Что нового (как говорит Шейлок) на Риальто? Через несколько дней прибывает наша сноха Сузанне с младшим внуком, на этот раз по дороге в Америку. Это нарушит на некоторое время мою работу. Но работа закончена. Несколько раз я говорил себе (и тебе писал), что кончил возиться с романом, потом снова что-то доделывал, и это могло продолжаться неопределённо долгое время. Но теперь баста, больше я к нему не притронусь. Объём невелик, и я даже был настолько самонадеян, что позвонил в «Октябрь», с вопросом, не прислать ли им. Не надо было, конечно, соваться, — и не только потому, что возможности публикации моих писаний в России становятся всё сомнительней.

Это не поза и не кокетство. (От которых, как известно, писателю или псевдописателю нелегко освободиться.) Нет. Вчера вечером я бродил по нашей окрестности, и не могу тебе рассказать, какое тяжёлое чувство было у меня от мыслей об этом несчастном романе. Главное — ничего уже невозможно поправить. Представь себе человека с мешком на спине: нёс, нес, спускался и поднимался по лестницам, шёл длинными коридорами. И оказалось, что дверь на улицу не то чтобы заперта снаружи, но вообще никаких дверей нет.

«Там», то есть в России, у этого сочинения вовсе нет никаких шансов. Оно и не о том, что интересует людей, и написано не тем языком, на котором говорят и пишут. (Сколько раз я замечал, что в моей прозе то и дело встречаются слова, обороты и даже целые конструкции, которые никогда не употребляются в книгах и журналах, выходящих в России, в российском интернете, не говоря уже об устной речи.) Смех в том, что то же самое происходило бы, если бы я находился в России. Было бы, наверное, ещё хуже. Здесь я не чужой и не свой, а просто остаюсь самим собою; там я чувствовал себя чужим и абсолютно ненужным — и остаюсь им. Но всё это не так важно по сравнению с более существенным; какое мне дело, в конце концов, до этих «шансов», я живу за тысячу вёрст. Выполнить задачу, которую явно или неявно ставишь перед собой, — вот главное. Проза дефектна сама по себе. Что именно в ней не так, я, по крайней мере сейчас, не могу понять: мёртворождённые персонажи? схематизм? плакатность? неслаженность композиции? неопределённость замысла? Внутренние силы, которые разрывают вещь на куски? Слишком мало сказано или, наоборот, чересчур рассусолено?

Дорогой Марк, я помню, что когда впервые прочёл роман Гессе, очаровавший меня, — это было больше тридцати лет назад, — я воспринял это вступление о «фельетонистической эпохе» иначе, нежели мог бы воспринять его теперь, когда мы в самом деле окунулись в эту эпоху.

При этом она, конечно, далеко переплюнула то, над чем посмеивался (или чему ужасался) автор «Игры в бисер». Ведь в его время ещё не было телевидения.

Хотя Гессе и сам не верил в касталийскую утопию — об этом, собственно, весь роман, — мне в разное время (думаю, что и не только мне) приходила в голову мысль: то, что старые немцы называли Geist, могло бы возродиться при условии новой инкапсуляции высокой, то есть подлинной, культуры. Культура свёртывается в клубок, забивается в скорлупу, как улитка, — это способ самозащиты. Мы вернулись бы в эпоху Высокого Средневековья, в XIII век.

Э-хе-хе...

Ночью я читаю всякую всячину. Снял с полки дневники Самойлова и снова стал листать. Это интересное, временами даже захватывающее чтение, которое оставляет тяжёлый осадок. Ловишь себя на том, что судишь сквозь оптику нынешнего времени, но потом думаешь: а почему бы и нет? Кому, как не нам, судить и выносить приговор. Конечно, приговор — слишком громкое слово. Можно представить себе, как Д.С. встаёт из гроба и говорит: я воевал, — а вы?..

Отчётливо видишь, насколько этот человек, умный, тонкий и для того времени достаточно начитанный, был поработён своим временем. Возможно, поэтому (среди других причин) он не стал первым поэтом своего поколения. Хотя шансов было, пожалуй, не меньше, чем у Твардовера. Видно, как менялось, или, если угодно, совершенствовалось, его мировоззрение: от образцового советского (удивительно даже, до какой степени советского) к «околосоветскому» — государственно-националистическому, антизападному и даже чуть-чуть антисемитскому. Постоянной подпиткой для деклараций служит неиссякающий интерес к русской истории. Некоторые части дневника не то утрачены, не то утаены составителем (о чём в предисловии ни гу-гу). Например, отсутствует 53-й и несколько следующих лет. Но и без них многое симптоматично. Ни одного слова о тяжкой и гнусной действительности послевоенных лет. Ни слова о доносах и арестах. Сразу после войны Самойлов оказался в писательской среде, и пошло: бесконечные выступления, конференции и экскурсии по стране, во время которых узнать страну невозможно, гости, пиры, коньяк, бездельная жизнь, и, разумеется, ни тени сознания того, что все — на содержании у государства, как пухленькая бабёнка у купца. Нужно хорошо выглядеть, нужно улаживать, не то прогонит купчина, и останешься на улице в одном платице и туфлях на босу ногу. И всё-таки читать интересно.

В твоих рассуждениях, лучше сказать — размышлениях, меня привлекает то, что речь идёт о насущных вопросах, о главном, о судьбе культуры, о меняющейся физиономии общества. Сексуальная револю-

ция давно отзвучала, «пиллюля» сделалась чем-то вполне обыденным, юноши и девушки вступают в половые отношения в школьном возрасте, но я бы не сказал, что следствием этих перемен стал упадок нравов. Общественная мораль изменилась на наших глазах, тем не менее нравственность отнюдь не отменена — по крайней мере, здесь, в Западной Европе. А когда я вспоминаю репрессивную мораль советского общества послевоенных лет, где секс был второй крамолой и ханжество, неслыханное, дошедшее до Геркулесовых столпов, — необходимым компонентом всеобъемлющей лжи, то думаю о том, насколько легче, свободнее и человечнее стали с тех пор отношения полов. Не только такая книга, как мемуары Цвейга «Вчерашний мир», но даже «Второй пол» Симоны де Бовуар, самое знаменитое из её сочинений, написанное чуть больше полустолетия тому назад, сейчас воспринимается как рассказ о потонувшем мире. Но, заметь, литература при этом много потеряла. Литературу занимают драма и трагикомедия человеческого существования и среди прочего — коллизии, которые казались вечными. Теперь они утратили актуальность, и это то же самое, как если бы литературу изгнали из родового поместья или по меньшей мере раскулачили. Я философствовал на эти темы в разное время; вот цитата:

«Революция нравов лишила литературу её наследственных владений. Никого больше не соблазняют многостраничные повествования о любви, ушли в прошлое истории встреч, надежд, узнавания, сближения, всё то, что должно было понемногу разжечь любопытство читателя, — вплоть до решающей минуты, когда дверь спальни захлопывалась перед его носом. Спрашивается, оттого ли у современных писателей всё совершается так скоропалительно, что упростились современные нравы, — или нравы упростились оттого, что литературу перестали интересовать околичности, не имеющие отношения к “делу”».

Ещё одна забавная подробность (чем не сюжет для бульварного романа?): на днях я случайно наткнулся на репортаж по телевидению о конторе под названием Seitensprung-Agentur. Респектабельная дама, владелица фирмы, рассказывает о том, как она обслуживает клиентов, чаще всего замужних женщин за сорок, устраивая для них — однократно или регулярно — встречи в приличных отелях. Эти женщины, слегка замаскированные, рассказывают о себе: они отнюдь не желают завести роман, не тяготятся своей семейной жизнью, не чувствуют себя прелюбодейками, любят мужа и детей. «Низ» не имеет отношения к нравственности.

Я исправлял между делом рассказец под названием «Тяжёлый час» (вариация на тему Т.Манна) и, кроме того, стал писать, с твоей лёгкой руки, о Париже. Вчера вечером слушал в Театре Принца-регента «Смерть в Венеции», читал Томас Гольцман, прекрасный артист, которого я много раз видел на сцене. А однажды, уже довольно давно, он чи-

тал в Баварской академии изящных искусств юмористические рассказы Антоши Чехонте. Хотя Чехов известен и любим, пожалуй, не менее, чем в России, я сомневался, будут ли они иметь успех у немецкой публики. Зал грохотал от смеха. Но «Der Tod in Venedig», эта рафинированная проза, реликт искусства, опустившегося на морское дно вместе с языком и эпохой, которым оно принадлежало? Представь себе, роскошный зал был набит битком. Всё это сопровождалось музыкой Малера, которая после фильма Висконти срослась с повестью Манна.

А вот на лыжах я не ходил уже сто лет, они гниют в подвале.

Дорогой Марк, как ты знаешь, я всегда с большим интересом читаю твои заметки. Я уверен, что твоё письмо к Елене Тихомировой вызвало у неё «встречные мысли», ей есть что сказать по этому поводу; просто дело в том, что она мать двух младенцев-близнецов, отец американец, с заработками туго, может быть, ей пришлось ехать в Америку.

Насчёт того, что я горюю о состоянии литературы в России... Не «горюю», конечно, это не совсем удачное слово. Разумеется, то, о чём мы говорим, — неслыханное доселе порабощение литературы рынком, — удел всех стран, где сформировалось массовое общество, и Германия, может быть, один из самых ярких примеров. Россия, как это бывало не раз, на всех парах догоняет ушедшие вперёд нации, неосознанная цель — создать именно такое общество. Но, достигнув определённого уровня, оно вырабатывает — или пытается выработать — механизмы противодействия, которых я в России пока не вижу. Между прочим, именно сейчас, когда продолжается экономическая депрессия и ей не видно конца, давление коммерции на культуру и литературу даёт о себе знать в наших краях особенно жестоко, а механизмы сопротивления функционируют плохо. Что касается «действительно значительных имён и книг», имеются ли они сейчас в Германии, — об этом поговорим через полвека.

Но в конце концов не в этом дело. Ведь мы говорим о России, не о других странах, и разве нам станет легче, если нам возразят, как встарь: «А зато там негров линчуют!» Мы говорим о России, мы вынуждены говорить о России, потому что мы русские писатели. Посылаю тебе статейку — отзыв на статью Дубина (которую всё-таки стоит прочесть, хотя бы потому, что её написал человек несравненно более объективный, чем такие личности, как твой слуга).

...Да, ничего не поделаешь, я, действительно, буксую. Exil — не только моя личная тема, это тема XX столетия, может быть, поэтому я возвращаюсь к ней время от времени. Каждый век облюбовывает свои

главные темы: например, девятнадцатый век был увлечён наполеоновской темой — молодой человек хочет подняться из неизвестности и любой ценой утвердить себя — или темой адюльтера. «Музыка бдения» сперва мыслилась как вариация новеллы Т.Манна «Schwere Stunde», но постепенно меня увлёл некий поворот любовной темы. Видимо, не получилось. Вообще я как-то скис. Начал было одну вещь, сочинил несколько страниц и почувствовал её нежизнеспособность. Продолжается душная жара. «Благослови эту паузу...» Но я тогда подохну от тоски.

Ты вспомнил Дэ Самойлова. Странно, что этот поэт, которого я уважал, но никогда особенно им не увлекался, то и дело напоминает о себе. Странно и то, что он, поэт гармонии, не воспринимается (мною) как светлая фигура. У нас был проездом Илья Медовой, ныне редактор педагогического приложения к «Московским новостям», славный парень, с которым я когда-то познакомился в Марбурге. Он привёз несколько книг из Москвы, в том числе том из серии «Мой XX век»: Самойлов, «Перебирая наши даты». Это воспоминательная и портретная проза, а также часть «Подённых записей» и «Общий дневник» (хотя они совсем недавно были изданы целиком). Я стал читать мемуарную прозу. Там есть, среди прочего, диатриба об Эренбурге, очень пристрастная и довольно странная, и «Литература и общественное движение 50–60-х годов», род аналитического очерка. Многое показалось мне уязвимым, даже каким-то узким, временами даёт о себе знать, при всей независимости, советский человек. А ещё сильнее чувствуется принадлежность к писательскому сословию. Государственная литература превратила писателей в особое сословие. Они не только следовали велениям идеологии, изображая выдуманную жизнь, они сами отгородились от реальной жизни. Одно из поразительных свидетельств — поэма Твардовского «За далью даль», демонстрирующая удивительное незнание реальной жизни страны; попробуй для интереса перечитать. К Де-зику, конечно, это относится в гораздо меньшей степени.

Но ты говоришь о его поэзии; переживёт ли она своего творца, пережила ли. Может быть, и нет; может быть, несколько стихотворений (ты оговариваешься: пока). Мы как-то уже говорили об этом. Мешают — как камень, который тянет на дно, — национально-государственное мировоззрение и слишком сильная зависимость от традиции. Любопытно и обидно, как много поэтов, в том числе самый главный, признанный первым номером, — Твардовский, — завяли у нас на глазах. Скольких буквально уничтожила поэзия Бродского.

А проза? Её долговечность поспорит с недолговечностью поэзии. У меня есть представительный сборник «Серапионовы братья». За исключением, может быть, Лунца, который, правда, больше обещал, чем успел сделать, да ещё Каверина, сумевшего с «Двумя капитанами» как-никак сохраниться в литературе, всё остальное пошло на дно. Удивля-

ешься, почему их находили такими талантливыми. Трогает преданность литературе, воспоминания, как они собирались в прокуренной комнатке Миши Слонимского. Но что выпало в осадок?

Продолжаю это письмо на другой день, Bayern-4-Klassik передаёт юношескую 1-ю симфонию Шуберта, песнь вечной молодости, счастливую, нежную, кокетливо-задорную, доносящуюся откуда-то из иных времён, — а затем Nachrichten, голос диктора сообщает о гибели сыновей Саддама. Два негодяя, выданные кем-то из «местных жителей», очевидно, за большие деньги. Таков этот мир.

Так вот, о недолговечности... Удручающий пример — романы Солженицына. Следовало бы, вообще говоря, плюнуть на актуальность, своевременность и т.п. («своевременный» отнюдь не означает современный, чаще всего наоборот) и подумать о том, что литература будет продолжаться после нас. Этот корабль приплыл издалека, стоит у дебаркадера и вот-вот отчалит, отправится в далёкое и неведомое будущее. Скорее купить билет и взбежать на палубу! Легко сказать. Писать для будущего, о котором — ни малейшего представления? Писать надо не для потомков, а для себя. Стараться думать о главном. «Величие замысла», выражение, которое любила Ахматова и подхватил Бродский. Кстати, Медовой привёз том его интервью. Их тоже читать по большей части неприятно — как неприятно читать интервью Набокова.

...Вот и Новый год позади, дорогой Марк... Что-то будет дальше? Прогноз (экономический, в Германии) не блестящий, то, что называется mittelprächtigt. Но, по крайней мере, нет таких морозов, как в Москве. Хотя, помню, зимой 61 года в деревне, где мы врачевали, в Калининской области, по ночам доходило до 44 градусов ниже нуля, приходилось топить печку шесть часов подряд, чтобы утром не проснуться в выстуженных комнатах. У нас были куры, мы впускали их на лестницу нашего дома, где они ночевали, сидя на перилах, и всё-таки петух отморозил гребень.

Вчера до глубокой ночи я читал (перечитывал) «Стенографию», между прочим, наткнулся на место, где ты задаёшь Аверинцеву свой «давний вопрос», почему касталийцы не занимались оригинальным творчеством, не писали стихов, не сочиняли музыку, не искали новых путей в математике. Я тоже когда-то очень увлекался романом Гессе.

Но я думаю, что ответ содержится в самой книге. И это возвращает нас к сегодняшним мыслям. Буквальный смысл названия «Glasperlen-spiel» — игра в поддельные жемчужины, в бусинки якобы из жемчуга, а на самом деле стеклянные: игра в стекляшки. В этом заголовке скрыта горькая ирония. Цивилизация вступила в фельетонистическую эпоху. В эпоху, поразительно напоминающую (ты об этом хорошо пи-

сал) наше время, не хватает разве только телевидения. И гуманитарная культура, то, что старые немцы называли словом Geist, спасается, радикально отгородившись от всей этой пошлятины и дребедени. Другими словами, отгородившись от общества. (Кто эту культуру содержит, неизвестно.) Но инкапсуляция превращает культуру в музей. Творчество заменено инвентаризацией, комбинаторикой, «игрой со смыслами»; элитарные школы готовят новые поколения игроков — жрецов духа. Самый талантливый Магистр Игры в конце концов бежит из Педагогической провинции, но он не может жить вне монастыря культуры и погибает — по видимости случайной, а на самом деле неизбежной смертью.

Конечно, то, что очаровало меня (как и других, как и тебя, наверное) в этом романе, был прежде всего язык, была таинственность «игры» — что она собой представляет, так и остаётся неизвестным, — был чистый горный воздух культуры, как воздух на альпийских лугах вокруг Вальдцеля. И вот теперь, через много лет, когда мы все окунулись в фельетонистическую эпоху, когда пошлость массовой культуры теснит тебя со всех сторон, твердит тебе, что ты какой-то могоканин, когда в самом деле твоя работа никому не нужна, — теперь начинаешь снова верить, что бегство от этого торжища в монастырь духа — единственный выход. Урок Гессе оказывается напрасным. А может быть, он и сам себя хоронил в этом романе?

Мы вернулись из Эссена. С наводнениями покончено. У нас белая снежная зима, холодно, хотя, конечно, до московских и питерских морозов далеко.

То, что ты называешь фрагментарной прозой, этот соблазн создать нечто такое, что не было бы беллетристикой в собственном смысле, не было бы и чистой эссеистикой, не было бы набросками к чему-то другому, но оказалось бы и тем, и другим, и третьим, включённым в общую раму, — этот соблазн время от времени искушал и меня, манил какой-то новой свободой, но и таил в себе риск анархии. А я, мне кажется, чем ближе к концу, тем больше ценю в писательстве дисциплину. Я не в состоянии читать облачные, преувеличенно-импрессионистические, по-русски говоря — расхристанные сочинения, где энтропия приближается к той границе, за которой проза попросту распадается, превращается в бесформенную писанину. Такие тексты можно стряпать килограммами, километрами.

Получается, что, чем дальше, тем больше становишься архаистом, каким-то замороженным псевдоклассицистом, — но и понимаешь, что система жанров, доставшаяся нам в наследство после тысячелетий литературы, настолько прочна, что все попытки опрокинуть её приводили в лучшем случае к очень скромным результатам. (Исключением

был, может быть, только Джойс.) Скорее можно сказать, что сами жанры, и прежде всего главный — роман, проделали внутреннюю эволюцию, не всегда понятную творцам.

Ответ Аверинцева (возвращаюсь к «Игре в бисер»), если я правильно понял твою запись в «Стенографии», по-моему, бьёт мимо. В нём содержится похвала аскетизму, сквозит религиозная интерпретация, которая, как мне кажется, в данном случае не работает. Или, по крайней мере, не удовлетворяет. Я нашёл одно письмо Гессе 1943 г. (когда книга вышла в свет, — подумать только, в разгар войны!), где он вроде бы отказывается дать собственную интерпретацию романа, наподобие того, как Гёте когда-то говорил Эккерману: меня спрашивают, какую идею я хотел выразить в «Фаусте», — как будто я знаю! Но Гессе добавляет: [Das Buch] will nur eine Dichtung sein, weder eine Philosophie, noch eine politische Utopie. In die Zukunft mußte ich diese Geschichte verlegen, nicht weil Kastalien, der Orden und die Hierarchie zukünftige Dinge wären oder von mir willkürlich ausgedachte, sondern weil alle diese Dinge stets und immer vorhanden waren, im Altertum und Mittelalter, in Italien und in China, denn sie sind eine echte «Idee» im Sinne Platos, nämlich eine legitime Form des Geistes, eine typische Möglichkeit des Menschenlebens. То есть он всё-таки даёт своё истолкование. Конечно, это Dichtung уже потому, что всякая интерпретация будет неполна, не объяснит непостижимое очарование этой книги, не будет исчерпывающей и, хуже того, неизбежно окажется более или менее насильственной. И всё-таки! Мне по-прежнему кажется, что из неё можно вычитать нечто важное о судьбе культуры, что книга в этом смысле очень даже актуальна.

Было время, в 50-х, кажется, годах, — ты это, вероятно, знаешь, — когда «Игра в бисер» и другие вещи вдруг стали чрезвычайно популярны, особенно в Америке, в студенческих кампах, где возник культ Гессе (не в последнюю очередь из-за его особых симпатий к китайской философии, дзэн-буддизму, индуизму и т.п.). В последние десятилетия Гессе — в тени, мода прошла, были и скептические, и даже иронические оценки; классик на полке. Лет десять тому назад я делал однажды большую передачу о Гессе по Немецкой волне, но и для меня на какое-то время он поплёк. Я думаю, что давно пора к нему вернуться.

Нет, дело не в том, что творчество, сотворение нового представляет собой «что-то нечистое» (эротическая аналогия). Кстати, ты, может быть, заметил, что некоторые статьи самого С.С.Аверинцева, те, которые прославили его в узких кругах в 70-е годы, сами напоминают игру в бисер. Теперь это кажется ему чем-то недостойным. Нет, не в этом дело. А в том, что, отгородившись от пошлятины массовой культуры, касталийцы вернулись к александринизму, к тому, что действительно происходило и в позднеантичном мире, и в Средние века. К нетворческому

отношению к культуре. К комментированию, к музейно-библиотечной застылости, к бескрылости. Вместо творчества — комбинаторика, игра «со смыслами» и аналогиями, составление остроумных аппликаций, каталогизация подобию, реминисценций, отсылок, вообще Игра. Должен признаться, что мне лично это чрезвычайно близко.

Когда я учился на классическом отделении, сто лет назад, одна студентка как-то раз спросила нашего доцента Александра Николаевича Дынникова, прелестного старика (он преподавал латинский язык и авторов), говорит ли он по-латыни. Он ответил, что говорить по-латыни нельзя, так как это мёртвый язык и любое разговорное употребление будет насилием, искажением (он не сказал — святотатством), ибо мы не в состоянии возродить живую стихию устной речи. Правда, профессор С.И.Радциг, заведующий кафедрой, обратился однажды к коллегам и к нам с прекрасной, выдержанной в стиле античной риторики латинской речью. Но для этого понадобился особо торжественный повод — юбилей. Чтение авторов, и латинских, и греческих, включало подробный разбор и комментирование каждой фразы, грамматический и стилистический анализ, реалии, конъектуры и пр. Только подумать — какой дикой фантастикой всё это выглядело в те годы, сразу после войны и в каких-нибудь трёхстах метрах от здания на Лубянке, где сидели в своих кабинетах с зарешечёнными окнами мундирные мужики-орангутаны, которые только вчера слезли с деревьев.

С тех пор я привык к тому, что в изданиях древних авторов три-четыре строчки наверху страницы сопровождается комментарий (петиом), занимающий всю остальную страницу. Может быть, отсюда происходит и эта мания обсуждать свои собственные писания. (Я тут как-то сочинил комментарий к роману, который недавно закончил. Попытка спасти тонущий корабль.) Если же говорить вообще, то тут — культура, давно завершённая, замкнутая в себе и выступающая в качестве сакрального текста. У Гессе филологию и философию дополняют математика и музыка, которые тоже воспринимаются изначально как некое Священное писание. Между прочим, любопытно, что апелляция к музыке ограничена эпохой от 1600 до 1800 года, которая аттестована (в одной из редакций Введения) как *Glanzzzeit der deutschen Musik*; дальше уже упадок, Вагнер, Брамс отнесены к «бесследно исчезнувшим поздним романтикам», всё это пишется из перспективы XXIII столетия.

Таинственное *Glasperlenspiel*, однако, есть нечто самодовлеющее, самоценный эрзац творчества, и больше того. Об Игре говорится, что это «некий универсальный язык, посредством которого оказывается возможным выражать ценности духа в осмысленных знаках и сопрягать их между собой». Забава с цветными стекляшками — метафора универсализма, как тебе это нравится? Мне когда-то приходила в голову аналогия с «универсальной характери-

стикой» Лейбница, *Spécieuse générale*, мечтой об универсальном исчислении. С этой мечтой он носился всю жизнь. Я когда-то переводил Лейбница, он писал преимущественно по-французски. Вот цитата (если твоё терпение ещё не окончательно истощилось) из одного письма от января 1714 г.:

«Будь я менее обременён делами, я, может быть, дал бы общий метод изложения идей, в коем все истины разума были бы сведены к некоему математическому выражению. Это было бы одновременно и всеобщим языком, или способом записи, однако не имело бы ничего общего с теми, какие были предложены до сих пор, так как и буквенные обозначения, и самые слова здесь служили бы руководством для разума, а ошибки (кроме фактических) были бы не чем иным, как ошибками в математических расчётах».

Иначе говоря: система символов, охватывающих все понятия — математические, физические, философские, нравственные... Великий синтез и ключ к решению всех проблем. Всё знание человека о мире закодировано с помощью конечного числа «характеров», которыми можно оперировать, совершая над ними математические действия. Алфавит мышления. Вместо рассуждений — формализованные выкладки, которые с железной необходимостью приводят к единственно правильному выводу.

Уф! Извини за многословие.

Вольфганг Казак, с которым я находился в постоянном контакте, у которого бывал много раз, и в Институте славистики, и у него дома в городке Мух, был болен примерно с лета прошлого, 2002 года: опухоль тонкого кишечника. Был оперирован, спустя некоторое время отправился в Индию, в клинику Аюрведа, где подвергся весьма жёсткому диетическому лечению. Был очень доволен, чувствовал себя хорошо и много работал. В ноябре наступило ухудшение. Я об этом не знал, неожиданно получил от Дж. Глэда короткое сообщение о том, что Вольфганг очень плох. Фридерике (жена В.) ответила мне, что он вряд ли доживёт до Рождества. Три дня назад пришло извещение о его смерти 10 января.

Для меня это большая потеря. Он был настоящим, верным другом. Между прочим, много писал обо мне, больше, чем все критики в России, которые, впрочем, почти ничего не писали. Мне приходилось переводить некоторые его работы. Хотя он очень хорошо знал русский язык, но не был вполне уверен в стилистике. Ему не было 17-ти лет, когда он был мобилизован, это было в самом конце войны. Под Берлином, не сделав ни одного выстрела, он попал в плен и чуть не погиб, как множество других, в лагере немецких военнопленных под Куйбышевым. Его

спас один советский офицер, в последний момент вписал его имя в список подлежащих возвращению в Германию. Он был мистиком, верил в провидение и вечную жизнь.

Не знаю, был ли ты с ним знаком лично. Он был в некоторых отношениях нелёгким человеком, ершистым, импульсивным, ссорился со многими, но какая это была добрейшая душа, и скольким он помог!

Я написал некролог, послал в две берлинские газеты и в «Новый журнал».

Ну-с, что сказать. Сегодня мне стукнуло 75. Невероятная дата, и не очень-то радостная. Только что пришло от тебя письмецо со стихами, которые мне очень понравились (в самом деле очень, это не пустой комплимент). Спасибо тебе, милый. У нас смутная полужима, полдоттепель. Вечером собираемся с Лорой посидеть в устричном погребе, есть такое злачное место в Мюнхене. Жаль, что тебя нет с нами, выпили бы хорошего вина.

Я пытался подвести некоторый итог. В эмиграции я написал больше, чем за всю прежнюю жизнь. Попробовал подсчитать: всего, и там, и здесь, сочинил 8 романов, 7 повестей, 35 рассказов (если что-то не забыл). Кроме того, настряпал большое количество статей, этюдов, радиопередач, рецензий, воспоминательных текстов и пр. Написал горю писем. Ну и что? Ну и ничего.

Курт Марко (старый друг, отставной профессор из Вены) прислал мне вчера статейку-репортаж из австрийской газеты «Die Presse». В Таиланде произошло нашествие аистов с воздуха на одну деревню в 70 километрах от Бангкока. Трудно поверить: гротескная история, буквально совпадающая с той, которую я придумал в качестве зачина для романа «После нас потоп». Огромные птицы, которых тщетно пытаются прогнать хлопущками, всё обляпано птичьим дерьмом, жуткий запах, угроза здоровью жителей и так далее.

Конечно, я забыл, что ты знал Кáзака, дорогой Марк. Я посмотрел сейчас статью о тебе в немецком полном издании его «Лексикона», мы там с тобой почти рядом, между нами Хармс. Хорошая статья, и, кажется, без фактических ошибок.

Я нахожу удачным и это стихотворение — «Исторические руины». Очень хорошо найденный ритм, подкупающая тональность, прелестная поэтическая сжатость, почти пунктир. И, наконец, забавные и нетривиальные повороты внутренне серьёзной мысли. Если бы удалось выпустить такой сборничек... но не знаю, отыщется ли издатель.

Что касается фрагментарной прозы, — Мандельштам и так далее, — «Шум времени» и другие вещи не могут, конечно, не вызвать восхищения. С другой стороны, вернуться к этой блестяще-декоративной,

подчас избыточно метафорической прозе невозможно. Это был богат, сыпавший золотыми червонцами. Мы живём в другое время. Я пытался делать что-то вроде «фрагментарной прозы». Но невольно съезжал в сновидения, в сюжет — правда, совсем простенький. По заглавию одного из таких сочинений назван сборник, выпущенный Вагриусом.

Я купил только что вышедшую переписку Томаса Манна с Адорно, самое интересное — это, конечно, письма, связанные с работой над «Фаустусом». Участие Адорно гораздо весомее, чем об этом можно узнать, читая «Роман одного романа». Сохранился даже сделанный Адорно подробный музыковедческий и «режиссёрский» план «Плача доктора Фаустуса» (Dr. Fausti Weheklag). Хорошо бы написать рецензию на эту корреспонденцию.

Снова занимаюсь своим романом, к которому я теперь присовокупил некий довольно пространный комментарий или объяснительное послесловие. Нужен ли он? Вопрос. Вышел роман Г.Грасса о судьбе парохода «Вильгельм Густлофф», его я тоже просмотрел задним числом. Потом оказалось, что роман уже напечатан по-русски (какая оперативность!) в «Иностранной литературе», правда, под странным и неточным названием «Траектория краба». (В оригинале «Krebsgang», имеется в виду ракоходное, попятное движение, термин двенадцатитоновой музыки Шёнберга. Крабы, кстати, не летают.) Но Грасс мне несимпатичен.

В моём романе действие происходит главным образом в университете. Я наткнулся на воспоминания об университете в первом номере «Знамени», 2003, относящиеся к 80-м годам, автор некто Александр Терехов, и стал их читать. Скажут, конечно, — старческое брюзжание; но какое это всё-таки убожество. Провинциальность, которую, кажется, даже поднимают, как флаг. Пошлый и набивший оскомину, якобы непринуждённый говорок, дурновкусие, удручающе низкий общий уровень. И журнал, который так гордится собой, это печатает.

Даниэла меня поздравила, она пишет мне раз в несколько месяцев и обычно спрашивает о тебе. Пресса и здесь, и там, разумеется, мой замечательный юбилей обошла благоразумным молчанием, если предположить, что кто-то об этом юбилее знает, но зато я получил поздравление от федерального президента Рау, от его имени, само собой.

Я закончил три дня назад переделку, прологом к роману служит кратко изложенная трагедия парохода «Вильгельм Густлофф», которая и в дальнейшем времени всплывает в романе. Пожалуй, ей придано даже символическое значение. Триумф, обернувшийся крахом; победа, которая оказалась поражением для следующего поколения. Эта история преследовала меня много месяцев. И я совсем не знаю, не оскорбит ли она (что было бы, конечно, недоразумением) патриотические

чувства. В сущности, роман противоречит всей концепции войны, мифу о войне, который остаётся незыблемым в России как важнейшая часть — скажем так — национального самолюбования. Сам я ничего оскорбительного в своём романе не вижу; не говоря о том, что там больше говорится о любви, чем о войне. Но я живу на другой планете...

Нас завалило снегом. Всё выглядит очень романтично, но на машине ездить трудно. Новостей нет. Ты как-то писал мне, что видел в «Дружбе народов» объявление о публикации одной моей повести. Наднях я неожиданно получил сообщение от нового редактора Ирины Дорониной о том, что она действительно собирается её поместить в один из номеров, весной или летом. Дай Бог нашему теляти...

До меня дошёл второй том книги Солженицына «Двести лет вместе» (первый я частью читал, частью просматривал несколько месяцев назад). Не знаю, попадалась ли она тебе. Если о первом томе можно было говорить, что книга не удовлетворяет критериям научного исследования, за которое она себя выдаёт, что она скучна, перегружена цитатами, что подбор цитат выдаёт необъективность автора, и прочее, если возможна была критика, полемика, — то второй том оставляет однозначно тяжёлое впечатление, отбивающее всякую охоту что-либо доказывать. Он просто гнусен, ничего другого не скажешь. Правда, появились рецензии. Одну из них, очень обстоятельную, написал Сергей Максудов (Алик Бабе́нышев), с которым мы когда-то вместе редактировали наш бывший журнал «Страна и мир».

Я разделался со всем: и с романом, и с «постскриптумом». Наступила тягостная пауза, какое-то внутреннее безвременье, — и такое чувство, как будто уже совершенно нечего сказать. Комментировать собственные писания — в самом деле странная затея. Классики этим не занимались, и Томасу Манну, как ты помнишь, понадобился эпиграф из «*Dichtung und Wahrheit*», где говорится, что, хотя произведение должно быть ценно и важно само по себе, полезно рассказать о том, как оно создавалось, — понадобился авторитет Гёте, чтобы оправдать своё намерение реконструировать историю Доктора Фаустуса, свой «роман одного романа».

Этой цели служили письма. Я когда-то зачитывался письмами Флобера, обожаю их и сейчас. Мне кажется, я уже говорил несколько раз, что на месте какого-нибудь профессора в приёмной комиссии Литературного института я бы первым делом спрашивал абитуриента: читали ли вы переписку Флобера? Не читали? Приходите в следующем году.

В нас всё-таки сидит александрийство. Или наследие предков, толкователей Торы и Талмуда.

Нужно признать, что «Возвращение ниоткуда» — вещь достаточно сложная, местами загадочная (что, с моей точки зрения, отнюдь не порок), вещь, требующая от читателя серьёзного встречного усилия; неудивительно, что она не нашла массового читателя (критики — это ведь тоже «массовый читатель»). И если считать — как ты пишешь, — что она провалилась, то придётся признать и то, что вся наша литература, та, которую мы с тобой занимаемся, провалилась. *Quod erat demonstrandum*. Из текста можно вычитать то, что никогда не приходило в голову автору; это неважно. Важно, чтобы возникло желание вычитывать. Доживём ли мы до времени, когда найдётся вдумчивый критик и интерпретатор наших писаний? Конечно, нет.

Лора раскритиковала мой роман, и, кажется, по заслугам. Я написал между делом рассказ, тема которого — бессонница.

Когда-то дочь Эренбурга Ирина показывала мне подаренный, кажется, её подругой, вдовой Шагала, альбом, иллюстрации к Ветхому завету; там была прелестная картинка: три ангела в гостях у Авраама и Сарры. Трое детей сидят за столом, ноги не доходят до пола, за спинами белые крылья. Бабушка Сарра несёт еду. Здесь, то есть на Западе, я видел много разных вещей Шагала: рисунки к «Мёртвым Душам» Гоголя, огромную фреску в здании кнесета в Иерусалиме, голубые витражи в Майнце, в церкви св. Стефана; и, конечно, разную живопись. Это я по поводу спектакля Камы Гинкаса — с удовольствием бы поглядел. О Гинкасе есть упоминания в «Стенографии». Что он за человек, сколько ему лет?

Наша зима кончилась, началась солнечная весна, но и она как-то иссякла; пасмурно, идёт дождь. Я сходил на учёную конференцию по случаю 50-летия смерти Кобы. Незабываемая дата: день 5 марта следовало бы объявить национальным праздником. Ты, наверное, этого не помнишь: о смерти было объявлено не сразу. Диктор, это был Левитан (во всех бараках висело радио), провещал гробовым голосом: «Товарищ Сталин потерял сознание». Охватившую всех злобную радость, конечно, опасались показывать открыто: в лагерях, как и на воле, везде были стукачи. Но я помню, что я оказался в один из этих дней на железнодорожном полустанке, в четырёх-пяти километрах от лагпункта, там стоял состав, из окошка товарного вагона высунулось чья-то физиономия, подросток из полуветеранов (то есть полублатных, приклатённых) заорал: «Ус подход!»

С Симой Маркишем я, конечно, виделся; он бывает время от времени в Мюнхене; но мои три четверти века, этот мрачный и неправдоподобный юбилей, мы никак не праздновали. Кстати, Грише на-днях должно стукнуть 85. Жуткие цифры.

Есть потребность (мы уже много раз об этом говорили) подвести итог, сказать о времени, оставшемся позади, — не об актуальном времени, актуальность, пока она ею остаётся, ничего не стоит, во всяком случае, не представляет интереса для искусства, — но об «эпохе», все эти громкие слова приходится ставить в кавычки. А с другой стороны, есть нужда и необходимость вернуться к человеку, к жизни чувств, условно говоря, вернуться к Прусту. И оба этих измерения нужно как-то уметь совместить.

Вопреки тому, что я думал прежде, то есть вопреки собственным декларациям, я вернулся к «рассказу», к обыкновенной, почти линейной повествовательности и к достаточно тривиальной точке зрения невидимого рассказчика-хрониста, жившего вместе с героями и живущего сейчас: его наблюдательный пункт расположен «к северу от будущего». Будущего, которое стало прошлым. Кстати, не помню, писал ли я тебе о том, что я использовал для названия строчку Пауля Целана (самоубийство Целана, достигнутость прошлым перекликались с сюжетом), и у него же заимствовал эпитафию — коротенькое стихотворение из сборника «Atemwende».

In den Flüssen nördlich der Zukunft
werf ' ich das Netz aus, das du
zögernd beschwerst
mit von Steinen geschriebenen
Schatten.

Попробуй-ка это перевести. Что-нибудь вроде следующего:

«На реках к северу от будущего я забрасываю сеть, и, медля, ты загружаешь её тенями, что написали камни».

Тебя нет, ты живёшь в памяти, на дне рек, уносящих к полярному океану наше мёртвое, несбывшееся будущее. Туда, на холодный север, я отправляюсь, чтобы встретиться с прошлым; север — это Россия; я отправляюсь, чтобы встретиться с вами, с тобой; ты там, на дне; в эти реки я забрасываю невод, мою поэзию. И вытягиваю — даже не камни, а тени, которые отбрасывают камни, тени окаменевшего будущего, бывшего будущего.

«Тень», Schatten, одно из ключевых слов Целана, ассоциируется с зыбкостью и темнотой, с царством мёртвых, но, как сказано в другом стихотворении: Wahr spricht, wer Schatten spricht. Кто говорит тенями, тот говорит правду. Можно перевести иначе (памятуя о том, что Wahrspruch — это вердикт): Кто говорит тенями, выносит приговор.

Я тоже поздравил Гришу. Он бодр, полон планов. Некоторое время тому назад прислал мне статью, где говорится об упоминаниях о нём в книге Солженицына — второй том «200 лет...». Читать эту статью интересно, она добавляет многое к уже известному. Но книжка не заслуживает обсуждения.

Насчёт Горенштейна. Сима Маркиш, может, и прав, причислив его к русско-еврейской литературе, но прав наполовину; другая половина — это то, что Горенштейн был и ощущал себя русским писателем. Оттого я выбрал когда-то для моей старой статьи о Фридрихе название-цитату: «Одну Россию в мире видя». Его рассуждения об иудаизме и христианстве — род доморощенной теологии (или мифологии), но у крупного писателя даже недостатки превращаются в достоинства; это такой игрок, у которого все карты становятся козырными; и всё это мутное, как омут, философствование оказывается необходимым. Не говоря о том, что подчас трудно понять, кто говорит: прозаик, сидящий за письменным столом, автор-резонёр, переселившийся в своё творение или кто-то из персонажей. Одно переходит в другое — не только в «Псалме». Кстати, мы издали когда-то этот роман, с иллюстрациями Бори Рабиновича, ныне покойного (он жил в Вене, решил в первые годы перестройки съездить на родину в Питер и там внезапно скончался). Это было в то время, когда журнал располагал деньгами, их добывал Кронид, и ему же принадлежала инициатива издать Горенштейна.

Ты недоумеваешь, почему Дан именуется Антихристом; но это можно объяснить. Он брат Христа — и его противоположность, опровержение, его замена и отмена. Обессиленное христианство должно уступить место антихристианству. Может быть, вернуться к своему истоку — иудейству. Такое антихристианство может напомнить христианство Константина Леонтьева. Как бы то ни было, очевидно, что автор употреблял «анти» совсем не том смысле, что это дьявол и дьявольщина, совсем нет. Дьявол, впрочем, присутствует в его произведениях: это злобное простонародье.

О Кафке. Любопытные рассуждения об интерпретациях Брода есть в книге М.Кундеры «Преданные завещания», первой, написанной им по-французски. Кажется, сейчас появился русский перевод. В прозе Кафки о евреях нет упоминаний, ты прав. Но известно, что Кафка увлекался ашкеназийским еврейством, дружил и переписывался с Ицхаком Лёве, актёром идишистского театра, устроил ему в Праге литературный вечер; женщины Кафки (за исключением Милены) были еврейками, Дора Диамант — активистка еврейского молодёжного движения в Берлине; ну и, наконец, дружба с самим Бродом. Сам Кафка, между прочим, на своих фотографиях больше похож на сирийца, чем на иудея. А у папаши вид дюжинного лавочника (кем он и был).

Дорогой Марк. Многостраничный памфлет Горенштейна, который был опубликован в Берлине в виде отдельного номера журнала «Зеркало загадок» (ныне практически прекратившегося), у меня, к сожалению, не сохранился. Кажется, я писал тебе, что чтение этого произведения производит удручающее впечатление. Это был не единственный его опус в этом роде. Всё было ниже его могучего дарования. Однажды я пытался, рискуя потерять дружбу Фридриха, отговорить его заниматься тем, что он считал эссеистикой, — то есть вульгарной публицистикой. Он не обиделся и сказал, что он немцам ещё покажет. Правда, в этом последнем опусе он сводит счёты не с ненавистными немцами, а со всеми недавними и давнишними, мнимыми или действительными недругами-соотечественниками.

О кончине С.И.Липкина я узнал позавчера. Это был славный человек, мудрый поэт и замечательно интересный мемуарист (Бен Сарнов, хорошо знавший его, — через Бена и я с ним познакомился — утверждал, что воспоминания о Ключеве, Мандельштаме и др. несколько беллетризованы.) Когда-то, вскоре после того, как С.И. был оперирован по поводу опухоли прямой кишки, мы приобрели и послали ему лечебный аппарат; между прочим, это была мысль Кронида. Потом я виделся с ним и Инной в Переделкине, в мой первый приезд в Москву через 11 лет после «отъезда». В байковом лыжном костюме он был похож на большого игрушечного медвежонка. Мы сидели втроём и разговаривали на разные темы. Западная жизнь его, видимо, не интересовала; по крайней мере, он не задавал никаких вопросов. Он повторил свою любимую мысль, что в литературе, точнее, в прозе, остаётся только тот, кто создал человеческий тип (вроде Гамлета, Дон-Жуана и т.д.). Мне хотелось спросить: а как быть с Кафкой?

Он был, я это тоже помню, единственным, кто отозвался на мой рассказ о Картафиле (Агасфере), может быть, единственным, кто его прочёл. Рассказ был напечатан, как ни удивительно, в «Литературной газете», и отклик Семёна Израилевича появился в этой же газете: это было стихотворение. Оно было посвящено автору рассказа, чем я очень горжусь.

Прочёл в интернете неплохую рецензию Татьяны Бек в «Воплях» на «Подённые записи» Самойлова. Правда, многого, что меня заинтересовало в этих дневниках, она не коснулась, некоторые общие рассуждения банальны (её внероссийский кругозор ограничен, по-видимому, дневником Жюль Ренара, популярным в этой среде), но написано, по моему, очень хорошо, и это большая редкость.

Я сам, к несчастью, регулярных дневниковых записей не делал, если не считать дневника, который усердно вёл, когда мне было от 13 до

16 лет, когда был весьма плодовитым сочинителем, писал всё что угодно, от поэм и романов до философских статей. Накопилось несколько тетрадей с римскими цифрами на обложке, я привёз этот дневник в Москву, но, к великому сожалению, порвал летом 49 года, после того, как был арестован Сёма Виленский и мы с Яшей Мееровичем (теперь уже покойным) «принимали меры». Пропала (в ночь нашего ареста) и моя переписка с дядей во время войны на литературные темы. Жаль. Это уничтожение полудетского прошлого было частичкой, мелким частным проявлением всеобъемлющего процесса истребления прошлого.

Событие последних недель: я прочёл два коротких романа Гайто Газданова, «Вечер у Клэр» и «Призрак Александра Вольфа». Когда-то держал в руках Газданова, но не обратил внимания. А писатель оказался замечательный. Подумать, что ещё немного, и я мог бы застать его в живых, он работал последние годы на Радио Свобода, заведовал русской редакцией. По-видимому, то, что он мало популярен в России (хотя издан уже давно), объясняется тем, что это культурный, даже рафинированный прозаик, пишущий хорошим русским языком. Идёт борьба с чистотой языка: сознательная у критиков, полусознательная у писателей, бессознательная у читателей.

Сегодня воскресенье, весна вернулась, мы с Лорой отправились на Feringasee, от нас 10 минут езды; гуляли вокруг озера, сидели в пивном саду, ели жареные рёбрышки и пили пиво, за которое можно продать душу (что и случалось порой в этой стране). Что ещё? У меня бывает бессонница, нынче ночью я смотрел, в идиотском оцепенении, под электронную музыку на экране снимки Земли, сделанные из космоса. Потом включил канал «Феникс» и увидел — не птицу, оставшую из пещи, но, к своему изумлению, нечто подобное: репортаж из петербургского университета — на юридическом факультете церемония присуждения титула почётного доктора нашему канцлеру. Надевают на него сар and gown, словно мы в Оксфорде; вся учёная братия в шапках и мантиях, герб университета, цвета университета, почётный диплом, чего доброго, по-латыни, речь декана по-русски, речь новоиспечённого доктора по-немецки, выступление президента, тоже, оказывается, выпускника этого факультета. Всё как у людей — казалось бы, надо радоваться. Но я отравленный человек. Стоит только подумать о том, что ещё совсем недавно — башмаков не успели сносить, как говорит принц Гамлет, — не кто-то там, а эти же самые люди внушали своим питомцам нечто противоположное, писали и вещали, и защищали диссертации о великих преимуществах социалистического правосудия перед буржуазной юриспруденцией, и... и гнусная Прокуратура, и крысы-следователи — тоже ведь с юридическим образованием, это вам не сталинские време-

на, и законы, которые сочинялись самим ведомством, дабы всё было «в рамках законности». Что такое закон? Закон, господа, это система правил, по которым надлежит творить беззаконие.

А теперь эти суки как ни в чём не бывало, глазом не моргнув, словно ничего не было: ни лагерей, ни заочных судилищ, ни гигантских полей захоронения, словно не было и всего этого театра лжи, — соорудили новые декорации, напялили бутафорские одеяния, теперь они изображают из себя европейцев, И канцлер Шрёдер, и тут же сидящий Ширак, охотно участвующие в этом фарсе.

Ну вот, лучше поговорим о вещах, несравненно более интересных. Я прочёл и перечёл твой отзыв о романе. Твоё мнение для меня очень много значит, всегда много значило, и в критической части ты, мне кажется, во многом, если не во всём, прав.

Ты говоришь, от истории не убежать, — конечно; сверхидея романа (или одна из идей) была та, что «история» настигает идущее следом поколение молодых людей, как она настигла и умертвила отцов, история — это новая редакция античного рока. Война убивает задним числом того, кого она не добила. Общество, которое без остатка идентифицировалось с государством, видит своё главную функцию в том, чтобы последовательно репрессировать всё юное, свежее и независимое. И так далее... Но ведь это не может стать содержанием литературы. Это может быть только «фоном». Потому что «жизнь в истории» — это неподлинная жизнь. Сейчас мне приходится снова заглядывать в роман — со страхом, ибо я боюсь испытать отвращение, — и вот, впечатление такое, что история поработила героев настолько, что их подлинная жизнь (для литературы главная, центральная тема) оказалась побочной.

С этим связано всё, что говорится о Сталине. Вождя в романе нет, и вместе с тем он существует везде. Так было на самом деле. То, что сейчас никто не хочет об этом вспоминать под предлогом того, что мы-де всё это знаем, — другой вопрос, я не хочу в него влезать. (Конечно, никакого настоящего знания нет, оно *прекращено*.) Как бы то ни было, был такой феномен времени, обойти который в рассказе об этом времени невозможно. Вождя нет, но есть то, что в романе называется полем, по аналогии с физическими полями. Люди могли это не чувствовать, как не чувствуется радиоактивное или рентгеновское излучение — до тех пор, пока не появятся симптомы лучевой болезни. Речь идёт о поколении, поражённом лучевой болезнью. Поэтому мне казалось необходимым, даже естественным то, что приезжий в Эпикризе, вместо того чтобы говорить об исчезнувших друзьях, ни с того ни с сего начинает разговор с вопросов о Сталине.

Другая тема — смерть поэзии. (Или шире — смерть искусства.) Персонаж по имени Марик Пожарский — поэт. (Я воспользовался довольно нагло некоторыми стихотворениями моего товарища и одно-

кашника по университету Яши Мееровича, умершего недавно; он был арестован в ту же ночь, что и я, получил срок меньше, чем я, и подпал под амнистию 1953 года, что позволило ему вернуться в Москву.) То, что Пожарский пишет стихи, по логике романа бросает на него, — как история с потоплением парохода «Вильгельм Густлофф» на Юрия Иванова, — тень смерти. Тут всё время переключки: мне казалось, что с этой линией связаны и глава о поэтической студии, о её руководителе, похожем на Вл. Луговского, и далее глава «Дом привидений». Вернувшаяся из-за границы поэтесса — это, конечно, не Цветаева, хотя опять-таки смахивает на Цветаеву. Надо было усилить фактическое несходство. Выбросить эту главу совсем? Как-то жалко.

Обе темы, смерть искусства и повсеместное присутствие Вождя, соединены в главе о кинорежиссёре. (Эйзенштейн? Письмо — почти буквальные цитаты из его письма Сталину от 14 мая 1946 г.) Конечно, это отдаёт публицистикой.

Наконец, заключение — «эпикриз». Весь он, за исключением вступления о приезде в Москву, выдуман, и я боялся, что он покажется искусственным (вместо того, чтобы, как делали классики, написать обыкновенный эпилог). Во всяком случае, ты прав: нельзя, чтобы приезжий мог быть спутан с автором.

Недавно я занимался вместе с Аннелоре Ничке только что выполненным ею для Зуркампа немецким переводом романа Маканина «Андеграунд». (Теперь почему-то утвердилась такая транскрипция, вопреки традиции все-таки передавать английское *r* как русское «р».) Оказалось, что это очень яркий, талантливый роман. (Да и писатель не из последних.) И всё же: как это далеко от моих представлений о литературе, интересах и вкусах. С другими новинками дело обстоит ещё хуже. Многие мне отсюда кажутся многословным, безвкусным, провинциальным, малозначительным, просто скучным. Это нехорошее чувство.

Есть, конечно, много такого, что оттолкнуло бы каждого нормального культурного читателя. Отвратительный скоморох Сорокин — добавок очень скучный. Ничтожный Лимонов. Поэт-жулик Пригов и *tutti quanti*. Но о них, может быть, не стоит упоминать. Есть несомненно даровитые люди, их немало; есть вещи, которые заслуживают обсуждения. Спрашиваешь себя, почему, прочитав две, три или десять страниц, теряешь охоту продолжать. Ответ напрашивается сам собой. Я слишком стар; по достижении определённого возраста теряется вкус к беллетристике, интересней читать о писателях, чем читать самих писателей. Я далеко; жизнь вне России не проходит даром; и мне легко представить себе, что мои сочинения, в свою очередь, встречают такое же презрительное неприятие. Но тут, похоже, и что-то другое.

Писатели часто не читают своих современников. Корректный Томас Манн с похвалой отзывался о произведениях, которые в лучшем случае только раскрывал. Если же — как это случилось, с «Игрой в бисер» — читал, то с растущей подозрительностью: почудилось нечто родственное, почувствовался соперник. Литературные этюды Манна посвящены только классикам. Человек остро интересовался актуальными событиями, но литературные (и музыкальные) предпочтения были сугубо старомодными. Я тут как-то раз достал с полки старый номер «Merkur» за 1985 год, журнала, с которым я долгое время был связан, и перечитал воспоминания Канетти о Музиле. Он рассказывает (это, впрочем, хорошо известно), что Музиль просто не выносил упоминаний о современниках в своём присутствии. Презирал Броча — в награду за то, что тот его нежно любил, был членом Общества помощи Роберту Музилю и регулярно платил взносы. О Джойсе слышать не мог и так далее.

Словом, мы с тобой просто старые пни. «А древо жизни пышно зеленеет».

...Пишу тебе, не дожидаясь ответа на предыдущее послание. Сегодня День труда, в Германии нерабочий день. Тепло почти как летом. Всё цветёт, возле нас — луга, усыпанные жёлтыми одуванчиками и теми похожими на маргаритки цветочками, которые в здешних краях называются Männertreu. С утра я, как обычно, протирал джинсы перед этим экраном. Начал было (недели две назад) сочинять один рассказик или небольшую повесть, но сегодня занялся статьёй на тему, о которой писал тебе, — о преодолении истории. Не знаю, получится ли что-нибудь путное. Речь идёт о двойном разочаровании. О том, что великие указующие в будущее историософские концепции, будь то марксистский прогноз, пророчество Шпенглера или что-нибудь другое, провалились, — и о крушении веры в исторический разум вообще. Ничего тут, конечно, особенно нового сейчас уже нет, но надо отдать себе отчёт, что делать литературе в эпоху, когда история в её самых ужасных проявлениях настагает буквально каждого. Кстати, позавчера я был на докладе Рольфа Хоххута (автор «Наместника») о Шпенглере в Баварской академии; народу сбежалась тьма тьмушая.

В докладе для меня вроде бы ничего особенно нового не было, за исключением одной подробности: он упомянул одну забытую и, видимо, в своё время не обратившую на себя внимание статью Ульриха фон Виламовиц-Мёллендорфа (Wilamowitz-Moellendorff). Мне это имя очень хорошо известно, это патриарх античной филологии, доживший до 30-х годов. Между прочим, он, ещё молодым, был одним из тех филологов, которые раскритиковали «Рождение тра-

гедии» Ницше, когда она появилась, и эхо этой критики донеслось до нас: я помню, с каким пренебрежением отзывался о книге Ницше профессор Сергей Иванович Радциг.

Так вот, Виламовиц сочинил за десять лет до Шпенглера концепцию мировой истории, напоминающую «Закат Европы»: история — это цепь великих культур, которые, однако, не обособлены, как у Шпенглера, но похожи за звенья цепи, каждое кольцо замкнуто, но кольца сцеплены друг с другом.

Вчера мы слушали в известном тебе Nationaltheater, бывшей Королевской опере, «Золото Рейна» в новой постановке. За эти годы мы с Лорой пересмотрели почти всего Вагнера, но он и всю жизнь для меня очень много значил, начиная с той послевоенной осени, когда впервые в Большом зале консерватории были сыграны отрывки из опер, впрочем, самые популярные, и восторг и неистовство публики после антракта к 3-му акту «Лоэнгрин» были таковы, что я никогда, ни до, ни после не видел ничего подобного. Состав певцов, дирижёр и оркестр в Мюнхене всегда высшего класса, этот театр считается одним из самых престижных в Европе, но, к несчастью, новый постановщик пошёл по пути, который давно уже нельзя назвать новаторским: вся мифология, а с нею и грандиозный замысел автора похерены. Вместо этого — спектакль в спектакле (вся задняя часть сцены — это второй зрительный зал, амфитеатр с живыми людьми), Рейн заменён аквариумом с красными рыбками, которых ловит дураковатый Альберих, Rheintöchter — кафешантанские дивы в платьях с разрезом до бедра, Walhall — макетик храма где-то вдаль, почему-то античного, — либо намек на баварский Пантеон на Дунае, — великаны Фафнер и Фазольт — подозрительные хитрожопые субъекты, не то архитекторы, не то чиновники строительного треста, боги в костюмах конца XIX века, и вся история выглядит, как скандал в буржуазном семействе. Когда-то эти изобретения удивляли, восхищали, казались чем-то необычайно смелым и современным, сейчас — такая же рутина, как и старые оперно-помпезные представления в пышных декорациях, и я не понимаю, почему театр с хорошими средствами не нашёл лучшего режиссёра. Но голоса, но музыка! Шествие богов по радуге в Валгаллу!

После рецидива тропической жары у нас снова буйный дождь, в северных землях град, в Берлине повалило деревья, но нашу Верхнюю Баварию боги на этот раз пощадили. Мы с Лорой были сегодня на Voraufführung «Дяди Вани»: театр, который прежде назывался Münchner Kammerspiele и куда я уже много лет хожу на предварительные просмотры, с некоторых пор переехал в помещение Residenztheater (рядом

с оперным, ты, вероятно, помнишь), много новых актёров. «Дядя Ваня» очень хорош, хотя это, конечно, не русский Чехов, а немецкий и даже немножко напоминающий Гауптмана.

Монпарнас, ты прав, мало напоминает «тот» (в том числе и русский), зато Монмартр остался прежним. Перед отлётом я в последний раз прогулялся по улочкам, послушал шарманщика и пообедал в одном из многочисленных маленьких кафе. И вот теперь Париж снова ушёл в сказочную даль.

Прочёл статью-эюд нашего пророка о Давиде Самойлове. У меня, как ты знаешь, есть кое-какие претензии к покойному Дезику. Но статья Солженицына оставляет тяжёлое впечатление. Стихи Самойлова превращены в лапшу и цитируются по опробованному методу: строчки — словно полоски бумаги, вырезанные из контекста и подклеенные одна к другой с отчётливым умыслом. Нужно разоблачить не поэзию, а человека. Показать, что он трус, приспособленец, плохой солдат, не успевший по-настоящему нюхнуть пороху, как был тотчас же спасён от фронта. Кем же? Разумеется, евреями, того же поля ягодами, как и он. Отвратительный нравоучительно-высокомерный тон, ужасный язык. И странно сказать о мировой знаменитости: суждения о литературе удручающе провинциальны.

Вчера я послал тебе по почте свою статейку, о которой мы говорили, под девизом: *A bas l'Histoire!* Авось не застрянет где-нибудь на международном почтамте. Послал и повесть, точнее, рассказ, со смутным каким-то чувством. Я представляю себе, как импульс кружится в склеротическом мозгу автора по замкнутой цепи нейронов, словно в заевшем граммофоне, вместо того, чтобы перескочить на новую борозду; отсюда и затверженность письма, тривиальность мнимых выражений. Я вовсе не хочу «удить комплименты», по немецкому выражению. Ситуации (и состояния), описанные в этом рассказе, описывал и ты. Но я сделал больше уступок «беллетризму».

Последнюю неделю мы с Лорой вели рассеянный образ жизни: то музыкальный вечер в доме одной старой приятельницы, то то, то сё. Лекция Джорджа Штейнера (George Steiner) в Literaturhaus — свободный, увлекательный рассказ на тему о взаимоотношениях ученика и учителя. Либо ученик предаёт и уничтожает учителя, либо учитель уничтожает ученика. Либо, наконец, ученик верен учителю и продолжает его дело. В Японии существуют династии наставников и учеников, восходящие к XIV веку. Или хасидские ученики Баал Шема и ученики учеников, традиция, угасшая вместе с уничтожением еврейством Восточной Европы. Предагельство Хайдеггера по отношению к Гуссерлю. Тайный роман профессора Хайдеггера и студентки Ханны Арендт. (Когда-то я об этом писал в одной рецензии.) И всё в таком роде. Штейнер — это замечательный гибрид европейца с еврейским мудрецом. Когда я

выходил, меня окликнула одна знакомая — лектор издательства Langen Müller Herbig (с которым лично у меня никаких дел нет), и мы просидели в кафе ещё часа полтора.

Вчера ночью я взял с полки «Способ существования» и перечитывал твой этюд «Три еврея». (У покойного Илюши Рубина было стихотворение, которое начиналось так: «Идут на плаху три еврея».) Карабчиевского мы когда-то издали, печатали в нашем бывшем журнале, а с Толей Якобсоном я встречался ещё в Москве у старого друга, ныне покойного Бориса Володина. Это было в те времена, когда я работал в 20-й больнице в Бабушкине. Как-то в воскресенье я оказался у них на завтраке. Якобсон читал за столом из своей работы об Анне Ахматове. Гораздо позже услышали о его смерти. Ты пишешь, что у самоубийства не бывает одной единственной причины, их всегда много. К этим причинам нужно добавить, конечно, и медицинскую. Гений самоубийства ищет почитателей, чтобы распахнуть перед ними свой серебряный плащ. С точки зрения этой причины остальные, даже самые серьёзные, оказываются поводами. Между прочим, я заметил, что многие из моих героев накладывают на себя руки.

Сегодня мы снова гуляли в наших местах, шли по тропинке вдоль канала и возвращались в густом лиственном лесу между каналом и быстрой, местами стремительной рекой. Не зря она называется «зелёный Изар», die grüne Isar. Птичий гомон, щёлканье, посвистыванье, изумительно красивая и вместе с тем дружелюбная, человеческая природа, и, казалось бы, жить и жить посреди этой вечной жизни, и наслаждаться жизнью. Между тем радио вещает о новых взрывах в самых неожиданных местах, отвратительное восточное средневековье, фанатичное и одновременно продажное, давно уже не создающее никакой культуры, очнувшееся от многовекового сна, чтобы схватиться теперь уже не за кинжал, а за ракеты и бомбы.

Дорогой Марк, у нас жарница, высокая влажность, мы ездим купаться на озеро, иногда поздно вечером, но и это мало помогает. Итак, я вернулся в понедельник из Парижа, прожил там снова три недели, поселился в той же маленькой гостинице на улице Tholozé, на Монмартре, и в том же номере. Странно сказать, — особенно для человека, который бывает там лишь урывками, — но когда я вышел и почувствовал особенный запах, присущий этой узкой и круто уходящей наверх улочке, то у меня было ощущение, что я дома.

После завтрака я обычно сидел у себя в комнате за компьютером часов до 12, потом отправлялся куда-нибудь в город пообедать и к вечеру возвращался, еле волоча ноги от усталости. В конце мая прилетел из Вашингтона Джон Глэд, мы много бродили вместе, ездили в Версаль и так далее.

Я написал вчерне (здесь доделал) то, что обещало стать по меньшей мере повестью. Получился рассказ — 21 страница, — пожалуй, несколько экспериментальный, называется «Светлояр». Речь идёт о человеке, который находится на грани жизни и смерти и говорит (то есть думает) о себе, что от него уже ничего осталось, и так оно и есть, — если не считать целую жизнь, которая проворачивается в его сознании.

Ты спросил, как понять строчку: *Et pour cela préfère l'Impair*? Нечего и говорить о том, что я не занимался основательным анализом текста, да это было бы мне и не по зубам. Но мне кажется, что в контексте всего стихотворения Верлена, в системе «полярностей», противопоставлений, которая там выстраивается, смысл более или менее внятен. Я понимаю его так: нечёт связан с нарушением искусственной упорядоченности, правильности, навязанной дисциплины, нечет означает освобождение от утомительной симметрии, возврат к спонтанности. Чёт — это неволя, скованность и закрытость, нечет — воля и открытость. Чёт — «литература», нечет — «музыка». Тут можно было бы вспомнить весьма древнее представление о магических свойствах простых нечётных чисел 3, 5 и 7, а также числа 9 (трижды три). Три и семь — священные числа. Есть старая (1978 г.) книжка Вяч. Вс. Иванова «Чёт и нечет», он там, между прочим, упоминает об одном тексте С.Эйзенштейна под таким же названием. Ты можешь поговорить с ним об этом.

Любопытно, что сам Верлен не очень-то настаивал на непогрешимости своей программы: «В конце концов это не более чем стихотворение» (...n'allez pas prendre au pied de la lettre mon Art poétique qui n'est qu'une chanson, après tout). И ещё одно: *préfère l'Impair* — внутренний ассонанс, который перекликается с *qui pèse ou qui pose* в 4-й строчке.

С переводом Пастернака я не знаком. Четверостишие, которое ты приводишь, звучит здорово. Но, по-моему, оно всё-таки весьма далеко от подлинника, не передаёт его смысл, а первая строчка просто совсем не то. Это не Верлен, а то, что в XIX веке могло бы называться «из Верлена».

Третью Дуинскую элегию Рильке я выбрал для Антологии просто потому, что она когда-то поразила меня — соединением жизненной, психологической правды с головокружительным мифологизмом. И, конечно, звучанием стиха. Я даже помню, как я ехал весной 82 г. с огромным грузом продуктов в посёлок Бейнеу, в Западный Казахстан (где отбывал ссылку Витя Браиловский), и читал эту элегию, правда, уже не первый раз, в битком набитом вагоне. Читать Рильке непросто. Но ведь это свойство новой поэзии. Это не Твардовский, который сам сказал о себе: «Вот стихи, а всё понятно, всё на русском языке».

Чем занимался Бродский в паузах между стихами... Я мало знал его, виделся с ним всего дважды, в Америке, в его жилище (которое трудно было назвать домом), с перерывом в 10 лет, но зато оба раза провёл в его обществе целый вечер. С ним дружили Юз и жена Юза Ира. Бродский преподавал, писал по-английски свои эссе, за которые получал, видимо, приличные гонорары. Свою Нобелевскую премию он чуть ли не наполовину раздал. Путался с женщинами, у него их было несметное множество; незадолго до смерти женился. Вообще вёл довольно хаотический образ жизни. Мы с Лорой ездили на его могилу на острове Сан-Микеле.

Ты вспомнил Целана. Время от времени и понемногу я занимался им, вернее, возвращался к нему, но, конечно, страшно далёк от того, чтобы считать себя компетентным. Целан опрокидывает наши представления о лирике. В воздухе Целана нельзя находиться долго, как нельзя долго находиться в разрежённом атмосфере нагорья. Читать его можно строго дозированными порциями, одно-два коротеньких стихотворения зараз, не больше.

У него, между прочим, есть такое место в речи под названием «Меридиан», по случаю присуждения в 1960 г. премии им. Георга Бюхнера, самой престижной литературной премии в Германии:

Aber es gibt, wenn von der Kunst die Rede ist, auch immer wieder jemand, der zugegen ist und... nicht richtig hinhört. Genauer: jemand, der hört und lauscht und schaut... und dann nicht weiß, wovon die Rede war.

Попробуй-ка перевести.

«Но, когда речь идёт об искусстве, всегда есть и некто присутствующий, тот, кто слушает и... не слышит. Точнее, кто-то, кто слышит, и вслушивается, и смотрит на говорящего — и в конце концов не знает, о чём шла речь».

Существует его переписка с Нелли Закс и особенно — с Ингеборг Бахман; у них даже было что-то вроде мимолётного романа. Была ещё очень важная — и неудачная — встреча с Хайдеггером в доме Х. в Шварцвальде, «несостоявшийся разговор». Целан жил в 50-х и 60-х годах в Париже, был женат на художнице Люсиль (кажется) Лестранж. В последний день апреля 70-го года был выловлен мёртвым из Сены, много ниже того места (скорее всего моста), с которого он бросился в реку. Но я об этом писал, подробностей не знаю или не помню.

...История абсурдна не менее, чем жизнь отдельного человека? Вот тут начинаешь задумываться. Субъект человеческой жизни — сам человек. А кто является субъектом истории? Очевидно, всё человечество. Как бы не так. Во всяком случае, тут огромная разница; такая же, как разница между свободой воли индивидуума и «свободой воли» человеческих

масс. Историческое сознание формирует историография. Человеческое сознание — философия и литература. Опять же разница. Все остатки моего оптимизма сосредоточены на литературе.

Теперь насчёт «Светлояра». Я возился с этой вещью несколько месяцев. Не то чтобы остался ею вполне доволен, о нет, но считал свою задачу худо-бедно выполненной. Твоё письмо заставило меня очень задуматься. Видимо, я вернусь к ней.

Между прочим, мне пришлось однажды пережить нечто вроде клинической смерти. Я заболел, это было вскоре после второго обыска, когда у меня отняли бумаги и написанный роман. В больнице после довольно мучительного обследования меня положили на операционный стол, и после дачи наркоза у меня исчезло артериальное давление. (Это бывает очень редко, — если только в дело не вмешалось тайное ведомство.) Меня смогли вывести из этого состояния огромной дозой кортизона и, вероятно, с помощью других средств. Конечно, я ничего этого не помнил. Но могу сказать, что ничего кроме чёрного провала я не испытал. В повести сделана попытка представить несколько последних минут в сознании человека, находящегося в агонии; разумеется, чистое изобретение беллетриста. Кто-то сказал, что смерть не может быть событием жизни, так как смерть нельзя пережить. Так и тут.

Я помню твой роман «Возвращение ниоткуда» на близкую тему. Ещё я просмагивал Броча, «Der Tod des Vergil». Есть, конечно, и «Смерть Ивана Ильича», и другие вещи. Задача, как я её понимал (замысел), менялась по ходу работы. Но мне показалось важным изобразить не только и не столько угасающее сознание, сколько некое сверхсознание. (В тексте это называется *над-сознанием*.) Я попробовал представить себе, что в последний момент перед концом наступает особого рода озарение. Появляется двойное сознание. Человек ощущает себя и самим собой, и вместе с тем парит над собою. Сохраняя (в какой-то мере) прежнее сознание, он владеет ещё и метасознанием — или оно владеет им. Он превращается — не знаю, удачно ли я выражаюсь — в сверхавтора собственной жизни. Его жизненный «путь» хотя и предстаёт перед ним в каком-то подобии хронологической последовательности (раннее детство, первая любовь подростка, взрослое состояние и т.д.; то, что образует «сюжет» повести), но время продолжает существовать только в его сознании, тогда как для метасознания время и временность никакого значения не имеют. При этом умирающий сознает и своё «нормальное» сознание, и своё метасознание. Именно оно, это метасознание, способно охватить всё сразу и всё осмыслить. Это и есть прикосновение к тому, что мы называем смыслом жизни: нужно споткнуться на пороге смерти, чтобы обрести этот смысл. Рациональные пояснения, о которых ты пишешь, принадлежат, таким образом, не автору повести, а

самому «повествователю», то есть его высшему, сверхрациональному надсознанию. В техническом же, литературном, смысле оно позволяет организовать хаотический материал, организовать прозу.

Мы вернулись вчера вечером из Рурской области (из Эссена). Обычный маршрут теперь изменён, дорога укорачивается почти на два часа, но поезд уже не идёт вдоль Рейна, где самый красивый участок — от Майнца до Кобленца. С каким волнением я глядел в окно, читал названия городов, когда ехал там первый раз! Вдруг оказалось, что всё существует на самом деле, и холмы с развалинами замков, и скала Лорелей, и какой-нибудь Бахерах, где жил Бахерахский раввин. После двадцати лет жизни в Германии всё выглядит привычным, по-прежнему романтическим, но уже лишённым таинственного очарования; нет больше и этого *déjà vu*, мнимого узнавания, когда кажется, что всё это уже видел однажды во сне или в другой жизни. Теперь все узнавания — обычные, прозаические.

На другой день после приезда мы отправились тесной компанией за сто километров в *Bergisches Land*, где возле небольшого городка, в тихом и живописном месте находится протестантское кладбище, на котором лежит Уве Графенгорст. Как-то совсем непривычно писать его имя *Gravenhorst* русскими буквами. Он был мой ровесник. Я познакомился с ним и его женой в Лиссабоне, месяца через два после отъезда из России. В Лиссабоне происходили, не без некоторой помпы, Сахаровские слушания, так это называлось. Я подружился с Графенгорстами, с ними и со всей семьёй, приехал к ним потом с моим сыном, приезжали и с Лорой, вообще бывал у них много раз. Вместе ездили в Данию, в Швейцарию, не говоря уже о Рейнской области. Однажды провели вместе несколько дней в Москве. Уве был инженер, только что вышедший на пенсию, но все его интересы были сосредоточены не на технике. Он занимался историей, особенно немецким Средневековьем, а также новейшей историей, философией, искусством, Дюрер был особой темой его жизни. Он был студентом, точнее, вольнослушателем Рурского (Бохумского) университета, куда и я с ним ездил не раз на лекции и собрания, Бохум находится рядом с Эссеном. Кроме того, он то и дело погружался в общественную работу — это слово следует понимать не в советском смысле. Уве и Зиглинде много раз ездили в Зибенбюрген (то есть Трансильванию), где восемь веков существовало компактное немецкое население со своей особой культурой, трудолюбивое и хозяйственное; в результате реформ Чаушеску, некогда благоденствующий край обнищал, люди голодали. Для них закупали продукты, одежду, лекарства. Везли с собой огромные короба сигарет для румынских пограничников. Румыния была страшной страной, но ужас умерялся, как и в России,

плохим исполнением законов и всеобщей коррупцией. Как-то раз я встречал и провожал Зиглинде и ещё одну женщину голландку на мюнхенском вокзале, обе дамы, очень худенькие, выглядели толстухами — на каждой было по три шубы. Вообще Уве и Зиглинде сделали много всяких добрых дел, при том, что никогда не были особенно богатыми людьми, вечно хлопотали о ком-то, приютили у себя множество людей, помогли и нам. И вот теперь он умер.

Кладбище находится возле того места, где примерно за 8 лет до нашего приезда первая жена Уве погибла, бросившись спасать чужого ребёнка, который чуть не попал под автобус. Машина вынеслась неожиданно из-за поворота. Мальчик отделался ушибами, а она с тяжёлыми повреждениями пролежала в коме два месяца и скончалась. Уве остался с четырьмя детьми, из которых старшему было 12 или 13 лет, а самой младшей лет пять. Теперь все дети взрослые, сыновья обзавелись семьями и живут в разных местах, но неподалёку, а дочь стала медицинской сестрой и акушеркой и работает в Камбодже, одной из самых несчастных стран мира.

Вернувшись, я нашёл письмо от д-ра Ульрике Ланге, славистки, которая устраивает в октябре в Майнце, на кафедре Ф.Гёблера, — я его знал когда-то аспирантом покойного Вольфганга Казака, теперь он профессор, — некое сборище под названием *Tagung zur Literatur der russischen Emigration*. Сколькo я побывал на таких собраниях, — всё какая-то труха. В лучшем случае соревнование самолюбий, вроде состязания певцов в крепости Вартбург. Она прислала мне статью, которую написала для немецкого «Словаря современной иноязычной литературы». Это уже не первое произведение такого рода и назначения, посвящённое *meiner Wenigkeit*, подробный и неглупый анализ главных вещей, ничего подобного тому, впрочем, немногoму, что я мог прочитать о себе в России. Казалось бы, надо ещё выше задрать нос. Между тем выясняется, что мы пишем — для кого? — для учёных филологов. А что пишешь ты?

Мне принесли новое, только что вышедшее издание мемуаров Гриши «Записки Гадкого утёнка». Теперь это книга в 460 страниц убористого шрифта. Расширена главным образом за счёт философско-религиозных рассуждений. В одном месте он упоминает о женщине, которая плакала, слушая стихи Зины. Возникает вопрос, не написана ли вся книжка для таких слушателей. В предисловии высказана любопытная мысль: «Стиль — это установка на разговор с известного рода людьми». Приводятся примеры: Расин, который «мысленно обращался к придворному», Зоценко, Булгаков... «У каждого крупного писателя был свой стиль, то есть чувство собеседника». Странно, не правда

ли? Каждый так сказать, подстраивался к своей аудитории. «У меня, — добавляет Гриша, — это не получалось». Но к нему-то это определение как раз и подходит. К несчастью, я снова убеждаюсь, что к аудитории, для которой он пишет, я не отношусь. Всё же — если не читать книгу подряд — есть много интересного. Рассыпано множество мыслей, если не всегда оригинальных, то во всяком случае достойных обсуждения. Как всегда, прекрасный язык, благородная интонация. Немного юмора ей бы, правда, не повредило. По-прежнему всё одно и то же. Всё тот же набор имён. Непохоже, чтобы мыслитель развивался, менялся, пытался критически пересмотреть свои взгляды за последние двадцать лет. Интересно (так было всегда), что в своих суждениях о России, о Европе, о ситуации во всём современном мире, при всей широковещательности, он начисто игнорирует экологию. Видимо, это устойчивая реакция на марксизм, хотя производство, рынок, финансы и т.д. изобрёл не Маркс.

В центре и на юге Европы неподвижное, как солнце ада, стоит огромное *H*, то есть Ноч, область высокого давления. Каждый день температура далеко за 30. Ночью духота, невозможно спать. Вокруг Германии пояс стран, где уже которую неделю горят леса. Понизился уровень воды в реках, кое-где приостановлено судоходство. Энергетические концерны грозятся ограничить снабжение током, так как повсюду на полную мощность работают холодильные установки, а вода в реках, которая используется для охлаждения атомных электростанций, чересчур нагрелась; некоторые реакторы отключены.

Я, между прочим, хорошо помню, как летом 50 года вокруг лаг-пункта горела тайга, страшное зрелище. Бригады даже не пытались тушить пожары, это было невозможно, нельзя было приблизиться к стене огня, за сто метров дрожал раскалённый воздух, было больно глазам, стоял непрерывный гул, и, конечно, не было никаких противопожарных установок. Единственное, что можно было сделать, это окапывать горящие пространства. Позже бродили по растянувшейся на много километров, чёрной и горячей, курящейся дымом, пустыне — горели высохшие болота, тлел дёрн, его заливали кто чем мог, на него мочились, и, наконец, пошёл дождь.

Литературные новинки — я их вижу нечасто, читаю ещё реже. Пожалуй, я слишком резко отозвался о новом издании гришиных мемуаров. Всё-таки это хорошая книга, хоть я и не могу читать всё подряд. Очень хорошо написано о войне, об армейском быте, есть много других удач, ярких портретов, талантливых зарисовок, тонких замечаний. А главное — вырисовывается своеобразная, очень цельная, всегда верная себе, незлобивая и, бесспорно, благородная личность.

...Конечно, я тоже не раз вспоминал статью Мандельштама, «великую славянскую мечту о прекращении истории в западном значении слова, как её понимал Чаадаев». Историю, как я сам для себя пытался её определить, игнорировать невозможно. Мы родились и умрём в этом китовом чреве. Истории можно сопротивляться тем единственным средством, которое у нас в руках: это средство — литература. Но опять же, что это значит, сопротивляться? Провинциальная утопия Милашевича есть нечто тушиковое (думаю, что это можно вычитать из твоего романа). Тут затронута тема, чрезвычайно болезненная для современной русской литературы. Вопрос — или, может быть, великая задача — в том, чтобы писать о человеке, который не в состоянии выпрыгнуть из истории, хоть и пытается изо всех сил, сознаёт он это или нет. Это и значит отстаивать, вопреки всему, достоинство человека, погранное, как, может быть, никогда, в минувшем веке.

Утопия Милашевича может быть сопоставлена с утопией России. Эта утопия жива и представляет собой антитезу (или pendant?) мессианской утопии — лучше сказать, мессианскому бреду. Любопытно, как обе крайности, мечта о тихой, благолепной, деревенской, природной, народной, провинциальной России — и фата-моргана России, величаво указующей путь кораблям всего мира, России как главной, ведущей нации, — отравили нашу литературу. В конце концов оказалось, что, во-первых, «Россия» («народ») важнее человека, представляет собой нечто первичное по отношению к индивидууму и, во-вторых, мифическая Россия не есть часть мира, но противопоставляет себя миру. И Пушкин, и Гоголь, и Достоевский, и Толстой, и Чехов писали о России, но эта Россия была представителем мира. В этой России существовал не «народ», а человечество: народ как репрезентант человечества. Со смертью Толстого бремя мировой литературы свалилось, она стала региональной. Восторжествовало в разных обличьях нечто затхлое, именуемое русской идеей. Или скажем так: нечто равное самому себе. А надо, чтобы выше себя. Здесь больше уже не создавалось великой синтетической прозы, где, как у Пруста, у Джойса, у Томаса Манна или у Кафки, или у Фолкнера, речь идёт о «провинции» (что такое Дублин или Комбре? Не говоря уже о Йокнапатофе) и в то же время — о человечестве.

Август, в Мюнхене относительная тишина, отпускное время. Что сказать нового? На-днях я получил, в конверте с траурным ободком, как принято, известие о смерти баронессы Пёльниц. Это имя когда-то мне встретилось, сто лет назад, когда я переводил Лейбница: он упоминает в одном из писем 1704 г. к прусской королеве Софии-Шарлотте некую мадемуазель фон Пёльниц. В Германии по закону дворянский титул считается частью имени и не должен быть опускаем в официальных бу-

магах. Полное имя той, о которой я сейчас говорю, Friderike Freifrau von Pölnitz, geb. Gräfin von Podewils-Dürniz. В семейном кругу её называли Мэди (Tante Mädy). Ей было 93 года. Я знал эту даму.

Однажды она прислала мне свои короткие, чётко и ясно написанные (неопубликованные) воспоминания о генерале Карле-Генрихе фон Штюльпнагеле, может быть, тебе известно это имя. Он был командующим оккупационными силами во Франции, был начальником Эрнста Юнгера, дружил с ним, был участником заговора 20 июля и по условленному сигналу приступил к решительным действиям: арестовал главарей парижского СД и гестапо, запретил войскам покидать казармы и пр. После того, как пришло сообщение о том, что Гитлер остался жив, Штюльпнагель получил из ставки приказ явиться в Берлин. Он отправился туда из Парижа на машине с двумя подчинёнными, по дороге вышел и выстрелил себе в голову. Но не был убит и с тяжёлой черепно-мозговой травмой, ослепший, был доставлен на место. Его лечили, а затем казнили в Плёцензее (сейчас там находится Мемориал героев сопротивления). Палач вёл слепого под руку к виселице.

«Тётя Мэди» была его секретаршей в Париже. Вообще она не была разговорчивой, но однажды был такой случай. Я гостил у моих друзей в Альгое — у отставного профессора Гарри Просса, известного немецкого публициста, и его жены Марианны. Туда приехала Пёльниц. Мы сидели позади дома — перед глазами луг, холмы и вдали, на небе, австрийский Форарльберг, — разговор шёл о том, о сём, между прочим и о войне. Где-то во второй половине 30-х годов, когда баронесса была молоденькой девушкой, она служила машинисткой ни много ни мало — в генштабе. Гарри, который в 19 лет был танкистом и чуть не лишился руки под Ясами в Бессарабии, остался, впрочем, инвалидом, спросил: знала ли она о том, что готовится нападение на Польшу? Она ответила: конечно; мы все знали.

Она была сестрой графа Клеменса Подевиляса (полное имя Podewils-Juncker-Bigatto), а Барбара фон Вульфен, в чьём доме, точнее, во флигеле, мы прожили вскоре после приезда в Германию девять месяцев, а до нас обитали Ира и Володя Войновичи, — дочерью Подевиляса. К этому времени самого Подевиляса уже не было в живых, он умер мучительной смертью от рака в конце 70-х. Но я довольно много знаю о нём. Был когда-то португальский фильм «Три зеркала». Три женщины связаны с одним мужчиной, который на экране вовсе не появляется. Так и я увидел отражение графа фон Подевиляса как бы в трёх зеркалах — по рассказам трёх женщин: его дочери Барбары, его невенчанной жены Марианны, той самой, которая уже при мне вышла замуж за Гарри Просса, и ещё одной дамы, Карен Вестерман, она вела бухгалтерию в нашей бывшей редакции

«Страна и мир». Карен не принадлежала к этому кругу баварской знати, происходила из Восточной Пруссии и была Trümmerfrau, так называют женщин, чья молодость прошла среди развалин. Но она долгое время работала в издательстве Веск, где Подевилъс был частым гостем. Его называли там за глаза «граф Бобби».

Кроме этого, у меня есть подаренный дочерью томик его стихов, я читал его весьма любопытный военный дневник «От Дона до Волги», о Подевилъсе упоминает в парижских дневниках Юнгер (они были на «ты» — большая редкость для Эрнста Юнгера), однажды в Баварской академии изящных искусств был вечер, посвящённый годовщине Подевилъса, который был, между прочим, генеральным секретарём Академии. Подевилъс был интересная личность.

Он был помещиком в Egerland, в бывшей Судетской области, был журналистом, дипломатом, весной 42 г. был прикомандирован в качестве военного корреспондента к штабу 6-й армии, которой командовал Фридрих Паулос, и дошёл, точнее, доехал до Сталинграда, но прежде, чем успело замкнуться кольцо окружения, схватил, на своё счастье, инфекционную желтуху и был транспортирован в Германию. В конце войны лишился своего поместья, дома, пышно именуемого замком, немцы были изгнаны из Чехословакии, семья бежала в Баварию. Подевилъс был избран генеральным секретарём Баварской академии (звучит громко, на самом деле — что-то вроде делопроизводителя на скудной зарплате). Здесь произошла история, которая в благородном семействе и для всего круга означала скандал.

Подевилъс был высокий, стройный, худощавый и, по-видимому, очень красивый человек, прекрасно образованный, с отменными манерами. Это был талантливый дилетант: поэт-дилетант, музыкант-дилетант, дипломат-дилетант. Был каким-то запоздалым романтиком, консервативным националистом, поклонником патриархальной России и так далее — к этому достаточно запылённому букету нужно присоединить и увядшую розочку несколько отвлечённого антисемитизма. Нацистом, однако, не был и в партии не состоял. К бумажно-канцелярской работе был абсолютно не приспособлен, и работу за него выполняла его секретарша Марианна Кац (из-за этой фамилии, которую принимали за еврейскую, у её отца после 1933 года были неприятности). Она и сейчас привлекательная женщина, между прочим, очень много сделавшая для нас, а в те времена, по всему судя (есть и фотографии), была красавицей. Подевилъс, который был вдвое старше, влюбился в неё, бросил жену Софи-Доротею — она была ученицей Хайдеггера и писательницей — и детей, двух девочек, одна из них — Барбара. Жениться на Марианне он не захотел, жил с ней в Мюнхене (а законная жена — на Штарнбергском озере, там же и умерла). У Марианны родилась дочь. Её зовут Кáро (Каролин). Теперь это взрослая

молодая женщина, красивая, ироничная и холодная. Союз был, по словам Марианны, трудным, не говоря уже о её двусмысленном положении; Клеменс был обаятельным человеком, мог быть и невыносимым, в припадке гнева швырял о пол посуду. Потом он заболел, и она ухаживала за ним.

Видишь, как я разговорился.

Ты упомянул Ингеборг Бахман. В её жизни остаётся многое неизвестным. В романе «Малина» расшифрованы, уже после её смерти, скрытые цитаты из Целана. Они встречались в Вене, позже однажды сидели рядом на одном из собраний группы 47 (есть фотография), но письма Бахман к Целану лежат под спудом, и характер их отношений не прояснён. Это были родственные души. Что касается обстоятельств смерти, то, как ты знаешь, она погибла при пожаре в квартире, видимо, заснула с сигаретой. Но в романе (и в фильме) героиня поджигает свои бумаги и сгорает сама. Не могу сейчас сказать, выдвигалась ли версия о самоубийстве или это просто моя выдумка: ведь к Бахман подходит такой конец. Вообще я плохо знаком с её биографией.

Прошлый раз я писал тебе о Фридерике Пёльниц. Получив извещение о смерти, я послал его по факсу Марианне и Гарри; она мне сразу позвонила, оказалось, что извещение от семьи они не получили («знак немилости», как она сказала). Марианна прислала мне видеокассету с 55-минутным фильмом «Der 20. Juli in Paris», о генерале Штюльпнагеле. Там баронесса много рассказывает о нём. Я, между прочим, довольно усердно занимался историей заговора, опубликовал в «Октябре» большой этюд, там есть кое-что, о чём в России, кажется, не писали.

Ещё одно; чуть не забыл. Отыскивая по указателю в «Стенографии» упоминания о В.В.Иванове, я наткнулся на одно место (стр. 259), где он говорит, что у Блока был «наследственный сифилис, от отца». Это — чушь. Сифилис — не наследственное заболевание, бывает только врождённый сифилис, ранний или поздний. Другими словами, нужно, чтобы мать была больна во время беременности. Таких сведений об А.А.Кублицкой-Пиотух нет. Равно как и нет никаких оснований думать об инфекции у Александра Блока-отца. Опубликованные письма к сыну дают основание считать его патологической личностью, но это совсем другое дело, не болезнь в собственном смысле и уж тем более не сифилис. Сам поэт, видимо, неоднократно (об этом есть упоминание в мемуарах Любви Дмитриевны) хворал венерическими болезнями, скорее всего гонореей. Может быть, подхватил у проституток и люэс, в то время вообще чрезвычайно распространённый. Но была ли его предсмертная болезнь поздним следствием перенесённого сифилиса, большой вопрос.

У меня какой-то тупик. Ничего не могу делать. Возникают разные проекты и тут же рушатся. Вчера я сидел в Stabi (т. е. Staatsbibliothek), перечитывал, для одной работы, военный дневник Подевилыса, о котором тебе писал.

В зале рядом с Общим читальным залом небольшая выставка по случаю 60-летия гибели библиотеки в 1943 г.: документы и фотографии о главном воздушном налёте, позже были и другие. Копия английского военного отчёта о рейде нескольких сот самолётов Royal Air Force в половине двенадцатого ночи, военная карта города с пунктами основных попаданий; не вернулось на базы 8 самолётов. Библиотека была разрушена несколькими попаданиями, но главный урон нанесла тяжёлая фосфорная бомба, в огне погибла огромная масса книг, включая уникальные собрания. Персонал и девушки из соседнего училища пытались спасти что могли, затем прибыла пожарная команда. Книги срочно переносили, передавая из рук в руки, в стоящую рядом Ludwigskirche (может быть, ты её помнишь, две башни видны из Английского сада). В отдельной большой витрине — я говорю о выставке — почернелые обгоревшие фолианты, другая витрина, вдоль стены — реставрированные инкунабулы, вид до восстановления и после, описание технологии реставрации, фотографии реставраторов и пр.

Я проглядываю в интернете последние номера московских толстых журналов, что-то читаю или перелистываю и как будто погружаюсь в какой-то подводный мир. Время от времени выныриваешь набрать порцию воздуха и видишь, что вокруг ничего нет, вода, небо. Литература начинает казаться какой-то иллюзией. А главное, я теряю способность (если вообще когда-нибудь ею обладал) связывать оба мира, здешний и российский. Там одна действительность, здесь совершенно другая. Там одна история, здесь другая.

Вечером диктор телевидения объявил: лето закончилось, и точно: сегодня прохладно, облачно, я снова был в библиотеке и шёл назад по прекрасному, привольному городу под моросящим дождиком.

Почти 40 процентов опрошенных одобряют ввод советских войск в Прагу, вот-те раз. Пора бы уже привыкнуть к подобным настроениям, и всё-таки не устаёшь им поражаться, чтобы не сказать — ужасаться. Но странное дело, — может быть, они по-своему сигнализируют о том, что прошлое не забыто, память жива, вопреки усилиям вытравить всё из сознания, заменив историю мифологией. В том-то и дело, что есть тайное сознание не только драматического, но и постыдного государственно-национального прошлого. И вот начинают вращаться в обратную сторону колёса самооправдания. «Не так уж всё было плохо». «Что ни

говори, а Сталин — великий человек». «Была держава». «Пора гасить костры» (название последней статьи Аллы Латыниной. Подразумеваются костры, на которых собрались было сжечь советскую литературу, — не-ет, не такая уж она была плохая).

Трудно связать два мира. Нет, пожалуй, именно два мира, а не два времени — если говорить о моём собственном самочувствии. Мне не кажется, что я сам изменился. Для этого я был недостаточно молод, точнее, достаточно стар, когда мы уехали. Но вот узел, или реле, где осуществляется (в литературном, конечно, смысле) сопряжение: это война. Конечно, уже весьма далёкое прошлое. И всё же мне казалось, что война парадоксальным образом сблизила миры и страны. Я попытался перебросить мостик в романе (который так и лежит без движения) «К северу от будущего». Теперь у меня брезжат какие-то мысли, и, например, чтение дневника «Дон и Волга» было, так сказать, не вполне бескорыстным занятием. Сегодня я его дочитывал и досматривал. Ты спрашиваешь, что он значит для меня, на войне не побывавшего. А вот то и значит — я переворачиваю бинокль. Насущней ли эти записки, чем свидетельства соотечественников? Если я собираюсь предпринимать что-то литературное — то да, насущнее, потому что оптика отечественных участников войны для меня не представляет ничего принципиально нового. Кроме того, я хочу кое-что узнать из первоисточника и присоединить это к тому, что я знаю из здешней жизни. В романе Георгия Владимова есть страницы, посвящённые Гудериану, генерал-полковник сидит в Ясной Поляне, размышляет о войне, о стране. Очень может быть, что автор, писатель весьма добросовестный, читал записки Гудериана или каким-то образом знакомился с ними (Владимов не знает по-немецки). Но в романе мысли Гудериана звучат фальшиво, неубедительно.

Вдобавок я вообще по части чтения сделал большой крен в сторону разного рода мемуаристики. Это ответ на твой второй вопрос: нахожу ли я что-нибудь для себя интересное в современной немецкой прозе. Я читаю современных прозаиков очень мало. Есть, правда, писатели (среди ныне живущих), которые мне нравятся, но это люди старшего поколения. Вчера до полуночи я читал и разглядывал необычайно интересную книгу-альбом «Thomas Mann in München 1894–1933», она вышла два года назад. Читал «Hitlers München», только что вышедшую книгу англичанина по имени David Clay Large. Но также листал и Юрия Трифонова, которого я очень люблю.

Вот решил написать тебе напоследок, завтра утром я отправляюсь на аэродром. Полёт в Чикаго на циферблате занимает три часа: улетаешь в 11, прилетаешь в 14. В эти три часа впахиваются восемь с поло-

виной часов, которые пассажир проводит в самолёте. Самолёт тащит с собой запас времени, расходуя его понемногу, как испанские каравеллы везли в бочках запас пресной воды.

Я не знал о существовании цикла «Орфей». Обратил внимание (в своём стихотворении) на строку о внутренней свободе «даже в зоне малой». Очевидно, имеется в виду лагерь. О такой свободе в почти идиллических тонах писал Гриша в своих воспоминаниях. Боюсь, что это иллюзия, чтобы не сказать — неправда. Малая зона была моделью огромного государства. Лагерные институты воспроизводили государственные институты. Армия, тайная полиция, бюрократия, «культурно-воспитательная часть», военно-дисциплинарный социализм, последовательное неравенство, феодальная иерархия везде и во всём, коррупция, стадное существование, труд во славу родины, т.е. ни для кого, проволочное ограждение, пулемёты на вышках — всё было в этом мини-государстве, чему полагалось быть в макро-государстве, и не было ничего, чего не было в большом государстве. Лагерное общество было точным подобием «советского народа», но как бы освобожденным от кожуры, человек этого народа являл себя в чистом виде, без всяких покровов. Конечно, и у меня были друзья (я их никогда не забуду), были французские и немецкие книжки, был «Фауст», был латинский Гораций, никто их не воровал, никто не покушался на них; когда мне их присылали из дома, надзиратель, который вскрывал почту, равнодушно перелистывал непонятную книжку и швырял на стол; книги составляли всё моё имущество, я таскал их на спине в чемодане, когда перегоняли с одного лагпункта на другой. Но «внутренняя свобода» в лагере — это звучит смехотворно и печально. Внутренняя свобода — это не свобода от начальства, начальство — как природа, как погода и климат, к любому климату привыкаешь; внутренняя свобода — это свобода от среды, от лагерного социума, не говоря уже о принудительном труде, а от них никуда не спрячешься, никуда не денешься уже потому, что в лагере невозможно остаться одному. Разве только бесконвойному: когда меня расконвоировали, я работал на разных работах, но уже не в бригаде и не в конторе, и порой ночевал далеко от лагпункта.

Я начал было что-то вроде рассказа или повести, в которой действие происходит в двух временах, но главным образом во время войны, и в двух странах, но преобладающий угол зрения — «оттуда», то есть из Германии. Теперь придётся прерваться по меньшей мере на полтора месяца, так как по возвращении из Чикаго мне предстоит отправиться на Франкфуртскую ярмарку, потом на конференцию в Майнц, а потом ещё на ПЕН-сборище; всё это, строго говоря, тухлая, пустая трата времени. Между тем то, что мы оба называли узлом сопряжения, продолжает меня занимать, занимало и прежде. Я не имею в виду «сближение между народами», всю эту чепуху, меня это

вообще не касается. Но с войной происходит то, что — правда, в небольшой степени сходства, уж слишком разные времена, — происходило с войной 1812 года: огромное нашествие, а затем откат назад, давший возможность буквально погрузиться в другую страну. Есть какая-то связь между войной с Наполеоном и началом золотого века русской литературы, когда она вырвалась из самой себя. Я думаю о том, что нынешняя русская литература, которая там, в России, полагает себя единственно стоящей русской литературой, а здесь, в рассеянии, — если уж не единственной (как думала Зинаида Гиппиус), то хотя бы её легитимной частью, — русская литература на языке, которым, слава Богу, выговаривают себя 150 миллионов, или сколько там, — что она по-прежнему, как в советские времена, стоит перед сужающейся перспективой остаться закрытой провинциальной литературой. В воспоминаниях о Борхесе одна дама по имени Беатрис Сарло говорит о том, что он «осознал опасности, которые подстерегают национальную литературу отдалённой страны: местный колорит, воодушевление, с которым утверждается собственный голос, ностальгические этнографические описания либо ангажированность, объясняющая миру наше своеобразие». Война, особенно война победоносная, неслыханно подстрекнула сознание пресловутого своеобразия и вместе с тем подорвала его.

Вот я и вернулся, проделал довольно утомительный вояж. Сначала прилетел в Чикаго, пробыл там около недели. Потом отправился к Юзу Алешковскому в Новую Англию. С Юзом поехали на машине в Нью-Йорк. Из Нью-Йорка в Принстон, где на вилле Мигдала (сына известного физика) происходило выступление Юза. Оттуда в назад к Юзу, пробыл у него некоторое время, потом вернулся самолётом в Чикаго и жил там ещё неделю. Из Чикаго полетел в Вашингтон, прожил пять дней на второй квартире Джона Глэда — он называет её офисом, — и, наконец, в Европу.

США — страна довольно тяжёлого климата, почти всё время, кроме последних дней в Вашингтоне, стояла жара, особенно душная в Принстоне. В Чикаго я помогал Лоре пасти внуков (одному семь лет, другому два года), но, конечно, побывал, в который уже раз, в замечательном Institute of Art. У Юза слушали прекрасную музыку, угощались его кушаньями, ездили к океану; как всегда, я с удовольствием слушал его разглагольствования. Подумать только, как сложилась жизнь, — мне кажется, я ещё совсем недавно прыгал по шпалам в колонне заключённых. Ты скажешь — неужели других воспоминаний не осталось от России?..

В Нью-Йорке посетили Metropolitan Museum, огромный, вероятно, самый богатый в мире музей, там я уже бывал. В Вашингтоне я был впервые. Это изумительный город, просторный, чистый, зелёный и величественный. Совсем непохожий на другие американские города. Когда видишь мосты через реку Потомак или стоишь на ступенях перед главным входом Западного здания National Gallery of Art, — справа за купами деревьев Обелиск, налево Капитолий, — охватывает восторг перед этой красотой, несколько неприличный в моём возрасте.

На этом путешествии не закончились. Я собираюсь ехать на ярмарку во Франкфурт (с 7 по 13 окт.), потом в Майнц: конференция «Русская литература в изгнании». Потом ПЕН-сборище в замке Банц под Бамбергом. Не такие далекие поездки, но всё же.

В Чикаго я, среди прочего, читал «Glasperlenspiel» — что-то тянет вновь и вновь к этой книге; перечитывал Кафку, «Die Verwandlung», поразительная вещь, и как написана! Я помню, как я приехал из деревни, сто лет назад, готовиться к экзамену в медицинскую аспирантуру и решил, наконец, прочесть в Ленинской библиотеке «Превращение», но почему-то боялся, что текст окажется запутанным, и выписал французский перевод (русского тогда не существовало), думая, что французский текст, как обычно, разоблачает немецкую мистику. Между тем никакой мистики не оказалось.

...Вернувшись в Мюнхен, я через несколько дней поехал на книжную ярмарку во Франкфурт, куда, как ни странно, меня пригласили из Москвы (и даже поместили, неизвестно за что, в пятизвёздочном отеле), и пробыл там от начала до конца. Последнее путешествие было в монастырь Банц возле Бамберга: собралась в очередной раз ПЕН-братия. Огромное, с двумя башнями, здание замка-монастыря высится на горе над долиной Майна, по утрам всё в тумане, затем постепенно прорезывается солнце, и открывается вся сказочная страна.

Конечно, все эти Tagungen и ярмарка с приёмами, речами, «круглыми столами», с шумом и громом, в сущности говоря, труха, потеря времени. Всё же мне было интересно. На франкфуртской Buchmesse я бывал много раз, когда-то, я разумею наш бывший журнал, мы участвовали в ней раза два, но в те времена стенды стоили много дешевле; в этот раз, однако, происходило нечто не совсем обычное, титульной страной (Gastland) была Россия. Приехало не то 130, не то 150 писателей, я получил возможность увидеть многих знаменитостей. Настоящая vanity fair, ярмарка тщеславия.

...Я понимаю, что значит быть эмигрантом: это не значит жить в чужой стране, ведь страна постепенно и незаметно перестаёт быть чужой; зато чужими начинаешь видеть бывших соотечественников, осо-

бенно когда их много. Убеждаешься, что ничто из того, что теперь тебя окружает, ничто из того, чем ты теперь живёшь, их не интересует, что ты сам для них мгновенно становишься неинтересен, как только они почувствуют, что не могут извлечь из тебя конкретной пользы. Так что даже если они разговаривают с тобой, смотрят на тебя, они на самом деле смотрят мимо. Может быть, я преувеличиваю, а может, я и прав. На ярмарке я увидел такое большое количество гостей из России, какого давно не видел, несмотря на то, что русский язык (и русский мат) теперь услышать в наших местах не редкость. Пожалуй, общий итог скорее неблагоприятен, но вместе с тем — и вопреки предрассудку, который, возможно, мною владеет, — встречи и разговоры с отдельными и разными людьми оставили впечатление весьма приятное.

Всё происходило с немалой помпой, на первом этаже 5-го павильона, где под крупными вывесками помещалась Россия, толклось множество народу. Мне бросилась в глаза одна особенность. Все писатели российскийские, не исключая совсем даже неглупых и немало тёршихся за границей, таких, например, как Андрей Битов, выступая на разного рода круглых столах перед публикой, которая почти всегда была больше чем наполовину немецкой (все выступления переводились весьма квалифицированно), попросту забывали о том, что они находятся не в Москве среди себе подобных. Многословие, шуточки и подробности, не только непонятные, но и абсолютно неинтересные для иностранцев. Иногда, как это было с Виктором Ерофеевым, — откровенная пошлость. А ведь цель этих встреч была «наладить контакты», «сблизить культуры» и как там это ещё называется.

Были столы и «презентации». Небольшое немецкое общество собралось послушать о только что переведённой книге воспоминаний Александра Яковлева и поглядеть на автора, немолодого грузного дядьку с грубым и значительным лицом. Рядом с ним сидели известный социал-демократический политик на покое Эгон Бар, издатель книги и некто Фридрих Гитцер, переводчик, лицо, известное в Мюнхене. До перестройки этот Гитцер был то, что называется наш человек в Гаване; грязная личность. В публике, в первом ряду находился и произнёс хвалебное слово личный друг мемуариста Чингиз Айтматов, вельможный, дородный и, видимо, очень состоятельный писатель, странный какой-то человек, чьи книги, неизвестно на каком языке написанные, здесь с успехом издаются. Раньше он выступал в качестве рекламного образца небывалого расцвета культуры советских национальных республик. Похож на крупнокалиберного прохиндея. Я помню, как я был однажды на его вечере, до всех событий. Гитцер сидел тогда рядом с ним, вечер происходил на мюнхенской окраине, в зале, принадлежащем коммунистической партии, которая теперь куда-то сгнула. Сочувст-

вующая молодёжь заполнила зал. В дверях выперли, не дав ему войти, корреспондента ZDF. Гитцер и Чингиз Айтматов вели себя отвратительно, при этом Айтматов говорил так, что трудно было поверить, что это интеллигент и даже писатель.

Во Франкфурте, во время дискуссии на тему о мемуарной литературе в современной России, произошёл небольшой скандал. Я сидел (как участник, не зря же меня пригласили) рядом с Анатолием Найманом, который говорил о своей новой книге; едва он успел, со стаканом воды в руках, закончить, как сзади подошёл какой-то хмырь, немолодой, — потом оказалось, что это тоже писатель и его знают, — громко сказал: «Найман — лжец, клеветник» и ещё что-то в этом роде и отвесил моему соседу пощёчину. Вода расплескалась. Дон Педро Алешковский (есть такой писатель, племянник Юза) крикнул с места: «Это — успех!». За другим «столом» (и в другом зале) Татьяна Толстая, полная, величественная дама, страшно разгневалась в ответ на какую-то вполне безобидную критику Гасана Гусейнова и отчитала оппонента, как заправская классная дама. На встрече, посвящённой современным проблемам, И. Прохорова, привлекательная молодая женщина, очень напористая, издательница «Нового литературного обозрения», говорила о том, что в наше время смешно делить литературу на массовую и элитарную. Теперь же всё едино. Эти рассуждения я слышу уже много лет. Станным образом никто или почти никто в России, включая докладчицу, не произносит слов, которые в данном случае являются ключевыми: рынок, коммерция, прибыль. Никто не решается сказать, что речь идёт о капитуляции перед рублём и варварством. Вместо этого тебе рассказывают о том, что такой-то серьёзный писатель пишет детективы, как будто детективный сюжет и есть окончательное доказательство того, что ров (словечко Лесли Фидлера в статье 30-летней давности), отделяющий серьёзную литературу от пошлятины, заспан раз и навсегда.

Говорила она, в точности воспроизводя интонации Бори Гройса, главного теоретика этой компании, сидевшего тут же. Сам Гройс толковал о сталинизме и советской власти, которые представляют собой не что иное как художественный проект, не хуже и не лучше всякого другого. После этого и уже под конец выступила с места Мариэтта Чудакова, с которой я потом, во время банкета в ресторане, познакомился и проговорил весь вечер. Эта женщина, умница с грубым, мордовским каким-то лицом, обладает неизъяснимым шармом. Она не то чтобы возражала Прохоровой и Гройсу, но стала говорить о том, какой была реальная жизнь в СССР, какой была её собственная тяжёлая жизнь, и, я думаю, всем стало ясно, что за чушь вся эта болтовня о художественном проекте и сталинизме как авангардизме.

Ты спрашиваешь, о чём я разговаривал с разными людьми на ярмарке во Франкфурте. В этой суматохе разговаривать о чём-нибудь серьёзном невозможно. К тому же вечно приходится спешить: все хотят успеть на какое-нибудь очередное толковище. Мне было очень приятно повидаться с Борисом Дубиным (он преподнёс мне своё новое издание Чорана); с Аланом Черчесовым, некоторыми другими; о Мариэтте Чудаковой, с которой я прежде не был знаком, я уже писал. На приёме в доме, где обычно устраивает приёмы DVA, выступал старик Райх-Раницкий, блистал, как всегда...

Вчера позвонила из Нью-Джерси жена Виктора Перельмана и сообщила, что он умер. Как будто снайпер откуда-то из укрытия отстреливает то одного, то другого. Витя был моим старым (и первым, если говорить о литературе) издателем, ещё когда я находился в России, и после России, в разные годы; мы не то чтобы дружили, но время от времени возобновляли переписку. Три года тому назад с ним случился первый удар, он писал мне, что хочет перенести издание журнала в Москву, подыскал нового редактора — Л.Анненского, но с Анненским ничего не получилось. В конце концов журнал «Время и мы», после тридцати с лишним лет, закрылся, так как не нашлось никого, кто пожелал бы его перенять даже бесплатно. Всё это само по себе было достаточно грустно. А теперь эта смерть.

Конечно, имена, которые ты упомянул, — Регер, Пфицнер, Вольф — мне известны, и, например, не далее как на прошлой неделе мы были на пробном концерте в Баварской академии (перед главным выступлением в Nationaltheater) Вальтрауд Майер, недавно взошедшей звезды и в самом деле замечательной певицы, которую мы однажды слушали в Байрёйте: она пела Изольду в «Тристане и Изольде». В этот раз исполнялись песни Брамса, Шуберта и Гуго Вольфа. (Может быть, ты помнишь, что прототипом Леверкюна был не только Ницше, но и Г.Вольф, погибший от того же заболевания.)

Ты уверенно говоришь о самоубийстве Чайковского. А ведь это, в сущности, писано вилами на воде. Существуют довольно надёжные сведения о смерти от холеры (правда, высказывалось предположение, что он напился инфицированной невской воды сознательно). Кстати, я помню время — первые послевоенные годы, — когда Чайковский был необыкновенно популярен и любим, официально считался величайшим русским композитором, — в каждой области культуры и науки был свой Величайший. Популяризаторы лезли из кожи вон, доказывая, что в его музыке совершается «победа светлого начала», что *Allegro molto vivace* в VI симфонии, о котором ты упоминаешь, — пример та-

кой победы; и, разумеется, предпочитали не упоминать о том, что балеты и «Орлеанская дева» написаны на западные сюжеты, что музыка Чайковского вообще очень западная, «французская», но с отчётливым присутствием Шумана; конечно, ни слова об известных обстоятельствах его жизни и т.д. Был снят сусальный псевдобιοграфический фильм, где я помню такое место: какой-то мужичок бречит на балалайке, а наверху, в окне, Чайковский, замирая от восторга, слушает эту музыку, потом бросается к столу и пишет что-то народное. Смехотворно-выспренный эпигонский памятник перед консерваторией — это памятник не Чайковскому, а тому времени.

Да, конечно, работу прозаика трудно представить себе без более или менее интимного знакомства с музыкой. Так же как я не могу представить критика, чуждого музыке. Ведь музыка выражает всю полноту внутренней жизни человека, то есть на свой лад осуществляет высший проект литературы. Записанная по правилам нотной грамоты, музыка представляет собой пример того, как весьма строгая знаковая система сопрягается с крайне зыбким невербальным содержанием. Здесь есть некоторое сходство с астрологией.

Сегодня домашний концерт у одной приятельницы, собралось добрых три десятка слушателей. После музыки закуска и болтовня.

Играл и комментировал музыку Руди Шпринг, пианист и композитор, которого я уже слышал раньше. Играл Шуберта, Гайдна и Сибелиуса. И вот, когда я слушал фортепьянную пьесу D 946, знакомую мне вещь, написанную в год смерти и оставшуюся среди огромного вороха бумаг Шуберта, причём вторая часть была им зачёркнута (Шпринг показывал фотокопию автографа), — когда я слушал эту вещь, в которой затаённая тоска скрыта за бодрым ритмом Allegro, мне захотелось написать *нечто ни о чём*, нечто такое, что держалось бы «одной внутренней силой стиля» (как пишет в одном письме Флобер). Иногда чувствуешь усталость от прозы, — кто её, впрочем, не испытывал? Вопрос только в том, от какой прозы: собственной или от прозы вообще?

Усталость, чувство исчерпанности беллетристики с её жёсткой повествовательной структурой, сюжетным костяком, логикой, в сущности насильственной. Я писал о дисциплинированной прозе. Трудность того антижанра, о котором я сейчас говорю, как раз и состоит в том, чтобы удержаться на краю хаоса, куда, как с обрыва, тянет броситься, и-и-и... воспарить. В прозе тебя держат железные руки-крылья сюжетной повествовательности, необходимость рассказывать историю. А тут — полная свобода, опаснейшая близость отвратительно-бесконтрольной и безбрежной субъективности. Что скажешь по этому поводу?

Из писем к С. Майзель

(по поводу американского перевода повести «Праматерь», 2004)

Дорогая Сильвия, позвольте мне сделать несколько замечаний.

Название «The Mother of us all» кажется мне неудачным. «Праматерь» — это не наша общая мать или что-либо в этом роде. Скорее это мать-прародительница, праматерь всего сущего. Тут важны мифологические коннотации. Смысл моего заголовка — женщина, которая пробудила мальчика от ребяческого сна, от сна детства, женщина, как бы вторично его родившая. Я предоставляю читателю (и Вам) возможность толковать туманный заголовок как ему вздумается, но мифологический и сакральный смысл должен брезжить в сознании читателя. Этот смысл должен присутствовать и в английском названии.

Вы предлагаете другой эпиграф. Но Бокаччо не годится. «Декамерон» — вещь, написанная в совершенно другой тональности, комедийно-юмористической, фривольной; это не отвечает эмоциональной окраске моего рассказа, задаёт совсем другой тон. Кроме того, motto не служит для объяснения; его задача иная. Я взял свой коротенький эпиграф из стихотворения Киплинга, предпосланного роману «The Light That Failed», там он звучит рефреном к каждой строфе, и его тон очень соответствует тону и настроению моего рассказа: вечная тоска по матери. Пожалуйста, сохраните мой эпиграф.

«Кишук» — «щука». Подростки любят переименовывать фамилии, делать их значащими кличками. Но воспроизвести это в переводе, конечно, невозможно. Я согласен с Вашим переводом: Pike. Наконец, насчёт famous novel. (В русском тексте: «...статься невидимкой, как в известном романе».) Вы пишете, что американский читатель не поймёт, о чём идёт речь. Имеется в виду роман Уэллса (H.G. Wells) «An Invisible Man» — «Человек-невидимка». В России он хорошо известен, а в детстве я смотрел американский фильм по этой книге. Там есть место (и соответственно кадр в кино), когда Невидимка спасается от преследователей и оставляет на снегу следы босых ног. После слов об «известном романе» можно вставить имя автора.

Насчёт «ящичка». Ребята на дворе не сразу догадываются, что это такое, настолько это необычные, шикарные шахматы. Лакированная деревянная коробка, а что там внутри, ещё никто не знает. Мальчик по кличке Щука — сын важного папаши, которого все побаиваются (офицер НКВД — тайной политической полиции), и Щука охотно демонстрирует перед другими детьми свое социальное превосходство.

Рассуждения рассказчика о том, что слова с шипящими буквами «закljučают в себе угрозу»: таковы же и фамилия Кишук, и кличка Щука, то есть хищная, опасная рыба. Действительно, этот Кишук в даль-

нейшем становится причиной катастрофы. Дети обладают необыкновенной языковой и фонетической чувствительностью. Ничего не зная о репрессиях и терроре, они чувствуют, что их окружает страшная атмосфера, 1937 год. Как это всё передать в английском переводе? Может быть, Вам придётся немного отступить от оригинала и что-нибудь такое сказать о звучании фамилии Кищук для английского уха, найти какие-нибудь ассоциации, связывающие эту фамилию с опасностью, угрозой и т.п. Может быть, даже дать этому мальчику другую фамилию, придумать что-нибудь подходящее. И, наконец, самый простой выход — вообще выкинуть фразу-рассуждение о шипящих.

Теперь насчёт абзаца: «Было ли у меня самого ощущение...». Смысл его прост: первая любовь физиологически связана с пубертатным периодом и вместе с тем романтична, идеальна, то есть игнорирует физиологию, страшится телесного сближения.

В конце октября я должен быть в Америке — выступить (по-русски) в Wesleyan University в городке Миддлтаун, штат Коннектикут. Приглашение поступило от Mrs. Priscilla Mayer, славистки, приятельнице писателя Юза Алешковского и моей старой знакомой. Русское отделение устраивает конференцию в честь 75-летия Алешковского.

Я согласен с Вами, дорогая Сильвия, что это место («Не ждите от меня каких-нибудь откровений...») изложено невнятно. Мысль следующая: с одной стороны, физиология полового созревания, от которой никуда не денешься, а с другой — подросток переживает нечто такое, что объяснить в терминах физиологии невозможно и что отчасти даже противостоит физиологии, восстаёт против физиологии. Перекинуть мост, понять, что одно не противоречит другому, подросток не может. С одной стороны, все мы устроены более или менее одинаково, а с другой — каждому приходится начинать заново, нащупывать свой собственный путь в жизни, самому справляться и с физиологией, и с внезапно постигшей, как тяжёлая болезнь, детской, юношеской любовью. В этом заключается некая «хитрость», коварство нашей природы, некий подвох, словно посреди безмятежной жизни, детских увлечений (шахматы, марки) нам вдруг подставили подножку, и мы едва удержались на ногах. Для рассказчика этот кризис усугубляется тем, что он делает ещё одно открытие: кругом царит страх.

Ваша фраза «...but memory fools us and all we're doing is creating an illusion of the past», сама по себе очень удачная, всё же не совсем точна. Смысл этого абзаца, как я его понимаю, следующий: хотя я (рассказчик) отлично помню своё детство и отрочество, для меня невозможно снова

стать таким, каким я был в то время, ибо я отягощён тем, что происходило со мной впоследствии. Я взрослый и даже пожилой человек и невольно тащу опыт моей жизни в мою тогдашнюю жизнь, в моё прошлое. Поэтому я стилизую мои воспоминания, моё детство и юность. Сам того не замечая, я придаю моим воспоминаниям стиль моего теперешнего восприятия и способ теперешнего мышления. Я хочу честно рассказать всё как было, но я давно вырос и из этого детства, и из всей той, навсегда ушедшей эпохи. Я не могу его не осмысливать, не могу повествовать о моей полудетской любви так, как я рассказывал бы о ней, если бы оставался подростком.

«Вы никогда не решите, где кончается...»

Речь идёт о тонком сплетении условностей, навязанных обществом и воспитанием (девочка должна вести себя не так, как мальчик, играть в другие игры, интересоваться другими вещами и т.д.), с биологическим поведением, которое жёстко обусловлено физиологией, запрограммировано сексуальной детерминацией. С одной стороны, правила социального поведения в ханжеском пуританском социуме (власть общества), а с другой — то, что непосредственно связано с половой принадлежностью, заложено генетически. Разделить оба комплекса, понять, где кончается социальное и начинается биологическое, почти невозможно. Но в обоих случаях речь идёт о насилии над юным, вступающим в жизнь человеком. С одной стороны — власть общества с его полицейской нравственностью, ханжеством и лицемерием. С другой — «заговор желёз внутренней секреции»: внутренний процесс созревания. Восстать против общества так же невозможно, как бороться с собственной физиологией, с изменениями тела.

По мнению рассказчика, девочки справляются с этой коллизией несравненно легче, они приветствуют в себе начавшееся превращение ребёнка в женщину. Для них всё это — нечто естественное, само собой разумеющееся. Счастье жизни. Для мальчика, каким вспоминает себя рассказчик, это совсем не так: это стыд и ужас, катастрофа.

Девочка хочет стать женщиной. Мальчик боится стать мужчиной. Но это происходит — неожиданно, как молния с ясного неба, жестоко и неотвратимо.

Начинается рассказ о встрече и любви подростка и взрослой женщины. Необходимым фоном для этого романа являются повсеместное присутствие и тайная угроза политической полиции, конкретно — в лице мужа Ольги Варфоломеевны и её сына, по всей видимости готового идти по стопам отца.

Вам кажется, дорогая Сильвия, что история любви слабо связана с мыслями рассказчика о мальчиках и девочках, об инфантильности подростков, о детстве, которое (у мальчика) отчаянно сопротивляется взрослению и пытается спрятаться в своей детской крепости — в ми-

ре марок и шахмат. Я так не думаю. Рассуждения в начале рассказа — это необходимое предисловие, роковое предвестие того, что должно случиться. Все эти вещи тесно связаны. Эти чуждые, непонятные, почти враждебные девчонки-сверстницы внезапно превращаются в одну взрослую женщину, красота которой подобна электрическому току высокого напряжения. В итоге первая любовь едва не оборачивается гибелью подростка.

Слово «фараон» в значении полицейский в России употребляется только в переводной литературе (напр., в рассказах О'Генри). В русском сленге милиционер — «мент», «мильтон», в уголовном жаргоне — «мусор», множественное число «мусорá».

Нет, речь идёт не о милиции. По-видимому, семья рассказчика — евреи (хотя об этом нигде не говорится, так как в рассказе это не имеет значения), отец сохранил следы еврейского воспитания и пользуется иносказательно образами Библии. Под «фараоном» подразумевается Сталин. Телохранители фараона — это сотрудники НКВД. Один из них — отец Шуки. Из дальнейшего (работает по ночам) можно догадаться, что это следователь.

«То, что становится тягостным бременем для подростка...» Общеизвестно, что девочки созревают раньше мальчиков. Рассказчик прав. Но он пытается развить эту мысль. Он считает, что в пубертатном периоде, когда происходит ломка организма и меняются формы тела, девочки справляются с этим легче, проще мальчиков. По его мнению, девочки-подростки как бы уже заранее подготовлены к этим переменам и «вступают во владение полом» не так болезненно, как это происходит с мальчиками: подростки-мальчики неуклюжи, не уверены в себе, стесняются своего тела, не знают, куда деть руки, ноги и пр. Для девочек же, как он думает, тело, приобретающее женские формы, не бывает помехой, напротив — они гордятся этими переменами. Рассказчик вспоминает свои собственные переживания и считает их общим правилом.

Романтическая любовь подростка, переживаемая очень интенсивно, — не любовь, а влюблённость; не столько вожделение, сколько обожание. Телесные помышления, пробуждение пола воспринимаются как нечто стыдное, оскорбляющее любимую женщину и унижающее влюблённого. Прибавьте к этому, почти естественному в таком возрасте идеализму пуританского воспитания и гнёт общества, где секс табуизирован. Подросток чувствует себя как бы на крыльях, но в то же время стыдится своих чувств. Напомню Вам, что подростки-мальчики отличаются особенно обострённой стыдливостью. Его любовь — нечто тайное, скрываемое от всех (если узнают, мальчишки во дворе начнут его

высмеивать, родители накажут, учителя в школе будут его стыдить, читать ему нравоучения: «разврат», «рано тебе ещё думать о таких вещах» и т.п.). Короче, он будет осмеян и унижен. Не говоря уже о том, что речь идёт об увлечении взрослой женщиной, матерью его соученика. Он и сам мало помалу начинает видеть в своей любви что-то крайне неприличное, недозволенное, унижающее и унижительное. Это обратная и мучительная сторона его романтизма.

«Красота унижает, уничтожает...». Почему? Мне кажется, весь этот абзац достаточно объясняет фразу рассказчика. Перед явлением красоты окружающие ощущают свою неполноценность. Подросток не решается приблизиться к ослепительной красавице, какой она ему кажется, — это чувство знакомо и взрослому мужчине, но подросток переживает его впервые в жизни. Себе самому он кажется некрасивым, неловким. Он теряется, лишается дара речи. Как если бы богиня явилась к простым смертным.

Ваш последний вопрос: «sexual intercourse» или «naked sex»? Рассказчик — немолодой человек. Он находится в «приличном обществе», говорит с дамами. Он начинает с того, что ему трудно рассказывать свою историю благопристойным языком, «от которого, — добавляет он, — мы ещё не отвыкли здесь, вдали от России». (В современной России изъясняются на вульгарном жаргоне.) Рассказчик старомоден. Я думаю, что «naked sex» в его устах будет выглядеть слишком современно, слишком прямолинейно и грубо.

«...когда я вошёл следом за ней в большую комнату, полную ожидания».

Мальчик входит в комнату, где он уже был однажды и где прошлый раз произошёл смутивший его разговор о «поклоннике». Теперь его пригласили снова, и ему кажется, что сейчас что-то должно случиться, он ждёт чего-то. С улицы доносятся голоса, там осталось его детство, оно зовёт к себе, но здесь, где оба, мальчик и женщина, наедине друг с другом, — здесь, перед ней, среди роскошных вещей, которые смотрят на гостя с немым вопросом, перед зеркалом, похожим на омут (в русском языке óмут, яма на дне реки или озера, символизирует нечто тёмное, опасное для жизни и в то же время притягивающее; в омут бросали девушки-самоубийцы), — здесь должно что-то произойти.

«Подлинное крушение, конец детства, наступает, когда под ногами у вас расхочется земля, когда разверзается чёрный провал. Когда вы узнаете, что любовь не довольствуется обожанием и с ужасом убеждаетесь, что влюблённость оборачивается унижением для обоих, ибо немумолимо ведёт к телесному сближению, что любовь обречена кончиться половым актом».

Подросток догадывается, что его влюблённость, встреченная благосклонно, в конце концов приведёт их в постель, что это какой-то немолчаливый закон. И ему это кажется чем-то ужасным.

«Непристойное — это обратная сторона сакрального, священное становится непристойным, когда о нём говорят вслух <...> У нас нет языка, чтобы выразить то, что мы хотели бы выразить <...> О сексе можно говорить разве только языком мифа, но проклятье нашего века, нашего воспитания или, может быть, проклятье всей нашей цивилизации состоит в том, что мы воспринимаем миф всего лишь как иносказание».

Напомню Вам, что латинское слово *sacer* одначает и священный, и проклятый (у римлян — посвящённый подземным богам). Рассказчик хочет описать, как произошло первое физическое сближение, рассказать всё без утайки, но не находить для этого подходящих слов. Половой акт есть нечто священное, но если называть вещи своими именами, рассказывать всё как есть, как это было, получится непристойность. О сексе можно говорить лишь языком мифа. Но мы давно отошли от мифологии, перестали относиться к ней всерьёз, мы, взрослые, уже не воспринимаем миф как нечто живое, имеющее непосредственное отношение к нашему существованию, к живой жизни. Для нас миф — это просто сказка. Или способ обойти неудобные темы, ханжеская уклончивость, лицемерное иносказание.

Sacrilegious, по-моему, не подходит. Русское «непристойный», согласно Толковому словарю русского языка, — крайне неприличный, предосудительный. Откровенный разговор о сексе рассказчику по старой памяти, в силу его воспитания и оттого, что он находится в дамском обществе, кажется неподходящим, оскорбительным для окружающих, нарушающим правила хорошего тона.

Мне трудно решить, но, кажется, *the indecent* — самое подходящее слово.

«...мысль и память исчезают в эти мгновения, вроде того как у тонущего лёгкие заливаются водой. Пожалуй, это сравнение можно продолжить. Нашу кровать можно было сравнить с кораблём в океане. За окном всё сверкало и гроыхало, крупный дождь стучал в стекло».

Рассказчик старается передать свои ощущения. Он как будто захлебнулся и пошёл на дно. В это время за окном густые облака заволокли небо, стало темно, пошёл сильный дождь. Аналогия тому, что произошло с ним самим (семяизвержение). И далее продолжается эта цепь метафор: кровать — как корабль во время бури. Дождь стучит в стёкла квартиры. Они оба на качающемся корабле.

«*The indecent is the opposite of the deeply intimate*». Это неправильно, здесь другая мысль. «Другая сторона» — эта изнанка, наподобие изнанки платья. Непристойное — не противоположность, а другая сторона

священного, поэтому я и сослался на значение слов sacer, sacralis. То, что является сакральным, есть в то же время и непристойное, то, о чём не говорят. Такова сфера пола.

«Расколдовать демона». Представьте себе заколдованный лес, где водится нечистая сила. В нашем случае — это страх и невозможность говорить открыто,

«Полководец в юбке» — ферзь, королева (в шахматах). Слово ферзь происходит от «ферязь», длинное, наподобие женского платья, одеяние в средневековой Руси. Шахматная фигура напоминает женщину. Но она — главная наступательная фигура.

«Не ждите от меня каких-нибудь откровений, всё, что можно сказать на эту тему, давно сказано. Хитрость в том, что каждому приходится начинать заново. Видите ли, в чём дело: тот, кто думает, что открытие, которое совершает ребёнок, — можно было бы сравнить его с утратой веры в Бога, если бы мы не жили в атеистическом обществе, — тот, кто думает, что разоблачение тайны пола и есть тот рубеж, за которым кончается детство, — ошибается: можно запомнить все слова и приблизительно знать, что они означают, и оставаться, как прежде, ребёнком. Подлинное крушение, конец детства, наступает, когда под ногами у вас расходитя земля, когда разверзается чёрный провал. Когда вы узнаете, что любовь не довольствуется обожанием, и с ужасом убеждаетесь, что влюблённость оборачивается унижением для обоих, ибо неумолимо ведёт к телесному сближению, что любовь обречена кончиться половым актом».

Попробую объяснить ещё раз.

Пубертатный период, переживания подростка, — говорит рассказчик, — вещи известные, ничего нового я вам (то есть дамскому кружку) тут не открою. Но мальчик ничего об этом не знает. Даже если он что-то слышал от приятелей, читал в книжках, — это ничего не меняет. Ведь тут дело идёт не о ком-то другом, а о нём самом. Как все в его возрасте, он сосредоточен на самом себе; он открывает себя, и это открытие оказывается и очень важным, и достаточно болезненным. И вот, говорит рассказчик, особенность нашей природы, её хитрое устройство, обусловленное простым фактом: каждый из нас — суверенная обособленная личность, — состоит в том, что, хотя все более или менее похожи друг на друга, каждому приходится всё переживать заново. Каждый должен пройти этот путь в одиночку. Конечно, разоблачение тайны пола и половой жизни, которую взрослые скрывают от детей, наступает раньше, чем приходит пора полового созревания: мальчишки рассказывают об этом друг другу, девочки слышат эти рассказы от сверстниц ещё раньше. Но ошибка думать, что с этим открытием наступает конец

детства. Дети остаются детьми. Это открытие может дразнить любопытство, но остаётся формальным. Конец детства — это когда приходит первая мучительная любовь и вместе с ней догадка о том, что любовь, нечто высокое, — в конце концов приводит к чему-то (как думает подросток) позорному и унижительному. Мальчику, каким вспоминает себя рассказчик, это кажется катастрофой.

Из писем к Б.М. Сарнову

2006–2007

Дорогой Бен, я «устал» не от Толстого (это было бы смешно; думаю, что Вы меня не совсем правильно поняли), а от представления о том, что со времён Толстого и Флобера в литературе ничего существенно не изменилось. И уж, конечно, меньше всего я хотел глумиться над Толстым. Эпоха классической реалистической литературы ушла — вот всё что я хотел сказать. Попытки Толстого взломать эту парадигму, оставшиеся на периферии его творчества, свидетельствуют о том, что и ему было тесно в её рамках. Но в любом случае всё это давно не новость, ибо мы живём не только после XIX века, но и после модернизма, после авангардизма и т.д. И мои философствования о литературе тоже не притязали на особую новизну, равно как и попытки что-то делать в прозе, будь то «Далёкое зрелище...» или что-нибудь другое, на что Вы ссылаетесь. Ведь все эксперименты давно уже проделаны в эпоху литературно-эстетической революции. Напротив, я скорее «архаист», по терминологии Тынянова. Желание высвободиться из оков того, что Вы удачно назвали кондовым реализмом, было вызвано не экспериментаторским зудом, а тем чувством жизни, которое всегда побуждало меня писать, ощущением времени в разных его ипостасях, и как историческое время, и как время человеческой жизни; а также, может быть, влиянием музыки, которая непосредственно имеет дело со стихией времени. Посылаю Вам вместе со статейкой, о которой я упоминал, ещё один рассказик, правда, очень традиционный, но который, может быть, убедит Вас, что я ещё не совсем порвал с жизнью.

...На этот раз всё получилось прекрасно. Текст дошёл в самом лучшем виде. Естественно, я сразу же прочёл — не без удовольствия — статью «И статья достойным доцента...» Она напомнила мне гневные инвективы нашего друга Коржавина, недавнюю статью Юры Колкера «Скопец в серале» о покойном М.Гаспарове. Вспомнилась и статья Лотмана «Литературоведение должно быть наукой», где он полемизирует с Палиевским и Кожинным по поводу структурализма.

В Вашей статье, как всегда, много забавного, увлекательного и поучительного, и всё же она привела меня в некоторое замешательство. Желая узнать поточнее, «что это за штука такая — постструктурализм», Вы обращаетесь к якобы авторитетным источникам. К кому же? К книге Баркова, которая никакого отношения с структурализму и постструктурализму не имеет. И дальше целые страницы о смехотворных толкованиях «Мастера и Маргариты» и т.п. Вольно Вам сражаться с жалким противником.

Я не понимаю, зачем понадобился Корней (не проявлявший, если не ошибаюсь, интереса ни к структуральной поэтике, ни к предшественнику западного структурализма — Опызу и русскому формализму) с его саркастическим комментарием к А.К. Толстому. Почему Вы решили, что структуралисты так уж обожают всяческие «тайны». Ведь все эти «таинственные сообщения», «приобщения к таинству» и т. п. — достойные бульварного псевдолитературоведения, а отнюдь не структурализма и постструктурализма. В том-то и дело, и беда, что для Вас все одним миром мазаны и нет надобности разбираться, чем одно отличается от другого.

Я не поклонник и не последователь философа и литературоведа Игоря Смирнова (знаком с ним давно; он, кстати, профессор не в Мюнхене, а в университете города Констанц на Боденском озере), сногшибательное открытие прототипа Комаровского меня несколько не интересует. Но вопрос ставится шире, и Вы особо это подчёркиваете. Вас удивило обилие специальных словечек в тексте Смирнова, «все эти дискурсивности, эксплицитности, имплицитности, релевантности, субституирования...» Но это же естественно, любая наука пользуется своим конвенциональным языком, потому что он облегчает общение с коллегами по цеху: эти словечки — термины со строго определённым значением. У Чехова известная Вам дама говорила: это они свою учёность показать хотят и завсегда говорят о непонятном, а Толстой уверял всех, что «почечуй» ничуть не хуже гемороя. Я помню, как наш профессор нормальной анатомии чуть не лишился чувств, когда на экзамене, на первом курсе, какой-то мальчик, уроженец провинциального городка, назвал тонкий кишечник «кишками» с ударением на первом слоге.

Вопрос, следовательно, таков: является ли университетское литературоведение — и постструктурализм как одно из научных направлений — наукой? Добавляет ли формальный анализ художественного текста что-либо к пониманию литературы? Я думаю, что да, очень даже добавляет и при этом несколько не мешает эстетическому восприятию текста, любви к литературе, наслаждению литературой. Но я мало начитан в таких специальных областях, как структурализм, постструктурализм или деконструктивизм, и могу только сказать, что серьёзная оценка и серьёзная критика предполагают как минимум основательное знание предмета. В Вашей статье это знание не чувствуется.

Игорь Смирнов — автор нескольких книг по философии (одну из них я читал лет 10 тому назад) и, собственно, начинал как философ. Его литературные вкусы и ориентации — он поклонник В.Сорокина, всерьёз относится к Пригову и т.п. — мне чужды. Всё же я думаю, что Ваша фраза «Человека, пишущего о русской литературе на таком птичьем языке, близко нельзя подпускать ни к Пушкину, ни к Пастернаку» — очевидный перехлёст. Человек старается по-своему и в рамках (или тенётах) своей профессии анализировать литературные тексты — и пусть его. Вам заранее известно, что тексты, написанные невозможным языком, — чужь, и Вы даже не пытаетесь вникнуть, о чём идёт речь. Между тем в рассуждениях о «бессубъектной субъективности» я нахожу кое-что для меня интересное.

Если уж браться за постструктурализм (которым я никогда специально не занимался), то, я думаю, нужно начинать знакомство с более яркими именами. Вы помните, как мы с Вами были в книжном магазине, где я купил том статей Ролана Барта. Он прошёл сложный путь и, кажется, стоял на пороге преодоления постструктурализма, когда погиб от несчастного случая на улице. Вот кого стоило бы почитать. Помимо всего прочего, это блестящий (в своём роде) стилист.

Но, в конце концов, Бог с ними. Чем Вы сейчас заняты? Как поживает Лазарь Шиндель? В прошлом, теперь уже позапрошлом, году я предлагал редактору «Вагриуса» Елене Шубиной обратиться к Л.Лазареву с просьбой написать рецензию на мой роман «К северу от будущего». (Рецензия была бы, вне всякого сомнения, отрицательной.) Как раз в это время вышел роман Гюнтера Грасса в русском переводе, под неверно понятым и нелепым названием «Траектория краба». Роман — о потоплении немецкого парохода «Вильгельм Густлофф», история, о которой в Германии долгое время не решались говорить вслух. Лазарь опубликовал на него рецензию, опять же критическую, то есть такую, какую и должен был написать участник войны. А так как в моём романе речь тоже шла одним боком о войне и гибели «Густлоффа», а другим — о филологическом факультете Московского университета (там даже был персонаж, прототип которого — ныне покойный Яков Билинкус, комсомольский или партийный активист, Лазарь его, конечно, помнит), то я предполагал, что книжка моя, пусть и в отрицательном смысле, заинтересует Шинделя. К сожалению, как сообщила мне редакторша, он ей отказал.

...Пишу Вам между двумя поездками. Миддлтаунский университет устроил маленькую конференцию в честь 75-летия Юза Алешковского, на которой я читал «лекцию» (так это называлось) о со-

временной литературе. Теперь я должен буду поехать на собрание ПЕН, куда, может быть, и не стоило бы ездить: больше всего, как Вы знаете, я люблю сидеть дома.

Я прочёл «Огонь с неба» ещё до отъезда в Америку, решил отложить и сейчас перечитал. Нечего и говорить о том, что моё отношение к нашему пророку не отличается от Вашего. Оно сложилось ещё до отъезда из СССР. Логика национализма должна была привести его к юдофобству (или наоборот). Тем не менее я долгое время отказывал ему в чести быть антисемитом. Лора была другого мнения, я даже спорил с ней. Эта иллюзия в конце концов отпала.

Кстати, я был свидетелем быстрого угасания славы Солженицына в Германии в 80-е годы. О нём постепенно перестали упоминать, чему способствовал не столько его слог (в западных переводах он выглядит вполне прилично), сколько идеология. Не знаю, переведено ли его последнее двухтомное сочинение; думаю, что оно окончательно погубило бы его репутацию. Что говорить — старик под конец сильно обкакался.

Язык его произведений был то, что меня больше всего отвращало. Парадокс в том, что в нём выдаёт себя, как мне кажется, влияние советской орнаментальной прозы 20-х годов, а ведь это было время, когда русский национализм был вовсе не в чести. Вы правы, лучшее, что он написал, — «Один день Ивана Денисовича», можно надеяться, что эта вещь останется в литературе. Это само по себе уже очень много. О грандиозном «Архипелаге» я ничего не могу сказать, книга написана не для таких читателей, как я. Романы будут, вероятно, забыты, о Колёсах и говорить нечего. Публицистика отвратительна. Поражает трудоспособность писателя, целеустремлённость, неиссякаемая жизненная энергия и граничащая с фанатизмом убеждённость в своей миссии. Вы об этом хорошо написали.

В «Огне с неба» много забавных подробностей, подчас комических. Посещение великих писателей с целью собрать подписи, стол, за которым не стыдно было бы восседать королю Людовику XIV, и пр. — великолепны. Я думаю, что эту вещь будут читать с удовольствием. И в том, что Вы пишете о жидоестестве, найден подобающий тон. Если же позволить себе «критические замечания», то их два. Первое — это некоторое многословие, избыточность тех же подробностей, несущественных оговорок, засоряющих текст, и т.п. Второе: мне показалось, что Вы порой впадаете в тон кухонного междусобойчика. Все эти «Эмка», «Лёва», «вошла моя жена» и т.п. создают впечатление рассказа для своих, между тем как вещь предназначена для читателей, которым до всего этого нет дела.

Вы помните, как в Переделкине, в 93 году, когда я первый раз через одиннадцать лет после бегства из России приехал в Москву и при Вашем содействии провёл несколько дней в доме писателей, мы с Вами гуляли по аллее и спорили о модернизме, о мнимом или действительном прогрессе в литературе и прочих подобных материях. Я привык внимательно прислушиваться к Вашим суждениям — в конце концов, Вы были моим учителем — и поэтому запомнил этот разговор. Спор был отчасти возобновлён Вами в послесловии к книжке «Допрос с пристрастием» и, в сущности, продолжается, лишь слегка меняя направление.

Отвлекусь на минуту. Я тут как-то случайно наткнулся на редакционную статью в 125-м номере журнала «Континент» за подписью Евг. Ермолина (я с ним не знаком), предисловие к подборке произведений молодых писателей. Выражается надежда, что новое поколение вновь проникнется утраченным ныне сознанием высокой миссии писателя, сумеет восстановить престиж слова, возродить благородные традиции классической русской литературы. Я даже выписал несколько цитат, например:

«...нигде литература не была так генерально, так нераздельно встроена в судьбу народа, страны, национальной культуры. Мне не раз приходилось говорить, и на этом твердо стоит редакция “Континента”, что литературоцентризм есть парадигма русской культуры; литература в России давно стала средоточием духовной жизни, главным текстом культуры и главным ее контекстом. Это наша наиболее достоверная и убедительная *родина*. Русская литература и есть Россия в ее основном содержании. А Россия есть прежде всего — русская литература».

Статья, вообще говоря, — ничего особенного: всё то же, с привычным националистическим привкусом: самообольщение, национальная риторика, ограниченность, повторение навязшего в зубах. И всё же в ней чётко выразилось нечто имеющее отношение к нашей контроверзе.

Сетования на нынешнюю ситуацию в России, на совокупный облик культуры и литературы, видимо, справедливы — более или менее. Рецепт спасения — вернуться к былому величию, к прежней общественной роли писателя. Русская классическая литература — вечный ориентир и образец. Прекрасно. При этом, однако, игнорируются по крайней мере два обстоятельства. Первое — то, что при всей нашей привязанности к классикам (без которых, собственно, невозможно жить) писатель, если он не хочет остаться эпигоном, не может писать так, как писали в XIX веке, не может видеть страну и мир глазами классиков. И второе, связанное с первым: мы живём (или, как я, жили) в стране, которая, хоть и называется Россией, имеет слишком мало общего с Россией Тургенева, Толстого, Достоевского и Чехова. Что осталось? Вы когда-то приводили

слова старого эмигранта: «Только снег». Всё это ведь тоже триюзмы, не правда ли. И ныне страна стремительно превращается в массовое коммерциализованное общество, нечто совершенно новое в истории, общество, которое уже сформировалось после войны в Соединённых Штатах, в Западной Европе, в Японии и в котором, между прочим, место и роль писателя никак не может быть таким, как прежде. Нет, роман не умер, поэзия не умерла, одряхлевших корифеев сменяют новые таланты. Но место серьёзной литературы в обществе цивилизованного плебса — на обочине, в лучшем случае на правах почётногo иждивенца, и с этим ничего не поделаешь.

Между тем литература шагает своим путём (звучит несколько выпендренно). Слово «прогресс», разумеется, тут не подходит. Но, как всякое искусство, литература не терпит повторения: повторение — это ложь. И так же, как литература отходит от былых образов и ориентиров, точно так же уходит прочь от вчерашних верований, представлений, методов и литературоведение. Более того, меняются самые принципы профессионального чтения литературных текстов.

Вы нашли много неприемлемого и даже попросту смехотворного в писаниях второразрядных представителей современного литературного структурализма и постструктурализма. Моя претензия к Вам, собственно, — не по поводу тех или иных профессоров литературы. Ведь им можно противопоставить и другие, более весомые имена. Допустим, работы Лотмана, Вяч. Вс. Иванова, В.Топорова. Или (это только пример) превосходную книгу Томаса Венцловы «Неустойчивое равновесие. Восемь русских поэтических текстов» с предисловием под заголовком, который уже сам по себе должен был бы вызвать у Вас саркастическую усмешку: «О пансемантичности поэтического текста и способах его прочтения». В «Воплях» — спросите у Лазаря, он, наверное, помнит — была когда-то (1989, 12) помещена статья Ольги Вайнштейн «Леопарды в храме (Деконструкционизм и культурная традиция)», её и сейчас читать интересно и, думаю, полезно.

Нет, моя претензия в Вам — та, что за примерами, которые Вы приводите, идёт ли речь о Смирнове, о Жолковском или даже о самом Гаспарове, проглядывает, если я не ошибаюсь, общая тенденция, принципиальное неприятие всей этой линии. Между тем она прослеживается весьма отчётливо, начиная с Опояза и далее через структурно-семиотическую школу к постструктурализму, к деконструктивизму. Вы упомянули мимоходом о фрейдистском толковании литературы. Это другое русло. Но и фрейдизм, и вслед за ним юнгианство, перестав быть модой, оставили нечто важное, совершили некую перемену в умах не только литературоведов, но и самих писателей. То же можно сказать о раннем Шкловском, о Якобсоне, о Ролане

Барте, о Ж.-Ф. Лютаре: как бы ни судить об их трудах, после них невозможно читать тех же классиков прежними глазами. Совершенно так же, как невозможно (повторяю фразу Зоценко из Вашей книги) писать, «как будто ничего не случилось».

Поп своё, чёрт своё. Наши точки зрения более или менее прояснились, каждый вновь утвердился в своей правоте, но, очевидно, не всегда хорошо понимал точку зрения оппонента. Ваш подход к литературе, основанный на оценке талантливости и того, что Вы называете подлинностью, отличается от литературоведческого (в данном случае структуралистского) подхода примерно так, как вера отличается от теологии. На том, что структурализм в его применении к литературоведению есть наука и, как всякая наука, использует собственный подход к материалу, собственный метод и по возможности точные дефиниции, настаивал, в частности, Лотман в полемике с Кожинным и Палиевским, чья точка зрения совпадает с Вашей. (На эту статью Лотмана я уже ссылался — она так и называется: «Литературоведение должно быть наукой». Была когда-то напечатана в «Воплях» 1967, 1, вошла в известный Вам том «О русской литературе». Через сорок лет, когда классический структурализм уже позади, видно, что она не утратила актуальности.) Ваша точка зрения очевидным образом не является научной, что, конечно, не лишает её легитимности.

Но ведь и я не человек науки. Мне лишь кажется странным, что приоритет таланта Вы противопоставляете приоритету «направления», которого (приоритета) я будто бы держусь. Если бы мы постарались уточнить, насколько это возможно, что именно подразумевается под талантом, то, чего доброго, оказалось бы, что и в этом пункте наши представления, а вернее сказать, наши вкусы не вполне совпадают. Ещё труднее, я думаю, было бы сформулировать, что, собственно, мы понимаем под «подлинностью» (попробуйте-ка). Добавлю, что я никак не могу отнести себя к приверженцам или последователям того направления, которое Вы имеете в виду. Ведь Вы, упомянув (к примеру) Сашу Соколова, подразумевали радикальное авангардистское новаторство, не так ли? Экспериментальное творчество разного рода продолжается и сегодня. Но звёздный час авангарда, я в этом уверен, остался позади, далеко позади. Лет 8–10 тому назад в Баварской академии изящных искусств состоялся вечер концептуалистов — Пригова, Рубинштейна и других; славную компанию представил наш друг Игорь Смирнов. Когда всё окончилось, я встретил в фойе тогдашнего президента академии Гейнца Фридриха и спросил, как ему это понравилось. Он ответил: у нас это было в 50-х годах. Но и тогда ведь авангардизм был уже на излёте. Лабораторная

работа Льва Рубинштейна, его «карточки» представляли определённый интерес. К нему (в отличие от Д.Пригова) можно было отнестись всерьёз. Жила быстро оказалась выработанной.

Короче, что я хочу сказать? Нет никакой необходимости писать как Джойс, как Андрей Белый или кто там ещё, да это и невозможно. Талант писателя — именно талант, чутьё, дар и оригинальность художника, а не отвлечённые соображения, воспрепятствуют повторению. Вдобавок, увы, на дворе другое время. Но невозможно представить себе сегодня сколько-нибудь серьёзного писателя, который так или иначе не учитывал бы в своём творчестве грандиозный опыт Джойса, остался бы глух к наследию сюрреализма, ничего бы не знал и не хотел знать о Кафке, об Андре Жиде, о Прусте, о Томасе Манне, — я называю, как видите, не только авангардистов, — прибавьте сюда и Платонова, и, пожалуй, обериутов. И если мы вправе предъявить известные претензии к Гроссману (которого оба ценим), то именно оттого, что для него литература остановилась на Льве Толстом.

Когда-то я прочёл в «Рабочих тетрадах» Твардовского любопытный отзыв о «Докторе Фаустусе»: глубокомысленное, хитроумное, рафинированное сочинение, но — продукт кабинетного, головного творчества, далёкий от жизни. Твардовский, которому ведь не откажешь в литературной искущённости и который сам говорил о себе, что он всю жизнь был усердным читателем романов, даже не догадывался, что этот роман о композиторе — в высшей степени актуальное, жгучее и заглядывающее в самый корень эпохи произведение.

Теперь ещё одно — несколько другая тема. Я обратил внимание на такое место в Вашем письме:

«Происходящие перемены — превращение России в нормальную страну вроде Японии (если таковое произойдет), — будут благом и для искусства: оно, наконец, займёт в жизни россиян то место, которое должно ему принадлежать. Художник перестанет быть “властителем дум”, то есть — агитатором и пропагандистом, “ассенизатором и водовозом”».

Эх, Бен, Вашими бы устами да мёд пить. В том, что Россия превращается в «нормальную страну», Вы и сами, по-видимому, не уверены. Но если да, то в какую? Подразумевается, как я понимаю, скорее Западная Европа или Америка, более знакомые нам. Разумеется, то царство, из которого мы вылезли или, как я, унесли ноги, — весьма благодарный объект контрастного сопоставления; тут терять было нечего, и слава Богу, что оно рухнуло. Но речь идёт о обществе, которое Вы называете нормальным. Считать его нормой можно разве только в том смысле, что оно неизбежно.

В некотором смысле мы угодили из огня да в полымя. Из советского средневековья мы переселились в эпоху небывалой власти

рынка над литературой. То, что называлось Читателем, в массовом обществе называется: Рынок. Не критики и уж, конечно, не писатели определяют реальный сиюминутный облик литературы. Это делают издатели. И если говорится о вымирании культурного читателя, то это просто означает, что для писателя, ориентированного на требовательных читателей, закрыт рынок.

Рынок не просто обеспечивает режим наибольшего благоприятствования двум главным разновидностям кольпортажа — примитивно-развлекательной и скандальнейшей. Он целенаправленно вытесняет всё, что превышает определённый уровень. Рынок обладает тенденцией к неограниченной экспансии. Капитализм в сегодняшней России — Вы не могли этого не заметить — следует моделям минувших веков: это рваческий, нацеленный на сиюминутную прибыль капитализм в условиях так и не ставшего на ноги правового государства. Всё, что противостоит рынку, попросту сметается с пути. *L'art pour l'art*, искусство ни для чего: только для продажи. Это долгая тема, не хочу вдаваться в подробности; они известны Вам лучше, чем мне. На Западе литература — часть гигантской индустрии развлечений. Главный конкурент — телевидение. Это означает, что уровень того и другого должен непрерывно понижаться. В России за последние годы, насколько я могу судить, это принимает особенно грубый, драстический характер.

Литература не может себя окупить. Литература, приносящая прибыль, — почти всегда мусор. Значит, кто-то должен поддерживать серьёзное литературное творчество: государство, муниципальные власти, фонды поощрения культуры, просвещённая буржуазия. Очевидно, что рассчитывать на это в современной России весьма трудно. Что же делать? Ничего не делать. Или, вернее, делать своё дело. Нести свой крест и веровать, как говорит чеховская героиня. Веровать — во что?

В 1927 году Гуго фон Гофмансталь произнёс речь, которая называлась «Литература — духовное пространство нации». И он же написал в одном письме вскоре после распада Австро-Венгрии: «Мы все осиротели». Он хотел сказать: инфляция разорила меценатов, которые нас кормили. Некому больше содержать высокое, рафинированное искусство слова, заведомо неспособное жить на подножном корму. Вы скажете, что оно всё же не погибло. Да, — как ни удивительно Порвав с «народностью», мы вступаем в эпоху инкапсуляции литературы. Впрочем, эпохи демократизации высокой культуры — исключение, а не правило.

Дорогой Бен, я подумал о том, что трудность нашего спора состоит в том, что он постоянно наталкивается на две препоны. Первая — принципиальная разница не только и не столько в содержании, сколько в характере высказываний. Вы авторитарны — в том

смысле, в каком это слово применяется к текстам: ясность, определённая, однозначность, категоричность. Отсутствие готовности подвергнуть сомнению собственный тезис. Невозможность какого бы то ни было плюрализма; отсутствие того, что можно было бы назвать фасеточным зрением. Это не порок, это особенность. В моих суждениях, несомненно, тоже присутствует авторитарный тон, но в меньшей степени. Второе, более фундаментальное обстоятельство — разница в стиле и устройстве мышления. Не будучи учёным литературоведом, я всё же (чему, возможно, способствует школа естественных наук) пытаюсь понять резон научного мышления. Для Вас этот резон неинтересен или отсутствует.

Правда, Вы признаёте оправданность научной (объективной) истории литературы, а также со скрипом допускаете возможность научного исследования психологии творчества. И на том спасибо. Но это опять-таки не относится к делу. Речь идёт о другой отрасли знания, о другом объекте исследования, о других методах. То литературоведение, о котором у нас идёт речь, — совершенно иное, нежели то, чему учили 60 лет тому назад меня на филологическом факультете, а Вас — в Литературном институте. Точно так же, как оно далеко от салонного литературоведения, от импрессионистической критики и эссеизма.

Смешно, конечно, думать, что Якобсон, Лотман, Тименчик, Гаспаров, как и Жан-Франсуа Льюгар, Ролан Барт, Жак Деррида и tutti quanti, — что все эти люди не умеют наслаждаться великой прозой и поэзией, неспособны ценить и распознавать художественность, отличать литературу от макулатуры. Не говоря уже о том, что они и сами превосходно владели пером. Смешно и странно, повторяю, думать, что они путают Божий дар с яичницей. Но так как Вы обильно потчуете меня сравнениями, то и я не удержусь. Врач-гинеколог, как и всякий мужчина, видит красоту женщины и худо-бедно отличает хорошенькую от дурнушки, тем не менее, когда он занят своей профессией, его внимание сосредоточено на другом. Когда Гаспаров — или кто там — говорит, что его как учёного не интересует, хорош или плох изучаемый поэт, точнее, поэтический текст, то это не желание эпатировать традиционалистов, подразнить какого-нибудь яростного противника структурализма вроде Эммы Коржавина. Нет, это напоминание о смысле и предмете той дисциплины, в которой он работает. Предмет его исследований — текст, точнее, структура текста, в принципе любого. Это может быть и газетная статья. При этом, кстати, как раз и выясняется, чем структура художественного текста отличается от структуры любого другого — политического, церковного, научного, делового. Вас смущает, среди прочего, сухость и формализм структурного анализа (к чему подсчитывать такие-то элементы стиха и т.п.). На это ответил Томас Венцлова в предисловии к книжке, о которой я упоминал: «Строгий науч-

ный анализ может повредить поэтическому тексту не более, чем астрономия — звёздному небу». Не может он и возвысить ущербный текст, как в случае с бедным Кобзевым.

По поводу рассуждений о рынке. Что касается нынешней ситуации в бывшем Советском Союзе, культурного пейзажа в целом, — тут Вам, конечно, виднее. Мне помогает то, что я слышу, о чём читаю. Сошлюсь, в частности, на статьи о социологии современной российской литературы и культуры Льва Гудкова и особенно Бориса Дубина. Они написаны вполне нейтрально, без гнева и пристрастия. Отчасти поэтому они производят такое сильное, просто-таки ужасающее впечатление. Нас с Вами, Бен, объединяет общая точка отсчёта — славное советское прошлое. Вы пишете о том, что предпочли бы любой рынок государственной опеке над писателями и дирижированию литературой. Но об этом речи не идёт. Вернуться к советским порядкам, как и к советскому строю в целом, невозможно. Этот вопрос закрыт, хотя и с демократией дело швах.

Моё небольшое преимущество состоит в том, что я ближе знаком с обликом массового потребительского общества, которое в России пока ещё лежит в пелёнках. Но кое-что уже усвоено довольно прочно. Отсюда вытекает и то, о чём я слабо и недостаточно писал прошлый раз. Стремительное порабощение культуры коммерцией. Сопrotивляться этому, разумеется, тоже невозможно (поэтому и разговор о капитализме как об опасности или, напротив, как о ястре спасения нерелевантен. Другого пути нет). Остаётся вегетировать в кювете. Отпереть заржавленным ключом двери заброшенной башни слоновой кости.

Вообще я ничего не игнорирую из того, о чём Вы мне пишете. Я это принимаю к сведению. Должен Вам сказать, что я далеко не всегда бываю уверен и в собственных суждениях. Стоит мне утвердиться в какой-то мысли, придти к какому-то «взгляду», как я тотчас начинаю думать: а ведь это можно было бы и опротестовать. На некоторые из Ваших замечаний я не знаю, что ответить. Например, на то, что Гаспаров расцеловал стихи Мандельштама как агитку. Вероятно, мне следовало бы прочесть, что именно он написал; у меня под рукой нет этого текста. Подозреваю, что дело обстоит не так однозначно. Может быть, он хотел подразнить читателей, показать, что возможно и такое толкование, не зря же он прошёл школу деконструкционизма, которая учит вскрывать в тексте скрытые противоречия, находить неосознанные подводные камни, выдающие совсем не то, что хотел сказать автор и восприняли читатели. Может быть, попросту не хотелось повторять банальности. Приведённые Вами слова Гаспарова: «Я получил картину своего художественного вкуса...», по-моему, прежде всего свидетельствуют о скромности. О благоговении перед великими поэтами и скептическом отноше-

нии к самому себе, если хотите, высокой требовательности к себе и готовности пересматривать собственные взгляды. Есть в них и своеобразное кокетство.

У меня на полке стоят две книги покойного Гаспарова: «Записи и выписки» и большой том Авсония, подготовленный им, по большей части в его собственных переводах, с замечательной статьёй о поэте и его времени, с комментариями и пр. Клянусь, ни та, ни другая книга не свидетельствует о недостатке художественного чутья. Напротив, это продукт утончённого вкуса, ума, владеющего превосходным знанием и пониманием литературы.

Вы говорите, что Вы «хоть на миллиметр», но сдвинулись: признали значение Джойса, Пруста и Белого. Честь Вам и хвала. Это примерно то же, что сказать: современный писатель не может пройти мимо опыта Достоевского или Чехова, должен знать классиков, даже если сам работает в совершенной другой манере. Как на контрпримеры Вы сослались на Горенштейна, на Искандера. Вопрос конкретного влияния, конечно, не решается простым впечатлением. Эти темы требуют научного исследования. Мне оно было бы не под силу. Подозреваю, однако, что Фридрих, хоть и не читал Джойса (в «Отрывке о Джойсе» Борхес говорит: «Я — как любой другой — целиком “Улисса” не прочёл»), но вряд ли прошёл мимо Пруста.

Вообще же это интересная тема. Я уже писал Вам, что интерпретации меня не особенно интересуют. С удовольствием когда-то прочёл шумевшую статью С.Зонтаг «Против интерпретаций» и главу о толковании Кафки и других в книге М.Кундеры «Преданные завещания» (теперь книга, кажется, переведена и могла бы, если она Вам не попадалась, Вас заинтересовать). Зато меня, как встарь, привлекает философия литературы. Это имеет отношение к моей работе. Об этом я уже писал. Оттого ли, что я живу за границей и читаю не совсем то, что обычно читают в России, или просто потому, что составил и обленился, но современная русская литература занимает меня меньше, чем это было бы, допустим, лет двадцать тому назад. Как и Вы, я по-прежнему очень высоко ставлю Юрия Трифонова, не раз писал о Горенштейне, ценю Искандера. Но опять-таки это писатели нашего, а не нынешнего времени.

Однажды я получил в подарок от Натальи Ивановой её книгу «Скрытый сюжет. Русская литература на переходе через век», собрание статей последних пятнадцати лет. Читал с большим интересом. Автор — чуть ли не главный современный критик (или я ошибаюсь?) и большое литературное начальство. Иерархия чинов, между прочим, снова стала чувствоваться. Почему я упомянул об этой книге? Потому что в ней проявилась некоторая общая особенность, назовём её изоляционизмом. (В большой мере наследие подцензурного времени.)

Русская литература выглядит в книге «Скрытый сюжет» как остров Лапута, повисший в воздухе. Она оказывается полностью исключённой из европейского культурного и литературного контекста. Мандельштам произнёс когда-то известные слова насчёт тоски по мировой культуре. Эта тоска исчезла. Вместе с ней утрачено целое измерение литературной критики. И, конечно, литературы. Оттого и встаёт время от времени вопрос о Прусте, Джойсе и т.д.

Неудовлетворённость современной русской литературой, по крайней мере, теми довольно известными прозаиками, которых мне удаётся читать или просматривать, я бы объяснил вот как. (Если Вам интересно.)

Этой прозе не хватает внутрироманной дистанции. Я говорю не о так называемых публицистических отступлениях, наподобие отступлений в романе Гроссмана (образец — трактаты о смысле истории в «Войне и мире»). Речь идёт о внутренней рефлексии, которая по существу представляет собой художественный приём, включена в ткань прозы и вместе с тем релятивирует романную действительность, дистанцируется от неё, в известной мере подрывает доверие к абсолютизированной точке зрения повествователя. В старой книге Эриха Ауэрбаха «Мимесис», где все примеры взяты из западных литератур, — автор оправдывает это тем, что его задача предполагает чтение произведения на языке оригинала, — есть небольшое размышление о классической русской литературе; он говорит об особой и чарующей непосредственности русских прозаиков. Так вот, к концу XX века — для меня, по крайней мере — эта непосредственность становится архаикой.

Далее, слишком редко встречаешь писателей, которые умеют хорошо писать по-русски. Вероятно, это связано с плохим литературным воспитанием, слабым знакомством с хорошими стилистами, дурновкушем, которое чаще всего не осознаётся, по порой и культивируется. Кокетством, кривлянием. Но это также особая черта времени, причём не только в России. Изнурительное, до мучительной зевоты, многословие, наследственное зло. Увлечение бытовой речью, говорком. Кажется (или казалось), что подхваченная налету, необработанная речь с её вулгаризмами, избыточностью, смешением разных лексических слоёв делает литературу более интимной, приближает к «жизни». На самом деле — в этом проявляется особая мстительность искусства — она сама давно стала рутиной. Я ценю в литературе аристократизм.

Мне кажется особым достоинством Вашей книги о Мандельштаме то, что Вы снова привлекли внимание к лагерной судьбе поэта, к лагерю вообще. Исправительно-трудовой лагерь, как Вы знаете, — тема, довольно быстро ставшая некошерной. Дежурный пароль — «примире-

ние» (попробовал бы кто-нибудь здесь, в Германии, призвать к примирению с национализмом!), и в этом желании позабыть о грязном и кровавом прошлом («мы и так уже всё знаем», «не так уж всё было плохо») настойчивая, хоть и не педалируемая политика сверху трогательно сливается с настроениями внизу. Между тем концлагерь — это феномен века. Это фирменный знак нашего отечества. Настоящее осознание этого в России не произошло. С Вашего разрешения я немного отвлекусь. Когда-то, это было в начале 60-х годов, может быть, помните, я написал небольшую лагерную повесть «Запах звёзд», она была напечатана в Израиле, позже выходила по-немецки. (Теперь издана по-французски.) Но Израиль далеко, Германия ещё дальше, сочинение это потонуло, как всё. Недавно, к моему удивлению, им заинтересовался редактор «Nota Bene» и тиснул его в журнале, для чего мне пришлось написать врезку. Я её сейчас приведу.

Предисловие, написанное сорок лет спустя:

Я решаюсь публиковать эту повесть, относящуюся к первым временам моей литературной работы, хорошо понимая, что её тема не вызовет интереса у сегодняшних читателей в России. Кому охота ворошить прошлое. Вопрос, однако, в том, удалось ли это прошлое отменить. «Запах звёзд» не есть обвинительный документ, повесть не ставила и не ставит перед собой задачу разоблачить кого-либо или что-либо. Она написана не ради того, чтобы заставить читателя задуматься, можно ли быть уверенным, что лагерь больше не возвратится. Но она притягивает к себе, чтобы оживить кусок жизни, о которой принято говорить, — если кто-то вообще о ней помнит, — что она была и сплыла. Жизни, о которой всем хотелось бы думать как о более или менее случайном, преходящем эпизоде национальной истории.

Я не хочу здесь касаться вопроса, в какой мере лагерный образ жизни отвечал традициям страны, где крепостное право было отменено всего лишь 140 лет тому назад, чтобы возродиться при советской власти либо в форме колхозного строя, либо в той форме, о которой здесь идёт речь. На ум приходит фраза Толстого о том, что солдат, раненный в деле, думает, будто проиграна вся кампания. Человек, отведавший лагеря, скажут мне, уверен, что это и есть самое главное в жизни народа. Лагерный фольклор зафиксировал эту иллюзию, там готовы были считать, что на воле никого уже не осталось. И всё же я думаю, что лагерь представляет собой нечто коренное в истории минувшего века. Лагерная цивилизация, какой бы архаичной она ни выглядела, как бы сильно ни напоминала не только времена Грозного или Петра, но чуть ли не Египет фараонов, — в такой же степени продолжение традиций, как и принадлежность модерна.

Эта цивилизация не могла бы достичь такого размаха и совершенства в иных географических условиях. Обширность России, её воронкообразная, засасывающая география, словно созданная для того, чтобы превратить наше отечество в обетованную землю принудительного труда, позволили в глухой тайне свозить в лагеря, эшелон за эшелон, на протяжении полувека десятки миллионов людей. Само собой, к ним нужно добавить и колоссальный аппарат сыска, и многоступенчатую бюрократию, и охрану. В итоге труд заключённых преобразил страну, воздвиг города и прорыл каналы, проложил железные дороги и создал целые отрасли промышленности; концлагеря размножились повсеместно, а не только в отдалённых районах Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока; лагерь, как кромка леса на горизонте, стоял везде, маячил немой угрозой, и можно было бы сказать, пользуясь юнгианской терминологией, что архетип лагеря остался неустребим в коллективном бессознательном народа. Этим и объясняется настойчивое желание не дать ему вновь ожить в сознании

Однако мы отвлеклись. Ведь никому из сидевших тогда, начисто забытых, наглухо засекреченных и как бы вовсе не существовавших, не приходило в голову, что они находятся на переднем крае национальной истории. Лагерь был новейшей модификацией подземного царства, а в аду, как известно, очень скучно.

*Борис Хазанов
Париж, 12 июня 2004*

Словом, Россия XX века без вышек, прожекторов, без глухих заборов и рядов колючей проволоки — не Россия. Между прочим (тут у меня получается уже отступление внутри отступления), в мемуарах Эренбурга, которые называют теперь «энциклопедией века», о лагерях — ни слова, ничего себе энциклопедия. Когда у Юрия Трифонова появляется, к примеру, «железный малыш» или (в романе «Время и место») некто возвращается из дальних мест, о том, что всё это значит, прямо тоже не говорится. Но если молчание у Эренбурга — привычная автоцензура, которая оказывается то и дело в опасном соседстве с ложью, то у Трифонова это, вопреки цензуре, замечательный художественный приём: ни один писатель не сумел передать — благодаря, а не вопреки этой недоговорённости — с такой силой зловещую таинственность режима, воздух невидимого тотального террора, запах трупа в подвале, молчание о верёвке в доме повешенного. Когда о сексе говорят обиняками, эффект, не правда ли, подчас бывает сильнее всякой откровенности. — Это так, à propos.

Ваша полемика с Гаспаровым, теперь, когда приведены обширные цитаты, выглядит основательней. Если позволите, несколько замечаний, по большей части мелких.

Замечательная статья Аверинцева «Унижение и достоинство человека» мне, конечно, памятна. Кажется и казалось, — хотя подобного рода аллюзии не были свойственны автору, — что речь идёт не только об античной Греции и Древнем Востоке. Впрочем, не зря у Манделштама «ассирийское лето». Но меня несколько смущают Ваша фраза о «диалоге молодого Платона, в котором тот перелагал его [Сократа] учение». Сократ у Платона — главный и постоянный участник философского разговора, но диалоги содержат собственное учение Платона, отнюдь не сократово. «Апология» — предсмертная речь Сократа, лучше которой, может быть, никогда ничего не было написано, — тоже сочинена Платоном. О мировоззрении подлинного Сократа, если уж на то пошло, дают представление мемуарные записи неприязнательного Ксенофонта.

О мнимой или действительной перекличке в «Стихах о неизвестном солдате». Не знаю, кому могло придти в голову, что речь идёт о перекличке на этапе или в тюрьме. И что значит «на этапе»? В общей камере на утренней поверке (не «проверке») выстраиваются в ряды, корпусной (старший надзиратель) выкликает фамилию (часто её перевирая), названный делает шаг вперёд и называет имя-отчество. В столыпинском вагоне, когда надо кого-нибудь выдернуть, солдат из-за решётки светит фонариком на лежащих вповалку наверху и внизу (18–20 рыл в одном отсеке), называет шепотом первую букву: «на Фэ». Кто-то отвечает: «Файбусович». После чего со скрежетом приоткрывается дверца в решетке, отделяющей отсеки от прохода. Та же процедура — в тюремных камерах при вызове на ночной допрос или «с вещами». Когда этап прибывает на комендантский лагпункт (не путать с ОЛПом, т.е. обычным лагпунктом; лагерем же называется не лагпункт, а всё феодальное княжество, чья территория сопоставима с небольшим европейским государством), когда, стало быть, прибывают на место, вылезавших из вагонов просто считают по головам. То же на утреннем разводе, когда бригады, по четыре в ряд, выходят из зоны на работу: надзиратель у ворот махает пальцем, считает четвёрки. Если на лагпункте устраивается многочасовая общая поверка (что бывает редко, если что-нибудь не сходится, подозрение на побег, распоряжение кума, каприз начальника лагпункта, ибо поверка оказывается наказанием), происходит общий счёт, потом ждут, когда будет подбит итог всех выстроившихся плюс выведенных за зону, оставшихся лежать в бараках, сидящих в изоляторе и т. д., потом снова что-нибудь не сойдётся, и опять двадцать пять. В иных случаях выкликаются фамилии, ответ заключённого: имя, отчество, статья, срок. И только; Гаспаров прав. Но и Ваша правда та, что сводить многозначность метафор к определённом толкованию, исключаяющему всякие другие, бессмысленно.

По поводу попытки О.М. напечатать стихотворение в «Знамени». Для Вас это как бы лишний довод в Вашей системе аргументации. Но

разве не ясно, что приводимая Вами реплика Надежды Мандельштам (о том, как ответили из редакции) — это именно саркастическая реплика, а вовсе не изложение всего ответа.

Не кажется ли Вам странным, что слова О.М., которые Ахматова услышала от него на Пречистенке в феврале 1934 г., — буквально те же, что вложены в уста «Иванушки древней сказки», то есть Вс. Князева, в «Поэме без героя»:

После — лестницы плоской ступени,
Вопль: «Не надо!» и в отдаленьи
Чистый голос:
«Я к смерти готов».

Мне понравилась смелая гипотеза о том, что в «Стихах о неизвестном солдате» присутствует движение времени вспять. («Закон обратного времени»; при желании его можно уловить в той же «Поэме без героя». Вы, помните, говорили как-то раз, что не считаете эту поэму удачей. Для меня это одна из вершин Ахматовой.) Понравилась потому, что напомнила о придуманной мною когда-то мифологеме двух противоположенных стрел человеческого и божественного времени, на которой был основан мой старый роман «Антивремя».

Теперь более существенное.

Вас возмутила формулировка Гаспарова «апокалипсис или агитка». Тут есть чему возмутиться. Если только не принимать во внимание, что в дальнейшем оказывается: стихи, о которых идёт речь, — и не то, и не другое. Эпатирующее, скандально заострённое противопоставление в духе бульварного литературоведения, совсем не подобающее учёному, — всмотритесь: ведь оно совершенно не оправдано его собственным текстом. Какая там агитка. Речь вовсе не об этом.

Я тут только что прочёл в последнем номере журнала «Зарубежные записки» статью Игоря Сухих «Попутчик в Стране Советов. Исаак Бабель в 30-е годы». Там говорится о некоторой загадочности жизненной позиции Бабеля. Вот одна цитата:

«На вопрос о том, как соединялись [у Бабеля] странная близорукость и удивительная пронизательность, опьянение и трезвость, скептицизм и вера в одном сознании, честнее будет ответить: *не знаю*».

Послереволюционные поколения *отцов* и *детей* сегодня — непонятнее марсиан. Утрачен воздух той эпохи».

Похожее можно, я думаю, в определённой мере отнести к Мандельштаму времени «Стихов о неизвестном солдате», да и всех этих лет; и вот я пытаюсь кое-что понять. Должен сознаться: я нахожу в объяснениях Гаспарова некоторый резон. Нечто, я бы сказал, человеческое.

Ваш спор с ним, если пытаться его подытожить, сводится к следующему. Вы находите в стихах Мандельштама предвидение трагиче-

ского финала — готовность погибнуть в когтях режима, о котором поэт не питает ни малейших иллюзий, который видит ясно, как никто. Гаспарову же кажется, что, напротив, Мандельштам выражает готовность принять советский строй, влиться в общую жизнь.

Попробуем представить себе эту чисто жизненную ситуацию: поэта пощадили. После самоубийственных стихов о кремлёвском горце этот горец ограничился сравнительно безобидным наказанием. Может, он и вправду совсем не таков, каким его рисуют недоброжелатели? С другой стороны, что происходит вокруг? Всеобщий подъём, энтузиазм, строится новая жизнь, преобразается Москва. Радостный коллективизм. Веяние новой эры. Довольно кукситься. Хочется, как Пастернаку, как многим другим, влиться, слиться, жить единой народной жизнью. Недостойно остаться отщепенцем (да и в высшей степени рискованно).

Множество стихотворений свидетельствует о таком настроении: принять новый порядок вещей как данность, как высшую историческую необходимость, по-гегелевски, — и даже стихи 1937 года о Сталине («Когда б я уголь взял для похвалы...») написаны, в отличие от соответствующих вынужденных виршей Анны Ахматовой, я уверен, с большой долей искренности, с желанием идти навстречу, с благожелательностью, осиленной ценою огромного душевного напряжения. Можно найти для того, что происходило с Мандельштамом, с многими, и другое название, не отменяющее, но дополняющее сказанное выше: *сублимация страха*.

Осмелюсь, рискуя вызвать Вашу улыбку, сослаться на собственное воспоминание. Конечно, и время другое, и масштаб другой. Но всё же. Когда весной 1955 года я вернулся из лагеря, настроение было довольно спутанное. С одной стороны, страх, почти уверенность, что всё это ненадолго и в скорости посадят снова. Чувствуешь себя всё время настороже. Мне посчастливилось поступить в медицинский институт в Калининe, будущих первокурсников отправили в колхоз, и однажды — помню это как сейчас — вдали на дороге показалась фигура милиционера. Я был уверен — за мной. В октябре начались занятия, я не мог найти себе жильё и ночевал в гостинице, в номере было четыре человека. Я старался уходить пораньше и приходил поздно, чтобы не попадаться никому на глаза. Однажды, когда я брал внизу ключ, регистраторша сказала: вас вызывают в милицию. Я понял — всё кончено. Меня, с моим замаскированным под паспорт волчьим билетом, вышибают из города. Но, к счастью, оказалось, что один из моих соседей, уезжая, увёл простыню, я должен был дать свидетельские показания. Я жил с двумя другими студентами у хозяйки, доброй женщины, надо было сдать паспорт на прописку. На другой день она вернулась, моих товарищей прописали, «а вам, — сказала она с извиняющимся видом, — велели придти». Любая девчонка в паспортном столе, увидев условную пометку в

графе «На основании каких документов выдан паспорт», знала, кто я такой. Как-то раз, поздно вечером, на крыльце громко постучались, я понял, что пришли меня арестовать. Оказалось, это была телеграмма из Москвы о смерти тётки, и, стыдно сказать, я почувствовал несказанное облегчение. Но это с одной стороны.

А с другой — у меня было огромное желание «вписаться». Жить общей жизнью со всеми. В конце концов, меня пощадили, я вышел из лагеря «условно-досрочно», не досидев своих восьми лет, не отправился в ссылку. Надо быть за это благодарным. Я не думал о своём ещё недавнем отношении к советскому строю, который считал фашистским; я старался всё это забыть, как инвалид не хочет вспоминать о трамвае, перерезавшем ему ноги; да я и впрямь был паспортным и в некотором роде духовным инвалидом. Я был счастлив, что поступил в институт, усердно учился и ни о чём больше не хотел знать.

Для чего я всё это говорю? Когда Гаспаров возражает против «сложившегося мифа о Мандельштаме — борце против Сталина и его режима», он протестует против благонамеренных упрощений. Если угодно — против бестактной героизации. Конечно, О.М. никаким борцом не был — как не был им, например, Шостакович, который, однако, в своей музыке, как никто, сумел передать, выразить страшное время, в котором нас угораздило жить. Мне легко представить себе, как боялся ареста Шостакович, каким кошмаром стояла Чердынь перед Мандельштамом. Было бы нелепо называть героем исторического Иисуса, объятого страхом, если верить евангелистам, в ночь накануне казни. Но и Шостакович, и Мандельштам были художники — и Вы совершенно правы, когда говорите о том, что редко кому ещё удалось «самой тканью, самой стихией стиха выразить то, что случилось с человечеством в XX веке». Эта концовка кажется мне самым точным и самым важным в отрывке, который Вы мне прислали.

На этот раз Ваш компьютер разгулялся: разные шрифты, вдруг жирный, разные кегли, весь текст повторяется сызнова. Я давно уже подозревал и даже не раз убеждался, что эти устройства обладают свободой воли, точнее, свободой самовольничать.

Подводя некоторый итог нашему спору, я нахожу, что он был, по крайней мере для Вашего слуги, бесполезен: прояснились точки зрения, я сам для себя кое-что уяснил, да и от Вас узнал много нового. У нас с Вами, Бен, естественно, много общего, и в частности, как мне кажется, нас объединяет досада стариков, что их не очень-то жажнут выслушать. Опыт прошлого, каннибальский режим, в котором и с которым пришлось нам прожить чуть ли не всю жизнь, долг, налагаемый памятью, бремя памяти — всё это уже не интересует окружающих. Подозреваю,

что досадой вызвано и Ваше неприятие тактики и этики учёного, в данном случае литературоведа, сознательно отграничивающего свою задачу от того, что он полагает внеположным науке. Вы не можете примириться с тем, что, изучая текст, в том числе литературный текст, литературовед не только хочет, но и обязан отложить в сторону эстетический критерий и воздержаться от вкусовых оценок, — хотя бы это были и суждения развитого, рафинированного вкуса, — предоставляя это критику и эссеисту. В написанной когда-то для Литературной энциклопедии статье «Филология» покойный Аверинцев напоминал о том, что исходным материалом и объектом анализа для филолога является текст. От этого очевидного положения, собственно, и отталкивается современное структуральное литературоведение. У Р.Якобсона есть очень интересная статья, анализирующая стихи Гёльдерлина, сочиненные душевнобольным поэтом. Но для учёного не лишены интереса даже и вирши какого-нибудь Кобзева, и творения блюдолиза Лебедева-Кумача, которого мой отец называл «дежурным поэтом». Мне кажется, я говорю очевидные вещи.

В этом смысле я обронил словечко «досада». Досада на то, что, игнорируя неприглядный политический фон и собственно поэтическое (эстетическое) убожество подобных изделий, эти люди словно бы уравнивают в правах Божий дар с яичницей. Мне всегда казалось большим упущением, что в компендиумах истории литературы отсутствуют главы о тривиальной словесности. Карамзин — пожалуйста, а вот нет чтобы заняться серьёзным разбором и обзором творческого пути автора «Ивана Выжигина». Правда, в последние десятилетия такие пробелы вроде бы восполняются.

Отсюда, конечно же, не следует, что учёному чуждо сознание пропасти, отделяющей Карамзина от Фаддея Булгарина и Мандельштама от Кобзева. Или что он не ведает разницы между сопротивлением и пресмыкательством. Или что ему чужды гнев и горечь, что он забыл, чем была советская власть и тайная полиция. В наших письмах уже не раз мелькали сравнения с ботаникой и т.п. Решусь сослаться на более близкую мне область. Я давно, как Вы знаете, оставил медицину. Но я хорошо помню очень многих моих больных и в студенческие времена, когда работал городским участковым врачом, получая заплату фельдшера, и в деревне, и потом в Москве. Помню этот нескончаемый конвейер несчастных, брошенных, одиноких, страдающих, погибающих, ожидающих сочувствия, хватающихся за последние крохи надежды и слишком часто безнадёжных, помню это чувство человека, который входит в дома с заднего крыльца, с чёрного хода, видит жизнь такой, какова она на самом деле и какой чаще всего бывает скрыта от посторонних, человека, для которого мир — это один большой госпиталь. Всё это и сейчас стоит перед глазами.

Но я помню и то, что понял ещё студентом, простую истину: если врач будет страдать и умирать с каждым пациентом, он не сможет работать. Заостряя (может быть, непозволительно) эту мысль, можно сказать, что врач не может быть лишён известной чёрствости: таково условие его профессии.

Всё это я говорю, как Вы, очевидно, поняли, к тому, что речь у нас идёт не только и не столько об отдельных, подчас действительно смехотворных крайностях, которые Вы с таким блеском разоблачаете, сколько о самой науке, которую Вы в принципе не приемлете. О её методах, давно вошедших в исследовательский обиход. Примером может быть пресловутая интертекстуальность. (Вы не замечаете, что сами пользуетесь элементами этого достаточно рутинного метода, когда, скажем, привлекаете для анализа «Оды» текстуальные параллели в «Изображении Фелицы» Державина.) Я тут как-то ссылался на старую статью Ольги Вайнштейн; она пишет о «подсоединённости» друг к другу европейских авторов, текстуальной переключке, которую поясняет следующий пассаж Деррида.

«Разворачивается фантазмагорическая картина телефонной связи через века... И Фрейд присоединяется к машине вопросов и ответов «Филеба» и «Пира» [Платона]. Американский телефонист перебивает, вмешивается: Фрейд недостаточно платит, надо ещё бросить мелочь в машину... Демон звонит, Сократ снимает трубку, подождите, говорит Фрейд... Не вешайте трубку, на линии Хайдеггер...»

Как всегда, я обратил внимание на некоторые мелочи в Вашем письме. Одна из них касается «Поэмы без героя». Поэма, — пишете Вы, — требует обширнейшего комментария и даже «ключа» к шифру. «А истинное произведение искусства должно быть самодостаточно. Оно само — эпоха, как “Евгений Онегин”».

Мне это непонятно, Бен. Может быть, оттого что я бывший выученик классической филологии, приученный к тому, что три строки древнего автора сопровождается страница комментариев. Может быть, это наследие предков, которые провели свой век, согнувшись над комментариями к Книге и комментариями к комментариям. Думаю, не только. Разумеется, произведение искусства самодостаточно, то есть замкнуто в своём совершенстве. Но мне этого мало. В глубинах прячется то, что ускользает от моего неопытного взора и недостаточного знания. Почему одно должно исключать другое: комментарий — непосредственность восприятия и наслаждение таинственным текстом? (Зашифрованность, мерцающая темнота текста — сама по себе великолепный художественный приём.) Я читаю «Фауста», потом читаю комментарий Эриха Трунца, потом снова текст — и чувствую, как много мне не доставало, может быть, целых измерений, покуда я не ознакомился с комментарием. То же можно сказать о комментариях Логмана к изда-

нию «Евгения Онегина». Возвращаясь к Ахматовой, добавлю, что особенная, волшебная и затягивающая атмосфера Тринадцатого года, «тонкие яды», о которых писал Степун, и то, что чей-то голос: «Я к смерти готов» произносит пароль времени, — заметили ли Вы, какими пышными и пахучими соцветьями распускается искусство накануне гибели целой эпохи в двух обречённых империях — в России и в Австро-Венгрии, где точно так же последние полторы или две декады — время целого созвездия имён, небывалого расцвета культуры и литературы? — возвращаясь к поэме, должен сказать, что комментарий и ключ ничуть не разрушают этот чудный морок.

О рассказе Надежды Мандельштам, как сочинялась ода в честь Сталина и как обычно, не в пример этой оде, у Мандельштама сочинились стихи:

«Стихи начинаются так: в ушах звучит назойливая, сначала неформленная, а потом точная, но еще бессловесная музыкальная фраза. Мне не раз приходилось видеть, как О.М. пытается избавиться от погудки, стряхнуть ее, уйти. Он мотал головой, словно ее можно выплеснуть, как каплю воды, попавшую в ухо во время купания. Но ничто не заглушало ее — ни шум, ни радио, ни разговоры в той же комнате... У меня создалось такое ощущение, что стихи существуют до того, как написаны. (О.М. никогда не говорил, что стихи “написаны”. Он сначала “сочинял”, потом записывал.) Весь процесс сочинения состоит в напряженном улавливании и проявлении уже существующего и неизвестно откуда транслирующегося гармонического и смыслового единства, постепенно воплощающегося в слова».

Не каждому свидетельству Надежды Мандельштам приходится доверять (Вы это знаете лучше меня), и я не знаю, как отнестись к рассказу о том, как Мандельштам уселся за стол и т.д., что же касается стихотворчества, то о том, как это происходило у Мандельштама, никто не может знать. Объяснение Н.Я. во втором абзаце приведённой цитаты — повторение общих мест, реминисценция молодости, уж слишком её рассказ напоминает модный в те времена платонизм, одобренный Шопенгауэром.

И напоследок (письмо опять затянулось) ещё одно место в Вашем письме, тоже мимоходом:

«А вот какую интересную мысль высказал недавно только что упоминавшийся мною М. Гаспаров: Стихи делятся не на хорошие и плохие, а на те, которые нравятся нам и которые нравятся кому-то другому. А что, если ахматовский “Реквием” такие же слабые стихи, как “Слава миру”?»

Я не собираюсь возражать, просто контекст, в который помещена эта цитата, заставляет кое над чем задуматься. Гаспаров намекает, что потрясающий «Реквием» Анны Ахматовой, видите ли, не слиш-

ком высококачественные стихи. Возмутительная ересь. Насмешка над трагедией 37 года и насмешка над автором, матерью арестованного сына, матерью женщин, выстаивающих очереди, чтобы передать передачу уже расстрелянным мужьям и сыновьям, матерью всего этого изнасилованного народа.

Тут мы касаемся вечно скользкого вопроса. Есть известная максима Андре Жида: «Из прекрасных чувств делается плохая литература». Вероятно, те, — их было немало, — кого возмутили эти слова, решили, что он хочет сказать: а хорошая литература делается из плохих чувств. Между тем речь идёт о писателе, который всю жизнь бился над проблемами морали, наследнике великих моралистов XVII и XVIII веков. Но дело в том, что благонравие не является презумпцией искусства. В случае с Ахматовой дело идёт, конечно, не о «благонравии». Это вопль души, породивший гражданскую, ангажированную — в лучшем смысле слова — поэзию. И тут обнаружилась некоторая ловушка. В неё попадают и мелкие поэты, например, Наум Коржавин.

...С удовольствием прочёл Ваше предисловие и, конечно, поздравляю Вас с выходом книги.

В предисловии говорится о задачах критики, как Вы их понимаете, ссылаясь на Толстого. Эти материи меня занимали чуть ли не с самого нежного возраста, но стать критиком я не сумел и не могу сколько-нибудь компетентно высказаться на эту тему. С тем, что Вы пишете, разумеется, невозможно не согласиться, пожалуй, это самоочевидно. Вопрос, как эта программа реализуется на практике; но, к сожалению, у меня нет книги (хотя некоторые статьи, вероятно, мне известны), в каталоге «Геликон», который мне приносят, её пока нет.

Откровенно говоря, — Вам это, возможно, покажется странным, — мне мешает нормально отнестись и к Толстому в Ваших цитатах, и к Вашим объяснениям не то чтобы их спорность (они бесспорны) и даже не то, что в проекте такой критики мне недостаёт «эстетического» подхода, но какое-то назойливое чувство, которое трудно передать в двух словах. Или получится слишком упрощённо. Чувство, что всё это хорошо и прекрасно, и отвечает нашему воспитанию, нашему культурно-литературному «происхождению», наконец, нашему почтенному, натурально склонному к известной консервативности возрасту, и обещает читателю интересное чтение. Всё хорошо, — да только погода на дворе другая. Время переменялось. Время стало неузнаваемым, и то, о чём идёт речь, на чём настаивает Толстой, кажется недостаточным. Нужны дополнительные точки зрения. Может быть, вообще какое-то другое зрение.

Поэтому, например, — если вернуться к нашим баранам, — было бы непродуктивным спорить, кого Бог снегом занёс и целовала вьюга, Бродского или Коржавина. Эмма пережил Иосифа, оба были современниками. Оба стали эмигрантами и обитали в одной стране; целовала их вьюга или не целовала, но оба оказались на ветру. И нельзя сказать, чтобы Коржавин был менее «актуален»; наоборот. А между тем как далеко отстоит время одного от времени другого. Они просто жили в разных координатах, чтобы не сказать — в разных мирах. Молодёжь, я думаю, почувствовала это быстрее. Я помню, как мы когда-то в Москве читали с Лорой вслух стихи Бродского, наш сын был ещё ребёнком. И вдруг оказалось, что он слушает эти стихи, что они внятны ему, близки чем-то. У взрослых же они чаще всего вызывали недоумение. Это только пример.

Об известности Эммы я узнал в 63 году, когда приехал из деревни и поступил в аспирантуру. Была устроена вечеринка врачей, людей, далёких от литературы, и вдруг за столом встала одна молодая женщина, хирург, и стала читать стихи Наума Коржавина.

Нехорошо было (я с Вами согласен) говорить о Коржавине: «мелкий поэт». Надо было сказать: второстепенный поэт. (Как Вы помните, покойный С.И. Липкин назвал Маяковского крупнейшим из второстепенных поэтов.) Противопоставить Коржавина, которого целовала вьюга, Бродскому, которого она «точно не целовала»? Я не знаю, что на это ответить — разве только пожать плечами. В одном письме Гриша Померанц, я помню, поставил Зинаиду Миркину выше Бродского. Вы процитировали дедушку Крылова. Тут была бы уместна ещё одна цитата: «А жаль, что не знаком ты с нашим петухом...» Может быть, следовало бы просто подумать о том, что Бродский был единственным из русских поэтов первого ряда, кто не был лириком. Этим, например, как мне кажется, объяснялась его нелюбовь к Блоку. Но оставим эту тему: Бродский Вас не интересуется.

Два слова об «ангажированности» (ангажированная литература, термин Сартра). Для Вас это слово, видимо, безнадежно скомпрометировано. Между тем установившееся определение литературы «ангажированная» — отнюдь не однозначно pejоративное. Один из возможных синонимов, приближающий его к русской традиции, — гражданская или гражданственная. Вовсе не обязательно плохая. Стихи могут быть порождены болью, глубоким страданием, возмущением (эпиграф к «Ямбам» Блока из Ювенала: *Facit indignatio versum*, «негодование рождает стих»; «Ямбы» Огюста Барбье), это не мешает им быть гражданскими, жгуче-актуальными, даже политическими. Другое дело, что подчас такие стихи недолговечны. «Реквием» Ахматовой избежал этой участи. Мы и сейчас читаем его с волнением. Но стихи всё же не дотягивают до высшей планки, которую установила она сама.

Так как речь шла о литературной критике, я вспомнил сейчас об одной статейке, которую написал когда-то, она тоже о критике, хотя и написана не критиком. Возможно, она покажется слишком категоричной. Во всяком случае, отношение к ней в свою очередь должно быть критическим.

...Моему сыну понадобилась заверенная копия метрического свидетельства, которое он потерял. (Копию надо посылать в Тверь, бывший Калинин, где родился Илья, предстоит жуткая морока.) По этому случаю мы явились в мюнхенское российское консульство. Я давно уже там не был. Чёрные стёкла, за которыми сидели чиновники (тебя видят, ты никого не видишь, что, впрочем логично: ты — враг), теперь заменены обыкновенными. В остальном ничего не изменилось; комната битком набита людьми. Смирные деревенские бабушки в платках, очевидно, родственницы приехавших на работу в Германии, мордатые мужики, подобострастные, приниженные просители и просительницы: кто протискивается с бумагой к окошку, кто тулится за тесным столом, заполняет чудовищную анкету, ещё кто-то (сам видел двух таких) стоит за получением справки о том, что *он жив*. Соответственно и «персонал»: каков поп, таков и приход. Островок отечества. И сколько таких людей. А мы тут с Вами, дорогой Бен, ведём высокий разговор о поэзии.

Это чувство не новое. Чувство безнадежной несовместимости. Университет и классическое отделение, Герцен и Огарёв — а в пятнадцати минутах ходьбы цитадель с железными воротами, глухими дворами, подвалами, боксами-отстойниками, переполненными камерами, прогулочными дворами на крышах и кабинетами, где сидели в своих мундирах люди, которые вчера слезли с деревьев. В лагере девять десятых обитателей едва умели расписаться, немногим образованней было и начальство. Много лет спустя я жил в Чертанове, сидел в уютной комнате за письменным столом и сочинял что-то высокоумное, а на дворе, превращённом в пустырь, перед бакалейным магазином, среди старых ящиков и лохмотьев обёрточной бумаги лежал вконец упившийся безногий инвалид на тележке — колёсиками кверху. Как это всё может сочетаться? Странная культура, похожая на кирпичи, по которым пробираются через разливы жидких экскрементов...

Когда-то Георга Брандеса поразила пропасть между тонким культурным слоем и огромной народной толщей в России, пропасть, каких он не видел в других европейских странах. Это стало чуть ли не общим местом в рассуждениях о нашей стране. Цитата из книги Левидова, блестящего и, к сожалению, забытого человека, не имеет отношения к тому, что я писал: я не пытаюсь дискредитировать культуру, не призываю её отменить или упростить. Речь идёт не об эпа-

тирующем философствовании о судьбах музейной или немuseumной культуры, но всего лишь о жизни, личном опыте, о конкретном переживании, повторяющемся на каждом повороте, о чувстве, от которого невозможно отделаться, — и только. И уж, конечно, от всяких соображений о долге перед «народом», комплексах кающегося интеллигента и т.п. я далёк — причём тут я?

Мы с Вами бродим по давно протоптаным и уже зарастающим травой дорожкам. Наш спор о Сартре — по меньшей мере тридцатилетней давности. Сейчас, кстати, отмечается двойная годовщина: 100 лет со дня рождения и 25 лет со дня смерти Сартра. Несколько новых материалов появилось в «НЛО», в том числе интересная статья Фр. Нудельмана «Сартр — автор своего времени?», которую я рискнул бы Вам рекомендовать (не для поучения, конечно), но не уверен, что Вы найдёте для неё время.

Довольно странно, что Вы ссылаетесь, чтобы объяснить образ мыслей Сартра, на Нину Берберову, человека, очень далёкого от Сартра и Симоны де Бовуар, — причём не на лучшее произведение Берберовой, — тогда как существуют тексты и самих Сартра и Бовуар, и подробные, отнюдь не апологетические биографии этих людей, и вообще огромная литература, имеющая непосредственное отношение к делу. Вы цитируете Берберову и добавляете: «Как говорится, комментарии излишни». Странное замечание; но, в конце концов, оно характеризует Ваше отношение и к Сартру, и к его то и дело менявшимся политическим взглядам, и к его произведениям, и к месту, которой он занял в европейской культуре; отношение это очень простое: всё ясно, и... комментарии не нужны. Незачем разбираться, и незачем интересоваться.

Вы знаете, что эта ясность меня всегда смущала. В конце концов, мы взрослые люди и даже уже старые хрычи. Я полагаю, что «комментарии» не только не лишни, но даже необходимы, — как и необходима, прошу прощения, несколько большая осведомлённость.

Когда-то знакомство с французским экзистенциализмом произвело на меня большое впечатление: я увидел в нём подтверждение тогдашних моих мыслей и тогдашнего настроения, иллюстрацию моего собственного, сугубо личного опыта. Правда, гораздо важнее был для меня в этом отношении Камю, чем Сартр, Симона, Мерло-Понти (которого я вовсе не знал) и другие. Всё это ушло в прошлое. Поверьте, в биографии Сартра Вы нашли бы гораздо больше и подробностей и цитат, которые ещё больше укрепили бы Ваше презрение к его реверансам в сторону коммунизма, Советского Союза и т.д. Но Вы нашли бы там и свидетельства постоянного критицизма по отношению к только что заявленным позициям, и нечто даже вполне противоположное. В статье

об Эренбурге и Роже Вайяне, которая оказалась в журнале рядом с рецензией на Вашу книгу, я немного писал о моём отношении к французским коммунистам, есть там два слова и о квазисупружеской паре Сартр-Бовуар. Не хочу повторяться. Добавлю только, что симпатии к советскому режиму — ничтожная часть того, что сделал и написал Сартр и что сделало его — никуда от этого не денешься — одной из ключевых фигур европейской мысли. Сама по себе личность Сартра была такова, что его не отшвырнёшь, как старую калошу.

Всякий раз, когда я бываю в Париже, я прохожу по «перекрёстку наук и искусств» возле церкви Сен-Жермен-де-Пре, перекрёстку, который с недавних пор называется площадью Жан-Поль Сартра и Симоны де Бовуар, захожу в кафе экзистенциалистов, без особых эмоций, просто так, разглядываю в одном известном мне художественном магазине альбомы фотографий того времени, всех этих людей, опять же просто так, ради интереса к эпохе и людям.

Вообще (это не касается моих прогулок человека абсолютно постороннего) я мог бы кое-что рассказать о моих встречах с людьми более или менее просоветского образа мыслей, вообще с так называемыми левыми, здесь в Германии. Но это довольно скучно. Одно могу добавить: жизнь за границей дала мне возможно ближе взглянуть на вещи, немного лучше понять (отнюдь не извинить) и эти шатания, и эту слепоту, как и вообще некоторые основы политического образа мыслей. Мне кажется, я научился постепенно смотреть на многое двумя глазами...

Конечно, Бен, годы и обстоятельства сделали то, что нам подчас становится трудно понимать друг друга. Но мы стараемся, не правда ли? Одна из причин непонимания (я, как Вы заметили, сторонник «мультикаузальности» — назовём это так; клубок причин вместо одной главной) — та, что Вы, как сидели в своём кресле, так и сидите, я же оказался сидящим на двух стульях. Положение, опасное тем, что можно запросто провалиться *между* стульями.

Всё-таки я не настолько забывчив, чтобы уравнивать судьбу разрушенных воздушными налётами немецких городов с судьбой русских церквей, взорванных после революции. И о том, кто развязал войну, я тоже не забыл — о, нет. «Притча» о Солоухине была рассказана по другому поводу. Именитый гость выступил перед мюнхенскими студентами с рассказом о том, как писатели в СССР боролись за сохранение архитектурных памятников. Подойдя к окну, он сказал, предполагая невозможное возможным: «Представьте себе, что в этом прекрасном городе разрушены все церкви!» А ведь именно так оно и было. Образованный человек, известный писатель не имел представления о том, что про-

изошло во всемирно известном городе, куда он приехал. Это показалось мне симптоматичным. Я говорил о полном отсутствии интереса к людям других стран и о шовинизме страдания.

Разумеется, я не стал ему возражать, вообще спорить, — зачем? Да он и не захотел бы со мной разговаривать. Оба — Солоухин и Белов — приехали по приглашению Баварской академии изящных искусств, было это, как я уже писал, вскоре после начала перестройки. В честь гостей был устроен большой приём в Академии. Кроме переводчика, из присутствующих только два человека говорили по-русски: Юра Шлиппе (Вы, кажется, с ним знакомы) и я. Гости вначале, как мне показалось, чувствовали себя стеснённо; видимо, они плохо понимали, где они оказались. Может быть, думали, что Академия — это государственное учреждение. Юра шепнул мне, чтобы я поговорил с ними. Я не послушался, так как был плохого мнения о Солоухине, и разговаривал только с Беловым. Он был похож на дьячка. Солоухин тем временем весьма ободрился, сидел на почётном месте, за большим круглым столом, и читал вслух своё стихотворение «Орёл», как обычно, сильно напирая на «о»: «Я — Орёл, я смОтрю на вас с высОты!»

Гисторические воспоминания, так сказать...

Интервью с нашим пророком прочёл, что сказать по этому поводу, не знаю. Всё это мне глубоко чуждо. Похоже, что вопросы интервьюера (кто он, кстати?) составлены «под отвечающего», то есть сознательно с целью дать ему высказаться в нужном направлении, примерно так, как устраивались ответы товарища Сталина на какие-то якобы независимые вопросы. И вопрошающий, и отвечающий играют в одни ворота.

Вступление написано плохо. Что касается собственно вопросов и ответов, то многое, конечно, — особенно глядя отсюда, — может вызвать только недоумение. Оказывается, для демократических реформ в России выбран «крайне неудачный момент, а именно тогда, когда взятая за образец западная демократия оказалась в глубочайшем институциональном и содержательном кризисе». Любопытно было бы узнать, откуда интервьюер это взял. Вообще всякий раз, когда заходит речь о «Западе», собеседники попадают пальцем в небо; но это обычная история. Для Солженицына же многопартийная система вообще неприемлема. Его по-прежнему увлекает идея местного самоуправления со ступеньками, ведущими к «верховному земскому собору».

От всего разговора идёт душный запах застарелого провинциализма. О том, что национализм есть нечто постыдное, наш пророк как будто даже не догадывается.

Да, Бен, можно было бы сказать, что с нашим ребе творится что-то неладное, если бы это началось недавно; но его мировоззрение сложилось много лет тому назад, первые проблески можно заметить уже в ранних публикациях. Цельность характера — одна из его черт, и это сказывается, между прочим, в единстве идеологии и «эстетики». Язык и стиль художественных произведений надиво гармонирует с проповедью.

Вы говорите о том, что настроения этого рода популярны в России, но лишь у тёмных обывателей. Вам, конечно, виднее. Но многочисленные статьи, интервью и прочее, что появляется чуть ли не каждый день в российских media (сужу по тому, что читаю в интернете), в том числе не только в самых оголтелых журналах и газетёнках, заставляют предполагать, что это не совсем так. Это впечатление убийственным образом подкрепляется массовыми опросами Института Левады, социологическими исследованиями Б. Дубина, Л. Гудкова и других. Можно указывать и причины, по которым национализм, расовую и этническую нетерпимость, подозрительность, ненависть к Америке и вообще к западному миру, смехотворную, хотя и объяснимую, ностальгию по советским временам, почитание Сталина и так далее — исповедуют далеко не одни только тёмные обыватели.

Что касается самых пахучих печатных органов, то расскажу Вам маленький случай. Время от времени я захожу в Stabi — Баварскую государственную библиотеку. Там, в газетно-журнальном зале, весьма богато, среди прочего выставляются поступления из России. Каждый раз я видел там газету «Православная Русь», издаваемую «по благословению» архиепископа такого-то. Собственно, не она одна такая. Как-то раз, шутки ради, подхожу к справочному столу, где сидят библиотекарьши, и спрашиваю, знакомы ли они с этой газетой. Нет, говорят, мы русского языка не знаем. Показываю им: а вот здесь в рамке цитаты из «Майн кампф». И ещё кое-что. А между прочим, если бы об этом узнала баварская полиция... — Ах, ах! мы непременно доложим. — С тех пор газеты на выставке больше нет. Могу сказать, что я её здесь погубил.

Вы говорите, что живёте в XXI веке. Эх куда Вас занесло. О себе я буду вынужден сказать, что живу, как и прежде, в двадцатом веке, если не в девятнадцатом. Я живу в воспоминаниях — это, конечно, обыкновенный симптом старости, её проклятье и её благословение. Главным образом из этого мешка воспоминаний я добываю материал для своих писаний. Меня утешает то, что литература чаще всего и питается прошлым; примеры общеизвестны. Больше того, литература, заслуживающая этого имени, живёт в прошлом и в будущем, — но не в настоящем. Литература, которая обретается в настоящем, недолговечна; это естественно. Надо уметь игнорировать сегодняшний день.

Вы пишете о богатых виллах, магазинах, которые ломятся от товаров, о рекламных щитах вдоль дорог (у нас их, правда, нет: реклама на дорогах запрещена). Вы говорите о торжествующем капитализме. Хотя последний раз я был в нашем отечестве, вероятно, не меньше трёх лет назад, я эти вещи имел удовольствие видеть. Страна меняется очень быстро. Всё же осмелюсь заметить, что это не совсем тот или даже совсем не тот посткапитализм, который существует в государствах — их немного, — которые вырвались вперёд и ушли так далеко, что не может быть и речи о том, чтобы их догнать. Да и как могло быть иначе. Я не утверждаю, что западный или японский капитализм лучше или хуже прежнего, давно минувшего капитализма. Это другой вопрос. Но Россия пока что приблизилась к экономике, более всего напоминающей экономику стран бывшего Третьего мира (не знаю, какой уж он теперь по счёту).

С чего бы это я стал сердиться на Вас, Бен, разве то, что Вы перечите мне, а я Вам, не есть нечто естественное? Было бы скучно, если бы нам приходилось друг другу поддакивать и только. Причин для расхождений, вероятно, много, достаточно уже и той, что мы живём в разных странах, я бы даже сказал — в разных мирах. Последствия не только психологические, это уж само собой, но и чисто семантические: подчас мы вкладываем в одни и те же слова родного языка разный смысл. Вам кажется, что я Вас не понял: Вы писали мне о самочувствии обывателя (рядового потребителя товаров), а я начал толковать об экономике. Это показательный пример. Ведь в открытом обществе, в отличие от закрытого или, как сейчас в России, полузакрытого общества, перемены на «макро»-уровне мгновенно отражаются на бюджете рядового человека, выстраивается цепочка: общеэкономическая ситуация западного мира → конъюнктура в стране → в городе → в социальном слое, к которому я принадлежу, → наконец, мой собственный карман. Ну, а что касается разницы нынешнего положения в России с тем, чему мы с Вами были свидетелями чуть ли не всю нашу жизнь, то, поверьте, я могу её оценить.

Разумеется, я помню, что Вы не раз писали (и говорили) о работе над книгой о Маяковском. Но говорили и о мемуарах. Что касается «лучшего, талантливейшего», то когда-то Вы весьма резко критиковали книжку покойного Юры Карабчиевского. (Её ругали многие.) Означает ли это, что Ваш нынешний труд будет носить скорее апологетический характер? Вы сказали, что в литературном смысле, в Ваших нынешних занятиях, Вы живёте даже не просто в минувшем столетии, но concretamente в двадцатых годах Двадцатого века. У меня, прошу прощения, всегда было чувство, что и Маяковский весь или почти весь остался там, в 20-х годах. Причём не только в нашем отечестве, но и — по-моему, это очень важно — в Европе того времени. При том что он так плохо её знал.

Моё знакомство с его поэзией началось, я думаю, с эпизода, который случился, когда мне было лет девять или десять. Каким-то образом я попал в число детей, которые выступали по радио, а один раз мне пришлось даже выступать по телевидению. Тогдашнее всесоюзное телевидение носило, как Вы помните, экспериментальный характер, тем не менее уже устраивались передачи. Я запомнил известного в то время диктора Герцога, у него были накрашены губы. Он вёл передачу. Выступал хор под управлением Кувькина. После этого шёл мой номер. Я стоял под ярким освещением перед каким-то устройством, похожим на систему тёмных зеркал, смотрел прямо перед собой и держал листки с текстом, но так, чтобы их не было видно на экране, читал наизусть и ронял листы на пол. Это было стихотворение «У меня растут года, будет мне семнадцать. Кем работать мне тогда, чем заниматься?»

Вы пишете, что официальный Маяковский заслонил от меня Маяковского настоящего. Я так не думаю. Я даже предполагаю, что водораздел между «официальным» и «настоящим» не так уж велик; но об этом немного позже. Я не проходил Маяковского в школе (не учился в 10 классе), а что касается дальнейшего, то официальные оценки и мерки довольно скоро перестали для меня служить ориентиром. Конечно, знаменитая фраза «был и остаётся лучшим, талантливейшим», Яхонтов с его чтением «Стихов о советском паспорте» и т.д. чрезвычайно повредили Маяковскому; как и для многих, они повредили поэту и в моих глазах. Но в моём случае определённую роль сыграло то, что в ранней юности, в решающую пору очень интенсивного, напряжённо эмоционального восприятия поэзии, Маяковского со мной, если можно так выразиться, не было, я оказался в ином окружении. Огромную роль играли Пушкин, Лермонтов, Некрасов, а уж о Блоке я и сейчас (пользуясь его собственными словами) не могу говорить без волнения. Немного позже пришли немецкие поэты, первым — Гейне. Маяковский как-то не вписывался в эту компанию. Не то чтобы я его не читал. Читал, конечно, — и не только «официального». Вообще — Вы это, вероятно, знаете по себе — в эти годы глотаешь всё, в том числе и то, чего потом не стал бы читать даже за приличное вознаграждение. Верно и то, что больше всего, больше сталинской директивы и житийных биографий Маяковского он повредил себе сам.

Невозможно было не задуматься (я говорю о себе), почему, собственно, поэт такого бесспорно крупного масштаба оказался отгеснённым. Дореволюционного Маяковского привычно зачисляли в футуристы, но ясно, что с большим правом его следовало бы назвать поэтом-экспрессионистом: он влился в это могучее общеевропейское течение, даже шёл впереди него. Он во многом был и зачинателем сюрреализма. Уже одно это обеспечило ему курульное кресло на Олимпе. Но я люблю

экспрессионизм в живописи и, к несчастью, с трудом переношу его в поэзии. Громогласная риторика, надрывные крики, какая-то вселенская истерика и довольно безвкусный гиперболизм меня отвращают. Это — так, личный вкус. Но есть и другое, то, что мешало Маяковскому и до, и после революции: по контрасту с мощным темпераментом — невысокая культура. И даже стихи, которые мне очень нравятся, которые и Вы цитируете, — то и дело, в одной, в двух строчках, нет-нет да и оказываются подпорченными из-за провалов вкуса.

Мы с Вами вспоминали фразу покойного Липкина насчёт крупнейшего из второстепенных поэтов. Слово «второстепенный» звучит обидно, замените его выражением «поэт второго ряда». И тогда окажется, что С.И. был прав. Слишком многое не позволило Маяковскому стать небожителем. Мы можем назвать гением Артюра Рембо, Тютчева, Блока, Пауля Целана. Маяковскому приличествует другой титул. Тоже достаточно почётный.

Иногда (в Ваших устах тоже) получается так, что все эти официально превознесённые стихотворения поэта, заявившего (может быть, не без некоторой нарочитости, не без вызова), что он сознательно поставил своё перо в услужение и т.д., что всё это — нечто наносное, отчасти вынужденное, пожалуй, даже побочное и во всяком случае не столь существенное, а важно-де совсем другое. Допустим, «Облако в штанах» или «Про это». «И мне бы... Но я себя смирял, становясь на горло собственной песне». (Поразительные, необыкновенно сильные стихи! Может быть, «Во весь голос» — лучшее, что он создал.) Стоит, однако, задуматься, что это была — или была бы — за песнь.

Всплыло имя покойного Юрия Карабчиевского. Вы сочли его мелким человеком. Это несправедливо. Мелким человеком он не был. Когда-то он прислал нам на хранение две повести: «Жизнь Александра Зильбера» и «Незабвенный Мишуня». Это была, насколько я помню, вполне приличная, добротная, как тогда говорили, реалистически жизнеподобная проза в духе «Нового мира», хотя, конечно, никакой «Новый мир» её бы не напечатал. Гораздо важнее оказалась «Тоска по Армении», и в особенности впечатляла в то время его исповедальная публицистика. И она, и трагическая судьба самого автора как-то очень выпукло обозначили это короткое время. Но мы с Вами говорим о «Воскресении Маяковского», возможно, главной его книге. Как бы ни относиться к ней, она была событием. Отмахнуться от неё, отшвырнуть её прочь не так-то просто. Того, о чём Вы говорите, — что расчёт с Маяковским был в большой мере расчётом автора книги с самим собой, со своей юностью, что Маяковский для него (в отличие, например, от таких, как я) очень много значил, — не скрывал и сам автор. Но можно вспомнить и некоторые другие мотивы и соображения в этой книге. Карабчиевский был не первым, кто указал на Николая

Фёдорова как на духовного отца Маяковского. Карабчиевский, однако, сделал это внятно и убедительно, указал на сердцевину фёдоровского проекта. Фёдоров был фашистом.

Пусть не удивляет такое словоупотребление. Имеется в виду нечто более общее, нежели конкретный государственный строй. (Вспомните, что Ролан Барт называл язык — фашистом. Вот одна цитата: «Язык... не реакционен и не прогрессивен; это обыкновенный фашист, ибо сущность фашизма не в том, чтобы запрещать, а в том, чтобы понуждать говорить нечто».)

Фашизм в том значении, которым я хотел бы здесь воспользоваться, — это некоторый социально-психологический (и, конечно, политический) комплекс; он включает в себя подавление личной самостоятельности, недопустимость какого бы то ни было своемыслия, безусловный примат коллектива перед отдельным человеком, культ мобилизованной молодости, силы, здоровья, единодушие, исповедание единой идеи, энтузиазм, маршеобразную устремлённость к великой утопической цели. Вы могли бы дополнить и усовершенствовать этот перечень.

Именно этим духом проникнуто в большей или меньшей степени преобладающее большинство творений Маяковского революционной и послереволюционной поры, и я не думаю, что можно остановиться на простой формуле: жертва соблазна или принуждения. Соблазн стать певцом тоталитаризма был, разумеется, велик. Но наш усопший вождь и учитель проявил незаурядный нюх, выбрав из всех известных и вполне советских поэтов — Маяковского как лучшего и талантливейшего. Маяковский был не просто принужден, обманут, одурачен, соблазнён, — он *был таким*. Он не лицемерил и не приспособлялся. Он был абсолютно искренен, был самим собой, когда говорил: «Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс». (Здорово сказано, не правда ли?) Мы имеем дело с сердцевинной, с сутью его творчества. Бесспорно, это было его трагедией. Но, конечно, трагедией иного рода, нежели трагедия Мандельштама, драма Ахматовой, и Пастернака, и кого там ещё. О поэте судят по тому, что от него осталось. Маяковский не умер. Он остался — как самый, может быть, сильный в русской традиции поэт фашистского толка.

Дорогой Бен. Гёте был тоже коротконог, об этом упоминают при случае, и никто не обижается. Я сосчитал: в небольшом Вашем письмеце слово «мелкий» повторено шесть раз. Жаль, конечно, что Ваш приговор книге покойного Карабчиевского свёлся к тому, что называется *argumentum ad hominem*.

Жаль, потому что в ней содержатся некоторые принципиальные вещи, важные мысли, теперь уже, может быть, и не столь неожиданные,

но заслуживающие более серьёзной и уважительной полемики. Не думаю, что автором руководил азарт Герострата, это было бы слишком простым решением. Не говоря о том, что ведь уже тогда престиж Маяковского в среде интеллигенции был изрядно подорван. Короче говоря, Вы не заметили из-за деревьев леса.

Вы считаете нашу дискуссию бессмысленной. Разумеется, о вкусах не спорят; наши вкусы и предпочтения во многом не совпадают. Но, может быть, в Вашей будущей книге Вам будет трудно обойти вопросы, которые выходят за пределы пререканий о том, что нравится и что не нравится.

Я нахожу в том, что до сих пор читал о Маяковском (и не только о нём) у советских и послесоветских авторов, в том числе и совершенно независимых людей, своего рода изоляционизм. Речь идёт о мнимой автаркии русской литературы. Получается, что она, словно остров Лапута, висит в пустоте. В самом деле, и в предвоенные, и в послевоенные времена были предприняты неимоверные усилия, чтобы отрезать её от континента современной европейской литературы. Уж нам-то с Вами напоминать об этом не приходится.

Маяковский не застал эту пору цветущего сталинизма, но что касается его собственного расцвета — 20-е и канун 30-х, — то мало кого можно назвать из советских поэтов, кто с таким же громохочущим пафосом, с такой же поэтической убедительностью, с таким же чутьём, политическим нюхом, слепым каким-то зрением сумел бы воспеть эту эпоху после Мировой войны (на которой, правда, он не был, в отличие от своих современников), воспеть, восславить, выразить — как хотите — время крушения буржуазной демократии, обвала европейских ценностей, дискредитации европейского гуманизма и либерализма.

Триумф военизированного коллективизма, шеренги, отбивающие шаг, — р-разворачивайтесь в марше! — скрип ремней и сапог, лапидарные лозунги, необычайные надежды, неслыханная популярность крайних партий и человекоядных режимов, правых и левых, эпоха, окрашенная в два цвета — чёрный и красный. Как много от этого времени у Маяковского и как много у времени от Маяковского, как много общего у него с французами, с немцами, с диагнозом времени, который был поставлен человеком и писателем, казалось бы, за тысячу вёрст далёким от нашего поэта, — Эрнстом Юнгером в трактате «Рабочий», в книге «Тотальная мобилизация». Как много общего у Маяковского с сюрреалистской, позднее коммунистической молодёжью, с Бретоном, с Элюаром, с Арагоном, посетившим съезд в Харькове, — при том что и они умели писать пронзительные стихи о любви. И сколько ещё можно назвать имён, отнюдь не мелких, не второстепенных, близких ему по духу, по мироощущению. Как много в нём фашизма. Я хочу сказать, что без

учёта этой общеевропейской ситуации, вознѣшей Маяковского, сознавал он это или нет, анализ его творчества будет неполон, горизонт сужен, он останется рассечѣнным на «официального» и «подлинного», да и самая личность поэта останется недопонятой.

Жарища, дорогой Бен. Мы ездили навестить наших внуков в детском отеле в горах, но и там, высоко в Альпах, такой же убийственный зной.

Наша дискуссия не была неплодотворной. Каждый утвердился в своём мнении. Это уже кое-что. Отвечаю Вам кратко.

Маяковский «по крупности и яркости несоизмерим ни с Арагоном, ни в Элюаром». Откуда Вам это известно? Для французского читателя, во всяком случае, значение и ценность этих двух поэтов несопоставимо со значением Маяковского, которого там знают теперь, возможно, ещё меньше, чем в России знают Элюара и Арагона. При всѣм том, что Арагон написал кучу мусора (как, впрочем, и Маяковский), при том, что Арагон раскачивался, как на качелях, между разными литературными и политическими верованиями, подчас вѣл себя отвратительно (не говоря уже о Триолешке, как называла Эльзу Ахматова), — война и оккупация сделали его большим национальным поэтом.

Маяковский «расквитался... со своей обольщённостью ложными и лживыми идеями». Так ли это? По-видимому, Вы склонны расценивать его самоубийство как однозначный акт протеста. Дело обстоит, однако, как во многих подобных случаях, сложнее. Тут и «любовная лодка», и редко принимаемый во внимание медицинский аспект.

Ещё одно, хотя тут уже начинается сфера вкусов. Очень может быть, что я знаю Маяковского плохо. Тем не менее Вы ошибаетесь, полагая, что я выбрал для своего злополучного сборника сюрреалистическое стихотворение «А вы могли бы?» потому, что не знаю других его вещей, тех, которые считаются, а может быть, и являются более важными, более представительными, центральными в корпусе его творений. Дело в том, что антология «Абсолютное стихотворение» составлена — и Вы могли это заметить при более внимательном чтении — не так, как обычно составляются поэтические антологии. Мне не хотелось повторять сделанное много раз. В частности, Вы могли заметить, что я не включил очень много имѣн, которые обычно фигурируют в таких подборках. В немецкой части отсутствует Шиллер, нет ни Эйхендорфа, ни Стефана Георге, ни Тракля, вообще нет очень многих знаменитостей. Зато есть, например, граф Платен, который сегодня и его соотечественникам весьма мало известен. То же можно сказать о французской части: отсутствуют Гюго, Нерваль, Леконт де Лиль, Лотреамон, Малларме, Верхарн, да мало ли ещё кто; от бога-

тейшего XX века остался лишь Аполлинер, да ещё вышеупомянутые Элюар и Арагон. Об английской части и говорить нечего, нет, например, Байрона. А что сказать о древнегреческой лирике? Одна единственная Сапфо приютилась в моей антологии. Наконец, что касается русской поэзии, то я вполне отдаю себе отчёт, что и состав имён, и особенно выбор стихотворений легко могут быть оспорены.

Но я выбирал только те стихи, которые важны лично для меня, которые сыграли особенную роль в моей жизни. Конечно, таких стихотворений немало. Я хотел быть, однако, по возможности кратким, положил себе предел — не более 50 вещей, и притом по одному стихотворению каждого автора. Прекрасно понимаю, что у Гейне, например, можно найти вещи позначительней, нежели известное Вам стихотворение, у Некрасова — кое-что посильнее «Зелёного шума», у Блока — нечто более весомое, чем то, что оказалось в моём сборнике. То же относится к Маяковскому: стихотворение важно для меня и вообще кажется мне прекрасным. В ответ на ехидное сравнение с «Воспоминаниями о Царском селе» могу лишь пожать плечами.

Дорогой Бен, Вы когда-то писали о покойной Лидии Чуковской, «суровой даме», которая, по Вашим словам, «озвучила» приказ главнокомандующего — Александра Солженицына. Русский писатель ни при каких обстоятельствах не имеет права покинуть родину. Можно было бы добавить, что тем самым она озвучила и важнейший тезис официального вероучения. А ведь это была интеллигентная, более или менее образованная и отважная женщина.

Я всю жизнь, ещё до университета, страдал от изоляции. «Муза дальних странствий» — это выражение я, как ни удивительно, впервые услышал из уст профессора Николая Николаевича Плотникова, моего учителя и шефа во времена, когда я был медицинским аспирантом, и одного из лучших людей, какие мне встретились в жизни. Все чувствовали — и чем ближе к краху советской власти, тем сильнее — гнёт и духоту этой изоляции. С каким энтузиазмом, с какими надеждами была встречена перестройка (термин, коварство которого прояснилось не сразу). Теперь наступил новый откат. Вы всё это пережили, Вы осведомлены лучше меня.

Но я подумал об этом — может быть, слишком скоропалительно, — прочитав в Вашем письме фразу: «Для меня не имеет никакого значения, знают французы (или англичане, или немцы, или американцы) Маяковского». Потому что *для меня* это имеет значение. И моя антология была скромной — вероятно, не удавшейся — попыткой взломать изоляцию. Меня всегда интересовало, что думают о «нас», как воспринимают русскую литературу образованные иностранцы, в первую очередь, конечно, немцы, но не только они.

Будем считать, что дискуссия о Маяковском закончена, хочу только напоследок заметить, что мнение Ахматовой или Пастернака, разумеется, надо принять во внимание. Но соглашаться с ними не обязательно. Вы помните, вероятно, как отзывалась Ахматова о Чехове. Вы привели восторженный отзыв Пастернака о Маяковском, но не забыли упомянуть и другое, тоже широко известное высказывание о том, что послереволюционный Маяковский — «никакой». Перечёркнута вся вторая половина творчества, не менее важная, чем первая. Даже Липкин не отважился бы так рубануть саблей.

Я бы хотел задать вопрос. «Западный интеллигент» — кто это такой? Запад весьма неоднороден. Он огромён и пёстр. То же относится к интеллигенции. Достаточно поговорить с двумя-тремя людьми, прочесть две-три статьи, чтобы в который раз убедиться в этом.

Не могу сказать, что знаю западную интеллигенцию. Я знаю моих друзей, моих близких или случайных знакомых, ветеранов войны и людей помоложе, немцев или немцев, читал некоторое количество авторов, участвовал в дискуссиях. Сколько разных точек зрения, разных суждений, ориентаций. Какие это вообще разные люди. И, между прочим, далеко не все — такие уж дураки, неучи и тупицы.

Я прицепился к этому выражению, случайно сорвавшемуся у Вас с языка, потому что существует привычка говорить о западноевропейской и американской интеллектуальной элите *en bloc*, чохом. Года два назад Ваш слуга рецензировал книгу, выпущенную одним немецким издательством, под названием «Россия на переломе» — беседы с тридцатью известными деятелями современной российской гуманитарной культуры. Эти люди побывали, и не раз, за границей. Но говорили они о заграничье так, как если бы Франция отличалась от Германии, а Германия от Италии не больше, чем Калужская область — от Орловской и Тульской.

Вы помянули Евтушенко. Он давным-давно не кумир и не знаменитость. Молодое поколение о нём вообще не знает. Звезда Солженицына весьма потускнела, особенно в Германии, где национализм не в чести. Сказать, что два этих имени «для западного интеллигента» — более громкие, чем имя Бабеля, я бы не решился. Бабель хорошо известен и весьма почитаем. Что касается Зощенко, то Вы правы: его знают только филологи-слависты. Хотя он, как и все мало-мальски заметные русские и советские писатели, отлично переведён. Но ведь и Зощенко (которого я сумел оценить благодаря Вам) сейчас в России несколько отошёл в тень. Может быть, Вы удивитесь, но Лесков в Германии — один из охотно читаемых, любимых писателей. Ещё один пример: здешнее исполнение пьес Горького, которые вообще ставятся часто, заставило меня переменить моё прежнее, скептическое отношение к его драматургии.

Юнгер зачитывался Розановым, Кафка — «Записками революционера» князя Кропоткина. Пауль Целан изумительно перевёл Цветаеву и Мандельштама. Хармс и Олейников ставятся на бесчисленных сценах. Чоран постоянно читает Гоголя. (У него, кстати, есть интересное эссе «Россия и вирус свободы», не знаю, переводился ли этот текст.)

То, что мы всё время возвращаемся к Маяковскому, в моих глазах прежде всего — свидетельство того, что он жив, жив, — о сколь немногих из его некогда прославленных современников можно сказать то же самое!

Вы прислали прелестную страничку об Эткинде. Я знал Ефима Григорьевича Эткинда не так близко, как Вы, познакомился с ним только в эмиграции, был однажды у него в Париже, довольно часто встречался с ним, публиковал его тексты в нашем бывшем журнале. Эткинд был человек блестящий и поверхностный.

Я попробовал представить себе, что я ответил бы Вам, окажись я на месте Е.Г. В средневековых диспутах учёные схоласты швыряли один другому в лицо цитаты из святых отцов, подчас противоречащие друг другу. Вы процитировали блестящие строчки Маяковского, воздержавшись (это было бы затруднительно в разговоре) от цитирования стихотворений. И правильно сделали: прочитанное целиком, стихотворение часто снижает впечатление от отдельных строчек. Временами стихотворения Маяковского как будто даже разваливаются на строчки. Далее я предложил бы всё же задуматься над тезисом Эткинда (весьма расхожим) о том, что «система» или техника Маяковского сослужила ему плохую службу в послереволюционные времена. Я бы сказал, что не вполне с этим согласен, и тем не менее. Была создана изумительная, неслыханно новая и новаторская стиховая техника. Это была техника самовитого слова в особом смысле — когда от слова идут к смыслу, а не наоборот. После революции она была использована для освоения совершенно новой, как тогда казалось, действительности, и смотрите-ка, стала, как и прежде, давать блестящие результаты.

Но вскоре выставились коварные свойства этой «системы». Даже самые проходные, незначительные и пустяковые стихи демонстрируют виртуозное владение словом, сыплются неожиданные рифмы, ритм чуть ли не завораживает. Но слова уже не работают, как прежде. За всем этим переливчатым звоном стоит удивительно бедный смысл. То, о чём вам хотят сказать, тривиально. И эта внутренняя тривиальность ширится, завоевывает новые поэтические территории, захватывает по-настоящему важные, серьёзные стихи. Боюсь, что и часть, по крайней мере, вещей, из которых Вы выбрали наугад — их в самом деле очень много — замечательные строки, по-

ражена тем же недугом. Удивительно здорово сказано, пластика, образность, смелость, самоуверенность, звучание, мощь — и банальность внутреннего содержания.

Тут дело вкуса. Я нуждаюсь в «метанаррации». Может быть, Вы помните, что это словечко употребил Жан Льютар, пророк и теоретик европейского постмодернизма, ныне уже покойный. Он полагал метанаррацию достоянием прошлого, от которого постмодернизм решительно отказался. Речь шла о прозе. Я решаюсь — с оговорками и со значительным усечением термина — приспособить его в данном случае к стихам. Без метанаррации, без какой-то неясно-глубокой общей идеи, без философского задания и фона, отнюдь не артикулированного впрямую, скорее мерцающего, сообщающего всему особую многозначность, — мне скучно.

Я нахожу такую смысловую глубину — если опять-таки говорить о поэтах — у Манделштама, у Ахматовой, у Ходасевича, поэта, удивительно близкого нашему времени, в иных случаях даже более близкого, чем Ахматова.

На-днях была возобновлена телевизионная передача «Литературный квартал» с известным Вам Марселем Райхом-Раницким, удивительно напоминающая нашу с Вами контрверзу о Маяковском, только здесь спорили о Брехте (по случаю 50-летия со дня его смерти). Р.-Р. доказывал, что политика, марксизм, пролетарская революция и т.д. были для Брехта чем-то внешним и случайным, он был человеком театра в первую очередь и поехал из Америки в ГДР только потому, что соблазнился возможностью иметь собственную сцену. Сидевший рядом известный поэт напирал на то, что Брехт был поэтом *par excellence*, ещё один участник дискуссии напоминал о симпатиях к коммунизму и любви к Сталину, по его мнению, вовсе не случайных.

Насчёт славного Эдички Лимонова я вспоминаю такой случай. Однажды покойный Хорст Бинек, бывший воркутинский заключённый, весьма известный в Германии писатель, который ведал литературной частью в Баварской академии и с которым я однажды дискутировал в газете *Süddeutsche Zeitung*, пригласил меня отобедать с ним. Разговор зашёл о Лимонове, который тогда, что называется, гремел, и я как-то поморщился. Бинек сказал: вот вы все, русские, не можете смириться с тем, что он пишет свободно о сексе. (Это была ошибка: тогдашние критики-эмигранты, Вайль-Генис и другие, не только всерьёз отнеслись к Лимонову, но даже провозгласили его крупнейшим современным русским писателем.) Я ответил, что дело не в нашем воображаемом ханжестве, а в том, что та-

кие романы, как «Это я, Эдичка», по-моему, можно печь как оладьи, посулите мне приличный гонорар, и я состряпаю Вам на пари такой же шедевр.

О новой русской литературе в Израиле (которую теперь представляют совсем другие люди, нежели Неля со своими романами и Саша, попрежнему регулярно печатающий публицистические статьи) я сужу — конечно, весьма поверхностно — по интернету. Я бы выделил поэтов Наума Басовского и Добровича, эссеиста Бормашенко, из прозаиков, может быть, Дениса Соболева. Дина Рубина, кажется, очень мало времени проводит в Израиле. Провинциальность многих российских израильян — Вы, конечно, правы. Впрочем, и в самой России её хватает.

Что касается пишущих на иврите, то там есть несколько замечательных писателей, давно уже перешагнувших региональные рубежи. Например, Абрахам Иегошуа, да, пожалуй, и Амос Оз. С недавних пор стал очень известен Меир Шалев (его переводит Рафа Нудельман).

Конечно, Бен, я целиком разделяю то, о чём Вы пишете: любая национальная замкнутость всегда вырождается в провинциальность. Если не хуже. Между национализмом и шовинизмом нет чёткой границы, а от шовинизма полтора шага до фашизма. Как Вы, вероятно, помните, роман Альбера Камю «Чума» заканчивался словами о том, что бактерия чумы не умирает. Чума дремлет, пока не наступит час, когда она снова вышлет своих крыс умирать в счастливый город (пересказываю по памяти). Это о фашизме. Но я отвлёкся.

Ваш отзыв о Брехте основан, мне кажется, на недоразумении. Я не знаком с переводами стихотворений Брехта на русский язык. Подозреваю, что и с Брехтом произошло то, что бывало с очень многими иностранцами, которых переводили в СССР. Выпячивалось то, что должно было понравиться начальству.

На самом деле — позвольте мне Вас поправить — Брехт был замечательным поэтом, и при этом, как Гейне, и лирическим, и «гражданским», и сатирическим, и ироническим, и трагическим. Никак не циником. Когда я упомянул в связи с ним о Маяковском, я не имел в виду поэтическую зависимость одного от другого, — у Брехта с Маяковским мало общего, — а лишь то, что дискуссия о Брехте в «Литературном квартете», упреки и оправдания, доводы и опровержения напомнили мне наш с Вами спор о Маяковском. Гейне — вот от кого тянется нить к поэзии Брехта.

Мне было бы не с руки спорить со стариком Райх-Раницким, но я не стал бы настаивать на его утверждении, будто величайшим немецким поэтом XX века был именно Брехт. Кандидатов на это кресло было по меньшей мере ещё три: Рильке, Бенн и, конечно, Целан. Но что по-

этическое место Брехта — в первом ряду, бесспорно. О Брехте-драматурге этого сказать, к сожалению, нельзя: «эпический театр» (самоназвание, которое у меня всегда вызывало некоторое недоумение), как мне кажется, уходит в прошлое.

Ну вот; а теперь придётся спуститься с верхотуры в подвал: Эдуард Лимонов. Представьте себе, я не раз и от разных людей слышал, что Лимонов — талант. Некоторые уточняют: говно, но талантлив. Другие поправляют: да, талантлив, и ещё как. Но — говно. А Наталья Иванова, я помню, выразилась так: Л. плохой писатель, но талантливый. И ещё одно мнение. Володя Войнович как-то сказал: растленный писатель. Это, по-моему, самое точное определение.

Вероятно, он литературно небездарен. Но людей более или менее одарённых много. Рискну утверждать, что для того, чтобы стать серьёзным писателем, таланта мало. Или — талант включает талант и ещё кое-что. Этого «кое-что» у Лимонова нет. Есть нечто противоположное. В данном случае я имею в виду не только нравственную говённость. Произведения Лимонова прежде всего говорят о внелитературных амбициях. Эта состарившаяся кокотка всё ещё хочет нравиться, всё ещё жаждет, чтобы о ней говорили, и не устаёт вертеться перед зеркалом.

Теперь о Бродском.

Приключилась на твёрдую вещь напасть:
будто лишних дней циферблата пасть
отрыгнула назад, до бровей сыта
крупным будущим, чтобы считать до ста.
И вокруг твёрдой вещи чужие ей
встали кодлом, базаря: «Ржавей живей»
и «Даёшь песок, чтобы в гроб хромать,
если ты из кости или камня, мать».
Отвечала вещь, на слова скупа:
«Не замай меня, лишних дней толпа!
Гнать свинцовый дрын или кровли жечь —
не рукой под чёрную юбку лезть.
А тот камень-кость, гвоздь моей красы —
он скучает по вам с мезозоя, псы.
От него в веках борозда длинней,
чем у вас с вечной жизнью с кадиллом в ней».

Монумент, воздвигнутый поэтом, именуется «твёрдой вещью». Скала-памятник в самом деле долговечней бронзы: это порода, отложившаяся в доисторические времена. Псы будущего, «лишние дни», готовые изгрызть её в песок, ничего не смогут с ней поделаться. Мощь поэзии, которой приходилось работать со свинцом и кровельным железом, вечность поэзии — надёжней «вечной жизни с кадиллом в ней».

Попробую прокомментировать. Стихи загадочны. Исчерпать их смысл невозможно, существует лишь поле толкований. (С удовольствием выслушаю Вашу версию.)

Заглавие отсылает к Горацию (Exegi monumentum aere perennius, я воздвиг памятник долговечней меди [или бронзы; слово употреблялось в обоих значениях]). Твёрдая вещь — это памятник: поэзия. На неё разинуло пасть время. Покушение будущего, причём крупного: дело идёт о столетиях. Это недоброе будущее, эти лишние, то есть остаточные, дни рычат: ржавей, коли ты из металла, рассыпсья песком, если ты из кости или известняка. На что «вещь», не тратя лишних слов, отвечает: подите прочь, корёжить металл — это вам не лезть под юбку к смерти. Мой памятник, негибаемый, как гвоздь, как кость каменной твёрдости, сделан в самом деле из вечного камня, мезозойской породы, его вам не изгрызть. Он долговечней бронзы — материала статуй, и отбрасывает в века свою тень, борозду своего бессмертия, более надёжного, чем обещанная попами вечная жизнь. Приблизительно так.

А теперь Ваше толкование. Оно не лишено остроумия, но кажется мне неприемлемым.

Фаллические аналогии à la Фрейд с некоторых пор вошли в моду. К этому отчасти подал повод и сам Бродский. В другом стихотворении он говорит о минарете; Юз когда-то называл памятник Циолковскому возле метро ВДНХ «мечтой импотента».

К стихам, о которых идёт речь, подобное толкование не подходит. Прежде всего оно игнорирует замысел, идею стихотворения, отчётливо выраженную в заголовке. Заголовок этот — продолжение эпиграфа к пушкинскому «Памятнику», оборванного на середине строки.

Речь идёт о памятнике и о традиции памятников в русской поэзии. Не зря выбран размер оды Горация (о котором Бродский говорит в «Письме к Горацию»), выдержано точное соответствие числа строк ($4 \times 4 = 16$).

Ваша интерпретация разрушает логику стихотворения, очень чёткую, которая воплощена в образной системе с центральным мотивом *камня*, не подвластного времени. Непонятной, не относящейся к делу, если следовать Вашему объяснению, остаётся концовка.

Я уж не говорю о том, что, если бы речь шла о пенисе, поэт, каким мы его знаем, выразился бы определённой. Фаллос, даже в значении символа поэтической трудоспособности, был бы назван своим именем, без экивоков.

Стихотворение кажется Вам «не из лучших». Лично мне оно нравится.

Спасибо Вам, Бен, за добрый отзыв о моей статейке «Париж и все на свете».

Собственно, без чёрных французов сейчас так же трудно представить себе Париж, как Германию без турок, и никого это особенно не беспокоит. Другое дело мусульмане Магриба и Передней Азии. Как-то раз я решил поглядеть на арабский квартал в Париже, куда, как мне говорили, лучше не заглядывать. Всё же я пошёл, пешком (это недалеко от Монмартра и бульвара Клиши), ничего особенного не увидел, кроме тесноты, — квартал населён очень густо, — живописных женщин с детишками, пузатых мужиков на углах улиц, которые стоят просто так, ничего не делая, в белых бурнуссах и белых вязаных шапочках наподобие еврейской кипы. Арабские вывески, грязноватые магазины; совершенно обособленный мир. Но недавние бесчинства подростков и молодых парней, детей и внуков выходцев из бывшей французской Северной Африки и мусульманского Востока заставили, наконец, с большим опозданием насторожиться. С великими трудами их удалось утихомирить. Однако я не живу в стране и плохо разбираюсь во всём этом нагромождении ошибок и всей путанице (которую и правительству не удаётся распутать). Очевидно, во всяком случае, что в своей политике на Ближнем Востоке Франция испытывает большую зависимость от наличия в стране очень большого исламского населения.

В одну из моих поездок я купил «Дневник “Фальшивомонетчиков”» Андре Жида, книжку, о которой знал, но которую прочёл теперь с опозданием. Мало того, что в самом романе писатель Эдуард ведёт дневник, обсуждает роман «Фальшивомонетчики», который он сочиняет. Теперь уже и создатель писателя Эдуарда и всех действующих лиц в свою очередь философствует о собственной работе. Двойная, а то и тройная рефлексия. Это я по поводу своих рассуждений о романе. Книжке Жида уже добрых восемьдесят лет. Размышления о повествовательной прозе давно стали интегральной частью самой прозы. Но приходится то и дело к ним возвращаться.

Вы упомянули Мопассана (которого я и сейчас люблю и ставлю очень высоко). Вы пишете: после сказанного Мопассаном всё что можно сказать о романе кажется повторением уже сказанного. О, нет. С тех пор классической — назовём её флюберовской — поэтике романа были нанесены такие чувствительные удары, и притом не раз, от которых она едва ли оправилась. Тоже уже давнишняя история. И наша с Вами старая тема споров.

Между прочим, я однажды послал в «Знамя» рецензию (когда ещё писал рецензии) на одну только что вышедшую тогда французскую книжку о Мопассане, а незадолго до этого разыскал на кладбище Монпарнас его могилу. Рецензия была зарублена, как и некоторые другие,

причём Анна Кузнецова сообщила мне — как нечто само собой разумеющееся, новое разве только для таких старых пердунов, как я, — что Мопассан плохой писатель.

Теперь насчёт «Красного колеса», — видите, наш пророк нас прямо-таки не оставляет. Конечно, и антихужественность замысла, и несоответствие грандиозного замысла возможностям автора, всё то, о чем Вы пишете, — очевидны. Мне не хотелось повторяться. Мне было важно подчеркнуть другое. Станным образом (а может, и не так уж странно), ни в одной из известных мне статей и книг о Солженицыне, и апологетических, и критических, я не находил сколько-нибудь серьёзного анализа его художественной системы. Исключение, может быть, составила давнишняя статья Льва Лосева, где он умудрился сравнить «Колёсо» с русской летописью. Некоторые прежние поклонники Солжа (например, Жорж Нива) в конце концов, сквозь зубы, признали, что «Красное колесо» — неудача. Но если кто-то и говорил об этом, то дело обыкновенно сводилось к идеологии. И в самом деле, о чём говорить, идеология пожрала художника, и не только в «Колёсах». Мне хотелось напомнить, что в ещё большей степени дело в эстетике. В изжившей себя эстетике. В этом смысле случай Солженицына-прозаика — мертворождённость его эпопеи, как Вы правильно сказали, — очень показателен, независимо от размеров писательского дарования.

По-видимому, я забыл (или почему-то не читал) статью Мопассана, на которую Вы ссылаетесь. В предисловии к «Пьеру и Жану» тоже есть нечто о романе, но это другой текст. Впрочем, он не раз говорил, что после всего созданного в прозе пытаться снова что-то сочинять бессмысленно. Это чувство не могло не возникнуть у наследника литературы, достигшей расцвета, когда другие европейские литературы ещё только становились на ноги.

Так или иначе, Вы более или менее правы, говоря о том, что к тому времени — я имею в виду конец 80-х годов XIX в. — флюберовской поэтики романа для Мопассана почти уже не существовало. Оба последних законченных романа, «Наше сердце» и «Сильна, как смерть», — свидетельство того, что писатель отошёл от заветов учителя и приблизился к модной светской психологической манере в духе Поля Бурже. Думаю, никто не станет спорить, что эти романы значительно уступают прежним вещам Мопассана.

Если же говорить о парадигме реалистически-объективной прозы в более общем смысле, как её, эту парадигму, сформулировал Флобер, как она была воплощена у Толстого и у самого Флобера, то Мопассан всё же не порвал с ней окончательно. Ещё раньше мину огромной силы подвёл под неё Достоевский (в «Бесах»), полный разрыв наступил уже в следующем веке.

Контрпримеры с «Тихим Доном» и даже с романами Булгакова не очень удачны, так как ни Пруст, ни Джойс к этому времени ещё не вошли, так сказать, в общее употребление. А главное — я ведь не утверждаю, что всё созданное по канонам доброго старого реализма после того, как была взорвана поэтика традиционной повествовательной прозы, оказалось заведомо нежизнеспособным. «Красное Колёсо» Солженицына продемонстрировало умирание жанра народно-исторической эпопеи à la Толстой с особой, можно сказать, ослепительной наглядностью оттого, что автору не хватало художественного дарования. (Кстати, речь ведь шла только о жанре. В своей стилистике Солженицын следует «орнаментальной прозе» 20-х гг., отнюдь не Толстому.) А, допустим, Шолохову — или кто там мог соучаствовать в создании «Тихого Дона» — хватило таланта, чтобы работать в традиционной манере. Правда, не стоило бы забывать, что «Тихий Дон» создавался свыше 80 лет тому назад.

Я не иконоборец. Я просто хочу сказать, что делать вид, будто ни Джойса, ни Пруста, ни Андрея Белого с его романами «Петербург» и «Серебряный голубь», ни Андре Жида с его «Фальшивомонетчиками», ни Деблина с романом «Александрплац», ни Германа Броха, ни Вирджинии Вульф, ни Кафки, ни Платонова, ни Фолкнера, ни Борхеса — и так далее, и так далее, — делать вид, что ничего этого не существовало или что после Льва Толстого ничего нового и существенно важного в понимании и построении повествовательной прозы не произошло, — невозможно. Как невозможно не учитывать в той или иной мере перемены, происшедшие в литературе за последние сто лет.

Дорогой Бен, мне кажется, Вы стучитесь в открытые двери. Всё что Вы пишете о многочисленных кризисах романа на протяжении столетий справедливо. Но речь ведь не об этом. Речь идёт о том, что сегодня нас всё ещё касается непосредственно. О попытках нащупать новую парадигму, преодолеть старую. Общий смысл Ваших замечаний сводится к тому, что-де во всех современных или относительно недавних рассуждениях и размышлениях о романе ничего нового нет. Это неверно.

Боюсь, что мы говорим на разных языках. Представление о романе «как истории счастливой или несчастной любви», которое Вы называете обывательским, одинаково приложимо и к роману о Тристане и Изольде, и к литературе XVIII и XIX столетий, и к модернистскому роману, и к сегодняшней прозе. И к великим вещам, и к рыночной пошлятине. Разве в этом дело? Когда мы (не я один) говорим о кризисе и ломке парадигмы позапрошлого, 19-го, века, — а ведь только об этом мы и ведём наш разговор, — речь идёт не о содержании как таковом. Поколеблены принципы повествования, поколеблено отношение к дей-

ствительности и самое понятие действительности, поколеблено представление о времени, о связи прошлого и настоящего, изменилось видение мира, возникло новое общество, исчез буржуазный читатель (читальница), в литературу вторглась новая философия, новая психология. Две чудовищных войны пронесли над человечеством. И так далее. Как нам со всем этим справиться?

Я думаю, что этот вопрос не может не занимать каждого, кто пробует свои силы в литературе. Из чего, конечно, совсем не следует, что каждый пишущий должен с презрением захлопнуть Толстого и поставить на полку, на самое видное место портрет Кафки.

О том, что вопрос о смене парадигмы всё ещё не устарел, по крайней мере в России, свидетельствует такой пример. Я с большим интересом читал «Рабочие тетради» Твардовского. В одном месте он пишет, что прочёл роман Томаса Манна «Доктор Фаустус». Его отзыв: высокоинтеллектуальный, изысканный, учёный роман, продукт кабинетного творчества, далёкий от жизни.

Это говорится о книге, чья актуальность, жгучесть, жизненная и историческая пронизательность и сегодня так же велики, как 50 лет тому назад. И говорит это высококультурный, отнюдь не рядовой читатель.

Вы скажете, что роман Т.Манна не мог не оставить его равнодушным уже потому, что это книга не о простых людях и не о России. Но я думаю, что дело не только в этом. Литературная философия и эстетика Твардовского (как и почти всего этого поколения) может быть без особого труда реконструирована на материале прозы «Нового мира», — Вы могли бы это сделать гораздо лучше, чем я. Предполагается, что существует некая единообразно читаемая версия действительности; художник должен её раскрыть. Литература должна изображать эту самую, реальную действительность, раскрывать правду жизни. Как? Средствами поэтики классиков русской литературы, в первую очередь Толстого, но также, к примеру, и Глеба Успенского.

...Насчет того, что жизнь за полвека после войны и в особенности 20 лет жизни за границей научили автора смотреть на войну «двумя глазами», — то ведь так оно и есть. Речь идёт обо мне, я, действительно, почувствовал, что моё зрение за эти годы усложнилось. Не говоря о том, что прежде я в своей литературе почти не касался войны. Последние годы, да и прежде, я много читал об этой войне, видел множество документальных фильмов разных стран. Я бродил по городам, возрождённым из руин, побывал и в городах, которые не восстановлены, например, в Цербсте, откуда когда-то приехала в Петербург будущая матушка-государыня. В разное время здесь, в Германии, мне приходилось встре-

чатся с участниками и современниками войны, с бывшими военнопленными, среди всех этих людей были и мои друзья. Я снова, как когда-то, погрузился в историю и действительность нацизма, но теперь к моим услугам была более обширная литература. Речь отнюдь не шла о каких-либо попытках оправдать агрессию, вот уж нет, вообще не о том, чтобы приукрасить так или иначе это кровавое прошлое. Но я узнал много нового. Это не могло пройти бесследно. Повторяю, речь только обо мне. Ведь я войну не видел. Мне пришлось многое навёрстывать.

Вы говорите: «Наша так называемая победа». Нет, не так называемая: это была в самом деле победа. Это была грандиозная победа. Но видеть её двумя глазами научились в России — вопреки Вашему утверждению — далеко не все. И это очень понятно. Я не говорю о пропаганде или её результатах (впрочем, весьма успешных). Я имею в виду ту особую и, в общем-то, естественную заикленность на своей стране, на её свершениях и особенно на её бедах. Почитайте только что вышедший сборник социологических работ Льва Гудкова. Вы найдёте там результаты массовых опросов населения — представительную статистику ответов на анкеты: оценка войны, участие разных народов, роль СССР и союзников и многое другое. Как бы ни относиться к этим ответам, они, конечно же, свидетельство кривого, одноглазого зрения.

Но в моём романе «К северу...» речь идёт, собственно, только об одном эпизоде и об одном единственном фронтовике. Я упомянул в этом злополучном послесловии книгу Гюнтера Грасса, писателя, которого я, к сожалению, недолюбиваю. Книга вышла уже после того, как я закончил свою работу. Я купил её, а во Франкфурте, на книжной ярмарке, спросил главного редактора «Иностранной литературы» (тут же оказался и переводчик), почему название романа Грасса в журнале переведено неверно. Но дело не в этом. Роман — о потоплении корабля «Вильгельм Густлофф». Наш общий друг и, в отличие от нас, участник войны Лазарь Шиндель поместил (кажется, в «Знамени») рецензию на русский перевод этого романа; прочтите её, если она Вам не попадалась. Это пример зрения одним глазом.

Многие из Ваших пушкинских статей я помню. И, конечно, готов подписаться обеими руками под словами о том, что не мы судим о Пушкине, но Пушкин судит нас. Сам я, правда, специально о Пушкине вроде бы не писал, если не считать крохотной заметки в «Антологии», но она не в счёт. Вспоминать же о том, когда начался для меня Пушкин, так же интересно и даже умирительно, как вспоминать о детстве вообще.

Я и сейчас то и дело читаю Лоре по вечерам Пушкина, и прозу, и стихи. Не далее как позавчера — «Моцарта и Сальери».

Когда-то я выступал на кафедре Жоржа Нива в Женеве перед студентами и тамошним Русским кружком, тема была — пушкинская речь Достоевского. Пушкину был бы 81 год, если бы он дожил (почему бы и нет, при его хорошем здоровье и выгодном телосложении) до юбилейных торжеств. Сидел бы, неузнанный, как старец Фёдор Кузьмич, где-нибудь в уголке, в зале Общества любителей российской словесности. И вот вслед за Тургеневым, Аксаковым, Катковым и епископом Амвросием поднялся Фёдор Михайлович Достоевский. Что сказал бы Пушкин, выслушав его диатрибу? Чего доброго, решил бы, что речь идёт вовсе не о нём.

Считается, что от Пушкина пошла вся новая русская словесность, что она преформирована в нём, как дуб в жёлуде. И в самом деле, Пушкин — это целая литература со всеми её жанрами, направлениями, стилями, сменой эпох, осознанием себя в семье европейских литератур, — всё в одном лице: сверхписатель. Но, создав целую литературу, Пушкин её и завершил. Пушкин противостоит наследовавшей ему русской литературе. Уже Гоголь решительно порвал с Пушкиным. Тургенев выглядит немножко эпигоном. Что касается Достоевского, то при всех клятвах верности он *отменил* Пушкина. Сбросил пушкинскую золотую латынь с корабля тогдашней современности, заменил её избыточно-многословной, хаотически-недисциплинированной, задыхающейся прозой. С Достоевским пришёл в русскую литературу совершенно новый тип гения.

Русских классиков — и прозаиков, и особенно поэтов — можно разделить условно на «французов» и «немцев». Пушкин, конечно, француз. Экономность, сжатость, суховатость, ирония, прозрачность — одним словом, знаменитая французская *clarté*: ясность. Двухтомный роман «Дубровский» — это всего лишь 80 страниц. Вплоть до синтаксиса. (Вспомните «Пиковую даму»: «Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра... Но шампанское явилось...» Это «шампанское явилось» — чисто французское построение; мы ведь сказали бы: но явилось шампанское. Или «Арап Петра Великого»: «Новое обстоятельство ещё более запутало её положение».)

Что касается мартиролога русской литературы (тут наш век доблестно продолжил традицию уничтожения писателей), то первым, если не ошибаюсь, заговорил об этом Герцен; ему принадлежит и самое это словечко «мартиролог».

Ваша статья заставила меня вернуться к некоторым старым мыслям.

Да, конечно, «на крови и пророчестве» — как не помнить эту фразу Ходасевича. Как не гордиться такой литературой.

Но, вспоминая всё это, я не могу отделаться от постороннего чувства, от того, чтобы не пожать плечами. Этой русской литературы больше нет — либо попытки возродить её выглядят пародийными. Её нет, как нет больше той России, нет мировоззрения и мирочувствия, для которого ключевыми словами и фразами были «народ», «служение», «всю тебя, земля родная...», — волшебные слова, как они на меня действовали!

Но когда протрёшь глаза, то видишь, что такой литературы не только не существует, но и не может существовать, что общество, в котором мы живём, не допускает подобной миссии, — она смешна.

Пушкин мог создать «Пророка». Он мог написать: «И неподкупный голос мой Был эхо русского народа». (Хотя «народ» его не читал; хотя сам он всего лишь несколько лет спустя напишет: «Ты царь, живи один».) И Некрасов мог написать то, что он написал, пронзительно-тоскливые, кровью написанные стихи, полные отчаянья и веры. Можно было верить в великую миссию поэта-пророка (латинское слово *vates*, напомним Вам, означает и поэт, и пророк).

Теперь это — далёкое, почти легендарное прошлое.

То, о чём я говорю, достаточно тривиально. После смерти Пушкина роль и значение литературы в русском образованном обществе — то есть для незначительного меньшинства — непрерывно возрастали. Эта роль оставалась чрезвычайно важной и перед революцией, и после неё, хотя бы и под другими лозунгами, в лучах совсем других планет.

Странно, но мы как будто забываем о важнейшей заслуге советского режима (если это считать заслугой, а не проклятьем). А именно: режим подготовил создание массового общества. Он похвалялся тем, что создал нового человека. Верно: он породил массового человека. Массовое коммерциализованное общество — нечто в самом деле новое и небывалое. Это общество, где женщина среднего достатка может одеться, как некогда одевались монархини. Теперь так одеваются «все». Общество, где по утрам, в гигантских городах, лавина людей спешит на работу, и все читают в метро одну и ту же бульварную газету, а вечером усаживаются перед экраном и смотрят одно и то же. Общество цивилизованного плебса, где телевидение, ориентированное на массовый вкус, в свою очередь воспитывает этот вкус. Ну, и так далее, — всё это Вы знаете. Где тут место литературе? Пророку, которого, появившись он, никто бы не услышал?

...Я, конечно, хорошо помню это место в статье Ходасевича. Мне даже всегда казалось, что Ходасевич — редкий в России XX века пример поэта, умеющего хорошо писать прозой. У других, даже великих, это чаще всего не получалось. Пастернак, по крайней мере в 20-х и 30-х годах, писал вычурно (о чём позже говорил сам). Например, «Детство Люверс» — вещь выдающаяся и совершенно невыносимая. Проза Ио-

сифа Бродского страдает манерностью. Цветаева просто писала плохую прозу. Даже в благородной прозе Ахматовой нет-нет да и промелькнёт дамская кокетливость.

Так вот, возвращаясь к статье «Кровавая пища»... Что говорить — русская литература вошла в нашу плоть и кровь. Мы и мыслим, часто не сознавая этого, нормами и категориями этой литературы — русским девятнадцатым веком. Но когда, тряхнув головой, озираешься вокруг, когда бросаешь взгляд на большие часы, где длинная стрелка показывает десятилетия, а короткая — столетия, то начинаешь понимать, — по крайней мере, таково моё давнишнее ощущение, — что с этим наследством, с этими идеалами и понятиями, как с царскими кредитками, больше нечего делать. Нет, ни Толстой, ни Достоевский отнюдь не «устарели», о Чехове и говорить нечего. Разве что чуточку Тургенев; разве что, самую малость, Лесков; разве что Писемский. Но верить, во что они верили, думать, как они думали, больше невозможно, служить народу, стране или кому там ещё, даже если бы горячо хотелось послужить, невозможно — по причине того, что нет больше такой страны и нет больше народа.

Тут мы упираемся в ту самую проблему, отнюдь не новую, но которую каждый пишущий вынужден так или иначе решать заново.

Это вопрос о традиции, которую нужно либо отвергнуть, либо (как Гроссман) следовать ей верой и правдой, не страшась упреков в отсталости. Либо, наконец, преодолевать давление традиции внутри самой этой традиции.

Ясно, по крайней мере, что писать, как писали Толстой и Достоевский, невозможно, и не просто потому, что не хватит силёнок, но оттого, что — нельзя. Красный свет светофора. В сущности, я ломлюсь в открытые двери. Поезд великой русской литературы ушёл, а мы остались на платформе.

Подростком я с упоением читал Чернышевского, и Добролюбова, и Писарева, даже какого-нибудь Антоновича («Асмодей нашего времени»). Как-то раз, это было во время войны, в селе Красный Бор на Каме, в воскресенье, я забрался в школьную библиотеку, дверь была не заперта. Лежал там на столе и читал «Реалистов». Их и надо читать в этом возрасте. Всё это ушло, но перед Белинским я преклоняюсь и теперь. Говорю это к тому, что мне пришлось выдержать войну и с Белинским. (Вы помните, что Блок писал о «белом генерале».)

Однажды я случайно увидел в журнале «Континент» краткую, но очень выразительную аннотацию или, скорее, рецензию моей повести «Третье время», напечатанной в «Дружбе народов». Отрицательные рецензии запоминаются, было это три года назад, сейчас попытаюсь найти её в интернете.

«Б. Х. описывает пробуждение эротических влечений у подростка. Дело происходит во время войны в поселке, где практически нет муж-

чин, зато молодых, исполненных томления женщин более чем достаточно. Подросток романтически влюбляется в одну, но первый сексуальный опыт переживает, разумеется, с другой — после чего пыгается совершить самоубийство. Текст донельзя литературный, вычурный и переусложненный отвлеченными умствованиями, якобы принадлежащими тому же герою, в гораздо более зрелом возрасте пытающемуся осмыслить эпизод своего грехопадения».

Умствования показали ненужными, скучными, малопонятными — я усмотрел в этом некий встречный симптом. Мы привыкли к этому окрику: «Показывай, а не рассказывай!». И уж во всяком случае воздержись от комментариев, это не по твоей части. Белинский учил (не первым, конечно), что искусство есть мышление образами, а философия — понятиями.

Столетие спустя антитеза потеряла смысл. Литература XX века невозможна без философии. Произошло взаимопроникновение художественной литературы и эссеистики; по-видимому, это оказалось неизбежным следствием того особого усложнения художественного мышления, о котором я говорил выше. При этом внутренний комментарий, эссеизм внутри романа оказывается особым художественным приёмом. В России, однако, всегда относились ко всякому философствованию с подозрением. Занудство; далеко от жизни; рассуждать — не дело художника, и т.д. И тезис Белинского, как я не раз замечал, жив до сих пор.

Когда я говорил о том, что реалистическое повествование (здесь предпочитают говорить: миметическое, термин, восходящий к Аристотелю) скомпрометировано, я не хотел сказать, что оно чем-то проштрафилось, но имел в виду некоторую устаревшую литературную конвенцию. Эта конвенция, чаще всего не декларируемая, предполагает такой взгляд художника на действительность, который возвышает его над всеми своими персонажами: всеведение. Существует вера в действительность, какова она на самом деле. В этом «на самом деле», заметьте, вся суть. Это — незыблемая, непререкаемая, при всей своей сложности однозначная, точнее, однозначно читаемая действительность, какой её изображает и на которую открывает нам глаза художник-реалист. Его проза — блестящий результат «художественного исследования» действительности. Анна Каренина не знает о существовании Толстого, но Толстой знает о ней всё, и нет оснований сомневаться в его компетентности — он видит всё и читает во всех сердцах.

Сегодняшний романист, будь он даже наделён гением Толстого, или Стендаля, или Флобера, так о себе сказать бы не мог. Это конвенция литературного реализма позапрошлого века. Нравится нам это или нет, но она ушла в прошлое. Понимание этого — далеко не новость. Буря

первых десятилетий двадцатого века оставила после себя обломки. Но до сих пор нелегко примириться с тем, что случилось что-то непоправимое: наши привычные представления о художественности перестали работать. Пошатнулась вся эстетика, унаследованная от прошлого, вынесенная из нашего духовного отечества — классической литературы XIX века, как выносят мебель из горящего дома.

Вас смутило словечко «скомпрометированный». Но ведь никто не собирается опровергать Толстого. Так же как никто не дерзает перецементировать Толстого, который, как и Пушкин, как Данте, вечен, «доколь в подлунном мире...». Караван, однако, шагает дальше — своим путём. Может быть, классики содрогаются, поглядывая на него со своих небес. Но если бы это было не так, если бы литература пребывала в счастливом и успокоительном сознании, что «всё это уже было» и ничего нового не произошло, — не появилась бы новая эстетика, не было бы великих писателей следующего века — Пруста, Джойса, Кафки, Фолкнера, Андре Жида, Музиля, Томаса Манна, Борхеса; к ним, очевидно, следует причислить прозу Платонова и Андрея Белого.

Вы говорите о «нормальном читателе». Новая (теперь, конечно, уже совсем не новая) литература по-своему расправилась и с читателем. Она заявила о своей суверенности и потребовала от него весьма значительного встречного усилия. Я не знаю, кто это такой — нормальный читатель, совершенно так же, как я не знаю, что надо называть нормальной литературой. Видимо, это и есть тот самый читатель, о котором Вы говорите: «Хоть ты его сахаром облепи...»

Наконец, — если, как говорит Козьма Прутков, «смотреть в корень», — всколыхнулась и философия действительности, как её понимает художник. Вы совершенно правы, Бен, говоря, что писатель создаёт, так было всегда, свою действительность. Но классика (в узком смысле — буржуазный роман XIX столетия) притязала на безусловное и убеждающее жизнеподобие картины, которую она предлагала. Это вытекало из той концепции действительности, о которой я говорил выше. Для писателей следующего века литературная действительность есть в большей мере преодоление эмпирической действительности. Картина мира есть то, что реконструируется — но и конструируется — нашим сознанием; для прозаика одинаково бытийственны и воспоминания, и сны; время повествования субъективно, это время нашего сознания; писатель имеет дело не с реальностью в старом смысле слова, но в лучшем случае с её версиями.

Это — приобретение XX века, за эстетикой стоит теперь другая онтология. Поэтому мир и человек в мире литературы, как в новой живописи (сколько тут удивительных параллелей!), для обыденного сознания и «нормального» зрения выглядят искажёнными. Мир Франца Кафки чудовищен. Мир Борхеса фантазмагоричен. Мир

Джойса карикатурен. Мир Томаса Манна (в «Докторе Фаустусе», например) зыбок и постоянно двоится. Но вот что удивительно: эти книги, каждая на свой лад, убийственно правдивы.

Заметьте, я вовсе не посягаю (как Вам показалось) на самый принцип повествовательности. Рассказывание историй — древнейшая функция литературы, и хотя время от времени становится модным её отрицать, из этих попыток ничего не выходит. Ссылаются на то, что новых сюжетов не бывает. (Забывая, что об этом говорил ещё Гёте.) Между тем бессюжетная проза растекается, как манная каша. И не зря покойный Лотман говорил, что сюжет — «революционизирующий элемент» прозы.

Видите, я снова накопал целый трактат. Хватит ли у Вас терпения всё это читать? Ещё немного об эссеизме. Или, вернее, о месте автора в его прозе.

Один пример. Некоторые читатели считали и считают до сих пор усложнённый повествовательный принцип романа «Фальшивомонетчики» модернистским трюком. Подростки из хороших семей связались с бандой преступников. Об этом пытается написать роман некий писатель. Все персонажи — плод его фантазии. Он тоже действующее лицо, но в то же время и реально существующий автор, он ведёт дневник, куда заносит свои соображения о романе. Он терпит неудачу, роман не выгнцовывается, тем не менее роман — перед нами. В свою очередь, персонажи обсуждают замысел романиста. И, наконец, существует «Дневник “Фальшивомонетчиков”», выпущенный Андре Жидом после того, как книга вышла в свет.

Литературный фокус, погоня за новизной ради новизны? Нет, конечно. Это построение вызвано необходимостью. Романист почувствовал, что только так, пользуясь системой зеркал, он может совладать с созданной им литературной действительностью. Только так она станет для него действительной.

Дело в том, что, усомнившись в действительности, писатель не может не усомниться в своих попытках уловить, поймать в сети действительность; это заставляет его задуматься над собственным произведением, над принципами повествования, над памятью, над временем персонажей и временем автора и мало ли ещё над чем. Назовём эту рефлексию эссеистическим элементом прозы. Вы ошибаетесь, говоря, что это «не Бог весть какая новость»: Толстой-де тоже этим занимался в «Войне и мире». Нет, Бен. Обширные отступления, целый трактат о философии истории в конце последнего тома — вовсе не эссеистика, а именно трактат, изложение взглядов автора на историю. Автору было угодно присовокупить это сочинение к своему роману, — ради Бога. Но он не сделал его интегральной частью своего художественного, романного мира. Толстой вообще никогда не

занимался эссеистикой. Можно добавить, что эссе не является традиционным жанром русской литературы, в отличие от французской, английской, да и немецкой (может быть, в меньшей степени). Лучшим, крупнейшим русским эссеистом был, очевидно, Герцен, но и ему не удалось усвоить русской литературе этот жанр.

Может быть, Вы заметили, что сейчас, когда западное словечко «эссе» сделалось модным в России, им обозначают всё что угодно, но не эссе.

Впрочем, речь не о самостоятельном жанре, главная особенность которого — рефлексия, готовность усомниться в собственной точке зрения, ироническая дистанция и противостояние авторитарному слову — равно как и рафинированная культура, — а об «эссеизме», о внедрении эссеистических приёмов в ткань романа, где разного рода умствования в свою очередь становятся художественным приёмом.

Вы ссылаетесь на Свифта, Стерна, всё это не на тему. То ли я снова выразился недостаточно определённо, то ли Вы невнимательно прочли моё письмо. Речь шла о парадигме XIX века, об этой и только об этой эпохе, о позитивистской философии действительности, которая возобладала в этом веке, — короче говоря, речь шла о буржуазном реалистическом романе, лучшие и самые характерные образцы которого были созданы в эту эпоху во Франции и России. И, который, бесспорно, ушёл в прошлое.

Конечно, многое подготовлено восемнадцатым веком, но обратите внимание на водораздел между романом, условно говоря, аристократическим и романом буржуазным. Констан — современник (правда, младший) Бальзака, но как велика разница. Внешность героев в «Адольфe» не описана. Быта нет: что едят, где живут, как одеваются, как путешествуют — все опущено. Не видно ни слуг, ни посторонних лиц, ни народа, существует постоянная декорация, единственный фон — дворянское общество, везде более или менее одинаковое, поэтому оно тоже не описывается. Пять действующих лиц, из них трое остаются на заднем плане. Подробно анализируются чувства главного героя. Всё повествование освещено холодным, безжалостным сиянием — это свет ума. Жизнь абсурдна и в то же время чрезвычайно логична. Поэтому она умопостигаема. Никаких тайн не существует для романиста. Все поступки действующих лиц безупречно мотивированы. Над всем господствует социальный рок — правила поведения, диктуемые обществом, и таким же строгим правилам следуют стиль и построение романа. Литературный этикет идеально соответствует словесному этикету, благородство стиля разоблачает задрапированное приличиями неблагородство героя. Роман состоит из десяти коротких глав.

Это, конечно, — как и проза Пушкина, — все еще дальше эхо классической лагинской прозы, а в ближайшей ретроспективе наследство века Просвещения; аристократическая проза: ясная, сдержанная, суховато-элегантная; но уже через каких-нибудь 13–15 лет проза начинает разбухать, заявляет о себе буржуазный интерес к вещам, к быту, появляются многостраничные, грузные, как их автор, романы Бальзака с подробнейшими описаниями улиц, комнат, одежды. Тот самый, ограниченный временем и типом общества реализм, который я имел в виду. Многие унаследовано от XVIII века. И всё же это совсем другое.

Что Вам сказать. Ваша мысль, говорите Вы, предельно проста: «Я против всяческих теорий». Если это так, толковать не о чем. Может быть, Вы подумали, будто я представляю себе дело так, что писатель, особенно если не достаёт таланта, сочиняет для себя теорию писания, а потом пишет, следуя этой теории. Так не бывает.

Как-то раз, помню, я разговорился с покойным Володей Корниловым, он говорил о Моцарте. Для него это был — очевидно, не без влияния маленькой трагедии Пушкина — образец бездумного гения. (В действительности и письма Моцарта, и его рукописи опровергают этот миф.) Писателю тоже противопоказаны всевозможные умствования. Это говорилось, конечно же, *pro domo sua*, но здесь сказала, по-моему, и традиционная русская точка зрения, привычное недоверие ко всякой рефлексии, отталкивание от философии и философствования. Мне же очень трудно представить себе современного взрослого, культурного и образованного писателя, который не задумывался бы над принципами своего и чужого творчества. Писателя, который не отдавал бы себе отчёта в том, что он ходит не по целине, а по толстому слою культурного гумуса, что за ним длинная череда предшественников. От того, что, как Вы говорите, придёт следующее поколение, явится новый гений, который опрокинет прежние теории, ничего не меняется: он создаст для себя новую теорию.

Мне непонятно это противопоставление: талант — и теория. Мне кажется, что рефлексия о собственном творчестве отнюдь не противоречит таланту. Напротив, она, как я пытался объяснить, становится необходимостью. Не говоря уже о том, что самые представления о талантливости со временем меняются.

Ваше письмо не опоздало: я три дня отсутствовал, ездил в Чехию на конференцию ПЕН. Давно уже не был на этих сборищах. Это так называемый ПЕН-клуб писателей в изгнании, филиал Интернационального ПЕН. Повидал некоторых друзей, а так — ничего особенного, можно было не тащиться в городок почти на самой польской границе. Но как-то неудобно манкировать, в своё время они отвалили мне несколько премий.

Перечитываю Ваше письмо. «Чайка» для меня совершенно особенная пьеса, самая любимая. Впрочем, во всех странах она не уходит из репертуара, видел я её и здесь, причём мне кажется, что на немецкой сцене (я имею в виду в данном случае театр Münchener Kammerspiele, известный во всём немецкоязычном регионе), она получилась удачней, чем то, что я когда-то видел в Художественном театре в Москве. Вообще же я всегда думал, что эту пьесу поставить на сцене невозможно, настолько это тонкая, филигранная, сложная, глубокая и многозначная вещь.

Отсюда проистекают эти неисчерпаемые возможности толкования. Кто такой Тригорин? В перечне действующих лиц о нём сказано: беллетрист. Уже эта ремарка настораживает. В дальнейшем становятся очевидны, по крайней мере, две вещи. Тригорин — серьёзный, талантливый, много работающий и по-настоящему преданный литературе писатель, это первое; и второе: Тригорин — этаблированный, то есть добившийся известности и прочного положения, преуспевающий автор. Рискнём добавить: работающий «в русле». Не зря он говорит о себе: умру, люди скажут — хороший был писатель, но не Тургенев. Другими словами, это эпигон. Между тем на дворе 90-е годы, время, когда молодое по отношению к Тригорину, Аркадиной и другим поколение чувствует, что русло обмелело. Дует новый ветер, навстречу идёт новая литературная эпоха, «декадентство», «символизм». Словом, «нужны новые формы». Какие именно, ещё неизвестно, но что-то совершенно другое. Всё это носится в воздухе и дурманит голову молодым. Взрослые люди смеются на этими фокусами. На самом деле происходит то, что так часто случается в искусстве: бунт должен завершиться становлением новой литературной парадигмы.

У Кости Треплева есть немало оснований присоединиться к этому бунту. Во-первых, он молод: мамаша и её любовник для него уже почти старики. (Я отлично помню, как я считал сорокалетних безнадежными стариками.) Во-вторых, он не просто — как Вам кажется — тщеславен, жаждет престижа и т.п.; нет, он одержим истинным желанием работать в искусстве. В новом искусстве, которому не дают хода старые задницы, рутинёры. В-третьих, он ущемлён социально (очень важный момент, хоть и звучит под сурдину): вокруг дворяне, а он по паспорту, как и его отец, нижегородский мещанин. Не забудем, что мы живём в сословном обществе. Граница между привилегированными и непривилегированными сословиями проходит как раз по Косте. Он беден, чтобы не сказать — нищ, живёт на иждивении дяди, у которого имение и генеральский чин, отчасти на иждивении матери. Ему не везёт в любви, Нина увлечена столичным гостем Тригориним. И так далее.

И, наконец, главный вопрос: действительно ли он призван сделать что-то серьёзное в литературе. Вы решаете этот вопрос однозначно:

Треплев бездарен. Доказательство — его нелепая пьеса. Мне же кажется, что этот вопрос у Чехова остаётся открытым. Костина пьеса — проба начинающего; вспомните, какие беспомощные вещи писали в этом возрасте Гоголь или Некрасов, да и мало ли кто ещё. Дорн, самый умный человек в пьесе Чехова, говорит о пьесе Треплева: в ней что-то есть. Это «что-то» в дальнейшем до некоторой степени реализуется, прозу Треплева начинают печатать в журналах, Тригорин говорит, что им интересуются; по-видимому, перед Костей три возможности: либо он в самом деле пробьёт собственный, новаторский путь в литературе, либо поедет по накатанному пути, станет в конце концов эпигоном эпигонов (таких, как сам Тригорин), — либо, наконец, из него ничего не выйдет, и Вы окажетесь правы. Но Треплев убил себя — оснований не меньше, чем было оснований для юношеского бунта, — и вопрос, как я сказал, остался открытым. В этом отсутствии ответа, по-моему, проявляет себя тайная, но очень последовательная и очень жизненная логика гениальной «Чайки».

Меня заинтересовали Ваши замечания о покойном Андрее Синявском. Я знал его, однажды прожил несколько дней в их доме, в парижском пригороде; не так давно посетил после многих лет Марию Васильевну, некогда бывшую первой дамой эмиграции; были и другие обстоятельства, так или иначе связывавшие нас (хоть и не близко). Я всегда считал Синявского высокоталантливым писателем, но ценил его как эссеиста, а не как беллетриста. Он называл свою художественную манеру фантастическим реализмом, но как раз фантазии, ему, на мой взгляд, не доставало. Думаю, что теперь читать его романы и повести невозможно. Вообще же он производил на меня впечатление человека с глубокой червоточиной; ему следовало бы жить в 1913 году.

Вы называете его творчество (как и творчество совсем другого писателя — Владимова) неорганичным. Я как-то плохо понимаю, что такое органичное творчество. Вытекающее из неодолимой внутренней потребности писать, сказать нечто никем доселе не сказанное? Не «головное», не сконструированное по известным образцам? Не литература, порождённая литературой, но литература о «жизни»? Все эти определения неудовлетворительны. Ещё меньше, чем к русским писателям, они подходят к западным. Был ли Пруст органичным писателем? Или Андре Жид? Борхес?

В конце письма Вы спрашиваете, куда нам отнести «Крошку Цахеса» или «Нос»; смысл Вашего вопроса, как я понимаю, — не подрывают ли такие примеры всю концепцию литературного модернизма.

Можно было бы, вероятно, упомянуть и «Петера Шлемиля», и «Шагреновую кожу», и «Доктора Джекилла и мистера Хайда», и «Ор-

ля», и «Жестокие сказки» Вилье де Лиль Адана, и мало ли ещё кого. По этому поводу позвольте мне сделать отступление. Я когда-то, как Вы, может быть, помните, занимался биографией Ньютона. У него были предтечи. И Кеплер, и Галилей, и Гюйгенс, и Рэн, и некоторые другие весьма близко подошли к открытию закона всемирного тяготения, Гук предсказал это открытие. Но их заслуги понята и оценены *потому*, что явился Ньютон. Благодаря ему стало ясно, что все они двигались в одном направлении. Собственно, они и стали предшественниками Ньютона, потому что существовал Ньютон.

Новатор отбрасывает снопы света назад.

Что диковинная повесть Гоголя — нечто большее, чем сатира, и даже вовсе не сатира, стало ясно в XX веке. Оказалось, что «Нос» — дальше предтещие абсурдистской литературы, а ещё больше — Кафки.

Кстати, роман «Процесс», в свою очередь, многим казался (в СССР это стало даже общепотребительной точкой зрения) разоблачением австрийской бюрократии, буржуазного суда и т.п. Между тем это отнюдь не разоблачительное, не социально-критическое и не сатирическое произведение.

Чтение книги, очень удачно названной «Маяковский. Самоубийство» подвигается медленно, отчасти потому, что я наслаждаюсь книгой; до главы о диком мясе я не успел добраться; сейчас, нарушив последовательность, прочёл её.

Ваша теория о «мясе» и соединительной ткани (собственно говоря, в гистологии это — ткань, не наделённая специальными функциями, диким же мясом на хирургическом жаргоне обыкновенно называют избыточное разрастание как раз этой самой, но ещё юной, соединительной ткани при рубцевании ран; но для наших рассуждений это не так важно — понятно, что Вы хотите сказать), так вот, теория эта, сформулированная *ad hoc*, более всего и подходит к Маяковскому, поэту строчек, подчас поразительных по силе звучания, новизне и богатству образа, но не поэту стихотворений. В других же случаях, и особенно что касается прозы, она вызывает у меня сомнение.

Вы ссылаетесь на два примера «почти сплошного» дикого мяса: «Четвёртая проза» Мандельштама и Достоевский. На мой взгляд, «Четвёртая проза» — в высшей степени литературная, чрезвычайно мастеровитая, то есть мастерски сделанная, весьма тщательно продуманная вещь, отнюдь не спонтанная, что не мешает ей оставаться эмоциональной. Её импрессионизм, её нарочитая капризность, внешняя бессюжетность, — правильной было бы сказать: ломаный сюжет, — результат весьма точного художественного расчёта, сознательного умысла и той самой «техники», к которой Вы вслед за Тол-

стым относитесь с недоверием. Повторяю: это не делает сей маленький шедевр искусственным, надуманным, вымученным, — напротив. Кажется, что эта проза излилась из души единой струёй; так оно и есть; только прежде чем стать прозой, она упала на мельничное колесо творчества и мастерства.

Достоевский. По Вашему мнению, он вовсе не выработал себе никакой техники, «всецело полагался на старый способ... великих дилетантов — работать “одним нутром”». Простите, я в это не верю.

Когда-то очень давно я читал старую книжку Цвейга, мало что помню, но запомнил одно место, где говорится: впечатление, будто романы Достоевского — это необработанная, хаотически-небрежная проза, обманчиво: попробуйте вы пропустить две-три страницы, и дальнейшее станет непонятным, повествование развалится. В самом деле, «Бесы», как и другие романы, держатся на железном каркасе искусно построенного, тщательно продуманного и выверенного сюжета. Это продукт долгих размышлений. Не мне Вам рассказывать, как выглядят подготовительные материалы и черновики «Бесов».

Стало почти общим местом уличать Достоевского в том, что он «плохо писал». В дневниках Сомерсета Моэма (их когда-то печатал в «Воплях» Лазарь Шиндель) есть целое рассуждение о том, что проза Достоевского крайне несовершенна, но гению было не до ювелирной работы; и всё-таки, добавляет Моэм, лучше работать над стилем, чем так писать. А между тем автор «Преступления», «Бесов» и «Карамазовых» — изумительный стилист, и этот его неподражаемый слог и стиль, как и его сюжеты, — результат оригинальной, выработанной им техники. Возьмите, как наугад выбранный пример, первое знакомство Алёши Карамазова с Грушенькой, первое явление Грушеньки и разговор с Катериной Ивановной — как это написано! Как сделано!

Вспомним рукописи Пушкина, рукописи Моцарта. А ведь кажется, что то, что получилось, было написано в мгновение ока, непосредственно из «нутра» — на бумагу.

Мы возвращаемся к теме художественной рефлексии, на сей раз — в самом процессе творчества и даже у его истоков. Вы склонны разводить спонтанность и обдуманность, интуицию и расчёт, «нутро» и технику. Дескать, сначала первое, а уже потом второе; если же всё начинается с сознательного расчёта, то получаются сапоги всмятку, искусственная литература, человек из колбы. На самом деле нутряной писатель — в лучшем случае романтический миф.

Предел писания нутром — автоматическое письмо сюрреалистов, будто бы открывающее ворота бессознательному. Помню, что когда я врачевал в деревне и пытался что-то сочинять, я однажды, ничего не зная о Бретоне, изобрел этот велосипед и в первую же свободную минуту начал марать бумагу, не заботясь о построении фразы, вообще о де-

лении текста на фразы, и даже о грамматике, стараясь только поспевать за течением мыслей. Но слово «текст» буквально означает нечто сотканное. Получилась ерунда.

Я надеюсь, что Вы не поняли меня так, будто я вовсе отрицаю интуицию, внезапное озарение и всё такое. Вероятно, каждый писатель, а уж прозаик тем более, скажет Вам, что первым толчком для него было случайное впечатление, внезапная мысль, что-то прочитанное, увиденное, подслушанное. Но как только начинается собственно творчество, включается сложный механизм, идёт процесс, в котором вдохновение и мысль, спонтанность и контроль настолько тесно сплетены, что противопоставить их друг другу невозможно, более того, они в определённом смысле одно и то же.

Когда-то Вы, дорогой Бен, мягко укоряли меня, что я подделываюсь под немца, в отличие от патриота России Эмы Мандела, который с гордостью говорил: я живу не в Америке, а в эмиграции. Подделаться невозможно, даже если бы я этого хотел, но власть великой культуры — эта зараза, ускользнуть от которой трудно даже тем, кто этой культурой вовсе не интересуется; я же пригубил от этого напитка ещё в ранней юности. Но — если «можно убедиться, что земля поката: сядь на собственные ягодицы и катись», если, следовательно, ягодиц две, а не одна, почему нельзя сидеть на двух стульях?

Вы прислали мне книгу «на суд и расправу». Лихо сказано, а главное, обязывающе. Но какой там может быть суд. Я прочёл быстрее, чем обычно читаю. Я думаю, что перечислить достоинства этой книги трудно. Прежде всего, она захватывает. Персонажи — это живые люди, и самым убедительным получился портрет центрального героя. При этом Вы, словно по его примеру становясь на горло собственной песне, не пытаетесь скрыть от читателя тёмных сторон этого портрета. Введено в рассмотрение множество самых разных фигур. Это эпоха в лицах. Не последняя и немалая заслуга — заставить пристальней взглядеться на фигуру поэта, который на наших глазах становится малочитаемым.

Если всё же позволено будет возражать, то вот один пункт. Ваш ответ на центральный вопрос, действительно ли канонизация «лучшего, талантливейшего» так повредила Маяковскому, точнее, был ли этот поцелуй Иуды незаслуженным, — Ваш ответ кажется мне недостаточным. Смирять себя, «наступив на горло собственной песне», разрываться между лирикой и гражданской поэзией, чистой поэзией и поэзией ангажированной, политической, пожертвовать первой ради второй — мотив достаточно традиционный, восходящий к Гейне. Вы заостряете это противоречие, говорите о двух Маяковских, подлинном и насильственном; это меня не убеждает. Маяковский — один. Он всегда верен себе.

Агитационные стихи — от плакатов до поэм — сохранили, если говорить вежливо, историческое значение; попросту говоря, их невозможно читать всерьёз. И не потому, что их насильственно внедрили, как картофель при Екатерине. Ведь уже народилось поколение, для которого советского литературоведения не существует. Тем не менее и для молодёжи эти вирши в лучшем случае — медь звенящая и кимвал бряцающий. Но несчастье (если это несчастье) в том, что и в самых нежных, самых проникновенных своих, охотно цитируемых Вами вещах поэт остаётся тем же поэтом — автором «Мистерии-буфф», «150 000 000», поэм о Ленине и «Хорошо!», рассказа литейщика Ивана Козырева, разговора с товарищем Лениным, стихов о советском паспорте, стихов о загранице, стихов для детей и так далее. И наоборот: почти в каждом из этих барабанных произведений можно найти сильные, свежие, увлекающие строчки; прочитай их однажды в юности, помнишь всю жизнь: «Сто пятьдесят миллионов — этой поэмы имя. /Пуля — ритм, рифма — огонь из здания в здание. /Сто пятьдесят миллионов говорят губами моими...» Это поэт строчек.

Словом, идиотическое вероучение не было чем-то чужеродным, насильственно навязанным, внешним по отношению к «подлинному» Маяковскому. Он и в самых своих восторженных, самых верноподданных, самых зловещих вещах был вполне подлинным.

Та же поэтика, те же, всегда узнаваемые интонации, угловатые ритмы, обязательные неологизмы, небывалые, брызжущие, поражающие своей изобретательностью, а порой и удручающе искусственные, притянутые за уши рифмы, — а ведь поэтика, если верить Ходасевичу, — самое верное, адекватнейшее выражение души поэта.

Что же касается «идеологии», тут недаром приходится это слово ставить в кавычках: и в «Про это», и в других, самых лучших послереволюционных вещах идеология и поэзия у Маяковского — почти синонимы; отделить одно от другого невозможно. Мне кажется, это весьма важный пункт.

Конечно, в Вашей книге есть и другое, с чем я не согласен или согласен лишь наполовину. Я недостаточно подготовлен для основательного разбора. Но вот, к примеру, вопрос, рассмотренный Вами подробно и всесторонне: причины и подоплёка самоубийства. Мы об этом уже говорили немного. Патография Маяковского не написана, а она могла бы добавить к вашему рассказу ещё одно — недостающее — измерение. Вы постарались релятивировать «показание» Брички, говоря о том, что обстоятельства, заставившие поэта наложить на себя руки, может быть, и можно — каждое в отдельности — считать поводами, но не случайно именно они оказались роковыми, а не какими-нибудь другие; и, значит, их можно смело возвести в ранг причин. Я против этого не спорю, но меня смущает очевидное желание отодвинуть в тень нечто не менее

важное — эндогенную основу. А ведь она вполне очевидна. Разумеется, психопатология убившего себя поэта не снимает вины со всевозможных аграрных и халатовых. И разочарование в революции и советском режиме тоже нешуточная вещь. Как и неутолённая любовь. Но я хотел бы только сказать, что внутренняя, обусловленная психической конституцией и годами носимая в себе тяга к смерти сама ищет поводы — и рано или поздно находит. Знаменитые строчки «А сердце рвётся к выстрелу, а горло бредит бритвою» настолько искусны, что могут показаться искусственными. На самом деле они глубоко выстраданы. Маяковский был одним из тех людей, — хорошо известный синдром! — которые всю жизнь борются с искушением покончить с собой. Пока, наконец, очередная депрессия не ставит точку.

Можно было бы кое-что сказать и касательно Вашего вывода о том, что перерождение революции, истинный облик социализма и сознание конца эпохи — главная, коренная причина. Документальное подтверждение этого вывода очень шатко. Апокрифического рассказа Юрия Анненкова, фразы, кем-то переданной: «сейчас нехорошо», — недостаточно. Ни в стихотворениях, ни в выступлениях последних лет ничем таким и не пахнет. Неубедительна Ваша ссылка на строчку из финала поэмы «Хорошо!»: «Пойду направо...» Очень может быть, что борьба с левой оппозицией и т.п. тут совершенно ни при чём. Может быть, поэт вспомнил обычную уличную вывеску: «Держись правой стороны». Может быть, соблазнился каламбуром: «жезлом правит... пойду направо».

Тут у нас всплыло, как же иначе, имя Лили Брик. Должен сознаться, что вся эта компания — и карикатурный Ося, и «лефы», и сановные гости этого гротескного пролетарского салона, и, конечно, сама королева бала, похожая на Мессалину, — равно как и пошловатый стиль самовыражения в разговорах, в письмах, в идиотических вещаниях о литературе, равно как и готовность травить всякого, в ком можно подозревать классового врага, — всегда вызывали у меня глубокое отвращение. Всё что напоминало им высокую литературу XX века с её «утончённой сложностью», «искусством сопряжения» (слова Б.В. Дубина в недавней речи памяти Александра Гольдштейна), подлежало вытеснению. Вы процитировали высказывание о Мандельштаме: «мраморная муха». Недурно сказано, и сказано оттого, что Мандельштам был римлянин, а они — варвары, остготы.

Это варварство даёт, как мне кажется, основание сделать общий вывод. Это я уже, так сказать, от себя.

Было бы по меньшей мере глупостью пытаться сбросить с парохода Маяковского. Маяковский не только не умер, он, насколько мы можем заглянуть вперёд, бессмертен. Если я решаюсь повторить фразу Липкина о «крупнейшем из второстепенных поэтов», то потому, что нахожу в ней не столько хулу, сколько похвалу. Не будучи поэтом первого ряда

(там, где Пушкин, где Лермонтов, где Тютчев, где Блок, Мандельштам, Ахматова и кто там ещё), он занимает почётное место во втором ряду, а это, согласитесь, очень, очень много. Это особенно много для поэта, не обладавшего глубокой культурой (условие столь же необходимое, как и поэтический дар). Это сказалось и на той черте его поэзии, которая не может не броситься в глаза (которую отметил и Пастернак): необычайный, почти экзотический, порой грубо-плакатный, ярчайший и поразительно талантливый поэтический наряд — и бедность содержания. Бьющая через край эмоциональность, сердце, готовое вместить в себя весь мир, — и плоскость, тривиальность мысли. Маяковский был варваром — с изумительной, как у ребёнка, языковой одарённостью, с неуклюжими ухватками подростка, порой нарочитыми, с этим вечным желанием кого-то эпатировать, лихо сплёвывать, с зычным голосом, могучим темпераментом. Он не был поэтом эпохи, он был поэтом времени, которое оказалось очень коротким, более того, он был поработён своим временем — поработён настолько, что не сумел (да и не хотел) над ним подняться. Но его чрезвычайно важное значение, между прочим, состоит, как я думаю, и в том, что он был самым, может быть, талантливым в XX веке трубадуром фашизма. В известной мере это было запрограммировано в футуризме. (Не зря Маринетти стал личным другом дуче.) Надеюсь, Вы понимаете, что я употребляю слово «фашизм» не в узко политическом смысле. Впрочем, и в этом смысле он по праву может быть — тут надо отдать справедливость Карабчиевскому — охарактеризован как певец тоталитарного режима, хоть и почувывший, что с этим режимом что-то не всё в порядке.

Важнейшее в Вашем письме — фраза о том, что мой главный приоритет — культура, а Ваш — талант. Я бы выразился иначе, для меня культура и дар — две стороны одного и того же. Мы знаем немало писателей, у которых недожинный литературный талант соединялся с формально недостаточным образованием. Но образование, учёность, начитанность, имея некоторое отношение к гуманитарной культуре, всё же не являются её синонимами. Мандельштам, как вы знаете, провалился на экзаменах, вообще учился кое-как; тем не менее это был человек рафинированной культуры. Пруст посещал гимназию с длинными перерывами, в университете вовсе не учился, Томас Манн не окончил даже и гимназию, — и так далее. Культура писателя обнимает для меня понятия или качества, которые можно с таким же правом считать компонентами таланта: развитие чувство языка и стиля, музыкальность как особое качество прозы, чувство своего времени, эпохи и умение противостоять этому времени, духовный аристократизм и многое другое, для чего я не могу найти сейчас подходящих определений.

К этому нужно прибавить, что мы живём в александрийское время. Другими словами, мы потомки и наследники, по душе нам это или нет, очень старой, зрелой, чрезвычайно структурированной и утончённой культуры. Мы ходим не по земле, а по толстому гумусу этой культуры. Всякие попытки вернуться к подростковой наивности, ни о чём не подозревающей непосредственности, «исконности» и «народности» могут быть только стилизацией либо чем-то не дотягивающем до необходимого уровня — достоянием тривиальной словесности.

Дорогой Бен, я, как всегда, с Вами согласен и не согласен. «Левый марш» всегда казался мне музейным стихотворением. (А пожалуй, и пародийным.) С другой стороны, забыть его невозможно. Чего стоят хотя бы эти строки, каких, действительно, ещё не знала русская литература:

Р-развор-р-рачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе!
Тише, ораторы!
Ваше
Слово, товарищ маузер.

Разумеется, поэта можно понять: время и всё такое. И государственный переворот не делается в белых перчатках. «Но зачем ты был первым учеником?» Вот и получилось, что ты остался в своём времени и продолжаешь свою жизнь в руководствах по истории литературы, в воспоминаниях современников. Да ещё в словопрениях убелённых сединами старцев вроде нас с Вами. Но не в своих стихах.

А вот, например, в иных вещах Багрицкого, поэта, занимающего в общепринятых иерархиях место много ниже Маяковского, революция не умерла.

Почему бы Вам в самом деле не написать статью о «Левом марше». Он стоит этого.

Был такой случай: лет десять тому назад журнал «Искусство кино» устроил в одной московской гостинице конференцию на тему «Искусство в поисках новой идеологии». Звучало это довольно странно, хотелось спросить: на х... попу гармонь? Выступали разные люди, было много курьёзного. На короткое время приехали Андрей Синявский и Марья. Синявский прочёл доклад о Маяковском. И вот он стал читать «Левый марш» — совершенно серьёзно, с увлечением, с пафосом. Я знал Андрея, его вкусы, и всё пытался представить себе, как этот бородатый, низкорослый, с расходящимся страбизмом, сугубо кабинетный и малообщительный человек вышагивает с «революционными матросами»: левой, левой...

Довольно о Маяковском, наши позиции прояснились. Лучше вернёмся к автору замечательной «Квадриги».

Вы спросили, что меня «зацепило» в книге. Да, собственно, ничего. Липкин, похоже, не очень был склонен теоретизировать, да и книга его не об этом. Вдобавок он пишет главным образом о поэтах и поэзии, а мне хотелось бы говорить о прозе. Сам я не могу решить, к какому, собственно, поколению я принадлежу, у меня нет чувства «моего» литературного поколения. Зато я довольно отчётливо различаю водораздел, который нас разъединяет. И, может быть, больше того: разделяет целая эпоха. Я говорю о литературе. Эта эпоха называется модернизмом. Разумеется, я не могу себя представить равноправным партнёром в воображаемом диалоге с Семёном Израилевичем, я очень мало знал его, привык смотреть на него снизу вверх. И всё же, если бы такой диалог состоялся, то выяснилось бы (для меня), что мой старший собеседник остался в домодернистском космосе. Я же ощущаю себя живущим *после* модернизма. Повторяю, это отнюдь не значит, что моё литературное мировоззрение более «передовое». Просто оно другое и, боюсь, мало совместимое со взглядами и вкусами С.И.

Я упоминал об убеждении Липкина (повторённом в книге), будто залогом бессмертия прозы является созданный — или открытый — писателем новый «тип». Это лишь частный случай возможных расхождений, но весьма показательный. Для меня понятие типа осталось в XIX веке. Послеклассическая литература отказалась, сознательно или бессознательно, от вылепливания литературных типов и характеров, как это делали великие писатели прошлого. Это не означает, что она ушла от «жизни» в некие туманно-метафизические дебри. Напротив, она сохранила древний импульс искусства — схватить реальность. Но понятие реальности подверглось существенной ревизии. Эти потрясения, как мне кажется, остались за горизонтом С.И., как и его ближайшего друга Василия Гроссмана.

В романе Фейхтвангера «Успех», который мы читали в юности, был такой инженер Каспар Прёкль, если Вы помните, автор бунтарских песен, которые он исполняет на гитаре, — и собирается ехать в СССР. Прототип этого Прёкля — молодой Берг Брехт.

С Брехтом у нас получилось недоразумение. Мы уже как-то говорили о нём, о его поэзии. Именно стихи я имел в виду: Брехт, без сомнения, один из крупнейших, хоть и сравнительно мало известных в России, немецких поэтов XX века. Что же касается драматургии, его «эпический театр», как мне кажется, уходит или уже ушёл в прошлое. Когда-то я читал и кое-что видел на сцене с увлечением.

А тут как-то смотрел «Карьеру Артуро Уи» по телевидению из Гамбурга и самым позорным образом заскучал. Ещё как-то держится «Трёхгрошовая опера», в значительной мере благодаря музыке Курта Вейля.

Несколько времени тому назад прогремел (восторженные рецензии, «роман века») гигантский опус художника Максима Кантора «Урок рисования». Я имел возможность познакомиться с представительными отрывками и нахожусь в полном недоумении: вещь — ниже минимального литературного уровня. И неужели рецензенты и этаблированные критики в самом деле смогли одолеть эти 1400 страниц хаотической болтовни?

Ваш отзыв о романе «Доктор Живаго» категоричен и звучит как приговор, не подлежащий обжалованию. Я понимаю, что читателю, с юных лет покорённому прозой Пастернака 10-х и 20-х годов, прыжок от избыточной, цветистой и замысловатой — я чуть было не сказал: вычурной — манеры к скупой, сдержанной прозе сам по себе может казаться изменой писателя самому себе. Но, очевидно, речь идёт не только о стиле. Речь о том, что назойливо лезет в глаза, — о противоестественном, как может показаться, внедрении в художественную ткань христианской историософии стареющего автора. В статье говорится о навязанной себе, искусственной миссии пророка и об измене искусству. Параллель с «Выбранными местами» Гоголя и пр.

Однажды я вычитал в одном письме Пастернака (Спендеру, 1959 г.) поразившее меня место. Он говорит о «Докторе Живаго»:

«В романе делается попытка представить весь ход событий, фактов и происшествий как движущееся целое, как развивающееся, проходящее, проносящееся вдохновение, как если бы действительность сама обладала свободой и выбором и сочиняла самоё себя, отбирая от бесчисленных вариантов и версий».

Вот тебе и раз. Это написано после Освенцима, после советских концлагерей, после беснования всесильной тайной полиции, всевластия убудочных вождей, после двух мировых войн, разрушений, гибели многих миллионов людей.

В начале романа то, что я назвал его историософией, вложено в уста дяди Николая Николаевича, но потом, и чем ближе к концу, тем отчётливей, становится понятно, что это — исповедание веры самого автора и центральная идея книги. Конечно, это вредит художеству — какой тут может быть разговор. Но без этой проповеди не было бы и романа. Искусство может мстить за себя двояко: либо оно уходит, то есть мстит своим исчезновением, либо превозмогает проповедь, каким-то образом переваривает её.

Сама по себе эта философия истории применительно к Пастернаку с его вселенским оптимизмом и — вместе с тем — каким-то дачным благодушием никем, настолько мне известно, серьёзно не разобрана; а жаль. Как никак это интегральная часть романа. Многих она восхищает. Для меня она неприемлема.

Вообще же моё отношение к «Доктору Живаго» остаётся двойственным. Его замысел удивителен. Вы пишете о новаторстве «Детства Люверс» и «Охранной грамоты». Но и роман по-другому, при внешней традиционности, при кажущемся следовании образцам XIX века, во многих отношениях новаторский — по крайней мере, для советской литературы. В том, что он оказался так злобно оплёван, и не одним только начальством, был известный резон — не только политический и, в сущности, малообоснованный, но и потому, что в нём на самом деле почувяли другую литературу. Каким образом можно говорить о намерениях автора эстетически соревноваться с Фединым и т.п., я не понимаю. Вы ссылаетесь (в статье) на слова, сказанные или будто бы сказанные Ал. Гладкову: «Я много бы дал за то, чтобы быть автором “Разгрома” или “Цемент”...» Но разве так можно или нужно их толковать?

На последний вопрос в Вашем письме, дорогой Бен, «стал ли он (роман Пастернака) и станет ли живым романом для читателя», я ответить не могу потому хотя бы, что мнения читателей различны, часто противоположны. Раброс оценок продолжается до сих пор. Упоминаю об этом не оттого, что эти отрицательные или положительные, пренебрежительные или восторженные отзывы повлияли на меня, — мы ведь с Вами уже вышли из возраста, когда что ему книжка последняя скажет, то на душе его сверху и ляжет, — а оттого, что суд времени, приговор потомства и т.п. далеко ещё не произнесены.

То, что я ещё могу сказать по этому поводу, возможно, покажется Вам странным. Я спрашиваю себя, кто такой этот обобщённый читатель, от чьего имени Вы говорите. Кто он такой, этот многоголовый читатель, апеллировать к которому хотелось бы каждому пишущему? Подзреваю, что его попросту не существует, если, конечно, не иметь в виду тех обыкновенных людей, охотно потребляющих низкосортную литературу и воспитанных на ней, притом отнюдь не тёмных невежд, словом, тех читателей, которых, очевидно, — в качестве критиков ли, поклонников ли, — ни Вы, ни я себе не желаем. Да они и не читают книг наподобие «Доктора Живаго». Или, может быть, надо говорить об изолированном, всё равно — искушённом или неискушённом, но уединённом читателе, который сидит в своём углу, сам по себе, и о котором мы ничего не знаем, хоть он и является естественным порождением атомизированного общества.

Живой роман для читателя, сказали Вы. Я не говорю о литературе «для немногих», ведь всякая литература, заслуживающая этого названия, — для немногих. Когда-то считалось, что читателей Шекспира прибавляется с каждым новым родившимся на земле. Так хотелось говорить и о Толстом. Уже тогда, впрочем, в ответ можно было пожать плечами. Но дело не в этом, в конце концов, эпохи, когда литература была достоянием ничтожного меньшинства, — правило, а не исключение, а о массовом обществе второй половины минувшего века, в которое стремительно въезжает Россия, и говорить нечего.

Пластичность. Мы приблизительно знаем, что это такое, когда речь идёт о классиках русской или французской прозы. Но уже классики XX века, авторы бесспорных шедевров, оказываются в этом смысле камнем преткновения, будь то Пруст, или «Волшебная гора» (которой в СССР противопоставляли фединский «Санаторий Арктур»), тоже ведь не лишённый пластичности в описаниях действующих лиц), или «Доктор Фаустус», или романы Вирджинии Вульф.

В том-то и дело, что Пастернак не ориентировался ни на Пруста, ни на Кафку (которого он, я думаю, не читал), с одной стороны, ни на Федина (которого наверняка не читал, хоть и дружили), ставшего после экспериментов 20-х годов образцовым эпигоном Толстого, — с другой. Ни даже на самого Льва Толстого.

Можно предположить, что он всю жизнь оставался под обаянием прозы Рильке («Мальте Лауриде Бригге»).

Вы скажете, что «Доктор Живаго» не чужд приёмам традиционного реалистического романа и, следовательно, к нему приложимы критерии этой прозы.

Это верно, очень даже не чужд, — с той, однако, оговоркой, что это всё-таки не совсем «тот» реализм, и я полагаю, что именно это обстоятельство, измена (правда, очень осторожная) школе классиков, стала причиной упрёков, в том числе и Ваших. Пастернак, как мне кажется, искал синтеза, не хотел быть ни шокирующим модернистом, ни благонаправленным эпигоном, ни тем более социалистическим реалистом, не хотел возвращаться и к «орнаментальной прозе» — Вы помните, что он писал о ней. Насколько это удалось, другой вопрос. «Но поражение от победы ты сам не должен отличать».

Я уже говорил Вам, что отнюдь не являюсь безусловным поклонником «Доктора Живаго». Но я думаю, что продуктивная критика должна была бы принять во внимание для разбора и оценки те критерии, которыми руководствовался сам автор. Другими словами, попытаться понять, какова была задача, которую ставил перед собой писатель, и насколько он с ней совладал. С таким подходом литературная критика, насколько мне известно, не справилась, часто даже не отдавая себе в этом отчёта.

Оттого и могло казаться, что христианская историософия, вообще новое христианство Пастернака, пропитавшее весь роман, чтобы в конце концов вылиться в стихотворениях Юрия Живаго, — что этот довесок, восхитивший одних, раздражавший других, игнорируемый третьими, тут, по Вашим словам, «ни при чём». На самом деле это вовсе не довесок. Вся эта философия — мировоззрение автора — очень даже при чём. У меня историософия Пастернака вызывает активный протест. Но она настолько спаяна с поэтикой романа, с его композицией и сюжетом, что игнорировать её невозможно.

В интернете появился юбилейный номер «Воплей», и я сразу же прочёл Ваши воспоминания об А.Г. Дементьеве «Чем-то я ему приглянулся». Имя для меня вполне новое. Не знал я, конечно, и о том, что, например, мадам Книпович, некогда одна из последних подруг Блока (Вы помните в её воспоминаниях, как Александра Андреевна открывает дверь, и: «Саша, Женя, входите!»), — рассказано, конечно, с умыслом), что эта самая Книпович, ставшая довольно мерзкой тёткой, дослужилась до литературного генеральства.

Статья, написанная легко и почти весело, довольно ярко рисует отвратительную атмосферу подневольной литературы и литературной жизни. Иногда мне кажется, что этот отравленный воздух не вполне рассеялся до сих пор. Вместе с тем мне почудилась в Вашей статье ностальгическая нота.

Я обратил внимание на то место, где говорится о сюжете.

«Формула Добина “Сюжет — концепция действительности” (...) меня не устраивала тем, что словно бы предполагала, что писатель, садясь за стол, имеет уже некую готовую концепцию действительности. И подбирает, подыскивает, выстраивает сюжет, который с наибольшей точностью эту концепцию выразил бы. Моя же главная, задушевная мысль состояла в том, что писатель, принимаясь за работу, еще и сам не знает, какова она будет, эта самая его концепция действительности. Что концепция эта постепенно открывается ему по мере того, как рождается, выстраивается, вырисовывается, возникает из тумана, становится все более рельефно видимым поначалу неясно различаемый им “сквозь магический кристалл” сюжет его будущего произведения...»

Похоже, что Вы и сейчас как будто готовы отстаивать это романтическое представление о сюжетосложении. Ведь оно, это представление, отвечает, не правда ли, Вашим взглядам на художественное творчество вообще.

Пожалуй, и в самом деле можно — теоретически, по крайней мере — представить себе автора, который затевает некое сочинение, повествовательную прозу, не зная, куда кривая вывезет, полагаясь единст-

венно на вдохновение, наитие, на то, что придёт в голову и понемногу выстроится; главное — начать, сдвинуться с места. Почему бы и нет? Но я боюсь, что это будет упрощением достаточно сложного процесса. Тем более не могу объявить это гарантом художественности, неизменным правилом или даже законом творчества.

Вконец зацитированная фраза Пушкина о замужестве Татьяны пострадала от слишком усердного, буквального, очищенного от всякого юмора толкования. То, что «удрала» Татьяна (или к чему ею принудили), не могло быть неожиданностью для создателя первого русского реалистического романа о современном ему обществе. Нужно принять во внимание и литературную традицию, которая навязывает писателю сюжетные схемы. (Гёте говорит о том, что изобретать новые сюжеты бесполезно.) Сюжет «Евгения Онегина» следует хорошо известной формуле: *А* любит *Б*, но *Б* не любит *А*; когда же *Б* влюбляется в *А*, то *А* отказывает *Б* во взаимности.

Подготовительные материалы к величайшему, может быть, роману девятнадцатого века — «Бесам» (в XIII томе Полного собр. соч.) очень наглядно демонстрируют обдумывание сюжета, притом не в общей форме, а до мельчайших подробностей, — обдумывание и выстраивание, которое происходит до того, как начинается писание в собственном смысле. Итог — чрезвычайно искусно сложенный, сложный и увлекательный роман, в котором все узлы развязаны и все концы сходятся с концами.

Вы видите, как в этих записях формируется концепция романной действительности, зыбкой, опасной, ненадёжной. Как складывается и революционная, антифлюберовская, условно говоря, поэтика романа.

В хрестоматийных воспоминаниях Горького о Толстом, если помните, приводятся слова Толстого о Диккенсе: сентиментальный писатель, и такой, и сякой, «но зато он умел построить роман, как никто». Или ещё пример предварительной работы над сюжетом: «Дневник „Фальшивомонетчиков“» Андре Жида (не знаю, правда, переводилась ли эта книжечка на русский язык).

А что сказать о детективном романе? Жанр, конечно, как говорил Зоценко, неуважаемый. Но ведь им не гнушались и первоклассные мастера.

Я, конечно (как уже сказано) спорю с тем Б.Сарновым, о котором рассказано в Вашей статье, предполагая, что и нынешний Сарнов разделяет в общем и целом свои тогдашние взгляды на сюжетосложение. Кроме того, Вы отталкиваетесь от формулы Добина, говорите о «концепции действительности» в романе, и, если я правильно понял Вашу мысль, сюжет строится соответственно тому, как постепенно, по мере втягивания в работу, в сознании писателя вырисовывается представление об облике и характере этой действительности. Это и будет его кон-

цепция. Никаких презумпций, ничего заведомо принимаемого, преду-мысленного быть не должно, как не должно быть предварительного жёсткого плана, всё это умерщвляет художественность.

Так вот, если Вы действительно так думаете, — то нет, конечно. Я не в силах представить себе современного романиста таким, каким он Вам грезился или грезится до сих пор: писателя, чьё воображение — *tabula rasa*, писателя, не чувствующего у себя под ногами толстый гумус культуры, не обременённого традицией, с которой, оставаясь внутри неё, он вынужден постоянно воевать, писателя, для которого действительность есть нечто внешнее, куда он вторгается, как дровосек врывается в лес, и который берётся за сочинение романа, не ведая, чего он хочет, что он собирается сказать, не отдавая себе отчёта в том, какая мысль о жизни его ведёт в этот лес, имя которому — его собственная душа.

Мы оказались в плену слов, дорогой Бен, следовало бы уточнить, что, собственно, мы подразумеваем под словом «классик». Может быть, тот, у которого всё, включая слабое, случайное или второстепенное, является «классикой», бессмертно, включено в классическое наследие? Если это так, то и «Тарас Бульба», и «Выбранные места...» будут классикой. Ясно, впрочем, одно: живых классиков не бывает, если кого так называют, то лишь из вежливости; не надо торопиться, подождём лет сорок; как известно, прижизненная слава — опасная вещь; чтобы оказаться современным, надо быть несвоевременным; чтобы прочно стать признанным, надо умереть; «уйти из жизни, — говорил Музиль, — чтобы остаться живым, — любопытный онтологический трюк»; прерогатива присвоения высшего титула и расстановки шахматных фигур по местам — принадлежит ещё не родившимся поколениям.

И, разумеется, не обходится дело без несправедливости — правда, до поры до времени. К числу неправедно обойдённых (хоть и не окончательно забытых) я бы отнёс, например, Ивана Катаева. Что касается Шкловского, то он был упомянут в моей статье потому, что фигурирует рядом с другими в сборнике «Как мы пишем». Я не имел в виду его беллетристику. Кстати, он остаётся — разумеется, не у массового читателя — весьма почитаемой фигурой и здесь, в Западной Европе и в Америке, главным образом благодаря тому, что был связан с ОПОЯЗом.

Вы можете мне поверить: если я мимоходом упомянул о том, что Виктор Шкловский остаётся весьма чтимой фигурой за границей, то это вовсе не означает, что я хочу прибавить ему веса в пику сказанному Вам. Ведь это просто попутное замечание. Конечно, небезынтересно и, пожалуй, бесполезно знать, за что ценят или почему не ценят такого-то русского писателя за пределами России, как вообще смотрят на нас из

за бутра. Мне, во всяком случае, было интересно выслушивать разные мнения на этот счёт, когда я приехал в Германию. И я всегда возражал моим здешним соотечественникам, когда слышал от них одну и ту же фразу: «Они нас не понимают». Нет, понимают — но по-другому, подобно тому, как мы «их» понимаем по-другому, иначе, чем «они», расставляем акценты.

Должен сказать, что я-то как раз гораздо хуже, чем Вы, знаю творчество Шкловского, да и меньше ценю его. Он казался мне всегда салонным литературоведом. Блеск и оригинальность его ума, особенно в ранних произведениях (таких, например, как статья о Розанове), ослепительны. Но его литературная манера, заимствованная, как считается, у Власа Дорошевича, выдаёт, по-моему, особенность его дробного мышления, похожего на мелькание карманного фонарика: он мыслит афоризмами, его настоящий жанр — салонное *mot*. Такими были Ларошфуко, Шамфор, Лихтенберг.

Моя литературная работа подвигается очень вяло, временами, особенно вечерами, мне кажется, что я выдохся. Как и прежде, я просматриваю в интернете российские литературные журналы. Мода на постмодернизм, вернее, на то, что называли в России постмодернизмом, по-видимому, окончательно прошла, но и сегодняшняя литература, насколько можно отсюда о ней судить, на меня по большей части наводит скуку. Русская проза, или, если можно так выразиться, русское литературное сознание, не успело по-настоящему вжиться в эпоху общеевропейского модерна, и, может быть, эта эпоха для нас — всё ещё впереди.

Я вернулся из Дрездена. Первый раз я был там вскоре после того, как открылась граница. Собственно говоря, под Восточной Германией, Ostdeutschland, прежде подразумевались земли к востоку от Эльбы, аннексированные после войны отчасти Советским Союзом, главным же образом Польшей (взамен отнятых в 1939 г. польских восточных областей): Пруссия, Восточная Померания, Восточный Бранденбург, Силезия, Познань. Территория ГДР именовалась — Средней Германией, Mitteldeutschland. Теперь она стала восточной. Государство ещё существовало, но границы, как уже сказано, уже не было. Правда, вышки, ряды колючей проволоки, ограда вдоль железной дороги, заставы, запретные полосы и прочее — всё это ещё сохранялось и производило жуткое впечатление. Ещё существовала берлинская стена. Ещё красовались вывески магазинов, представлявшие собой буквальный перевод с русско-советского: «Продукты», «Товары первой необходимости» (какой торговец согласится признать, что его товар — *не* первой необходимости?), и бросалось глаза множество советских солдат, например, в

Веймаре. Ещё в каждом городе, большом или маленьком, главные улицы были улица Отто Гротевоя, улица Маркса и Энгельса. Я ехал в машине с близкими друзьями — супругами Графенхорст, у которых были друзья или знакомые в ГДР, это облегчало передвижение по стране и ночёвки в разных местах. За несколько недель мы пересекли страну с запада на восток и с севера на юг. Поездка была незабываемой. Немного позже я писал об этом для нашего бывшего журнала, хочу Вам даже послать одну статейку, хоть и не знаю, интересно ли это сейчас. Старая песня, давнишние дела.

Посетили тогда и саксонскую столицу. Цвингер выглядел неприятельно, но всё же огромная корона на парадных воротах (Kronentor) блеснула золотом и можно было увидеть всё главное в Дрезденской галерее — конечно, и Мадонну Рафаэля. Уцелел знаменитый Fürstenzug, длинная стена, выложенная драгоценной цветной керамикой, с кавалькадой членов династии Веттинов, к которой принадлежал и Август Сильный. Вы эту стену, вероятно, видели. Королевский дворец лежал в развалинах, груда руин, огороженных забором, находилась на месте, где когда-то высилась Фрауэнкирхе, город выглядел грязным, запущенным, как все города Восточной Германии. Но зато правительству Хонекера удалось восстановить Semper-Oper, пёстрый, причудливый, с множеством лестниц, своеобразно-очаровательный оперный театр, названный так в честь архитектора. В этом театре я побывал, когда ещё раз, в 90-х годах, приезжал в Дрезден на конференцию ПЕН, слушал там одну оперу Генделя. На этот раз останавливались в гостинице, которую я запомнил: она называлась «Новалис».

...Необыкновенно красивый, утопающий в пышной зелени, поистине волшебный город башен, церквей, дворцов, музеев, набережных и мостов через широкую Эльбу. Вы знаете, что незадолго до окончания войны Дрезден был уничтожен двумя ковровыми бомбардировками. В сущности, погиб. И никто не мог даже помыслить о том, что когда-нибудь столица Августа Сильного возродится.

...Вы правы по меньшей мере в одном: я действительно не доверяю восприятию — восприятию как таковому, не осложнённого рефлексией, и пытаюсь, так сказать, поверять гармонию алгеброй. Не думаю, правда, что это прямой результат воспитания в школе естественных наук; скорее результат занятий литературой; так или иначе, критический анализ, чей первичный импульс и последний аргумент — впечатление и восприятие, внушает мне недоверие. Если угодно, подогревает мой еврейский скепсис.

Можно присоединиться к известному Вам Ролану Барту, когда он говорит, что литературный критик отличается от обычного читателя —

потребителя литературы тем, что он не только читает, но и сам пишет; я отнёс бы эти слова ещё охотнее к сочинителю. Литература приучает к двойному, тройному зрению. Я всё время думаю о том, что действительность — это действительность и ещё что-то; что, вопреки первому постулату формальной логики, A не равно A ; что фраза Д.Г. Лоуренса «не верьте художнику, верьте его рассказу» должна быть перечёркнута: не верьте его рассказу, потому что рассказ не верит рассказчику. Мне совсем нетрудно предположить, что и мои сочинения могут восприниматься (а восприятие художественной литературы тоже ведь результат определённого воспитания) как нехудожественные, скучные, заумные, безжизненные и так далее.

По поводу Вашего предисловия к книге «Сталин и писатели».

Голо Манн, нелюбимый сын Т.Манна, ставший, как он, Голо, сам говорил, историографом, а не писателем потому, что уже есть Томас, и Генрих, и Клаус, и Эрика, и даже Моника, — Голо Манн в блестяще написанной «Немецкой истории XIX и XX вв.» не печатал имя Hitler полностью, а пользовался инициалом «Н.». Так и мне, да и не мне одному, не хочется повторять имя нашего вождя и учителя. Оно царапает голосовые связки и дурно влияет на пищеварение. Между тем С., привыкший не спать по ночам, продолжает, словно вампир, посмертное ночное существование, и даже с некоторым успехом. Память о нём не умирает.

Вообще-то мне казалось, что темы «С. и музы», «С. и литература», «С. и писатели» (любопытно, что темы «Гитлер и писатели» не существует) изрядно поистрепались. Взгляды С. на литературу более или менее известны. Что касается писателей, которые с разной степенью близости вступали в контакт с вождём и которых Ус почтил персональным вниманием, то мы давно уже привыкли к тому, что восхищение может быть обратной стороной панического иррационального страха. Не мне Вам рассказывать о феномене обаяния власти. Существует мазохизм порабощения. Всевластие, которое, к величайшему позору нашего времени, стало достоянием людей невысокой культуры, умственно ограниченных, малообразованных, низких и бессовестных, — всевластие бросает мистический отсвет на всё, что говорит властитель. Ведь не была же простым лицемерием речь Бабеля (кажется, это был он), восторгавшегося тем, «как куёт свои фразы С.». Не были чистым притворством влюбленные взгляды всех этих участников съездов и встреч. В устах тирана банальности начинают казаться прозрениями, пошлость преобразуется в глубину мысли. Можно ли к этому прибавить что-то новое? Но я надеюсь и почти уверен, что у Вас есть в запасе и новые мысли, и, возможно, малоизвестные или вовсе неизвестные факты.

Мы оказались в плену слов, дорогой Бен, следовало бы уточнить, что, собственно, мы подразумеваем под словом «классик». Может быть, тот, у которого всё, включая слабое, случайное или второстепенное, является «классикой», бессмертно, включено в классическое наследие? Если это так, то и «Тарас Бульба», и «Детские годы Багрова-внука» будут классикой. Ясно, впрочем, одно: живых классиков не бывает, если кого так называют, то лишь из вежливости; не надо торопиться, подождём лет сорок; как известно, прижизненная слава — опасная вещь; чтобы оказаться современным, надо быть несвоевременным; чтобы прочно стать признанным, надо умереть; «уйти из жизни, — говорил Музиль, — чтобы остаться живым, — любопытный онтологический трюк»; прерогатива присвоения высшего титула и расстановки шахматных фигур по местам — ферзь там, где положено быть ферзю, пешки, где полагается стоять пешкам, — принадлежит ещё не родившимся поколениям.

И, разумеется, не обходится дело без несправедливости — правда, до поры до времени. К числу несправедливо обойдённых (хоть и не окончательно забытых) я бы отнёс, например, Ивана Катаева. Что касается Шкловского, то он был упомянут в моей статье потому, что фигурирует рядом с другими в сборнике «Как мы пишем». Я не имел в виду его беллетристику. Кстати, он остаётся — разумеется, не у массового читателя — весьма почитаемой фигурой и здесь, в Западной Европе и Америке, главным образом благодаря тому, что был связан с ОПОЯЗом.

Гамбургский счёт существует, в частности, у медиков: врачи знают в своём кругу, кто чего стоит, знают, какова реальная цена должности и титула; оттого и говорится: показать профессора больному, а не наоборот. Но в литературе, по-моему, сейчас гамбургский счёт становится применим всё труднее: слишком усложнились критерии литературной значительности, слишком много «счетов». Либо он оказывается достоянием узких кружков — эстетских, по Вашему выражению. В том-то и дело, что почти вся стоящая литература приютилась в тесных кружках. Да ещё на Ваших полках.

Любопытно, что слово «эстетский» звучит в Ваших устах уничижительно. Кто такой эстет?

Мне почудилось в Вашем последнем послании некоторое раздражение. Вы говорите, что спор наш не стоит выеденного яйца. Я так не думаю. Мне кажется естественным, если мы часто, как встречные поезда, проезжаем мимо друг друга. Ведь мы обмениваемся мнениями, которые не могут не расходиться. Мы люди несхожих вкусов, не вполне совпадающих ориентаций, а теперь уже и разной судьбы.

Конечно, при оценке того или иного литературного явления приходится — мне, по крайней мере, — исходить из разных критериев, ведь

ни один из них, будь то личные вкусы, пресловутая «читаемость» или гамбургский счёт, не может считаться достаточным. Больше того, то и дело противоречишь самому себе. А кроме того, — так как мы оба литераторы, — невольно впадаешь в то, что называется *pro domo sua*, другими словами, защищаешь и даже незаметно для себя возводишь в абсолют собственную литературную позицию и «практику», как бы ни была она скромна.

Вы можете мне поверить: если я мимоходом упомянул о том, что Виктор Шкловский остаётся весьма чтимой фигурой за границей, то это вовсе не означает, что я хочу прибавить ему веса в пику сказанному Вам. Ведь это просто попутное замечание. Конечно, небезынтересно и, пожалуй, бесполезно знать, за что ценят или почему не ценят такого-то русского писателя за пределами России, как вообще смотрят на нас из-за бугра. Мне, во всяком случае, было интересно выслушивать разные мнения на этот счёт, когда я приехал в Германию. И я всегда возражал моим здешним соотечественникам, когда слышал от них одну и ту же фразу: «Они нас не понимают». Нет, понимают — но по-другому, подобно тому, как мы «их» понимаем по-другому, иначе, чем «они», расставляем акценты.

Должен сказать, что я-то как раз гораздо хуже, чем Вы, знаю творчество Шкловского, да и меньше ценю его. Он казался мне всегда салонным литературоведом. Блеск и оригинальность его ума, особенно в ранних произведениях (таких, например, как статья о Розанове, — забыл, как она называется) ослепительны. Но его литературная манера, заимствованная, как считается, у Власа Дорошевича, выдаёт, по-моему, особенность его дробного мышления, похожего на мелькание карманного фонарика: он мыслит афоризмами, его настоящий жанр — салонное *mot*. Такими были Ларошфуко, Шамфор, Лихтенберг.

Должно быть, вы ещё на даче, дорогой Бен, в таком случае письмо подождёт. В этом году из-за жары и частых гроз, а может быть, напугавшись разговоров о климатической катастрофе, буйство зелени необыкновенное даже для наших мест. Липа перед домом вся усыпана соцветиями, птицы не умолкают даже днём.

Книгу Быкова о Пастернаке я прочёл, говорят, в ней есть фактические неточности, но мне она в некоторых отношениях весьма понравилась. Другие произведения необычайно работоспособного автора читать как-то не захотелось. Из русских книг, более или менее современных и, увы, малочисленных, какие я прочитал в последние месяцы, я бы выделил замечательный роман Леонида Цыпкина; я говорю: «более или менее современных», потому что автора давно нет в живых. А судьба книги, как Вам, вероятно, известно, примечательна. Не случись Сузн Зонтаг

увидеть её на книжном развале, в английском переводе, она осталась бы в России вовсе незамеченной. Да и теперь этаблированные критики, насколько мне известно, не почтили вниманием роман.

Меня позабавила Ваша фраза о том, что я подвожу под свои литературные ощущения теоретическую базу. Вы правы. Когда-то, ещё подростком в эвакуации я странным образом приохотился к чтению критических статей и, не говоря уже о Белинском, Добролюбове, Писареве или каком-нибудь Антоновиче, усердно читал предисловия советских литературоведов, комментарии и т.п. Может быть, отсюда происходит отчасти моя приверженность к литературной рефлексии. Я и сейчас читаю или просматриваю в русском интернете статьи литературных критиков, хотя по большей части они кажутся мне мелкотравчатыми. Это особая тема, и так же, как мне хотелось бы услышать от Вас более подробный отзыв о современной беллетристике, меня интересует, что Вы скажете о критике.

Что же касается «теоретической базы», то Вы, конечно помните наш прошлогодний спор о структурном литературоведении. Вы подчёркивали, что желание «разъять музыку, как труп» несоместимо с подлинным, то есть непосредственным, в большей мере чувственным, чем рациональным, восприятием и постижением искусства, в нашем случае — поэзии или вообще литературы. Я же, если не ошибаюсь, пытался возразить, что одно не исключает другое и формальный анализ не мешает эстетическому чувству и эстетическому восприятию. Так врач-гинеколог отнюдь не лишается способности восхищаться красотой женщины, просто по условиям своей работы он выносит это чувство за скобки.

Вы скажете, что я или такие, как я, априори ставят определённые условия литературе, например, дистанцирование автора от его предмета или неоднозначность прозы, или ещё что-нибудь такое, и если условия не выполняются (как у большей части современных русских писателей), значит, литература плоха. Может быть. В любом случае мне хочется понять, почему такой-то знаменитый критик «в своих статьях бессмыслицы оратор», а расхваленный рецензентами романист NN — барахло.

Собственно, я не оспариваю в принципе того, о чём Вы пишете, хотя, быть может, у Вас всё получается слишком схематично. Один читает новую книгу непредвзято, читает, потому что книга пришлась по душе. А затем задумывается над прочитанным, анализирует произведение, стараясь понять, чем именно оно ему понравилось. Другой (это я) берётся за книгу с готовыми представлениями о том, какой должна быть современная литература. Если вещь не отвечает этим априорным критериям, она отвергается.

Я подозреваю, что мы имеем дело с некоторым взаимопереплетением. То есть что симпатии к прозе (если говорить о прозе), с одной стороны, подготовлены нашим литературным воспитанием, а с другой, усвоенные вкусы и выработанные опытом чтения критерии подвергаются испытанию всякий раз, когда мы имеем дело с незнакомым автором. С одной стороны, мы слишком давно утратили литературную девственность, чтобы приблизиться к новому автору без всяких вкусовых предпочтений, без определённых требований, априорных мерил и представлений. С другой стороны, мы всё-таки сохраняем открытость новому. Нас, хоть и нечасто, поджидает неожиданное, заставляющее перетряхнуть нашу частную, самодельную теорию литературы. Я уж не говорю об особом случае, когда читателем оказывается человек, который сам пишет, — критик или писатель. Ни о какой девственности тут не может быть и речи.

Но я хотел в особенности подчеркнуть первое. Я ведь тоже, читая какого-нибудь нового для меня современного прозаика, пытаюсь отдать себе отчёт, почему он мне скучен. Это и есть та попытка анализа, о которой Вы пишете. И оказывается, — как же иначе, — что я в самом деле подхожу к прозе с известными ожиданиями. Эти ожидания могут оправдаться или не оправдаться. Скучным кажется банальное, безвкусное, плохо написанное, примитивное, малосодержательное и т.п., — тут Вы никак не обойдётесь без рефлексии, она уже началась. Итак, можете ли Вы сказать о себе, что Вы вполне свободны от ожиданий? Что Ваше впечатление «по душе — не по душе» не предуготовано Вашим опытом чтения? Не детерминировано (говоря Вашими словами) в той или иной мере Вашими общими представлениями, Вашей, если хотите, домашней теорией о том, какой должна быть или не должна быть проза?

Дорогой Бен, — это не совсем аберрация. Думаю, что Вы имели в виду речь, прочитанную в Библиотеке Конгресса в конце мая 1945 года, которая была опубликована под названием *Deutschland und die Deutschen*, «Германия и немцы», один из самых известных текстов Томаса Манна. Она существует в хорошем русском переводе покойного Е.Г.Эткинда, в последнем, 10-м томе Собрания сочинений 1961 г.

Речь эта, далеко не однозначная, как и всё у Т.Манна, даже и в чисто политическом смысле, многократно комментировалась, толковалась и так, и сяк. Её бы хорошо перечитать на фоне тогдашних дневниковых записей, но обширный дневник Томаса Манна на русский язык, кажется, ещё не переведён. Зато есть другой текст, с которым я бы рекомендовал познакомиться параллельно, — наделавшая много шума в немецкой эмиграции статья-этюда 1938 года «Брат Гитлер» (*Bruder Hitler*). Когда-то мы опубликовали её в нашем бывшем

журнале «Страна и мир». Много позже он был переведён и напечатан «впервые на русском языке» в России под остроумным, но не вполне удачным, на мой взгляд, названием «Братец Гитлер». Не буду сейчас пересказывать эту статью; достаньте и прочтите.

Ещё одно, имеющее отношение к «менталитету» немцев. (Вы употребили это модное словечко.) Может быть, Вы помните, что на процессе над главными нацистскими преступниками в Нюрнберге, в 1945 году, произошла забавная накладка. Судья Джексон в своей обвинительной речи процитировал высказывание Гёте о немцах и немецком национальном характере. На самом деле это была цитата из романа «Лотта в Веймаре», из той главы, где воспроизводится ход мыслей Гёте — разумеется, придуманный. Томас Манн, узнав об этом, благодушно рассмеялся, сказав, что он весьма польщён и что всё-таки отсылка к Гёте в некотором смысле правильна, великий старец вполне мог так говорить.

Можно ли узнать, для какой цели Вам понадобилась речь Томаса Манна?

Я писал Вам, что увидел в «Воплях» Вашу статью о Николае Глазкове. Когда-то Вы привезли мне сборник воспоминаний о Глазкове, довольно толстую книгу. Там есть и Ваша статья «Вечный раб своей свободы». Я понимаю, что это поэт-миф, колоритная и, очевидно, немаловажная для своего времени фигура. Но у меня остается некоторое недоумение — возможно, оттого, что я принадлежу, условно говоря, к другому литературному поколению. В самом ли деле можно считать Глазкова крупным поэтом?

...Начинаешь с частных, но довольно быстро переходишь к общему и фундаментальному.

Начну, впрочем, с Эренбурга. Хотя я не читал книгу «Лик войны», я помню другие вещи. Вспоминаю читанную в юности «Визу времени» или, допустим, роман «Падение Парижа», где есть эпизод, когда профессор Дюма, любимец автора, принимает у себя коллегу — молодого учёного из нацистской Германии. Этот учёный производит самое отвратительное впечатление. Он не столько нацист, сколько немец.

Вы говорите о том, что у Эренбурга было «своё отношение к немцам». Мне кажется, оно было достаточно тривиальным, расхожим, широко распространённым. Человек, душа которого в большой мере принадлежала Франции, уже по этой причине, почти автоматически, взирал на Германию недружелюбно. (И наоборот: до недавнего времени Франция считалась по другую сторону Рейна «наследственным врагом», Erbfeind.) Прибавьте к этому Гитлера и Голокауст. И, наконец, война, которую Эренбург видел вблизи. Вражда к немцам, как Вы правильно

заметили, не укладывалась в политические формулы: она переходила во вражду и ненависть ко всему немецкому. Попросту говоря — превращалась в расизм наоборот. В этом Эренбург был не одинок. Когда-то мы опубликовали в нашем журнале «Страна и мир» — как некий любопытный раритет — одну из военных статей Эренбурга, написанных уже в то время, когда бои шли на территории Восточной Пруссии, — специально о немцах, о том, каковы они «у себя дома». К сожалению, я не помню название статьи. Даже автору, я думаю, было бы неловко её перечитывать. Да и в мемуарах (созданных совсем в другие времена) страницы второго тома, где он рассказывает о городках, только что занятых нашими войсками, производят тяжёлое впечатление. Как и многое другое, они не только не свободны от того, о чём я только что сказал, — они не свободны от лжи.

Но статья Г.Александрова — из другой оперы. Государственный писатель получил окрик свыше за то, что вовремя не учуял перемену политических ориентиров и планы вождя на ближайшее будущее.

Теперь другая тема — о нашем пророке. Мне не надо повторять, что отношение моё к нему как к писателю немногим отличается от Вашего. Когда-то Вы поместили в «Огоньке» рассказ Солженицына «Матрёнин двор». Не знаю, что сказали бы Чуковский и другие о «Красном колесе», но уж этот-то рассказ был ими встречен с восторгом. А между тем это — сусальная проза на уровне шолоховской «Судьбы человека».

Как ни странно, в многочисленных статьях и всевозможных высказываниях о Солженицыне, и хвалебных, и критических, я не нашёл сколько-нибудь серьёзного анализа его художественной системы, если хотите — его поэтики. Мне не хотелось повторять то, что уже сказано много раз. Тогда не стоило бы и затевать разговор о нём. Но мне хотелось разобраться в том, что интересовало меня у других писателей — в том числе и у автора «Улисса». Для себя я называл это литературной философией. Это то, что, как мне кажется, вовсе не интересует литературных критиков в России. Таких проблем для них не существует. Я не говорю о Вас. И всё же я думаю, что Вы не совсем меня поняли. Дело не в том, что восприятие действительности у Солженицына никак не релятивировано, хотя и это — черта эпигонства, эпигонской зависимости от прозаиков XIX века. Дело не только в этом. А в том, что это тривиальный подход. Искусство не взирает на вещи сквозь оконное стекло. Банальность точки зрения, — повторю то, о чём я писал, — вот черта этой прозы. Черта, которую не могут замаскировать ни современный коллаж газетных вырезок, напоминающий ныне почти уже забытого Дос Пассоса, ни гротескный слог, — и на которую стоило бы указать, если мы всерьёз хотим разобраться в причинах провала «Красного колеса».

Конечно, можно привести множество более конкретных причин. В сущности, все они — как Вы правильно сказали — главные. Но о них го-

ворилось не раз. Среди того, на что, по-моему, меньше обратили внимания, надо назвать неумение проникнуть в мир женщины, создать убедительный женский образ. А это пробный камень писателя.

Вы помянули любимую Вами, толстовскую энергию заблуждения. Эта энергия, это убеждение, что ты открываешь читателю нечто доселе неизвестное, что, быть может, ты сумеешь потрясти сердца, изменить жизнь людей, что без твоей прозы никак не обойтись, — более или менее свойственно многим, и крупным, и малым писателям, хотя бы они и хранили его про себя. И если уверенность в своей высокой миссии была в большой, даже чрезмерной степени свойственна Солженицыну (он-то о ней отнюдь не молчал), то я в конце концов не вижу в этом плохого. Ничего предосудительного нет в том, что писатель полагает себя единственным хранителем единой высшей истины. Хуже, когда истина обочивается унылой, навязшей в зубах тривиальностью.

И. наконец, третье. Вам мешает «красота» моих высказываний о стиле, о литературе как игре и т.д. Набросанный Вами портрет годился бы для эстета образца 1913 года. Для меня это невозможно, даже я если бы я и хотел изображать что-нибудь этакое. Эстетизм в тогдашнем понимании вообще невозможен, давно уже невозможен, слишком многое изменилось в мире. Но о том, что искусство — игра, высокая игра, говорил ещё Томас Манн. Имеется в виду не игра в скат. Имеется в виду игровая, конвенциональная природа искусства. Что же касается моих неосторожных сентенций насчёт того, что-де чтение хороших стилистов освежает душу, или что стиль — это мораль художника, что башня слоновой кости в наше время — единственное (подумать только!) прибежище человечности, то я могу привести другое изречение, принадлежащее нашему другу Иосифу Бродскому: «Эстетика — это этика». Уверяю Вас, моё отношение к литературному ремеслу не менее серьёзно — хоть и другом роде, — чем Ваше.

Вы повторили *dictum* Ходасевича: русская литература стоит на крови и пророчестве. Стоило бы рассмотреть эту фразу — эту программу — с разных сторон. Что она, наша литература, стоит на крови, на «гибели всерьёз», равно справедливо и для русского Девятнадцатого века, и для только что сгнившего Двадцатого. О чём говорить! А вот пророческая миссия... Тут дело довольно скользкое.

Можно, конечно, заметить, что ни профетические грёзы Гоголя, ни мечтания Достоевского не сбылись — куда уж там. Пророческий пафос русской классической литературе, близкий мне, поверьте, не меньше, чем Вам, — провалился. Но Ходасевич (в статье «Кровавая пицца») говорит о другом, он сравнивает русского писателя с пророком, побиваемым камнями, и говорит о «кровавой связи между пророком и народом», о том, что «избиение пророка становится жертвенным актом заклания». Ах, Бен! XIX век был назван золотым веком русской литерату-

ры по аналогии с Золотым веком римской литературы, с залотой латынью, aurea latinitas. Средневековый писатель или поэт, посреди рукописных фолиантов и пергаментов спасённой арабами и католическими монахами античной философии, поэзии и литературы, мог считать, что он по-прежнему живёт в Римской империи, ведь государство, где он обретается, носит лишь слегка изменённое название: Священная Римская империя германской нации. Но он хорошо понимал, что и золотой век Августа, и серебряный век Флавиев — далеко позади. Мы живём в эпоху, во многом похожую на Средние века. Во всяком случае, что касается словесности, век Пушкина и Толстого ушёл от нас почти так же далеко. И нам приходится гадать, что, собственно, означали для читателей «Мёртвых душ», «Рыцаря на час», «Записок охотника», «Войны и мира», «Преступления и наказания», «Дневника писателя», прибавьте сюда и автора «Что делать?», и мало ли ещё кого, — что означали для них слова «народ», «литература», «читающая публика», «долг писателя перед народом». А вы всё ещё пытаетесь вкладывать в них испарившийся смысл.

Хотя мы с вами живём или жили в стране, сохранившей, как Священная Римская империя, старое название, говорим и пишем на языке, который, хоть и с немалым трудом, с грехом пополам, но всё же мог бы быть понятен русскому человеку 1850 года, — подобно тому как римлянину I века оказался бы не вполне чужд литературный латинский язык Высокого Средневековья (о вульгарной латыни не говорю), — мы живём в совершенно другом обществе. Не мне Вам рассказывать, каковы роль и судьба литературы в этом обществе, как далеко они сместились даже по сравнению с 20-ми годами XX века. А Вы толкуете о пророчестве... Кто стал бы слушать писателя-пророка, даже если бы он появился. Кого могла бы заинтересовать его трагическая участь? Вы помните слова Достоевского: приди сегодня Христос в русскую деревню, его бы девки засмеяли. Тут он поистине как в воду смотрел. А скорее всего пришельца вообще никто бы не заметил. «Девки» (если ещё кто остался) смотрели бы по телевизору футбол.

Ещё два слова по поводу «стиля». Речь вовсе не о каких-то там изысках и красотах. Но когда я читаю многих современных русских прозаиков, не исключая именитых, меня удручает их язык. Захлестнувшая литературу вычурность, манерность, дурновкусие. Изнурительное многословие, лишние слова чуть ли не в каждой фразе. Каждый третий абзац можно без ущерба для дела вычеркнуть. Безвкусное смешение разных слоёв языка, злоупотребление вульгаризмами, разговорной речью, когда разговор воспринимается не как искомая «правда жизни», а наоборот как набившая оскомину рутинная и литературщина. И ведь это касается не только прозы в собственном смысле. Полистайте-ка известных публицистов, эссеистов, литера-

турных критиков: они как будто забыли о том, что первым правилом литературного ремесла является точное, выверенное словоупотребление. Забыли, что такое литературный стиль.

Я снова накатал длиннющее письмо. Будьте снисходительны.

Можно представить себе, что к концу войны в партийной верхушке (не в военной) накапливалось раздражение против Эренбурга, и Вы, вероятно, располагаете другими документальными свидетельствами этой глухо нарастающей вражды, кроме доноса Абакумова. Но думать, что «именно этот донос скорее всего натолкнул Сталина на мысль ударить по Эренбургу», — наивно. Раздел Германии на оккупационные зоны был решён в Ялте, и предстояло конкретно решить, как мы воспользуемся новой ситуацией, как распорядимся огромным куском Германии, который достанется нам и подвластной нам Польше. В Москве сидит на чемоданах будущее восточногерманское правительство. Советская зона станет советской. А Эренбург, что бы он там ни говорил в Военной академии имени Фрунзе перед собранием в 150 человек, в статьях своих, которые читает вся армия, весь народ, которые переводятся и комментируются за границей, не говоря уже о том, как громогласно использует их геббельсовская пропаганда, — Эренбург по-прежнему долбит в духе симоновского «Убей немца». Вот они и кричат там, в Берлине: видите, к чему призывает главный кремлёвский журналист, чего хотят кровожадные коммунисты и жидаы, они хотят уничтожить Германию, убить всех нас до одного. Нам ничего не остаётся, как сражаться до последней капли крови, пока, наконец, эти новые гунны не столкнутся с американцами, и наше немецкое отечество будет спасено. — С другой стороны, в Москве хорошо знали, что творится на занятых немецких территориях, как ведёт себя наша армия, знали, что население этих областей массами, повально бежит на Запад. Нет уж, пора унять Эренбурга. Пусть это будет общим сигналом. Всё это было хорошо в своё время, а теперь погода изменилась, теперь мы станем хозяевами в Германии. Гитлеры приходят и уходят и т.д.

Дорогой Бен, мы вторглись в область нелитературную, и я буду краток. Мы, конечно, не умнее наших отцов, но мы не можем смотреть на события тех лет их глазами. О том, что представлял собой национал-социализм, я, возможно, осведомлён не хуже, может быть, даже лучше, чем Вы. Можно было бы не повторять тысячу раз произнесённые слова о том, что «ответственность немецкого народа за то, во что превратил его Гитлер, вернее, за то, что он в массе своей поддался этому соблазну, — это вопрос не простой». В особенности — не повторять это человеку, который живёт здесь, где этот вопрос без всякой пощады непрерывно обсуждается, разбирается, уточняется вот уже полвека. А Ваша фраза: «У меня нет уверенности в том, что союзники, зверский разбомбив Дрезден, были так уж неправы», меня глубоко огорчила.

Меня ввели в заблуждение Ваши слова: «Этот донос лег на стол Сталина 29 марта. А статья Александра появилась в “Правде” 14 апреля. Скорее всего, именно этот донос и натолкнул Сталина на мысль ударить по Эренбургу».

Вождь инспирировал статью Александра под влиянием доноса на Эренбурга. Мысль эта показалась мне неубедительной. Оттого я не удержался, чтобы не напомнить о политических обстоятельствах весны 45 года. Вам они, конечно же, известны. Но будущий читатель, чего доброго, примет Вашу фразу всерьёз.

Я не совсем понял, что означала реплика Бэрбары фон Вульфен (в Вашей передаче): имелось ли в виду вторжение в Восточную Пруссию или что-либо более конкретное. Кроме того, неизвестно, в каком контексте она, эта реплика, была произнесена. Зная Барбару довольно хорошо, зная, как она относилась к Володе Войновичу и особенно к покойной Ире, я не могу представить себе в её устах подобную бестактность. Подозреваю, что не обошлось без чисто языкового недоразумения, ведь Володя очень плохо говорил и по-английски, и по-немецки и ещё хуже понимал чужую речь.

Но независимо от того, что могла иметь в виду Барбара, — эта готовность истолковать услышанное в определённом, то есть непременно в плохом, смысле кажется мне характерной. «Если уж такая неординарная немка не понимала, то что же сказать об остальных». Остальные, разумеется, ещё хуже. Вы помните, как говорил Гейне: «Если кражу совершил христианин, то скажут, украл вор. А если украл еврей, скажут: украл еврей». Для Вас немцы — это компактная однородная масса, главная характеристика которой есть именно та, что они — немцы. Грубо говоря, одним миром мазаны. Для меня же немцы, и те, кого я знаю, и те, о ком могу судить издали, — это очень разные люди: старые, молодые, честные, подлые, те, кто понял всё, и те, кто не понял ничего, люди разных, подчас несовместимых политических убеждений, люди, живущие в разных частях большой страны, говорящие на разных, порой очень далёких друг от друга диалектах, принадлежащие к разным религиозным конфессиям, что ощущается и в культурных предпочтениях, и в манере вести себя, и в быту.

«Немцы (пишете Вы), даже лучшие из них, не понимали, ЧТО они натворили». Откуда это Вам известно? Как обобщение это неправда и может быть опровергнуто множеством фактов.

Вы, мне кажется, разделяете представление о коллективной вине. Между тем концепция коллективной вины (Kollektivschuld) по крайней мере в Западной Европе давно отвергнута. В чисто юридическом толковании она несовместима с законом. В более общем, человеческом смысле она безнравственна. Вина и ответственность за преступление, как и наказание, могут быть только индивидуальными. Преступников может

быть очень много, но вина каждого и мера вины должны быть доказаны для каждого. Можно жить в преступном государстве (в одном из них мы жили). Но это не значит, что уже по этой причине все граждане нацистского рейха были виновны в преступлениях рейха.

Сказать, что все виноваты, — почти то же самое, что сказать: никто не виноват. Это значит оправдать преступников, стереть разницу между убийцами и теми, кто не только не убивал или не приказывал убить, но и вообще ни в чём не провинился. Смешать в одну кучу тех, кто отплясывал с дьяволом (выражение Томаса Манна), и тех, кто сопротивлялся. А ведь этих последних было тоже немало.

Личная ответственность за своё поведение при таком подходе отменяется. Подход этот так же безнравствен, как безнравствен на свой лад был призыв нашего пророка всем скопом каяться в грехах и преступлениях советской власти.

Если вернуться к Вульфенам — Левину и Барбаре, урожденной графине Подевилс, — то да, это консервативная семья, где ненавидели «левых». Но ненавидели и Гитлера. Между прочим, «тётя Меди» — баронесса фон Подевилс, которую Вы ещё застали в живых, — была в годы войны личной секретаршей генерала Штюльпнагеля, а о Штюльпнагеле Вы, наверно, знаете.

Вы заняты интересной работой. Есть ли уже готовые главы?

Я снова стал думать об Илье Эренбурге. Рискну высказать предположение, что два события были главными, решающими в его жизни: кроме Отечественной войны — жизнь во Франции. Его стиль носит сильный отпечаток французской прозы. В его романах французы ярче и убедительней русских персонажей. Париж в его космосе — центральная звезда, отнюдь не Москва и не Ленинград. Мне кажется, что внутреннюю жизнь России он знал плохо.

Я задержался с ответом, дорогой Бен, неделя была тяжёлой, мы каждый день путешествовали к врачу в связи с новым, на этот раз очень трудно переносимым курсом химиотерапии. А вечером я практически уже не в состоянии что-либо писать.

За «рацею» извините. Я настолько привык читать и слышать из России нелепые, далёкие от действительности суждения о Германии, немцах, вообще о «Западе», — подчас принадлежащие даже вовсе неглупым людям, — что дую на воду, обжёгшись на молоке. Угощаю Вас нотациями, в коих Вы вовсе не нуждаетесь. То, что наши мнения и воззрения по разным литературным вопросам часто расходятся, не мешает мне восхищаться Вашими работами, а теперь особенно — Вашей производительностью: три тома «С. и писатели», ого! Кстати, видели ли Вы рецензию, очень дружественную, на

«Случай Эренбурга» в последнем номере журнала «Сибирские огни» (и довольно необычную для этого журнала)? К сожалению, я так и не читал «Случай Эренбурга».

Однажды, это было в эвакуации во время войны, мне было лет 14, я получил письмо от моего двоюродного дяди — степень родства мне трудно определить — с предложением, как он писал, «затеять литературную переписку». И дальше следовал вопрос: «Как ты относишься к писателю Илье Эренбургу?». На что я со стыдом был вынужден ответить, что писателя этого не читал. Таково было моё первое конкретное знакомство с И.Э. Переписка, однако, затеялась, я получал толстые треугольные письма со штампом «Просмотрено военной цензурой», мой дядя был поклонником не только Эренбурга, но прежде всего французских поэтов, сам переводил Леконт де Лиля, Верхарна и многих других, прислал мне однажды, среди прочего, целое исследование о Верхарне; вообще эти письма имели для меня очень большое значение. Когда в 1949 году я был арестован, переписку изъяли при домашнем обыске, и она пропала, о чём я и сегодня не перестаю жалеть.

В Вашем предисловии в самом деле проглядывает «концепция», эта концепция мне близка. Более того, я готов распространить её за пределы нашего отечества и советского времени. Правда, при этом она потеряла бы специфическую остроту и жгучую актуальность, связанную с положением писателя в тоталитарном государстве. Не вообще, не где-нибудь, а именно в таком государстве навязанного единодушия и насильственного единомыслия. Получается несколько другая тема.

Может быть, Вы помните, как однажды мы с Вами спорили по близкому поводу, я утверждал, что современники писателя или поэта чаще всего не в состоянии оценить его по достоинству, нужно, чтобы писатель умер, чтобы народилось новое поколение. Я хорошо понимаю, что и здесь бывают исключения, но для меня это были именно исключения. Собственно, я и сейчас так думаю. Вообще я убеждён, что никто так плохо не разбирается в своём времени, как тот, кто в нём живёт.

Вы вспоминаете реплику Грюнделя по поводу нюрнбергских процессов: «Впервые победители устроили суд над побеждёнными». Что тут странного? Победители (союзники), действительно, привлекли к суду побеждённых — нацистских главарей. Станным выглядит возражение Володи. Он явно истолковал слова немецкого собеседника превратно. Разумеется, побеждённых судили не за то, что они проиграли войну. Их судили за их преступления, к числу которых относилось и развязывание войны. Не знаю, читал ли Володя материалы процесса. Ведь трибунал именно так и формулировал свою задачу: не за поражение, а за злодеяния. Не расправа, а приговор на основе закона. Но граф Грюн-

дель был прав: суд не имел прецедентов. Вообще говоря, это общее место. Юстиция оказалась в сложном положении. Впервые в истории правосудие столкнулась с массовыми организованными преступлениями, с преступными государственными организациями, в конечном счёте — с преступным государством.

Удивляться (по крайней мере, сейчас) приходится другому. Главным обвинителем с советской стороны был Руденко. Специальную комиссию Политбюро, которая решала в Москве, как советской делегации надлежит вести себя в Нюрнберге, возглавлял Вышинский. В комиссию входили, среди прочих, три заместителя Берии: Абакумов, Кобулов и Меркулов. Всё это были люди, которым полагалось бы самим сидеть на скамье подсудимых.

Видите, мы снова упёрлись в Германию и немцев. Вот уже четверть века я живу здесь. Эта страна, где (как и вообще за границей) я прежде никогда не бывал, всё же, как Вы знаете, не была мне вполне чуждой. Я и сейчас не могу сказать, что знаю её хорошо. Но я, по крайней мере, всегда старался освободиться от эмигрантских предрассудков и предрассудков по отношению к немцам. А главное, мне хотелось понять людей, представить себя на их месте.

Это я к тому, о чём рассказывала Дорис Шенк. Я помню, как Володя (который, кстати, вместе с Ирой очень много сделал для нас, когда мы приехали, потеряв в буквальном смысле всё) недоумевал и возмущался, узнав от новых знакомых, что день 8 мая 1945 г. для них не был праздником. Но попробуйте всё-таки вникнуть.

С некоторых пор я, как ни странно, заболел войной, хотя видел её почти только на экране. Это было связано и с моими литературными занятиями. Меня в особенности интересовали первые месяцы войны и её последние дни. Я пытался взглянуть на войну двумя глазами и, так сказать, с обеих сторон бинокля. Итак, напомним Вам — хотя Вы, конечно, это знаете — масштабы возмездия, постигшего нацистский рейх. Все сколько-нибудь крупные города лежат в развалинах. Погибла четверть всех мужчин и почти десятая часть всего народонаселения. Разруха и голод таковы, что набрести на всё ещё не съеденный полуразложившийся труп лошади — редкая удача, великое счастье. Остаток страны наводнён калекami со всех трёх фронтов и особенно беженцами из восточных областей. Успешно наступающая Красная Армия — отнюдь не армия-освободительница. Её вдохновляет одно чувство — месть. Эта месть не знает разницы между правыми и виноватыми, старыми и молодыми, мужчинами и женщинами, вражескими солдатами и просто населением. Об этом в Германии много десятилетий после войны не полагалось говорить и писать. Вступая в какой-нибудь городок, воины советской армии насиловали подряд всех женщин, от девочек до старух. О фантастических грабежах нечего и говорить. Надеюсь, Вы не поймёте

меня так, что я хочу выгородить тех, кто творил зло на оккупированных территориях в СССР. Не об этом речь, да и странно было бы оправдывать одно злодеяние другим. Не станем же мы говорить: так им и надо. Так и надо — кому?

Гитлер ушёл от расплаты. Население гибнущего Берлина, услышав, что «фюрер, сражаясь до последнего дыхания, пал на поле боя», отнеслось к этому известию равнодушно. Людям было уже не до фюрера. Пропаганда могла убедить подростков с противотанковыми ружьями, да ещё остатки фронтовых СС. Терять нечего, нас всех всё равно убьют — разве только это могло подействовать. Война кончилась, выжившие были рады, что больше не стреляют орудия, не сыплются бомбы. Это было не просто военное поражение. Это был апокалиптический разгром, который невозможно сравнить даже с итогами Тридцатилетней войны. Это были разбитые, разгромленные, опустошённые души. Ощущать этот день как праздничный никто не был в состоянии, даже борцы сопротивления, если кто-то ещё оставался в живых. Я думаю, по-человечески это можно понять.

Между прочим, и в западных странах-победительницах, во Франции, в Англии, день окончания войны не является официальным праздником победы. Это день памяти жертв.

Видите, я опять наворотил две страницы, Но ведь об этом можно говорить без конца.

Дорогой Бен, я иногда вещаю в маленьком литературном кружке, и теперь мне, возможно, придётся говорить об отношении писателя к литературной критике. Вы бы могли справиться с темой лучше, чем я. Но на безрыбье и рак рыба. Я тоже думал (и даже писал когда-то) о том, что отличает настоящего критика. То, о чём Вы пишете, — что критик должен угадывать в современной ему литературе то, что не исчезнет, — это, конечно, самое лучшее определение. Но и великие критики ошибались. А главное, литературная критика молчаливо исходила из презумпции, что место и роль литературы в обществе, какой они её, эту роль, застали, останется такой же в обозримом будущем. Ни Белинский, ни даже Шкловский, Тынянов и так далее не могли представить себе, как изменится общество и куда отодвинется литература.

Насчёт Грюнделя и т.п. — что ж, если он в самом деле видел в нюрнбергских процессах и прежде всего в процессе над главными военными преступниками только неправый суд, месть побеждённым, тем хуже для Грюнделя. Надо сказать, что подобные голоса раздавались после войны, главным образом, из правого лагеря. У меня есть целая книга таких выступлений. О неонацистах нечего и говорить. Может быть, юридически не всё было безупречно, чему не приходится удивляться,

принимая во внимание беспрецедентность. Не знаю, приходилось ли Вам читать первое советское издание протоколов Нюрнбергского суда, там были речи защитников и последние слова обвиняемых. Всё это исчезло во втором издании — как и все документы о преследованиях и истреблении евреев. Как бы то ни было, победила точка зрения, которой придерживаемся и мы с Вами. А расстрел Чаушеску я тоже встретил «с жестокой радостью».

Рихард фон Вайцзеккер. Вероятно, вы имеете в виду речь по случаю 40-летия окончания войны. Я эту речь перевёл тогда же на русский язык, и она была напечатана в нашем журнале «Страна и мир». Видимо, об этом не знали, когда много позже речь была опубликована в России «впервые на русском языке». А может быть, не хотели об этом знать. Мне остаётся лишь надеяться, что мой перевод был не хуже. Я многое переводил для журнала, вообще вложил в него много труда. Пример абсолютно бесплодной деятельности. Но ведь и писательство — дело в значительной мере бесплодное, не правда ли?

Идеальных критиков не бывает, но без актуальной критики, согласитесь, нет литературы, а есть разбредаящееся стадо пишущих. Я, очевидно, повторяюсь — писал об этом как-то раз. Литературная критика — это самосознание литературы, вынесенное за пределы её собственного организма. А в эпоху, когда рефлексия о прозе внедряется в ткань самой прозы, когда автокомментарий превращается во внутренний метаязык литературы, критика становится её внешним метаязыком, третьим полушарием её мозга.

И ещё я бы сказал, что литературная критика не просто артикулирует то, что называется литературным процессом, Парадокс в том, что тем самым она его создаёт. Только после того, как его изобрела критика, литературный процесс из умозрительного конструкта становится объективным фактом.

По старой привычке я по-прежнему читаю или просматриваю критические статьи и обзоры в главных русских журналах. Идеальных аналитиков и комментаторов и тут, само собой, искать не приходится. Вдобавок на писателей трудно угодить. Но всё же. Например, Наталья Иванова — генерал литературы, если не ошибаюсь, по новому ранжиру — кажется мне серьёзным, хотя и несколько ограниченным, критиком. Курицын был, по-видимому, талантлив, но спился. Немзер — довольно серьёзный критик. Анненков, по-моему, глуповат и жестоко провинциален. Бавильский — ни то ни сё. Газетные рецензенты — Золотоносов, Пирогов, Данилкин — скорее фельетонисты, чем критики. Вообще многим, похоже, неведома разница между Божьим даром и яичницей. Между критикой и эссеистикой, крити-

ческой статьёй и фельетоном. Настоящий, широко образованный и высокоталантливый литературный критик — Борис Дубин — анализирует ситуацию современной российской литературы лишь в другом своём амплуа: как социолог культуры.

Это — вторая часть Вашего письма (жаль, очень короткого). Конечно, когда Вы ссылаетесь на то, что процент читающих серьёзную литературу всегда был ничтожен, спорить не приходится. Можно было бы начать с античной древности: сколько читателей могло быть в огромном Риме у тех, кому мы обязаны золотой латынью? Правда, в афинском амфитеатре V века сидело практически всё 10-тысячное свободное население города, и эти зрители были способны выслушивать пространные монологи и спор антагонистов в пьесах Эврипида. Но, как Вы заметили, я имел в виду другое.

Дело в том, что сопоставления в таком роде не только с далёким прошлым, но и с XIX, даже с первой половиной XX века (Вы упомянули о тираже первого издания «Чётков») не работают. Когда-то Адорно заметил, что просвещённая буржуазия, наследник аристократии, сама премников не оставила. Можно добавить: высококультурная буржуазная читательница, располагавшая средствами и досугом, тоже ушла, не оставив наследников.

Кого же она оставила? Я часто вспоминаю один разговор в Вене со старым другом, теперь уже отставным профессором Куртом Марко. Когда я упомянул о том, что в одном письме Гуго фон Гофмансталия, написанном после крушения австро-венгерской монархии, он жалуется на то, что «мы все осиротели», Курт сказал: знаете, что он имел в виду? Состоятельную еврейскую буржуазию, которая содержала литературу и искусство Вены накануне войны и краха. И в самом деле, эпоха заката, время вокруг 1900 года оказалось, подобно русскому Серебряному веку, временем изумительного творческого взлёта.

Вы понимаете, куда я клоню. Речь идёт об экономике (предмет не любимый у литераторов в России, вероятно, следствие насильственного марксистского — или псевдомарксистского — воспитания), и больше того, о новом обществе. Это общество, утвердившееся в Америке, а теперь и в Западной Европе, мало-помалу формирующееся, куда же денешься, и в России, — есть нечто новое в истории; поэтому я и говорю, что сравнивать трудно. Массовое общество где экономика стандартизованного потребления и тотальная коммерциализация царят над всем и всеми. Мы, кажется, об этом уже говорили. Общество огромных перенаселённых мегаполисов, где, вернувшись домой после рабочего дня в свои стандартные жилища, люди включают телевидение и поглощают одно и то же. Для чтения нет ни времени, ни сил. А когда, наконец, появляется досуг — отпуск, выход на пенсию, — то оказывается, что разучились читать, и пробавляются детективными романами.

Разумеется, литература не умирает и в таком обществе. Но она может существовать только на обочине. Всё это не жалобы, а реальность, непогрешимая, как всё действительное — по Гегелю. Правда, в западных странах существуют контрмеханизмы, позволяющие худо-бедно сопротивляться диктату рынка. Разовьются ли они в России?

Сегодня в католических землях Германии нерабочий день: Вознесение Марии. Бавария-4 передаёт песни Мендельсона. Слова Гейне. Оба евреи, в Третьей империи были под запретом. *Tempora mutantur, et nos mutamur in illis*, гласит латинский стих: времена меняются, и мы меняемся вместе с ними.

Вчера исполнилась четверть века с того дня, когда мы покинули неласковое отечество. Правильней было бы говорить не об отъезде, а о паническом бегстве по мановению свыше. До сих пор я с ужасом и отвращением вспоминаю эти последние дни.

Перечитываю Ваше письмо. Мы говорили о критике. Удивительным образом — а впрочем, совсем не удивительным — я согласен со всем, что Вы пишете. Мы понимаем, что идеальных критиков — по крайней мере, таких, какие пришлось бы по вкусу критикуемым сочинителям, которые ведь всегда недовольны: и когда о них пишут, и ещё больше, когда о них не пишут, — идеальных критиков не бывает, и в то же время ссылаемся на идеальную литературную критику. Я, во всяком случае, имел в виду приближение к идеалу, когда толковал о третьем полушарии. Может быть, под влиянием уцелевших остатков волшебного обаяния немецкой идеалистической философии, так увлекавшей меня в юности, я до сих пор воспринимаю и литературу, и литературную критику как некую надвременную сущность, нечто такое, что стояло над нашими предками, стоит над современниками, как небо созвездий. Каждый, кто так или иначе причастен к литературе, видит его над собой.

И всё же, глядя назад, вспоминая то, может быть, немного, что мне известно о великих критиках, тех, кого и впрямь можно назвать великими, я укрепляюсь в этом странном убеждении: они не только улавливали тенденции и распознавали векторы литературы — они их формулировали, и лишь тогда, когда осознавался литературный процесс, возможность становилась реальностью, вероятность — фактом, — процесс начинал объективно существовать. Я думаю, что история русской литературы могла бы подтвердить это на примере Белинского, да в конце концов и на примерах, хоть и не столь убедительных: Добролюбов, Ап. Григорьев или даже Писарев. Вы употребили, помянув Писарева, это словечко «даже». Представьте себе, я до сих пор сохранил к нему чувство, близкое к нежности. Мне было

лет 15, однажды я заглянул в воскресенье в школу, — это была средняя школа в селе Красный Бор на Каме, а жили мы в двух километрах от села на территории районной больницы, — заглянул, и оказалось, что комната, где помещалась школьная библиотека, не заперта. Я лежал на столе и с упоением читал статью «Базаров». И уже за ней последовали «Реалисты», «Генрих Гейне», «Разрушение эстетики» и что там ещё. Причём очаровывали опять же не столько идеи, не идеология, а творческий порыв, ветер, который летел с этих страниц, дух молодости, поток великолепного стиля. Я уже не говорю о Белинском, не говорю о Герцене, с которым связана целая эпоха тогдашней жизни; сделав открытие, что «просто так» писать нельзя, а надо непременно быть блестящим и остроумным, я написал контрольную работу по химии, подражая слогу Герцена, чем поверг в недоумение нашу учительницу. Всё это невозможно забыть.

А Чернышевский... Я набрёл на роман «Что делать?» осенью 41 года, вскоре после того, как мы оказались в эвакуации, и читал его с восторгом. Опять же не идеи сами по себе, до которых, похоже, мне не была никакого дела, а загадочная интрига и казавшийся совершенно необычным разговорно-разымычивый язык, да ещё хитрая болтовня с проницательным читателем и все эти штучки — все было необыкновенно увлекательно. До сих пор мне неприятно читать в романе Набокова страницы о Чернышевском. Нужно было во что бы то ни стало доказать, в pendant и в противовес названию «Дар», что Чернышевский был глубоко бездарен. И всё как будто подтверждено старательно подобранными фактами. Нужно было вставить перо в задницу старым пердуналибералам, которые привезли с собой в эмиграцию свои заплесневевшие идеалы. А мне в этой книге Набокова чудится что-то недостойное, какая-то подлянка. Надо было всё-таки понять, что расправляться с Чернышевским, с его диссертацией и т.д. — всё равно, что драться с подростком. И, конечно, о том, как была перерублена жизнь Чернышевского, тоже не след забывать.

Видите, я опять сильно отвлёкся. Мне хотелось ещё сказать два слова о Вашем впечатлении, будто, говоря о ситуации писательства в сегодняшней России, я разделяю «традиционное для русского литератора представление, что литература должна принадлежать народу». Нет, Бен, от этих иллюзий я излечился давно, очень давно.

Вы упомянули, в связи с Чернышевским, о Вашей статье в «Воплях» о Набокове; я её, по-видимому, не читал. Пришлите, пожалуйста. Мне, кстати, было бы интересно, каково вообще Ваше отношение к Набокову (чей роман «Приглашение на казнь», в частности, Вы мне когда-то давали). У меня с Набоковым какая-то непрояснё-

ность: вроде бы всё в порядке, замечательный писатель, даже изумительный... и всё-таки то и дело спотыкаешься. В нём есть что-то такое, что я воспринимаю как упрёк лично мне.

...Статья о Набокове навела меня на разные мысли, отчасти увела в сторону. Пусть она написана не сегодня — для меня она звучит актуально. Как я понимаю, автор построил её вокруг двух проблем или, скорее, постулатов. Это, во-первых, несостоятельность упрёков, предъявленных Набокову в эмиграции, и упрёков Солженицына, и во-вторых, протест против произвольных интерпретаций, вычитывания из текста аллюзий, которых там нет, и т.п.

«Отношение к художественному тексту как тайнописи, как к некой шифрограмме, которую исследователю предстоит раскодировать, расшифровать, довольно прочно утвердилось в современном литературоведении. (Я уже писал однажды о комических попытках подобрать ключи к шифру, с помощью которого Пушкин якобы закодировал самые тайные свои мысли в “Повестях Белкина”, а Булгаков — в Мастере и Маргарите.)

Нелепость такого подхода к художественному тексту заключается не столько даже в коичности самих ключей и отмычек, старательно подбираемых расшифровщиком, сколько в главной предпосылке всей этой трудоемкой и бессмысленной деятельности, словно бы предполагающей, что Пушкин, Булгаков, Набоков и все прочие изготовители такого рода “шифров”, обращались в своих произведениях не к читателю, а именно — и исключительно — к ним, к этим неутомимым и искушенным во всей этой хитромудрой механике расшифровщикам».

Что касается первой половины Вашей статьи, то цитаты из статей Адамовича, Осоргина и пр., говорят сами за себя. Они саморазоблачительны. Почти так же звучит и ставшая знаменитой фраза Бабеля («но писать ему не о чем»), похожая, как ни удивительно, на слова Писарева, когда он сравнивает Гейне с живописцем, которому «нечего работать». Все эти цитаты попросту свидетельствуют о новаторстве Набокова, о том, что морализаторству в литературе пришёл конец.

Солженицын довёл такую критику до логического и почти пародийного завершения (это относится и к поразительному по своей глухоте и тупости отзыву об «Архиерее» Чехова), но ведь мы и ожидали от нашего пророка, не правда ли, чего-то такого.

Старинная контроверза русской литературной критики (гражданственность или «искусство для искусства», печной горшок и Аполлон, землетрясение в Лиссабоне и «Шопот, робкое дыханье...», etc.) изжила себя, давно изжила. Спор закончился не победой идейности над эстетизмом или наоборот, он закончился тем, что оба понятия утратили свой прежний смысл и слились во что-то но-

вое. Провозвестниками этого нового в русской литературе были, как я думаю, Чехов и отчасти Набоков, но о Набокове разговор особый, и я к нему вернусь.

Вторая половина Вашей статьи возвращает нас к прежнему нашему спору. Ваши примеры произвольных, подчас фантастических до идиотизма вычитываний и угадываний достаточно убедительны. Всё это, впрочем, пародировалось уже не раз. Но за доводами, с которыми я вполне согласен, мне чудится (тоже «угадывание»?) более общая, любимая Ваша мысль. Это мысль о структурном анализе, которому Вы противопоставляете глубокое вчувствование в художественный мир писателя.

Может быть, я немного отвлекусь. «Интертекст», явное или завуалированное присутствие в тексте следов чужого творчества, элементов уже существующих текстов, переключки или, лучше сказать, окликание, доносящееся из прошлого, — отнюдь не изобретение структуралистов. И выявление таких элементов, сознательных отсылок или невольных заимствований, «аллюзий», — вовсе не пустое занятие. Это относится и к фольклорным и мифологическим матрицам, к архетипам коллективного бессознательного по Юнгу и мало ли ещё к чему. И мы не вправе это игнорировать, так как все подобные нововведения, давно уже, впрочем, не новые, прибавили, я думаю, нечто важное к пониманию литературы. Больше того, отнюдь не лишили нас способности наслаждаться художественной литературой, но, напротив, усилили, усложнили вкус и слух, сделали более разносторонним чисто эстетическое и эмоциональное восприятие, вовлечение в мир писателя и поэта.

Кажется, мы с Вами вспоминали старую, 60-х годов, статью недавно умершей Сузан Зонтаг «Против интерпретации». Против навязывания Кафке фрейдистских, теологических и иных толкований. Против отыскивания в сценариях Бергмана фаллических символов и т.п. Почти те же мысли можно найти в интересной книге Милана Кундеры «Преданные завещания», первой, написанной им по-французски (теперь она, кажется, существует в русском переводе). Но та же Зонтаг оговаривается:

«Никому из нас не вернуться к тому дотеоретическому простодушию, когда искусство не нуждалось в оправдании, когда у произведения не спрашивали, что оно говорит, ибо знали (или думали, будто знают), что оно делает».

И всё же нас волей-неволей увлекает то, что можно назвать мифологическим мышлением, или погружением в мир зеркал, — как хотите. Прелесть намёков и сопоставлений, однако, состоит, на мой дилетантский взгляд, в их необязательности. В прекрасной повести Абрахама Иегошуа «Затянувшееся молчание поэта» (экранизированной Петером Лилиенталем, который мне и принёс эту повесть) овдовевший отец вос-

питывает сына, которого все, кроме отца, считают слабоумным. Однажды мальчик узнаёт в школе, что его отец — известный поэт и включён в школьную программу по литературе. Стихов он давно уже не пишет, работает в редакции какой-то мелкой газеты... Сыну хочется, чтобы он вернулся к поэзии. Придя с работы, отец видит приготовленный для работы стол, стопку чистой бумаги, очинённые карандаши... Действие происходит в современном Израиле, повесть написана с присущим этому писателю трезвым и бесстрастным лаконизмом, реалистически-конкретно, а между тем, читая её, невозможно не вспомнить о том, что ситуация отца и сына — устойчивый мотив иудейской религиозной и мифологической традиции, перекочевавший потом в раннее христианство. Мифологический подтекст кажется несомненным. Но иной читатель может об этом и не думать. Он может совсем по-другому понять эту вещь и будет по-своему прав.

В одном романе я описывал дом, который сравнивается с нагльфаром, кораблём мертвецов. А переводчица Аннелоре Ничке усмотрела в нём хорошо известную в мифологии разных народов трёхэтажную модель мира.

Вернусь к «структурализму». В кавычках, потому что я не литературовед и употребляю это слово, вероятно, в не вполне точном значении. Речь идёт о чисто формальных принципах сочинения прозы, о том, что имел в виду Толстой, говоривший Горькому о Диккенсе, что это-де сентиментальный писатель, и такой, и сякой, «но зато он умел построить роман, как никто».

Вы согласитесь со мной, что и этот аспект критико-литературного разбора (к нему-то, и Вы это знаете лучше меня, формализм, а следом за ним структурализм как раз и привлекли особое внимание) не может быть игнорирован.

Некогда Шуман, которому посчастливилось найти рукопись Большой до-мажорной симфонии, величайшего, может быть, творения Шуберта, через одиннадцать лет после того, как эта симфония была написана, сравнивал её с романом Жан-Поля «Отрочество». Для того времени, если не ошибаюсь, сравнение непрограммной музыки с повествовательной прозой было неслыханно. Но в сопоставлениях европейского романа с его музыкальными аналогами — симфонией и сонатой — есть определённый резон. Знаю, что Вы не особо жалуете классическую музыку, но тут дело не в любви или нелюбви.

Если помните, Томас Манн говорил о том, что писатели — это люди, из которых не получились живописцы, ваятели или композиторы, и что он — несостоявшийся музыкант. Музыка — образец художественной структуры. Музыка, в особенности так называемая абстрактная, или мировоззренческая, учит видеть сложность жизни, лучше сказать — её запутанную стройность. У прозы те же задачи.

Я это понял на собственном скромном опыте. Мне кажется, некоторые из моих собственных романов можно было бы назвать — как ни претенциозно это звучит — музыкально-философскими сочинениями.

Принцип музыкального построения прозы состоит в том, что её несущими конструкциями служат не столько элементы фабулы, сколько сквозные мотивы, которые вступают в особые, не логические, а скорее ассоциативные отношения друг с другом, видоизменяются и вместе с тем остаются теми же на протяжении всей вещи. В таком романе время течёт по особым правилам: прошлое сменяется будущим, но будущее возвращается вспять; и вместе с тем всё происходит как бы одновременно. Поэтому читатель должен держать в уме всю композицию, лейтмотивы постоянно отсылают его к прочитанному, к тому, на что он, возможно, не сразу обратил внимание, и помогают «узнавать» то, о чём будет сказано дальше. Не знаю, понятно ли я выразился. В художественной прозе можно обнаружить то же чередование частей, как в классической симфонии Гайдна или Моцарта, и то же отступление от канонов этой симфонии, как у романтиков или у Малера, — равно как и другие музыкальные составляющие или приёмы, например, тональности и смену тональностей, точные соответствия музыкальным ритмам и проч., но мне это трудно объяснить. Как бы то ни было, музыка очень помогает мне.

Мне очень понравилось совершенно неожиданное для меня сопоставление романа «Камера обскура» с «Возвращённой молодостью» Зоценко. Но опять же: почти невольно напрашивается индийский мотив зубастого влагалища. И в той, и в другой повести речь идёт о трудно-объяснимой, но по-человечески понятной власти ничтожной, пошлой и вульгарной женщины над мужчиной, власти, которая подчиняет свою жертву настолько, что в конце концов лишает её ответственности и морали. Это мифологическая конструкция, её можно проследить и в рассказе о Самсоне и Далиле, и (первый пришедший в голову пример) в романе Моэма «Бремя страстей человеческих», да мало ли ещё где. А вместе с тем — тряхнёшь головой, и — прозаическая, житейская, даже весьма нередкая ситуация. Искусство повествователя, будь то Набоков или Зоценко, между прочим, и состоит в этой амбивалентности.

Очень убедительна, я бы сказал, математически-красива отсылка, в разговоре о романе «Подвиг», к пронзительному стихотворению «Бывают ночи...» Одно это сопоставление делает беспредметными все объяснения или недоумения критиков. Что побудило Мартына Эдельвейса совершить безумный шаг — попытаться перейти нелегально советскую границу? И ведь нельзя сказать, что это было сделано наобум, под влиянием аффекта. Он тщательно готовился к своему подвигу.

(Кстати, ещё одно. Вы называете фамилию Эдельвейс «нелепой, смешной для русского уха». Ничего подобного. Название альпийского

цветка давно вошло в наш язык и даже окружено романтическим ореолом. В пьесе Горького «Дачники» есть полусвихнувшаяся поэтесса, которая декламирует стихотворение в прозе об эдельвейсе. И, может быть, у Набокова эта фамилия героя — полурусского, полушвейцарца — неслучайна.)

Между прочим, когда я читал «Подвиг», очень хороший роман, мне как-то даже не приходило в голову задаться вопросом, а зачем это понадобилось Эдельвейсу. И почему он пренебрёг предложением Дарвина добыть для него английский паспорт, поехать в Россию легально. В том, что по праву названо подвигом, есть что-то обдуманное и вместе с тем безоглядное, как бывает у подростков. Рывок в неизвестность. Перст судьбы. Это решение казалось мне нелогично-логичным, вытекало с какой-то закономерностью из всего романа. Оттого оно и не выглядит художественно неубедительным — совсем напротив. Оно сюжетно неожиданно — и необходимо.

Но есть другой вопрос, общий, тот, о котором я писал Вам прошлый раз. Мне надо как-то разобраться с Набоковым. Можно представить себе сардоническую усмешку на лице великого писателя, если бы он услышал эту фразу.

В Германии, столь нелюбимой Набоковым, вышло лет 15 назад превосходное собрание сочинений в очень хороших переводах. Отдельный том отведён для интервью, которые, как известно, писатель соглашался давать только в письменном виде. Эти интервью, по крайней мере на меня, часто производят неприятное, тяжёлое впечатление. Чувствуется какая-то нарочитость, обидчивая задиристость, словно он хочет кого-то уколоть. Есть в них и уязвлённая гордость, надменность короля в изгнании. Должно быть, общаться с таким господином было так же трудно, как, например, с Музилем. Так мне показалось. Не отразилось ли это на оценках его творчества современниками?

Мимоходом обронённая (не с оглядкой ли на политическую конъюнктуру?) фраза Бабеля — глупость, совершенно так же, как не по адресу звучат другие приведённые Вами отзывы вроде бы неглупых людей («пишет ни о чём», «плоская пустота, страшная именно отсутствием глубины»). Нет, Набокову есть о чём писать. Он пишет о жизни, его интересует реальная жизнь во всех её подробностях. Его блеск и отстранённость, изошрённый стиль, как и особое искусство построения рассказа, сюжетные сюрпризы, которыми он ошарашивает читателя, отказ от традиционного психологизма — всё это делает его «нерусским» писателем? Что это значит, как не осознание того, что невозможно без конца повторять классиков XIX века, что русская литература должна двигаться дальше, отказаться от многого и в этом смысле стать «нерусской».

...Язык, стиль, абсолютное письмо — для Набокова самое главное. С этим надо согласиться. Да, хороший писатель — это именно

тот, кто хорошо пишет, плохой — кто плохо пишет. Возможно, Вы прервёте меня. Набоков, при всей его любви к поэзе, всё же не кокетничал, сказав, что его язык — замороженная клубника. Почти каждый писатель-эмигрант, и большой, и маленький, живёт в иноязычной среде. Оттого он тяготеет к консервации привезённого языка. Волей-неволей он становится пуристом, и его читатели (если у него вообще находятся читатели) получают от него пищу, так сказать, из банок. Ему кажется, что на родине его родной язык — который там не хранится, как у него, в холодильнике — портится, разлагается, вульгаризуется, опошляется. Так было со старой эмиграцией. Сегодня и у меня такое же чувство. Но я подозреваю, что испытывал бы его, даже если бы остался в России.

Так вот. Набоков унаследовал у Бунина особую зоркость или, лучше сказать, его почти звериное зрение. Пластичность языка у Набокова, изумительные, неожиданно-изобретательные сравнения и метафоры, может быть, даже превзошли Бунина. Кроме того, в них часто присутствует — чего нет у Бунина — тонкое остроумие, рафинированный ум. Но вот в чём загвоздка. Она в особой избыточности. Ведь хороший стиль, как я его понимаю, — это равновесие всех элементов повествовательности. В лучших романах, к которым я отношу «Защиту Лужина», может быть, и «Лолиту», и «Подвиг», это достигнуто или почти достигнуто. В других вещах происходит сбой равновесия. Пристальное внимание Набокова ко всем мелочам мира, который окружает его героев, как-то незаметно оборачивается тем, что и сами герои становятся вещами среди других вещей. Не зря он чурается всяческого субъективизма. Например, избегает внутреннего монолога в духе Толстого, не говоря уже о потоке сознания à la Джойс или Вирджиния Вульф. Если речь идёт о мистифицирующем читателя сновидении, то оно предельно объективируется, становится таким же самоценно-предметным и осязаемым, как и явь. Возникает перекося. Стиль, внешними проявлениями которого являются новые, никем не использованные сравнения, неслыханные метафоры и пр., начинает как-то выпирать, становится чуть ли самоцелью.

Когда я учился в медицинском институте в Калининe, то часто сидел в областной библиотеке, это величественное здание, похожее на дворец. Вы поднимались по широкой лестнице на второй этаж, входили в зал выдачи литературы, и первое, что бросалось в глаза, была большая картина какого-то известного художника «Товарищи Сталин, Молотов и Ворошилов в гостях у Горького». Сталин и Молотов сидели за чайным столом, Ворошилов стоял, а Горький, в очках, держал в одной руке рукопись, а другой как бы дирижировал. Он читал поэму «Девушка и смерть».

Может быть, глядя на эту картину, и стоило согласиться с Берберовой, что великий пролетарский писатель в последние годы своей жизни, говоря Вашими словами, выжил из ума. Но её попытки медицински обосновать этот диагноз — чужь. Туберкулёз, как и бронхоэктатическая болезнь (более вероятный диагноз лёгочного заболевания Горького), дело, конечно, нешуточное, но к «перерождению мозга» не приводит. Хорошо известно, что Горький в последние годы, в своей золочёной клетке, и особенно после нелепой гибели Максима, очень сдал, хоть и не был древним стариком. Тем не менее будем считать Ваши слова метафорой. Впрочем, Вы и сами другого мнения.

Что касается Чернышевского и «русских мальчиков»... Пожалуй, я добавил бы, что XIX столетие — век всеобъемлющих эпически-синтетических замыслов. «Человеческая комедия», «Война и Мир», «Ругон-Маккары», Вагнер с «Кольцом Нибелунга»... Проекты Чернышевского — это пародия на всеобъемлющие замыслы.

Вам кажется, что глава о Н.Г. в «Даре» написана с симпатией к Чернышевскому. Не думаю. Но это, во всяком случае, очень личная глава, и каждый, кто захочет сызнова разобраться в характере, судьбе и психологии Набокова, не сможет пройти мимо этой главы. Мне самому было когда-то неприятно её читать, потому что автор нарушил свой собственный эстетический кодекс, съехав в памфлет, а заодно поступил с честью дворянина, поколотив лежачего.

Дорогой Бен. В Израиле, где мы побывали два раза, имели возможность поездить и т.д., я виделся с Сашей и Нелей Воронелями, но это было очень давно. Сравнительно недавно встретил Сашу на книжной ярмарке во Франкфурте, в год, когда Россия была на ярмарке титульной страной (в самой России это почему-то называлось — «почётным гостем»). Мы сидели рядом во время какой-то дискуссии, немного поговорили. Невдалеке прошла мимо Неля. Больше я их не видел. Возможно, до них каким-то образом дошли мои отзывы о мемуарах Нели и её «остросюжетных», как было написано на обложке журнала «22», романах. Главное же — мы разошлись слишком далеко. Я регулярно просматриваю «Двадцать Два» в интернете, Неля там играет первую скрипку. Вы обещали написать, в чём дело: почему между вами не стало даже дипломатических отношений.

Итак, Вы снова за работой. Книга (название которой мне знакомо) наверняка будет очень интересной. Конечно, то, что Вы, скорее в шутку, чем всерьёз, заявляете в предисловии от автора, — что никакой особой концепции у автора нет, — именно так и следует понимать: как шутку или маскировку. И очень хорошо. Что касается меня, то я бы, может быть, осмелился эту концепцию расширить, применив её — разумеется,

с оговорками, *mutatis mutandis*, — и к послесоветской ситуации. Нечего и говорить о том, что условия существования литературы в бывшем Советском Союзе неповторимы. Но ведь, положи руку на сердце, — и сейчас, хотя на дворе новое тысячелетие, хотя ничего подобного тому, что было, нет, литература и «литературное дело» в России остаются всё же весьма далеки от того идеала независимости, который нам грезился.

Ваша книга, Бен, обещает быть очень интересной. Сколько же там ещё должно быть томов? Кстати, я подумал, что, кроме писателей некошерных, опальных, проштравившихся, стоило бы, может быть, написать о тех, которые отплясывали, по выражению Томаса Манна, с дьяволом, — кто с расчётом, а кто и по велению сердца. Среди них попадались весьма даровитые люди.

Тут есть известная параллель с писателями, которые стали нацистами, но это особая тема. Далеко не всегда можно провести границу между откровенным приспособленчеством и этим самым велением сердца. Иногда маска прирастала к лицу.

Любопытный случай — о нём, конечно, Вы можете сказать много больше, чем я, — незабываемое «Слово к товарищу Сталину» покойного Исаковского. Можно было бы написать маленький трактат об этих виршах. И вроде бы совершенно искренно, и вместе с тем с хитрецей. «Оно пришло, не ожидая зова... Простое слово сердца моего». Дескать, другие изощряются, а я вот по-нашему, по-простому: мы мужички немудрящие. Из души вылилось. Там есть, между прочим, — насколько я помню, — довольно странная строка: «Мы так Вам верили, товарищ Сталин, Как, может быть, не верили себе». Это можно понять так: мы изверились во всё. Осталась только надежда на Вас.

У меня был в лагере один знакомый, даже приятель, хотя, как почти все, намного старше меня, уроженец Бейрута, по имени Овсепян, он имел несчастье вернуться после войны на землю предков, но пожелал уехать назад, почему и заработал 25 лет за измену родине. Он был малорослый, совершенно незащитный человек, русского языка вовсе не знал. Однажды он рассказал мне, что его отец, богатый человек, при рождении сына отложил на его имя в банк солидную сумму, теперь эти деньги должны были обрасти процентами, и на них можно было бы купить весь Унжлаг. Так вот, этот Овсепян после работы, по ночам в бараке слагал — на «чистом, неиспорченном», как и полагается эмигранту, армянском языке! — поэму в честь Вождя и надеялся, что диктатор освободит его.

Алексея Ник. Толстого, который меня тоже когда-то восхищал (в повести «Петушок» говорится о зеркале в ночном ресторане, что оно «расписано алмазами»), я видел один раз в жизни, буквально в гробу. Это было в феврале последнего года войны. Почему-то его тело было выставлено в ГУМе.

Помните ли Вы, как когда-то, очень давно, в первые годы нашего знакомства, мы толковали об Альбере Камю, вспомнили заключительные фразы романа «Чума» о том, что бактерия чумы бессмертна. Она может долго прятаться, не подавая признаков жизни, но придёт день, и она воспрянет и пошлёт своих крыс умирать на улицы цветущего города.

Я говорю это к тому, что инфекты фашизма ведёт латентное существование не только в душах людей, но и внутри идеологий, которые на первый взгляд кажутся безобидными. Таков национализм, и хотя это довольно банальная истина, но в России, по моему впечатлению, она как-то не всем ясна либо сознательно игнорируется. Во всяком случае, — сужу по многочисленным публикациям, — национализм не стыдится. На самом деле от безвредного бактерионосительства до манифестного заболевания — один шаг. Вы пишете о преклонении (чтобы не сказать — пресмыкательстве) Воронеля перед нашим пророком. О своих симпатиях к Солженицыну Саша заявлял не раз. Одна из причин, возможно, как раз и состоит в том, что два националиста издали угадали друг друга. Смысл проповеди Солженицына может быть сведён к простому лозунгу: жида, убирайтесь в Израиль. Там ваше место, а не здесь. Это полностью совпадает с тем, о чём Воронель глубокомыслил много лет. И как будто не чуял, чем пахнет всё это философствование.

Довольно странная фраза — о том, что у Володи «не было недостатка в бассейнах». Подразумевался ли собственный, никогда не существовавший володин бассейн? Вскоре после нашего приезда я виделся с Воронелем в Штокдорфе: он каждый год приезжал в Германию. Незадолго до этого он встречал нас вместе с представителем Сохнута на аэродроме в Вене, одновременно и независимо от них приехала нас встретить моя немецкая знакомая Зента Грюнбек. Мы не стали пересаживаться на самолёт Эль Аль, который должен был вылететь в Израиль через час. Воронель был, естественно, недоволен, а позже Вы писали мне, что моё решение поселиться в Федеративной республике было встречено с неодобрением и в Москве. Тем не менее Саша, как уже сказано, заехал несколько позже в Штокдорф, мы гуляли по тихим улицам знакомого Вам посёлка. Это было время, когда Володя с Ирой и Олей ещё жили у Вудьфенов во флигеле, куда мы вселились по предложению Барбары и Левина после того, как Войновичи уехали на полгода в Америку. В небольшую усадьбу Вульфенов Саша не заглядывал, но, вероятно, знал, что там имеется маленький бассейн под открытым небом. (Этого бассейна давно уже не существует.) Во время нашей прогулки говорили об Израиле, я имел неосторожность и, пожалуй, бестактность сказать, что мне не импонирует государственный патриотизм, на что Саша возразил: «Я тебя не понимаю».

В конце концов, как я уже Вам писал, мои отношения с Сашей и тем более с Нелей прекратились, хотя ссоры не было. Последняя книга Александра Воронеля, довольно толстый сборник статей, куда вошёл и «Трепет иудейских забот» — без посвящения Любошицу, — у меня есть; он мне неинтересен.

Вы спрашиваете, как дела у нас. Дела неважные. Болезнь Лоры неуклонно прогрессирует. Борьба продолжается, проводится интенсивное лечение, дома стоит кислородный аппарат. Но остановить процесс, по-видимому, уже невозможно. В общем, что говорить...

Обнимаю Вас, дорогой Бен. Ваш Г.

Из писем к О.А. Седаковой

1999–2001

Дорогая Оля, вот я и собрался, наконец, Вам написать. Надеюсь, Вы более или менее благополучны. Чтобы прочесть 60 романов, мне понадобилось бы по меньшей мере несколько лет, даже если бы это были сплошные шедевры (хотя, может, и наоборот: посредственные романы читать легче). Но я вспоминаю правило Группы 47: там читались вслух небольшие отрывки; считалось, что о качестве прозы, как о качестве материи для костюма, можно судить по клочку. Как бы то ни было, избрание в члены жюри престижной премии — честь, которую Вы, об этом и говорить нечего, вполне заслужили.

Что Россия на пороге новой эпохи — мысль интересная, даже увлекательная. Я постоянно слышу два противоположных тезиса: в этой стране никогда ничего не менялось и ничего не изменится; эта страна преобразается у нас на глазах. И, по правде сказать, не знаю, кому верить. Верить ли своим глазам? Наезжая в Москву (но лишь наезжая!), я убеждался и в том, и в этом. Но Вы говорите о чём-то другом, в самом деле новом. Может быть, это новое — не только в банкротстве криминально-паразитической экономики и т.п.

Я чувствую себя жителем острова, который стремительно опускается на дно. Некогда мы были свидетелями поразительного, труднообъяснимого процесса возрождения русской интеллигенции после полного, как казалось, истребления. Сложилась культура, представителем которой я имею смелость себя считать. (Разумеется, и Вы к ней принадлежите.) Эта культура крошится, рушится. На смену ей идёт другая — какая, мы не знаем, ясно только, что ей понадобится много лет, чтобы созреть. Пока же она даёт себя знать манерами и языком людей, которых мне приходится время от времени встречать; между прочим, и языком сочинений, которые Вам предстоит прочесть.

Видите, я-таки не удержался от соблазна пофилософствовать на одну из бесконечных российских тем. Насчёт глупости — можно вспомнить изречение какого-то мудрого еврея: «Глупость — это не недостаток ума; это такой ум».

Хотя война застала меня ребёнком, я всё же помню, что это такое — вой сирен, и женщины, бегущие к подземельям метро с детьми на руках, и струи прожекторов в небе. Сегодня всё это выглядит куда страшнее; и всё-таки я подозреваю, что продолжать уговаривать белградского князька, вести с ним лишённые смысла переговоры, в то время как на дорогах, в горах, в нищей Македонии, в нищей Черногории скопилось полмиллиона беженцев, несчастных людей, у которых всё отняли, — и хорошо ещё, что не убили, и всё это в центре цивилизованной Европы, и число это с каждым днём растёт, — продолжать этот ужас невозможно. Что ещё оставалось делать, как не остановить его силой оружия. Вы скажете: а что дальше? Дальше то, что худо-бедно удалось осуществить в Боснии; капитуляция, введение миротворческих сил, пусть дорогостоящих, но которые прекратят конфликт, не разбираясь, кто прав, кто виноват, ибо в этой озверевшей стране виноваты все, кроме простых людей: им равно не нужны ни Великая Сербия, ни дурацкая независимость, они хотят жить, пахать землю, растить детей.

Новый мировой порядок, говорите Вы. Может быть, в самом деле всё идёт к тому, что богатые государства во главе с Америкой учредят международные полицейские силы, вооружённые до зубов, летающую армию, которая будет жестоко пресекать всё попытки войны, не обращая внимания на «национальные интересы», «внутренние дела», суверенность и независимость, справедливые или несправедливые — какая разница? — территориальные притязания, обоснованные или необоснованные — кого это интересует? — обиды и так далее. Ибо прав в конце концов Ваш философ: люди верят силе. И, может быть, наше счастье, что мы до этого не доживём. Ах, лучше оставить эту тему.

Один журналист, переехавший в Мюнхен, но оставшийся сотрудником «Нового времени», политического еженедельника, в котором успешно подвизался покойный Кронид Любарский (и в котором мне, в сущности, нечего делать), попросил меня написать небольшой текст для затейной им рубрики «Люди — или человек — XX столетия» или что-то в этом роде, одним словом, «в которых отразился век». Платят гонорар, а мои литературные заработки в Москве, хоть и скудные, весьма пригождаются моему брату. Я написал о Юнгере. Он давно меня занимал, я и раньше писал о нём; мою статью покалечили в «Вошлях», потом её тиснул малоизвестный журнал «Рубежи». Знаете ли Вы этого писателя, о котором в Германии до сих пор (он умер в прошлом году ста трёх лет от роду) не стихают споры?

Что Вам ещё сказать хорошего... Милая Оля, в искусстве, очевидно, нужно руководиться словами, которые произносит в последнем акте Нина Заречная: неси свой крест и веруй. Сиди и пиши своё. А в коллективные начинания я не верю.

Анна Великанова когда-то дарила меня прекрасными письмами, писала и статьи. Вернувшись в Россию, похоже, отложила перо. Как она поживает?

Язык почтовых марок мне когда-то объяснял один, теперь уже покойный, приятель-немец. Если марка повёрнута вправо, это означает симпатию, влево — недовольство или неприязнь. Если марка наклеена вверх ногами, значит, ответа не ждут. У Вас марка была всё же приклеена косо вправо. Тут есть ещё одно обстоятельство. Всякий раз при встрече с приезжающими из России, даже с друзьями, я испытываю тяжёлое чувство утраты общего языка (они, вероятно, чувствуют то же). С Вами у меня такого чувства нет.

В.Бибихин — это имя мне, конечно, знакомо. Единственное, правда, что я читал, это его предисловие к русскому однотомнику Хайдеггера (он же и переводчик, что само по себе подвиг. Говорил ли я Вам, кстати, что мы с Лорой были однажды в городке Мескирх, на родине Хайдеггера. Видели там и его могилу). Если бы Вы смогли прислать мне какую-нибудь из книг Бибихина, это было бы для меня роскошным подарком.

Об Эрнсте Юнгере когда-то сказал Томас Манн: «Ледяной сластолюбец варварства» (*eisiger Lüstling der Barbarei*). Поразительно метко. Но сказано это было, если не ошибаюсь, в 30-х годах, может быть, даже ещё раньше. С тех пор кое-что изменилось, холодность и гордость остались, зато от культа войны (если можно было это называть культом) ничего не осталось; равно как и от национализма; родилась особая философия, особенное восприятие мира — смесь натурфилософии и какой-то новой пансофии с комбинаторикой, с умением видеть (или изобретать) конструкцию мира, угадывать в аналогиях, повторениях и уподоблениях единый космический ритм, единый замысел; стиль стал ещё совершенней. Этот стиль, как я понимаю, больше всего и раздражает многих, особенно сейчас, когда в Германии, хоть и в меньшей степени, чем в России, где стёб приблизился к нормативной речи, особо ценится и культивируется *verhunzte Sprache*, язык, пахнущий выгребной ямой.

Вы, очевидно, уехали в Берлин. Сколько Вы ещё пробудете в Германии? Есть ли какие-нибудь новости о Вашей (эссеистической) книге?

Моё существование довольно однообразно. Я слушаю музыку. Завтра мы поедем в оперу (не имея билетов). Один роман Франсуазы Саган, несколько пошловатой писательницы, назывался «*Aimez-vous Brahms?*», любите ли вы Брамса. Любите ли Вы Вагнера?

Пишу Вам с запозданием из-за неисправности компьютера. Если бы здорового человека заставили ходить на костылях, очень скоро оказалось бы, что он уже не умеет двигаться просто так. Вышла из строя машина — и я потерял способность писать.

Я получил сборник «Наше положение» и сообщил Вам об этом по телефону. Ещё раз большое спасибо. Конечно, я прежде всего прочёл Ваши статьи и стихотворения, я всегда читаю всё, что подписано Вашим именем. Кое-что («Путешествие в Тарту...») мне было уже знакомо.

У меня было смелое намерение написать рецензию. В конце концов я отказался от этой мысли. Почему? Книжка очень интересная, украшена именами, мимо которых не пройдёшь. Так как я уже был отчасти подготовлен рецензией Уланова, из которой, собственно, и узнал о книге, то думал сначала, что это что-то наподобие новых «Вех» или «Из глубины», сборник статей о нынешнем положении мыслящей элиты в России, продолжение традиции, что-нибудь такое. Это было необоснованное ожидание, ведь ничего повторить невозможно. Правильней будет сказать, что я ждал от книжки большего.

После двух первых статей идёт большой этюд «Нищета философии» В.В.Бибихина, высоко мною ценимого. Мне показалось, что это в некотором роде программная статья. О ней, конечно, нужно было бы говорить отдельно, я не подготовлен к такому разговору. Статья лукавая, шаткая, как и основной её тезис, какая-то душевно растерянная, очень интересная и, по моему впечатлению, несколько неслаженная композиционно. Может быть, это и есть то, что красноречивей, чем содержание, говорит о нашем положении. Другая статья, «Путешествие в будущее», последняя в книжке, спорная и даже рискованная, статья, которая, отсюда глядя, не может не вызвать известный скепсис, — написана блестяще. Вообще же оказывается, что из 33 опытов, составляющих сборник, двадцать пять (включая поэтические тексты) принадлежат двум авторам — Ольге Седаковой и Владимиру Бибихину. Славные имена, что и говорить. Всё же рецензент отметил бы такую диспропорцию как недостаток книги.

Конечно, я не мог не обратить внимание на две работы Анны Шмаиной-Великановой, особенно на статью о «Докторе Живаго». Когда-то Анюта опубликовала в нашем бывшем журнале «Страна и мир» восторженную статью по случаю появления Живаго в СССР. Я получал от неё из Парижа замечательные письма. Статьи в сборнике «Наше положение» показывают, как мне кажется, что она продвинулась много дальше в определённом направлении. Из всех публикаций в сборнике статья о Пастернаке — самая радикальная.

Удивительно — я говорю это, само собой, не желая обидеть автора, — что она восприняла слова Веденяпина («века и поколения только после Христа вздохнули свободно» и т.д.), по-видимому, бук-

важно, всерьёз, как некое возвешение истины. Удивительно, что, оговорившись вначале: «Я отдаю себе отчёт в том, что ни сюжет, ни образы героев, ни даже словесная ткань романа не дают основания для подобного эксперимента», она самозабвенно погружается в этот эксперимент — богословское истолкование «Доктора Живаго»; при этом искусство, эстетика, роман как литературное произведение — всё отодвинуто в сторону, словно нечто малосущественное, не имеющее отношения к делу, как если бы задача комментатора состояла в том, чтобы совлечь с книги её убор и обнажить, так сказать, главное: наготу, — сказать то, что недостаточно ясно сказано в романе. Удивительно, наконец, что Анна, не забывшая упомянуть об Освенциме, Адорно и т.д., как будто забыла о высказываниях Пастернака, в романе и письмах, о еврействе, — тема, не отделимая от христианства. Согласитесь, что не надо быть евреем, чтобы ощутить постыдность — после всего, что случилось, — этих непостижимых высказываний.

Вы помните античный анекдот о путешественнике, который посетил храм Посейдона: все стены храма были увешаны благодарственными приношениями спасшихся во время кораблекрушения. Наглядное доказательство, сказал жрец, всемогущества и благодати нашего бога. «Прекрасно, — возразил гость, — но я не вижу даров от тех, кто не спасся».

Так и мне начинает казаться, что в этом причина некоторого разочарования. В статьях книги о «нашем положении» как-то очень мало говорится об этом положении, о действительности, и очень много — о религии, то есть некотором проекте жизнеустройства. Книга представляет компанию единомышленников и единоверцев, и я боюсь, что это ограничит и без того узкий круг внимательных и заинтересованных читателей.

На прошлой неделе я Вам написал, а теперь, перечитав письмо, перелистав снова книгу «Наше положение», как-то устыдился. Мне кажется, я слишком сурово отозвался о сборнике. Он заслуживает более пристального внимания и лучшего отношения к себе. Кроме того, я забыл поблагодарить Вас за предложение участвовать в следующем сборнике, буде таковой состоится. Конечно, я с удовольствием оказался бы с Вами под одной обложкой, — с Вами, Анютой и Вл. Вен. Библихиным. Правда, я не знаю, о чём бы я мог написать. Кстати, на днях я узнал, что в Москве вышла моя книжка, сборник прозы. Называется «Город и сны». Там находится среди прочего мой давнишний маленький роман «Я Воскресение и Жизнь», о котором Вы когда-то тепло отозвались. С удовольствием преподнёс бы Вам экземпляр, но у меня его нет.

Надеюсь, дорогая Оля, что ко дню, когда дойдёт это письмо (если дойдёт), Вы поправитесь после этой жуткой истории с овчарками. Я помню, как на меня однажды напала собака, когда я учился на предпоследнем курсе и работал городским участковым врачом, и ходил по домам, дело было в нынешней Твери; еле отбился. Но зато и Новый год пройдёт, пока доберётся до Вас моё письмо. Всё же поздравляю Вас сердечно с Рождеством и наступающим 2002-м. Цифра-то какая, подумать только.

«Пройти и не оставить следа»? Нет, не думаю, что Вы не оставите следа. А то, что на книгу (двухтомник) не было рецензий, — так ведь это в порядке вещей. Критика, или кто там пишет отзывы, живёт другими интересами и, если можно так выразиться, существует в другом словаре. Правда, я сам тоже иногда пописываю что-то вроде рецензий и посылаю их по старой памяти в журнал «Знамя». Но я пишу только об иностранных, чаще немецких, книжках, вернее, «по поводу». А кстати, где можно заказать Ваш двухтомник?

Живу я в общем без особенных перемен, в городе началась пред-рождественская суета, а мы ждём в гости наших внуков (старшему пять лет, младшему полгода). То-то будет грому.

Мучительное право

Русский писатель Борис Хазанов живет в ФРГ, в Мюнхене. Чтобы объяснить, почему так случилось, пришлось бы рассказать всю его жизнь. Поэтому ограничусь тем, что скажу коротко: очутился он там не по своей воле.

Хотя — что греха таить! — мысль об отъезде возникала.

Впервые она возникла у него лет тридцать тому назад:

«...До сих пор мы жили в сознании нерушимой отъединенности от мира. Мы выросли с этим знанием. Оно было для нас так же естественно, как знание о том, что невозможно летать. Мы знали, что Россия — наше отечество; но мы знали также, что кроме отечества не существует никакой другой земли. Мы повторяли себе и другим, что если бы нам предоставлен был выбор, мы все равно не уехали бы. За всем этим, однако, подразумевалось, что уехать нельзя. Не говоря о том, что даже мимолетная мысль о бегстве была политическим преступлением, за которое полагалось сидеть в лагере, — эта мысль считалась нравственным преступлением. Приученные с детства считать привязанность к земле отцов похвальным чувством, зазубрив любовь к родине наизусть, мы как будто не догадывались, каким оскорблением для этой любви является ее насильственность.

И вот что-то произошло, и точно приоткрылась узкая щель на горизонте. На наших глазах происходит небывалое: то тут, то там соотечественники отбывают за границу. Просто так, законным путем, как «порядочные», точно свободные люди, со скарбом и семьями пересекают ту самую границу, которая пятьдесят лет была на замке, проволочный круг, на котором, кажется, и сегодня еще висят ключья мяса пытавшихся подлезть под него.

Непостижимо!

И, как пёс, проскуливший всю жизнь на цепи, вдруг увидел конец печочки, просто так лежащий на земле, перевел глаза на ворота и — колеблется: вдруг ворота захлопнутся и защемят его? — так и мы боимся сдвинуться с места, переминаемся с ноги на ногу и ловим новые слухи. Слухи подтверждаются один за другим. Уехать — можно».

Соблазн воспользоваться этой внезапно открывшейся возможностью был велик. И он не скрывал этого:

«...Эх-ма, кто из нас не мечтал о свободе!

Жить по-человечески. Жить, не боясь за будущее детей. Не ожидая, что подкрадутся сзади и скрутят руки. Жить просторно, не давясь в тесноте, не воюя ежедневно с бедностью и непролазным бытом. Заниматься любимым трудом. «По прихоти своей скрываться здесь и там»...»

Не скрывал он и того, что многое — да, собственно, почти всё! — в окружающей его реальности ему ненавистно до отвращения. Об этом каждой своей строкой вопили все 50 страниц той машинописной исповеди, которую я здесь цитирую.

А в заключение следовал вывод, потрясавший своей неожиданностью:

«Ответ, который я даю, покажется нелогичным. Я остаюсь.

Мне было бы трудно дать исчерпывающее, а главное, вразумительное объяснение — почему...

Было бы лицемерием говорить о любви к родине. Та Россия, которую я люблю, в природе не существует. Её нет — и, может быть, никогда не было.

Но есть последняя драгоценность, которая у меня еще остается — русский язык. Я не в силах вообразить себя в среде, где не звучит русская речь. Русский язык — это и есть для меня мое единственное отечество. Только на нем я могу объясняться с миром. Только в этом невидимом граде я могу обитать.

Новейшая психиатрическая доктрина учит, что бред умалишенного не отгораживает его от мира. Напротив: это его способ искать связь с миром. Безумие мое бредит по-русски...

Пока меня не прогнали — я остаюсь.

А там — будь что будет».

И вот — его прогнали. Вернее, — выпихнули.

Случилось это в 1982 году.

Как я уже говорил, насильственному его отъезду из Советского Союза предшествовало множество драматических событий, рассказать о которых тут даже вкратце не представляется возможным. Но об одном из них — том, что стало «последней каплей», — все-таки расскажу.

В один прекрасный день, точнее, в одно совсем не прекрасное утро в его квартиру вломилась (это не метафора — именно вломилась) восемь молодчиков, оказавшихся следователями Московской прокуратуры и так называемыми понятыми. Предъявив ордер на обыск и изъятие «материалов, порочащих советский общественный и государственный строй», они унесли с собой рукопись романа, над которым писатель в то время работал. Рукопись была изъята вся, це-

ликом, до последней страницы. И рукописный оригинал, и машинописная копия (автор только что начал перебеливать свой труд и успел перепечатать от силы пятую его часть).

Над романом, который у него отобрали и который ему так и не вернули, он работал три с половиной года. Работал самозабвенно, урывая для этого главного дела своей жизни каждую свободную минутку. Урывать же приходилось, поскольку писательство было для него не профессией, а призванием: по профессии он врач и много лет трудился в этом качестве, а позже, оставив медицину, работал редактором в журнале «Химия и жизнь». Кстати, не исключено, что налёт на квартиру, обыск и изъятие рукописи были санкционированы (после ареста романа Василия Гроссмана наша литература других таких случаев как будто не знала) еще и потому, что в глазах тех, кто отдал этот чудовищный приказ, Геннадий Файбусович (таково его настоящее имя, «Борис Хазанов» — это псевдоним) вовсе даже и не был писателем. Ведь слово «писатель» у нас в те времена обозначало не призвание и не профессию даже, а социальное положение.

Как бы то ни было, обыск был произведен и роман — вместе с другими рукописями — арестован.

Событие это, и само по себе впечатляющее, на Геннадия Файбусовича произвело особенно сильное впечатление, поскольку оно напомнило ему другие события его жизни, случившиеся за четверть века до вышеописанного: в 1947 году, не успев закончить последний курс филологического факультета МГУ, он был арестован и пять с половиной лет провел в тюрьме и лагере.

Самое поразительное во всей этой истории было то, что изъятый при обыске роман даже по понятиям и критериям того времени никаких устоев не подрывал и никакой общественной и государственный строй не порочил. В кругу интересов автора романа (а круг этот, надо сказать, весьма широк: он — автор художественной биографии Ньютона и книг по истории медицины, переводчик философских писем Лейбница, блестящий знаток античности и средневековой теологии, эссеист и критик) — так вот, в кругу его интересов политика всегда занимала едва ли не последнее место.

В чем же дело? Чем по существу был вызван этот внезапный налёт следователей Московской прокуратуры на его квартиру?

Подлинной причиной этой акции было то, что в 1975 году Геннадий Файбусович под псевдонимом Борис Хазанов (именно тогда и возник этот псевдоним) опубликовал повесть «Час короля», которая сразу обратила на себя внимание всех, кому дорога и интересна русская литература. Эта повесть, рассказывающая о звездном часе короля, надевшего на себя желтую звезду, чтобы разделить гибельную

участь горстки своих подданных, к несчастью автора, была опубликована в журнале, выходившем за рубежом. Хуже того! В журнале, который издавался тогда (о, ужас!) в Израиле.

Те, кто задумал и осуществил налёт на квартиру писателя, вероятно, не сомневались, что факт публикации повести в таком неподобающем месте — более чем достаточное основание не только для обыска, но, может быть, даже и для чего-нибудь похуже. А между тем не мешало бы им задать себе простой вопрос: как и почему вышло, что писатель, живущий в Москве, столице государства, разгромившего нацистскую Германию, написав антифашистскую, антигитлеровскую повесть, вынужден был опубликовать ее не у себя на родине, а в Иерусалиме. Да еще под псевдонимом.

За восемнадцать лет эмиграции Борис Хазанов написал и опубликовал немало новых произведений. Как и прежде, щедрую дань отдавал он в эти годы и эссеистике.

Многие его очерки и статьи (в том числе и те, что составили книгу, которую вы сейчас раскрыли) вероятно покажутся вам злыми, резкими, написанными человеком раздраженным, пожалуй, даже, уязвленным. Кому-то многое в ней покажется несправедливым. А кое-кому наверняка даже захочется заклеить жизненную позицию автора сакраментальным словечком «русофобия».

В этой связи я хотел бы привести несколько строк из стихотворения Владислава Ходасевича, которое он посвятил выросшившей его кормилице — тульской крестьянке Елене Кузиной:

И вот, Россия, «громкая держава»,
Её сосцы губами теребя,
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя.

Борис Хазанов, как и многие другие наши соотечественники (русский Андрей Синявский, еврей Александр Галич, кореец Юлий Ким, украинец Петр Григоренко), всем опытом своей нелегкой жизни выстрадал вот это «мучительное право» по-своему, а не так, как это предписано начальством или доброхотами-патриотами, любить Россию. И не вчуже, а по-сыновьи проклинать ее. И этого своего горького права он не отдаст никому.

Бенедикт Сарнов
2000 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Абстрактный роман

Сера и огонь	7
Станция	32
Апофеоз	44
Циклоп	47
Абстрактный роман	71

Дневник сочинителя

Тютчев в Мюнхене	95
Примечания к Вагнеру	102
Фридрих Горенштейн и русская литература	113
Писатель — журналист — писатель: Эренбург и Вайян	119
Алгебра и философия детектива	127
Дневник сочинителя	133
Безумие второго порядка: Юнгер и Бенн	152
Клаус Манн	158

Левиафан

За тех, кто далёко	169
Подвиг Искарриота	178
Quomodo scribitur	181
Левиафан, или величие советской литературы	188
Вести с Олимпа	199

Эпистолярный. Фрагменты переписки

Из писем к Г.С. Померанцу (1998–2003)	207
Из писем к М.С. Харитонову (1998–2009)	233
Из писем к С. Майзель (2004)	329
Из писем к Б.М. Сарнову (2006–2007)	336
Из писем к О.А. Седаковой (1999–2001)	437
<i>Бенедикт Сарнов. Мучительное право</i>	443

Борис Хазанов
Подвиг Искарюта
Рассказы. Статьи. Письма

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*
Дизайн обложки *И. Н. Граве*
Оригинал-макет подготовлен *Б. Н. Марковским*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./ факс: (812) 560-89-47
Отдел продаж: fempro@yandex.ru, тел. (921) 951-98-99
aletheia92@mail.ru (*редакция*)
www.aletheia.spb.ru

*Книги издательства «Алетейя» в Москве
можно приобрести в следующих магазинах:*
«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83
Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.
Тел. (495) 915-27-97
Магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 12/27.
Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21

Формат 60x88¹/₁₆ Усл. печ. л. 27,31. Печать цифровая.
Заказ №0350485-22. Отпечатано в типографии
ООО "Супервэйв Групп". 193149, РФ, Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. Красная Заря, д. 15.



Борис Хазанов (псевдоним Г.М.Файбусовича), родился в Ленинграде, вырос в Москве. Учился в Московском университете, на последнем курсе филологического факультета был арестован, получил 8 лет по обвинению в антисоветской агитации, отбывал наказание в Унженском исправительно-трудовом лагере. Позднее окончил медицинский институт, работал врачом, кандидат медицинских наук. В связи с участием в Самиздате был вынужден покинуть Советский Союз и поселился в Германии. Автор романов, рассказов, эссеистических произведений. Многократно переводился на европейские языки, публиковался в России и за границей. Премия «Литература в изгнании» (Гейдельберг), несколько премий Международного ПЕН-клуба, Русская премия (Москва), премия имени Марка Алданова (Нью-Йорк), лауреат премий «Русский Букер» и «Большая книга». Живет в Мюнхене.

Очередной том **Собрания сочинений Бориса Хазанова** включает рассказы разных лет (раздел «Абстрактный роман»), статьи и эссе о писателях и литературе (разд. «Дневник сочинителя»), статьи на разные темы (разд. «Левиафан»), а также фрагменты обширной переписки писателя. Книгу завершает статья Б.М. Сарнова «Мучительное право».